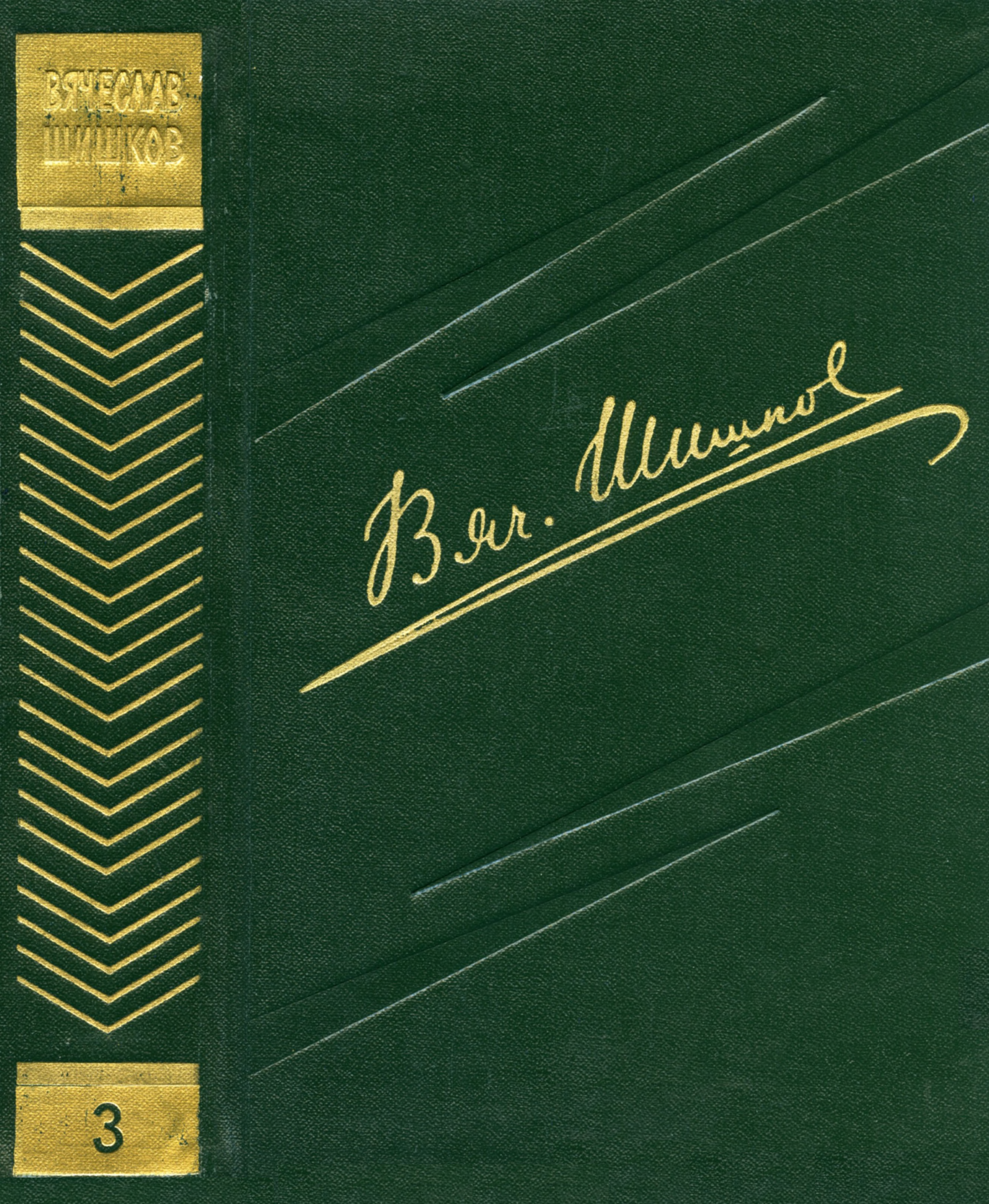
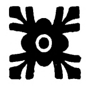

ВЯЧЕСЛАВ
ШИШКОВ
3
Вяч. Шишков

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в восьми томах



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том третий

СТРАННИКИ

(повесть)

РАССКАЗЫ

ОЧЕРКИ

(*1942—1944*)

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

Составитель
В. М. БАХМЕТЬЕВ

Примечания
В. А. БОРИСОВОЙ

СТРАННИКИ

Повесть

Часть первая

ФИЛЬКА И АМЕЛЬКА

«Худая воля заведет в неволю».

I

СУДЬБА РЕШАЕТСЯ ВНЕЗАПНО

В тягостные сроки освободительной борьбы накатилось на русскую землю неотвратимое бедствие: голод, а вместе с ним и тиф.

Родители Фильки померли от тифа один за другим на одной неделе. А вскоре убрались его дед и тетка. Четырнадцатилетний Филька обезумел. Забыв кладбищенские страхи, он два дня сидел на могиле отца и матери, плакал, уткнувшись лицом в раскисшую от дождя глину:

— Ну, как же я теперича, а?! Ну, куда же?!

Утешать Фильку некому: у всякого полна охапка горя. Только кудластый, весь в перьях, Шарик искренне сочувствовал Фильке: он торчал возле него на погосте, то повиливал хвостом, стараясь притвориться радостным, довольным жизнью, то со вздохом опускал голову и, тявкнув раз-другой, принимался выть. Шарику тоже жилось несладко.

Но случилось так, что повстречался с Филькой слепой прохожий, старик Нефед. Он дал парнишке большой кусок хлеба. Голодный Филька с жадностью сожрал кусок, сказал:

— Деда, дай еще хоть корочку: Шарик у меня вот тут, собака.

— На, на, — проговорил охотно дед. — «Блажен, иже и скоты милует...» — в псалтыри сказано.

Шарик проглотил корку не жевавши.

Дед огладил Фильку с головы до ног, будто глазами ощупал, сказал:

— Вот что, парнишка... Теперича я тебя всего вижу. Кожа да кости в тебе и голова шаршавая, нечесаная. Вот пойдем, води меня за батог, сыты будем. Петь можешь?

— Научишь, так почему не петь? Я в согласье идти... Возьмем и Шарика... С ним повадней.

И стали они ходить втроем из села в село, из города в город.

Дед научил Фильку прекрасным песням и стихирам. У Фильки сильный, складный голос: дед же был великий по пенью мастер: он умел в песне пускать слезу, мог и устрашить слушателей грозным ревом, а когда надо, голос его лился рекой, широко и плавно.

Филька выучил Шарика обходить толпу с картузом. Полный серьезности, с сознанием долга Шарик неспешно шел по кольцу собравшихся; он крепко держал Филькин картуз за козырь, и люди бросали в картуз пятаки, копейки, огурцы. На спине Шарика укреплена, как седло, картонка с надписью: «Православные! Жертвуйте двум несчастным человекам и зверю умному на пропитание!»

Впрочем, два человека и животное побирались втроем недолго, потому что так было нужно, потому что у Амельки была мать, а житейским путям Фильки и Амельки надлежало встретиться, совпасть. Амелька был тоже деревенский парень, постарше Фильки четырьмя годами.

Амелька когда-то проживал в другом селе. Его отец, коммунист, рабочий цементного завода, погиб мучительной смертью в схватке с контрреволюционной бандой. Дома, в великой бедности, осталась мать Амельки. Ни коровы, ни лошади она не имела, земля же была неродимая — пески, кусты, болото. А в наследство от мужа получила баба лишь кожаную

потрепанную куртку. Кроме куртки, еще осталась матери на всю жизнь печаль и дума об Амельке.

Озорной, задирчивый Амелька рос без отца хулиганом, никому спуску не давал. Мужики не раз трепали его за уши, драли розгой, собирались выгнать из села и, если не угомонится малый, грозили убить. И ушел бы Амелька на волю, но жаль было бросить старуху мать. Если б спросить Амельку, любит ли он мать свою, Амелька, пожалуй, ответил бы: нет, не любит. Только всякий раз после безрассудного озорства, когда Амельку вновь изобличали, вновь били, когда мать в изнеможении и горькой обиде лила над ним слезы, в душе Амельки пробуждалось чувство большой любви к матери, и он клялся тогда, что остепенится, что бросит подлую, непутевую жизнь свою.

Однако неизменно презрительное отношение к нему деревни не давало Амельке силы переломить себя, уничтожить в душе раз появившееся зло. Вот как-то не выдержало впечатлительное сердце: Амелька поджег амбар у кулака и в ту же ночь бежал.

Красная жизнь Фильки кончилась. Наступала осень. Солнце охладевало. Шумными табунами летали по вечерам скворцы и галки, студеные зори горели на западе, и ранними утрами остывшие поля прятались в густой туман. Все блекло, холодело в природе, и внутренним холодом сжималось сердце парнишки.

— Как же нам, дед, зимой-то! Студено поди?

— Студено, сударик, студено... В прошлом году вьюга в пути хватила, едва в сугробе не окочурился... Со святыми упокой — и крышка. Ну да ничего, не бойся.

Пришли они в богатый степной город — и прямо на базар. Площадь ломилась от множества приехавших крестьян; горы арбузов, помидоров, баклажан и всякой овощи веселили глаз, обещали вкусную сытость на всю зиму.

Слепец встал с Филькой в сторонке, безглазо покрестился на колокольный звон, спросил Фильку:

— Девки с молодайками подле нас стоят?
— Стоят.
— Заводи утробный стих.
И резко, дружно хватили в два крепких голоса:

А вы, гой еси, ангеля крылатые!
Вы небесный рай нам отверзайте,
А вы праведные души пропущайте,
А вы грешные души задержайте!

Слепец запрокинул лохматую голову к небу, потряс сивой бородой и ударил в землю посохом:

А котора душа тяжко согрешила,
Во утробе младенца погубила,
Ей не будет вовек прощенья —
За дитя своего погубленье,
На втором суду ей не бывати,
Самого Христа в очи не видати...
Ой, горе, горе тебе, девка, молодая баба!!

Голос слепца звучал грозно, угрожающим было сухое, изрытое оспой лицо его; Филька искусно вплетал в стихиру свой ясный, звонкий голос.

Народ тесно окружил певцов. Шарик, с картузом в зубах, собирал подаянье. Какой-то мордастый парень-оборванец дернул Шарика за хвост. Пес, бросив картуз на землю, обложил озорника крепкой собачьей бранью. Народ захохотал.

Не смеялась только опечаленная девушка. Она хмуро стояла возле слепца, вздыхая. Не про нее ль сложен этот церковный стих? Ведь это она, Настя Буракова, «во утробе младенца погубила», а погубитель — злодей Васька совхозский, а погубительница — старушонка тленная, бабка Мавра — утробу ее веретенцем окаянным опоганила, крови женские в три ручья пустила, сняла маков цвет с Настина румяного лица. Будь проклята ты, бабка Мавра, и ты, Васька-обольститель, трижды проклят будь!

Бледная, тихая Настя дрожащей рукой срывает с мочалки бублик, сует его в руку слепца и шепчет старику:

— Дедушка хороший, а ну еще!

Дед Нефед кладет бублик в кошель, крестится, говорит Фильке:

— Заводи печальную, голос в дрожь пускай.

Филька оглаживает Шарика, злобно косится в сторону собачьего обидчика и сердитым голосом заводит:

Что есть у нас три печали великие,
Как-то нам те печали миновать будет?

Тут уверенно и крепко, устрашая толпу, подхватывает дед Нефед:

Первая печаль — как умереть будет?
А вторая печаль: не вем, когда умру,
А третья печаль: не вем, где на том свете обрящуся:
Ой нет у меня добрых дел и покаяния,
Нет чистоты телесные и душевные...

Собачий обидчик был не кто иной, как Амелька. Он показал Фильке язык и фигу. Когда же повел парнишка слепца в живопырку чайку глотнуть, Амелька поравнялся с Филькой и шепнул ему:

— Как усадишь деда брюхо кипятком парить, выйди на улку: любопытное скажу.

— А подь ты к ляду! — огрызнулся Филька. — Ты Шарика изобидел.

Тогда Амелька сунул Фильке только что украденную на базаре плитку шоколада:

— На. Выходи смотри.

Филька выпил два стакана чаю; его взяло любопытство, он сказал слепцу:

— Пей, деда... Я сейчас.

Вместе с Амелькой подбежали к Фильке еще два подростка.

— Будемте знакомы, — сказал Амелька. — Вот этот — Пашка Верблюд, этот — Степка Стукни-в-лоб. А тебя как?

— Филька.

— Ну, ладно. Будешь Филька Поводырь. Пойдем до хазы.

— Куда это? — попятился Филька.

— Куда, куда?! — передразнил Амелька. — Звестно куда: в нашу камунию. У нас, брат, о!.. У нас жить весело...

Амелька был широкоплечий, но худой, в драном, лоснящемся грязным салом архалуке. Спина одежины от самого ворота вся вырвана, болтались лишь длинные полы и заскорузлые рукава в заплатах. Босые ноги покрыты густым слоем давнишней грязи, до кожи не докопаться. На голове — позеленевшая от времени монашеская скуфейка (за это оборванцы прозвали его: Амелька Схимник). Лицо парня какое-то отечное, желто-бурое, рот широкий, губастый и маленькие, исподлобья бегающие глазки.

Пашка Верблюд горбат и мал.

Его отрепье, казалось, состояло из одних прорех, кое-где схваченных заплатами; встопорщенные, неимоверно грязные волосы от вшей шевелились на висках; лицо стариковское, треугольничком, и злые, наглые глаза.

Пашка Верблюд не понравился Фильке. Зато показался приятным ему третий оборванец — Степка Стукни-в-лоб. Он был похож на крепкую краснощекую девчонку, и лицо его не так грязно. Одет он довольно потешно: гологрудый, без рубахи, отрепанные штанишки до колен, руки засунуты в бабью муфту, из которой торчала пакля, на голове — желтый старушечий чепец.

— Ты не смотри, что он по-бабьи обрядился, — сказал Амелька. — Он, стервец, свою мамашу поленом по лбу вдарил, оттого зовется: Степка Стукни-в-лоб.

— Врешь, — обидчиво проговорил Степка и повернулся к компании спиной.

Филька взглянул на грязную с выпяченными лопатками спину оборванца и захохотал: на спине красовалась татуировка — срамное слово.

— Ну, хряем скорей, айда! — И Амелька потянул Фильку за рукав.

— А как же дедка? — спросил тот.

— Кто это? Слеподыр-то твой? Плевать! — крикнул Амелька, поднял с пыльной земли окурок и стал раскуривать. — Ты в кого живешь — в себя или в старого хрена? Ему подыхать пора.

— Мне дедку жаль: он хороший...

— Дурак, — сказал Амелька. — До каких же пор

ты будешь с ним валандаться? Ведь скоро зима ляжет. А мы зимой знаешь куда? Мы зимой на курорт, в Крым. Дурак паршивый! А твой дедка поскулит-поскулит, да найдет такого же вислоухого, как ты... Дураков много...

Филька оглянулся на харчевку. Он и сквозь стены видел деда: будто беспомощно сидит дед за столом, насторожил ухо к двери, ждет — вот-вот услышит Филькины шаги, попросит еще чайку. «Дедушка Нефед, кормилец», — подумал Филька; сердцу его стало больно и досадно.

— Ну, хряй до хазы, идем! — прервал его думы неотвязный Амелька.

— Да что ж, навовся к вам уходить?

— Знамо, навовся. Да ежели с нами недельку проживешь, тебя палкой не выгонишь от нас: живем мы роскошно.

— А как же дед? — снова вздохнул, раздумчиво посмотрев на мальчишек, Филька. — Нет, не пойду.

— Вот шляпа!.. Ну и шляпа ты, — насмешливо протянул Амелька и на особом, блатном, языке стал переговариваться с товарищами, подмигивая на проходившую возле них даму. У нее полны руки разных покупок в тюрючках и свертках.

— Шей! — скомандовал Амелька. — Бери на шарап!

Пашка Верблюд подлетел и резко толкнул даму сзади в локоть. Тюрючки упали и в момент были подхвачены тремя беспризорниками. У дамы от толчка надвинулась на глаза шляпка; она несколько мгновений стояла как бы в столбняке, потом взвизгнула и завопила.

— Филька, плинтуй, беги! Мильтоны! Менты! — враз крикнули ему все трое.

Филька бросился было к чайной, но оттуда бежали к хулиганам человек пять мужиков и милиционер.

— Филька, схватють! — волок его за рукав Амелька. — Плинтуй за мной, беги!

Тогда Филька, мигом набрав сил, помчался вместе с Шариком за оборванцем. И судьба его так неожиданно сама собой решилась.

II

ТРУЩОБА. МАЙСКИЙ ЦВЕТОК ЦВЕТЕТ

Три оборванца привели Фильку на песчаный берег большой реки. В густом ивняке лежала опрокинутая вверх дном огромная, сорокасаженной длины, баржа. Один борт баржи немного приподнят и подперт городками: видимо, ее собирались зимой ремонтировать. Здесь ютилось около сотни народу: беспризорники, нищие, воры, бродяги, — баржа была вроде ночлежки.

В середине под баржей, прямо на песке, слеплена глинобитная печь, похожая на собачью конуру, труба выходила в пробоину на дне баржи.

— Не бойся, — сказал Амелька, вводя в притон нового товарища, — вот наша хаза, я здесь вожак, — и звонко закричал: — Эй, народы!.. вот оголец новенький... Филька Поводырь. Кто обидит — в харю!.. Да он и сам с усам... Карась!.. Зарегистрируй. Номерок выдай... Ну!..

Филька жалобно улыбался.

— Пойдем. — И Амелька повел Фильку в темный угол. — А это вот стенгазета, — указал он на приклеенный к щиту мелко исписанный, с картинками, большой лист бумаги. — Здесь описи наших делов и прохватываем порядки. Есть стихи... Впрочем, она не наша: она в кожевенном заводе украдена. Вообще мы живем роскошно. Вот! Будешь тут в одном цеху жить со мной и вот с этими.

Филька оглянулся. За его спиной гоготали Пашка Верблюд и Степка Стукни-в-лоб.

Возле них сгруппировалась рваная, вонючая, грязная детвора в лохмотьях: мальчишки с девчонками и подростки-парни. Филька все еще продолжал улыбаться. Он улыбался из вежливости и опасения: боялся, как бы не огрели его по затылку.

Какой-то большеголовый плющеносик указал на Фильку:

— Ишь черт... В новых сапогах. Тоже, хлюст...

— Карась! — позвал Амелька. — Где Карась?!

Поднялись свистки, крики:

— Карась, Карась!.. К вожаку!

Прибежал одноглазый, бесштанный мальчонка. Он — в женской рубахе, новой, но замазанной всякой дрянью. По талии — веревка, за веревкой — деревянный кинжал, на голове — меховая, белой шлёнки, рваная папаха.

— Номер огольцу вручил? — в шутку сказал Амелька.

— Ну да!

— Зарегистрируй сапоги, рубаху, картуз. Впрочем, картуз не надо: его собака изжевала. А где Шарик?

Пес в это время жрал в котелке чье-то вкусное хлебово и был вполне доволен своим положением.

— Снимай, — приказал Карась Фильке.

Филька посмотрел вопросительно на Амельку.

— Не бойся, — успокоил Амелька, — сапоги не пропадут. У нас в чихаузе, как в ломбарде, крепко. Нельзя ж в таких сапогах, в такой новой рубахе на базар по фене ходить. Пока босиком, а похолоднее будет — опорки получишь. Рожу никогда не мой, башку не чеши. Это буржуи выдумали промываться. Вода человеку для питья дана.

Филька, разутый и голый, сидел в углу на сене. Карась бросил ему мерзлое отрепье, а сапоги с рубахой забрал. Филька стал одеваться. Это уже не нравилось ему — попахивало насильем. Руки его дрожали, свербило в носу, хотелось кричать от досады и плакать.

Амелька покровительственно похлопал его по плечу, сказал:

— Вот видишь, какой фартовый стал. Одежина теплая. Прямо барин довоенного образца. Вообще у нас роскошно, всероссийский масштаб. Заполнял анкет? Карась, тащи!

Карась принес огрызок карандаша и печатный, захватанный грязными руками анкетный лист какого-то учреждения.

— Заполняй! — приказал Амелька новичку.

Амелька с мальчишками подшучивали над простоватым Филькой, разыгрывали комедию, но Филька

относился ко всему совершенно серьезно: что ж, под баржей, в хазе, свой устав, — и тщательно отвечал на анкетные вопросы. Дважды ломался карандаш. Филька то и дело спрашивал Амельку:

— А тут как писать?

Амелька давал советы.

Над вопросом «Ваша основная специальность» Филька призадумался и хотел написать: «Бывший поводырь слепого гражданина Нефеда», но Амелька подсказал:

— Пиши: «Вор».

— Я воровством не занимаюсь, — с волнующей дрожью ответил Филька.

— Тогда пиши: «Будущий вор», — подал совет Амелька, улыбаясь на Фильку уголками глаз.

Отчетливо раздались семь неторопливых ударов в железный лист.

— Семь часов... Сейчас будем чай пить с балой [1].

Филька рассмотрел: над печкой висели на веревке дешевенькие часы-будильник, а время отбивала в железный лист косматая девчонка, похожая на цыганку.

— Это — Надька Хлебопек, — сказал Амелька. — Недавно с хлебной баржи мы пять кулей муки сбондили. Баржа на якоре стояла. Рабочие загуляли, пьяные, ну, мы на двух больших лодках ночью... Теперь свой хлеб. По-нашему хлеб значит «бала». Дело было трудное. Зато — кто работает, тот и ест.

Меж тем Пашка Верблюд притащил большой жестяной чайник с кипятком. Амелька развернул только что украденные у дамы тюрючки. В одном — мятные пряники, в другом — чернослив, в третьем — чай и сахар, в четвертом — макароны, в пятом — конь, кукла и резиновая соска со стеклянной бутылочкой.

— Ага, дело, — сказал Амелька и радостно улыбнулся. — Это Майскому Цветку.

— А кто такой Майский Цветок? — спросил Филька.

— А вот увидишь. Карась, дели добычу!

---

[1] Бала — хлеб.

Под баржей стояли неимоверный гвалт и перебранка. Все говорили повышенными, крикливыми голосами, все отборно ругались, даже малыши. Было похоже, что пестрое стадо грачей, журавлей, гусей и чаек горланит на отлете. В полумраке сновали взад-вперед серые тени. Возле приподнятого борта баржи горел на воле костер, ветер загонял дым под баржу. Кой-где, в отдельных группах, разместившихся на чаепитие, поблескивали светлячками огарки: по продольной оси баржи была натянута в вышине проволока, на ней укреплены зажженные свечи — штук пять-шесть. Фильку это забавляло. Он чавкал хлеб, с наслаждением запивая чаем.

— Свечи наши шпана ворует или покупает по очереди. Следит дежурный. А курево, шамовка, то есть жратва, и водка у нас общие. Обутки тоже общие. Да вот поживешь — узнаешь, — посвящал Амелька Фильку в неписанные законы уличной шпаны.

Степка Стукни-в-лоб глотал жижу из грязного черепка, многим чашками служили консервные коробки.

В дальнем углу горел небольшой грудок-теплина; там было весело: играли на паршивой сиплой гармошке, подтягивали на берестяном пастушеском рожке, плясали. И плясали залихватски, с гиканьем, в присядку. Филька видел, как отрепья плясунов развевались в наполненном гвалтом воздухе. Его потянуло туда.

— Соси еще; бурдомаги много, — сказал Пашка Верблюд. — Локай вдосыт.

— Может, щиколаду хочешь али кофею?

— Хочу, — заулыбался Филька.

— Ну, ежели хочешь, дак у нас ни кофею, ни щиколаду нету... А вот что есть. — И Пашка плеснул в самый нос Фильки опивками чая.

Филька отерся рукавом своего отрепья и умоляюще посмотрел на Амельку, как бы ища защиты.

— Пойдем к Майскому Цветку, — пригласил он Фильку, а на Пашку Верблюда полушутливо закричал: — Ежели еще дозволишь вне программы, я те паюсной икрой весь зад вымажу! Да, да. И лизать заставлю... Филька, айда! Топай за мной.

Пробирались между кучками оборванцев. В трех кучках резались в грязнейшие, обмызганные карты. За печкой внутри баржи был натянут в виде палатки большой брезент, украденный с хлебного штабеля. Амелька с Филькой вошли в палатку.

— Здравствуй, Майский Цветок, — проговорил Амелька.

— Здравствуй.

При свете стоявшего на ящике застекленного фонарика Филька разглядел: дощатые нары, на нарах — прикрытая ветошью солома, на соломе — маленькая женщина; она кормила грудью ребенка.

— Вот тебе, Майский Цветок, сиська резиновая для парнишки, вот сливы, вот пряники. А это вот конь ему.

— Спасибо, — ответила женщина. — Спасибо. Вон, на ящике, видишь; мне много натащили всего. Вон вино красное. Да я не пью. Пейте.

Амелька спросил женщину:

— А где твоя шуба? — Покажи новенькому свою лисью шубу.

— А нешто не видишь? Вон висит.

Амелька, конечно, видел. Он снял шубу и подал ее Фильке.

— Подивись. Краденая, конешно. По-нашему — темная.

Филька пощупал потертую одежину, сказал:

— Бархат, надо быть. Вот так шуба!

Амелька самодовольно засопел, повесил шубу и с хвастливостью добавил:

— У нас все роскошно. Не иначе.

Филькины глаза привыкли к полумраку. Он внимательно рассмотрел женщину. Она лежала в синеньком ситцевом платье, в лакированных, больших, не по ноге, башмаках и с браслеткой на худой, как палочка, руке. Она показалась Фильке подростком, с желтым худощавым лицом, — правда, приятным и ласковым. Хороши задумчивые темные глаза ее: в них была и непонятная скорбь, и что-то детское, обиженное, такое знакомое Фильке. Она глядела новичку в лицо, пыта-

лась приветствовать его улыбкой и не умела этого сделать.

— Который же год тебе? — несмело спросил он.

Она молчала. За нее ответил Амелька:

— Ей скоро четырнадцать. А вот могла все-таки раздвоиться, дитю родить. Три недели тому назад.

— А где же муж-то твой?

Девчонка язвительно ухмыльнулась, закинула за голову руки и, как-то жеманно изогнувшись вся, отвернулась к стене.

— Надо полагать, мужьев у нее достаточно. Ежели она пожелает, то можешь и ты. Очень просто. Твоей марухой будет.

Филька сплюнул. Девчонка вдруг захохотала. Хохот ее был особенный, взахлеб, визгливый и дикий. Филька заметил, как плечи ее заходили, судорогой свело выгнутую спину, ноги задергались.

— Не плачь, Майский Цветок, не плачь, — ласково, сердечно сказал Амелька и погладил ей спину.

— Я не плачу! — И девочка повернулась к нему лицом: — Я смеюсь.

У Фильки задрожал подбородок. Он видел, что по влажным щекам Майского Цветка катятся слезы.

— Зачем же ты, коли так, убежала из дому-то?! — тоскливым, отчаянным голосом проговорил он.

— Тебя, дурака, не спросила, — ответила девчонка, прижимая к своей груди, как куклу, спящего сына.

— Вот через это, что мы не знаем, кто парнишкин отец, мы все подружку любим и парнишку любим. Ухаживаем за ней вот как! Она у нас как в санатории имени Семашки... А звать ее Машка, Майский же Цветок — прозвище, в честь нового быта.

Амелька сел на пол, отбил камнем у бутылки горлышко, отхлебнул вина и закурил трубку.

— Майский Цветок просила, чтоб, значит, аборт; ну, мы отсоветовали ей, не допустили. Да. И очень распрекрасно сделали. Теперича у нас какая-то заправдышняя забота есть, чтобы, значит, матери с сыном было хорошо.

Сдерживая в себе горестную дрожь, Филька сказал, как взрослый:

— А вот я на этот счет знаю стихиру одну, — дедушка Нефед научил меня. Поется она так. — Филька отер губы и запел:

А котора душа тяжко согрешила,
Во утробе младенца погубила,
Ей не будет вовеки прощенья —
За дитя своего погубленье.

Филька пел звонко, трогательно, с большим чувством. Он покосился вниз и вбок: там возле ящика сидел Шарик, вилял хвостом и умильно смотрел в рот своего хозяина. Филька покосился на нары: девчонка-мать мечтательно уставилась в брезентовый потолок своей кельи; весь смысл Филькиной песни она, должно быть, вобрала себе в грудь, и выросла в ее груди большая радость.

Филька от удовольствия высморкался на песок и крякнул. И всем троим стало хорошо.

Вбежала белокурая чумазая девчонка в порыжелом драном, до пят, пальтишке. В ее руках — грязная кринка с манной кашей.

— Ты дежурная при Майском Цветке? — затыкая бутылку тряпкой, грозно спросил Амелька девочку. — Где ж ты шляешься?! Ребенок плачет.

— Я Майскому Цветку кашу варила, — пропищала та. — Ну, так и заткнись.

— Ну, ты! Вонючка! В морду!..

Фильке не понравилось это:

— Пошто так?.. Обидно ведь...

Амелькино лицо стало надменным и сердитым. Сквозь зубы сплюнув, он сказал:

— Им только шею протяни, — они тебе башку оторвут да в бельма бросят. Это — народы опасные.

Филька с Амелькой вышли из палатки в помещение баржи. Возле печки лежал на каком-то пакостном барахле щуплый парнишка. Правая нога его уродливо скрючена. Впритык к печке стоял костыль. Парнишка вздрагивал, стонал. На его голове надета в виде скуфейки арбузная корка.

— Спирька Полторы-ноги, что с тобой?

— Лихоманка, — прохрипел Спирька. — Шибко треплет по вечерам.

— Ты смотри не околей, — погрозил Амелька пальцем. — Мы не любим покойников... Чуешь?

— Чую.

Подошел парень с белыми усами, звали его Дизинтёр. Он сбежал с гражданской войны от деникинцев, да так и путается. В его руках большой арбуз. Он вынул из-за голенища нож, распластал арбуз на две половины, середку выковырял медной ложкой и выбросил тут же на песок, потом снял со Спирькиной воспаленной головы нагревшуюся арбузную скуфейку, надел свежую, холодную. Спирька вздрогнул и приятно загоготал.

— Жар вынимает, — пояснил Дизинтёр.

Возле кормы, у теплинки, гнусаво пели в три голоса:

Не ходи ты так вечером поздно
И воров за собой не води,
Не влюбляйся ты в сердце блатное
И жигана любить погоди...

Амелька сказал Фильке:

— Пойдем, ежели хочешь, на улку, на наш пришпект.

Вышли, постояли у костра, покурили. Филька не умел курить, затянулся Амелькиной трубкой и закашлялся. Пошли к реке. Заря еще не погасла. Клубясь по небу, развертываясь и свертываясь быстролетной широкой лентой, табунились осенние скворцы. По реке шлепал в сумерках огнистый серый пароход. Плицы торопливо загребали воду; из трубы валил густой дым; с носа доносились крики наметчика:

— Се-е-мь!.. Семь с половино-о-й!

На том берегу, за рекой, уходила в безбрежные просторы степь. Амелька знал, что за степью, там, далеко-далеко, куда скоро улетят вот эти самые скворцы, синеет Черное море, а на море — сказочные страны: Крым, Кавказ, где круглый год тепло, где виноград и апельсины.

— Я вот уж скоро три года бродягой живу, а там не бывал, — сказал он Фильке. — Вот этой зимой поеду. Желаешь? На курорт. Гопничать.

Филька смолчал, задумался. Шарик по-умному, с грустью поглядел ему в глаза, что-то понял в них своим собачьим сердцем, повернулся в сторону города и, повизгивая, протяжно залаял. Филька тоже посмотрел на затихавший город; ему стало жаль покинутого им слепого старого Нефеда: как-то он там, сердяга?

Амелька сразу почувствовал настроение нового товарища и бодро сказал:

— Ты о слеподыре своем не думай. На Кавказе — лафа, курорт. Тепло. Мы обязательно с тобой поедем. А Шарика надо пока что на дозоры приспособить, пусть обход по ночам делает, сторожит нашу камунию.

— От кого? — безразличным голосом спросил Филька.

— Как от кого? От мильтонов, от ментов.... Так милицейских мы зовем.

Постояли. Всплескивая, в реке играла рыба. Пароход вновь загудел вдали, стал делать оборот. Из-под дырявой баржи летели рев, шум, веселье беспризорников. Амелька с небрежным форсом вынул из кармана черные, без стрелок, часы.

— Идем, — сказал он.

В барже опять девчонка пробила в железный лист десять. Амелька залез под баржу, посвистел в свисток.

— Эй, шпана! Тихо, тихо. Ша! Кима́рить!.. Спать!..

Баржа постепенно умолкала. Многие, не прекословя, укладывались на покой. Пожилые нищие и какие-то старушонки попрошайки давно спали. Картежники, сдерживая голоса до шепота, продолжали резаться в карты: в петушка и в трынку. Наступила тишина. Филька пошел в свой угол.

Вдруг среди полного молчанья раздались крики, брань. Это в дальнем углу дрались трое картежников: они в свалке катались по земле, опрокидывая чайники и что попало. Амелька схватил лопату и с остервенением начал охаживать ею драчунов.

— Вы что, дьяволы?.. Забыли? — шипел он. — Майскому Цветку покою не даете... Может, хотите, чтоб я кой-кому перышком горло перерезал? Завтра же из камуньи вон!

— Не имеешь полного права! Кишка тонка.

— На общее собранье вынесу.

Филька каждый вечер наблюдал, как ровно в десять, оберегая спокойствие Майского Цветка с ребенком, беспризорники водворяли тишину. Правило это они держали строго.

III

ИНЖЕНЕР ВОШКИН — ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. ДЕВЧОНКА ИЩЕТ ПОКРОВИТЕЛЯ

Каждый вечер после десяти часов маленький отрепыш с круглым лбом залезал на крышу, где была укреплена высокая мачта с проведенной от нее к соседнему дереву струной, ложился брюхом на обшарканное о речные камни барочное днище и слушал радио. Отрепыша звали Инженер Вошкин. Он щеголял в каком-то странном наряде из мучного мешка с тремя отверстиями для головы и рук; на груди красовались георгиевский крест и медная медаль, на голове — инженерская фуражка с топором и якорем. Крутолобая голова отрепыша все-таки маловата: он обматывал ее тряпьем и сверху напяливал фуражку. Ему всего девятый год, но он старался держаться независимо; жженой пробкой он для солидности навел себе усы и клинообразную бородку. Он был изобретательный парнишка: сделал радио из жестяной коробки, выдумал песочные часы и всех уверял, что скоро изобретет шапку-невидимку. Большинство детворы относилось к нему со снисходительным уважением: некоторые искренне, другие — чтоб поглумиться над ним.

Инженер Вошкин очень понравился Фильке. И на вторую же ночь Филька полез к нему на баржу.

— Ты что тут?

— По ефиру путешествую.

— Неужли слышно?

— Слышно, — важно сказал Инженер Вошкин и покрутил наведенные усы. — Передают гитацию, дуй их горой. Да бюро погоды.

— Какая бюро?

— Погоду врут. Осадков нет, тенденций нет... Скоро балалайки будут, тогда услышишь.

Оба лежали рядом на спине.

— У нас которые марафету нюхают... Я не нюхаю.

— Какую такую марафету? — спросил Филька.

— Кокаин. Нешто не знаешь?

— А пошто его нюхают? Он ладикалон, что ли?

— Нет. Он белый... А нюхают, чтоб обалдеть.

Филька ничего не понял и решил, что мальчишка врет.

— Наша шпана другой раз что украдет, выменяет на марафету, — тоном знатока разглагольствовал Инженер Вошкин; чтоб скрыть детскую нежность своего голоса, он говорил с хрипотцой и подозрительно косился на Фильку, опасаясь, как бы тот не принял его за «пацана», то есть за маленького мальчика. — Рваная рубаха у нас ценится четыре понюшки марафеты, десять понюшек — сапоги. Понюшка вместо денег у нас ходит. Другие которые пропадают чрез это. Все променяет. Голый. И нос у него опухнет. А сам трясется весь. Я не нюхаю: образование не дозволяет. Вредно.

Филька улыбнулся. Инженер Вошкин не заметил этого. Лежа на спине, он со вниманием всматривался в небо: тьма вверху и звезды.

— Желательно бы знать: что есть звезды? — мечтательно сказал Инженер Вошкин и, крадучись, положил что-то возле Фильки.

— Звезды, надо быть, огонь, — ответил Филька.

— Известно, не курица. Я подозрительную трубу изобретаю. Востраномию. Все увижу, что там есть.

Вдруг Филька вскрикнул и сбросил с себя какую-то черную скакнувшую ему на грудь гадину. Инженер Вошкин захохотал.

— Это я лягушку изобрел, не бойся. — Он поднял и показал свое изобретение Фильке.

— Однако ты башка, — похвалил его Филька.

Инженер Вошкин поиграл медалью, поправил под картузом тряпку, важно сказал:

— Еще изобретаю одну вещь, только ты не говори Амельке. Я изобретаю двойную мазь: хочу Майский Цветок к себе приворожить, чтоб на мне женилась.

Филька повернул к нему свое улыбающееся лицо и рассмеялся:

— Какой же резонт из этого, ежели ты маленький парнишка?

— Ага! Я, по-твоему, пацан?! А это видишь? — с неожиданной яростью закричал Инженер Вошкин, тыча в свои усы и бороду. — Пошел вон, пятнай тя черти!! — И он ударил Фильку по загривку. — А то живо на тебя изобретенного удава напущу! Двадцать две сажени...

Филька от хохота свалился с баржи в кусты. Спать не хотелось. Он растер уставшие от смеха скулы и осторожно стал пробираться к реке. Услышал где-то близко голоса — мужской и женский. Голоса вдруг смолкли, притаились. Притаился и Филька. Вот опять заговорили. Фильке интересно послушать, и он тихохонько пополз на голоса.

— Ты откуда родом-то? Как попала-то сюда? — говорил мужчина.

«Это — Дизинтёр, — догадался Филька, — он, он...»

— Я-то? Я с-под Саратову. А пошла с голоду. Голод у нас сильный был, страсть какой голод, человечину ели которые. Вот ушла... А то батька с маткой и меня, чего доброго, сожрали бы.

— Та-а-к... Бывает. А я тамбовский. От Деникина удрал. Ну, не лежит мое сердце воевать. Ни в красных, ни в белых. Ну их к чумару.

— На вот тебе браслетку...

— На што мне твою краденую браслетку?

— Я не украдывала: мне барыня одна подарила... Продашь, купишь себе булок, шоколаду.

— На што мне твой шоколад? Мне в рот не надо. Я хрестьянин. А ты, девчонка, беги отсюда. Скорей беги. А то пропадешь здесь с этой шатией.

Филька слышал, как девчонка сильно, надсадно задышала и стала говорить дрожащим торопливым голосом:

— Я тебе завтра вина добуду. Я тебе селедок добуду, сыру... Ты только, Гриша, полюби меня.

— Дурочка ты, дурочка... Я не пью вина. Пошто мне твой сыр да селедки?.. Ежели захочу, сам куплю. Я ж на пристани кули таскаю... На́ рубль, ежели желаешь... На́ еще полтину... Только убегай отсель, куда глаза глядят. Я тоже вскорости в деревню уйду, на землю сяду для работы.

Девчонка всхлипнула и заговорила еще торопливей:

— Нет, ты полюби меня, слышишь, полюби... Я не отстану... Полюби!.. Я марухой твоей буду. Хочешь?

Филька, воткнув голову в гущу веток, стоял на карачках шагах в трех-четырех от говоривших, но никак не мог разглядеть их лиц: так что-то неявственно серело сквозь сумрак ночи. Ему стало жаль девчонки: она представлялась его воображению такой же несчастной, как и Майский Цветок, такой же обиженной и бесприютной.

Но вот заговорил Дизинтёр грубым мужиковским голосом. Филька насторожился. Он уважал этого толстогубого, широкоплечего, с голубыми глазами, парня. Ему нравилось, что парень опрятен, умывает лицо мылом, расчесывает медным старинным гребнем льняные свои волосы. «Нет, хороший, резонный парень. Уж он-то никогда не допустит с девчонкой худого».

Парень говорил:

— И чего ты, девчонка, липнешь ко мне? Который тебе год? Ведь я знаю, тебе годов не боле, как четырнадцать. Дура ты, дура, глупая... Неужели я на тебя польщусь? И напрасно ты меня в кусты манишь... Дура!

Тогда девчонка заплакала. Сначала тихонько, по-щенячьи, потом толще, покашливая, всхлипывая и сморкаясь. Сморщился и Филька: тоже подступили слезы... «Что же это такое, а?»

Девчонка, заикаясь, как в родимчике, по-детски выкрикивала обиженным голосом:

— Я... я... мне хочется... ребеночка чтобы родить... Чтобы как Майский Цветок! Ребеночка!..

Парень засопел, спросил:

— Зачем тебе?

— Чтобы мне уваженье было... Чтобы...

— Брось! — крикнул парень так громко, что Филька немножко отполз назад. — Брось канитель разводить!.. Нехорошо это, паскудно... Брось!

Парень, сердито пыхтя, встал и, шурша сонными ветвями, быстро удалился.

Девчонка плакала в кустах:

— Может быть, я... Может, я не за худым к нему, к дураку. Мне страшно здесь одной, вот и... Пожалеть некому...

Филька крякнул и, взволнованный, пошел под баржу спать. На пепле потухшего костра сладко дрых свернувшийся калачиком Шарик. Сонная «камуния» храпела, покрикивала, бредила...

Многие спали на лохмотьях, другие прямо на земле; некоторые же подстилали под себя содранные с витрин пласты афиш.

Какой-то отрепыш вскочил и резко заорал во сне:

— Змея!!

Десятки встрепанных голов враз приподнялись, как поплавки со дна.

И вновь страшный крик:

— Змея! Змея ползет!..

Таким отчаянным голосом может кричать лишь человек, который внезапно обнаружил у себя под рубахой холодного гада и со страху потерял рассудок.

Вся баржа в момент опустела; всех будто вымело мгновенным ураганом. Беспризорников охватил всеобщий ужас. Они мчались звериным стадом, не видя куда, ломая кусты, падая, вскакивая, сшибая с ног один другого; мчались молча, полусонные и дикие. От быстрого бега лохмотья гулко шлепали о воздух, мотались за плечами, веером распластываясь в сизом сумраке, как крылья сказочных каких-то птиц. Вот

они налетели с разбегу мордами на изгородь и сразу же очухались, проснулись, пришли в себя.

— Пошто? Зачем? Чего это?! — бросали они друг другу, плохо понимая причину бегства.

В барже оставались: умирающий Спирька Полторы-ноги, Филька, еще тот, что поднял переполох, еще Майский Цветок с ребенком да пожилые оборванцы: цыган, старухи, нищие.

Когда выяснилось, что напугавший всех отрепыш Ленька Жох увидел змею во сне, беспризорники зло захохотали:

— Он, шалавый, шутки шутит.

Кто-то крикнул вгорячах:

— Дуй Леньку Жоха!.. Бей по маске!

Однако ребята твердо знали, что не только рядовой отрепыш, но даже сам вожак не имеет права самочинно расправляться с виноватым. А вожаку Амельке так хотелось вздуть для порядка Леньку Жоха.

— Братва! — встряхнул он своей скуфейкой и прищурил сонные, узенькие глазки. — Предлагаю спустить с Леньки портки и всыпать двадцать пять горячих. Кто против? Принято!

Ленька штанов не имел. Его повалили и задрали на голову кацавейку. Из толпы вышел, как требовал того обычай, самый младший член коммуны Инженер Вошкин. Для хлесткости удара он поплевал на толстую деревянную ложку и раз за разом влепил в голый зад Леньки двадцать пять горячих. Бил он с толком, смачно, но очень милостиво. Ленька плакал не от боли, — от обиды. Инженер же Вошкин важно говорил:

— Чтоб тебе в свинячьих щах так черта увидать, как ты змею увидел... Восемнадца-а-ть!.. Из-за тебя моя инженерская фуражка неизвестно где... Девятнадца-а-ть! Как я изобре-тать без картуза буду? Двадца-а-ть!!

Сон прошел. Беспризорники разгулялись. Кто-то развел костер. Стали чай кипятить.

Возле печки стояла Майский Цветок, несовершеннолетняя маленькая женщина. На ее голове и на плечах — красная, по-цыгански повязанная шаль, в ушах — большие серьги обручами, на руках — деше-

венькие кольца и браслеты. Напудренная, нарумяненная, с горящими черными глазами, она стояла, как владычица, важно и надменно окидывая гордым взглядом свое преисподнее царство, и, видимо, требовала внимания к себе. Но беспризорники были заняты шумным обсуждением случившегося и ночной жратвой.

IV

«МИРСИ, БАРЫНЯ». В ЖИВОПЫРКЕ

Утром, рассыпавшись кучками, ребята пошли на «дело».

Орава человек в пятнадцать худых, с испитыми, болезненными лицами ребятишек, отстав от товарищей, проделывали возле баржи упражнения. Некоторые подкладывали под рубаху горб, скрючивали ногу и култыхали на костылях, как прирожденные калеки. Иные подвязывали под колено деревянную ногу, строили просительную физиономию и, пригнув голову к плечу, шли с вытянутой рукой вперед, жалостно скуля: «Подайте калеке несчастному, отец — вдовец, мать — сирота».

Ванька Щегол, длинный и чрезмерно худой, растравлял подживавшую рану на предплечье: он смочил ее слюной, натер солью и молотым перцем; показалась сукровица; стало очень больно: парень закрутился на месте и стиснул зубы — рана горела. Через час, когда Ванька Щегол будет выпрашивать подаяние, рана покроется гноем. Андрюшка Грач, короткошеий урод с вдвинутой в плечи вихрастой головой, защурив правый глаз, приляпал на него лепешку из крутого теста и вдавил в это тесто стеклянное искусственное глазное яблоко, а в рыжие, длинные, как у монаха, лохмы густо насадил шишек чертополоха. Потом, сидя перед осколком зеркала, измазал лицо грязью, ловко скрыв спайку теста с кожей. Получилась отталкивающая маска странного уродства: левый — натуральный — глаз был полуприкрыт, правый — стеклянный — глазище, похожий на глаз быка,

тупо смотрел неподвижным зрачком вверх. Довольный Андрюшка Грач улыбнулся сам себе и прогнусавил:

— Добрые граждане, обращаюсь к вашей неизреченной доброте. Обратите божеское внимание на слепорожденного урода. Денно и нощно мучаюсь за грехи родителей своих несчастных. И нет мне, калеке, утешения. С Ильи-пророка мне тридцать первый год пошел, а оказываю я, как вьюнош.

Мальчишка скривил харю, замотал головой и жалостно завыл.

Наблюдавший эту сцену Инженер Вошкин сказал, смеясь:

— Стерва какая натуральная!

Потом вся компания, взвалив на плечи костыли и самодельные протезы, веселой гурьбой побежала к городу, чтобы там обратиться в несчастных уродов и калек.

Часом позже ушли на вокзал так называемые «тележники». Их было пятеро; каждый катил перед собой двухколесную тележку для перевозки пассажиров. Тележники воровством занимались редко.

Многие из беспризорников, что постарше да покрепче, чем свет ушли на поденную работу с Дизинтёром: рыть канавы, вылавливать из реки затонувшие дрова, сортировать доски.

Таких было человек двадцать. Дизинтёр сумел отколоть их от Амельки, он руководил ими: они с готовностью подчинялись ему. Когда выпадал хороший заработок, Дизинтёр отбирал от них деньги и сдавал в сберегательную кассу.

— Вы, ребята, теперича сыты, обуты, одеты. На пьянство я никому денег не дам. Пусть свинья жрет водку. А ежели нужда прихлопнет кого, тогда, сколь понадобится, выну. Не опасайтесь: обману не будет — я не босяк, не Амелька.

Дизинтёру верили, любили его. Он говорил:

— У кого в башке есть, тот и со шпаной жить может. С него все худое — как с гуся вода. Однако, ребята, ежели окончательно на ноги подниметесь, бегите отсель. Работы теперича много: на заводах,

в совхозах... да мало ли где... От худых дел сторонитесь. Худое поманит, да обманет. А вы завсегда, ребята, помните: вы человеки есть. А жизнь долга.

Его радовало, что вот он, усатый деревенский парень, сумел сбить в кучу два десятка трудолюбивых беспризорников и что их жизнь под баржей подавала благой пример другим.

Одетый в рубище, босой, еще не освоившийся с новой жизнью, Филька Поводырь примкнул к группе своих первых знакомцев: Амельке, Пашке Верблюду и Степке Стукни-в-лоб. У Фильки не было намерения ввязываться в какую-нибудь гадкую историю, — нет, он просто поглядит на оборвышей со стороны, потом пойдет бродить по чайным, авось встретит там слепого дедушку Нефеда и хоть издали подивуется на нищего: какой-то он, все ли в добром здоровье и что за новый поводырь при нем? А ежели нет поводыря, Филька, чего доброго, вновь вернется к слепому деду. Вот возьмет да и вернется. А что ж, разве Филька не волен в своих поступках?

Но Филька уж начал въедаться в волчью жизнь бездомников; он стал находить в ней вкус и какую-то непреоборимо притягивающую силу.

Пришли на базар. Народу много. Без счета крестьянских телег с поднятыми оглоблями. Пахло дегтем, капустой, луком, грибами, яблоками, конской мочой.

Вот на телеге молодая баба в желтом, с разводами, платке. Вытянув ноги, она плотно сидит пышным задом на завязанном в бумагу свертке: покупка мужу на штаны, себе на платье, отцу на рубаху. Наученная горьким опытом, она зорко стережет покупку, злобно посматривая на стоящих в стороне Фильку и Амельку. В передке телеги открытая кадушка сметаны. За спиной бабы незримой тенью топчется Пашка Верблюд.

— Продаешь?—гнусит Степка Стукни-в-лоб, встает на переднее колесо, поддевает ложкой сметану, пробует.

— Геть, пащёнок! — визгливо орет баба, боясь оторвать зад от заветной покупки. — Положи ложку!

— Тетка! Дай ему по роже-то кнутом! — возмущенно кричит издали Амелька.

— Плохая сметана, горчит, — говорит Степка Стукни-в-лоб и поддевает вторую ложку. — Даже совсем жидкая...

Молодуха, вся позеленев, быстро приподнимается, чтоб дать отрепышу затрещину, но тот, плеснув бабе в глаза сметаной, уже мчится прочь под крик крестьян. А в другую сторону улепетывает с украденным у бабы свертком Пашка Верблюд, рядом с ним Амелька.

Филька сразу же от своих отбился. Ну их к черту... Жулики... Его заинтересовал толстомордый кривоногий оборванец. На голове оборванца плешины от нарывов, глаз подбит, веко другого глаза вывернуто и отвисло. Оборванцу лет двадцать. Он, наверное, живет где-нибудь в другом месте. Филька ни разу под баржей не встречал его. А тоже беспризорник, сразу видать — грязный, рваный и отчаянный. Но вот штука: на руках у него закутанный в тряпье ребенок. И все время ребенок плачет, криком кричит, а парень баюкает его, утешает.

Какая-то женщина в шляпке покупала у крестьянина цыплят. В ее руке сумочка и связка бубликов. Она крикнула через дорогу:

— Где ты, паршивец, взял ребенка? Почему он плачет у тебя?

— Исть хочет, — сипло ответил оборванец и, раскутав тряпье возле головы ребенка, сказал: — Проси у барыни бубликов.

Ребенок запищал:

— Барыня, дай бублик.

Народ засмеялся. Изумленная барыня, рассчитываясь с крестьянином, торопливо бросила бублик парню. Оборванец поймал бублик на лету, сунул его в карман и прохрипел ребенку:

— Что надо сказать барыне?

— Мирси, барыня,—по-щенячьи пропищал тот,— очень даже мирсите вас.

Филька, видя это, стоял разинув рот и не верил глазам своим. Любопытствующая толпа охватила

оборванца с ребенком тесным кругом. На лицах зевак удивленье и веселые улыбки. Ребенок опять заплакал резко и жалостно, как пойманный собакой заяц.

— Ну, ты! Убью! — И парень с маху ударил его по голове.

Ребенок зашелся в плаче на всю площадь. По толпе прогудел сдерживаемый любопытством ропот:

— Что он, собака, делает!..

Барыня вспыхнула, как порох, закричала:

— Как ты смеешь, пастух, младенца бить?!

— А он чего орет?.. — И парень опять треснул ребенка.

— Милицейский! Милицейский!! — завопила барыня.

Толсторожий оборванец сделал вид, что хочет бежать, и действительно, он пробежал шага четыре, потом вдруг остановился, схватил ребенка за ноги, грохнул головой о мостовую и швырнул барыне:

— На, коли тебе его жалко! На!!

Тельце малютки описало в воздухе дугу и шлепнулось на землю. Барыню и всю толпу охватил ужас, перешедший в бешенство. Меж тем ребенок, упав к ногам барыни, вдруг обругался черной бранью и пропищал:

— Ты что меня, дурак, бросаешь: я кукла, что ли?

У крестьян зашевелились со страху волосы. Еще секунда — и обалдевшая толпа втоптала бы парня в землю. Но он исчез. Исчезла и сумочка барыни и многое множество кошельков, покупок, платков, часов, бумажников из карманов одураченных зевак. У ног барыни валялась перевязанная мочалом коричневая рвань, тряпье.

Беспризорники мчались с рынка во все стороны, как мыши от кота. Пересвистывались в разных местах милиционеры, кричал народ:

— Держи, держи!

Фильку нагнал Инженер Вошкин. Он тащил большой, в половину своего роста, пшеничный калач и говорил Фильке:

— Это называется «чревовещатель с куклой». По-нашему, — фармазон. А это вот — изобретение калача. Хочешь жрать?

Филька, не ответив, оторопело побежал дальше. Инженер Вошкин кричал ему вдогонку:

— Бой будет, драка. Этот рынок наш. У нас свои «рыночники». А тут заречные рыночники пришли... Мы их взвошим...

Филька сиганул в подвал какого-то дома и остроглазо поглядывал на улицу из подвального окна. Два милиционера вели по тротуару мимо Фильки двух пойманных отрепышей. Оба отрепыша горько плакали. Тот, что постарше, — в длинной тальме, картузике, штанах. Милиционер, успокаивая, говорил ему:

— В чем дело, Колька? Тебя, как барона, повезут в Ростов-Дон, в детдом... В чем дело?

— Все равно убегу-у-у...— выл парнишка; слезы на лице смешались с грязью, лицо стало шоколадным. — Не хочу к «красивым»... Убегу-у... А нет — утоплю-у-усь...

— Иди, иди... Топиться вредно.

Маленько погодя Филька вылез из подполья и пошел бродить по успокоившемуся базару. Слепого дедушки Нефеда нигде не было.

«Надо по живопыркам потолкаться, по чайнухам», — подумал он и вошел в самую просторную чайнуху. Из потных, грязных распахнутых дверей живопырки валили чад, табачный дым, гарь и хмельной гул голосов.

— Эй, паренек, — окликнула его какая-то тетка деревенская. — Не хочешь ли чайку? Вот и сахар. Вот хлеба тебе... Пей. Товарищ услужающий, можно ежели ему чайку испить? — обратилась сердобольная тетка к служащему. — Бездомовник, видно.

— А мне что... Только иди, парнишка, вон в тот угол, не мозоль глаз.

Тетка погладила его по голове, сказала:

— Видно, сирота. Али так, балованной жизни ищешь? — взяла кошель и ушла.

Ласка незнакомой тетки бездомному Фильке — как масло по душе. Но слюни пускать некогда: служащий схватил его чайник, крикнул:

— Наматывай за мной!

С наслаждением принюхиваясь, Филька жует свежий деревенский хлеб, пьет чай, внимательно обшаривает взглядом каждый стол.

— Дед! — вдруг радостно крикнул Филька, приподнялся и снова сел.

В углу около окна пил чай старый слепец Нефед. Возле него — сухопарый небольшой мальчишка; волосы у него черные, в скобку; лицо острое, худое; передний зуб торчит и выпирает верхнюю губу.

«Чисто суслик», — с некоторым злорадством подумал Филька про нового поводыря и горестно вздохнул.

А дед Нефед показался ему самым родным и самым близким. Эх, дурак, дурак! Зачем он бросил деда мотаться на старости лет с каким-то паршивым сусликом? Нехорошо поступил Филька, не по правде.

Он жадно вглядывался в черты милого бородатого лица, пытливо изучал это лицо, словно впервые его видел. Изжелта-пепельные волосы деда густо спускались на изрытый морщинами бурый потный лоб. Незрячие, покрытые бельмами глаза сидели глубоко в орбитах, и над ними козырьком хохлатые брови. Вид деда угрюм, печален.

Деду жарко: он расстегнул ворот рубахи, отер рукавом взмокшее лицо.

«Жарко тебе, дедушка Нефед? — мысленно спросил Филька. — Ишь утирается... Старичок приятный мой...»

Близко от деда сидела пьяненькая компания. Похожий на церковного старосту почтенный седой старик в пиджаке расслаб душою, выдохнул из широкой груди воздух, крикнул:

— Эх, господи!.. Песню бы... Ну, страсть до чего люблю песни слушать.

И едва он кончил, как Нефед поднялся со своим поводырем, отер усы и запел древнюю стихиру об Алексее, человеке божьем.

— Ишь запел дедушка Нефед, — с восхищением сказал самому себе Филька и заулыбался.

Маленький, остролицый, как суслик, новый поводырь звонко вторил деду сильным детским голосом. Но, видимо, он слова знал плохо и, в упоении закрыв глаза, вел одну мелодию.

Многочисленная публика, бросив разговоры, вся ушла в слух.

Почтенный подвыпивший старик, растроганный пением, пьяно заплакал и, хлюпая и пуская пузыри, закричал сквозь слезы:

— Певчие! Еще!.. Жертвую полтинник... Соль-си-ре си-соль... Жарь херувимскую с оттяжкой!

Дед поискал темными глазами что-то в потолке, перешепнулся с мальчишкой, осанисто огладил бороду и густо завел новую стихиру. Тогда какая-то непонятная сила подняла Фильку с места. Не отдавая себе в том отчета, он очутился возле слепца и смело вплел свой грудной крепкий голос в тугой мотив стародавней песни. Дед, не переставая петь, удивленно боднул головой, уставился бельмастыми глазами в рот поющего Фильки; коричневые щеки его задергались и вспыхнули, а голос дрогнул.

— Филька, — простонал он, оборвав песню. — Ох ты, Филиппушка ты мой, соколик... — Голос слепца захрипел, сломился, перешел в слезу, слепец шарил руками воздух, тянулся к Фильке, твердил: — Филя, соколик мой... Где ты, дите несчастное?

У Фильки все запрыгало в глазах: стены, окна, серое месиво людей, дед, мальчишка, и резкая боль сжала его сердце. Он поймал дрожавшую руку слепого старца, со всей силой взасос поцеловал ее и, преследуемый настороженной тишиной толпы, на крыльях все той же неизвестной ему силы выкатился из чайнухи вон. Не останавливаясь, не оглядываясь, он бежал без передыху вплоть до баржи. В его душе кипела странная борьба с самим собой, с другим каким-то Филькой, который настойчиво требовал вернуться к деду, уйти из этого гнезда жалких полу-

людей, полузверенышей. Но в мягкой словно воск Филькиной душе уже окрепли новые желания и новые привычки. Сладкий яд свободы надолго и прочно отравил Филькино сознание. «Уж ты прости, дедушка Нефед, прости...»

V

БОЙ С ЗАРЕЧНЫМИ, И ЕДИНОЕ В СЕРДЦЕ — МОГИЛА

Филька забился в темный угол баржи. Потом заснул. Когда проснулся, под баржей кое-где мутнели зажженные свечи в самодельных фонарях, а на воле горел костер. Значит — вечер. В ногах у Фильки лежал Шарик. Филька приподнялся. Шарик преданно уставился ему в глаза, прижал уши, завертел хвостом. Филька огладил собаку и сказал:

— А я, Шарик, дедушку Нефеда видел... При нем — парнишка... Он паршивый, парнишка-то. А дедушка Нефед хороший.

Шарик, конечно, понял его речи, попробовал улыбнуться Фильке, крутнул головой и что-то по-собачьи ответил.

Беспризорники, как всегда, суетливо шумели. Картеж, песни, плясы, зуботычины.

Но вот Амелька засвистал в свисток:

— Эй, братва! На собранье, на собранье!!

Ему помогал одноглазый, в бабьей рубахе, Карась. У него за веревочным поясом все тот же деревянный кинжал, на голове папаха.

— Братва! — сказал Амелька собравшимся у костра ребятам. — Завтра утром, чем свет, вызываем заречных к ответу. Бой! Поняли за что? Ножей в ход не пускать. Гирьки можно. А ежели понадобится, я сам кой-кому перышко воткну.

Ребята сразу согласились, и общее собрание разошлось.

Филькe все это было непонятно. Он не знал молчаливых отношений между различными организациями беспризорников; ему не было знакомо и неписанное право на добычу.

Амелька поучал его за чаем:

— Мы под баржей существуем, а другие коллективы кой-где: которые — в старых вагонах, «майданщики» зовутся, которые — на пристани, которые — в Заречной части. Там вожак Митька Заречный. И каждому коллективу отведена своя часть города. У нас — центр. Понял? И никакой коллектив не имеет права работать в чужом районе. Иначе — стенка на стенку, бой... А нет — и смерть по суду. Понял?

Фильку испугало слово «смерть»: он на драку не пошел, остался дома.

Осенью рассвет наступает поздно. Группа человек в двадцать крепких ребят, под водительством Амельки, двинулась чем свет к заречникам. В городе они рассыпались по одиночке. Потом, вновь сгрудившись, ватага пересекла всполье и подошла к брошенной старой скотобойне, где ютилась беспризорная шатия. Солнце еще только загоралось, но скотобойня на ногах.

— В гости к вам, — воинственно сказал Амелька. — Эй, Митька, выходи!

Амелька сел со своими на росистой луговине. Все закурили. Амелька с алчностью понюхал марафеты. Глаза его ожили, голос стал звонок, движенья смелы, резки.

Из развалин скотобойни вышел в сопровождении шпаны Митька Заречный. Он походил на цыгана, был на голову выше Амельки, но жидконог и тонок. У него черные кудрявые волосы и веселые навыкате глаза. Он был бы красив, если б не большой желто-грязный, налившийся гноем нарыв на щеке, возле носа. Длинная шея Митьки замотана гарусным зеленым шарфом, концы которого с живописной небрежностью перекинуты за спину. На нем рубаха-апаш, голая грудь татуирована, рукава рубахи засучены. Наблюдательный Амелька взглянул на оголенные, испещренные уколами руки парня и сразу догадался — «морфинист». На ногах Митьки солдатские штаны, обмотки и желтые, толстой кожи, грязные штиблеты. Окруженный

толпой оборванцев, он нагло подбоченился и смело попер на сидевшего Амельку.

— Чего тревожишь? — тенористо крикнул он, встряхнув кудрями, и сплюнул.

— Садись, — твердым голосом сказал Амелька и тоже сплюнул. — Высок очень. До морды глазом не достанешь.

— Возьми бельма в зубы, коли слеп, — надменно ответил Митька и сел. — В чем дело?

— Твои рыношники вчерась на нашем рынке работали. Как это называется — у своих отначку делать?

— Ври.

— Сам помри.

— Я воскресну — тебя в морду тресну, — опять сплюнул Митька и хрипло забожился, ударяя себя кулаком в грудь: — Будь я легавый, ежели наши были там.

— Как? Еще запираться?! — вспылил Амелька и обернулся к своим.

— Были, были!.. — засверкала глазами Амелькина ватага. — Пошто в отпор идешь? Мы те чирей-то прочкнем!

— Ширму ставили!

— Много ли карманов вырезали? Были твои, были!

— Ша!! — цыкнул на своих Амелька. Те смолкли.

— Легавый буду, ежели были, — стоял на своем разгоравшийся Митька. — Век свободы не видать. Вот! — И, принося эту высшую клятву, парень театрально потряс вскинутой рукой.

Амелька презрительно скосил на него глаза и бросил:

— Ты не вожак, а вошь! Где твой парень с куклой?

— В кичеван попал, в тюрьму. Засыпался.

— Ах, та-а-ак?.. — протянул Амелька. Возбужденные кокаином нервы его были обманчиво приподняты, как перестроенные на мажор струны гитары; Амелька теперь чувствовал себя правым, легким и непобедимым. Его ошалелые глаза окинули врагов лихорадочным, неверным взглядом: ему показалось, что враг малочислен, ничтожен, зато за плечами Амельки — большая рать силачей-головорезов. — Ах, та-а-ак... —

заскрипел Амелька зубами и ударил Митьку по скуле: — Даешь бою?!

Началась молчаливая свалка. Кто крикнет, тот «легавый». Амелька два раза падал, два раза подминал под себя Митьку. Гарусный шарф впивался помертвому в хрящеватое Митькино горло. Митька хрипел. Но победитель Амелька вдруг кувыркался куда-то в овраг, и белый свет выкатывался из его глаз. И вновь и вновь Амелька на горе, на вsполье, где катаются в ярой схватке его бойцы. Небо и земля колыхались пред Амелькой, он плавал на крыльях где-то там, в пространстве, коршуном клевал своих и чужих отрепышей. Теперь Амельке все равно: он не замечает, что два зуба его выбиты, что из ноздрей хлещет кровь, что Ванька Псовый из его шайки стонет в кустах с перешибленной ногой, что карта Амельки бита, что...

Вдруг как из-под земли вырос крепкоплечий Дизинтёр, гаркнул:

— Что? Наших бьют?! — и ввязался в свалку.

Дальше Амелька ничего не помнил.

Когда побоище закончилось и победитель Дизинтёр тащил на себе в больницу Ваньку Псового с перешибленной ногой, вдребезги разбитые заречные кричали:

— Погодите, гады! Сотрем ваше гнездо. Узнаете!

Из Амелькиной ватаги отвечали:

— А что? Слегавить хотите? За предательство — смерть!

— Мы легавить не станем! Мы спалим вас...

У победителей и побежденных морды разбиты в кровь, многие не досчитывались зубов, некоторые временно ослепли от вздувшихся под глазами фонарей. Все тяжело пыхтели, сплевывали, унимали из расквашенных носов кровищу. Никто расходиться не хотел... На месте свалки валялись шапки, лапти, опорки, рвань. По красной глине цвел зеленью гарусный шарф Митьки. Сам Митька лежал в кустах брюхом на земле и охал. Ему лили на затылок студеную воду. Пашка Верблюд, бывший Митькин враг, теперь великодушно замывал парню вспухшее, измазанное

гноем и кровью лицо. Митька сжал и разжал кисти рук. Нет, пальцы не вывихнуты — все в порядке.

— Оглашенный, морфию... Там, в печурке... — сказал он своему сподручному.

Амельку приводили в чувство свои и чужие. Он лежал рядом с Митькой Заречным, на лугу. Кто-то подал ему скуфейку. Амелька поблагодарил, сказал:

— Нет ли покурить?

Бывший враг, какой-то толстоголовый отрепыш, услужливо подал ему папироску:

— Нá гарочку.

Дизинтёр, обливаясь потом, с большой натугой пронес через весь город изувеченного Ваньку Псового в лечебницу и сдал врачу, сказав:

— Разгружали мы с ним баржу с углем. Парень оступился, нога и хрустнула.

Оставшийся под баржей Филька Поводырь обратил внимание на парня с собачкой. Туловище у беспризорника длинное, ноги короткие, покрытые шерстью, косолапые, ступнями внутрь. Он похож на птицу-пеликана: ходит вперевалку, но бегает быстро. Голова большая, наголо бритая, нос мясистый, красный и черные жидкие усишки. На грязном голом теле рваная ватная жилетка, трусики. Он парень не глупый, но «валяет ваньку». Выражение его серых глаз то идиотское, бессмысленное, то наглое, жесткое, наводящее страх. Звать парня Мишка Сбрей-усы.

Филька подсел к нему, сказал:

— А и хороша у тебя собачка, Миша.

Парень в ответ по-глупому загыгыкал, вложил палец в рот, пустил слюну. Филька огладил сучонку. Та лизнула его ладонь, заюлила, как налим, стала по-человечьи улыбаться, скаля зубы и морща черный влажный нос. Она — ублюдок, длинная, на коротких лапах. Бурая шерсть на боках повылезла, — собачонку часто шпарили на рынке кипятком, — один глаз бельмастый, другой хитрый, ушки то вскакивают, то быстро опадают, на брюхе отвислые соски.

— Хорошая собачка, — еще раз похвалил Филька.

— Я с ней в кичеване сидел.

— За что?

— По пятьдесят девятой, бандитизм. Маруху свою резанул перышком, только не до смерти.

— А чего ты это?

— Много пил, марафету нюхал. Ополоумел, — сказал парень и прихлопнул сидевшую на голом черепе муху. — День пьем, два пьем, три пьем. Стало меня что-то толкать под руку: «Сбрей усы, сбрей усы». Я усы сбрил. А потом толкает: «Удавись, удавись». Я повесился в роще. Сняли. После того вскорости и зарезал.

— Поди страшно давиться-то?

— Нет, только нечем дышать и голова умирает.

Сучка, глядя на хозяина, умильно улыбалась.

— Хрящик! — погладил ее хозяин и выразительно показал ей на свои босые ноги.

Хрящик тявкнул, осмотрелся и, виляя хвостиком, побежал к костру, где спали, сбившись в клубок, трое оборванцев. Вмиг сорвав зубами старую калошу с ноги храпящего отрепыша, сучка приволокла добычу хозяину, положила ее и села по-собачьи. Филька схватился за бока, захохотал. Мишка Сбрей-усы подмигнул, погрозил ему пальцем и, постукивая себя ладонью по лбу, сказал собачонке:

— Хрящик, шапо!

Сучка тявкнула и весело подбежала к кучке игравшей в карты шатии. Филька разинул рот и навострил глаза. Сучка два раза обежала игроков, бельмасто приглядываясь к ним, потом, привстав на дыбки, тишайше оперлась передними лапками о спину Кольки Черта, вытянула шею и, мотнув носом вверх, сдернула с него шапку.

— Хрящик! — крикнул Колька Черт и хватил кулаком по пустому месту: сучка, как бы заметая следы, сначала скрылась за баржей, затем, минуты через две, вылезла из кустов и, волоча шапку по земле, подала ее хозяину.

Мишка Сбрей-усы величественно набекренил шапку, а сучке швырнул огрызок сахару. Подбежав-

ший Колька Черт бросил Мишке три копейки, взял шапку, а сучку лягнул ногой. Сучка перевернулась вверх лапками, заулыбалась, егозя культяпым хвостиком. Шарик сидел набитым дураком, с обидой посматривая, как Филька ласкает этого паршивого урода — собачонку. Да не будь он Шарик, ежели вгорячах не разорвет ее, — черт с ней, что она сучка! Шарик лег и, вздохнув, положил морду на лапы.

— Хрящик мне в деле помогает, — сказал Мишка Сбрей-усы. — С ним не пропадешь. Булками, колбасой я всегда обеспечен. Уворует — и ко мне. Сучка довольно грамотная.

— Сам учил?

— Нет, ты!

Меж тем солнце подходило к полдню. Филька Поводырь сидел у баржи, хотел поговорить с Майским Цветком, но отложил до вечера и, позевывая, направился к реке. В кустах, возле маленькой лужи, он встретил девчонку с коротенькой косичкой и двух мальчиков. Каждый из них занимался своим делом. Бесштанный белобрысый мальчик усердно втыкал на берегу лужи елочки, ветки и цветочки. Из воды торчал остряком камень. На верхушке камня стояла сделанная из спичечной коробки избушка.

— Это — море. Это — Крым, — сказал малыш подошедшему Фильке. — А это — скала Дива, а это — дом. В нем я живу. — Малыш поднял на Фильку испытующе настороженный взгляд, как бы ожидая со стороны старшего товарища обидного опровержения его мечты, нахмурился и засопел.

— А ты был в Крыму? — спросил Филька.

— Был. Я на своем веку двадцать разов туда винтил.

Филька, чтоб не обидеть малыша, быстро отвернулся и фыркнул в горсть.

— А это вот — деревня, — громко сказала девочка с косичкой, очевидно желая обратить на себя внимание Фильки. Ей было лет пять-шесть. Филька подошел к ней и нагнулся, всматриваясь в ее работу.

— Какая ж это деревня?

— Петухово эта деревня называется. Я из этой деревни. Тятя помер, и мамка померла, и тетеньки все померли, и бабушки, и дедушки. Все померли, только я не померла. Я еще не умею помирать: я маленькая. А у нас голод был, в Петуховой-то. Кто с голоду, кого болезнь задавила, хворь. А меня не задавила. Я не умею задавлять: я маленькая.

— Как же сюда-то попала?

— Я-то? Я на пароходе приплыла. Сначала на машине везли задаром, а тут на пароходе. А я в этом месте вышла да погулять пошла по песочку. А пароход ушел. Меня не досчитались, я маленькая потому что. Как ушел пароход, я пошла в город, в церковь. А тут баржа, гляжу. Ну, меня и пустили. А ты кто?

Филька ответил. Девчонка посмотрела на него и сказала:

— Я в монастырь уйду. Вон с тем мальчиком... Вон-вон-вон, который погост делает с могилкой. Он с чужими не говорит, он с тобой не станет говорить, он со мной только говорит. «Вот пойдем, говорит, Лизка, в монастырь...» Это я — Лизка-то. «Пойдем, говорит, Лизка, в монастырь: я в монахи, а ты в монашенки...» Его Петькой звать, Петушком. А я курочка. Он хороший. Он мой братишка.

Девчонка с косичкой говорила торопливо, задыхаясь и утирая рукой набегавшие на губы слюни. Лицо у нее ласковое, приятное, детски нежное, но в голубых глазах отблески большой человеческой печали.

Филька заметил это.

— Ты не тоскуй, не думай ни о чем. Живи, — сказал он.

— Я не думаю. Нас завтра в детский дом уведут. Дизинтёр такой есть под баржей, парень. Ну, так он. Он мне конфетку другой раз дает. Он с понятием. Жалеет меня. Другой раз сказки сказывает.

Филька почувствовал, что с сердца девочки, как с колдовского клубка, разматывается нить недавних переживаний его собственного детства и незаметно тянется к Филькиному сердцу. Девочка вздохнула. Вздохнул и Филька. Девочка вложила в рот палец

и задумчиво поглядела вдаль. А там, вдали, плывут воспоминания, встают сбивчивым видением погибшие родные и знакомый лес, и поля, и нивы, наполненные пеньем птиц. Девочка вдруг улыбнулась и, указав Фильке на вторкнутые в песок веточки, сказала:

— Это вот лес... Наш лес, петуховский. А это вот дятел сидит на дереве. Я его из тряпочки сделала. Он живой. Вот я будто бы гуляю по лесам, по полям, с дятлом разговариваю. Он самый живой. Тогда мне хорошо: не тоскую, не плачу. А вот в ту ночь плачила, шибко плачила. Скушна-а-а.

Филька замигал, отвернулся и пошел от девочки к брату ее, Петьке, Петушку.

— Здравствуй, Петя, — сказал он. — Ты что тут делаешь?

Белоголовый мальчик в розовой грязной рубашонке не поднял головы и не ответил. Стоя на коленках, он делал из прутьев замкнутую изгородь. Внутри изгороди — маленькие бугорки, на каждом — из белых щепок крестик. В середине бугорок был побольше, он обложен травой и поблекшими цветами; крестик на нем был тоже побольше, понарядней, чем на прочих бугорках.

Филька погладил малыша по голове и ласково переспросил его:

— Что же это, Петенька, ты делаешь-то? А?

Малыш запыхтел и, пуская носом пузыри, раздельно протянул хриплым баском:

— По-го-о-ст.

— А что же на погосте-то?

— Мо-ги-лы-ы...

Филька пробовал поддержать разговор, но нелюдимый Петька не отзывался. Девочка с косичкой крикнула издали:

— Он больше ничего не умеет!.. Только погост. Это наш погост, петуховский. Ему четыре года пошло. А раньше три было, Петьке-то...

Петька поднял голову, нахмурил брови и по-сердитому посмотрел. И Филька — не умом, а сердцем — сразу разгадал этот угрюмый, протестующий взгляд

Петьки. Да, да, так оно и есть. Петька, конечно, мог бы много кое-чего налепить из песка, из камешков, веток и цветов, но он не хочет, не будет ничего лепить, кроме погоста и могил.

Петька тоже угадал сердцем, что Филька вполне понимает его, вот девчонка не может понять, а Филька взял да и понял. Петька посмотрел в упор в простодушное лицо Фильки, отвел глаза и опять посмотрел. Филька сплел из травы маленький венок, надел на крестик могилы, что побольше. Сомкнутые брови Петьки распрямились, он быстро, торопливо задышал, заерзал, как бы готовясь к длинному разговору, и сказал:

— Потому что мой тятька помер, потому что моя мамка померла-а-а... Вот они тут, в могилке. Ты не трогай, не зори. А то я укушу-у-у...

— Я не буду разорять, — сказал Филька. — Зачем мне? У меня тоже родители померли.

— Это наплевать, — ответил Петька. — Мои лучше были. Я кажинный раз прихожу сюда, на могилки-то, молюсь.

— Как же ты молишься?

Петька заморгал воспаленными больными глазами, потер их грязным кулаком и прошептал:

— Никак.

Перед ужином кто-то насмешливо закричал:

— Гляди, гляди: красивые[1] пришли!

Возле баржи у костров остановились три прилично одетых мальчика. Шарик привык узнавать своих по отрепьям и лохмотьям. На этот раз он совершенно справедливо заливался грозным лаем. «Эй, Филька и Амелька, вылезай! Вот — чистяки... Пес их знает, зачем они пришли... Жулики какие-то... Гаф-гаф!»

— Мы не «красивые», — сказали чистяки. — Мы делегаты от своих, заречных. Кличьте вожака.

Амелька после утренней лупцовки отдышался. Да, впрочем, он пострадал не сильно: возле правого уха волдырь на голове, слегка ушиблен левый глаз, чуть

---

[1] «Красивыми» беспризорники зовут воспитанников детских домов.

сшевелена челюсть и выбиты два зуба. О том, что скрывают лохмотья, никто, кроме Амельки, не знал; Амелька же чувствовал, что избитое тело его мозжит и ноет. Но вожаку не впервой: дня через три он будет молодцом.

За ним, как и за другими потерпевшими в бою, любовно ухаживала вся баржа: перевязки, массаж, примочки — все было пущено в ход во славу стадного чувства детворы, всяк старался превзойти себя в деле милосердия.

Собрав все присутствие духа, Амелька вышел к делегатам свеж, как огурчик, и приветлив. Он поздоровался с ними за руку, скомандовал:

— Карась, скамейку!

Делегаты сели на скамью, Амелька со своей шпаной — на землю.

— Мы пришли заключить навечный мир между нашими и вашими, — сказал старший делегат с приятным, умным лицом. — Только вот в чем суть: как вы заметили наших на деле в вашем участке, так и мы замечали ваших у себя: ваши домушники на голубятню ходят, ваши стремачи стремят в наших местах, а также работают и ширмачи и сидорщики...

— Я своим не дозволяю этого, — шепеляво перебил Амелька, щупая языком выбитые зубы.

— Ну, вот. Значит, мир?

— Мир... Легавым буду, ежели... Век свободы не видать.

— И нам век свободы не видать, ежели, — поклялись и делегаты. — Теперь получайте свою долю с рынка, — сказал старший и стал вытаскивать из деревянного чемоданчика вещи.

— А рыдикуль серебряный, у гражданки который был? — спросил Амелька.

— Рыдикуль у нас.

— Что ж, отначка?

— Отначки нет, — возразил делегат. — Мы ширмачили, а не вы. Надо ж иметь совесть. Ну, до свиданья...

— Чайку, — полушутя предложил Амелька.

— Нет, торопимся! По гарочке выкурить можно...

— Карась! Папирос «Волга-Дон»...

Покурили. Попрощались.

— Кланяйтесь Митьке Заречному, — прошепелявил Амелька, и в его глазах забегали бесенята. — Я бы послал ему ухо, которое у него отгрыз, только беда: Митькино ухо наш Шарик съел.

— Извиняюсь. У Митьки оба уха целы, — поднялся старший делегат, и те двое встали.

— Жаль, — сказал Амелька. — Шибко жаль.

Делегаты удалились. Старший обернулся и крикнул Амельке:

— Это некорректно с вашей стороны! Не по-товарищески.

Амелька разделил между своими рыночниками только что полученную добычу и сказал:

— А парнишка обиделся. За живое зацепил его... Ну, ничего, пускай проглотит. Я его знаю. Он из «красивых». Три года в детдоме жил. Говорят — на рабфак готовится. Звать: Санька Книжный.

VI

РУССКИЙ ИВАН-ДУРАК. ДУНЬКА ТАРАКАН

Пришел утомленный, встревоженный Дизинтёр. После драки он с полудня рыл в городе канаву, работал за двоих, устал. Вся баржа встретила его рукоплесканиями, как знатного артиста. Шпана умеет чествовать своих героев. Силач-парень сегодня среди толпы герой. Его кулаки еще до сих пор горят и нервы неспокойны. Дизинтёр не знает, почему он, большой работящий мужик, ввязался в драку, защищая эту шатию, которую он рассудком презирал, но глубиною сердца был близок ей, всегда стоял за нее горой. Какая ему от этих оборванцев польза? Вред один. Таким уж, видно, дурачиной уродился — жалеет всех, и нет у него врагов.

Вот и теперь этот русский современный Иван-дурак, ничем не ответив, а только ласково и глуповато осклабясь на шумные приветствия беспризорной

рвани, поискал глазами, где лежит тяжко болящий Спирька Полторы-ноги, и грузно возле него уселся.

Красное, продубленное солнцем и ветром лицо его, на котором выделялись странной белизной брови и усы, было опечалено и хмуро. Вкусно, с аппетитной жадностью он похрустел крепкими зубами репчатую луковку и, сдерживая дыхание, нагнулся над больным. Высохшее, мучительно скорбное лицо Спирьки горело, запавшие глаза полуоткрыты; охваченный жаром, он метался под грудой лежавшего на нем барахла. Дизинтёр с сокрушением качнул головой и сказал проходившему Амельке:

— Плох парнишка-то. В больницу бы.

— Надо утра ждать. Какая больница ночью? — сплевывая скорлупу подсолнуха, проговорил Амелька и закричал на Спирьку: — Только попробуй околеть здесь!

— Полегче. Полегче ты! — поднял голос Дизинтёр и запыхтел на Амельку: — Может, самому так доведется...

Амелька сощурился, подумал, вздохнул и отошел.

По другую сторону Спирьки вертелась черненькая девчонка.

Она норовила обратить на себя внимание Дизинтёра: заглядывала ему в глаза, то сядет, то встанет, крутнется на одной ноге, блеснет браслетом, звякнет сережками, опять присядет. Однако белобрысый парень вовсе не замечал ее. Девчонку это злило. Ее живые черные глаза, как быстрые челны, шмыгали между берегами презренья к парню и болезненной страстью обожать его. Филька сразу узнал в ней ту самую плаксу, которая лезла к Дизинтёру там, в кустах. Худощавое лицо ее ярко раскрашено белым, розовым и красным; шея и уши грязны, буры; стриженые черные волосы подняты вверх и перехвачены у основания желтой лентой, они торчат кивером и придают девчонке боевой, но потешный вид. Ее звать: Дунька Таракан.

С тех пор как счастливая Машка родила ребенка и получила кличку Майского Цветка, Дуньке свое собственное имя опротивело: она трижды требовала

у собрания баржи октябрить ее, дать ей новое прозвище: «Абрикосовая Евдокия».

Эту Дунькину просьбу общее собрание всякий раз встречало дружным смехом. Дунька Таракан злобно ревела, царапалась, кусалась. Но толку не было: простодушный смех ребят сменялся издевательством. Дунька отлично понимала главную причину сладкой жизни Майского Цветка и мучилась призрачным желанием тоже сделаться матерью, родить. Дунькина наивная зависть к Майскому Цветку стала быстро переходить в опасную ненависть, которой нет границ... Дунька продолжает увиваться возле Дизинтёра. Не спуская с него навязчивого взгляда, она принялась оправлять изголовье умирающего. Плечистый парень оттолкнул ее, нагнулся к глазам Спирьки, сделал умильное лицо и громко, убеждающе проговорил:

— Сейчас возьму тебя, малыш, на закукры и в больницу доставлю, как козленка... Желаешь?

— Нет, не надо...— иссохшим голосом закричал терявший сознание Спирька. — Неси меня домой. Домой!.. К мамыньке хочу!!

Амелька слышал этот сердитый повелительный крик колченогого Спирьки. Он оторвался от кучки оборвышей, с которыми делил какую-то добычу, быстро встал, хотел подойти к убогому Спирьке, хотел сказать ему утешительное слово, но безнадежно махнул рукой и вышел вон, на волю.

Было прохладно и безветренно. Сумерки серели, уплотнялись, вырастали в темноту.

Амелька ходко пошел прочь от баржи.

«Домой, домой! К мамыньке хочу!..»

Чтоб провалилась сквозь землю эта чертова баржа с ее содомом, разгулом, гвалтом. Амельке захотелось тишины. И вот тишина: все вокруг тихо дремлет, засыпает, все молчит. Но Спирькины болючие слова не хотят молчать — они нагло лезут в душу, они впились в Амельку и трясут его:

«К мамыньке хочу!..»

Нет, не уйти от них Амельке. Да, впрочем, Амелька и не собирается от этих странных слов бежать. Напротив, Амелька затем и забрался в гущу тишины, чтоб дать свободный выход вдруг вставшему в нем чувству.

Когда баржа сгинула из глаз и слуха, Амелька сел на выброшенное половодьем дерево, скрестил на груди руки, нервно мотнул головой и накрепко защурился. Сердце его затосковало. А когда по-настоящему взгрустнется сердцу, тогда потянет человека в родимые края, к истокам жизни, тогда и отверженная родина может показаться обетованным краем. Через закрытые глаза Амелька ясно и отчетливо увидел родную мать свою, отчетливо и ясно услышал узывчивый, кроткий ее голос.

«Эх, матушка, Настасья Куприяновна! Подлец твой сын Амелька, из подлецов подлец. Да, да». Так корит Амелька свою неокрепшую молодую совесть и боится открыть глаза: откроешь — сгинет образ матери, и голос ее умолкнет.

— Матушка, — шепчет Амелька. — Ты не знаешь, ты не чуешь, как я люблю тебя. Ты думаешь, я пропал? Нет, выберусь. Помяни мое слово, выберусь. Буду работать, буду тебя кормить... Станет все по-настоящему, да, да, уж ты поверь мне. Матушка, родимая ты моя матушка, Настасья Куприяновна, ведь я знаю, ведь я видел тебя о прошлом годе в спасов день на базаре. Ведь это разыскивать меня приезжала ты. Знаю, знаю, не отпирайся, знаю... В кожаной батькиной тужурке ты была... Я целый день за тобой по пятам ходил: ты в детдом — и я, как нитка за иголкой, ты в милицию — и я след в след тебе. Потом села на машину, укатила. Эх, матка, матка! После этого виданьица я два дня слезы лил.

В жизнь свою угрюмый Амелька не сказал бы своей матери таких слащавых, стыдных слов; но здесь не мать, здесь лишь мечта о ней.

Амелька открыл глаза, и образ матери исчез.

Впереди, в белых туманах, степная река, а там, направо, как чудовищный, выброшенный на землю кит, чернела дьявольская баржа.

VII

ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА. В ПАЛАТКЕ

У Фильки не было матери: его отец и мать лежали на погосте; теперь единственные родственники Фильки — слепец Нефед и Шарик. Но старик вот-вот уйдет в широкие метельные просторы и навсегда исчезнет для него. Остается верный Шарик. Но и пес день ото дня все крепче входил в интересы новой жизни; он не так уже часто ласкался к своему бывшему благодетелю и другу: теперь ему — что ни поп, то батька, — бесчисленное множество оборвышей, приветливых и добрых, толклось под баржей, и благодарный Шарик по очереди согревал их ночью, лежа теплым калачом на спинах разных Филек да Амелек и щедро пуская в их лохмотья кусучих крупных блох.

Филькино же сердце все-таки требовало себе какой-то доли в жизни, Фильке нужен заправдашный, верный друг-товарищ, с которым можно поделиться даже сокровенной думой и по душам потолковать. С кем же? С Амелькой? Нет, Амелька заносчив, грубоват и строг. С Инженером Вошкиным? Смешной парнишка, только уж очень мал и никудышен. Вот разве с Дизинтёром? Парень добрый, настоящий, свой брат-мужик. А всего лучше, конечно, с Майским Цветком. Почему? Да уж так вот, лучше да и лучше.

Слетевшаяся со всего города беспризорная команда уже успела кой-чем всухомятку подкрепиться.

Встревоженный встречей с дедом, Филька направился в гости к Майскому Цветку. Он прошел туда не сразу, а задерживаясь то у одной, то у другой кучки оборванцев. Инженер Вошкин, оттопырив губы и усердно пыхтя, нашивал на своей одежине широкий серебряный галун, срезанный им с ливреи какого-то пьяного, валявшегося в канаве стародавнего швейцара.

— Это зачем? — спросил Филька.

— Для почетности. Чтоб видели мой ум. Я теперь изобретаю востраномию. Пойдем, — сказал он и, бросив работу, повел Фильку в свой угол.

Над его логовом была прочно прикреплена к кокорине баржи выбеленная доска с красной кудрявой надписью:

СТОЙ!

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ

Инженер П. С. ВОШКИН!

А пониже — другая вывеска, написанная на картонке химическим карандашом:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

И ПОЧИНЯЮ ЗВОНКИ И БЕРУ ДРУГИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ С МАТЕРЬЯЛОМ

Филька знал, что Инженер Вошкин воровством занимался очень редко: ну, упрет калач, ну, кусок колбасы слямзит или пряник. А деньжата зарабатывал он честным трудом: исправлял в пивных звонки и штепселя, был на побегушках, иной раз торговал газетами.

Филька прочел объявление, посмотрел в глаза смышленому парнишке и спросил:

— Много ли работы-то бывает?

— Завал. Большая очередь. Вот сейчас звонить буду в свою квартиру. Мне как ученому — двойная жилплощадь.

Возле вывески шнурок с надписью:

ЗВОНИТЬ ТРИ РАЗА,
а в пятницу — ЧЕТЫРЕ

Мальчонка важно покрутил усы и трижды дернул за шнурок. Где-то возле земли задребезжало.

— Свои, откройте, — сказал Инженер Вошкин, и хотя открывать было нечего — логово со всех сторон открыто, мальчонка потянул за невидимую скобку воображаемую дверь и сказал Фильке: — Прошу.

Затем он вытащил из-под изголовья порядочный, сколоченный из досок ящичек. На крышке написано:

ВОРОВ ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ:
В ЯЩИКЕ ДВЕ ЖИВЫХ ГАДЮКИ,
А КРОМЕ ТОГО — ПРИПАЯНО

Филька спросил:

— Сам писал?

— Нет, бабушка-покойница, — с презрительным превосходством ответил Инженер Вошкин и открыл ящик.

Гадюк там не оказалось, зато были: чучело белки, набитый паклей еж и панцирь черепахи. Изобретатель поковырял гвоздем в брюшке черепахи: она зафырчала и стала двигаться, описывая круг.

— Достижение науки, — сказал Инженер Вошкин.

На дне ящика — банки, склянки, телеграфные изоляторы, провода, проволока, винтики, болтики и всякая всячина.

— Это инвентарь, — сказал Вошкин. — Только не весь. Главный склад зарыт.

Фильку заинтересовало большое круглое стекло.

— Это от лупы. Иксприировал у старьевщика на барахолке. Вот по этим книжкам изобретаю телескоп для востромонии. — Тут он вытащил сверток рваных иллюстрированных журнальчиков, две-три брошюрки. — Надо еще другое стекло, поменьше, и еще фокус какой-то с осью. Ось я нашел: из проволоки можно; трубу тоже нашел, — вон в углу стоит, от дома оторвал, ну, насчет фокуса не могу понять. Должно быть, опечатка. А это вот любовные письма называются. — И мальчонка достал с самого дна пачку перевязанных розовой ленточкой записок. — Это мы с Майским Цветком переписываемся. Хочешь, прочту?

Инженер Вошкин снял со свечи нагар, надел пенсне без стекол, покрутил усы и начал:

— «Ангел мой, Майский Цветок, Маруся. Вы появились в наших местах, и чрез то самое мое сердце изглодано любовью. Ах, ваши глазки гораздо темнее ночи, и, ах, ваши губки, как у моей голубки. Вы влюбились в меня, а я, конешно, в вас. Вот и хорошо. Мой

автомобиль форд о четырех колесах сейчас же подкатит к вам. Мы сядем и поедем тихо-смирно куда надо, во все стороны. А можно и в Париж. Спустя время улетим по ветерку на изобретенном ципелине, то есть в облака.

Остаюсь вздыхающий об вас вечно, заслуженный изобретатель Инженер Вошкин девятнадцати лет трех месяцев. Мой правильный фамиль Моклыгин, а это блатная кличка. В ожидании письма еще раз жду скорого ответа».

Мальчонка читал свое письмо сиплым голосом, сплевывая и привычным жестом покручивая усы.

— Теперь слушай ответ номер семнадцатый от Майского Цветка. Письмо шибко жалостное, заметь.

«Миленок мой, антиресный Павлик (меня Павлом звать, — пояснил Инженер Вошкин)... Миленок мой, антиресный Павлик. Я, как будучи круглая сирота совсем и как нет у меня ни отца, ни мамоньки, то мне некуда податься ни вперед и ни назад, ох как трудно одинокой быть на всей земле и в стужу и в дождь холодный без родительского крова и обхождения... Ох, какая горе-горькая тоска...»

Инженер Вошкин читал это письмо выразительно, тонким, вызывающим сочувствие голосом, потом вдруг прервал чтение, сбросил пенсне, отвернулся от огня и стал торопливо шарить сзади, пряча лицо свое от Фильки. У Фильки слегка дрогнул подбородок. «Ну, до чего жалостно пишет девчонка», — подумал он и, пыхтя, спросил:

— Больше ничего в письме нету?

— Есть, слушай конец, — часто мигая, с волнением проговорил Инженер Вошкин и вновь склонился к огарку. — Слушай.

«Павлик, Павлик, — начал он виляющим голосом, — умчи меня, миленький мой Павлик, в Париж али еще подальше куда-нито, в другую губернию. Подхвати ты меня в свои белы ручки, чтобы вот все летела и летела я с тобой куда глаза глядят. И чтобы на тот свет лететь и чтоб мамыньку-покойницу свою увидеть. Прощай, милый Павлик, пишу сие письмо слезми горючими, не поминай лихом, а пиши...»

Инженер Вошкин взглянул на сопевшего Фильку и уронил письмо. Губы его сложились обиженным сковородничком, как у капризных грудных детей; наведенные жженой пробкой усы и бороденка отсырели, стали жалки и смешны.

Так они, двое парнишек, постарше и помладше, глядели друг другу в затосковавшие глаза и не знали, как выйти из положения.

— Я мамыньку вспомнил, покойницу, — прошептал Филька.

— Я тоже, — прошептал и Инженер Вошкин.

— Ну и складно пишет письма Майский Цветок, — сказал Филька.

— Это не она.

— А кто же?

— Я-а-а-а, — потеряв самообладание, как маленький слюнтяй, заревел Инженер Вошкин. — Это я сам себе пишу-у-у... Другой раз очень скушна-а-а...

Филька, опустив голову, подергивал плечами и ковырял землю.

Вдруг Инженер Вошкин быстро надел пенсне, вскочил и, перекосив рот, завизжал:

— Убирайся! Вон!

Филька изумленно поднял брови. Инженер Вошкин сгреб железную трубу для «вострономии» и замахнулся. Филька убежал.

У костра за баржей Амелька таскал за волосы и колотил Дуньку Таракана:

— Я тебя научу, как за ребенком ходить... Я тебя научу ванну делать... Ты, должно быть, в кормилицах еще не бывала, черт?!

Дунька вырвалась, запустила в Амельку головешкой и бросилась в кусты, крича:

— Не стану я за вашим змеенышем ходить!.. Приставь другую, которая поглупей меня. Легавый!

— Приде-о-о-шь, вонючка, — сердито тянул Амелька; он поднял с земли желтую Дунькину ленту из прически, скомкал ее и кинул в костер.

По уличным обычаям шпаны, Амелька не имел

ни малейшего права самолично расправляться с провинившимся товарищем. Но Дунька Таракан давным-давно всем опаскудела: шатия не прочь была с нею развязаться.

Меж тем Филька, перешагивая через валявшихся отрепышей, робко вошел в убогую палатку Майского Цветка. Горели два огарка и керосиновая, дешевенькая, украденная в мелочной лавчонке лампа. Пахло водкой, копотью, пеленками. Несколько подростков-девочек, одетых в цветистое рубище и тлен, столпившись, нянчили завернутого в тряпье ребенка. Он переходил с рук на руки и, сморщив красное личико свое, заливался надрывным, но слабым пискливым плачем. Доброхоты-няньки, сами похожие на беспомощных детей, на все лады гулькали над ним, шувыкали его вверх-вниз, всячески стараясь успокоить орущего младенца. Майский Цветок, заткнув уши, раскачиваясь, сидела на кровати раздраженная, несчастная в своем положении и злая. У нее вид отчаявшегося человека: вот-вот сорвется с места, убежит от этого содома прочь.

Отпахнулась пола брезента, просунулось деревянное корыто, вошел белобрысый Дизинтёр, в левой руке у него ведро с горячей водой.

Филька помогал парню устроить младенцу ванну. Сбегал за холодной водой, где-то добыл сена, разбросал его по дну корыта, в головы подбросил побольше. Парень налил горячей воды, пощупал рукой, разбавил холодной, оголился до пояса, раскутал ревущего ребенка, положил аккуратно в воду. Ребенок задрыгал ножками и перестал кричать. Дизинтёр поплескивал на него водой, улыбался, говорил:

— Что, сукин сын, приятно? То-то же и есть. А ты орешь.

Подошла мать и с удивлением стала разглядывать сына заблестевшими любопытством глазами. Крохотный красный недоносок, с большим синеватым пупком, с кукольными руками и ногами, был лыс и дряхл лицом.

— Вот чувствуй, как ребят обихаживать, — поучал мать вспотевший парень. — Я хоть мужик,

а знаю. Моя родительница тринадцать ребенков притащила за свою жизнь. Насмотрелся этого добра. А тебя, девчонка, в три кнута надо бы пороть: не допускай пакости со всяким. Ты сучонка или человек? Подумай-ка. Только в собачьих свадьбах кобели так поступают, как с тобой поступила рвань-то наша, шатия... Подлецы только этак-то живут, пропащие люди.

— Верно, верно, — подтвердил и Филька. — Может, я подряд две ночи слезы глотал, как впервой узнал про жизнь-то вашу.

— А пошто ж пришел к нам? — стараясь пленить новичка, с кокетливой ужимкой спросила его девчонка-мать.

— Судьба привела. Уйду, — не по летам мрачно ответил Филька и вздохнул.

— Принюхались к дерьму, вот вам и вкусно, и не воняет, — корил девчонку Дизинтёр. — А ежели со стороны взглянуть на паскудство ваше, сблюешь. Ты, девчонка, хоть бы раз подумала по-умному: кто ты есть, что из тебя будет?.. Эх ты, утка шилохвостая.

— А ты, коли так, пошто от нас не уходишь?

— «Пошто, пошто»!.. Может, вас жалеючи. Вот пошто. Черти вы, прости бог, полосатые, — с искренней жалостью в глазах и голосе проговорил широкоплечий Дизинтёр.

Он вынул обмылок из кармана холщовых, запачканных дегтем штанов и старательно стал мыть дряхлого младенца.

— Какой он хорошенький, — улыбнулась Майский Цветок; она сейчас была натуральна, не ломалась и походила на скромного подростка.

В этот миг вихрем ворвалась в палатку растрепанная, дикая Дунька Таракан. Она с ожесточением дважды огрела жердью по голой спине нагнувшегося над корытом Дизинтёра. Майский Цветок, спасаясь, с визгом бросилась к выходу, но Дунькина жердь настигла ее и оглушительно ударила по голове. Майский Цветок упала. А Дунька, плюнув в лицо не сразу пришедшему в себя неповоротливому

парню, завыла и выбежала вон. Не любившего скандалов Дизинтёра била лихорадка.

Филька стоял столбом, с широко открытыми глазами. Младенец ревел как под кипятком. Дизинтёр растерялся.

Вошедший взволнованный Амелька скомандовал хриплым, упавшим голосом:

— Дизинтёр!.. Покойника выносить... Спирька Полторы-ноги глаза закрыл.

Дизинтёр истово три раза перекрестился и разинул рот.

Обхватив голову сухими детскими руками, ползла по песку к кровати, истерически ойкала Майский Цветок.

— Это что? — подхватил ее Амелька.

— Дунька Таракан, — вздрагивая всем телом, ответил оробевший от дикой сцены Дизинтёр.

Он задержался с ребенком; поэтому покойника вытаскивала из-под баржи не любившая мертвецов шпана. Спирьку волокли за ноги, как иструхшее бревно, как падаль, сплевывая и ругаясь. Все барахло его, скомкав, кинули в костер.

Филька, смятенный, стоял в сторонке и шептал:

— Поди тоже мать была...

Кто-то с маху ударил его по шее.

VIII

МАЛЕНЬКИЙ МЕРТВЕЦ. БАНДИТ ИВАН НЕ-СПИ

Вечер выдался самый неспокойный. Беспризорники не на шутку встревожились кончиной Спирьки.

Еще так недавно хромоногий Спирька култыхал среди них на костыле; весь какой-то исковерканный, несчастный, он всем старался услужить, а за обиду, как бы ни была она горька, всегда платил добром.

Пришел вожак Амелька.

— Где покойник? Куда дели? — вскинул он голову и, засопев, стал набивать трубку. — Ну?

Густо сидевшие возле костра в своих лохмотьях

беспризорники, похожие на выводок встрепанных большущих птиц, растерянно молчали.

— Ну?! — повторил Амелька. — Несите его сюда!

Тогда, словно по команде, поднялись трое: маленький горбатый Пашка Верблюд, Степка Стукни-в-лоб и Филька Поводырь. Они быстро скрылись в темноте.

Широкоплечий сухой Амелька был, как всегда, в рваном, без спины, с одними фалдами и рукавами архалуке, на голове монашеская скуфейка. Болезненное отечное лицо его угрюмо, взбудоражено; маленькие, исподлобья, недружелюбные глазки сегодня строги по-особому.

— Как хоронить его: по-православному или по-граждански? — спросил Амелька Схимник.

— По-граждански, по-граждански! — ответила сотня голосов.

Амелька такой ответ предвидел: он прекрасно знал безбожное настроение ребят. Но чтоб не прослыть насильником над волей подчинившихся ему товарищей, он всегда считался с их свободным мнением.

— Значит, по-граждански, что ли? — дипломатично переспросил он. — Кто против, подними лапу!

Гражданская форма похорон была принята единогласно. Так начался митинг.

Под конец с большими спорами и бранью разбирался скандальный поступок Дуньки Таракана.

Ее силой приволокли на митинг. Были настойчивые предложения — навсегда изгнать ее.

— Дрянь ты, паршивая ты, — выговаривал ей Амелька. — Ежели не будешь нам товарищем, катись отсель колбаской... За что ты избила Майский Цветок?

Призывающий к тишине, прозвенел звонок. Сразу все смолкло. Говорили шепотом, ходили на цыпочках, стараясь особо подчеркнуть свое отношение к обиженной сегодня матери — Майскому Цветку — с ее ребенком, а также отдать братский долг покойному Спирьке Полторы-ноги.

Маленький мертвец лежал возле приподнятого борта баржи, на лугу. Дизинтёр, Филька, Пашка Верблюд и Степка Стукни-в-лоб соорудили из досок

невысокий стол и накрыли покойника черной хламидой. Девчонки украсили ложе бумажными цветами, увядшей травой и венками из поблекших веток ивы.

В головах мертвеца воткнут в песок его собственный костыль; к ручке костыля прикреплен зажженный небольшой фонарик.

Спирька Полторы-ноги безмолвен. Он непробудно спал последним надземным сном. Свет фонаря мутно красил его заострившееся костяное лицо в желто-грязный с блеском цвет. Темные тонкие брови высоко приподняты, волосы стараниями Дизинтёра смазаны маслом и гладко причесаны, детский невинный рот полуоткрыт, словно мертвец еще раз силится крикнуть: «К мамыньке хочу — веди домой!» Но теперь никто не отведет его домой: возле — пусто, все разбрелись спать. Лишь Шарик, свернувшийся на сене в ногах его, вздыхает и безразлично посматривает на умирающий костер.

Все тихо. Кое-кто успел заснуть. Утром надо подняться рано, чтоб копать могилу.

Инженер Вошкин, как всегда, сидел с фонариком на крыше возле мачты, слушал передачу. Он снял форменный картуз, запустил руку под тряпку, что-то вытащил из грязных волос и тщательно стал рассматривать у фонаря.

— Что? Вошь? — простодушно спросил залезший на крышу Филька.

Изобретатель свысока взглянул на него и ответил:

— Нет, две.

Амелька привычной походкой пробрался через кусты к берегу. Реку и все просторы за ней прикрывала ночь. Невидимая гладь воды чуть поплескивала в прибрежных зарослях осоки. Где-то хлюпали весла, и едва слышно было, как ржали кони за рекой, в ночном. Вместе с легким ветерком тянул из-за реки слабый привкус дыма. Амелька прищурился и водил по тому берегу зорким взглядом. Там, как свечи, близко друг от друга, горели три небольших костра. Прочитав этот сигнал огней, Амелька опрокинул стоявший на песке челнок, спустил его в воду и неслышно поплыл на глазастые костры. Сквозь густую тьму

Амельке казалось, что он с челном стоит на месте, а костры, все увеличиваясь, все ярче разгораясь, плывут к нему. Работать веслами довелось долго: река здесь широка. Вот мало-помалу приблизился к пловцу весь берег. Возле самого уреза воды, впереди костров, стоял черным силуэтом огромный человек.

— Свой?

— Свой, — ответил из тьмы Амелька.

— Обзовись![1]

— «Огонь да палка»! Чего обзываться-то? Нешто не признал? — И челн Амельки врезался носом в куст.

— Э, штоб тебя... Все удочки наши посшибал... Мы рыбу ловим, — сказал огромный человек.

Впрочем, он был не так велик, как казалось это с лодки на фоне трепетных костров. Он в коричневой бобриковой куртке, накинутой на белую рубаху, в широких украинских штанах, заправленных в длинные сапоги, на голове широкополая шляпа с медной пряжкой. Свет костра, елозя по его лицу, выделял горбатый кривой нос, прямую, как бы обрубленную, нижнюю челюсть, свисавшие рыжие усы и выпяченные скулы. Правый глаз его перевязан черной лентой, левый проницательно и смело щупает Амельку. Этот человек весь какой-то мрачный, жуткий. Кличка его: Иван Не-спи, в городе же и по паспорту он известен под именем Федора Хрипушина. Он жил в землянке вблизи паромной переправы через реку, был неплохой рыбак, умел плести великолепные корзины из прутьев ивы, — он почти каждый базар появлялся в городе с продажными корзинами и свежей рыбой. Обычная его одежда — это костюм бродяги или беднейшего крестьянина. А вот сейчас он одет словно атаман-разбойник из какой-то стародавней были. Амелька с вожделенным трепетом покосился на брильянтовый перстень мрачного детины, на золотую цепь через грудь и радостно подумал: «Ну, значит, патрону пофартило».

Взаимоотношения Ивана Не-спи с Амелькой были отношениями патрона и клиента. Иван Не-спи давал

---

[1] Обзовись — скажи пароль.

Амельке работу, наводил его на след преступных дел, Амелька же со своей шайкой исполнял эти темные дела и делился добычей с атаманом.

Началось с того времени, когда Иван Не-спи был для Амельки еще Федором Хрипушиным. Голодный Амелька как-то выпросил на базаре у Федора Хрипушина в долг две рыбины, потом у него же занял трешку, отдал. Потом занял червонец, потом кокаин стал одолжать. Так незаметно и попал в лапы, в кабалу, и Федор Хрипушин стал для Амельки Иван Не-спи. Амелька никак не мог выбиться из долга. А зажилить долг нельзя: неписанный закон шпаны карает за это смертью. И убежать нельзя: куда бы должник ни скрылся, всюду его подкараулит смерть. Горе «нефартовому», попавшемуся в лапы обольстителя: от вечной кабалы его избавит только смерть. Но Амелька — человек счастливый. Амелька считал, что ему во всем «фартит», и стал всячески «ловчиться», как бы выпутать себя из кабалы. А ловчась, все больше, все глубже увязал в болоте жизни.

О, если б простоватый Филька-новичок знал всю подноготную, всю правду об Амельке!

Однако... Костры потрескивают и блестят. В черной воде дробится отражение огней, дым медленно плывет через реку.

Амелька выволок челн на сухое и взял с разбегу невысокий береговой откос.

— Смолка есть? — спросил он для начала разговора.

— Рой. — И мрачный человек подал Амельке свой кисет.

Амелька набил трубку, стал раскуривать, опять спросил:

— Марафета есть?

— Пять порошков — вошь [1]. Желаешь?

— Дорого... Ну, рой десяток, — сказал Амелька, глотая слюни, и протянул мрачному человеку кредитку в три червонца. — Вошь сдачи.

---

[1] Вошь — червонец.

Тот рассчитался, спрятал деньги за голенище, достал из-за широкого кушака беленький бумажный сверток, отсчитал десяток порошков. Амелька тут же с жадностью стал нюхать.

— Кто? — спросил он, кивнув на двух сидевших у костра.

— Свои, — ответил мрачный. — Оба — мои клиенты. Недавно мы хорошее дело сделали: двадцать две тыщи взяли. Мне, как патрону, пять...

— Богатый, сволочь... Поделись.

— Сначала дело сделай. Впрочем, на твою долю — двадцать вшей.

— Ого.

— По мокрой можешь?

— Нет, не выйдет. По тихой — можно.

— Жаль... А дело есть... С мокринкой.

— Давай сармак, долю... — твердо сказал Амелька.

— Пропито, — спокойно и чуть улыбнувшись, ответил мрачный.

— Как?! Двадцать вшей?! Может, тебе перышком в брюхо чкнуть, посмотреть, как кишки на песок полезут? — запыхтел Амелька и зажал в руке черенок ножа.

— Ша! — прошипел мрачный и вынул наган. — Видишь? Ну и не бахти... В лоб пущу, в затылок вылетит.

Сознание Амельки от понюшки кокаина стало застилаться миролюбивым, одуряющим туманом. Ну что ж такое, если бандит Иван Не-спи прогулял его, Амелькины, деньги? Почему Амелькины? Ведь Амелька их не заработал, ведь чужие взяли, им и карты в руки, провинтили его двести целкачей — ну и наплевать

— Наплевать! — сказал он мрачному. — Пропили — и наплевать! Сколько я остался тебе?

— Сочтемся. Тридцать вшей, кажись, — проговорил Иван Не-спи. — Хочешь, расскажу про дело?

— Сыпь.

Мрачный крикнул к костру басом:

— Эй, хлопцы! Чай вскипит, свистни нам.

— Идет, — проквакала от костра серенькая кепка.

Мрачный дружески взял Амельку под руку, повел его вдоль берега и начал рассказывать про ограбление коммерческого агента крупного треста.

Амелька слушал плохо. Голова его деревенела, сердце радовалось. Он всех перецеловал бы, как милых друзей-приятелей: и лодку, что чернеет в камышах, и быка, и Фильку...

— Какие твои виды? — низким басом спросил его Иван Не-спи, подергивая свои разбойничьи усищи.

— У меня пока без ветру, тихо, — спокойным голосом проговорил Амелька. — Впрочем, старуха Пискарева продала за семь тысяч дом на улице Нахимсона, три. В тот четверг барыга деньги принесет ей. Вчистую. У старухи дочь сумасшедшая. Живут вдвоем. Вверху. При них — собачонка маленькая, кличка: Динка. Мы по мокруше не желаем. Можете брать.

— За нами, — гукнул басом мрачный и переглянулся с подошедшими клиентами. — Улица Нахимсона, три? Пискарева? В четверг?

Амелька подтвердил.

— Еще что?

— Будет. — И Амелька стал чавкать яблоко. — Теперь ты карту открывай. Козыри есть?

— Есть, — сказал Иван Не-спи, наживляя на удочку червя. — Кооператив надо подмести. Угол Пролетарской и Красной знаешь? Кашу варить в субботу в ночь. Караульщика мы уберем. У постового мента баба именинница. Хабару таскать на лодки, к красному бакену, три лодки больших пригоним. У нас народу мало. Твои пусть подмогут. Идет?

— Идет, — с душевной тяготой через силу ответил Амелька. Но тут же взял себя в руки и притворился бодрым. — Значит, в субботу, в ночь? Амелька снова помрачнел, сказал: — А я от тебя, Иван, уйду...и долг не отдам тебе. Обсчитываешь ты меня. Вот возьму да и сбегу за тысячу верст... Ищи!

Бандит молча вынул наган и выразительно покачал им под носом Амельки.

С соборной колокольни долетели из заречной тьмы два тоскующих удара в колокол. Амелька плыл сквозь мрак в обратную. Скверно было на душе и не-

спокойно. Амельку все больше и больше угнетало сознание, что он так низко пал, что он перестает быть человеком. Что ж, когда ж всему этому конец? Когда ж Амелька скажет сам себе: «Довольно, цыть!»

— Эх, жизнь, — с надрывом выдохнул Амелька.

Но злой, издевающийся голос шепнул ему: «Чего бузишь? Дурак... нешто плохо тебе жить?»

Амелька мотнул головой, ругнулся и с ожесточенным отчаяньем зарядил кокаином обе ноздри. Потом бросил весла, лег на дно челна. Немного полежал, прищелкнул пальцами и бесшабашно затянул:

В жизни живем мы только раз,
Когда монета есть у нас!
Думать не годится,
Завтра что случится:
В жизни живем мы только раз!!

Потом заулыбался и блаженно смежил глаза.

Река текла широко и плавно, унося на своей груди ладью.

IX

КУПЕЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПРИДАВИЛ ГОЛЫША СПИРЬКУ

Могилу копали утром. На душе у Фильки было тревожно: он почти всю ночь не спал, думал о покойнике, о себе самом, о слепом Нефеде. Когда он шел к реке умываться (Филька всегда умывался с мылом), его внимание обратила группа беспризорников: они то прятались в кустах, то сходились в кучи и, проделав какую-то игру, быстро разбегались.

— Это что? — спросил он.

— Фабзауч, — ответили ему со смехом.

Филька стоял столбом и ничего не понимал. Потом догадался, что это своеобразные курсы воровства. Какой-то незнакомый Фильке шкет сдавал экзамен на карманника. Его звали: Костя Шарик; он был толстенький, лет тринадцати, подросток, с красивой, круглой, быстроглазой мордочкой и пухлыми губами; одет он в матросскую рубашку и черные, в заплатах,

брюки-клеш. Босой. Он ловко вырезывал у товарищей карманы, проворно передавал краденое соседу, а тот — другому беспризорнику. Костю Шарика схватывали «мильтоны», но улик не было, и он выходил из воды сух, как гусь. Подошедший к Фильке Степка Стукни-в-лоб давал ему, как спец, исчерпывающие объяснения.

— Гляди, гляди, крутится. Это он в трамвае карманы режет. Видишь, барыню обчистил? Видишь, часы у гражданина снял?.. Гляди, гляди, перетырку делает. Видишь, двое с задней площадки винта дают?

Филька тут узнал, что внутренний карман называется «скуло», левый карман зовется «левяк», «квартиры» — это карманы брюк, «сидор» — мешок с вещами, «скрипуха» — скрипучая корзина с крышкой.

— Входи в круг, учись, чего стоишь?

— Я на это неспособный, — по-виноватому улыбнулся Филька и пошел к реке.

Степка Стукни-в-лоб злобно сплюнул и присвистнул ему вслед.

Филька умылся, захватил с собой ломтище хлеба и направился в город разыскивать слепца Нефеда, чтоб привести его сюда. А после похорон Филька, пожалуй, бросит беспризорников и уйдет с дедом в бродяжью жизнь. Да, да, он так и сделает. Так лучше.

Беспризорники решили хоронить товарища ровно в двенадцать, «чтобы честь честью, как у порядочных людей».

Возле могилы лежал на боку серый гранитный памятник с ангелом, держащим крест; ангел завяз бронзовыми крыльями в песке. Памятник этот чем свет похитили с соседнего кладбища человек пять рослых беспризорников. Они запихали его в бочку из-под капусты и прикатили к могиле катом.

Дизинтёр, увидав украденный памятник, сначала ругался, потом одобрил грабителей, сказав:

— Этот камень богача давил. Пусть теперь покрасуется над легким Спирькой.

Потом он ушел в город и вернулся вместе с дряхлым священником, много лет побиравшимся Христовым именем возле часовни на торговой площади.

— Хороните по-гражданскому али по-военному, мне наплевать, — сказал Дизинтёр Амельке. — А я желаю по мальчонке панихиду отслужить... Он велел...

Филька привел Нефеда с новым, черненьким, похожим на суслика, поводырем.

Девчонка отбрякала в железный лист — двенадцать. Покойника подняли и понесли на досках к могиле. Гроба не было. Да и не к чему: так труп скорей сгниет.

Моросил мелкий дождь, кругом уныло, хмуро. Река протекала в свинцовом холодном блеске; за рекой, над блеклыми полями, с граем мчались птичьи табуны.

Впереди покойника шел «самодеятельный» оркестр из плохонькой гармошки, трех балалаек, гитары, свистулек, рожков и барабана. Все инструменты, за исключением барабана и берестяных рожков, краденые. Барабан — собственность Володьки Красного, который почему-то считал себя юным пионером и, не будучи им, всегда носил пионерский красный галстук.

Оркестр плел дикую отсебятину, кто во что горазд. Но это не столь уж важно: музыканты все-таки играли воодушевленно, почти с молитвенным усердием.

Когда труп лег на дно ямы и вниз полетели комья земли, ребята запели «вечную память». Пели дружно, страстно и любовно. Девчонки сразу же подчинились общему настроению: они плакали в открытую, слезливо, громко, как бы соревнуясь на первый приз печальной горести. Некоторые из мальчишек тоже подергивали носами и смигивали слезы.

Могила была проста и трогательно одинока. Может быть, завтра все эти отрепыши умчатся перелетным серым коршуньем в новые просторы и былой товарищ Спирька будет здесь догнивать один, забытый всеми.

Вид могилы и зарываемого трупа вызывал в бесшабашных юных головах чувство глубоко упрятанной тревоги. Каждый старался гнать эту тревогу прочь, забыть о ней, перевести мысль на другое, веселое,

охальное. Но «вечная память» и могила с прахом, заслоняя весь тлен жизни, владели в эту минуту и чувством и умом. Каждый, хоть краешком души, представлял себе свою будущую жизнь, судьбу и смерть.

Впрочем, о собственной смерти думали немногие. Думали о ней слепой Нефед, пожалуй, Филька, еще старенький попик с Дизинтёром, ну, может быть, еще пяток нечаянных тихонь.

Большинство же плохо верило в возможность личной смерти: они утешали себя тем, что смерть уносит лишь слабых душой и телом, вроде хромоногого калеки Спирьки; они же — сильны, ловки и смышлены; они закалены в борьбе, бесстрашны, и смерти они не поддадутся.

Конечно, меньше всех боялась смерти Майский Цветок, потому что ей хорошо живется; еще Дунька Таракан, потому что ей живется хотя и плохо, но она все-таки должна родить ребенка, тогда для нее наступит сытость, радость и почет. Она временами горячо желала смерти лишь другим, а не себе.

Но все-таки в эту тяжелую минуту, хоть на короткое мгновенье, мелькнула перед каждым навязчивая мысль о чем-то мрачном, далеком и таинственном.

И не успела еще замолкнуть «вечная память», как вблизи, в десятке сажен от могилы, тарарахнул взрыв. Столб пламени и дыма оглушительно взмыл вверх.

Все вздрогнули, оглянулись; слепец посунулся вперед; попик бессильно сел на кочку, стал осенять себя крестом.

Отброшенный взрывом, вскочил и с отчаянным криком помчался к барже толстенький воришка Костя Шарик, крутясь на бегу и поджимая раненую руку.

— Я ему говорил, что не подходи к огнестрельному изобретению! — весь бледный, трясущийся, подбежал к толпе Инженер Вошкин. — Я хотел, как на стопроцентных похоронах, чтобы залп...

Но в это время Амелька начал перед могилой речь. О чем говорил он, Инженеру Вошкину не удалось услышать: во-первых, Инженер Вошкин оглох на оба уха; во-вторых, он собирался сказать речь самолично. Он великолепно знает, как произносят речи заправские

ораторы: он много раз бывал на фабричных митингах; уж он-то не подгадит, произнесет ударно.

Вот Инженер Вошкин вскочил на лежавший серый памятник и, набираясь вдохновения, с минуту красовался перед улыбавшейся толпой.

Чудом спасшийся от изобретенного им взрыва, он блистал во всем параде: при медалях, в галунах, в свежеподкрашенных усах и бороде. Мешок с тремя дырами — для головы и рук — был перехвачен по талии черным кушаком, на голой до плеча левой руке повязана выше локтя черная тряпка — траур.

Еще плохо оправившись от испуга, он покрутил в волнении усы и отрывисто заговорил, ставя после каждого слова точку, вместе с тем ударяя по сердцу кулаком и театрально выбрасывая кулак вперед к толпе:

— Мы! Молодежь! Совецкая! Передовая! Сегодня... Хороним...

Толпа отрепышей вдруг захохотала. Отождествление себя с советской молодежью даже ей показалось нелепым и смешным. Беспризорники, однако, поняли, что Инженер Вошкин сказал это шутки ради, и дивились его изобретательной на всякие штучки голове.

Инженер Вошкин тоже улыбнулся, но крикнул в толпу «ша!», крутнул для важности левый ус и продолжал:

— Мы! Очень даже шикарные! Граждане и гражданочки!.. Хороним. Нашего. Товарища. Спирьку. Спиридона. Полторы-ноги. Который. Целиком и полностью. В сырой. Могиле. (Пауза.) И он есть. Жертва. Революции. Это, товарищи. Террор. Засилье. Недорезанной. Буржуазии. (Пауза.) Лорды. Которые жиреют. На наших хлебах, товарищи. (Пауза.) Мы, передовая молодежь. Клянемся. Вскрыть гнойник. И встать, как один. На защиту... Этой самой... Как ее?.. Забыл, товарищи. (Пауза.) Ну, короче говоря. Нашему товарищу. Спирьке. В общем и целом. Царство. Небесное. Я кончил.

Инженер Вошкин браво соскочил с памятника под смех толпы и, оправляя медали, важно встал в передних рядах отрепышей.

— За последние слова — дурак, — громко, чтоб все слышали, сказал ему Амелька Схимник. — Следующий! Кто желает к порядку дня?

Желающих не нашлось. Только стоявший в стороне дед Нефед тряхнул шапкой седых волос и буркнул в расстилавшийся пред ним вечный мрак:

— Эх вы не́люди! Как скоты живете, как щенята умираете.

Уж многие бросились со свистом, с писком, с песнями чрез поле к городу. Но многие задержались.

Пять молодцов возились с памятником, стараясь подтащить его к могиле. Но памятник нежданно огруз, какая-то сила припаяла его к земле. Пять молодцов немало дивились: ведь так легко им удалось доставить памятник с кладбища сюда. На помощь им подошел Дизинтёр, и вскоре памятник величественно воздвигся, придавив собой жалкий надмогильный холмик.

Бронзовый ангел был мрачен и грустен; он вопросительно глядел в небо; небо отвечало ему мелкой пронизью дождя.

На граните высечено:

Здесь покоится прах
первой гильдии купца
СПИРИДОНА ИВАНОВИЧА
СТРАННИКОВА

Не по возрасту сообразительный Инженер Вошкин эту надпись вполне одобрил.

Спиридон? Верно. Иваныч? Тоже, пожалуй, верно. Странников? Ну, уж это вернее верного: кто же из их шатии, из перелетных птиц, не странник?

— Спасибо за изобретение памятника, — поблагодарил он пятерых молодцов. — Пожалуй, и я бы не отказался от такой продукции масштаба.

После того как все разошлись, старенький священник, отец Феофилакт, отслужил по Спирьке панихиду. Молились: Дизинтёр, Филька, дед Нефед с поводырем, четыре девчонки и Инженер Вошкин. Он подавал отцу Феофилакту кадило, сделанное Дизинтёром из консервной коробки: у священника ничего не было — ни креста, ни ризы.

Панихида пелась без дьячка, наскоро и как попало: священник считал несмышленого покойника заблудшей овцой, недостойной молитв церкви, похищение же кладбищенского памятника — явным святотатством. А пошел он в сие непотребное место ради христианской жалости к богоотверженной шпане.

X

РАЗГУЛЬНАЯ ТРИЗНА

Дождь усиливался. Беспризорники вернулись из города раньше обыкновенного.

Филька упросил Нефеда ночевать под баржей. Он говорил ему:

— Поживи у нас, дедушка, денек-другой, вот погода выведрит, тогда и я, пожалуй, с тобой уйду... Возьмешь?

Вечер наступил сегодня тоже преждевременно; под баржей было совсем темно: зажгли огни.

Темно было и на душе у Дуньки Таракана, и никто не мог в ее душе зажечь огонь.

Униженная, оскорбленная, Дунька звереныщем сидела в своем углу и не хотела выходить на люди. Она сверкала из тьмы своими цыганскими глазами то в сторону палатки, где детвора наперебой старалась излить свою нежность потерпевшей матери — Майскому Цветку, то окидывала ненавистным взглядом широкие плечи этого дурня Дизинтёра. Вот дурак, вот толстогубый дурошлеп, вот деревенщина!

Ну и наплевать... Дунька и без него прекрасно сумеет нажить ребенка. Она, пожалуй, возьмет да и забрюхатит вот сейчас, сию минуту. Она сначала устроит из тряпок на своем впалом животе маленькую толщинку, через месяц сделает толщинку побольше, через месяц еще побольше, потом сделает из подушки брюхо, потом из трех подушек — пузо, потом родит. Да, да, родит. Она проберется ночью по темной лестнице в родильный дом, она украдет там симпатичного сыночка. А вернувшись, скажет: «Это

я родила. Это мой сынок. Нешто вы не видали, остолопы, какой у меня был животище? А где же он?» Тогда начнут ее чествовать, сделают ей отдельную палатку, будут ее любить и уважать. Фига, фига тебе, Майский Цветок, нахалка!

Так текут мысли обиженной Дуньки Таракана.

Но она вздыхает, она сознает, как трудно осуществить свою нелепую мечту. А главное... когда, когда все это будет? Ей же надо и честь и славу вот здесь, сейчас...

Дрожит Дунькина душа, дрожит вся Дунька с ляском кривых зубов, с мелким подергиванием пальцев на руках и на ногах, с зябким холодком, коробящим сухую спину. Дрожит Дунька Таракан мозгом, сердцем, всем нутром, и вот ей этой дрожи страшно. А кто поможет, кто спасет, кто успокоит Дуньку? Все против нее. Одна.

Эх, выкинуть бы Дуньке лихое коленце на удивленье всем! Сделать бы такое, чтобы день и ночь все тряслись, как она сейчас трясется. А потом бежать, бежать на светлую жизнь или в погибель.

Меж тем все веселились. Но веселье было какое-то тяжелое и странное: оно родилось случайно, из вина. В память зарытого товарища беспризорники решили угоститься всерьез и до отказа. Нашлось вино, развернулись самобранные сказочные скатерти, чудесно появилось то и се. Подвыпили, конечно. А подвыпив, совсем позабыли о Спирьке Полторы-ноги: плясы начались, и песни, и скандалы.

Но все было неживое и туманное. Должно быть, предсмертные стоны Спирьки и бред его все еще держались под шумной баржей, запутавшись в лохмотьях, в рвани, в этом прокуренном, нездоровом воздухе. Недаром Шарик был тоже уныл и беспокоен: хвост у него опущен, уши вниз, подойдет к одной, к другой кучке Филек и Амелек, нюхнет влажным носом пахучее отрепье на грязнейших телах оборвышей и в растерянности не знает, как вести себя.

— А ведь ты, черт безрогий, сейчас взвыть должен, — сказал Шарику Пашка Верблюд и сунул ему в нос голову селедки.

Так оно и есть. Подачка не соблазнила Шарика: нюхнул, отфыркнулся, ленивой ступью вышел из-под баржи, посмотрел на небо, посмотрел на землю, взвыл.

Беспризорники прислушались к нестерпимому вою пса и жутко захохотали. Шарика кто-то больно пнул ногой, он взвизгнул и, подбирая зад, бросился в тьму, подальше от костра, к могиле.

Трезвенник Филька не желал участвовать в таких поминках: нешто это по-божьи? Вот ерунда какая, тьфу!

Однако Фильку интересовала невиданная жизнь. И он, оставив дремавшего дедушку Нефеда, пошел бродить средь веселящихся оборвышей.

Вон там, в дальнем углу огромной баржи, куда не проникли веселые огни, чуть брезжит мутный свет огарка. Филька направился туда.

— Бог в помощь, — сказал он мальчику и стал возле него.

Мальчик Петя Прохоров сидел за опрокинутым ящиком, как за письменным столом, что-то писал на полулисте бумаги. В этой части баржи было не так шумно: из пьяниц сюда никто не заходил.

— Помогай бог, — вновь поприветствовал Филька мальчугана.

— Ты что этим хочешь сказать? — поднял он на Фильку свое хмурое, со сдвинутыми бровями лицо.

— Чем? — не понял Филька.

— А вот своими глупыми словами: «Бог в помощь». Я этого не признаю.

— Пошто?

— По то, что бога нет...

— Зачем?

— Пошел к черту, не мешай!

Филька похлопал глазами и сказал:

— А ты не серчай. Чего ты?.. Я просто из любопытства подошел. Гляжу, все бесятся — и старики, и молодежь, а ты монахом сидишь, пишешь. Вот и подошел.

— Пускай бесятся. Мне ни к чему это. Я учебой занят. На рабфак. На машиниста. Видишь? — И мальчик вытащил из-под ящика пачку книг.

— Ого! — удивился Филька. — А пошто со шпаной живешь?

— А ты пошто?

— Я временно.

— Я тоже не навек. Да будь она проклята, эта собачья жизнь!

— Шел бы в приют куда.

— Учи! — сверкнул глазами мальчик. — Без тебя знаю. Я здесь худым не занимаюсь. Я сегодня полтора рубля заработал: вещи отвез с бана. Вот тележка.

— Это хорошо, — одобрил Филька и зачем-то погладил грязное колесо тут же стоявшей тележки. — А что пишешь?

— В стенную. Я кандидатом в комсомол. Ячейка на веревочном заводе. Близко тут. Ребята из ячейки сюда собираются: вас, дураков, в люди выводить...

— А чего пишешь? Ну-ка, прочитай, — настаивал Филька, с чувством удовлетворения рассматривая опрятную одежду мальчика.

— Ежели интересуешься, слушай. Только это продолжение, а начало я отнес. — И мальчик, раскачиваясь, стал выразительно читать:

— «И вот, значит, такая вещь. Я убежал из детдома, сел на поезд и долго взад-вперед ездил, потому что я очень люблю ездить и осматривать окружающую местность. И наконец поехал прямо в Москву. А потому я поехал в Москву, что мне сказали: в городе Москве очень хорошо жить, там учат какому захочешь ремеслу. Конечно, хотя мне и хочется ездить, но так как мне очень хочется ездить, то я думаю выучиться на машиниста. Когда выучусь машинистом, то уже я буду ездить сколько душе угодно. А так как я...»

Вдруг Филька обернулся. Вдоль приподнятого борта баржи бежали один за другим беспризорники, что-то крича и ругаясь. Филька быстро вскочил. Впереди бежал, делая круг возле костра, толстобрюхенький голоштанный парнишка лет восьми; глаза его вылезли на лоб. За ним, настигая его, дикий, с сатанинским,

перекосившимся в страшной гримасе лицом, оголтелый Мишка Сбрей-усы. В его руке что-то острое, сверкающее. Он пьян, безумен. Его раздувшийся от частых понюшек кокаина нос толст и сиз, как баклажан. За ним гуськом такие же пьяные, дикомордые трое беспризорников, за ними — повеселевший Шарик, за Шариком — улыбавшаяся сучка Хрящик.

— Бритва! — закричал Филька. — У него бритва... Он его зарежет! — И тоже бросился на защиту голоштанника.

— А-га-га-га-га!.. — загоготал озверевший хулиган, свалил у костра поддавшегося мальчонку, чиркнул бритвой по мякоти его ноги и с хрипом впился губастым красным ртом в залившуюся кровью рану.

Орущей кучей все навалились на него:

— Бей по маске! В маковку! Катай его!!

Стали хулигана с яростью оттаскивать от жертвы прочь. Он отлягивался, тряс головой, по-звериному рычал.

Началась расправа. Филька вгорячах тоже ввязался в свалку и работал кулаками с чувством справедливого гнева. Хулиган не защищался. Разбитый в кровь, измазанный своей и детской кровью, в изорванной в клочья рубахе, он под ударами разъяренных кулаков чурбаном перекатывался по луговине, кувыркался через башку, вверх пятками; белые, остановившиеся глаза его в бешеной, наводящей страх улыбке, окровавленный рот все еще жует и чавкает.

— Мяса!.. Кость! — хрипит он. — Подлюги, мяса!

Его бы захлестали насмерть, но вдруг явился запыхавшийся Амелька.

— Ша! — скомандовал он. — Не видите, гады?! Он марафеты обожрался... — и бросил Мишке кусок сырого мяса.

Тот сгреб сырятину и, потеряв все человеческое, стал алчно рвать ее звериными зубами, урча и взлаивая.

— Миша, Миша, успокойся: это я... — гладил очумевшего парня по встрепанной, лохматой голове Амелька Схимник, затем увел его в кусты и уложил спать.

Охваченный негодованием, Филька пробирался прочь отсюда, к слепому старику, громко рассуждал:

— В милицию надо... К прокурору. В суд... Это убийство называется... Ну, дья-а-в-олы... Ох ты черт, анафемы какие... Тьфу!..

Но кулаки его тоже испачканы чужою кровью.

Меж тем на эту свалку почти никто под баржей не обратил внимания. Эка штука — подрались, кому-то два ребра сломали, ха-ха! хе-хе!

По ту сторону костра валялся в грязи полуголый, без рубахи, корявый парень. Он сдергивал с себя штаны, вопил:

— Ой, умру-умру-умру!.. Скорей!.. Марафеты... Последние портки меняю. За пять понюшек, ну, за четыре, ну, за три... рой!..

И голый, потряхивая штанами, вбежал под баржу. Глаза и весь вид его — безумны.

Фильке было интересно, больно и противно. Он знал этого парня. Он третьего дня пилил с ним для харчовки дрова. Хороший парень. И что такое с ним стряслось? Совсем одичал.

Филька заметил, что в гульбе принимают участие далеко не все обитатели трущобы. Многие, набегавшись за день в поисках удовольствия и хлеба, крепко спали. Иные же, как ни старались, не могли уснуть: они затыкали уши, зарывались с головой в отрепья, однако пьяный гвалт не давал им забыться в сне. Они вскакивали, ругались, швыряли в пьяниц чем попало, грозили ножами. В ответ на это шпана волокла их за ноги к своим, принуждала выпить водки, давала зуботычины. Какому-то мирно спящему двое пьяных оборванцев «ставили мушку»: между пальцев ноги вложили клочок бумаги, подожгли и убежали. Спящий вскочил как полоумный.

— Ах, паразиты легавые... Убью! — закричал он, хватаясь за опаленную ногу.

В это время разинула свое хайло гармошка, ударил барабан: свист, топот, гик пошел под баржей.

Все, кто не спал, кто не упился всмерть, высыпали к погасшему костру; веселые руки зажгли новые

костры, и возле них на сыром после дождя лугу взвихрилась пляска.

И гвалт, и пляска, и блеск костров плыли сквозь ночь к окраинам города.

Но в городе шла своя деловая жизнь: город гудел работой, хлопотливой суетой, далеким шумом замолкающих трамваев; над городом в рыхлых остатках ушедшей тучи отражались потоки электрических огней.

Пляска голодранцев коротка, быстра, пьяна. Тлен, лохмотья, ветошь стлались по воздуху в вихре дьявольского танца. Девчонки, бесстыдно вздымая рвань подолов, вертелись волчками, вызывающие, оголенные, нахальные. Исковерканные гиканьем, свистом, лица танцоров были отечны, болезненны, дряблы, в грязи, копоти, ссадинах, кровоподтеках; они отливали каким-то синевато-желтым отсветом, в каждой гримасе скользили злобность, тупое презрение к жизни, бахвальство, ярь. Если б не возбужденные водкой сверкающие взоры, лица стали бы безжизненными масками и пляска — танцем мертвецов.

Майский Цветок, тоже соблазнившаяся плясом, возвращается к себе в палатку, где с ее сыном вместо отстраненной Дуньки Таракана нянчится краснощекая толстуха Катька Бомба.

Майский Цветок на ходу оправляет узорчатую шаль, охорашивает волосы; ее лицо румяно, губы ярко крашены, глаза томны и печальны, лакированные ботинки и новые чулки заляпаны свежей грязью. Она проходит не спеша, оглядывается назад, где, как раки, кучами барахтаются беспризорные; ей смешно, и больно, и досадно.

А на нее смотрит исподлобья взглядом ехидны забившаяся в темный угол Дунька Таракан и, выплевывая грязные ругательства, шипит змеей.

Все утихомирилось. Костры угасли. Беспризорники расползаются под баржу — всяк к своей норе.

Потерявший скуфью Амелька Схимник, пьяно сплевывая, обходит дозором баржу. Отлично, все в порядке, убитых нет. Он на ходу крестится в ту сторону, где под памятником коротает первую ночь

Спирька Полторы-ноги, опять сплевывает, оскаливает гнилозубый рот в пьяном, идиотском хохоте, по пути мочится в чью-то похлебку в краденой медной кастрюле, икает и ползет к своему отрепью спать.

Он еще не знает, что четверо парнишек и две девочки мечутся в бреду: их треплет малярия, тиф или какая-то гнилая хворь и нет им ниоткуда помощи. Может быть, пройдет два дня — и все они отправятся в могилу вслед за угасшим Спирькой. Или, покинутые шатией, почерневшие, распухшие, будут мертвой падалью лежать поверх земли, пока их не пожрут бродячие собаки. Спасенья ребятишкам нет.

— Да, да, — закряхтел лежавший на соломе дед Нефед, почесывая занывшую к непогоде поясницу. — Срам здесь, Филька. Правильно сказано: алмаз алмазом режется, вор вором губится. Так и здесь. Нет здесь, Филька, божьего сугреву. Здесь собаке-то стыднехонько жить, не токмо что человеку. Холодно здесь душе человеческой...

— Мы, дедка, душе-то рукавички украдем, сапоги теплые слямзим для сугреву... — крикнул из тьмы смешливый перхающий чей-то голос, — вот душе и тепло будет... Эх ты, слеподыр.

Дед приподнялся на локте и сердито уставился в тьму, как зрячий.

— Иди-ка, иди сюда, волчонок... Потолкуем. Эх вы, яблоки лесные: с одного бока еще зеленые, а с другого уже гниль пошла, червяк.

Вот кто-то кубарем покатился по крыше и упал в кусты. Это — Инженер Вошкин. Он залез слушать радио, но оборвался. И тотчас же за бортом баржи, против Филькиного логова, послышался ругливый голос изобретателя. Его сильно тошнило. Он охал, сплевывал и пискливо, страдальчески ругал себя:

— Ага! Тьфу... Не жри водку, черт... Это по научным книжкам... Тьфу... Тьфу... Это зовется блевантин.

Филька засмеялся. Опять протяжно и пронзительно взвыла собака.

— Шарик!.. Шарик!.. — посвистал Филька.

Пес подошел, лизнул Фильку в губы и лег в ногах.

Бредовая тишина, плевки, стоны, выкрики. Кто это, по-женски всхлипывая, плачет там вдали?.. Однако — Дунька Таракан. Филька вскинул голову, прислушался, вздохнул. Но скоро смолкло все.

XI

МАЙСКИЙ ЦВЕТОК ОТЦВЕЛ

По небу снова плыли тучи, и вместе с ними проплывали над баржей сны.

Амельке Схимнику снилось, что его посвящают в архиереи. «Заполняй анкету, заполняй анкету!» — кричат ему, а он молчит, думает по-хитрому: «Вот буду архиереем, украду все ризы драгоценные — и фюить! Хряй свободно, куда хочешь...» Пашке Верблюду снились вкусности: пряники, торты, колбаса. Катьке Бомбе — что она в цыганском таборе, выходит замуж за цыгана. Майскому Цветку — что она режет беленьких барашков, вот и режет, и режет, по ножу — кровь, по рукам — кровь, баржа вдруг перевернулась и всплыла в крови. «А почему же мне не страшно?» — спрашивает Майский Цветок военного, красивого солдата с черными усами. Солдат — ни слова, и вовсе не солдат это, а мертвый Спирька Полторы-ноги.

Шарику снился лисий хвост. Будто мчится Шарик за хвостом, ловит зубами и никак не может сцапать... А хвост очень вкусно пахнет. Гаф-гаф-гаф!..

Филька спал без сновидений, крепко. Но и его разбудил ошалелый шум, крик, вой, словно лес стонал под бурей. Филька вскочил. Несколько мгновений он думал, что видит сон: так необычайно и жутко все было возле.

Филька видел, как в предутреннем рассвете козлами скакали под баржей обезумевшие беспризорники. Диким криком, свистками милиционеров, отрывистой непонятной перекличкой, бранью, лаем собак, резкими выстрелами была пронизана вся рачья жизнь людишек. Отрепыши хватали свои и чужие пожитки; отрепышей хватали милиционеры; отрепыши вырыва-

лись, утекали, сверкая пятками, расшвыривая по дороге скарб.

— Дяденьки, дяденьки!.. Отпустите нас, — кричали оплошавшие схваченные девчонки.

Инженер Вошкин зарылся в солому и соображал, как лучше улизнуть. Вдруг он вспомнил, что его большое стекло от лупы в палатке Майского Цветка: еще третьего дня он рассматривал с ней сквозь стекло букашек, паука и лягушонка. Вспомнив это, Инженер Вошкин ловко, как звереныш, прокрался в знакомую палатку. Там забыли загасить огарок в фонаре, чадила светильня, плавая в оплывшем сале: свет сейчас умрет. Инженер Вошкин окинул палатку проворным взглядом и с потрясающим визгом бомбой вылетел оттуда вон. «Ой, ой, ой!» — кричал он, убегая. Два милиционера гнались за ним, но он скрылся в кустах, серым комом выкатился к берегу, вскочил в маленький челнок, и теченье реки ходко понесло его вниз. От нервного потрясения у него парализовалось веко, правый глаз призакрылся.

Да лучше бы лопнули оба его глаза, пропала бы память, лишь бы не вспоминать, не видеть того, что он увидел в палатке Майского Цветка! Прощай, Майский Цветок, прощай!

Сети облавы были раскинуты умело, но улов оказался небольшой. Пять маленьких девчонок, трое изможденных нищих, парень-идиот Ваня Бяка, четверо мальчишек, Филька, дед Нефед и черненький подросток-поводырь. Да еще те — шестеро умирающих отрепышей.

Когда подошли брать слепца с Филькой, Шарик ощетинился и, принюхиваясь, сонно тявкал на чужих: ему все еще грезился пахучий лисий хвост. Судорога кривила лицо Фильки; он дрожал. Дед Нефед твердил:

— Я человек нищий... Оба мальчонка эти тоже при мне, поводыри они... Постарше да помладше. Вы, люди добрые, поди меня видывали на базаре сколько разов. А здесь я так, товарищи хорошие, проходом.

Из палатки Майского Цветка выпорхнул в сером непромокае очкастый, крикнул:

— Огня, товарищ Панов, собаку!

Но собаке, конечно, делать нечего: от палатки уходили во все стороны сотни не остывших еще следов. Собака быстро повела от места преступления, суетливо обежала кругом баржи, нервно внюхиваясь на бегу в воздух, в землю, бросилась вперед, вернулась, стала кружиться возле баржи, то и дело отвлекаясь в сторону; острые уши ее раздраженно шевелились, все движения теряли уверенность; собака все чаще и чаще подбегала к хозяину, заглядывала ему в лицо растерянными, спрашивающими глазами. «Я не могу понять, — как бы говорила собака, — не могу понять, что мне делать. Тут же много следов. Я не знаю, по которому вести... Укажи мне». Хозяин вполне понимал ее: он знал, что собачьи поиски тщетны, взял пса на цепочку и сказал:

— Ничего не выйдет!

Тогда в палатку позвали двух девочек, двух отрепышей мальчишек и Фильку; самого старшего из пойманных.

— Вот глядите, мерзавцы, что вы сделали с вашей девчонкой! — сказал очкастый.

Убитая Майский Цветок лежала у кровати. Глаза выколоты, щеки истыканы острым, темя проломано. Возле нее на окровавленном песке — мертвый младенец. Поза его — скрюченная, жалкая. Он припал на корточки, выставил напоказ сморщенный побелевший зад, спину и затылок, лицом же глубоко увяз в песок, как бы силясь схорониться от настигавшего его ужаса. Голый затылок младенца размозжен. Пальцы на вывихнутых ножках судорожно растопырены.

У Фильки крепко и часто стучали зубы. Ему хотелось в страхе вскрикнуть, но челюсти его окаменели. Он был близок к обмороку.

Очкастый поднял что-то с земли, взглянул на оборванные уши Майского Цветка, спросил:

— Чья это сережка?

К нему подкултыхала с любопытной готовностью колченогая девчонка; она оправила платок на голове, и, взглянув на светленькую штучку, весело сказала:

— Знаю, знаю!.. Это сережка Дуньки Таракана.

Если б Фильке было положено прожить сто лет, он, и умирая, не забыл бы, что сейчас видит здесь. Счастливый дед Нефед: он навек слепой, он ничего не видит и не знает. Прощай, дедушка Нефед... Теперь надолго.

Нефеда освободили, поводыря освободили, нищих освободили, Фильку взяли. Схваченных повели в город. Шли молча.

Фильке все еще продолжал сниться наяву безобразный сон. Филька молил бога, чтобы скорей проснуться. Процессию замыкал Шарик.

Становилось светло. По бледному небу куда-то спешили заблудившиеся трепаные обрывки октябрьских туч.

Природа печальная и блеклая. Унылая поляна, полуобнаженные деревья и кусты. Угрюмая, чужая, злобная река, и за рекой — побуревшие однообразные степи.

«Все цветы облетели, отцвели, — какой-то скрытной глубиной сокрушенно подумал Филька. — И Майский Цветок отцвел».

Инженер Вошкин опамятовался не вдруг. Горсткой, сложенной ковшиком, он жадно напился освежающей воды. Мозг его заработал практически и быстро. Инженеру Вошкину надо сейчас же пристать к берегу пониже города, возле кирпичных сараев, и бежать на розыски своих. Он знал, что вся шатия лавой схлынула в город и выжидательно пока что притаилась там.

В продолжение своей маленькой жизни Инженер Вошкин вынес на своих плечах по крайней мере с десяток облав и всяких переделок. Эка штука — облава! Наплевать!

Притворяясь беспечальным, он сплюнул в рябь воды и замурлыкал песню. Но песня тотчас же лопнула, как гнилая нитка; сердце мальчонки все еще нервно колотилось, и увешанный медалями мешок, служивший одеянием, был мокр от холодного пота. Он вытер пот на лбу и приподнял пальцем веко

правого глаза, а когда отнял руку, веко снова опустилось. «Ничего, это ничего, пройдет», — утешал себя Инженер Вошкин. Пока он пил воду, борода с усами замутнела: краски линючи и плохи, растеклись. И все перед его глазами замутнело, слиняло, растеклось: «Эх, жизнь! Вот история... Ну и история... Взяли да убили девку, девчонку, Майский Цветок, Маруську... Эх-эх-эх-эх... А убил — известно кто: убила злодейка Дунька Таракан. Она, она. Не надо и к ворожее ходить. Она. Инженер Вошкин вот ужо всем расскажет про Дуньку Таракана, всем-всем-всем, по радио. Дура ты, Дунька Таракан, огромнейшая дура. Прямо — дрянь. И зачем тебе занадобилось Майский Цветок убивать? Ну, зачем? Эх, шкура, шкура! Вот лежит теперь Майский Цветок одна, в сердце у ней нож вострый торчит, на груди у ней живое дите ручками дрыгает, материнской груди просит, молочка. Нет в тебе, Дунька, жалости. Не подумала ты о том, что сразу двоих сиротами сделала: молодого дитенка и его, Инженера Вошкина. А Инженер Вошкин сколько писем писал Майскому Цветку, сколько сладких ответов получил от нее почтой с маркой. А теперь вот... Ну, история... Вот история! Эх-эх-эх-эх...»

Инженер Вошкин вдруг бросил весло и с надрывом, с ожесточением заорал-запел:

Не надо нам монахов!
Не надо нам попов!
Бей спекулянтов!
Души кулаков!!!

Голос его злобно хрипел и всхлипывал.

Ранним утром вышла на прогулку дама. Дама была не простая. Дородно и плавно плывя через пустую Соборную площадь (ныне Площадь Энтузиастов), дама увидела: какой-то скверный отрепыш бесстыдно присел у фонарного столба. Дама была близорука: она не спеша приставила к глазам лорнет в роговой оправе и всмотрелась. Даму покоробило; полное лицо ее избороздилось брезгливыми складками, и седая шевелюра густейших стриженых волос взъерошилась копной под нервными пальцами.

— Хм, — сказала дама; верхняя губа ее с черненькими усиками покрылась потом. Дама обмахнулась пуховкой и быстро пошла к фонарному столбу, у основания которого сидел в орлиной позе Инженер Вошкин. У него нестерпимо болел живот: пережитый испуг подействовал не только на веко правого глаза, но и на органы пищеварения. К сердитому окрику спешившей к нему дамы он отнесся совершенно равнодушно, даже с некоторым оттенком развлечения, только сказал сам себе:

— Зекс (опасность)...

— Как ты смеешь, паршивец, в самом центре города, на Площади Энтузиастов, устраивать пакости?! — И дама надушенной рукой, украшенной супиром, схватила его за волосы. (Инженер Вошкин фуражку потерял под баржей.) — Ты ж нарушаешь, скверный мальчишка, санитарные правила! Правительство заботится, чтоб вас, сопляков таких, пристраивать в детские дома, а вы, вопреки этому... — И много еще говорила дама, крепко держа отрепыша за волосы.

Отрепыш безмолвствовал. Он пыхтел, кряхтел; лицо его наливалось кровью.

— Я тебя в милицию сведу!

— Нет, не сведешь, — хриплым баском ответил Инженер Вошкин. — И меня не сведешь, и сама не уйдешь от меня.

— Это почему?

Инженер Вошкин заглянул себе под ноги, за пятки, и проговорил:

— Как пойдешь от меня прочь, я в тебя кой-чем пущу... В спину. В платье шелковое. Я изобретатель.

Дама сразу почувствовала себя попавшей впросак.

— Хм, — многодумно сказала дама. Тонкие ноздри ее нервно двигались, губы брезгливо обвисли, черные усики стали длиннее и зашевелились. Площадь все еще была пустынна. Внутренне улыбаясь сразу создавшейся курьезной истории, дама с опасением разжала руку, державшую волосы забияки. Дама старалась дышать теперь по возможности ртом. Дама готова была нарвать отрепышу уши, но вместо

этого она с притворной лаской погладила его голову и мягко заговорила с французским прононсом, отыскивая в голосе нежные, воркующие ноты: — А ты очень милый мальчик. И бородка?.. Зачем бородка? Ха-ха... Вот смешной. Хм... Очень, очень мило... Я тебе пятиалтынный дам. На вот тебе двугривенный. Медали, галуны... Ха-ха... Где же ты заслужил эти медали? Очень, очень мило.

Тут Инженер Вошкин вскочил и убежал: милиционер вел за шиворот двух плачущих беспризорников.

А там, на реке у баржи, толпился сбежавшийся народ. Восемь фотографов, отвоевывая друг у друга наиболее интересные позиции, щелкали кодаками.

XII

НОВОЕ УБЕЖИЩЕ

Никто не видал, как хоронили изуродованных мать с младенцем. Но Амелька выследил, что оба трупа увезены в анатомический театр при университете. Там после судебно-медицинской экспертизы трупы эти, вместе с другими, поступили в экспериментальную работу: студенты-медики готовили очередной зачет по анатомии человеческого тела. И, может быть, кому-нибудь из студентов Майский Цветок приходилась родной сестрой.

Так бесцельно гибнут под ногой луговые цветы и травы. Но Майскому Цветку, хотя и вопреки ее воле, все-таки довелось послужить целям науки.

Инженер Вошкин всем клялся и божился, что, вбежав в палатку, он видел младенца живым, а Майский Цветок валялась с ножом в груди и хрипела. И еще уверял он, что вчера вечером под кирпичными заводами встретил Фильку, что Филька сидит в глубокой яме, печет на костре картошку, при нем взбесившийся Шарик: «Поди-ка сунься, горло перервет». А из ямы подземный ход под реку, на тот берег, далеко, далеко, прямо в Крым, а может, и в Индию.

Амелька захохотал ему в лицо:

— Дурак!.. Филька во как засыпался. Засудят в исправилку.

Инженер Вошкин спорил до слез, наконец плюнул:

— Я в вострономию смотрел! В телескоп! А ты не веришь?! Кобылья голова! — крикнул он и заплакал, пуская пузыри.

Однако на этот раз Инженер Вошкин оказался прав: Филька действительно бежал из рук милиции, действительно скитался возле брошенного кирпичного завода, опасаясь пробраться в город или выйти днем на открытую дорогу, чтоб разыскать слепого старика.

Теперь Филька боялся всякого человеческого взгляда; сумерки и глухая ночь были для него пыткой. В темные страшные часы его воображение наполнялось ужасом, кошмаром: все время грезились Майский Цветок с ребенком. От этой жути нельзя было отделаться ни молитвой, ни крестом; жизнь превратилась для Фильки в сплошную ночь; он чувствовал, как разом закрылись для него все вольные дороги; его душа переживала последнее отчаянье и, если б не храбрый верный Шарик, Филька прикончил бы себя.

Для Шарика же нет ни страхов, ни видений. Шарику нужны жратва и маленькое-маленькое внимание человека. Вчера Шарик поймал на всполье зайца и нажрался. Сегодня он лежит у ног Фильки и караулит темноту. Вот вскочил, зарычал, ощетинился и с лаем выпрыгнул из ямы.

— Шарик, Шарик!.. — кто-то окликнул его.

Собака, поймав знакомое, оборвала лай и выжидательно заворчала, поблескивая в тьму позеленевшими глазами.

— Не узнал, дьявол? Что ты, собачья шерсть... — сказал Амелька.

— Не узнал и есть, — пискливо подтвердил Инженер Вошкин.

И оба, предводительствуемые Шариком, спустились в яму, к потайному костерку, где скрывался

Филька. Но никого в яме не было. Им больших трудов стоило вызвать трусливого Фильку из густого мрака в жизнь. Товарищи едва узнали его. Он был взъерошен, бледен, тощ и почти раздет. Вся одежда его — рваные портки. Вместо рубахи — заляпанная глиной, полуистлевшая рогожа. Он дрожал от нервного возбуждения и холода. Дико поводя глазами, он заикающимся голосом путано рассказал, как ему удалось бежать.

Темный сын суеверной деревни, он ни разу не слыхивал о детских домах для беспризорной гольтепы, где всеми силами стараются переделать этих отпетых человекообразных звереньшей в полезных государству граждан. Филька думал, что, раз он пойман, да еще на таком разбойном деле, его обязательно запрут в острог, а то, чего доброго, поставят к стенке. Значит?..

— Значит, я тут перекрестился, да как порсну в переулок! Ну, знамо дело, крики... Из пистолетов стреляли. И покажись мне тут, что я убитый, что пуля сквозь прошла, прямо в печенки-селезенки, а я все-таки бегу. Ну, знамо дело, за мной народ: «Держи, держи!» Кто-то сгреб меня, я, как налим, выскользнул, да не будь дурак — гоп через забор, да огородом, да через другой забор. Гляжу — отстали. Гляжу — колодец. Посмотрел в него — неглубоко, сухо, собака дохлая валяется на дне, бока раздулись бочка-бочкой. Я туда, спустился на самое дно, притих. Люди мимо меня пробегли. Сижу. И час и два сижу. Подо мной собака дохлая стервой пахнет, надо мной небо. А я в середке. И я подумал: «Вот это жизнь моя. Так мерзавцу и надо. Сиди». Сижу. Вот и темнеть стало, а я все сижу. Слезы из глаз капают... Сижу.

— Поди об слеподыре своем вспоминал? — спросил Амелька, разжигая костер.

— Неужто нет?! И о нем, и о родителях своих покойных, и о жизни своей... Передумано было много...

— Шамовка есть?

— Нету. Три дня не ел... Сегодня глину ел.

— Дурак, — укорчиво, но с оттенком дружеской жалости сказал Амелька. — На огородах живешь, а не жравши. А еще мужик... Вошкин, айда! А ты сиди. Мы живо. — Амелька старался казаться беспечным, но в голосе не было бодрости; весь вид Амельки — унылый, смятый.

Вскоре они принесли десятка два ослизлых картофелин.

— Нынче урожай, — пояснил Инженер Вошкин, — поэтому картошку копают так себе, не согласно науке. А мы подчищаем остатки целиком и полностью. Пеки.

— Ну, а дальше-то? — поинтересовался Амелька.

— А дальше? — вяло и задумчиво переспросил Филька. Он подставлял к огню то оголенную грудь, то спину, размахивал над пламенем рогожей и, когда она трещала от жары, кутался в нее вместе с головой. — А дальше Шарик возле меня взгамкал. Ведь выследил! Вот ты что говори... — захлебнулся Филька радостным восторгом. — И удивительно, что выследил-то ночью. Ну, побеги он за мной, как я удирал, погибель была бы мне. Ну, как это понять? То ли от собачьего ума это, то ли...

— Мусью Шарик! — чужим, каким-то театральным голосом подражая балаганному «петрушке», вскричал Инженер Вошкин и дружески обнял за шею рыжего застенчивого пса. — Мусью товарищ Шарик! Я специально изобрету тебе чайную колбасу с фисташками. Факт. Чем больше будешь ее чавкать, тем больше будет оставаться. Хоть по два пуда каждую секунду жри, мне наплевать. А блохи в тебе есть? Собачью вежеталь изобрету. Не веришь? А ты думаешь, кто примус изобрел? Я изобрел.

Шарик почтительно крутил хвостом и, поглядывая на печеную картошку, пускал слюни.

— Не могу своих найти, — печально проговорил Амелька и вздохнул. — Как вода в решето, — нету.

Амельку мучила мысль о завтрашней субботе, о кооперативе на углу Пролетарской и Красной улиц, о цыганских глазах Ивана Не-спи: разбойная рука его сильна и мстительна.

Спать легли клубком на теплый пепел. Шарик возглавлял клубок. Всех плотно накрыла тьма густая, нехолодная. Лишь бы не было дождя. Амелька тяжко вздыхал. Во сне бредил.

Убийство Майского Цветка, словно внезапный ураган, опрокинуло баржу, расшвыряло, унесло по ветру все щепки, все гнилушки праздной жизни. Многие отрепыши прятались теперь по трущобам, по норам. Их судьба была судьбой поднятых из берлоги зверей, охваченных кольцом облавы. Большинство же беспризорников исчезло вовсе.

Бесследно пропала, как в воду, и Дунька Таракан. Может быть, ее пристукнула мстящая шпана, может, прослыв героем, она вместе с другими мчит скорым поездом на юг, в погоню за улетевшими скворцами.

Но что же медлят эти трое?

Очень просто. Амелька в плену у Ивана Не-спи. Ночной налет в субботний день не состоялся. Значит, бандит во всем обвиноватит несчастного Амельку. И прежде чем куда-нибудь бежать, Амелька должен повидаться с ним, сквитать весь долг, тогда — и вольная. Иначе куда бы Амелька ни скрылся, его везде будет караулить смерть. А нешто Амельке надоело жить? Ого!

А потом — беспомощный, захиревший Филька. Разве не жаль бросить своего товарища? Пусть Филька окрепнет, пусть научится бесстрашно ездить под вагонами, пусть будет заправским гопником.

Это делается так. Прежде всего надо на всякий случай распрощаться с жизнью. Впрочем, о могущем произойти несчастье никогда не нужно думать. Затем необходимо выбраться за пределы вокзала, чтоб не «замел» бдительный железнодорожный сторож, подыскать удобное местечко и ждать отходящего со станции поезда. Вот поезд двинулся, но вагоны еще не получили должного разбега. Теперь надо броситься под проползающий вагон. Потом, согнувшись в три погибели, бежать так несколько секунд, зорко выиски-

вая, за какую часть скрепы схватиться цепкими руками; тут все сознание, вся жизнь переходит в глаза и руки: оплошаешь — смерть. Затем, поймав железную скрепу, ловко закинуть свое послушное тело в тесный собачий ящик, прикрепленный ко дну вагона, который уже успел развить большую скорость бега. Тогда можно спросить себя: «Жив? — жив!» — и первый раз вздохнуть: «Ура, поехали!»

Амелька учил Фильку этому рискованному искусству сначала на товарных тихоходных поездах. Филька оказался учеником сметливым и храбрым. В ночное время он изучал на стоянках устройство подвагонных частей скорых поездов, и ему казалось, что вся эта премудрость усвоена им в совершенстве. Пожалуй, можно бы и в Крым.

Однако опытный Амелька охлаждал его:

— Еще успеешь угореть-то... Крым не уйдет. А то наползаешься на карачках, живо ходули отрежет. А ежели башкой под колесо, — башка, как орех, хрустнет. Нашего брата ой-ой сколько гибнет так...

Филька с трудом соглашался на отсрочку. Предел его мечты — Крым. И эта мечта владела им и днем и ночью. Побывать в Крыму вместе с Амелькой, вместе с Инженером Вошкиным, всласть почавкать винограду, послушать, как сине морюшко гудёт, а вернувшись, непременно, непременно стать на работу: может — на фабрику сподручным, может — в совхоз.

И это так и будет, обязательно так будет, непременно. Уж если забулдыге приспичит заправским человеком быть, — лопнет, а достигнет. Деда же Нефеда, пожалуй, и в отставку: пускай побирается один.

Наступали холода; вчера валил влажный крупный снег; река от холода потела: над рекою пар стоял.

Амелька быстро сорганизовал новое убежище для кучки беспризорников. Оно помещалось в разрушенной каменной мельнице в двух верстах от городской окраины. Устроились в подвальной кладовой. Там валялись жернова, ветошь для обтирки машин,

кой-какой железный хлам. Часть имущества Амелька выгодно «загнал» в обмен на мясо, булки, хлеб; часть же пошла на домашние потребности. Нашлась железная печь, нашлись дрова, подвал стал усиленно наполняться дымом и теплом.

Кроме Инженера Вошкина и Фильки, здесь были: маленький горбун Пашка Верблюд со стариковским трехугольным личиком и наглыми глазами; еще — похожий на девчонку Степка Стукни-в-лоб, все в том же старушечьем чепце и с муфтой; еще — бесштанный Ленька Жох, тот самый, который обратил в бегство всю баржу сонным криком: «Змея! Змея!»; еще — краснощекая толстуха Катька Бомба, давнишняя Амелькина маруха. Она любила песни, была хлопотлива и улыбчива. Ребятам жилось с нею хорошо.

Вскоре пришли еще двенадцать беспризорников. Семья росла.

Но беда в том, что были все почти босы и раздеты, даже сам Амелька. А между тем в барже осталось много всякого барахла, остался там и колдовской, завороженный сундучок Инженера Вошкина. Однако, к большому огорчению отрепышей, баржа день и ночь охраняется двумя вооруженными. При них — злобный, чуткий пес. Да и вряд ли там что-нибудь осталось.

Впрочем, Амелька не дурак: он предвидел возможные напасти на свою босоногую команду и на всякий случай прятал лишнее барахло в «чихауз», то есть в вырытую в кустах вблизи баржи яму. С риском для жизни Амелька вместе с Инженером Вошкиным все-таки решили пойти на отыскание клада.

Перед отбытием на «дело» Инженер Вошкин тщательно заворожил себя с Амелькой от собак, от пули. Ворожбу производил он на вполне научном основании, пропуская «переменный ток в двадцать два триллиона вольт через Амелькины пупок и пятку». Ворожба сопровождалась диким воем, свистом, писком, страшными заклятиями на совершенно неизвестном языке. Под конец Инженер Вошкин стал

кружиться, скакать возле Амельки и гримасничать. Амелька со своей марухой громко хохотали, посматривая на бесившегося мальчишку, глаз которого все еще был полузакрыт. Филька же вздыхал и сплевывал. Он никак не мог понять: всерьез колдует потешный карапузик или просто валяет дурака.

Были дождь, и тьма, и ветер — лучшей ночи не дождаться. Амелька с Вошкиным пошли вдвоем на розыски в надежде вскоре же одеть в теплое всю шатию.

Однако вернулись на рассвете с пустыми руками, злые, взмокшие, голодные: их «чихауз» был кем-то начисто ограблен.

XIII

ПТИЧИЙ ГОГОТ. МИТИНГ

Вчера приперся со своей собачонкой Мишка Сбрей-усы. Вместо трусиков — на нем штаны, вместо жилетки — ватный казинетовый пиджачишко, просаленный и весь в прорехах, на голове — новый картуз, воровской дар Хрящика.

— Сидит на базаре мужик вот в этом картузе, горшками торгует. Хрящик иксприировал.

Мишка Сбрей-усы печален. Он подхватил какую-то венерическую болезнь. Глаз у него подбит. Амелька принял его в свою команду не особенно ласково. Мишка был по природе хулиган. Амелька же хулиганства не любил. Да и вообще среди беспризорников заядлых хулиганов очень мало. Беспризорникам нет времени заниматься бесцельными пакостями: их опасная, полузвериная жизнь слишком напряжена в борьбе за существование.

— Вот что, Мишка, — сказал парню Амелька Схимник, — ежели хочешь с нами жить, не хулигань.

— А я и не хулиганю. — И Мишка сделал лицо идиотским.

— Врешь. Зачем врешь? Ты на рынке нагадил бабе в кадушку с рыжиками. Этого ни одна собака не дозволит. Ты гражданке в кооперативе белое

платье дегтем вымазал. Это факт или не факт? Сволочь ты. Ведь тебя убьют.

Мишка Сбрей-усы вложил палец в рот, пустил слюну, промямлил:

— Поесть бы мне.

— Сначала заработай. Продай картуз, вот и нажрешься.

Пока что ребята жили впроголодь. Однако изобретательный дух Амельки не померк. Амелька разнюхал, что возле станции, на дальних путях, стояли три вагона с невостребованным грузом — живые индюки, гуси, утки, куры. Из подслушанного им разговора железнодорожников — весовщика и кочегара — он вызнал, что вот уже почти неделя как хозяин груза — кооператив какой-то неисправный — не может выкупить товар: то ассигновка не получена, то смета не утверждена, то кассир в рулетку проигрался, деньги по знакомым собирает, а меж тем птица помаленьку дохнет с голода: эвот какой гогот-писк стоит, просто вчуже слушать жалостно. А чем ее кормить? Из каких таких авансов? Дорога не обязана сверхсметно денежки бросать... Эх, черти! Изведут птицу окончательно. Ау!

Мысленно поблагодарив судьбу и сердобольных железнодорожников, Амелька набрался радости и веры в полный успех задуманного им подвига во имя спасения своей бесштанной голодающей скотинки.

Он быстро мобилизовал пяток сильных и отпетых городских стрелков-отрепышей. В ближайшую ночь, пользуясь дождем и воровской непроглядной тьмой, шайка тихо откатила вагоны, умелой рукой сшибла замки, и живность получила полную свободу. Однако торжествующие радостные крики птиц тотчас же сменились отчаяннейшим гоготом, кудахтаньем и писком.

Человеческих же голосов не слышно: мазурики орудовали тихомолком, чтоб шито-крыто, ни гугу.

Инженеру Вошкину, стоявшему на карауле, тоже кой-что перепало. Но он не мог преждевременно покинуть столь ответственный пост; он прибыл на поле действия лишь к концу разбоя, когда разбежав-

шиеся по путям, по степи птицы были почти все переловлены проворной шатией.

В небескорыстной ловле также принимали азартное участие две беременные, но очень расторопные сторожихи из ближних железнодорожных будок.

Инженер Вошкин, вполголоса переругиваясь с тетками, все-таки поймал хромого индюка и тут же размозжил его голову о камень. Домой же маленький отрепыш явился только утром: до полного изнеможения он всю ночь волок в мешке прямо по грязище трупы двух индюков, четырех гусей, десятка уток и обыкновенного петуха с красной бородой.

Амелька, встретив Инженера Вошкина, засмеялся и сказал ему:

— Вот дурной... Да ведь это падаль! Ведь ты их дохлых в вагоне подобрал.

Инженер Вошкин не смутился и ответил:

— А что ж такое? Я их сейчас зарежу.

Он вынул нож, спокойно перерезал трупам глотки и проговорил:

— Все в порядке.

Ребята пировали. Катька Бомба всего наварила и нажарила. Весь же основной улов был выгодно размещен по живопыркам, обжоркам, пристанским столовкам. А падаль и тухлятина пошла специально в колбасные одиночек-кустарей; получились первосортные предметы роскоши: паштеты, великолепные страсбургские пирожки и отменная, сдобренная селитрой и фисташками, колбаса из свежей дичи. Это — для первоклассных ресторанов.

Мишка Сбрей-усы тоже не остался в долгу. Он притащил поросенка, девять рублей денег и привел толстогубого, в надвинутой на нос кепке, мальчишку лет тринадцати.

— Как ты это? — удивлялись все.

Мишка вытащил из мешка за ноги мертвого поросенка, с маху ударил его головой о камень, — брызнули мозги, — сказал:

— Мужика накрыл. Вот с ним, — мигнул он на отрепыша. Тот хрюкнул, разинул рот и запрокинул голову, чтоб посмотреть из-под козырька кепки на

новых своих товарищей. — Сначала смыли с телеги поросенка. Потом в кооперативе два порожних мешка. В один запхали Хрящика, в другой — поросенка. Хрящику я большую кость в мешок сунул, чтоб глодал, не лаял. Возле конной, глядим, мужик хряет. «Дядя, купи поросенка!» — показали ему, осмотрел: «Краденый?» — «Это верно, краденый, — говорим, — зато породистый, возьмем дешево: десятку. Только скорей, дядя, скорей! Народ ходит». Купил за три трешки, стал подымать мешок на закукры, а мы: «Дяденька, стой, подсобим», — да и подсунули ему мешок с Хрящиком, — да дуй, не стой, бегом. Мужик заглянул в мешок, а Хрящик на него: «Гаф!!» — да к нам; мужик от ужаса перекувырнулся, крестится: «Караул, черт-черт-черт!»

Ребята смеялись. Бельмастый Хрящик, поджимая то правое, то левое ухо, тоже многоумно улыбался. Шарик со всем тщанием вежливо обнюхивал его. Хрящик вдруг улыбку сменил на хрип и куснул лохматого Шарика в простодушную морду. Обиженный Шарик отскочил, сел над поросенком и, поглядывая на его курносую, разбитую о камень хряпку, стал пускать слюну.

— Однако твой Хрящик прямо ай-люли, — одобрили ребята сучку.

Мишка Сбрей-усы потер подбитый глаз и, разглядывая свои утиные, обутые в опорки ноги, не без гордости сказал:

— Ну, какая это собачонка... Видимость одна. Цена ей грош. А вот, братва, в позапрошлом году жили мы в городишке маленьком, городок тихий, северный. И было у нас собак двадцать две.

— Где ж добыли?

— По улицам имали, во дворах. Был, например, дог с корову размером. Был еще добрыйман, что ли, порода такая, куцый... У доктора смыли.

— Чего же они жрали-то?

— Им шел от нашего коллектива ударный паек; они лучше нас кушали. Зато мы их обучали во как! Выходим, бывало, коллективом на базар, при нас собаки на веревках. Так, бывало, как завидят нас,

весь базар кто куда, врассыпную. Ну, значит, все ларьки наши. Нагрузишь подводы две мужичьих, отвезешь до хазы, до жительства.

— Врешь! — изумились ребята.

— Легавый буду, правда! — Мишка сдернул картуз, пободался дынеобразной башкой и три раза чихнул. — А ну, дайте понюшку. Амелька, дай!

Тот неохотно протянул склянку с марафетой. Мишка Сбрей-усы сладостно нюхнул по очереди обеими ноздрями и прикрякнул.

— Учить собак было очень трудно вначале, — гнусаво сказал Мишка Сбрей-усы и вытер слезы. — Мы науськивали их на торговок, на спекулянтов. Шухеру, гвалту было много. Менты издали стреляли в нас: подойти боялись: стрельнет — да бежать. Один мясник двух собак наших зарубил. Прямо напополам. А потом едва убежал: его здорово исчавкали, в больнице сдох.

— Врешь, — стали подсмеиваться над ним ребята.

— Легавый буду, правда! Век свободы не видать! — клялся ошалевший от кокаина Мишка. — Увидим гражданина богатого, кричим: «Даешь шубу!» А попробуй-ка, не сними: двадцать две собачки при нас на веревках. Мы даже...

— Поросенок! Где поросенок?! — И всполошившаяся шатия, с Катькой Бомбой во главе, бросилась к собакам.

От поросенка остался хвостик и наскоро обглоданный череп с мелкими зубами. Шатия остервенело накинулась на Шарика. Филька, задыхаясь, кричал:

— Стой, ребята, не бей! Он не виноват...

Меж тем вороватый Хрящик с подхалимной улыбочкой пал на спину — лапки вверх — и заюлил, как бы говоря: «Я сучка очень даже честная: до поросенка ни-ни-ни». Однако видно было, что отвислое брюхо песика раздулось, как бочонок. Избиваемый же лохматый Шарик принял бучку с примерным смирением и кротостью: покорные карие глаза его глядели на палачей сквозь слезы; он лишь беспомощно повизгивал, поджимая рыжие с проседью уши; он не умел сказать, что поросенок был ловко стащен не им,

а окаянным Хрящиком, Шарику же, в сущности, досталась самая безделица: задняя нога, да кое-что от раздробленной головки.

Оскорбленный Шарик забился под амбар. Он опять видел во сне лисий хвост, но на этот раз от того хвоста пахло очень скверно.

Вот новая компания, разбогатев, кое-как и приоделась. Правда, все отрепье с толкучего рынка — отчасти уворованное, отчасти собранное в виде подаяния или приобретенное в твердый счет за наличные. Одеяние с виду неказисто, но для сугрева пригодное вполне.

Например, Инженер Вошкин купил стеганую солдатскую жилетку времен русско-японской войны, генеральские синие рейтузы с красными лампасами, казацкую папаху с желтым верхом и рваные бурки. Хотя обувь была для мальца великовата и оба сапога на правую ногу, но это ничего.

— Ничего, — философски заметил Инженер Вошкин, — я к каблукам шпоры приделаю. Очень просто.

С аппетитом доев дохлого петуха, мальчонка с утра до поздней ночи занимался усовершенствованием своего костюма. Катька Бомба деятельно помогала ему. Генеральские штаны, на своем веку сменившие, наверное, не менее двадцати хозяев, были очень потрепаны, и длина их втрое превышала длину ноги Инженера Вошкина. Добрая часть штанов была искусно употреблена на рукава к стеганой жилетке. И все-таки Инженер Вошкин погрузился в штаны по уши. Катька Бомба звонко рассмеялась, толстые щеки ее лоснились. Инженер Вошкин сказал:

— Очень просто. Я сейчас генералом буду. Факт.

Он развернул номер старой «Нивы», вырезал портрет генерала Куропаткина и, взяв картонку, углем написал на ней:

СТОЙ!

Здесь живет главнокомандующий
Генерал-адьютант **КУРОПАТКИН,**
бывший инженер ВОШКИН

Картонку эту он прибил над собственным логовом; маленькую курносую физиономию свою разрисовал под генерала, надел набекрень папаху и прикинулся величественным и грозным.

Филька время от времени показывался в город. Боязливо озираясь, как бы не сцапал милиционер, он толкался по чайнухам в надежде отыскать дедушку Нефеда. Но старик, должно быть, из города ушел.

Однажды Филька встретил в чайнухе Дизинтёра. Парень обрадовался и пригласил Фильку выпить кружку чаю.

— Ты еще здесь все? — спросил он Фильку.

— Здесь. И ты здесь?

— Как видишь. Только что я скоро в совхоз уйду... Ваканция выходит. В союз записали меня... Лафа-а... — И парень весело заулыбался.

— Я тоже думаю в совхоз попытать. Авось возьмут. Вот только в Крым съезжу.

— В Кры-ы-м? — протянул парень и красными жирными губами пососал голову селедки. — Нет, я в Крыму не был, да и быть не желаю. Для нас Крым там, где работа есть да деньги платят. А знаешь, — бросил он под стол обглоданную голову и смачно облизал грязные толстые пальцы, —ведь Дунька-то нашлась. Таракан-то ваш.

— Ну! Неужто?! — изумился Филька. — Что ж, поди в тюрьме сидит?

— Нет, — сказал парень, оправляя на ноге новый лапоть с чистыми онучами, — нет, ее мертвую нашли. Утопла. К пристани прибило ее.

— Так, так, — дрогнувшим голосом проговорил чувствительный Филька. — Вот тебе и Дунька Таракан. А мне сдается, она не одна убила мать-то с малюткой...

— Известно, не одна... Где же ей одной было совладать, — ответил парень, и в голубых, чуть припухших глазах его замелькали искры. — Несамостоятельная нация эти беспризорники, паршивая. Советую тебе уйти.

— Я уйду. Обязательно уйду, — рассеянно сказал Филька.

Попили чайку, пошли домой. Дизинтёр вынул из мошны немного денег и подал их Фильке:

— Нá полтину. Пригодится. И еще раз упреждаю: беги от этой шатии, беги!

— Обязательно... Мне это и дедушка Нефед советовал.

— Это какой Нефед? Слепой-то? Он в больнице... Да, кажись, помер, никак.

— В какой больнице? Где? — всполошился Филька.

— А вот видишь, красный флаг на крыше... Тут. Что он тебе — родня, что ли?

— Не родня, да лучше родни в десять разов. Я поводырем у него был...

— А пошто же в таком разе ты бросил-то его?

Филька отвернулся, замигал, и рот его скривился.

— Паршивый дурак я был... Вот поэтому, — прошептал он.

На недавнее кровавое событие под баржей советская общественность быстро откликнулась рядом статей в газетах, специальными партийными совещаниями на рабочих предприятиях и в районном исполкоме. Граждане окраин этого большого города были тоже воинственно настроены: беспризорники давным-давно всем осточертели.

На Гвоздильном заводе был многолюдный митинг. Председатель, один из старых мастеров цеха, сделал краткое сообщение по вопросу беспризорности в Союзе.

— Кто такие беспризорники? Они на три четверти — дети рабочих и крестьян. Из них — на три четверти круглые сироты, — говорил председатель. — Да. Но, товарищи, не мы одни такие уж несчастные. Беспризорность распространена и в Америке, и в западно-европейских странах. На днях мне попалась брошюра: в Чикаго, например, с 1917 по 1919 год рассмотрено в судах десять тысяч дел о преступлениях несовершеннолетних. Во Франции в 1917 году — двадцать одна тысяча, в Германии в том же году — девяносто пять тысяч осужденных детей. Вот вам...

В конце речи он поставил на обсуждение вопрос: как изжить беду?

Первый взял слово большебородый старик Антипов, бывший рабочий, пенсионер:

— Мой постанов вопроса такой. Топить их, сукиных котов, и больше никаких. В мешок да в воду, в мешок да в воду! — кряхтя и покашливая, озлобленно рубил он пространство рукою.

— Брось, дед! Что они — котята слепые, что ли? — крикнул кто-то с высоких хор.

— Я не дед, — обиделся старик. — Мне еще шестьдесят девятый только. — И, вообразив, что его назвал дедом впереди сидевший плешивый дядя, ткнул его в плечо и загнусил: — Да у меня, может, волосьев-то поболе, чем у тебя, лысый баран.

— К делу, к делу!

— Ведь какая это обуза государству, страсть, — продолжал старик. — Их в каждом городе, как клопов в ночлежке. Их ловят да в детские дома, а они, паршивцы, бегут. Как же! Им хулиганить надо, воровать. Им в приютах щи да кашу дают, а они нос воротят: испакостились на воле-то, сардинки жрать привыкли, колбасу, то, се. Им долго ли с лотка спереть? Да они у меня удочку украли на реке, и всю рыбу сперли, весь улов... Вот они что, душегубы, делают... Контрреволюционеры, черти... Одно средство: топить!

В зале засмеялись.

— Твое предложение, товарищ Антипов, устарело, — позвонил председатель. — Садись скорей!

— Кто, я устарел? Сам ты устарел, красавец. Одних налимов они, мазурики, сперли у меня килы три.

— Садись скорей, — безнадежно махнул рукой председатель.

— Напрасно ты, молодой человек, любезный дедушка, предлагаешь такую расправу с ребятишками, — поднялся второй оратор, машинист железнодорожного депо, тоже старик. — Это ты по молодости своих лет сбрехнул... Это не государственный подход. Это в тебе мелкобуржуазный собственничек говорит... Налимов тебе жалко...

— Налимов?! А ты язей да подъязков не считаешь? — во все стороны завертелся дед, отыскивая говорившего.

— К делу, к делу!

— Вот я и хочу сказать... Не все же они такие. Бывают среди них и хорошие ребята... — продолжал машинист, сбивая на затылок папаху. — Например, у меня племянник. Еще при царе путаться со шпаной стал. Потом, братец ты мой, проник на английский пароход-угольщик, да в Лондон и утек. Вот хорошо...

— Что ж вы предлагаете, товарищ?

— Кто, я? Ловить и в детские дома, в науку.

— А почему комсомол этим делом не займется? — сразу с трех мест раздались голоса. — Это их обязанность. Еще на Всесоюзном съезде комсомола в двадцать четвертом, кажется, году они постановили.

— Да, правильно. Прошу слова, — поднялся сидевший в президиуме худой высокий комсомолец. — Верно, это дело наше, комсомольское. И надо признать открыто, что мы на этом фронте несколько поотстали. О причинах объективных я не говорю. Вот, например... Да, впрочем, не стоит говорить, да вы и сами знаете. А что касаемо беспризорников, то у нас сейчас работают три бригады. Мы постановили число бригад утроить. За последний месяц путем агитации вовлечено в детдома сорок восемь беспризорников. Это, каемся, позорно мало. Но мы, товарищи, требуем помощи и от вас, партийцев, и от всех честных граждан. Если благоприятная конъюнктура создастся, мы даем слово ликвидировать беспризорность на все сто процентов!

XIV

РАССКАЗ ИНЖЕНЕРА ВОШКИНА О КРЫМЕ

В больницу Филька зайти боялся. Он снял шапку и несмело спросил вышедшую из больницы величественную даму — ту самую, что вела разговор с Инженером Вошкиным на площади Энтузиастов.

— Тетенька хорошая,— сказал он, кланяясь,— только вы не подумайте, ради Христа, чего-нибудь худого. Я не хулиган и денег просить не стану. Я смирный. А вот чего, тетенька хорошая: не у вас ли лежит слепой Нефед, мой дедушка родной? Фамиль — Холмогоров. То есть я его внучек буду.— Филька нарочно назвался внуком, чтоб разжалобить нарядную тетю. Он был небольшого роста, казался младше своих лет.

Дама приложила ладонь ко лбу, закатила глаза и откинула голову так круто, что мужская шляпа едва не слетела с седых стриженых волос.

— Хм...— сказала дама и прищурила левый глаз.— Нефед? Слепой? Помню, помню. Он дня четыре, как умер. Его в анатомический театр увезли. При университете... Знаешь? Потрошить... Ну, адье... Прощай.

Филька застыл на месте. Слезы застилали свет. Он стал часто креститься похолодевшей, словно не его, рукой. Потом уныло поплелся в театр, как сказала ему тетя. Там ответили Фильке, что в театр никогда покойников не возят, в театры съезжаются живые люди смотреть представление, что над ним просто-напросто кто-то подшутил и пусть он убирается восвояси, покуда цел, а то живо милиционера покличут.

Вконец огорченный, Филька направился домой. Кровная обида кипела в сердце и на тетю, на обманщицу, и на милого дедушку Нефеда: зачем он пред своей смертью не позвал Фильку в больницу? По крайности они навек простились бы тогда. Эх, дедушка, дедушка Нефед! Взял да умер в чужих людях... Дурак ты! Царство тебе небесное!

Филька в горести купил булку за пятак и подал ее у собора нищему, сказав:

— За упокой новопреставленного Нефеда Холмогорова... Прими, кормилец.

Погода была пасмурная, сыпал легкий тихий снег. Все быстро запушнело белизной, лишь дороги упорно сопротивлялись снегу и долго были черны, как траур. По этим траурным дорогам опечаленный Филька

спешил к себе. А дома он схватил в охапку Шарика, стал целовать его как единственного друга и жаловаться собаке на свою судьбу, на то, что дедушка Нефед преставился, приказал всем долго жить. Шарик поднимал уши, морщил лоб, внимательно всматривался в Филькины глаза; он всячески старался схватить, уразуметь, о чем толкует Филька, и, притворившись, что все понял, все уразумел, давай юлить, извиваться, повизгивать и усерднейше крутить хвостом. Филька горестно вздыхал.

В этот же день генерал-адъютант Куропаткин (бывший Инженер Вошкин) производил смотр войскам. Он в две шеренги расставил бутылки, палки, поленья. И на парад выехал верхом на Шарике. Генерал Куропаткин был очень живописен в своем костюме: в галунах, медалях, папахе, шпорах, которые он сделал из гусиных лап. Всего замечательнее были генеральские штаны. В сущности, генерала Куропаткина и не было: были огромные штаны, папаха, два прытких глаза и черная окладистая борода.

Фильку эта забава немножко развлекла. Амелька же сказал генералу Куропаткину:

— Ты бы, черт паршивый, изобрел чего-нибудь. Ну, хоть радио свою.

— Зачем! — протестующе ответил парнишка. — Скоро ухряем в Крым. А вот я изобретаю волшебный порошок. Буду вызывать Дуньку Таракана.

— Она умерши, — проговорил Филька, — и дедушка Нефед умерши. Дунька утопилась. — И все рассказал товарищам, что слышал от Дизинтёра.

— Ну и хорошо, — заметил генерал Куропаткин. — Покойников легче вызывать. Каливостру читал, графа? Я генерал, а тот граф был. Тоже мастер вызывать покойников. Я читал.

Амелька, глядя на мальчонку, не утерпел, расхохотался.

— Эх ты, гнида! — сказал он. — Ты такой же генерал, как Шарик — попова дочка.

— Ты сам — кобылья голова, — огрызнулся мальчонка.

— Да нешто генералы изобретают?

— Наплевать. В таком разе я опять Инженер Вошкин буду поэтому. А ты все-таки — балда. Ты в Крыму не был, а я был... Что, скажешь — не был? Врешь, был. Был, был, был!.. Хочешь, расскажу всю подноготную? Я в третьем годе был там.

— Да тебя в третьем годе-то и на свете еще не было, — опять захохотал Амелька.

— Врешь! Был, был, был! Хочешь, расскажу?

Ребята стали упрашивать его: все-таки мальчишка уж очень занятно и складно врет, а делать все равно нечего, в котелках же вот-вот вскипит чаек.

В углу каменной, похожей на склеп, кладовки топилась зашпаклеванная глиной ржавая буржуйка: довольно дымно было, но угревно. Под потолком горел с тремя огарками фонарь; из открытой дверцы буржуйки тоже шел красноватый теплый отблеск. И расположившаяся на полу, возле котелков, живописная кучка оборванцев, освещенная двойным тусклым светом, казалась картиной старой фламандской школы.

Инженер Вошкин сел на корточки, уперся ладонями в колени, оттопырил трубкой губы, с шумом втянул в себя воздух и начал:

— И вот, братцы, Крым... Видано-невидано, слыхано-неслыхано...

Инженер Вошкин, разумеется, в Крыму не был, но он недавно в рабочем клубе слышал о Крыме, Кавказе и Алтае лекцию одной заезжей путешественницы. На этой лекции с помощью волшебного фонаря показывались раскрашенные картинки.

Мальчишка — большой любитель всяких лекций и докладов. Тема мало интересовала его: будь то деловой доклад об успехах горнопромышленности в Калифорнии, о политической ситуации Китая, научной постановке труда, Инженеру Вошкину совершенно безразлично: ничего не понимая, он слушал доклад-

чика механически, точно так же, как гоголевский Петрушка читал книги. Смышленому парнишке просто приятно было незаметно проскользнуть серым мышонком туда, где собираются большие, где светло, тепло, уютно; прижаться в уголок или примоститься где-нибудь меж скамьями поближе к сцене, послушать, послушать, а потом — уснуть. Он однажды проспал всю лекцию, его разбудил сторож: «Эй, субъект, пошел отсюда вон!» Инженер Вошкин осмотрелся: огни погашены, пусто, он весь закидан шелухой подсолнуха, заплеван. Почесался, встал с пола и ушел.

Однако кое-что из лекций западало в память Инженера Вошкина. Клочки картин и образов остались и о Крыме, об алтайских шаманах и их странном волшебстве.

— И вот я, братцы, значит, прикатил, конешно, в Крым на самом скором, в мягком. При мне три сафьяновых чемодана со всякой штукой. Куда деться? В гостиницах — полно, не принимают; все частные квартиры сняты разными буржуями. Как мне быть? Тогда разыскал я, братцы, в горах колдовскую пещеру. Снаружи дырка маленькая, едва человеку проскочить, зато в середке жилплощадь, конешно, огромадная, кругом разбойничьи костры горят, на деревьях зеленые змеи виснут, по-человечьи разговор ведут, на камнях розовые жабы, с Шарика размером, сидят, клохчут, все равно как фертупьяна-музыка.

Лицо Инженера Вошкина стало таинственным, ноздри вздрагивали, глаза горели, на каждой фразе он вытягивал губы, приоткрывал рот и взахлеб, точно у него захватывало дыхание, медленно вбирал воздух, чтоб выбросить его в резком выкрике или трагическом, устрашающем шепоте.

— И лежит, братцы, на лебяжьем пуху, на золотых парчах этакое-этакое человечище, сам Крым-Гирей, волшебник. Бородища — во! Усищи — во! И меч-кладенец из литого золота сработан. И закричал Крым-Гирей на меня само громко: «Сейчас зарежу! Ты зачем, мальчишка, попал сюда?» — «На курорт прибыл», — отвечаю. «А зачем тебе было на курорт

приезжать?» — «Переутомленье, — отвечаю, — мозговая нервенность желудка». — «Заполни анкет, мальчишка, а нет, — зарежу!» Я заполнил анкет. «Чем занимался до начала февральской революции?» — «Ничем, — говорю, — не занимался: у мамки в брюхе был. А ты чем?» А он как топнет на меня этакой-этакой ножищей, аж вся земля встряслась: «Как ты смеешь, шкет, постанов вопроса спрашивать?! А хочешь, хулиган, я сейчас гнойник предрассудков вскрою у тебя в морде!» И схватил он, братцы, меч-кладенец. Тут у меня с ужасу переменный ток пошел изо всех отверстий. «Храбрый Крым-Гирей! — вскричал я. — Пожалуйста, не вскрывай гнойника: я в общем и целом маленький!» — «Ладно, — сказал он, — тогда снимай штаны, диологию стану выправлять!» — «У меня, храбрый, непобедимый Крым-Гирей, ни штанов, ни диологии: я вовсе махонький...» После этого он тихонько щелкнул меня по голове, сказал: «Изобретай», — и выгнал вон. С этого текущего момента я сделался научный изобретатель.

Инженер Вошкин наскоро прожевал медовый, стянутый на базаре пряник, запил чаем из грязной черепушки и вытащил из кармана бывших генеральских штанов какой-то черный ошметок.

— Вот, — сказал он, — эту химию дал мне неустрашимый Крым-Гирей. «На, — говорит, — тебе, Инженер Вошкин, на прощанье моржовый зуб морской волшебной собаки. Я, — говорит, — изжег его на огне для усиленья. Через этот зуб будешь изобретать, что только пожелаешь, и волхвовать, как Каливостров. Только скажи: «Кара-дыра-курум», — все будет согласно резолюции. А теперь иди, делай усмотренье Крыму». И я, братцы, пошел. Ночь страшенная. Зве-е-езды... Во какие звезды, по кулаку. Месяц тоже огромный, к земле близехонько, потому — вся земля там на высоченных горах. По этому самому очень большой свет от месяца идет, больше, чем от солнца, только синий. И все — синее, во какое синее, просто страсть! Море — синее, чайки — синие, дома — синие, люди — синие. Глянул я за море, — ничего не видать, только плывут по морю двенадцать кораблей, и на

каждом корабле красная звезда горит, — все наши, все советские. Вот, думаю, чудесно: сяду, уеду в Индию — кара-дыра-курум — и кончено. И дождался я, братцы мои, когда солнце всходит. Глядь — зоссияло все небушко, и сине море зоссияло все. Ох, братцы, не могу вам сказать, ну, не могу сказать. Даже целиком и полностью... Ой, ой, ой, ой!.. И все стало розовое-розовое, потом — красное-красное, потом — зеленое-зеленое. Глядь — Гурзуф называется: башни, кипарисы, татарки воду черпают, татарочки молоденькие, в жемчужных шапочках. Я, конечно, подмигнул им, покрутил усы, стою, наслаждаюсь воздухом. А в море камнищи наворочены, и море в берег бьет: как саданет-саданет волной, так меня брызгом и окатит. А я, — заметьте, братцы, — на горе стою, красуюсь как памятник революции. И захотелось мне есть. Взял, нагнул кипарисину, нарвал апельсинов, сколько надо (по сорок копеек штука, а я задаром); нарвал таким же манером винограду, дамских пальчиков, груш, всякого нарпиту. А глянул вниз, — там волны рыбин живых швыряют прямо на берег. Вот, думаю, наберу рыбы самой вкусной, вроде балыка, наварю ухи, начавкаюсь донельзя. И подумалось мне тут: эх, черт забери, а ведь скучно одному, не славно! Только так подумал я, вдруг, братцы мои, слышу: «Здравствуй, миленький мальчик!» Гляжу — мне навстречь красивенькая девочка идет из замечательного сада и несет она в руке ребеночка. Я усы покрутил, отвечаю: «Здравствуй, товарищ! Как тебя звать?» — спрашиваю. А она отвечает: «Меня, конечно, звать Майский Цветок». Я подружился с ней и привез ее сюда в курьерском. С тех пор я стал сильно любить Майский Цветок и уважать... А ее, а ее...

Тут голос Инженера Вошкина дрогнул. Мальчонка вздохнул, прикрякнул и в молчании вышел на воздух.

Ребята сидели неподвижно и тоже молчали. Инженер Вошкин своим путаным рассказом, как сказочным ключом, открыл потайную дверь их думам. Все прекрасно знали, что мальчонка городит чепуху, но желанные слова — Крым, море, кипарисы, виноград — взвили вихрем их воображение, умчали их

через необъятное пространство в те волшебные плодоносные сады, к тому удивительному морю, в тот Крым чудесный, который грезится всякому и во сне и наяву. В Крым, в Крым, в Крым! — взволнованно стучали их сердца.

В таких манящих мыслях ребята стали укладываться спать. Но предвкушение скорого отлета в путь вольных птиц не давало им сна. Молча вызывали они в пытливом воображении невиданные картины земного рая. Еще дня три-четыре — и прощай, зима. Впрочем, они здесь дождутся порядочных морозов. Будет гораздо любопытнее — из холода, из-под метельных вьюг да сразу же в тепло под солнце. Так сказал им Амелька. А уж он-то не станет попусту лясы точить — башка!

Все молчали. Филька лежал в обнимку с Амелькой, чтоб не озябнуть, когда остынет промозглый склеп. Кто-то повел речь крикливым, раздраженным голосом. Филька слышит и не слышит: уж очень хочется спать. Все плывет, темнеет, уходит вглубь. И со дна — Амелькин голос:

— Ты чего это зубами стучишь? Чего дрожжи продаешь? Ежели тяжело, не вспоминай, молчи.

Филька открыл глаза, но ничего не видел: тьма была. Потом раздался испуганный, весь в рыданиях, голос Пашки Верблюда:

— Я дрожу не оттого, что... Я... Мне не это тяжело, не жизнь моя, — захлебывался Пашка. — А как я видел, отец мой прохожего в избе убил. Опосля того мать мою зарубил при мне топором. Мамка дюже долго хрипела. А я под шесток забился, к кошке. После того два года немой был: с ужасу языка лишился.

У Фильки судорога сжала горло. Во тьме вздохи послышались то здесь, то там.

— Который год тебе был? — спросил Амелька Пашку.

— Шесть.

— Не держи это в сердце, забудь, — сказал мудрый Амелька.

— Я утоплюсь! — выкрикнул Пашка.

— Ой, что ты, — тихо пропищала Катька Бомба.

— А нет, — зарежусь, — продолжал Пашка Верблюд, — опаскудело мне все... Урод я. Силы нету... Холодно.

Сколько прошло времени, — неизвестно. И больше ни слова.

Фильке хотелось приласкать Пашку Верблюда, сказать ему: «Маленький, а какой несчастный... Эх ты, милый мой...»

— Ребята, спите? — спросил сквозь тьму из своего угла Амелька.

— Нет, не спим, — ответила тьма.

— Вспомнил я своего дружка, — не торопясь, как бы переживая то, о чем говорит, стал вдумчиво повествовать Амелька. — Я целый год дружил с ним. Все в Крым собирался. Он там бывал разов пяток. Бывал и на Кавказе. И не знаю, врет ли, нет ли, что даже в Америке бывал. А сам щупленький, заморыш такой, вроде тебя, генерал Вошкин.

— Не твоего ума дело! — крикнул задетый за живое мальчонка. — Вопрос исперчен... (Он иногда любил перевирать слова.)

— А звать его: Монька Акробат, из евреев он, чернявый. Вот башка-а-а... То есть разговаривать умел, то есть отчаянный был, черт его душу знает... Теперь я в жизнь не поверю, что евреи — трусы, в бельма наплюю тому. Я сужу по Моньке. Например, умер он, ребята, так. Вот поехали мы с ним в Крым на скором. Подъезжаем к Харькову. Он и кричит мне что есть сил из собачьего ящика: «Ты лежи, а я соскочу: гляди, какие фокусы буду делать под вагоном». Я ему кричу: «Не надо, Монька, брось». А он уж соскочил. Я выглянул из ящика — нету Моньки. А тут и поезд наш к вокзалу подлетать стал. Мы знаем, что сейчас ловить нас будут, соскочили, не доезжая бана. Сгрудились, а темновато было. Моньки нет. Я говорю: «Ребята, Монька на ходу недавно спрыгнул. Однако он убился. Айда Моньку искать!» Побегли мы, плю-

нули и на поезд. Подбежали: лежит Монька, одна нога напрочь отрезана, другая повреждена. Что нам делать? Надо на станцию нести. Другого бросили бы, а Моньку мы все любили. Взяли, понесли в больницу. Он очнулся и говорит: «Пустите, я сам дойду». Опять закрыл глаза. Мы несем. Жалость в сердце, жуть. Эх, Монька, Монька! А он открыл глаза, взглянул на меня и говорит: «Амелька, дай, пожалуйста, курнуть. Папиросы у меня в кармане, достань, дай сюда». Я подал ему свою гарочку закуренную: «На, Монька милый, затянись». Вставил ему в рот. А он вздохнул — и умер.

Амелька замолк, помедля спросил:

— Вы спите, ребята?

— Нет, нет, слушаем.

Амелька приподнялся на локте, закричал:

— Душу он вынул из меня, этот самый Монька. Акробат! Я давиться через него хотел. Вот до чего тосковал я. От тоски два стекла зеркальных вышиб в Харькове на вокзале. Хоть не хулиган, а вышиб. Поймали, били меня. Как бьют, не чувствовал: рукав жевал. После этого и в Крым ехать не захотелось, сюда вернулся. Он меня, братцы, этот самый Монька, может быть, от смерти спас. Я в Ростове в нарывах весь валялся, в кирпичных сараях как собака умирал. Меня все бросили, все до одного, а Монька ухаживал за мной, как мать. Сколько нарывов выдавил своими руками, бинты, сукин сын, накладывал, что твой фельдшер. Поил-кормил меня...

— Врешь! — оборвал его Мишка Сбрей-усы. — Арапа запускаешь. Таких людей не бывает на свете...

— Кто сказал «врешь»? Мишка, ты? А в хряпку хочешь?! — пригрозил Амелька.

Мишка что-то забубнил по-сердитому, но присмирел. Девчонка растрогалась рассказом, покрякивала и вздыхала. Инженер Вошкин пыхтя усердно ловил у себя под рубахой паразитов. Потом спросил:

— А почему его Акробатом прозвали?

— По тому самому, — ответил Амелька. — Он вот, бывало, на руки станет и может идти вверх ногами с версту.

— Это, в общем и целом, ерунда, — запыхтел Инженер Вошкин. — Я на голове пять пройду.

— На чьей?

— На собственной...

Проврвавшийся мальчонка ждал, что над ним сейчас рассмеются.

Однако тишина была.

XV

ЗАВЕТЫ ДЕДУШКИ НЕФЕДА. В ГОСТЯХ

Снег за ночь стаял. Было тепло и сыро: от земли подымались испарения.

Амелька сказал Фильке:

— А не желаешь ли майданщиков поглазеть?

— Каких таких майданщиков?

— А вот похряем. Топай за мной.

Они направились на самые отдаленные запасные пути железнодорожной станции, к так называемому вагонному кладбищу.

Дорогой Амелька говорил:

— Жизнь наша, понимаешь, очень любопытная. Эх, в книжку бы списать да отпечатать. Достопримечательная книжечка была бы, полезная для людей.

— А почему полезная?

— Знали бы люди, до чего может человек дойти, до какого стыда, до пакости. Тебе глянется у нас?

— Нет, не глянется, — затряс головой Филька. — Очень даже скверное житье ваше. У вас, с вашей жизнью можно и до тюрьмы дойти.

— Тюрьма что, кичеванка — дело плевое, — сказал Амелька. — Наши иной раз такие дела запузыривают: под стенку себя подводят. Разве мало нашей шатии расстреляно, по мокрому которые? Да так и надо! По правде сказать, плохой мы элемент, на восемьдесят процентов плохой. Да, брат, да... Изничтожать нас следует.

Филька с неприязнью посмотрел на сманившего его в эту жизнь Амельку Схимника. Простодушный и еще

не испорченный, Филька не знал, что его отпетый товарищ имел в своей жизни два привода, что был условно приговорен к шести месяцам тюрьмы. О том же, что Амелька состоит клиентом у своего разбойного патрона Ивана Не-спи, не знал никто.

Но Филька, не в силах разгадать натуры Амельки и желая выведать всю правду о нем, все-таки спросил его:

— А ты, Амелька, вор или не вор? Мне сдается — честный ты.

Амелька неладно засмеялся, ударил Фильку длинным, свесившимся рукавом своего архалука и сказал шутя:

— Ты на арапа-то не лови меня, не подначивай... Ты очень даже хитропузый. — Потом забежал вперед, схватил Фильку за плечи и крикнул ему в лицо, поскрипывая зубами: — Да! Вор я, вор. Ну и что ж с того? А ты, сволочь, спросил меня, как я вором стал? Ну, так и молчи, пока я тебя по маске не съездил!

Филька испугался и, отстраняя со своих плеч застывшие руки беспризорника, сказал:

— Нет, ты не вор. Я это знаю. Ты не вор. Ты облыжно показываешь на себя. Я знаю. Ежели б ты вор, ты был бы...

— Что? — сквозь стиснутые зубы прошипел Амелька.

Филька замялся. Та жизнь, которую он наблюдал под баржей, не давала ему права утверждать, что вожак Амелька вором не был. Филька также знал, что честным трудом занимались далеко не все обитатели трущобы: Филька мог их перечесть по пальцам. Да и жили-то они, эти трудолюбивые оборвыши, ни шатко, ни валко, впроголодь. А откуда же сладкая жизнь других, с Амелькой вместе? Да, да, пожалуй, правда: Амелька — вор. А вдруг не вор? И разве можно обвиноватить человека? Нет, уж Филька как-нибудь иначе...

Он вспомнил мудрые слова покойного слепца Нефеда: *«Хоть и худой человек, а ты говори ему*

в глаза — хороший, он поверит этому и жизнь свою в гору поведет».

И, вспомнив эту простую мудрость, Филька, окидывая ласковым взглядом шагавшего по мокрой дороге товарища, сказал ему:

— Ты только не серчай. Ты ежели и вор, то маленький вор, не настоящий, не мазурик. Таким-то вором всякий может быть. И я был. Я, помню, голодный три яйца в чужом гнезде вынул из-под курицы. Ежели бы ты был взаправдашным злодеем, ты бы в золотых часах ходил, а у тебя часы самые паршивые, без стрелок, а сам ты оборванец, и ничевошеньки-то нет у тебя. Нет, ты, милый друг, не вор...

— Замолчи, Филька, умри!!— бешено закричал Амелька. Он вновь забежал вперед и в исступленной, непонятной Фильке злобе потрясал перед его лицом вскинутыми кулаками.

Филька попятился, вытаращил на товарища глаза. Амелька часто дышал, лицо подергивалось, грязный балахон сполз с плеч, опорки на ногах увязли в липкую грязь дороги.

Потом оба молча двинулись вперед. Между ними встала стена взаимного непонимания. Какая-то темная, тягостная злоба мешала Амельке дышать. Вот он внезапно бросился за полевой мышью, настиг ее, с яростью растоптал ногами и только тогда передохнул свободно, стало легче на душе. Филька это учуял сердцем; полегчало и ему.

— А все-таки занятна наша жизнь, — как ни в чем не бывало, спокойным тоном начал Амелька. — Ведь у нас, у воров, сколько специальностей разных. Например, домушники — квартиры очищают, рыночники — на рынках орудуют, чердачники — насчет белья по чердакам, майданщики — по железным дорогам, по вагонам шарят, — вот к ним мы и хряем с тобой... Такие-то дела. Например, некоторые имеют доходу по пятьдесят вшей, то есть по пятьдесят червонцев, в месяц. Факт. Ростовщики тоже есть, кулачки такие. Он, чертов сын, многих в лапах держит: в долг дает, а потом процент требует. У него свои агенты: не отдашь — убьют. У одного такого дьявола

сыру было головок двадцать, в пещере жил. Он на них сидел, ими швырялся и пакостил на них, черт его душу знает. Ну, все-таки пришили его: башку напрочь. Да, да, паршивая наша жизнь! Это верно, да.

Амелька говорил теперь крикливо, раздраженно, как бы бичуя самого себя. Филька внимательно слушал и неодобрительно крутил головой.

— Ты бы в детдом старался. Там, толкуют, шибко хорошо...

— А ты был там? Ну, так и молчи! — вспылил Амелька. — Вот я был, так и знаю. Парнишке надо ремеслу учиться, а ему банку с лягушками да золотых рыбок по ученью в нос суют, называется аквариум, да игрушки, чтобы из глины ляпал, да какие-то кубики из картонки, черт их не видал. Нет, детдом нам не с руки... Да я и устарел для этого.

В таких разговорах они пересекли железнодорожное полотно и пошли вдоль путей.

— Помню, в детдоме один парнишка был, ну, прямо, еж! Уж как его приручить хотели, — нет! Написал на доске в классе «исплататоры», все бросил, забился в уборную, за печку. Он там от скуки целыми днями считал, сколько поездов пробежит, — дом был возле железной дороги, — сколько галок пролетит, сколько пьяных пройдет, все считал. А потом повесился.

— Ой, ты! — пожал плечами Филька.

Ребята шли среди вагонного кладбища, — оно разлеглось на целую версту. Одних только классных вагонов здесь было сотни две. Амелька, проходя мимо вагонов, цепко присматривался к ним. Наконец стал:

— Здесь.

Филька заметил на ржавом бандаже колеса намеченные мелом крестики, кружочки, птички.

— Это знаки наши, — пояснил Амелька и постучал в облупленную стенку.

— Кто? — послышалось из вагона.

— Свои. Двое нас.

— Обзовитесь!

— «Наши с краю»...

— «Ваших нет!» — Дверь вагона с треском отворилась, вышел босоногий, весь какой-то щетинистый подросток и сердито махнул рукой: — Хряйте, хряйте восвояси по шпалам прочь!

— Нам бы переночевать, — притворяясь тихоньким, покорно сказал Амелька.

— По двугривенному с рыла за ночь. И чтобы без шухеру: у нас строго, живо нос балахоном сделаем.

— Ша! — хрипло, повелительно вдруг оборвал Амелька. — Вожак дома, Петька Болт? — И, оттолкнув мальчишку, вошел в вагон. За ним прошмыгнул и Филька.

Вагон напоминал собою загаженный свиной хлев: по всему полу — грязная давнишняя солома, арбузные корки, гнилая картошка, огрызки яблок, огурцов. Из угла в угол — веревка, на ней — рваная ветошь. В вагоне холодней, чем на улице: печки нет, да и топить нельзя — солома.

В углу, возле окна, лежал на ободранном диване курносый и большегубый, чисто бритый парень лет двадцати. От него несло винным перегаром; его глаза опухли; видно, что он изрядно вчера кутнул.

— Здорово, Петька, — подсел к нему Амелька. — Сармак есть? Я в нужде: нашу баржу разорили, большой шухер был. Хочешь не хочешь — долг плати.

— Я не отрекаюсь, — неприятным сиплым голосом ответил Петька Болт, все еще лежа на диване. — Только сармаку нет. Вот получи две вши да рыжик [1]. Рыжик я тоже за вошь считаю, итого тридцать рублей долой — за мной семьдесят.

Петька Болт вынул из-за голенища два червонца и золотое кольцо.

— Когда у вас дело будет? — спросил Амелька, разглядывая на свет червонцы, не фальшивые ли.

— Не знаю. Тихо у нас, — сказал Петька Болт, достал из-под головы бутылку с водкой, отпил глотка два, протянул Амельке.

---

[1] Рыжики — золотые вещи.

На Амельку глядели с полу четыре острых глаза. Вот высунулись из соломы две встрепанных головы и закричали:

— Амелька, долг!

— Какой еще долг? — оторвался Амелька от бутылки.

— Забыл? Я Колька Снегирь, помнишь, в чайнухе?

— Я Митя Хромой, у перевоза денег тебе одолжал, пятерку.

Амелька бросил им червонец:

— Нате, гады. Квиты!

— Теперь, айда в чайнуху, чаю выпьем, пирога с рыбой потребуем: у меня деньжата завелись, — сказал Амелька, когда они подходили к базарной площади.

И только он проговорил, как его схватил за ворот подкравшийся сзади милиционер. Филька стремглав бросился в проулок. Амелька же вскрикнул и упал на мостовую. Он весь задергался, все тело изгибалось в дугу, руки и ноги корчились в судорогах, пальцы рук вывертывались назад, лицо потемнело, покрылось обильным потом.

И сразу же — толпа. Сердобольные кричали:

— Господи, царь небесный!.. Припадочный.

— Ах, несчастный...

— Граждане! Чем бы прикрыть... Нет ли простыни?.. Либо фартука?..

У Амельки правый глаз закатывался под лоб, сверкали покрасневшие белки, левый — расширенным зрачком таращился на кончик носа.

— Братцы, в больницу бы...

— Товарищ милицейский, зови скорую помощь... Умирает.

Вдруг на устах припадочного появились клубы пены, мелкая дрожь прокатилась по лицу. Это сразу проняло милиционера.

— Граждане, доглядите! Он натуральный ворина... Я сейчас. — И, придерживая у бедра кобуру с наганом,

он побежал в телефонную, стоявшую через дорогу будку.

Припадочный вытянулся, как мертвый, захрипел и судорожно взметнул руками; тетки со страхом перекрестились. Через секунду Амелька внезапно вскочил и устрашающе дико заорал:

— Прочь!! Съем!!

Толпа шарахнулась в сторону. Амелька же с хохотом помчался, как стрела.

— Это «скорая»? — надрывался милиционер. — Живо гони на базар! Человек кончается... Говорит постовой милиционер номер тридцать семь.

XVI

МЕШОЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ. ЧЕРТИ

Амелька прибежал домой и никому ни слова. У него дрожали кисти рук, он как-то устало улыбался, а ночью бредил: ловкое притворство все-таки взвинтило его нервы.

Утром ребята закричали:

— Карась пришел!

Одноглазый мальчонка, бывший сподручный Амельки, вошел в трущобу молча, ни с кем не поздоровался и сразу же стал шарить по углам:

— Пошамать бы, — сказал он тихим голосом, — оголодал без вас.

Ему дали огрызок булки, колбасы. Единственный глаз его заблестел звериной жадностью, белые зубы с наслаждением рвали пищу. Утолив голод, он сказал:

— Уфф!.. Ребята, там, на улке, «красивый» ждет.

Инженер Вошкин отворил дверь и позвал:

— «Красивый», хряй...

Озираясь на тьму прищуренными глазами, несмело вошел прилично одетый мальчик и остановился у порога, держа в руке зимнюю, с наушниками, шапку. На нем опрятное пальто темно-синего сукна и прочные сапоги.

Филька удивился: почему ж это назвали мальчишку «красивым», когда у него приплюснутый нос, толстогубый рот, раскосые китайские глаза и оттопыренные, как у барана, уши?

— Из какого дома? — спросил Амелька.

— Из Розы Люксембург.

— На зиму глядя только дураки бегают, — сказал Амелька.

«Красивый» вынул носовой платок, стряхнул им мусор со скамейки, сел, ответил пискливо:

— Заведующий очень балда. Очень трудные задачи из арифметики. А с зимы хотят немецкий язык... Ну их к монаху! Я по воле стосковался. Кругом солнышко светит, потом снежок полетит. Я сижу под окном, сижу и гляжу: разные люди ходят, собачонки, барышни, а я сижу, все гляжу да песни пою: «В неволе сижу, на волю гляжу, а сердце так жаждет свободы». И до черта захотелось, ребята, в Крым, на курорт. Вот бежал.

Все сочувственно захохотали. Амелька подмигнул своим:

— Нашего полку прибыло. Мы — туда же. Карась, зарегистрируй гопника. Амуницию выдай, чтоб по форме, с кандибобером, высший сорт. — Амелька ухмылчиво прищурился на «красивого», весело сморкнулся на пол и добавил: — А шкурку евоную вместе с сапогами Матрешихе на толчок снеси, да не продешеви, а то пятки к затылку подтяну.

Вечером Амелька сказал:

— А все-таки надо насчет дальнейшей жратвы промыслить... Разве котиков половить?

— Что ж, — встрепенулся Пашка Верблюд и с ожесточением поскреб свой горб. — Дело к зиме, кыскины шкурки с руками оторвут!

— А я, братишки, знаю как... — проговорил Карась. — Другие дураки сначала удавят кошку, а потом обснимывают мертвую. А надо с живых сдирать кожу, как чулок. Кошке тогда сильно больно, поэтому

вся шерсть дыбом, и шкура самая добрая получается, с ворсом...

— Нет, братва... Это дело — тьфу! А вот что... — И Амелька начал выкладывать свои соображения.

Его слушали внимательно. «Красивый», одетый теперь в рвань и дырявые валенки, поощрительно кивал Амельке головой.

Вожак Амелька знал, что со станции ежедневно отправляются два состава поездов, груженных белой мукой. Он с братией раздобыл дюжину пустых мешков и ночью повел ребят прочь от вокзала вдоль путей. Когда полотно дороги пошло в гору, Амелька остановился и сказал:

— Тут поезд делает тихий ход. Вошкин, стой здесь, Пашка — еще дальше, Степка — еще дальше. И остальные так же — на пять сажен друг от дружки. Приготовьте ножи. Сбоку вагонов будут висеть мешки — живо срезай, чтобы упали. Только и всего. Один промахнется, другой срежет.

Он дал ребятам по две понюшки кокаина и зашагал с мешками к семафору.

Остановившись на удобном месте, Амелька точно так же зарядил обе ноздри крепкими понюшками. От этого бдительность его стала острее, и внимание сосредоточилось в глазах, в руке, державшей нож.

Так он поступал всегда, когда шел «на дело».

Ночь была темная и тихая. Над станцией висело зарево от электрического света. Красные, зеленые, белые огни светились повсюду на развитии путей.

Свисток — и поезд двинулся. Сигнальный рожок возвестил с вышки, что путь исправен и свободен. Амелька засучил рукава и вложил в правую руку нож.

Поезд еще не получил разбега, шел медленно.

Амелька, «взяв глаза в зубы», хищно следил за каждым громыхающим мимо него вагоном. В некоторых старых, растрепанных вагонах под задвижной дверью зияли порядочные щели. Амелька ловким взмахом ножа вспарывал через щель набитые мукой

мешки, потом, поспевая за поездом, нацеплял свой пустой мешок за выступы железных болтов и скреп. Хотя к Амелькиным мешкам были заранее пришиты веревочные петли, однако требовались необычайное проворство рук и зоркость зрения, чтоб в темноте на ходу поезда нацепить мешок как раз под щель, из которой уже самотеком бежит мука.

Удачно взрезав дюжину вагонов, Амелька поспешил к своим. Те работали не менее успешно, чем Амелька: двенадцать снятых Амелькиных мешков были наполнены мукой примерно по пуду с гаком в каждом.

— Эх, черт!.. Мало, — пожалел Амелька.

На этой хлебной заготовке участвовали все: и новичок «красивый», и даже Катька Бомба. Только Филька отговорился, не пошел: сказал, что голова болит.

Не было и Мишки Сбрей-усы: исчез третьего дня и не возвратился. Он засыпался в своей новой проделке с поросенком, был избит мужиками и попал в милицию. Несчастный же Хрящик, оплошав, завяз в мешке, озверевшие крестьяне яростно растоптали его, как таракана, а поросенка пропили.

Ребята до утра пекли блины на старом, содранном с крыши железном листе. После этих блинов, отравленных ржавчиной, Инженера Вошкина изрядно рвало.

— Называется: тяни-кишка... — как всегда, подтрунивал он над собой.

Амелька решил десять пудов муки «загнать» в продажу: деньги нужны до зарезу, а мука в то время была дорогая. Хорошо, что еще бандит Иван Не-спи пока его не утесняет. Не попал ли он, кошкин сын, в острог? Вот бы благодать!

Филька, в меру тоже пострадав животом, утром пошел в город разыскивать анатомический театр, чтоб выяснить, где похоронен слепой Нефед. Фильку направил расторопный, всеведущий Амелька, рассказав ему, что и как.

В анатомическом театре Фильке втолковали, что все трупы отвозят на дальнее кладбище, где и зарывают в общей могиле.

В конце концов Филька нашел эту могилу. Она большая, свежая, бескрестная. Такая могила была ему чужда и ничего не говорила его сердцу. Филька мечтал встретить на могиле любимого слепца хороший памятник. А замест того — березы, березы и на них покинутые гнезда улетевших в теплую сторону грачей. Горько стало Фильке. Он пошел домой.

Было темновато, а надо еще пройти весь город да версты две прошагать до своих. Нет, страшно. После смерти Спирьки, Майского Цветка и старого Нефеда Филька стал бояться одиночества в ночное время. Все ему мерещились покойники, а дед Нефед нет-нет да и окликнет его и бросит укорчивое слово: «Из-за тебя я жизни лишился, Филька». Нет, он ночью не пойдет к своим, он как-нибудь переночует в городе.

— Эй, собачка, залезай к нам! — услыхал он звонкий голос и остановился.

Строящийся дом, леса. Пахнет смолой. Огромная печь для варки асфальта. Какой-то одноглазый черномордик, скаля на Фильку белые зубы, выглядывал из железной печки.

— Залезай. Тепло. Народов много в нашей отели для приезжающих.

Филька привстал на цыпочки, заглянул.

— Филька, никак? — спросил черномордик.

— Я самый. А ты?

— Раньше Пипкой звали, теперича — Клоп-Циклоп. Так скубент прозвал меня. Скубент ли, комсомол ли, — пес его ведает. Опись снимал с нас.

Филька не сразу узнал Пипку: уж очень он был черен от сажи, только блестели зубы, когда он улыбался, и белел большой глаз, как новый серебряный полтинник. Пипка до разгрома тоже ютился под баржей; он такой же одноглазый, как и Карась, но брюхастый, толстозадый, маленький и круглый — словно арбуз на ножках. А глаз выклюнул ему ручной журавль, когда Пипка еще не был Пипкой, когда он жил в деревне, сосал мамкину грудь и его звали Петькой.

Впрочем, мальчонка об этом почти ничего твердо не помнит.

Увидев двух оборвышей, бегущих к печке, одноглазый скомандовал Фильке:

— Кричи: «Место ждет хозяина!» Залазь!

— Место ждет хозяина! — вскричал Филька и повалился на единственное свободное место на дне печки.

— А вы, шалавые, — с носом! — захохотал Клоп-Циклоп в лицо двум опоздавшим и лег возле Фильки.

Оборванцы барахтались на дне печки, как раки в решете. Фильку многие узнали; он тоже узнал многих — бывшие баржевики. Одноглазый Клоп-Циклоп о чем-то спрашивал его, но он, дорвавшись до людишек и тепла, сразу задремал.

— Эй, шпана! Курево есть у кого?

— Нету.

— Ну-к, я пойду стрелять. — И Клоп-Циклоп, сказав: «Место ждет хозяина», — выскочил из котла и подлетел к проходившей парочке влюбленных:

— Дядя, дай покурить!

— Нету, отстань!

— Ишь жадный. Эвот портсигар-то серебряный... жалко тебе, што ли? Ну дай. У вас какая красивенькая барышня. Барышня, дайте покурить!..

— Пшол, пшол!..

Клоп-Циклоп арбузиком подкатывается к ногам военного.

— Товарищ, дайте покурить! В Красной Армии служить желательно. Буржуев вместе будем бить, лордов. Да не принимают; мал, говорят, а главное — смерть охота покурить. Одолжите!

Он прячет папироску под шапку и юлой подкручивается к барышне с портфелем:

— Дозвольте, мамзель, папиросочку!

— Папиросочку? Такой карапуз, а куришь... Ай, стыд! Ай, стыд!

— А почто сами-то курите? Барышням не полагается курить... Ну, дайте!

— Иди, иди!.. Еще у тебя молоко на губах не высохло.

— А у тебя што, — огрызается одноглазый, — молока нет, што ли? Высохло все? Фря!

Он затягивается папиросой и направляется спать к котел.

Ночь быстро прошла, настало утро.

— Эй, черти! — разбудил детвору голос. — Живо из аду, марш!

Ребята подняли головы: в печь сверху заглядывала рыжая борода.

— Дяденька рыжеватый, дозволь еще всхрапнуть...

— Вылазь, вылазь! Сейчас асфальт швырять в котел будут. Вылазь, чертенята!

Оборванцы выбрались. Лица их в саже, как у трубочистов. Филька прожег на боку халат.

Стучали топоры. Каменщики таскали на горбушах по дощатым стремянкам кирпичи. Водовоз лил в творило воду. С окраин города доносились призывные гудки фабрик и заводов. На соборной колокольне гулко бухал грузный колокол. По разбитой булыжной мостовой оглушительно гремели телеги ломовиков. Стая молочниц, позвякивая металлическими флягами и тараторя сразу в двадцать ртов, спешила к рынку.

XVII

«БУДУЩЕГО НЕТ»

Филька пошел домой. За ним увязался и Клоп-Циклоп.

Они шли лугом. Лужи были подернуты звонкохрупким льдом, кустики травы запушнели легким инеем; вся луговина казалась сероватой. Побежала черная хромая собачонка, принюхиваясь к заячьим следам; пропорхнула деловитая стайка воробьев. Позднее осеннее солнце путалось в туманных хмурых тучах. Дубовая молодая роща все еще стояла во всей красе.

А за рощей сразу же река и мельница — убежище бездомников.

Ребята шагали по тропинке дубняком. Из заросли вышел молодой человек:

— Вы, мальчики, куда?

— К себе, — ответили ребята. — Мы на мельнице живем.

— Ну, и я с вами. Вас много?

— Нет, немного... Душ двадцать есть, — сказал Филька Поводырь. — А ты кто?

— Я комсомолец.

— А что такое косомолы? — спросил Клоп-Циклоп. — Косо молятся, что ли, которые?

— Нет. Комсомольцы — значит коммунистическая молодежь. Мы богу не молимся: мы уверены, что бога нет.

— А кто вам сказал про это? — задал вопрос Филька, недружелюбно посматривая на идущего рядом с ним молодого человека.

— Об этом сказали умные люди.

— А умным кто сказал?

— Самые ученые.

— А самым ученым кто сказал, что бога нет?

— Самым ученым? — переспросил молодой человек; он стал шарить по карманам, вынул коробку папирос и закурил, соображая, что ответить Фильке.

Филька в душе улыбался замешательству своего спутника, но тот делал вид, что медлит ответом исключительно из-за папироски, а вот закурит и задаст вопросик сам.

— А ты бога видел когда-нибудь? — спросил он Фильку, выпуская дым из ноздрей и рта.

— Кого это, бога? Нет, не видал, — ответил Филька.

— А раз не видал, значит, его и нет.

Филька засопел и спросил:

— А ты нашего Инженера Вошкина видал?

— Нет, — сказал молодой человек.

— Ну, значит, выходит, Инженера Вошкина нету на свете, а промежду прочим он бороду себе рисует на морде. Вот увидишь.

Комсомолец засмеялся. Фильку поддержал одноглазый. Он сказал:

— Ежели бы не было бога, тогда и панихиды не служили бы, а над нашим Спирькой поп пел, кадилом махал. И церквей бы не было, и колоколен, и греха бы никакого не было: кого хочешь — убивай, чего хочешь — воруй, никого не бойся, раз бога нет.

Комсомолец опять засмеялся; в глазах его показался задорный блеск:

— Вот темные! Вот темные вы, ребята... Ничего вы не знаете, ото всего отстали. Вам все надо начинать с азов. Вот идите в детский дом: там вас всему научат.

— А вот наш детский дом, а вот главный гитатор, — улыбнулся Филька, указав на мельницу и лаская подбежавшего Шарика.

У входа в подвал возле небольшого костерка лежал на ящике Инженер Вошкин; он мечтательно смотрел в небо, где лениво тянулись облака. Не изменяя позы, он покосился на подошедших, сплюнул через губу и произнес, ни к кому не обращаясь:

— Завтра ночью буду через волховство вызывать душу Дуньки Таракана. Двадцать копеек вход. Учащимся скидка.

Комсомолец выплюнул окурок, улыбнулся и, подбоченившись, сказал:

— Волховства в природе не существует, товарищ. Волховстрой имеется. Души у человека также нет.

— Вот вызову, тогда будет, — проговорил баском Инженер Вошкин. — А сапоги у тебя хорошие, гражданин. Давай меняться, ежели ты сознательный.

Комсомолец присел на пень к костру и расстегнул потертую бобриковую тужурку. На сером пиджаке закраснел в золотом ободке значок.

— Вот иди, товарищ, в детский дом для беспризорных, и сапоги получишь, и белье, и одежду...

— Я белья отродясь не нашивал, — сказал Инженер Вошкин, — а в дом все-таки пошел бы. Чему там обучают?

— Грамоте, ремеслам, чему хочешь.

— Я по-хранцузски желаю изучаться.

— По-русски-то знаешь ли?

— Давай конкурснем! — как ужаленный привскочил Инженер Вошкин и протянул комсомольцу татуированную руку. — Я, может быть, во всех газетах ответственный сочинитель. Только молчу.

Из трущобы вылезли Амелька и прочие.

— Что, все? — спросил комсомолец. — Вот, товарищи, я обращаюсь к вам как старший ваш товарищ. Я член местной ячейки комсомольцев. Мне поручена пропаганда среди беспризорников. — Он поправил ворот рубашки с сиреневым галстуком, и его приятное горбоносое лицо перестало улыбаться. — Вы, товарищи, прекрасно понимаете, что каждый честный гражданин должен не только исполнять законы государства, но и приносить пользу своим личным трудом той стране, где он живет. Теперь посмотрите, товарищи, на себя. От вас государству как от козла — ни молока, ни шерсти. Вот недавно была под баржей зарезана девочка с ребенком. Ребенка родила она через вас, убили ее через вас, и убийца тоже из вашей шайки. Так делают только подлецы да мерзавцы. Уж вы не обижайтесь на меня, но подлее этого, пожалуй, не придумаешь. Понятно я говорю?

Ребята, опустив головы, мигали. Слова «подлецы» и «мерзавцы» больно кольнули их. У Катьки Бомбы дрогнул подбородок, из груди вырвался какой-то цыплячий хрип.

Амелька глядел вдаль, насвистывал бродяжью песенку, притворяясь совершенно равнодушным к речам непрошеного гостя.

— Теперь идем дальше. Что же с вами в таком разе делать? Правительство тратит бешеные деньги для борьбы с беспризорностью, даже почтовые марки выпущены, в каждом почти городе имеются дома для вас, но вы оттуда бежите. Вот к примеру взять наши два дома беспризорников. Там водопровод, электричество, сытный стол...

— Стой! — прервал Амелька. — Это верно, что вы в детских домах даете многое нам, очень даже многое, зато отнимаете все.

— Что же мы от вас отнимаем?

— Волю!

Слово «воля» прозвучало, как выстрел. Все радостно заулыбались, даже Филька.

Клоп-Циклоп неожиданно вскочил, взмахнул рукою и запел с ожесточением:

В жизни живем мы только раз,
Когда монета есть у нас!

И все с оскорбительной для комсомольца удалью подхватили:

Гей, гей! Живи веселей!
Ешь, кури, водку пей...
Вы против нас.
Мы против вас.
А волюшки вольной мы вам не отдадим!
Бац-бац-бац!!

— Ну вас к черту! — запальчиво крикнул комсомолец и нахмурился. — Я о деле. А вы что? Воля? Воля должна быть разумная, полезная, с идеологическим подходом. Понятно я говорю? Эх вы, черти коричневые!..

Комсомолец терял самообладание, начинал горячиться:

— Вы оторвались от жизни, от общества, у вас нет к обществу уважения.

— Это к какому обществу? — неожиданно для самого себя ощетинился, как ерш, Амелька и подмигнул своим. — К людишкам, что ли? К городу? Да плевать нам на общество! Мы его не признаем.

— Почему?

— Потому что общество наш враг, все горожане, все людишки. Что мы от них получаем? Да они рады нас в землю на аршин втоптать. А раз они нам враги, значит, и мы взаимно тоже им враги. Ну? — В Амельке подымался дух противоречия: ему был неприятен этот умный, опрятный «чистоплюй».

— Как же так? Общество вам все дает...

— Мы сами берем! — гордо вскинул голову Амелька.

У мальчишек раздувались ноздри, воинственно блестели глаза.

— Ну, пускай гитацию, пускай, чего же ты! — с детским озорством крикнул Инженер Вошкин замолкшему юноше.

— Нет, мы в людишках не нуждаемся, — спокойно, с лукавой язвинкой в прищуренных глазах говорил Амелька Схимник. — Мы надеемся только на себя. Кто шибко бегает да смел, тот и сыт. А ты — на общество?

— А как же иначе? Конечно ж, так! — воскликнул юноша, искренне удивляясь, что Амелька не может его понять.

— Мы тоже общество. Нас под баржей больше сотни жило.

— Ваше не общество, а сборище — антиобщественно, вредно: оно ничего не производит, только потребляет.

— Заткнись, «красивый»! Не смыслишь ни хрена, — запальчиво махнул рукой Амелька, и все отрепыши злорадно всхохотали. — Ежели вокруг нас враги, как же нам не гуртоваться? Когда нас вместе много, мы сила. А врассыпную — вши. Да мы полгорода спалим, ежели на то пойдем!

Комсомолец в волнении встал, прошелся и снова сел.

— Все твои доводы, товарищ, сущая ерунда, хлам, глупости, — внутренне негодуя на Амельку, сказал он. — В них нет ни малейшей логики, один абсурд. Ну, спалите город... А дальше что? Нет, нет, это все не то... Это глупо!.. Как бы вы ни гуртовались, в ваших организациях никакой силы не может быть. Не обманывай, товарищ, себя и других. Поразмысли. Человек силен, когда он в обществе, служит ему, работает на общую пользу. Понятно я говорю?

Амелька молчал. Уши его горели, сердце стучало быстро, с перебоями. Конечно же, он во многом согласен с этим «чистоплюем». Но завладевший им дух упорного противоречия, все крепче разрастаясь, удерживал его прямо признаться юноше: «Да, ты, товарищ, прав».

Неустойчивое настроение вожака сразу передалось отрепышам: сидели теперь нахохлившись, пыхтели.

Комсомолец оживился и уверенным тоном учителя сказал:

— Вы ничуть не заботитесь о будущем, товарищи. Да, да.

— О каком будущем? — посвистывая, прищурился Амелька. Однако дымящаяся трубка дрожала в его руке.

— О вашем будущем. Да, да, о вашем! Ну, что вы будете, скажем, через пять лет делать? Станете взрослыми, борода полезет, захотите вступить на трудовую дорогу, а ни черта не знаете. Понятно я говорю? В будущем, товарищи, — все. Уж это верно. Да.

— Ха! Будущее, будущее, — вновь загорелся, сошел с мертвой точки Амелька, скривив в презрительную улыбку свое отечное лицо. — Какое, к чертовой бабушке, будущее!.. Вот у тебя есть будущее?

— Конечно, есть! — вскинул на него быстрый свой взгляд комсомолец.

— Врешь! Ерунда! — И Амелька пристукнул кулаком по голому колену. — Будущего нет. Ни у одного человека не может быть будущего, раз у него башка варит. Ты пойми, ты только не серчай: я по-простому... Вот ты размусоливаешь о будущем, загадываешь про свою жизнь, может, на десять годов вперед... А ты уверен, что будешь завтра живой?

— То есть как?

— Вот, может, пойдешь в город, а тебе в башку карниз грохнет с шестого этажа. А может, мы вот вскочим гурьбой, да и задушим тебя?.. А? Вот те и будущее твое. — Жилы на шее Амельки раздувались, на углах губ забелели пупырышки слюны.

— Запомни: будущего нет!

Вся детвора с гордостью посмотрела на мудрого Амельку; верно, так и есть: будущего не существует, есть только «сегодня» и «вчера».

Комсомолец с чувством неоправданной надежды вздохнул и проговорил укорчиво:

— С таким взглядом существовать невозможно, товарищи. Кто в будущее не смотрит, а живет только настоящим, тот подобен бессмысленному животному.

XVIII

ПОБЕДА

Вся фигура юноши казалась несправедливо обиженной, подавленной. Его ужасало сознание, что он не сумел исполнить того, что поручила ему ячейка.

— Ты, парень, еще мало каши ел, — с нахальцем сказал Амелька Схимник и сплюнул. — Дурак ты, даром что комсомолец. Брехун.

От этих в упор брошенных грубых слов юношу сразу прошиб пот. Он вскочил и в смущении стал взад-вперед ходить по луговине. Да. Он ясно понимал теперь, что вел разговор с этой бесшабашной братией глупо, неубедительно, туманно, как торговка на базаре. Он видел, что перед ним не фабричные ребята, не городские школьники: перед ним насквозь прожженные жизнью дикие звереныши, влачащие жестокое существование. И все они до зубов вооружены, как шулера фальшивыми картами, какой-то своеобразной логикой, вытекающей из условий их страшного быта.

— Ребята! Слушайте! Я с вами теперь попросту, — поборов в себе обиду и растерянность, начал комсомолец искренним, располагающим к вниманию голосом.

Бездомники — их человек двадцать — навострили глаза и уши. Комсомолец окинул собрание возбужденным взглядом и поднял голос на высокий тон:

— Ребята, кто вы есть? Вы главным образом дети рабочих и крестьян. Как вы попали сюда, в этот омут? Да очень просто. У одного отца-кормильца убили на войне, у другого мать с голодухи умерла, у третьего вымерло все семейство. Шла война, ребята, за войной шла революция, а с революцией бои, голод, мор. Теперь наше государство строится, в гору идет. Мы подымаем запущенные земли, мы пускаем в ход разрушенные фабрики. Вы, может быть, видели, в каком состоянии осталась после гражданской войны наша лесопилка, или, скажем, мебельная фабрика?

— Видали, — неласково прошумели бездомники.

— Ну, вот. А теперь и завод и фабрика полным ходом дуют, полезные вещи производят. И вообще, ребята... Теперь настало время, когда нашему государству до зарезу нужна каждая пара рабочих рук. А ведь вас, ребята, во всей республике много наберется. И что, если б вы все подучились да на работу стали? Вот чудесно бы!

— Ты, я вижу, горазд имать-то нас, — крикнул рыжий отрепыш и сердито запыхтел. — За хомут да в стойло? Мы тебе не клячи водовозные. Мы волю любим!

— Я, может, давно на фабрике служил, — задудил насмешливым баском зубоскал Инженер Вошкин. — Я, может, на фабрике-то в макаронах дырки высверливал.

Бездомники засмеялись.

— Ша! — крикнул Амелька, и все смолкли.

— Шутки в сторону, ребята, — сказал комсомолец. — По-серьезному так по-серьезному... Вот я и говорю. Государство наше крепнет, обстраивается. А рядом и во многих местах по телу государства рассыпаны нарывами вот такие гнойники, как ваши скопища. Позор! И государство, стараясь оздоровить себя, стараясь изжить эту чуму, эту заразную болезнь, борется с беспризорностью...

— Расстрелять нас всех — вот и не будет чумы!

— Зачем? Государство борется разумными мерами, ребята... Оно желает перевоспитать вас...

— Как?

— Через детские дома. Например, дом Розы Люксембург.

— Я из «Розы Люксембург» утек в субботу, — просюсюкал курносый беглец-мальчонка.

— Ну что ж, утек, опять иди. А теперь, ребята, — и комсомолец сбил набекрень свою кепку, — теперь защурьтесь на минуточку и вообразите себе...

— Не защуривайся, братцы, не защуривайся! Он нас обштопать хочет! — предупреждающе вскочил Инженер Вошкин. — Он хочет наш инвентарь слямзить да смыться в кусты. — Рожица у мальчонки серьезная и строгая; он поддернул штаны и снова сел.

— Ничего подобного, — горько усмехнулся комсомолец, — ваш богатейший инвентарь останется в целости. А вот, ребята, вы вдумайтесь со всей серьезностью в тот путь, который мы предлагаем вам. Перво-наперво детдом. Дальше — рабфак или фабзавуч. Отсюда — широкая дорога к станку, на фабрики, на хороший заработок. Один из вас будет, скажем, первосортный столяр, другой — великолепный ткач, третий, скажем, токарь по металлу...

— Я желаю быть токарем по хлебу! — не утерпел Инженер Вошкин. — А могу и по пирогам. У меня зубы вострые, как у слона.

Все опять дружно хохотнули, но смех сразу лопнул, и напряженные взоры беспризорников снова уперлись в комсомольца.

— А те из вас, — продолжал он, — которые в работе на фабрике хорошо зарекомендуют себя, те будут выдвинуты коллективом рабочих и направлены на казенный счет обучаться на механиков, врачей, инженеров.

Глаза и рты бездомников открывались все шире, шире. Многих из них стал подогревать изнутри огонек надежды.

— Самое же главное, ребята, вот в чем. Когда вы сделаетесь заправскими рабочими, вы сами будете, как полноправные хозяева, участвовать со всем коллективом рабочих в устройстве справедливой жизни — такой жизни, при которой не останется ни одного обиженного судьбой человека, а следовательно не будет и ни одного беспризорника. Всем будет тогда место в жизни, всем будет и честный труд и заслуженный отдых.

Комсомолец закурил папироску. Руки его дрожали. Он чувствовал, что одерживает над парнишками победу. Теперь надо закрепить эту завоеванную позицию и нанести последний удар звериной логике отрепышей.

— Итак, ребята, присмотритесь теперь к себе, вникните поглубже в свое положение. Оборванные, босые, холодные, голодные и в большинстве хворые. Вы только взгляните друг на друга, какие у вас

болезненные, изможденные лица. Жуть! — Лицо комсомольца стало строгим, взгляд твердым и пронзающим. — Да. Прямо вам говорю, открыто говорю и не боюсь этого: вы паразиты, да, да, паразиты, хищники. Чем вы живете? Воровством. У кого воруете? У пролетарского государства, у рабочих, у того самого класса, который вас родил. Значит, вы у себя воруете.

— Мы у торговок воруем, а не у себя! — ввязался Инженер Вошкин.

— Молчи! — оборвал его Амелька.

— Позор вам всем! Вас презирают? Презирают. И поделом вам. Вас и надо презирать, пока вы не образумитесь и не станете людьми. Вот, например, я... Я, по секрету вам скажу... знаете кто?

— Знаем: бабушку убил, — прищурил левый глаз неуемный Инженер Вошкин.

— Нет, я бабушки, положим, не убивал. А только что я был вот таким же беспризорником, как вы.

— О-о? — загудела детвора. — Врешь... Слепых на столбы наводишь.

— Я говорю вам правду. Я бывший беспризорник. Года три волынился с шатией, и по тихой фене ходил, и на стреме был, и весь блатной разговор лучше вас знаю. А вот я теперь слесарь. И работаю, и учусь, и вот с вами нахожу время беседовать. И чувствую себя прекрасно. Так вы уж, ребята, пожалуйста, не убеждайте меня, что у вас хорошо, у нас плохо.

Бездомники вцепились проверяющим взглядом в руки комсомольца: кисти рук были грязноватые, сильные, действительно рабочие.

— Ну, мне говорить с вами больше не о чем. Перед вами, ребята, две дороги: один путь — в тюрьму, в хворь, в могилу; другой путь — в честную трудовую жизнь. — Он вынул записную книжку с карандашом. — Ну, кто из вас самый разумный, самый честный, записывайся в детский дом. Кто первый, ну?

— Налетай! Подешевело... — по-озорному крикнул Инженер Вошкин и сразу смерк: на его лицо набежали тени.

Все молчали, все вопросительно поглядывали на угрюмого Амельку. Оттопырив губы, вожак нескладно сидел на опрокинутом ведре, мрачно смотрел в землю.

— Вы, черти партейные, на посуле, как на стуле. Горы насулил, — сказал он глухим, враждебным голосом. — А впрочем, — покосился он на своих приспешников, и голос его вдруг подобрел: — Как хотите, ребята... Теперь действительно вот-вот зима.

Отрепыши облегченно передохнули: точно гора с плеч. Груди их задышали порывисто.

— Я жду, — насторожил комсомолец карандаш.

Смело поднялись пять рук, за ними робко, нерешительно еще с десяток. Рука Инженера Вошкина тоже было потянулась вверх, но он испуганно схватил ее другой рукой и резко осадил.

— Ну, а ты, малыш? Разве у тебя нет желания в детдом?

— Осадков нет, тенденций нет, — оттопырив губы, скорбно замигал мальчонка. — Наверное не знаю, но, вероятно, навряд ли. А впрочем, нет.

— Жаль, жаль. А ты подумай-ка...

— Вопрос исперчен... На фиг! — вскочил Инженер Вошкин. Губы его подрагивали, трепетал каждый мускул лица. Он круто повернулся спиной к комсомольцу, подхватил спадавшие генеральские штаны и, ссутулясь, нырнул в свою берлогу. На его ресницах нависли крупные слезы.

Берлога неуютна и пуста. Он забился в проплесневелый угол, уткнулся носом в пригоршни и, тихонько повизгивая, заплакал.

Он весь был под обаянием слов комсомольца. Ему досмерти хотелось попасть в детдом, но как же вот взять да и бросить Амельку? Ведь вожак примет его за «легаша», за предателя, за последнюю паскуду. А главное дело — Крым. Попадешь в детдом, навек прощайся тогда с Крымом. А все-таки до чего расчудесно было бы в детдоме...

Бросаясь в думах от детдома к Крыму, от Амельки к комсомольцу и не в силах выпутаться из противоречивых скудненьких своих мыслишек, мальчонка вдруг стал ненавистен самому себе.

— Сейчас обштопаю свою морду — не надо лучше... Паршивый пацан ты, Вошкин. Шибзик! — Он крепко сжал кулаки, заскрежетал зубами и с чувством злобной лютости начал лупить себя по дрожащим щекам, обливаясь горькими слезами.

Меж тем сияющий комсомолец переписал ребят, застегнул тужурку, сделал гордый жест рукой и, как власть имущий, крикнул:

— Хряй за мной, зарегистрированные! А кто схлюздил — до свиданья!

Сразу отмежевалась от остающихся товарищей дюжина ребят. Почесываясь, поеживаясь, не глядя на Амельку, они поспешили за комсомольцем. Кто-то прогнусил вслед им:

— Легаши! Собачки!..

— Ша! — строго оборвал Амелька.

В это время Инженер Вошкин выставил свою заплаканную рожицу в узкое окно подвала и сквозь слезы покрикивал уходившим оборванцам:

— До свиданья! До свиданья! Не забудьте заземлить антенн...

Его глаза были большие и мокрые.

Амельке вдруг захотелось поговорить с комсомольцем по-серьезному. Ну и хороший парень этот комсомолец. Эх, если б встретиться с таким же головастым года на три раньше!

В душе беспризорного парня что-то затосковало, лопнуло; сердце его перевернулось; он твердо теперь решил сделаться человеком, то есть он, в сущности, думал точно так же, как и комсомолец.

Но как забрать силу над собой, как переломить жизнь свою, чтоб сразу — трах! — и все по-новому? Разве посоветоваться с комсомольцем? Нет, поздно, стыдно: ведь Амелька так самоуверенно отчеканил ему, что будущего для человека нет.

— Дурак, — вслух обругал он самого себя, угрюмо поглядывая в спину уходившего быстрыми шагами юноши. Куда же он идет? Он отправится к своим, к людям, к братьям, на трудовую повседневную работу, в свет.

А здесь, в склепе, тьма была, бесцельность жизни, прозябание и хлад.

Амелька удалился на берег и просидел там в окаменелой неподвижности до самой ночи. Да, конечно, надо бросить эту путаную жизнь. А то что это такое? Нет, довольно! Надо хоть маленько и людям пособить. А главное из главных — мать, самоглавнейшая Настасья Куприяновна. Уж кто-кто, а он-то, Амелька-то, теперь твердо положил дать ей взаправдашний покой. Вот ужо-ужо, перед отъездом в Крым, он напишет ей покаянное письмо, вложит в то любезное письмо пятерку, а нет — и «червячок». Лишь бы с этим проклятым Иваном Не-спи покончить по-хорошему. Хоть бы он, бандитская морда, под расстрел попал.

Так упорно и тревожно Амелька думал о своем. Но сердце и голова его устали жить и думать. Хотелось в отчаянье крикнуть, позвать на помощь.

— Матушка! — нервно стуча зубами, прохрипел Амелька. Он выхватил с груди пузырек, где кокаин. Но пузырек был пуст.

С севера меж тем надвигалась седая туча; рваные, беспризорные облака неслись по пустынным небесам, — в ночь разразится метель, ударит стужа. Горе бездомной шатии!

Однако голодранцы делали вид, что им легко и весело. Забрались в свой склеп, затопили печь. Неунывающая Катька Бомба, подмурлыкивая песни и пересмеиваясь с ребятами, стала разводить тесто для лепешек.

Клоп-Циклоп, подмигнув единственным глазом Инженеру Вошкину, сказал:

— Разрисуй мою морду, чтоб страшнее некуда. Завтра утром на дело пойду. По-сухому.

— Ладно, — с готовностью согласился Инженер Вошкин и глубокомысленно добавил: — А ты до завтра доживешь? Будущего, гражданин, нет.

Ночью по всему простору выло и мело.

Утром Амелька едва открыл занесенную снегом дверь их склепа.

— Ну вот, Крым, — сказал он неопределенно и ушел в город.

За ночь снеговая туча пала на землю; перед утром трудолюбивый ветер неплохо поработал: заголубело вверху, солнце смотрит в белизну снегов, все концы неба прояснились и утихли.

Вслед за Амелькой убежал и Клоп-Циклоп. Искусный Инженер Вошкин превратил его лицо в мерзкую, отталкивающую харю: немножко натертого кирпича, немножко сажи, чуть-чуть какой-то желтоватой дряни, чуть-чуть собственной слюны, — и краски трех цветов готовы. Лицо одноглазого отрепыша стало маской пораженного проказой.

Утренний воздух свеж и вкусен. Сквозь голубоватое от снега, насыщенное светом пространство гудел литым металлом колокол: было воскресенье.

Прельщенный этим звоном и собственной затеей, карапузик Клоп-Циклоп ушел в город и больше не возвращался.

С ним случилось вот что.

В узком переулке он атаковал благочестивую старушку, принадлежавшую, судя по старомодной лисьей шубе с куньим воротником, к бывшему купеческому кругу. Она, осиянная благостью молитвы, безмятежно култыхала на больных ногах из церкви, неся в руке узелок с просвиркой и кутьей. Как вдруг из-за угла — страшный, обезображенный мальчишка:

— Ваш кошелек!!

Старуха впопыхах влезла в сугроб и закричала сиплым басом.

— Заткнись! Народу нет!.. — угрожающе загнусил мальчишка. — Я сифилитик... Видишь! Укушу — и через два часа твой нос провалится. Даешь трешку?!

Когда Клоп-Циклоп оскалил пасть, чтоб куснуть бывшую купчиху, старуха от ужаса лишилась языка, сунула мальчишке бумажный рубль и замычала. Парнишка вырвал у нее узелок и пошел прочь, пожирая на ходу кутью.

— Почин есть, — бубнил он про себя.

Воодушевленный столь легко доставшимся ему успехом, он атаковал и другую жертву. Эта жертва —

тоже женщина и тоже из купеческого круга, но не бывшего, а существующего ныне, попросту — базарная торговка.

— Ваш кошелек!

— Чего та-ко-е?

— Кусну — и через два часа стропила в вашем носу провалятся.

— А вот посмотрим, у кого скорей провалится. — И краснощекая тетка, бойко изловчившись, сгребла налетчика за шиворот.

Клоп-Циклоп рванулся так, что затрещала на нем зеленая кацавейка, но тетка, подкрепившаяся ради праздника винишком, видимо, имела порядочную силу. Клоп-Циклоп заорал «караул!» и бросил узелок с недоеденной кутьей. Потом стал всячески божиться, что он парнишка хотя и одноглазый, но вполне здоровый, глаз ему выклюнул журавль, а морду нечаянно разрисовал приятель-озорник. Тетка, пыхтя и не говоря ни слова, волокла его. Тогда Клоп-Циклоп стал жадно плакать и молить о пощаде, взывая к милосердию базарной торговки.

Но появился милиционер, тетка подозвала его, и Клоп-Циклоп был доставлен куда надо.

XIX

ПИСЬМО К МАТЕРИ. ТЕНЬ ДУНЬКИ ТАРАКАНА

— Завтра, либо послезавтра — в Крым, — объявил вернувшийся из города Амелька.

— Завтра не существует, потому что... — опять опротестовал Инженер Вошкин. — Сам же ты сказал.

Амелька не ответил. Он весь в нетерпеливом возбуждении: какой-то радостный порыв светился в его утомленных, болезненно прищуренных глазах. Может быть, странное предчувствие близкого свидания с матерью, а может, приятные вести с такой силой взвинтили померкший Амелькин дух. Амелька слышал на базаре: Иван Не-спи, варнак, бандит, налетчик, на-

крепко засыпался, засел в тюрьму, откуда один выход для него — расстрел. И, стало быть, Амелька навсегда получил полнейшую свободу.

Не позже завтрашнего дня он наведет точные справки, так ли это. Вот если б — да!

Он купил в городе два листа бумаги, марку и конверт. Сейчас станет сочинять письмо ей, матке Настасье Куприяновне. Амелька сам удивился проснувшемуся в нем чувству к матери; он не знал, где оно родилось, какими путями обошло, захватило его сердце. Но это чувство долга и любви теперь пленило его всего, и плен тот сладостен и тяжек.

Еще держались сумерки. На западе догорали оранжевые, золотистые, зеленоватые тона. Посиневшие от холода, голодные ребята разводили костер. Инженер Вошкин обучил Шарика верховой езде. Шарику надоело баловство; он обсобачил парнишку предостерегающим лаем и, голодный, забился в угол мрачного, сырого склепа возле ног Амельки.

Амелька стоял на коленках, облокотившись на перевернутый вверх дном ящик, и сочинял письмо. Огарок поводит вправо-влево золотым своим хвостом. На ящике два слизняка; им неприятен свет огарка и неприятен человек, пыхтящий возле них; они невидимо вздрагивают, просят смерти. Амелька смахивает их на пол, топчет сапогом.

«Бесценная матушка, Настасья Куприяновна. Это пишет тебе сын твой, небезызвестный Амельян.

Бесценная матушка, вот уже почитай три года я убег из родимых краев и тебя бросил, горемыку. А из-за чего — ты знаешь сама. Что же это они делали со мной, особливо этот самый мироед Гаврила Колотушкин? А я потому озлобился, как сирота я есть, потому что разные буржуи угробили моего родителя, а вашего супруга, и вас навек осиротили. Тяжко мне было, вот и озорство пошло. Лучше бы меня убили, а не тятьку. Бесценная матушка, Настасья Куприяновна, то есть так я люблю тебя, не нахожу слов. Одна подушка знает, сколько я проливаю горьких слез. А живу я шибко худо, ноют мои руки, ноют мои ноги, и сердце ноет, и сам я весь больной, изже-

ванный. Ежели не брошу бродяжить, чую, умру. Потому жизнь моя шибко тяжелая. Ну, клянусь тебе богом, бесценная матушка, Настасья Куприяновна, вот только съезжу в Крым, прогреюсь на солнышке для здоровья и вернусь, родимая, к тебе, вернусь на всю жизнь нашу. Уж вот-то заживем! Не скучай, не плачь, дожидай меня, пожалуйста, уж теперь скоро, совсем скоро свидимся с тобой. Уж ты прости меня как-нибудь, не проклинай, не плачь. А я тебя, бесценная матушка, Настасья ты моя Куприяновна, видел о прошлый год в городе нашем, только не смел подойти, потому — больной я весь, и лицо опухло, и одет скверно, ты бы испугалась, не признала бы сына своего. А вот как хотелось подойти... Я, может быть, ходил след в след тебе и слезы...»

— Амелька, шамать хочешь? — вбежала с улицы Катька Бомба.

— Подь к черту! Вонючка... — буркнул Амелька, погасил огарок и вытер рукавом мокрые глаза.

Катька ушла. Амелька запер дверь, зажег огарок и стал доканчивать письмо.

Ему надо сейчас же снести письмо на почту, чтоб как можно скорей мчалось оно в деревню к матери. Он шел через парк, плотно стиснув зубы. Вызванные письмом переживания детства снова и снова вставали в возбужденном Амелькином мозгу. Его душа была охвачена злобной жалостью к своей судьбе, к матери, к убитому белогвардейцами отцу. Инстинкт жестокой мести овладел им вдруг. Ну, попадись ему теперь буржуй или какой-нибудь белогвардеец, он сразу отвинтит ему башку, вспорет брюхо, кишки намотает на березу. Схватил чугунный диван, с яростью отломал узорчатую ручку, подволок к пруду и бросил в заветевший, провалившийся ледок. Поднял камень и метким швырком разбил электрический фонарь. Попробовал вырвать с корнем молодое деревцо, но сила не взяла, заскрежетал зубами. Пошел вперед, надбавляя шагу и тяжело, с присвистом, дыша. Опрокинул на ходу еще четыре скамьи, выломал ворота, дал по шее нищенке-старухе. Потом пришел в себя и, весь потный, огляделся. Все мутнело, вздраги-

вало перед глазами, и оголенное сердце его стало остывать.

— Бабка! — крикнул он нищенке. — Прости меня, бабка.

Проехал пьяный извозчик, раскачиваясь во все стороны, будто у него измяк, сломился позвоночник. По всему городу вспыхнули разом фонари. А вот и почта.

Поздно вечером, перед тем как укладываться спать, Инженер Вошкин объявил, что ровно в полночь он будет необычайным волшебством вызывать душу мертвой Дуньки Таракана.

Смотрели все. Уж, наверное, Инженер Вошкин выкинет напоследок какое-нибудь забавное коленце. Всем было радостно: вот лягут спать, вот проснутся, а там придет курьерский поезд — и прощай, зима, здравствуй, здравствуй, долгожданный светлый Крым!..

Был радостен, но как-то по-особому и Филька. Крым... Он верил и не верил. Мрачная тень погибшего дедушки Нефеда охлаждала его чувство.

— Завтра, либо послезавтра — в Крым, — подтвердил Амелька.

— Завтра, завтра! — настойчиво закричала детвора.

От предвкушенья новых встреч и новой жизни у всех стало ныть в груди, где-то там, у сердца. Какое-то беспокойное томленье и жгло и тормозило бродяжьи порывы оборванцев. Так у иных захватывает дух, когда они смотрят с большой высоты в бездну.

— Начинается, начинается, начинается! — торжественно возгласил Инженер Вошкин. Он трижды обошел вокруг яркого костра и вынул из тряпицы моржовый зуб морской собаки.

— Ежели ты устроишь взрыв, как на Спирькиных похоронах, живьем в костер брошу, — пригрозил Амелька.

— Взрыв — что? Взрыв — ерунда с маслом, — прохрипел Инженер Вошкин, — я, может быть, алтайский

шаман. Увидишь — сразу с каблуков слетишь, остолбенеешь. Каливостру читал, графа?

Кострище горел пожаром. Кругом — тьма, кругом — ничего не стало: были отрепыши, пожар и тьма. Все сидели. Колдун стоял по ту сторону костра, и ребятам казалось с земли, что он весь по грудь объят пламенем: горит, а не сгорает.

— Кара-дыра-курум! — пронзительно закричал колдун-шаман и резким свистом продырявил мертвый темный воздух.

Катька боязливо прижалась к Амельке.

— Не бойся, — шепнул ей Амелька, — я мальчишке марафеты две понюшки дал.

— Смотрите, смотрите! — таинственно выкрикнул колдун. — Сюда идут покойники со всех погостов... Куда вы? Ксы, ксы, ксы!.. Здравствуй, Спирька Полторы-ноги! А не видал ли ты Дуньку Таракана?

И всем показалось, что к небу пошли от костра дым и смрад.

— Кара-дыра-курум! — стал скакать возле костра колдун и швырнул в огонь волшебный зуб морской собаки.

Из огня выбросилось вверх зеленое пламя, как от пороха, в сторону стрельнули угли и — покажись ребятам: встал над пламенем дымный, сизый, лохматый призрак. Филька разинул рот и приготовился бежать; Катька тихонько вскрикнула, схватилась за Амельку и защурилась; Карась весь насторожился и встопорщился; Пашка Верблюд вскочил, в его руке сверкнул финский нож.

— Здравствуй, Дунька Таракан, — прошипел Инженер Вошкин. Красное, натертое суриком лицо его перекосилось; оно казалось под пламенем костра страшным, искаженным; один глаз его опять закрылся, и вся сила взвившейся в мальчишке жизни сосредоточилась, сгустилась в другом вытаращенном глазу. И всем почудилось, что это не глаз, а горящий черный уголь.

— Батюшки, с ума сошел! — не на шутку оробела шатия.

— Здравствуй, Дунька Таракан! — не своим голосом прокричал Инженер Вошкин. — Смотри, смотри! Кругом все покойники... Здравствуйте, мертвые покойники! А не видали ли вы душу Майского Цветка?

Вдруг из тьмы протянулась живая, настоящая рука покойника и сгребла за шиворот заоравшего благим матом колдуна. Катька взвизгнула, все помчались врассыпную. Чья-то рука настигла во тьме и Катьку. Девчонка обомлела. Филька и Амелька скакали рядом, как запряженные взбесившиеся кони.

А там, у костра, свистки, крик, испуганный лай Шарика.

XX

БОЛЬШАЯ СМЕРТЬ

Вот теперь-то у Фильки с Амелькой нет препятствий, чтоб ехать в Крым. Пожалуй, очень хорошо, что их последнее гнездо рассыпалось: Пашки Верблюды с Карасями — лишняя обуза. Ну, правда, Катьку жаль. А впрочем... Много найдется для Амельки таких Катек. Вот и хорошо. Значит, так тому и быть: Крым, Кавказ — и возвращение на родину, к любимой матери, к труду. Отлично.

Ах, если б Амелька знал, что его письмо придет в деревню и не застанет Настасьи Куприяновны!

Амелькина мать вот уж третьи сутки живет в том городе, где сын: вышли у нее дома какие-то неприятности с сельским обществом. Кажется, кусок кровной земли богатеи хотели вырвать у нее: сын в нетях, шаромыжничает где-то, ну, баба может и без земли существовать. Вот и поехала Настасья Куприяновна к городским властям за правдой. Была у ней тайная надежда и Амельку встретить. А впрочем... Его с борзыми кобелями не найти. Разве что бог обиженному сердцу матери заблудшую тропу укажет. Только вряд ли, нет уж, чего там толковать.

Ах, если б знала Настасья Куприяновна, что ее Амелька — вот он, тут...

Амелька с Филькой меж тем поджидали курьерский поезд, чтобы тотчас же ехать в Крым. До поезда еще долго — два часа. Станция вся в электрических огнях, вокзал залит светом. Приятели греются в третьем классе. Наскучило сидеть. Вышли, прильнули глазами к окну в буфет.

Вдруг на плечо Амельки легла чья-то тяжелая рука. Амелька оглянулся и чуть не закричал.

— На твоей шее триста пятьдесят долгу по разверстке, — звучно прошептал Иван Не-спи. — Да старый долг...

— Ты?! Откуда? — только и мог сказать Амелька.

— Пойдем.

Они остановились за углом вокзала. Иван Не-спи в мужичьем старом армяке, в мужичьей шапке, в лаптях. Черные глаза горели, рыжая накладная борода топорщилась.

— С кооперативом — помнишь? — лопнуло. Часть убытка — на тебе.

— Откуда ж мне? Нас разогнали.

— Твое дело.

— Я в Крым собрался, в боржомщики. Сейчас еду...

Иван Не-спи достал из-за пазухи кинжал, молча постучал о сталь ногтем и сказал:

— Видишь? Деньги будешь уплачивать Ваньке Турку — буфетчику в пристанской чайной. Я пошел. — И он скрылся.

В душе Амельки померкли все огни; мрак охватил его и оторопь. Как тряпичная кукла, не чувствуя себя, он приблизился к Фильке, все еще стоявшему у вокзального окна.

— Все равно, поеду... Пусть убивает... Поеду! — выкрикнул самому себе Амелька.

За окнами, в буфете, пальмы на столе, цветы. А за столиком, как раз возле окна, где стояли оборванцы, сидел человек в порыжелой кожаной тужурке, в теплых сапогах, на голове — шапка, поверх шапки — шаль, концы ее крест-накрест сзади в узел. Видимо, у человека зубы разболелись. Так и есть: снял человек шаль, щека подвязана платком. Человеку подали

котлеты с макаронами. У Фильки потекла слюна. Человеку принесли полбутылки коньяку, человек потребовал самых лучших папирос и кофе. Принесли и это. Потом парней прогнали от окна.

— Богатый, дьявол... Спекулянт, по-нашему — барыга, — сказал широкоплечий, приземистый Амелька, устало шагая больными простуженными ногами. Он все еще был в сильном волнении, в голове вспыхивали планы: что делать, как спасти себя от смерти, от бандита? И какой черт наврал ему, что бандит схвачен и сидит в тюрьме?

Вскоре подкатил товаро-пассажирский поезд. Тысяча народу высыпала из вагонов на платформу.

Амелька с Филькой сызнова приникли к тому же окну. Человек суетливо расплачивался с официантом. Бумажник человека туго набит деньгами.

— Глянь, тысячи, — прошептал Амелька. Он дрожал, не попадая зубом на зуб, и обозленные глаза его горели хищно. — Барыга, сволочь, спекулянт.

Человек обмотал голову по-бабьи шалью, вскинул за плечи торбу, сытно рыгнул, взял мешок под мышку, выкатился на платформу и стал пробираться к поезду. Но поезд брали с бою. Поезд торопился уходить в направлении к Москве, чтоб очистить путь ожидавшемуся курьерскому, который вот-вот примчится, постоит немного, свистнет и укатит в Крым.

Амелька цепкими глазами неотступно следил за похожим на бабу человеком. Вот голова в шали пропестрела в стороне, вот мотнулась влево и исчезла.

Ударили два звонка.

— Филька! Дожидай меня в городе, в чайнухе «Отдых»... Завтра утром... вернусь!.. — вскричал на бегу Амелька. Он быстро обогнул хвост поезда и вскочил с другой стороны его на тормозную площадку.

Амелька зорко заприметил, что человек в кожаной тужурке, в бабьей шали, сидит на ступеньках площадки пятого с краю товарного вагона.

Поезд до отказа набит пассажирами. Амелька с искусством акробата перебирается по крышам с ва-

гона на вагон. На пятой площадке — что за чудо! — человека нет, вместо него двое мальчишек стоят в обнимку, напевают развеселую. Ах, черт! Неужто Амелька просчитался? Он быстро — на шестой вагон. Спустился. И сердце его остановилось. Здесь!

Он с размаху ударил ногой в спину сидевшего на приступках человека. И в жестокости, разинув страшный рот, поймал звериными глазами, как спекулянт в клетчатой шали, в кожаной тужурке кувырнулся под откос.

Когда поезд, пофыркивая, поплевывая и скрежеща железом, пополз в гору, Амелька соскочил. Вместе с ним соскочил и Филька. Он не хотел бросать приятеля и тоже там, на станции, ловко впрыгнул в поезд. Он не умел лазить по крышам — где же ему угнаться за Амелькой? Погруженный в думы, он стоял на площадке, посматривая на белевшие снега. Вдруг... Кто это? Амелька...

Амелька бежал возле путей к человеку; у человека — деньги... Наконец-то Амелька разочтется с этим проклятым Иваном Не-спи, получит вольную и, может быть, поедет в Крым по-пански, в спальном.

Вот зачернело на снегу. Это сброшенный спекулянт-барыга лежал недвижно...

От быстрого бега Амелька задыхался; его оставляли силы, звенело в висках; уши оглохли, рот пересох. Он подбежал к распростертому, со сломанной шеей, трупу. С жадным криком, с подлой удачливой улыбкой он припал на корточки и пыхтя рванул на мертвеце тужурку, чтоб скорей завладеть деньгами. Вдруг проворные пальцы Амельки остановились, будто пораженные параличом: вглядевшись в лицо мертвеца, он с воем опрокинулся на спину и пополз по снегу прочь.

— Амелька, Амелька, что ты! — вскричал подоспевший Филька.

Амелька, рыча, поднялся, с размаху ударил Фильку в грудь ножом и бросился к железнодорожному мосту, задыхаясь и хрипя.

— Стой! Куда? Стрелять буду! — пригрозил постовой красноармеец.

— Стреляй! — И безумный Амелька схватился за перила, чтоб спрыгнуть в черную, окаймленную молодым льдом полынью.

Однако красноармеец вовремя поймал его.

Раненого Фильку тоже пощадила смерть.

Остался невредим и спекулянт: он сразу же втискался в вагон и теперь храпит на верхней полке.

Поплатилась жизнью лишь мать Амельки, Настасья Куприяновна. Сгубили ее шаль, тужурка мужа и судьба.

А вернее всего — исключительный, непоправимый случай.

Август — декабрь 1928 г.

Часть вторая

МРАК ДРОГНУЛ

А и в некую пору
Будет каждому вору
На Руси жить отменно негоже.

Л. Н. Трефолев.

...Выйдет парень рабочий
И до воли охочий...

Он же.

I

ДВЕРЬ ЗАХЛОПНУЛАСЬ НАДОЛГО

Пути Фильки и Амельки сплелись теперь довольно крепко.

Приятелей привезли в тот же самый родной им город. Амельку пришлось связать: он ополоумел и кусался. Связанный, он плакал или с хохотом выкрикивал: «Мамка! мамка!»

Филька тоже плакал — не о своей участи, а глядя на Амельку.

Вот и вокзал, милый, такой знакомый бан. Амелька пришел в себя. Они оба с Филькой заплаканными, обозленными глазами взглянули на то несчастное окно, за которым сидел вчера ненавистный спекулянт — барыга. Будь он, окаянный, трижды проклят.

С вокзала парней отправили под конвоем в городскую милицию. Был солнечный день, праздник. Свисавшие с крыш ледяные сосульки таяли, снег прел, разводя по дорогам кашу.

Их вели вдоль улицы, примыкающей к торговой площади. Проезжавшие на базар крестьяне злорадно перемигивались друг с другом, перебрасывались словами:

— Влопались, дьяволы!.. Достукались!

— Вы-ы-пустят...

— А нет, так сами удерут. Их в реку надо, вот куда!

Амелька старался притвориться бодрым, вызывающе глядел на сидевших в телегах мужиков, на встречных пеших, но болезнь брала свое, — голова моталась как чужая.

Филька же стыдился посторонних; он надвинул шапку на нос и месил грязь словно не своими, одеревеневшими, ногами.

Вдруг к Амельке подбежал одноглазый Карась и сунул в руку сверток:

— На чем засыпался?

Амелька тупо взглянул в лицо Карася и не ответил.

— Пшел, стервеныш! — прогнал конвоир мальчишку и отобрал у Амельки передачу: — Рассмотрят в участке, вернут.

В милиции они ждали очереди целый час. Амелька сидел, вдвое перегнувшись, потом прилег на грязный, заплеванный пол. Вся комната прокурена, арестованных — пьяных и трезвых мужчин, женщин и подростков — десятка два. Из милиции, при бумаге, направили приятелей в уголовный розыск. Теперь вели их двое милицейских. Опять пришлось долго дожидаться. Амелька развалился на лавке, стонал; лицо его раскраснелось, зацвело бурыми пятнами. Амелька заболел. Его увезли в тюремный лазарет, Фильку же до выяснения дела заперли в так называемую внутреннюю тюрьму при уголовном розыске. Впрочем, ему тоже сделали перевязку в лазарете, но за опасно больного не признали: видимо, рука Амельки в ту ночь дрожала, и нож ударил вскользь. Регистрация и предварительное дознание были отложены до выздоровления Амельки.

Недели через две Амельку выписали из лазарета и привезли в уголовный розыск, в комнату регистратуры. Его в лазарете наголо обрили; он похудел, отмылся; все лицо его стало светиться только что пережитым большим страданием.

— На рояле играл? — спросил его низенький жидковолосый человек в высоких сапогах, следователь.

Амелька знал, что «играть на рояле» — значит снимать отпечатки с пальцев рук, и не без дерзости ответил:

— На гармошке игрывал, на рояле нет. А что это означает?

— Врешь, мокрушник, знаешь. Не верти вола... Фамилия?.. Имя?.. Возраст?..

Амелька ответил.

— Судимость? Приводы?

— Нет, не было.

— Ну, ладно. Не было, так будет. Заполняй анкету... Грамотный? Садись, пиши... Товарищ Кузнецов, приготовь дактил!

Безусый молодой человек в тужурке достал все нужное для производства дактилоскопического обследования.

Амелька меж тем писал на анкетном бланке. Фамилия: *Схимников.* Имя-отчество: *Емельян Иваныч.* Прежняя судимость: *не было.* Приводы: *не было.* И т. д. Затем мягкие оконечности Амелькиных пальцев смазали темной типографской краской. Следователь подсунул ему дактилоскопическую карточку для правой и левой руки:

— Играй.

Товарищ Кузнецов каждый Амелькин палец начал по очереди тщательно прикладывать к соответствующим графам карточки. Получились тонкие отпечатки круговых и дуговых узоров складок кожи. Следователь через сильную лупу стал со вниманием рассматривать эти отпечатки. Он часто заглядывал в книжку с таблицами, вновь всматривался в рисунок, делал вычисления. Амелька, едва дыша, следил за его лицом. Следователь вывел сложную дактилоскопическую формулу по методу Гальтона и Рошера, проверил вычисления и подошел к ряду высоких закрытых шкафов. Он открыл шкаф со множеством ящичков. На каждом ящичке наклеены билетики с номерами групп, подгрупп и соответствующей формулой. Он залез на стул и, тщательно рассматривая формулы, сравнивал их со своей. Амелька неослабно продолжал следить за ним. Первый шкаф благополучно

закрылся, второй открылся и закрылся, третий, последний, — тоже. «Ага, ага... — Амелька свободно передохнул: — проехало». Но вот следователь отдернул синюю занавеску в нишу: там притаился четвертый шкаф. Открывшаяся дверка шкафа издевательски скрипнула Амельке: «Здравствуй... а я здесь». Нервными пальцами следователь выхватил из ящичка серую папку, буркнул в усы: «Мерзавец», — и резко сел за стол. Амелька съежился, перевел плечами; в глазах густо замелькали рои черных мошек.

Рассматривая через лупу хранившиеся в папке отпечатки чьих-то пальцев, следователь с язвительной улыбочкой сказал:

— Слушай, ты, мальчик-с-пальчик... Как тебя? Схимников? Не ты ли в прошлом году Емельяном Кувшиновым был, кличка Ванька Мордастый?

— Нет, — слабым голосом проговорил Амелька. — Истинный бог, нет... Вот провалиться, нет... Вот...

— Врешь, орясина, врешь, наглец... У тебя два привода и судимость — условно на полгода.

— Нет, что вы! Товарищ следователь!.. Это не я... Чем хотите, побожусь. Я первый год, как...

— Сознавайся, покуда я тебя в переплет не взял. — Следователь затопал ногами и грозно застучал браунингом о стол.

— Ваше дело, можете расстрелять, — втянул Амелька голову в плечи. — Неужто я не сознался бы, ежели...

— А это чья морда? — И следователь сунул в глаза Амельке наклеенные рядышком две карточки: анфас и в профиль. — Узнал?

— Я это... — прошептал Амелька. — Только когда же это? Меня не снимали.

— Мы знаем, когда... Разувай левую ногу... Товарищ Кузнецов, дактил!

Амелька вяло разулся. Сделали отпечатки с его двух пяток, сняли двойную фотографию, стали производить поверхностный предварительный допрос. Амелька старался держаться бодро, но душевные силы оставляли его: он стиснул руками виски, замотал головой и разразился громким плачем.

— Заткнись, хулиган, мокрушник! — свирепел нервный следователь. — Раньше нужно было плакать, не теперь... Двадцатый год парню...

Когда уводили Амельку, он, давясь слезами и всхлипывая, говорил:

— Вы не подумайте, что я... плачу... потому, что влип... Плюю я на это... Мне себя не жаль... Мне ее жаль... Эх! Черт... Да разве вам понять!

Следом за Амелькой был допрошен и другой случайный соучастник преступления — Филька.

Составленный так называемый «протокол задержания» был тотчас же направлен на заключение прокурора. Амелька же сел во внутреннюю тюрьму при уголовном розыске, в ту самую камеру, где Филька уже успел просидеть целых две недели.

— Вот и опять вместе, — сказал Филька, пробуя улыбнуться. Он не сразу узнал своего обритого, похудевшего приятеля. — Ну, как? Что ж нам теперь будет? — подавленно спросил он Амельку.

Тот отвернулся от него, молчал.

— Не знаю, дали веру моим словам или нет, — опять заговорил Филька. — Я отперся. Я сказал, что я в этом деле ни при чем. Говори, чего ж ты...

— Уйди, Филька, пожалуйста, уйди. Не до тебя мне... — Амелька резко встал, отошел от Фильки и с каким-то болезненным озлоблением крикнул, не оборачиваясь:

— Жаль, что я тогда тебя не дорезал, чертова сына!

Филька сразу после этих обидных слов замкнулся сам в себя и надолго выбросил из своей души Амельку.

Так шли дни. Заключенных выводили на пятнадцатиминутную прогулку. Внутренний дворик не широк, не длинен. Со всех сторон и снизу — камень, вверху — зимнее небо в облаках. Ходили по кругу друг за другом в расстоянии трех-четырех шагов. Филька на прогулке предпочитал сидеть возле стены, где виднелась блеклая, хваченная морозом травка. Он упорно смотрел в землю. Ему хотелось эту землю целовать.

Через две недели органами дознания была получена от прокурора ответная бумага о дальнейшей судьбе Фильки и Амельки. На другой же день Амельку, как убийцу, увезли в следственный изолятор. Отвозили его в закрытом автомобиле. Филька же лишь подозревался в соучастии в убийстве; поэтому его препроводили в исправительный труддом.

Охладевшие друг к другу и разъединенные физически, Филька и Амелька все-таки изредка встречались в камере следователя, ведущего их дело. Фильку сопровождал милиционер, Амельку же всегда конвоировал красноармеец.

Перед отправкой в поход подсудимый подвергался обыску. Махорка и нюхательный табак отбирались. Это давало конвоиру уверенность, что он дорогой не ослепнет от пригоршни брошенной в глаза махорки и подсудимый не сбежит.

— А папироски можно? — спросил Амелька красноармейца.

— Можно, только дай мне одну.

У следователя Амелька рассказал о себе всю правду. Он всячески выгораживал Фильку: убийство совершил он, Амелька, Филька же ровно ни при чем, даже Амелька крайне удивился, когда увидел его там, возле себя, у трупа. Да, да, уж пусть следователь, пожалуйста, поверит, что Филька чист и нет на нем никакой вины. А вот его, Амельку, пускай приговорят к расстрелу: что же, он готов.

Амелька был тверд духом. Филька же, почувствовав всю силу правды в словах бывшего товарища, плаксиво скривил рот и едва удержался от рыданий. Он никак не ожидал, что Амелька встанет на его защиту.

Следователь свое заключение препроводил прокурору. Вскоре Амельке была вручена повестка с копией обвинительного заключения. В повестке значилось: «Ваше дело направлено в Окружной суд и назначено к слушанию тогда-то». Амелька прочел и приятно подумал: «Очень даже вежливо, на вы».

Судом Филька был оправдан. Амельку же присудили к двум годам высидки без строгой изоляции. Смягчающим вину обстоятельством послужило его чистосердечное раскаяние и роковая, потрясшая его организм, случайность. Во все время судопроизводства слово «мать» било Амельку обухом по голове. Из зала суда его вывели в полуобморочном состоянии. Дверь вольных птиц захлопнулась за ним надолго.

II

ГОВОРЯЩИЕ СТЕНЫ

Амельку доставили в городскую старинную тюрьму. Вместе с другими осужденными он был помещен в так называемую карантинную камеру.

Обширная, грязная камера эта густо набита осужденными, среди которых, конечно, должны быть и больные. Чтоб уберечь здоровых от больных, все вновь прибывающие выдерживают здесь врачебный карантин. Для каждого карантин два-три дня, затем строгий медицинский осмотр. Больных направляют в лазарет, здоровых сортируют по камерам.

Амелька провел здесь трое суток. Кого-кого он тут не повидал: выхоленные, розовощекие, по-модному одетые молодчики, пожилые унылые бородачи, низкорослые гнилозубые парни с орангутаньими мордами и коком из-под кепки; у них ухватки хищников и страшные глаза. Вот елейный, благообразный старец с седой бородой, — с него, пожалуй, можно бы писать икону, но он убил двух своих квартирантов, мужа и жену. Вот с бравыми фельдфебельскими усами, в синей строгой паре, кассир крупного совхоза; он проиграл в модном клубе тридцать тысяч казенных денег и своевременно не догадался застрелиться. Вот хитроглазый, сухощекий мужичок с котомкой за плечами; видом он пришиблен, несчастен, хмур, — он проломил голову селькору и в своем поступке злостно запирался. И многое множество типов. Немало и таких, как наш Амелька.

Он почти все время валялся на нарах. Он чувствовал себя несчастной мышью, попавшейся в ловушку вместе с крысами, лисицами, волками. Ему ненавистны люди, шум, смех. Его душа требовала одиночества, покоя, мрачной тишины.

Первую ночь он крепко спал, но трижды пробуждался весь в поту. Три раза снилась ему мать. Всякий раз она весело подходила к нему, помахивая розовым платочком, а чей-то голос говорил: «Вот видишь, она даже совсем не скучная». Тогда мать бросалась в бесстыдный пляс. И от пляса того веяла на Амельку снеговая вьюга. Амелька с криком вскакивал и, озираясь, не понимал, где он, что с ним. Под потолком электрическая лампочка тускнела. Тишина. Амелька вздыхал и снова падал к изголовью.

На следующее утро Амелька внимательно, зорко осмотрелся. Белые стены испещрены в рост высокого человека всевозможными надписями, неприличными стихами и рисунками, заплеваны, загажены. Стены представляли собой как бы регистрационные списки прошедших через эту камеру преступников. Стены о многом говорили. Тысяча фамилий, кличек, дат, глупых и мудрых афоризмов. Все это было для Амельки ново. Эх, жаль, что у него нет карандаша: он тоже приложил бы руку. Глазастый Амелька прищурился и стал читать.

Чтения хватило бы ему на целую неделю.

Васька Безмен, я же Степан Буяльский, я же Ванька Копчик, я же Пашка Расстрига, я же сукин сын, сидел в этом монастыре для сильно верующих с 15 марта 192... года.

Марушко сидел здесь 1 год за кражу лошадей,
Кто думает исправить тюрьмой человека,
Будь проклят отныне и довека.

Здесь сидел идейный растратчик Уренцов, секретарь группкома, проиграл 2000 рублей в В...м клубе в шмен-де-фер.

В тюрьму одни приходят на зимовку: здесь тепло и кормят, другие изнывают в ней, но все ее ругают-проклинают.

Тюрьма нас каменная душит,
Замки, решетки давят грудь.

Гришка Жиган сидел 2 года по ст. 180.
Чем крепче нервы, тем ближе срок.

Мы раздуем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сровняем с землей,
Но песня пропета,
Прошла как сон;
И строится другое
На новый фасон.

Человек в тюрьме выучивается, он выходит из нее мудрее, спокойнее и гражданственнее.

Я выбрал кражу,
Из тюрьмы не вылажу.
Сколько бы в тюрьме я ни сидел,
Не было минуты, чтоб не пел.
Заложу в карманы руки
И хожу, пою без скуки,
Что же будешь делать, коли сел!
Гоп со смыком, гоп со смыком — это буду я.

Тюрьма — это пример возмутительной и оскорбительной траты времени.

Не унывай, дружище: все пройдет!
Здесь сидел герой бульварных романов.

Слава сильным, гибель слабым!

Ура, ура, ура! Думал — приговорят к вышке[1], — дали красненькую[2]. Да здравствует правосудие! *Павлуша Болтиков из Пензы.*

Мертвый голос этих говорящих стен очень заинтересовал Амельку. Он пыхтел, лицо его краснело. Он огляделся по сторонам, хотел попросить карандаш с бумагой, но раздумал — «наплевать, после спишу» — и стал читать дальше:

Входящий, не унывай! Уходящий, не радуйся!

Это замечательное изречение заставило Амельку призадуматься. Оно вдохнуло в него некоторую надежду, бодрость.

Архимед сказал: дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар. А я говорю: дайте мне нож, и я перережу всех недорезанных буржуев. Но дальше наши идеалы с коммунистической партией расходятся. Я много левее и сознательнее. Максим Перцов, кончивший реальное училище.

Хрю-хрю-хрю!.. А кто я такой — не знаю.
Ты человек, достойный жалости.

Эх, Лиза! Детка моя, прости, умоляю. Я заразил тебя сифилисом. Но видит небо, я этого не хотел. Гнию, гнию, а тебя вспоминаю. Не кляни меня. Покорись участи. Мне тяжко. Пишет несчастный человек, а кто — не скажу. 19 мая 192... г.

Матушка! Мамашенька! Старушка! Пойми, что я осужден невинно. Твой сын несчастный Костя Племянников.

Эти последние слова сорвались с грузных стен, как гром. Амелька как бы оглох и дрогнул телом. Амельку накрыла серая, душная пелена, и сердце его перевернулось. В болезненной памяти воскресла его мать и прощающими глазами взглянула в душу,

[1] Высшая мера наказания.
[2] Десять лет заключения.

сына. Амелька встряхнулся; ему тоскливо стало, одиноко. Он поднял пламенную руку и крепким ногтем большого пальца процарапал на штукатурке:

Мамка, милая, родненькая, дорогая моя мамка...

Он весь трясся, писал вслепую: ручьем слезы текли. И текла жизнь возле него своим порядком, но он не замечал ее. Лег на нары. Ничего не пил, не ел; спал или не спал — не знает, ночью бредил. На утро услышал крик:

— Эй, братва, на осмотр!.. Становись в хвост к доктору... Расстегивайся. Шевели-и-сь!!

III

ДВУНОГОЕ СТАДО

После медицинского осмотра Амельку поместили в общую камеру дома заключения. Преступная камера не мала размером: шагов сорок в длину, шагов двадцать в ширину. Три стены — каменные, четвертая, отделяющая камеру от коридора, — сплошь снизу доверху, из железных, в палец толщиной, прутьев. Такие стены бывают в клетках с хищными зверями.

Амелька невесело подошел к этой странной клетке. Надзиратель, звякая связкой ключей, отпер скрипучую железную дверь и втолкнул Амельку в звериное царство.

Здесь были львы, барсуки, лисицы, волки, росомахи и прочая, лишившая себя свободы, живность. Амелька осмотрелся, и ему сразу же вспомнилась легенда о ковчеге Ноя, набитом чистой и нечистой тварью. Куда же этот их ковчег плывет?

— Новенький! Фрей! — кто-то крикнул сиплым басом.

И еще проблеял другой, тошнотворный какой-то, с подковыркой, голос.

— Ребята, нужно этого фрея разыграть!

Двуногое стадо, подняв хвосты, окружило Амельку:

— Откуда?

— За что?

— На сколько?

Амелька попятился от них:

— Я больной, — и сел на лавку.

— Так мы ж тебе баню устроим. Вылечим.

— Ребята, тащи редьки! Тащи веников!

— Сразу оздоровеет.

— Срывай с него портки!

И быть бы Амельке битым, но Ванька Граф, сильный, с медно-желтым лицом, с литыми кулаками, все тем же сиплым басом прокричал:

— Ша! Засохни! Мы хулиганы, что ли? Видите — парень не в себе. Эй, как тебя?

— Амелька.

— Сиди спокойно. А нет — ложись... Вот твоя койка! — Ванька Граф сдернул за ногу какого-то суслика и приказал Амельке: — Ложись.

Амелька лег. Тридцать три парусиновых, на железных подрамниках, койки были приподняты и вплотную подтянуты к стене. Так делалось каждое утро. Тридцать четвертая же койка была сломана, не подымалась.

От Амельки отступились. Он понял, что Ванька Граф всю камеру держит в ежовых рукавицах; он — царь здесь, и слово его — закон.

Закинув руки за голову, Амелька лежа наблюдал.

Посреди камеры большуший, топорной работы, обеденный стол, вокруг — деревянные табуреты и скамейки. Вот и вся мебель. Впрочем, возле короткой стены — большой, в виде шкафа, ящик с отделениями для посуды. Возле ящика — отгороженное невысокой, аршина в два, фанерой тесное место: здесь уборная. Рядом с ней — раковина и кран для умыванья. Под самым потолком электрическая лампочка.

Амелька крепко под шум уснул.

В шесть часов утра по всем коридорам зазвенел общий звонок. Заключенные открыли глаза, стали по-

кашливать, зевать, потягиваться, чтоб размять утомленные длительным сном мускулы. От койки к койке полетели слова, словечки и ласковые обычные, в виде приветствий, матерки. Вставать лень — лежали. Старосты по камерам (из своих же заключенных) стали считать людей. Через четверть часа раздался второй сигнал — свисток и крик:

— Приготовьсь на проверку!

Камера сразу наполнилась торопливым движением. Все вскочили, оделись, подняли-подтянули койки к стене.

Быстро вошел надзиратель.

— Здорово, заключенные!

— Здравствуйте, гражданин начальник!

Тыкая в каждого пальцем и вслух считая, он шустро прошелся по шеренге.

— Сколько?

— Тридцать три, гражданин начальник! — весело, с некоторым подобострастием ответил староста.

— Верно, тридцать три. — И надзиратель стал пятиться спиной к выходу. Держа всю шеренгу в цепком взоре, он допятился до калитки и, быстро выскочив из камеры, крепко захлопнул дверь. Эта камера опасная. Его недавно проучили: в затылок с маху ударила кринка. С тех пор он уходит задом наперед, как укротитель зверей из львиной клетки.

Через четверть часа все десять надзирателей сверяли в канцелярии общую наличность лишенных свободы. Все правильно, побега за ночь не было. Тогда дается отбой — три гулких удара в пудовый колокол во внутреннем дворе. Заключенные во всех камерах кричат: «Проверка сошлась, проверка сошлась!» — и подымают веселую возню, прерываемую громогласным, строгим, с отборной бранью, приказом старосты:

— Идите оправляться! Ну, живо... Марш!

Перед раковиной для умывания и перед уборной — по хвосту.

Дается звонок к чаю. Дежурные по кухне приносят кипяток в огромных чайниках. Многие заваривают свой чай. У Амельки чаю нет; его угощает сегодня

Ванька Граф. Амельке это льстит. Приносят па́йки[1] черного хлеба, по фунту с четвертью на брата.

В час дня по звонку обед. Перед обедом, вместо рюмки водки, прогулка во дворе минут пятнадцать — двадцать. Обед из двух блюд — щи, просовая каща. Счастливчики имеют передачу с воли. Ежели она вкусна, ее следует пожирать быстро или давать в долг другим, или же выменивать на деньги, на барахло. Иначе, как бы чутко ни спал счастливчик, его передача в ту же ночь уплывет в более искусные воровские руки.

Левка Шкет и Ястребок, лет по семнадцати парнишки, частенько обедают без хлеба: они — заядлые картежники: они свою долю на целую неделю вперед проиграли Ваньке Графу. Он хороший шулер; его ненавидят, но боятся бить. Поэтому у Графа в сундуке большой запас продуктов, ценных вещей, барахла.

Отощавшие Левка Шкет и Ястребок, быстро пожрав обед, идут вдоль стола выклянчивать хлеб, баранки, кусочек колбасы. Они останавливаются возле счастливчика и молча ждут подачки, выпрашивая лишь глазами и униженным своим видом. Их гонят прочь, как назойливых псов, иногда бьют по лицу; они смиренно подходят к другому счастливчику. И так, почти целый день, эти двое тюремных нищих, глотая слюни, высматривают, не откроется ли где заветная «скрипушка»[2], не бросят ли к их ногам собачьего куска. В их голодных глазах горит всегдашняя дума: как бы засесть в карты, отыграть па́йки, разбогатеть. Но пока они честно не расплатятся с Ванькой Графом, никто не примет их в игру. Таков неписанный закон тюрьмы.

Шумный, в чавканье, в перебранке, в звяке посуды, обед быстро окончен. Свистком возвещается так называемый «курортный», или «мертвый», час. В шесть вечера опять чай (кипяток). В десять — проверка; гасятся огни; заключенные укладываются спать.

---

[1] На тюремном жаргоне не паек, а па̀йка.
[2] Скрипушка — скрипучая корзина.

Амелька Схимник стал въедаться в новую для него жизнь. На третий день все-таки его не пощадили.

— Ребята! Старосту выбирать! — Это скомандовал слонообразный Ванька Граф.

— Ты, фрей! Как тебя?.. Новенький... Сыпь в игру! Наматывай! — И Амельку потянули за балахон в круг озорников.

— В чем игра? — настороженно спросил Амелька.

— А вот увидишь.

Петька Маз, узкоплечий, с большой бульдожьей головой, важно сел на скамейку, как на трон. Его помощник отсчитал пятнадцать спичек по числу играющих, у четырнадцати обломил головки, одна осталась целой.

— Вот, ребята, кто вытянет эту спичку с головкой, тот будет на сегодня старостой, — весело проговорил Петька Маз. Он плотно сжал грязные, оголенные татуированные руки — локоть в локоть, ладонь в ладонь — и велел помощнику: — Вставляй спички.

— Как тянуть? — спросил Амелька.

— Зубами, — с ехидной улыбкой ответил Петька Маз.

Амелька сразу сообразил, что против него каверзный какой-то заговор и в озорном озлоблении подумал: «Ну, погодите же, черти, я вам покажу, какой я фрей...»

— Становись в очередь, — повелевает Ванька Граф.

Вереница выстроилась в хвост, с Амелькой вместе. Переднему завязали глаза и подвели к трону:

— Тяни!

Тот долго елозил носом по оголенным рукам Петьки Маза, ощупывая губами, какую бы спичку вытянуть. Вот уцепился, потащил.

— Без головки! — выкрикивает Маз. — Следующий!

Игра продолжается.

— Без головки! Следующий!

Кругом похихикивают, перемигиваются. Очередь Амельки. Ему накрепко завязывают глаза. Чутким ухом он слышит какое-то движение и скрип скамейки.

Так-так, для него все ясно. Он знает, что вместо ловких рук Петьки Маза теперь на троне чей-то голый зад.

— Тяни, тяни смелей! — со всех сторон кричат Амельке.

Он делает шаг вперед, нагибает шею и резким движением головы вонзает в чужой нахальный зад крепко зажатую в зубах иглу. Чья-то туша с воплем падает со скамейки на пол. Взрыв грохочущего каменного хохота бьет в позеленевшие стекла окон. Амелька стаскивает со своих глаз повязку. Кругом, сквозь смех, бешено радостные крики:

— Хо-хо! Вот здорово!

— Ай да лох!

— Вот те — фрей!..

— Молодчага!..

Перед Амелькой вырос толстобрюхий курносый плешастик. Его почему-то звали Дунька-Петр. Придерживая левой ладонью ужаленный свой голый зад, он занес правый кулак над головой Амельки:

— Держись!!

И вдруг сам отлетел к стене от сильной хватки Ваньки Графа.

— Стой, стой, молодец, — отечески грозил ему слонообразный Ванька, — чисто, по-жигански сделано... За это бить нельзя.

Но поднявшийся Дунька-Петр нарочно не натягивал упавших штанов, колотил себя в мягкую, как тесто, грудь, обиженно орал:

— Он мне, зануда, дьявол, целую иголку в говядину всадил!.. Нешто это игра?.. Вот она, иголка-то, вот...

Снова дружный хохот. Смеялись и Ванька Граф с Амелькой.

— За это хвалят, а не хают, — внушал Ванька плешивому, с помутневшими злобными глазами, брюханчику. — А этого парнюгу ты не трог... Он добрецкий малый, свой. — И Граф милостиво потрепал Амельку по спине.

Амельке всегда неприятен был в человеке зверь. Но тут он почуял человека в звере и с радостью пожал Ваньке Графу руку.

— Дай пять! Будем напредки приятелями... Идет?

— Идет.

Амелька удовлетворенно прилег на сломанную койку. Он все еще чувствовал себя разбитым: хотелось лежать и мрачно думать. Ему мерещилась жизнь под баржей; вспомнились Филька, Пашка Верблюд, Катька Бомба, Дизинтёр. Но вот встал перед ним потешный образ Инженера Вошкина, и Амелька улыбнулся.

IV

МЕЛЮЗГА. ИНЖЕНЕР ВОШКИН СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ В ЗНАНИЯХ

— Павлик, а не хочешь ли клеить кубики?

— А на что мне твои кубики, ежели я радио могу, — важно ответил Инженер Вошкин и, заложив руки назад, глядел в лицо строгой тети.

— Радио у нас есть и громкоговоритель есть...

— Наплевать! Я свой устрою, в своем углу, на печке. Я — изобретатель.

Воспитательница прищурила на мальчика серые глаза, и кудерышки на ее лбу встряхнулись:

— Ну, изобретай.

— Когда захочу, тогда и стану.

Имя воспитательницы — Мария Николаевна — ребята сократили в «Марколавну». Пожилая, с крупными чертами лица, внешне строгая, настойчивая, но в душе ласковая, справедливая, Марколавна была опытным педагогом и умела держать ребят в руках: со всеми вопросами, печалями и радостями дети, в обход других руководителей, спешили к Марколавне.

Она идет в классную комнату, где собрался десяток неграмотных малышей. Рисуют картинки, расцвечивают их красным и синим карандашами.

— А, Марколавна пришла!

— Здравствуй, Марколавна!

— Колавна!

— Авна!

— Вна!

На первой парте сидит с молоденькой учительницей Клоп-Циклоп. Он здесь недавно. Он теперь гладко острижен, чисто вымыт, опрятно одет и по больному глазу — черная повязка. Он шустр, подвижен, но чрезвычайно бестолков или только прикидывается дурачком. Вот он сложил четыре кубика с печатными на них буквами.

— Что у тебя вышло? — спрашивает учительница, комсомолка Одинцова.

— Ш-у-р-а.

— Ну, а теперь не тяни, читай быстро. Что вышло?

— Саша!

Учительница возится с ним долго, нервничает и никак не может втолковать ему, что Ш-у-р-а — Шура, а не Саша.

— Читай.

— Ш-у-у-р-а-а.

— Быстро читай.

— Саша!

Мария Николаевна подсаживается к другому малышу, Жоржику. Он хорошенький, черноволосый шестилетний мальчик.

— Ну, давай заниматься арифметикой, — говорит она.

Жоржик ласков, льстив, хитер. Он обнимает Марколавну, утыкается лбом ей в руку пониже плеча и говорит:

— Марколавна, очень кушать хочу.

— Жди обеда. Ну, давай считать. Сколько на руке пальцев? Знаешь?

— На которой?

— Все равно. Ну, на правой.

— На чьей?

— Ну, на твоей...

Жоржик считает, говорит:

— Ого! Пять. А ну-ка у тебя... — Считает и снова говорит: — Тоже пять.

— У каждого человека пять.

Жоржик недоверчиво смотрит в спокойные глаза воспитательницы, потом быстро бежит вон из класса.

— Куда ты?..

— Я сейчас...

На задней парте крик:

— Марколавна! Он на парту плюнул!

— Кто? — И воспитательница идет туда. — Кто это плюнул?

— Петя...

— Врешь! Чего врешь?! — огрызается желтоволосый веснушчатый Петя, и на его огорченной мордочке испуг.

— Ты зачем же плюнул на парту, Петя? — берет его за руку Марколавна и подымает с места.

— Честное слово, не плевал, честное слово...

— Врет, врет, — плевал! Вот и слюни на парте.

— Честное слово, не плевал, честное слово! Я ему на голову плюнул, Коле Сапожникову, а он слюни смахнул. Я на парту не плевал...

— Он мне на голову плюнул, — набычившись, бубнит толстощекий Коля.

В это время вбегает Жоржик и кричит:

— Марколавна, Марколавна-а!.. Ах, Марколавна, какая ты обманщица...

— В чем дело?

— Сказала, что у каждого человека по пяти пальцев...

— Ну да.

— Врешь! У кухарки четыре... Пойдем, пойдем!.. Я никогда не буду тебе верить... Я считал. Пойдем в кухню...

Он тянул ее за собой, топал, глядел в глаза Марколавны плутовато и задирчиво, ждал, что она скажет. Лицо Марколавны на мгновенье вытянулось, брови взлетели вверх; она часто замигала и, борясь со смехом, сказала малышу:

— Какой же ты чудак, Жоржик... Ведь у кухарки один палец отрублен. Разве ты не знал? Садись. Ну, теперь скажи, сколько у тебя пальцев на ногах?

— А вот сейчас разуюсь.

В коридорах — возня. Ребята гурьбой носились взад-вперед. Через закрытые двери слышались их песни, крик, визг. Заниматься было трудно. Марколавна вскочила, вышла. Все скоро смолкло.

Молоденькая учительница, комсомолка Одинцова, говорила Клоп-Циклопу:

— Были три мальчика. К ним подошел еще один. Сколько стало мальчиков?

— А кто подошел-то? Федька, что ли?

— Ну, допустим, Федька.

— А чей Федька-то? Маврин, что ли?

— Ну, допустим, Маврин... Это все равно.

Клоп-Циклоп думает и отвечает:

— Тогда станет четыре мальчика.

Детский дом просторный, светлый, теплый. Школьные занятия идут в трех комнатах.

Инженер Вошкин занимается вместе со старшими. Среди них он самый маленький, но пишет и читает лучше всех. Однако обычное ученье он скоро бросил и сказал учителю:

— Товарищ учитель, ты учи меня, как изобретать паровоз. Я раньше инженер был, и фуражка у меня была казенная, и бородка была. Ты дурака не валяй, ты меня от пользы учи. А то сбегу.

Учитель, студент-технолог, Емельян Кузьмич добыл раскрашенный чертеж паровоза. Мальчик весь ушел в дело: познакомился с рейсфедером, циркулем, китайской тушью, акварельными красками; отбился от еды, от занятий, даже отказывался от обычных прогулок:

— На фиг! Раз я изобретаю.

Он узнал, что такое треугольник, что такое квадрат, ромб, круг, шар, цилиндр, конус.

— А трапецию я знаю... Я видел... В цирке.

Он очень удивился, что радиус откладывается по окружности ровно шесть раз.

— Вот смотри, — говорил бородатый Емельян Кузьмич, — получаем по окружности шесть точек, соединяем их, выходит шестиугольник, то есть головка гайки.

Инженер Вошкин пыхтел, черные глаза озарялись блеском.

Емельян Кузьмич вспомнил анкету Инженера Вошкина и улыбнулся.

«У меня родителей моих не было, как родился — тоже не помню, сразу очутился в кустах, — это помню, — с мальчишками.

В Крыму тоже не был еще. Девчонок не любил, они дуры, образование мое так себе».

Вспомнил Емельян Кузьмич и то, как объявился в детский дом этот потешный мальчонка. Он зашел в приемную, надел очки без стекол и, насупив брови, крикнул:

— Заведующего сюда командируйте!.. Дяденька хорошенький, — сказал он заведующему детдомом. — Я от мильтона вырвался, утек. А сюда своей волей прихрял. Я — Инженер Вошкин, изобретатель, только не взаправдашний. Сделай ты из меня, дяденька, настоященского инженера. Только чтоб не вор был и с большущей рыжей бородой.

V

ПИСЬМО СВОИМ

Марколавна готовит детвору к детскому концерту. За стеной спевка. Разучивают революционные песни. Пухлощекий Жоржик нарочно фальшивит и молящими глазами посматривает на Марколавну. А когда она идет в коридор, нагоняет ее:

— Марколавна! Я вам под ушко одно дельце скажу... Нагнитесь. Я очень есть хочу.

— Жоржик!.. Ведь ты только что обедал.

— Я совсем очень есть хочу. Я у вас всегда буду просить есть сразу после чаю и сразу после обеда. Можно?

Она идет дальше. Шестилетний ненасыта, хорошенький Жоржик, похожий на кудрявого неаполитанского мальчика, бежит ей вслед, ловит за юбку, просит:

— Вы будете моя мама, а я дитя. Вы меня зовите «деточка». И берите к себе в комнату в гости в воскресенье. Мама! Хочу ам-ам...

В соседней комнате раздается дикий рев. Марколавна спешит туда. Малыш Митя Зайчиков, некрасивый лобастый забияка, на весь класс плачет, пуская пузыри:

— Володя мне в тетрадь трудные буквы пишет! Мне не списать такие!

— Врешь, не от этого плачешь... Соврал ведь?

— Да. Совра-ал... — захлебывается слезами Митя.

— Ну, отчего ж ревешь?

— Ску-чна-а-а...

— Опять врешь?

— Вру-у-у...

Дети бросили заниматься. Хохочут. Марколавна берет Митю за руку:

— Пойдем в другую комнату. Мешаешь товарищам учиться.

— Не пойду!! — неистово верезжит Митя и с ревом валится на пол. — Тащите, не пойду... Вот попробуйте наказать меня... Сбегу!.. Рамы выбью камнем!.. Исполкому пожалуюсь!.. А-я-я-й!! А-я-яй!.. Не тащите меня за ногу!.. Укушу!!

Все ребята повскакали на парты, смеются, бьют в ладоши. Учительница Одинцова кричит:

— Это безобразие!.. Волоките его вон... Он всякий раз так...

Вдруг среди общей суматохи появился Инженер Вошкин в самодельных больших очках без стекол. В его руке свитое в жгут полотенце с замотанной на конце картошкой. Выражение его лица грозно. Он два раза вытянул Митю по спине и в гневе затопал на него:

— Снимай портки! Подлюга... гад... Изобретать мешаешь!..

Митя опрометью бросился за парту и стал писать в тетрадку. Дети тоже мгновенно принялись за дело. Марколавна стояла пораженная. Инженер Вошкин, потрясая вервием, увещевал:

— Орать не моги!.. Вас бы под баржу, красивых... Там бы вас...

— Как ты смеешь?! — И Марколавна вырвала у него жгут. На ее лице выражение гнева перебивается улыбкой изумления.

Вошел заведующий домом Угрюмов. Инженер Вошкин снял очки и пытался ускользнуть в дверь. Но Марколавна крепко держала его. Она рассказывала заведующему о только что случившемся. Дети наперебой стали жаловаться с парт:

— Он нас бьет, этот босяк паршивый!

— Он и в спальнях нас колотит. Не дает возиться.

— Через это мы смирные.

— И буду бить... Красивые черти, — буркнул Инженер Вошкин.

— Ша! — цыкнул на него заведующий. — Будешь сидеть под лестницей два с половиной часа...

— А кто паровоз станет рисовать? Ты, что ли? — заложил руки назад Инженер Вошкин.

— Ша! — И заведующий поволок Инженера Вошкина вон.

— Ну что ж, применяй насилие!.. Применяй насилие...

— А ты не применяешь, постреленок?!

— Я — воспитанник... А ты не имеешь права. Черт рыжий!.. Варнак...

— Ладно, ладно! — И заведующий запер его в темный чулан, под лестницу. Впоследствии на стене нашли там надпись углем:

«Сей чулан имел счастье посетить знаменитый Инженер П. С. Вошкин по случаю собственноручного осмотра пролетарского происхождения».

За спальней же, где стояла койка Инженера Вошкина, был учрежден бдительный досмотр. Ребята, воспользовавшись тем, что их усмиритель в опале, вновь стали по вечерам бузить, возиться, ходить на головах, драться подушками, язвить над Инженером Вошкиным. Тот мрачно дулся, терпел. Но как-то прорвало его, вскочил и запустил в бесновавшийся хоровод сапогом:

— Ша, красивые! Чтоб вы сдохли... Уйду!.. Сбегу!.. И дом ваш спалю дотла... Я снадобье такое изобрел.

Однако разумными мерами Марколавны и студента Емельяна Кузьмича вскоре водворен был полный мир между Инженером Вошкиным и детворой.

Ласковый сердцем, бородатый Емельян Кузьмич и опытная, великодушная педагогичка Марколавна с особым усердием и немалым интересом принялись перевоспитывать строптивый, взрощенный в дикой воле характер Инженера Вошкина. Вся душа самобытного мальчика была мягка, как воск. Исподволь, с большими потугами, в сфере досадных взаимных оскорблений, недомолвок, споров, бессонных ночей и слез — все-таки настоящий человек формировался.

Однажды в нарядный зимний день, когда сквозь солнце порхал брильянтовый снежок и весь простор был пронизан голубоватой предвесенней свежестью, Инженер Вошкин, как ни упрашивала его Марколавна, на прогулку не пошел. Он сказал ей:

— Дай мне, голубушка, много-много бумаги: буду письмо изобретать.

Он забился в угол и с большим увлечением, вздыхая, то и дело сажая кляксы, принялся за письмо:

«Эй, братцы, Филька с Амелькой, где вы? Смотрю, смотрю в окошко, — нету. И на прогулках когда, тоже не видать. А я здесь, с красивыми. Я учусь на инженера. Рисую настоящий паровоз. Я, например, узнал дымогарные трубы и форсунки. Требую верстак, чтобы стругать. А когда выучусь, сделаю паровоз из железа, сяду и поеду в Крым задаром, как профсоюзник. Кормят ладно, подходяще. Денег нет: колбасу есть не приходится. А вам? А как сделаю паровоз, мне пойдет двадцать третий год, буду все шамать, — что увижу, то и сшамаю, — и вас возьму с собой в Крым. Обязательно женюсь тогда на самой роскошной женщине, которая не стриженая. Да это наплевать, а я упал с печки по случаю радия. Залез строить радио, да там и уснул. Я изобретаю аэроплан. Только изобретаю не самый большой, не настоящий, — большой-то аэроплан всякий дурак изобретет. А потому что я изобретаю маленький, невидимый. Вот возьму его в рот и полечу куда надо. Притом же в шапке-невидимке. Только здесь шапок не выдают, поэтому

изобретаю невидимый картуз. Через это испортил четыре казенных картуза чужих, мальчишкиных, еще шапочку Марколавны. От кислоты она вся вылезла и донышко отпало, а меня оставили на два дня без киселя, и прогулка насмарку в воскресенье, в кино. А изобрету. Пришлите кислоты разной. В здешней аптеке ворую, да мало».

Тут Инженер Вошкин положил перо и, руки назад, прошелся по комнате. Что бы такое написать еще? Он весело улыбнулся и бегом к парте:

«Драть здесь не дерут, а надо бы драть вот как. Я бы драл. А вы? Я, например, напустил в ванну воды и стал обучать кота Епишку спорту, чтобы плавал. Только он, сукин сын, плавать не уважает, не привык, плавает хуже топора. Замест спорту, он поцарапал мне руки и рыло. Через это пришлось коту обрубить в кухне хвост, и за это не драли. А вы как поживаете? Все вспоминаю Дуньку Таракана, все вспоминаю. А вы как? Ее не по добру вспоминаю, вот Майский Цветок — по добру. Шибко жалко ее. А вам? Другой раз слезы потекут. Маруська, Маруська, за что тебя убили-растерзали?! Вот до чего жалко! Как вспомню, так вздохну. Только вы не говорите об этом нашей шпане. Я это так. Дизинтёру кланяйтесь. И себе кланяйтесь. Я ему трактор изобрету, так и скажите, пусть не горюет, я ему изобрету трактор в двадцать сил, а то и больше. А вы, черти миленькие мои, собачки, обязательно пишите мне в детдом номер два, заказным, инженеру Павлу Степанычу Вошкину, изобретателю. Вот спущу письмо в ящик, вы сейчас бегите на почту и требуйте. Вам выдадут. Почтальон мне знакомый. Я так и на конверте напишу. С почтением, прощайте».

Начисто переписав свои каракули, Инженер Вошкин вложил письмо в самодельный конверт. Марки не было. Он отпарил от старого конверта марку, смыл луковым соком штемпель и наклеил на свой конверт, сделав на нем надпись:

Либо Фильке, либо Амельке. Товарищ почтальон! Найди. Это я, Инженер Вошкин, маленького роста, жил под баржей. А вашей куме исправлял на парадной звонок. Это я.

На первой же прогулке он бросил письмо в почтовый ящик. Потом терпеливо, целую неделю, ждал ответа. Отбился от занятий, всем дерзил, забросил радио, забыл чертежи, верстак. Ответа не приходило. Инженер Вошкин удивлялся и негодовал. Он подряд две ночи видел во сне Фильку. Будто шагает Филька по дороге, длинный, худой такой. В руках палка, за плечами мешок. «Вот какой смелый, — думает во сне Инженер Вошкин, — никого не боится, ни метели, ни волков». И закричал ему Инженер Вошкин: «Эй, Филька, стой!» Вот будто остановился Филька, взглянул по-доброму в глаза мальчонки и сказал: «А я дедушку Нефеда ищу, слепой который...» С тем Инженер Вошкин и проснулся.

VI

ПУТИ-ДОРОГИ

Так оно и есть. С длинной суковатой палкой Филька прытко шагал по большой дороге. За плечами мешок и две пары новых лаптей. Он весь в потоке грустных дум о пережитом, он рад внезапному освобождению от грязной, бесполезной жизни, он с верой в людей и в свои силы идет искать новую жизнь.

Воздух свеж, морозен. Под лаптями снег скрипит, лапти тоже отвечают своим нежным скрипом. Степь. Близок вечер. И ничего в степи не видно, только вешки понатыканы, да кой-где над хуторами плывут к небу дымовые хвостатые столбы. Заходящее солнце раскраснелось. Весь запад в туманном алом пламени. Молчаливое стадо галок пронеслось. На ходу Филька вспотел. Надо приналечь. До станции добрых десять верст. Его нагоняет рысистая подвода.

— Путем-дорогой!.. Садись, странный человек. Падай в сани, — кричит старик, немного похожий лицом на дедушку Нефеда.

Филька с благодушной улыбкой сел.

— Далеко ли путь правишь?..

— За счастьем, дедушка...

— Хм, за счастьем, — раздумчиво хмыкнул старик в седую бороду. — Счастье в нас, а не вокруг да около. Чего его искать...

Филька не понял, вопросительно хлопал глазами. А дед, дергая вожжи и причмокивая на кобылу, продолжал:

— Счастье только дуракам дается. Глупому счастье, а умному бог дал разум. Так-то, сыночек, так. А впрочем, ищи, только в чужое счастье не заезжай.

— Я товарища ищу. Парня. Месяца три, как он в эти края...

— Да как звать-то?

— Дизинтёр. В чайнухе, в городе, сказали, что он по этому тракту ушагал, а мне наказывал будто бы, чтоб я тоже шел до какой-то станицы, буфетчик-то забыл... Мокрушинская — не Мокрушинская... Не слыхал ли, дед?

Тот прищурился, ухмыльнулся и сказал:

— Дизинтёра, конечно, нету, а живет у меня Григорий Костычев, это верно.

— Да не он ли уж?! Лет под двадцать пять. Увалень такой, здоровый, — весь загорелся Филька.

— А кто ж его знает... Вот приедем, усмотришь самолично. Толстогубый, старательный, это верно.

— А не сказывал ли он, что со шпаной путался, что в городу под баржей жил?

Филька затаил дыханье, ждал. Дед крутнул головой, засмеялся и нахлобучил Фильке шапку на глаза:

— А вот не скажу...

— Скажи!

— А вот не скажу. И знаю, да не скажу...

— Врешь! Не знаешь, — стал брать на хитрость Филька.

— Ан, знаю, знаю, — постегивая кобылку, продолжал смеяться дед. — Вот и выходит, что не то счастье, о чем во сне бредишь, а то счастье, на чем сидишь да едешь... Теперича размысли, сдогадайся...

— Не сдогадаться мне... Скажи! Ну, скажи...

— Ничего я не знаю. Отстань.

Филька обиженно запыхтел, надулся; надежда померкла в нем.

Солнце село. На небе редкими одиночками стали появляться звезды. Снежная степь слегка заголубела. Взлягивая задними ногами, мутно прожелтел беляк. Дед по-мальчишески заухал, засвистал, загайкал. Заяц, поджав уши, улепетывал вовсю. А когда станица открыла стеклянные глаза огней, дед опять нахлобучил парнишке шапку и сказал:

— Ну, молодец, приехали. А зовут тебя Филькой...

Филька не сразу опомнился от радости. Он взглянул в бородатое лицо перхавшего смехом деда, закричал:

— Значит, Дизинтёр у тебя?.. Ой, дедушка, ой, милый!

— За дочерь мою сватается... Только нет, шалишь. В работниках он у меня. А ежели налогами прижмут... ну, тогда... доведется девку ему отдать. Да, брат Филька, да... Вылазь: приехали...

Дизинтёр выскочил в одной рубахе, — от него пар валил, — бросился выпрягать лошадь. Филька, с двумя парами новых лаптей за плечами, смирно стоял в сумраке возле палисада, улыбчиво следил за быстрым парнем, все еще не доверяя глазам своим. Он или не он?

— Кого привез, дядя Тимофей? — спросил парень старика.

— Фильку!

Тогда Дизинтёр швырнул на снег дугу и подскочил к радостно заплакавшему Фильке.

Пили чай. Дед в тепле оттаял, с бороды сразу слинял иней. Да он не дед, а просто дядя Тимофей, крепкий старый мужик, совсем непохожий на дедушку Нефеда. Дочери Тимофея — одна краше другой — Катя и Наташа, крупные, крепкие, румяные. Да не плоха и хозяйка: ласковая, улыбчивая, и силищи в ней — ого! Идет — изба дрожит. А Дизинтёр отъелся, словно кот. Рожа красная, круглая, еще маленько, и — уши пропадут. Ишь ты, белую бородку отпустил... Видать, живут очень справно — в достатке, в сытости.

В дороге путники назяблись, тепло сразу сморило их, вскоре завалились спать. Дизинтёр лег о бок

с Филькой, на овчинных пахучих шубах, на полу. Пошептались.

— Хозяин мой сектант называется, беспоповец, — нашептывал Дизинтёр в ухо Фильке.

— А я было в тюрьму угодил, — шептал Филька.— Амелька-то, понимаешь, ой-ой-ой...

Дизинтёр, вслушиваясь в речи парня, удивленно восклицал:

— Ой, господи! Что же это такое... Ой... Ну, может статься, это на пользу ему, замету в сердце оставит на всю жизнь, может — его спасенье в этом... Царство небесное женщине-то... Ой, сердяга...

Помолчав, повздыхав, Филька спросил:

— А я куда? Мне-то как же?

— Подумаем... Устроим... — сонно, не сразу откликнулся Дизинтёр. — Чего? Да, да... Устроим, мол... Эвот, верстах в трех, в бывшем поместье, скоро стройку станут делать, рабочих будут набирать... Пес их ведает, чего-то такое затевают... Да, да... это самое... Ты спишь?

— Когда?

— Чего «когда»?.. Спишь, мол?

— Нет, приехали... Чего?

— Ну, в таком разе спи.

По хате давно кувыркался, прыгал, падал с печи, взлетал к потолку многоголосый русский храп. Сдержанно, как бы стыдясь, похрапывали на кровати девушки; старуха храпела густо, весело, с прихлюпкой, с присвистом, а бородатый Тимофей на печке сначала пускал захрапку тонко, жалобно, в одну ноздрю, потом, захлебнувшись, на минуту умирал и вдруг раскатывался таким громоносным треском, что звенели в рамах стекла, шевелились горшки на печке, тараканы сыпались с потолка, со стен, и проснувшаяся старуха в испуге бормотала:

— Тимофей, Тимофей, ляг на бок... И как у тебя башка-то не разлетится в черепки?..

Утром, сдерживая слезы, Филька толково и не торопясь вновь пересказал за чаем Дизинтёру все, что случилось с ним и с Амелькой.

— Экая страсть, экая страсть, — стала креститься хозяйка и сразу же заругалась: — Его, паскуду, твоего Амельку, подлеца, расстрелять мало. Шкуру бы с него с живого снять, псам стравить!

— Полегче ты, — сказал Дизинтёр. — В жизни всякий спотыкается. А он ненароком. Ему этот грех камнем на сердце будет...

Хозяйка милостиво улыбнулась, тряхнула толстыми боками и, водя взором от Катерины к Дизинтёру, распевно, по-старинному проговорила:

— Ну, чисто наш начетчик, парень, ты. Кабы десятка два годков тебе прикинуть, прямой путь в начетчики. Ах, сатана! Ах, соблазнитель! Ты, Катерина, не слушай его... Он все врет. — И двойной подбородок ее затрясся в непонятном для Фильки смехе.

Дизинтёр заюлил глазами, Катерина отвернулась, смешливо фыркнула в ладонь. Хозяин дул на блюдце с горячим чаем, молча прел.

— Кто без попов, без священников живет, тот в ад идет. — И Дизинтёр, кольнув хозяина словами, положил на блюдечко медку.

— Кто в ад, а кто и на работу. — Хозяин перекувырнул вверх дном пустую чашку, сказал Дизинтёру: — Поторапливайся. У тебя от святости того и гляди рожа лопнет. Идем!

— Куда это? Опять хлеб перепрятывать? Смотри, допрячешься. Самого как бы не запрятали.

— Не стращай... Парнишка, и ты, может быть, подсобишь?

— С полным нашим удовольствием, — рыгнув, ответил Филька.

Мужчины ушли. Женщины засуетились по хозяйству. Наташа с Катей, как ткацкие челны, сновали взад-вперед во двор и в хату, таскали пойло скоту, кормили уток, кур. Хозяйка всю вкусную снедь со стола схоронила в потайной кладовке: мед, сметану, пшеничные рассыпчатые хлебы. А на стол, прикрыв сверху полотенцем, положила початую ковригу отвратительного хлеба, с отрубями, с картофельными, перемолотыми в муку, отбросами. Этот хлеб шел лишь

в корм свиньям. Но хитрая хозяйка клала его на самое видное место: ежели придут с досмотром, пусть подивуются, что жрут-едят даже крепкие крестьяне.

— ...Ох, господи!.. Когда же антихристовы времена-то переменятся?

VII

ЧАЙ ПЬЮТ СВОЕОБРАЗНО

Так вот каков он, этот знаменитый Ванька Граф.

Присмотревшись к своему заступнику, Амелька проникся к нему особым уважением.

По недостаточной своей житейской опытности Амелька видел в бандите лишь одни показные общечеловеческие стороны, которыми, с большой пользой для себя, так любил щеголять убийца. Амелька еще не знал, что этот прельстивший его громила весь обрызган кровью своих жертв и что задушить любого человека в угоду своей черной страсти — для него пустяк.

Ванька Граф — саженного роста, широкоплеч, сутул; полуплешивая голова его то втягивается в плечи, то выныривает, как у черепахи. Лицо — скуластое, багрово-красное, будто обварено кипятком, переносица приплюснута, нижняя выдвинутая челюсть покрыта рыжей редкой шерстью. Ноги — толстые, без перехвата, как столбы.

Под покровительством этого слона, слово которого для камеры закон, Амелька чувствовал себя в сфере безопасности.

Однажды, после переклички перед утренним чаем, Амелька заметил в углу о чем-то совещавшуюся группу мохнорылых шакалов. У них, как и у большинства заключенных, какие-то малокровные, ленивые движения и хмурые, голодные глаза. Шакалы шептались, перемигиваясь со шпаной, кивали в сторону одиноко сидевшего на скамейке коротконогого толстяка-растратчика в помятой синей визитке. У него отвислые нажеванные щеки — на жаргоне шпаны

«брыле»; круглая гладко выбритая голова, на мизинце перстень. Он здесь всего три дня.

К нему подходит враскачку белобрысый, щетинистый, как дикобраз, субъект в рваной рубахе. Тупоумно двигая бровями и сопя, он кладет тяжелую, в веснушках, руку на плечо брыластого толстенького человечка:

— Ну, фрайер[1], сегодня гони шамовку: надоело мне ждать, — говорит он сиплым, как у сифилитика, голосом.

Толстяк брезгливо сбросил его руку:

— Что вам надо?

— Ситный, говорю, гони. Папирос гони: ты вчера передачу получил.

— Никакого ситного я вам давать не обязан.

— А, стервец! Проиграл и платить не хочешь?.. — заскрипел зубами белобрысый дикобраз. — А ты знаешь, фрайер, что в тюрьме за неплатеж убивают?

Толстенький взволновался, схватил лежавший рядом с ним саквояж и закричал:

— Врешь! Нахально врешь! Когда я тебе проиграл ситный? Я сроду в карты не играл...

Шпана окружила их, со всех сторон сыпались советы:

— Дайте ему, дураку, двугривенный... Откупитесь от него, папаша.

— Охота связываться со шпаной...

— Изобьет еще...

Дикобраз сложил на груди руки, стал в позу и наморщил обезьяний лоб.

— Вот, братишки, заявляю: он не платит проигрыш... И мое право в доску измочалить его.

Толстячок-растратчик оскорбленно надул губы и, брызгая слюной, стал отгрызаться:

— Мне двугривенного не жалко... Но я из принципа!.. Понимаете?

Тут он, наскоро защурившись, мешком кувырнулся со скамейки: дикобраз ловко ошарашил его по шее.

---

[1] Фрайер — намеченная жертва.

И только занес руку, чтобы вновь ударить, как сам был схвачен Ванькой Графом.

— Нельзя так делать, — спокойно сказал Граф, — нельзя... В таких случаях можно брать только «на бас».

— А если «на бас» он не идет?.. — раздражался белобрысый дикобраз, вправляя в штаны выбившуюся рубаху.

— Все равно, все равно, — так же спокойно поучал его Ванька Граф. — В другом месте тебе за это кости поломают.

Побитый толстячок-растратчик, оглаживая шею, сытым боровком подкатился к Ваньке Графу, поймал его правую руку, признательно тряс ее и с отменной любезностью, расшаркиваясь и кланяясь, благодарно лепетал:

— Спасибо, дорогой товарищ, что вы... изволили...

— Молчи, гад... Не скули, — с презрением вырвал свою руку Ванька Граф.

Подали чай. Толстячок открыл свой саквояж. Не оказалось двух булок, сахару и папирос. Отвислые щеки его обидно задрожали.

Чай пьют своеобразно — в сущности, не чай, а кипяток. Несколько больших медных чайников, с длинными журавлиными шеями, стоят на асфальтовом полу. Возле них — жаждущая очередь с кружками, консервными коробками, котелками.

Ванька Граф, огромной своей фигурой занимая весь узкий край стола, пил из собственного граненого стакана крепкий, внакладку, чай. Возле него деревянный желтый чемоданчик, набитый снедью. Тут и баранки, и лимон, булки, сыр, колбаса. Он богат, силен, знатен, как и подобает «графу». Его вещи всегда лежат открыто, без запора. Всякий знает, что за воровство от Ваньки Графа — смерть.

Вдруг в уборной зашуршало. Из-за перегородки, не доходящей до пола на десять вершков, выставились в обмотках ноги. Это — незнакомый с правилами лишенцев новичок.

— Ша, ша, ша, — раздается со всех сторон предупреждающий шепот. Все за столом притихли, повер-

нули улыбавшиеся озорные лица в сторону уборной. С крутым кипятком в кружке крадется к уборной, как лисица к журавлю, какой-то остроносый прыщавый карапузик. Вся камера готова к взрыву жестокого издевательского хохота. Рука вихрастого звереныша занесена. Вот он сейчас плеснет кипятком в сидящего за перегородкой новичка. Ошпаренный завертится, заверезжит, как крыса в мышеловке.

— Ша, ша, ша...

И на всю камеру повелительный голос Ваньки Графа:

— Оставь, щенок! Что делаешь? Нельзя.

Из уборной высунулось лицо спасенного от пытки парня. Он вправлял в штаны рубаху, недоуменно глядел на всех.

— Эй, шкет! — позвал его Ванька Граф. — Выходи... Дурак! Который тебе год? Ни черта не знаешь...

И, как бы обращаясь ко всем, Ванька Граф, втягивая плешивую голову в плечи и вновь выбрасывая ее, стал читать шпане нравоучения:

— Зря кипятком обливать нельзя, раз не предупреждали. Так хулиганы только делают. А жулик — не хулиган... Жулик — человек с понятием, человек приличный, сами знаете... — Это в его устах прозвучало самоуверенно и гордо.

Многие жулики, злорадно улыбаясь, переглянулись. Толстяк с побитой шеей несдержанно фыркнул, но тотчас же испугался, покраснел.

— Ты, щенок, смотри, — насупив рыжие брови, пригрозил Ванька Граф вышедшему из уборной новичку, — когда за столом шамают, в уборной сидеть не полагается. Понял? А не то так ошпарят, — весь полиняешь, с башки до пяток.

«Эх, черт, сорвалось!» — шпана осталась очень недовольна. Сердито надулась на блюстителя тюремных нравов, молча глотала теплую водичку, чай.

В камеру вошел «культурник». Звать его: Денис. Молодой, высокий, черный, с монгольским скуластым лицом, он был уважаем всеми. Он — член культкомиссии, выбранный от камеры, где сидел Амелька.

— Товарищ Денис!.. Сюда! Мне! Нам!..

— Не шуми! К порядку! — взывает культурник. — Степан Лукин, Живчик, Чечетка, ваша очередь, получайте. — Он подает им три газеты, говорит: — Только, чур, не рвать. Когда камерой будут прочитаны, вернете в культкомиссию. Не вернете, сниму вас со списка.

— Письма есть?

— Есть... — Денис вынимает из кармана два распечатанных, прошедших обязательный просмотр, письма, вручает адресатам. Толстячок весь просиял: от жены письмо.

— У кого есть корреспонденция? Сдавайте! — кричит Денис, вставая на скамейку.

Человек пять бросаются от чайного стола к своим вещишкам, суют Денису незаклеенные письма и деньги на марки.

— Эй, гражданин культурник, — окликают его сразу в три голоса, — не слыхать ли чего про амнистию? Февральская революция скоро... Как в газетах?

И сразу вся камера замирает, не дышит, превращается в жадное сплошное ухо.

— Нет, амнистии не будет, — отвечает Денис.

Слышится многогрудный вздох; лица меркнут. Кто-то уныло сокрушается:

— Эх, свобода, свобода... Где ты?

Мечты о сокращении сроков, о свободе — тяжкая, неизлечимая болезнь каждого из заключенных.

— Кто на культработу? Айда за мной!

Восемь человек торопливо собираются. Денис идет к выходу. Его нагоняют Амелька и толстяк растратчик.

— Позвольте представиться, — говорит толстяк. — Я — Петр Иваныч Ухов, я мог бы быть полезен в драматической секции. Надеюсь, таковая есть?

— Есть, есть.

— Я мог бы режиссером или актером на амплуа комика.

— Ладно... Можно. Доложу начальству, — не глядя на него, небрежно бросает Денис. — А тебе что?

Лицо Амельки расплывается в улыбку; он закидывает руки назад, по привычке сплевывает и говорит просительно:

— Мне бы желательно тоже по части культурности...

— Чего ж ты желаешь? Рисовать или статьи писать, или, может быть, на сцену? Не горазд ли ты лекции читать по новейшей литературе?

Голос Дениса звучит иронически. Улыбка у Амельки шире, он с ноги на ногу мнется, говорит:

— Шибко плохо в грамоте маракую... Желательно...

— Тогда иди в ликбез... Читать умеешь?..

— Нет, — соврал Амелька. — Ни читать, ни писать...

— Ладно, можно, — записал Денис и пошел.

Его остановил в коридоре шустрый человек в темных очках, задушивший своего пасынка, пионера.

— Товарищ Денис, вот статейка и стишки...

— Куда? В журнал? В стенную?

— Хотелось бы в журнал.

— Ладно. Можно. Редакция рассмотрит.

По коридору, сопровождаемые «выводным» [1], шумно шагали толпы заключенных, переругивались, пересмеивались. Коридорные дежурные из лишенных свободы, здоровенные, как быки, громовым голосом кричали на толпу:

— Не бузи!.. Хряй проворней!.. Ша!

Внизу, во внутреннем дворе, заключенные разбивались на группы, делалась перекличка по спискам, проверка счетом, и группы, под руководством надзирателей, уводились на так называемые внешние работы: кто на лесопилку, кто на очистку дороги, кто на выгрузку. Большинство же разбредалось по мастерским дома заключения.

VIII

ВОЛШЕБНЫЕ ЯИЧКИ

Однажды перед ужином ждали вновь прибывающего этапа, а две большие партии здешних заключенных должны гулять отсюда в новое место заключения.

---

[1] Выводной — служащий внутренней охраны.

Соответствующие списки еще накануне были вывешены по камерам и коридорам. Из камеры, где сидел Амелька, уходили в другой город двенадцать человек.

Вечерний чай окончился. Полежать негде. На полу — строго воспрещается. Заключенные слонялись из угла в угол, играли в шашки, портняжили, резались по темным углам в карты.

Брезжили зимние сумерки. Свету еще не давали: должно быть, шалило электричество. Человек пять молодежи сидели за столом с книжками, бумагой, карандашами и нетерпеливо поглядывали на лампочку вверху — скоро ли загорится. Они работали по «культурной части»: один пишет пьесу, другой — очередную статью для стенной газеты, третий заполняет свой альбом «блатными» стихами.

Амелька одиноко торчал, как сыч, в уголке у печки. Сидя на скамейке, он вдвое перегнулся, обхватил руками колени и понурил голову. В камере холодно, и отвратительный был запах. Амелька ежился, думал, тосковал. Вспоминалось многое, грязное и светлое, голод и обжорство, собственная трусость, подлость и геройские подвиги на защиту человека. Да, да, думалось о многом. Но когда нить воспоминаний подводила его к последнему моменту жизни на свободе, Амелька хватался за сердце, охал. Призрак матери неспешно проплывал мимо него и быстро таял. Амелька вполголоса затягивал песню. Ничего не выходило. Бросал, сердито сплевывал.

Наискосок, с угла на угол, давным-давно размеренно шагает Ванька Граф. Шаги его грузны, взгляд растерянный. Губы что-то шепчут, как бы отсчитывая каждый шаг. Он, наверно, прошел уже верст пять, а все еще ходит, ходит. Амелька угадывает, что на душе Ваньки Графа тоже неблагополучно.

Как бы почувствовав следящий за ним Амелькин взгляд, Ванька Граф стал возле парня и спросил·

— Хочешь яичко съесть?

— А какое, крутое или всмятку?

— Жидкое.

— Жидкое я не уважаю...

— Хряй за мной, — через силу ухмыльнулся Ванька Граф и подвел его к стоявшей в углу, возле поднятой койки, большой своей корзине. Развязал, открыл, вынул яйцо.

— Принеси полстакана воды.

— Зачем?

— Не спорь.

Амелька принес. Ванька Граф осторожно расколупал булавкой скорлупу, все содержимое яйца вылил в стакан, разболтал карандашом и подал Амельке:

— Пей половину.

Амелька выпил, замотал головой, прикрякнул и с удивлением сказал:

— Водка!

— Эту передачу со спиртом приносит мне Надька, последняя маруха моя. — Он помолчал и спросил Амельку: — А ты за что влип? По какой статье? — Ванька Граф хотел спросить об этом Амельку при первой встрече, но нарочно оттянул вопрос: парень показался ему в то время больным и жалким.

Амелька подумал, вздохнул и отвернулся.

— Я, понимаешь, вожаком был под баржей... Ну и...

— Так, так... По мокрушке, что ли?

Амелька часто замигал, пофыркал носом и потупился.

Дали свет. Ванька Граф пододвинул ногой скамью:

— Садись. Хочешь еще волшебное яичко съесть?

Съели по другому. Спирт был крепок. Амелька сморщился, забодал головой и вытер губы.

— Ну, цыплята в яичках ничего себе, подходящие, — сказал он.

— Маруха моя, Надька, десяток этой гари прислала, — уныло проговорил Ванька Граф. — В них бутылка спирту. Газовать можно. Мне и писульки она присылает в папиросах, в мундштуках, а бритву «жилет» — в соленом огурце... Вообще, моя алюрка — жох! Например, вот в этой бумаге был завернут хлеб. — Ванька Граф порылся в корзине и вытащил кусок синей толстой бумаги. — На... можешь прочесть?

Амелька, напрягая зрение, тщетно водил носом по бумаге:

— Нет, ни хрена не вижу.

— А глазом и не усмотришь. Ты пощупай пальцем: булавкой наколы сделаны, буковки. И пишет мне Надька, что приятель мой Иван Не-спи третьего дня вышку получил... На луну отправили...

Амелька вздрогнул, схватил Ваньку Графа за руку.

— Иван Не-спи?! В расход выведен? Да ну?..

— А ты знавал его?

— Знал. Задрыга, душегуб...

— Врешь, врешь... Иван Не-спи — громила добрый...

— Тьфу! — свирепо плюнул Амелька.

— Чем же он тебя?.. Ну-ка...

Амелька не ответил. Он весь дрожал внутренним темным ликованьем: вот и хорошо, пусть будет казнь бандита местью за смерть Амелькиной матери. Осиновый в душу кол ему!

После ужина загустели шум, гвалт, перебранка. От темного угла, где дулись при огарке в карты, кричали:

— Грахв, грахв!... Эй, Ванька! Наматывай в «стирки» мылиться!

Но Ваньке Графу не до карт: взглянул туда, ни слова. Вино не развеселило его, грустил.

— А знаешь, кто мне съестное, сладости, табак приносит?

— Кто? — безучастно спросил Амелька.

— Мать... Да, мать родная.

Слово «мать» Ванька Граф произнес с такой любовью, с таким благоговением, что захмелевший Амелька, взглянув товарищу в глаза, удивленно откачнулся от него и просиял весь.

— Прислуга, прачка... Вот кто моя мать, — тихо, отрывисто говорил Ванька Граф.

Багрово-красное, неприятное лицо его, обрамленное на подбородке редкой рыжей шерстью, становилось скорбным, вдумчивым; низкий лоб бороздили морщины житейских волнений; приплюснутый нос жалостливо пофыркивал, потел.

— Да, мать, старуха. Во всем свете одна она прощала мне все мои преступления. Никогда не отворачивалась от меня, не корила... Только плакала, жалела меня... предупреждала об опасности... кормила. — Ванька Граф говорил медленно, с трудом, с внутренней болью. — Из последних сил тянула меня к учению. Не пошло впрок. Раз споткнулся. Снюхался с уркаганами. А как сбился с пути, заблудился... Не мог на дорогу выйти, на прямую. Затянуло болото, приключения, ухарство. Без дела стало тягостно. Хряешь по улицам, места не найдешь.

Голос Ваньки Графа сделался крепче, и сам он взбодрился чуть.

— Только при шухере оживаешь. На деле и после дела оживаешь. Жизнь расцветает. А потом засыплешься, поймают. Так вот и идет. Свобода, дело, кича, снова свобода, снова кича — тюрьма. Да, да. А мать... Эх, матка, матка!.. Страдает за меня, глаза от слез не просыхают, слепнет. А я не могу отстать. Понимаешь? Душа гниет. Варнак я, большой злодей...

Долго рассказывал про мать, про детство, про свои погромные дела. В его повествовании не было теперь мрачной хвастливости, которую он всегда проявлял в разговорах со своими, со шпаной. Теперь он говорил задушевно, просто, искренне, как бы рассуждая сам с собой в минуты горестного покаяния. Наконец, тяжело передохнув, спросил Амельку:

— А у тебя мать жива?

— Была жива. Недавно кончилась, — продрожал голосом Амелька.

С минуту помолчали. Амелька кряхтел.

— Ты мне люб. Хороший ты, — сказал Ванька Граф. — Сармаку хочешь?

— У меня маленько есть... Ну, дай.

Граф подал ему бумажку в три червонца.

— На тебе три червячка. Я сармаком не дорожу.

Амелька молча взял деньги, сунул в «квартиру», в карман штанов, завязал карман бечевкой.

— А вот нет ли у тебя «марафеты» понюшки две? — спросил он Ваньку Графа.

Тот испытующе посмотрел на него потемневшими серыми глазами, сказал:

— Брось, браток. Не дело это. Брось.

— Скучно очень. Тоскливо. Места не найду... — отвернулся Амелька, опустил голову и отер рукавом глаза.

По коридору зашагали люди; в камере шум и крик взыграли пуще:

— Этап, этап идет!!

Надзиратель в синей форме, — рыжие усы вразлет, у пояса наган, — входя в камеру, скомандовал:

— Приготовься на этап! Москва, Ростов-Дон, Кавказ! Соловьев, Миколадзе, Петров, Миронов, он же Копейкин, Морозов, Арбузиков, Мура-Хаджи-Оглы, Логинов, он же Степанов, он же Чуднов!..

И камера сразу — как разрытый муравейник. Приготовленья, сборы, проводы. Быстро, в пять минут. Со всех сторон, как град, просьбы писать, порученья, пожеланья, ругань:

— Желаем освободиться!

— Спасибо!

— Пишите!

— Копчику поклон!

— ...узнай... вследствие приговора...

— ...хабала...

— Дурак...

— Сволочи!..

Окрик, резкий свисток, и — шагом марш — але.

Оставшихся, в том числе и Ваньку Графа с Амелькой, временно переводят в другую, менее просторную камеру, с нарами вместо коек и с «парашей». А сюда втискивают свежую «блатную рать», пересылаемых этапным порядком новичков. Их много. Теснота, негде разместиться. Человек десять из них вселяют в новую камеру Амельки Все с гиком, с зуботычинами спешат занять нары.

Вскоре команда — спать. Мало-помалу наступает шершавая, в бреде, в стонах тишина.

Через окно голубоватым косяком падает на пол отблеск сильных электрических огней внутреннего дворика.

За окном — мороз и воля.

IX

ВАНЬКА ГРАФ УЗНАН

Ночью, в новой камере, подвыпивший Амелька несколько раз просыпался. Откроет глаза — спит или не спит — не знает. Возле него двое каких-то незнакомых молодцов. Амелька замычит, сплюнется. Молодцы быстро исчезают. Должно быть, сон. Под потолком мутнеет свет лампочки. Сумрак, похрапыванье, бред. Да, сон.

Сосед Амельки — неизвестный старикашка в трепаных штиблетах и с крестом на оголенной груди, ворочается, скребет бока, во сне ловит под рубахой паразитов. Амельке это противно, он чувствует укусы: то здесь, то там, но почесаться лень... Уснуть бы, забыться бы от жизни... И вновь открывает усталые глаза. Те же два парня, один — в клетчатой рубахе, другой — в синей старой блузе, оба беспоясые, быстро плывут мимо него скользящей, как привидения, походкой. Амелька поглядел им вслед и сразу же уснул.

Утром Амелька пробудился рано. Завязанный карман в штанах был вырезан, клеенчатый бумажник с деньгами исчез. Ванька Граф спал от Амельки на четвертом месте. Амелька не стал его будить, а подозвал старосту по камере — Федьку Оплетая.

— У меня ночью помыли деньги...

— Кто помыл? — деловито и строго спросил Федька Оплетай. У него отвратительное кривоглазое рябое лицо, заячья, надвое рассеченная, безусая губа. — Кто помыл?

— Вон те двое, — указал Амелька на лежавших у противоположной стены парней.

— А ты наверно знаешь, что они помыли? Понапрасну не сбреши. А то взбучку получишь.

— Они! Я ж видел, — зашумел Амелька. Почти вся камера проснулась (хотя звонка еще не давали), вслушивалась в разговор. — Они всю ночь матузились возле меня...

— А ты чего ж зевал? Что ж я поделаю? Твои деньги ведь не мечены.

— Слушай, — тихо позвал его Амелька, — подойди-ка... Я тебя как товарища прошу. Поговори с ними по-хорошему... Меня скоро в чужой город повезут. А деньги у меня последние. На воле никого нет у меня... Взять неоткуда... Поди поговори.

В это время кашлянул и потянулся на нарах Ванька Граф.

— Ну что ж, — сказал Федька Оплетай, мигая целым, напряженно вытаращенным глазом. — Поговорить, конечно, можно...

И те двое парней, в клетчатой рубахе и синей блузе, лежали рядом, усмехались, посматривая то на кривого старосту, то на ограбленного Амельку.

— Вот, ребята, — подошел к ним Федька Оплетай и заговорил громко, чтоб слушала вся камера. — Вы оба новенькие. На вас заявленье есть, будто вы «кожу с са́рой» помыли вон у него...

Оба парня, как ваньки-встаньки, сразу приподнялись на нарах и угрожающе крикнули Амельке:

— Мы?! — Голоса у них сиплые, головы встрепанные и какие-то бульдожьи, пучеглазые, похожие одно на другое, лица. — А ты видел, что мы помыли?

— Да, видел, — приподнялся и Амелька на локте. — Вы возле меня все трепались...

Тогда оба парня враз, перебивая друг друга, загалдели:

— Э-э, браток. Что ж, пройти мимо тебя нельзя?

— Если б видел, не отдал бы... Дурак!

— А теперь можно что хочешь петь...

Возле них образовалась толпа шпаны. Большинство новичков, прибывших вчера этапников.

— А вот за то, что перед всей камерой мараешь нас, — все еще лежа на нарах, крикнул через толпу парень в синей блузе, — так знай, молодец, это тебе даром не пройдет! Не-ет, браток, нет!..

В этот миг, медленно, слегка согнувшись, втянув голову в плечи и раздвигая, как таран, толпу, подошел к ним Ванька Граф.

— А ну, ребята, отдавайте са́ру, — холодным, спокойным голосом предложил он им.

Те на него, оба враз, друг другу вперебой:

— А ты чего, плешивый дурак, впутываешься в чужое дело?! В переплете не был?

— Тебя не тронули, ну и засохни!..

— Отдайте са́ру, — крепче сказал Ванька Граф.

Толпа сдвинулась плотнее. Звериное любопытство, сладострастное ожидание скандальчика засверкало у всех в мятых, не умытых еще, гноящихся глазах. Амелька побледнел. Он испугался за нового своего друга. А что, как эти чужаки всем стадом кинутся на Графа и убьют его?

— Отдайте добром са́ру. Это говорю я, Ванька Граф...

Тогда те двое, видя поддержку в толпе своих, стали бить неожиданного заступника обидными словцами:

— Граф... Эка невидаль — граф... А я вот — царь...

— А я — король!.. А может, и хуже...

И толпа угрожающе насмешливо взъярилась:

— Мы тоже валеты да князья. Много таких графов да баронов... Слон ты!.. Не твое дело, и не суйся... А то пятки к затылку подведем!

Глаза великана налились кровью. Он по-львиному шагнул к нарам, схватил за ногу сначала одного, потом другого парня и по очереди швырнул в угол. Он швырял их без натуги, с легкостью, как щенков за хвост.

Толпа еще не успела опомниться, а Ванька Граф, пиная ногой в бока, в зад, в морду валявшихся парней, хрипел:

— Убью!.. Гады... Отдайте деньги...

Толпа с рычаньем бросилась к нему:

— Не трог наших!! Ребята, бери на шарап! Катай его!

Граф резко обернулся к толпе, встал перед ней скалой и разинул свою львиную, страшную пасть:

— Ша!! Не подходи... Покалечу!.. — Он справа налево взмахнул кулаками, будто стальной косой, и народ, как трава, пластом повалился на пол. Кипящее настроение толпы сразу упало до нуля.

— Отдайте, отдайте деньги, — раздались торопливые выкрики шарахнувшейся кто куда шпаны. — Это верно, он — Ванька Граф... Мы его по Москве знаем. По Питеру... Он налетчик, он свой, «свой в доску».

Тогда парень в синей рубахе, с разбитым в кровь лицом, кинул Амелькин бумажник к ногам Ваньки Графа:

— На, подавись! Сказал бы по-хорошему... А то — нет... На драку лезет. Мы же здесь внове!..

Ванька Граф ушел.

Парень поднялся с полу, наскоро вытер рукавом окровавленное лицо, с ехидным презреньем по адресу ушедшего сказал толпе:

— Ха-ха! Налетчик, сволочь. Это ж идиот! Псих! Все налетчики идиоты, сплошная дурость. Стопорит человека: «Руки вверх!» — жизнью своей рискует, а ради чего? Да он и сам, дурак, не знает. Да, может, у фрайера всего три копейки в кармане. Тьфу! Идиот, вот кто ваш Ванька Граф.

Остывшая блатная шатия поддерживала пострадавшего вора таящимся смешком и хохотком, однако с опасением оглядываясь в сторону ушедшего верзилы.

— Налетчик... — с язвинкой, чтоб не обидеть вора, говорила толпа. — Тоже специальность. Всякий обормот может быть налетчиком. Ха! Трудное дело... Взял шпалер[1] в руки, вот тебе и налетчик.

Ванька Граф умывался в уголке. Его прохватывала нервная дрожь. Сплевывая, он бубнил соседу:

— Только руки о сукина сына опоганил... Карманник... Тьфу! Разве это человек? Тоже, подумаешь, занятие... У баб носовые платки таскать. Только дурак на это способен... Это не люди, а мразь!.. Да ни один уважающий себя налетчик сроду не унизится до того,

---

[1] Шпалер — револьвер.

чтоб пойти на воровство. А он, мерзавец, у своего же хотел «отначку» сделать.

Так кукушка и петух, утверждая обратный смысл басни Крылова, заглазно порочили друг друга.

По коридорам затренькали звонки. Пришла утренняя проверка.

X

ДЕЛУ — ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ — ЧАС

Сегодня погода скверная: мороз, метель. Лишенных свободы на внешнюю работу не погнали.

Амельку, согласно его просьбе, потребовали в «ликбез». Он неплохо умел читать-писать, но нарочно прикинулся безграмотным. Ну что ж... Поваляет дурака, потом, глядишь, проберется в культкомиссию, в актеры, либо как... ну, хоть сцену подметать. А там — два дня высидки считают за три. Вот и хорошо.

Ликбез — светлая теплая комната. Она ничуть не напоминает места заключения. И сидящие в ней чувствуют себя почти на воле. Парты учеников, стол и мягкое кресло преподавателя. По стенам таблицы с крупными буквами, географические карты, портреты вождей, соответствующие лозунги на красных кумачовых полотнищах: *«Безграмотный подобен слепцу»*. *«Мы — люди некультурные, мы — люди нищие, но это ничего, была бы охота учиться»*. В углу черная доска с мелками.

Преподаватель довольно необычайного вида, в опрятном пиджаке, в чистой, при галстуке, рубашке, штиблеты блестят. Русая остренькая бородка, бачки, волосы на прямой пробор. Он напоминает учителя словесности пансиона благородных девиц. Звать его: Степан Федорыч Игнатьев; вор-фармазонщик, рецидивист, с университетским образованием.

— Эй, как вас, Схимников! К доске...

Амелька, глуповато улыбаясь, идет вперевалку к доске, берет мел.

— Изобразите букву «А»...

— Печатную или писанную?

— То и другое...

— С полным удовольствием.

Амелька пишет нечто вроде буквы «Ж» и ряд каких-то бессмысленных каракулей, потом заявляет:

— Мы темные... Не можем.

— Сотрите, идите на место, — говорит преподаватель, пишет сам пять первых букв алфавита, приказывает младшей группе списывать в тетрадки по тридцать раз каждую букву и направляется к средней группе:

— Диктант! Приготовьтесь! Пишите: «Рабы не мы, мы не рабы. Рабы не мы, мы не рабы...»

Повторяя нараспев театральным тенорком эту фразу, франт-преподаватель расхаживает между партами, мечтает о предстоящем скором своем освобождении, о черных очах Шурки-цыганки, о воровском рейсе в Москву, где непочатый край всяческих возможностей.

— «Рабы не мы, мы не рабы...» Написали?

— Есть, гражданин преподаватель! — выбрасывает руку чья-то рыжая, облезлая голова в очках.

Остальные, от шестидесятилетних стариков до голоусых юношей, потея, царапают карандашами по бумаге.

Старшая группа с тяжким сопеньем, вздохами решает трудную задачу на сложение.

Клуб устроен в домовой церкви бывшего тюремного замка. Здесь кипит живая культурная работа дома заключения, вмещающего в своих стенах не одну сотню лишенных свободы. Средина церкви отведена под зрительный зал. На крыльях, хорах, в закоулочках — ряд комнаток специального назначения. Самая обширная — кабинет заведующего учебно-воспитательной частью. Ему непосредственно подчинены: культкомиссия, редколлегия и совещание воспитателей. Далее идут библиотечный совет с читальнями по отделениям и красными уголками, художественный совет с театром, в театре — спектакли, лекции,

концерты, киносеансы. Затем школьный совет с тремя школами. При культкомиссии же — совещание камерных уполномоченных, «культурников», по одному от камеры. А при совещании воспитателей — юридическое бюро, обслуживается юристом из заключенных.

При посредстве такого сложного аппарата делаются самые серьезные попытки переработать психику преступника, укрепить его волю, привить навыки полезной трудовой жизни, словом — из вредного, социально опасного человека создать полезного члена государственной семьи.

Театральный зал. Сейчас идет репетиция «Ревизора». Коротконогий толстяк, которому недавно и совершенно зря наклали по шее, обрел свою стихию. Он прекрасно играет Осипа. Участвующие покатываются со смеху. В перерыве, когда режиссер стучит палочкой на отдых, толстяк рассказывает:

— Однажды в Смоленске, на торжественном спектакле, в присутствии господина губернатора я вот так же играл Осипа. А накануне всю ночь провинтил в картишки. И можете себе представить, ложусь я на кровать, руки за голову. Открывается занавес, публика ждет от меня монолога, а я молчу. Можете себе представить — уснул как зарезанный, даже захрапел. И кто-то половой щеткой из-за кулис мне в рыло. Я вскочил, протер глаза. А в зале хохот. Его превосходительство встали и ушли... — Глазки толстяка покрылись масленым налетом; отвислые щеки дрожали от сдерживаемой улыбки.

— Ну-с, прошу! — крикнул режиссер. — По местам, по местам! Суфлер, подавай!.. Бобчинский и Добчинский, катитесь петушком... Сильней подчеркивайте классовое расслоение... Городничий! Елико возможно, впадай в кулацкий уклон. Еще раз напоминаю, что идеология Гоголя подмочена, имея в виду его переписку с друзьями. Поэтому всячески старайтесь в каждом жесте выпрямлять идеологическую линию... Итак... суфлер!

В зрительном зале в это время четверо парней малевали декорации. Засучив штаны и рукава, они ходили с длинными кистями и клали смелые мазки

на полотно. С хор кричал главный их руководитель, маляр по профессии, вор-домушник Митька Клеш:

— Клади гуще! Печку, печку гуще оттеняй! Для рустика — тонкую кисть. Куда ты, корова, макаешь в сурик?! Синькой надо! Протяни карниз белым. Тьфу, черт... Ударь по душнику! Блик, блик положи! Постой, испортил... — И сломя голову он с хоров несется вниз.

Одна из самых оживленных комнатенок — это помещение редколлегии, где фабрикуются журнальчик «Возрождение» и стенная газета «Волчок». Она вся в криках, в шорохе бумаги, в лязге работающих ножниц, в густой сизой завесе махорочного дыма: дым ест до слез глаза, мешает дышать, но литераторы-лишенцы этого не замечают. Самый молодой из них — редактор. Ему едва минуло двадцать лет. У него мужественное бледное лицо, длинные волосы. Голос у него громок, жесты широки, он похож на провинциального поэта. Звать его: товарищ Ровный. Совершенно одинокий, не знавший отца, брошенный поломойкой-матерью, он с малых лет путался в беспризорниках, потом стал на дорогу, поступил рабочим на завод, сделался комсомольцем. Но, не обладая твердой волей, подпал под влияние хулиганствующей шатии и был уличен в попытках добиться любви одной из девушек путем насилия. Все прошедшее кажется ему теперь, на расстоянии, каким-то туманным кошмаром. Он полон внутреннего раскаяния и заглаживает свою вину безупречной работой в доме заключения.

Пристукивая ладонью в стол, он глядит сквозь дымовую завесу в лукавые глаза маленького толстоголового человека, стоящего по ту сторону стола, и под шумный галдеж ведет с ним нажимистый, твердый разговор.

— Я на вас, дорогой товарищ, — говорит он, — в большой обиде.

— А чем же я вас, товарищ, затронул? — лукавя глазами, спрашивает толстоголовый, и взнузданный рот его кривится серпиком, концами вверх.

— А кто заметку обещал и не пишет? Кто сознательного из себя корчит, а между прочим только и знай, что в домино дуется? Это вы, товарищ дорогой.

— А где тема? — улыбчиво вопрошает лукавый. — Искал, искал, найти не могу. Не все же писать, что из книг игральные карты делают, а от мата на ушах мозоли нарастают... Надоело.

— Как, тем нет? — И редактор запускает в свои длинные волосы измаранные в клейстере и чернилах пальцы. — Да я вам, товарищ Джим, сразу десяток тем найду. Например, какой момент сейчас переживает СССР?..

Джим отступил на маленький шажок и крикнул, ударив себя в сердце:

— Товарищ редактор! Вы, видно, за мальчика меня считаете? Я, может, сам кровь на гражданских фронтах проливал... Не все же я в исправдомах сидел. А...

— Успокойтесь, успокойтесь! — старался перекричать его редактор, стуча ладонью по столешнице. — Значит, вы согласны, что теперь требуется наибольшая выдержанность, спайка с пролетариатом? А кто является вождем революции во всем мире?

— Большевики. Ясно.

— А кто является рупором революции?

— Советская печать.

— А много ли наш дом заключения выписывает газет? На семьсот человек мы выписываем двадцать газет всего. По две газеты на камеру... Позор!

— Я вас понял, — сказал Джим. — Дайте, товарищ Ровный, лист бумаги. Через час фельетон будет готов.

Тренькает звонок внутреннего телефона.

— Ало, ало!.. Да, да, редактор. Это стеклография? Сейчас... — И, обращаясь в дым, кричит: — Самоглотов! Мишка!..

— Есть Мишка! Чего тебе?

— Сколько полос в газете?

— Двенадцать...

— Ало! Слушаете?.. Двенадцать полос... А журнал готов? Сто экземпляров... Я сейчас приду.

И еще крики:

— У кого гуммиарабик?!

— Ищи!..

— Что вы, черти, с булкой, что ли, сожрали его?..

— Тише, тише! Ша!.. Товарищ Махнев, читай...

Юркий, черненький, сухолицый поэт чахоточно откашлялся и заскрипел сверчком:

СОВЕТСКИЙ ИСПРАВДОМ

Не так давно то время было,
Читал про наш я исправдом,
Но скоро мне судьба сулила
Изведать все порядки в нем.
Там гражданин, лишась свободы,
Найдет себе любимый труд,
Забудет прошлые невзгоды,
Найдет, где сердцем отдохнуть.
Не то, что было при царизме:
Никто не носит кандалов.
Здесь выпускают для отчизны
Уже исправленных сынов.
Ни разу жалеть не приходилось,
Что в исправдоме нахожусь,
Но даже рад, что так случилось:
Я здесь с любовию тружусь!!

— Глупо!.. Неосновательно, — кто-то прервал его из дымовой завесы. — Ты прямо-таки заманиваешь граждан в исправдом: пожалуйте, мол, у нас много лучше, чем на воле. Где идеология, где смысл? Надо больше соли, самокритики... Да и рифма... Нет, не пойдет...

— Товарищи! Прекратите куренье!.. Откройте окно и — на пять минут в зал...

Из морозной мглы хлынул поток свежего воздуха. Выводной отпер дверь, и под его надзором лишенцы-литераторы все вышли из коптилки в зрительный зал, где работают актеры.

Репетиция не клеится. Режиссер, товарищ Полумясов, желчный, морщинистый, с черными накрашенными усами, отбывает наказание за службу в царской охранке. Он в свое время немало играл в любительских губернских спектаклях, человек опытный, требовательный, нервный. А тут, как на грех, пожелал

участвовать в спектакле сам помощник начальника дома, артист никудышный, неповоротливый, как книжный шкаф, и торопливый в слове. Он играл Тяпкина-Ляпкина, судью.

— Не так, гражданин начальник, не так, — обрывал его вспотевший длинноногий, как страус, Полумясов. — Я ведь вам говорил, что при словах: «Да, нехорошее дело заварилось», — вы должны перейти сюда, на авансцену. И, ради бога, не показывайте спину публике.

Начальник кой-как поправлялся. Но режиссер опять учил его:

— Больше жизни! Что вы делаете с руками?..

Начальник дулся, но старался сдерживаться. Наконец нервы режиссера лопнули, он закричал начальнику:

— Да повернитесь же к публике лицом, а не задом! Не глотайте слов. Говорите раздельно!.. Ведь это же не игра, а черт знает что...

Начальник побагровел:

— Кто я здесь?! А хочешь в одиночку! — Он плюнул в левую кулису, нахлобучил фуражку и ушел.

Сделалось тихо. Бледный режиссер трясся, нервно отгрызал кусочки спички и выплевывал. Редколлегия, толкаясь и посмеиваясь, повалила в освежившуюся комнату.

Тут жена гоголевского городничего, Анна Андреевна (лишенка женского отделения Колечкина), подошла к дочери своей, Марье Антоновне (лишенке Зонтиковой), и спросила ее:

— На каком таком основании ты распространяешь гнусную сплетню, что будто бы я пишу любовные записочки хлеборезу Митьке?

— Ничего подобного... Знать не знаю, — затрясла кудерышками Марья Антоновна, городничего дочка. — А что касаемо Митьки твоего, то он известный подлец, и я плевать на него хочу...

— Ах ты стерва! — крикнула городничиха.

— От стервы слышу!

Обе артистки обменялись звонкими, наотмашь, пощечинами и яро вцепились в прически.

— Остынь, остынь! — крикнул выводной. — Марш по камерам!

Репетиция закончилась. Выводной погнал артистов по местам.

Вечером все уладилось. Тяпкин-Ляпкин ласково вел режиссера под руку, говорил ему:

— Брось, друг... Не сердись. Ты, брат, хоть и режиссер, да заключенный... А я все-таки начальник...

— Да я, гражданин начальник, и не думал вас обижать...

— Ну, ну... Было да прошло... Идем.

В освещенном зале вновь собралась вся труппа. Репетиция на этот раз проходила дружно. Тяпкин-Ляпкин подтянулся. Анна Андреевна с Марьей Антоновной тоже помирились: о злодее Митьке-хлеборезе ни гугу.

XI

ИГРА С СУДЬБОЙ

Так истекали суровые дни и ночи. При исправдоме имелось несколько мастерских, где значительная часть заключенных работала по специальности. Опытным мастерам засчитывалось тридцать процентов нормальной платы, подмастерьям — меньше, все же остальное обращалось на улучшение производства и в пользу исправительного дома.

Амелька пристроился в портняжной мастерской, проработал дня три — нет, несподручно: пыльно, душно, не по натуре. Даже мастер-старик сказал ему: «По этой части тебе, браток, не дадено». Пробовал в сапожную — там еще хуже. Стал проситься в картонажную. — Нет, нельзя. — «Почему?» — Там женщины. — «Вот и хорошо!» — воскликнул Амелька... Он спец по любовной части, он давно перемигивается из окна в окно с какой-то белобрысенькой мамзелькой, тоже лишенной воли. Наконец попал в столярную, да так в ней и остался. Сначала приобвык пилить из байдаку бруски, потом выучился стругать их по рейсмусу, под угольник шерхебелем,

рубанком и фуганком. Затем постиг соединение брусков простым гнездом, ласточкиным хвостом и замком Кильсона. А вскоре перешел и на штучные работы. Словом, он стал заправским столяром.

Вечерами он усердно посещал школу, был переведен в старшую группу и с жадностью, с каким-то исступлением стал пожирать одну за другой книги. То, что он узнал в них, открывало ему глаза на жизнь, на взаимоотношения людей, на мир доселе неведомых Амельке тайн природы. Ему как-то попалась популярная астрономия Фламмариона. Три ночи читал, не отрываясь. Целую неделю ходил в приподнятом, опьяненном настроении. Так вот где «марафет», вот где настоящий кокаин для ожившей мысли! Из мудрой книги, конечно, он понял мало, но то, что оказалось доступным его тяжелому уму, поразило его и потрясло. Луна, шар земной, солнце, звезды, Млечный Путь... Нет, нет, с ума сойдешь!.. Надо поговорить с каким-нибудь мозговатым человеком. И... наверно, его мать Настасья Куприяновна живет теперь во всем довольстве, во всей радости вон на той звезде.

Самочувствие Амельки улучшалось, воспоминание о том, осиротившем его, дне постепенно сглаживалось, уступая место бодрым мыслям. Да, умная книга — все.

Подули ветры. Крылатый буран, весь в метелях, в вихрях, гулял по степи из края в край.

Филька с Дизинтёром подымались до свету, ели простоквашу с толчеными ржаными сухарями, с вареной картошкой и сквозь буран шагали в бывшее барское поместье, версты за три. Дизинтёр — первой руки плотник, он с артелью рубил десятисаженный сруб. Таких срубов надо к весне сделать пять. Говорят, в них будут мастерские, а для кого, — Дизинтёр не интересовался.

Филька скоблил скобелем бревна, обтесывал по черте кромки досок, — он был плотником второй руки и получал рубль двадцать в день.

Старый Тимофей, сектант, в работнике больше не нуждался. Хотя его и сильно поприжали налогами — кулак, батрака имеет, — он кряхтел, шептался со старухой, но за Дизинтёра, крещенного по-православному, с попом, выдать Катерину упорствовал.

А Катя, пожалуй бы, непрочь.

Словом, рассчитал Дизинтёра, однако взял его с Филькой на хлеба, по пятнадцати целковых в месяц с человека.

В этой сытости Филька возмужал, окреп; он выглядел восемнадцатилетним парнем. Эх, хорошо бы ожениться на Наташе, да по-настоящему на землю сесть... Вот прекрасно бы! И где-то теперь обретаются Амелька, да прочие ребята, да Вошкин Инженер? Эвот, эвот как буран крутит, как в трубе ветер завывает... Жалкие, горькие бездомники...

Но Инженер Вошкин через раму зеркального стекла смотрел на бушующий буран с огромным любопытством. Теперь ему буран — одна забава. Щеки его округлились, вычесанный, чистый, в опрятном костюме, в валенках.

«Вот так чудеса, — размышлял он, — до чего в дому тепло... Под баржей хуже».

— Марколавна! Почему Филька с Амелькой не отвечают мне? Месяц прошел.

Та улыбается и говорит:

— Ответят.

Инженер Вошкин у себя в углу изобретает из картона, проволоки, жести крылатую птицу — «Блерио». Но малыши зовут ее попросту «летяга». Ему дали рваную простыню: он на ночь угол с машиной завешивает; на простыне большой предостерегающий ярлык: «Внимание! Прошу не трожить! Молчать, пока зубы торчать!» Однако даже самые хулиганствующие из малышей проникнуты к Инженеру Вошкину уважением. Его уважает даже Марколавна, даже студент-технолог Емельян Кузьмич, преподаватель математики.

Емельян Кузьмич — юноша престарелый, но в высшей степени талантливый. У него, как у царского

кучера, во всю грудь рыжая вьющаяся бородища и плешь в небольшое блюдце. Он в студентах числится пятнадцать лет, а всего ему тридцать пять. Он думает, что, несмотря на свою талантливость, так и умрет студентом: он неделю в институте, три — на заработках: у него на руках мать с отцом и две сестры-девицы, привыкшие по два раза в год абортиться; словом — кругом расход, «бамбук-дело».

Будучи талантливым, он сразу же узрел талант и в Инженере Вошкине: под его руководством мальчишка приступает теперь к устройству модели подводной лодки по Жюль Верну, а вскоре будет делать настоящий миниатюрный паровоз, чтоб свистел, пыхтел, пары пускал. Натуры престарелого юноши и головастого парнишки — кровная родня. Поэтому Емельян Кузьмич не меньше Инженера Вошкина увлекается всякими его затеями. Однако, кроме полезных, но пустых затей, Инженер Вошкин, на удивленье всем, легко осиливает не по возрасту трудные премудрости: неплохо знает десятичные и простые дроби, кое-что из геометрии и, главное, в шахматной игре всем загибает «шах и мат». Даже одноглазому повару. У того Инженер Вошкин выигрывает в долг на запись пирожок за пирожком. Каждый вечер, каждый вечер! Повару казенных пирожков не жаль, но сраму стыдно. С горя запил, побил в кухне посуду, посадил в кадку с водой стряпуху, выбросил за окошко самовар и хотел предать смертной казни через повешение бесхвостого кота Епишку, того самого, что Инженер Вошкин обучал плавательному спорту. За все это повар был с позором, со штрафом выгнан.

Емельян Кузьмич частенько говорит Инженеру Вошкину:

— Поверь, малыш, из тебя будет прок. Сначала на рабфак, потом на инженера.

— Наверно не знаю, но, вероятно, навряд ли... А впрочем, да! — бросает парнишка любимую остроту и по старой привычке бахвальным жестом хочет покрутить усы. Но здесь не баржа — носить усы не разрешают.

Марколавна в учительской с глазу на глаз внушает Емельяну Кузьмичу:

— Вы совершенно напрасно развиваете в мальчишке самомнение. Это не педагогично. Он от рук отбиваться стал. Устраивает пакости, дерзит.

— Ерунда, — отмахнулся Емельян Кузьмич и, забрав в рот бороду, немножко пожевал ее. — Мальчишка великолепный... А вы вечно рю-рю-рю...

Но Марколавна по-своему права.

Однажды вечером она вышла из своей комнаты, забыв запереть ее. Этим воспользовался Инженер Вошкин. Он откуда-то вынырнул, как вьюн, привстал на цыпочки, потянулся к дверной ручке, прибитой ради предосторожности на изрядной высоте. Дотянуться-то он дотянулся, а повернуть крепкую ручку по малому его росту силенки не хватало.

— Ваня Шест, — обратился он к пробегавшему великовозрастнику, — открой мне дверь: Марколавна послала меня за хиной. Вот так, спасибо. Ну, теперь захлопни меня там.

В комнате темно. Инженер Вошкин зажег электричество, достал из печки стопку блинов на сковородке, из буфета — ножик, вилку и тарелку, забрался за ширму к ночному перед кроватью столику и, не торопясь, поддевая блины вилкой, разрезая ножом, стал со вкусом кушать. Очень хорошие блины, масленые, — таких ребятам не дают. Да и вообще блинами здесь не угощают.

— Пятый, — считал он. — Шестой... Ого! Поджаристый, хрустит... Сейчас изобрету десятый! — От наслажденья он зажмурился, съел и десятый блин.

На двенадцатом блине вошла в комнату Марколавна. Инженер Вошкин притаился. В животе со страху забурлило. Она удивленно прищурилась на горящую лампочку: «Как же так?» — принюхалась к блинному запаху, — слюна прошибла, минут через двадцать аппетитнейшим образом поужинает, — взяла с комода какую-то брошюрку, загасила свет и вышла. Инженер Вошкин неторопливо вылез из-за ширмы, вновь зажег электричество, расстегнул на штанах пуговку и стал доедать блины. Покончив

с ними, он пустую сковородку опять водрузил в печку, тарелку, ножик с вилкой тщательно облизал, сунул в буфет, загасил свет, привстал на стул, открыл дверь и, сытно рыгая, пошел загонять в подводную лодку шурупы.

— Шестнадцать блинов забодал, как одну копейку, — тяжко пыхтя, говорил он самому себе. — Фу ты, фу ты, ножки гнуты... Ох! И максимум и минимум сожрал. Все в порядке.

Марколавне блины — первая отрада. Нарочно пообедала впроголодь, чтоб оставить в желудке некоторое пространство для услады. Она — старая дева, а сегодня как раз память друга ее юности, который помер семнадцать лет тому назад. Печь натоплена хорошо, в комнате жарко. Марколавна разделась до рубашки, заплела косичку, всунула ноги в туфли-шлепанцы, заперлась на ключ, — жизнь трудового дня закончилась, дом спит, — накрыла стол на два куверта — себе и усопшему жениху-супругу и помолодевшей походкой подскочила к печке. Пустая сковородка ввергла ее в изумление, печаль и ярость. Марколавна легла на кровать, заплакала. Утром она долго соображала — говорить заведующему домом или нет. Однако сказала.

— А у вас блины не из казенной муки?

— Что вы, что вы!

Выстроили всех ребят в круг в рекреационном зале.

Заведующий, мешковатый сухощавый человек в очках, встал в центре круга, понюхал горбатым носом воздух, крикнул:

— Какая из вас каналья зашел вчера вечером в комнату уважаемой Марии Николаевны и сожрал ее собственные блины?! Признавайся, пока не поздно! Иначе, иначе...

— А что — иначе? — спросил Инженер Вошкин и выступил вперед. Он со вчерашнего дня пополнел и вырос. — Блины не сожрал, а скушал я... Ну, что ты мне сделаешь?

Заведующий, Нил Нилыч Угрюмов, из штатских надзирателей бывшего епархиального училища, ра-

зинул рот. Вихры на его голове встопорщились. Он взмахнул длинными рукавами старенького сюртука, затопал, забрызгал слюною, завопил:

— Да ты мне!.. Да я тебя!.. А-а-а-а...

— Иди на фиг, — спокойно сказал Инженер Вошкин, заложил руки на спину и стал на свое место.

— Милый малютка, — пришла на помощь нервному заведующему Марколавна, — твой поступок — нехороший поступок. Ты это должен признать... Ты умный мальчик. — И, вспомнив о блинах, о женихе, о прошедшей молодости, воспитательница горестно приложила платок к глазам.

— Вот именно! Вот именно... Паршивец! — тыкал заведующий перстом в мальчонку.

— А что ж такое, раз я уважаю блины, — заносчиво отставив ногу, философствовал Инженер Вошкин. — Может быть, Марколавна тоже уважает блины, да не так, как я. А почему ж это ей можно, а мне нельзя, раз все равны?

— Правильно! — закричали осмелевшие ребята.— Давай блинов! Мы все желаем блинов!

— Ша! — оборвал заведующий начинавшийся ребячий бунт. — Не ваше дело... молчать! А твой поступок будет предметом обсуждения на педагогическом совете... Можете расходиться по классам. Вошкин на неделю без прогулки, на воскресенье без сладкого... И, вероятно, педагогический совет вышибет его вон.

— На фиг...— сказал Инженер Вошкин. — Наплевать. Вопрос исперчен, — повернулся и пошел к себе.

В тот же день педагогический совет, в составе заведующего и пяти воспитателей, после трехчасового бурного заседания, вынес постановление, по которому воспитанник Вошкин из этого детдома изгоняется и переводится в исправительный детдом. Но, принимая во внимание чистосердечное раскаяние и выдающиеся его способности к учению, он оставляется на старом месте и поступает на внимательнейшее попечение педагогического персонала.

Ребятишки в этот день занимались плохо, дерзили воспитателям, шушукались, сбивались в кружки.

Инженер Вошкин чувствовал себя скверно: после вчерашних блинов он наелся снегу. Болела голова. Скучал живот, тошнило. Он захварывал.

Вечером, после ужина, от которого он отказался, его пригласили на совет. Глаза мальчонки лихорадочно горели, во рту пересохло, спину сводил озноб.

— Стой на месте! Руки по швам, — селезнем проквакал заведующий домом.

Инженер Вошкин повиновался.

— Слушай внимательно. Педагогический совет постановил выгнать тебя вон и перевести в исправительный детдом. Но, принимая во внимание...

— Выгоняй! Гони под баржу!! — внезапно вспыхнув, затопал, закричал мальчонка. — Не хочу быть с вашими красивыми!.. Гони под баржу!! — Он сорвал с себя куртку, сорвал рубаху, бросил. — Получай свои шкурки!.. Довольно! — Через пять секунд он сидел на полу совершенно голый, разувался. — На, старая крыса, сапоги, на!!

Пораженный заведующий спешно протирал очки, щурился на взбесившегося мальчика, визжал:

— Дурак! Ведь тебя оставляют здесь. Свиненыш... Слушай постановление... — Он взял бумажку и, подняв прокуренный палец, загнусил: — «Но, принимая во внимание...»

Тут голый Инженер Вошкин, загорелый и брюхатенький, вскочил с полу, метко швырнул в педагога сапогом:

— Гад!..

Схватил другой сапог, швырнул в пространство, схватил тяжелый графин и в исступлении замахнулся. Заведующий нырнул под стол. Марколавна, поймав парнишку сзади, целовала его в голову, в грудь, в спину и рыдающим голосом твердила:

— Голубчик, миленький, успокойся.

Инженер Вошкин царапал ей лицо, кусал руки, извивался, как налим на остроге:

— В Крым!.. Под баржу!.. Прочь, гады!!

Очнувшийся заведующий, перекосив желтое лицо, прыгнул к мальчонке и, шипя, как сто гусей, стал

щипать его, рвать уши. Но Емельян Кузьмич, опрокидывая стулья, зверем насел на заведующего сзади.

— Не потерплю самоуправства! Не потерплю! Это не педагогично, — бешено тряс престарелый юноша бородой и кулаками.

Инженер Вошкин сидел на полу; он закрыл лицо руками и тихо плакал. Возле него, припав на корточки, истерически повизгивая, рыдала Марколавна.

Инженер Вошкин слег. Ночью температура резко поднялась. Бредил.

На следующий день прибыла особая комиссия. Заведующий был немедленно уволен. Мария Николаевна получила замечание. Детям предложено избрать поклассно старост и образовать свой комитет. Явился новый, только что окончивший курс педагогического института, заведующий домом, Иван Петрович Петров. Порядок водворен. Дети подтянулись.

Но Инженер Вошкин умирал. Доктор небрежно, бегло осмотрел его, разузнал причину болезни, велел класть на голову больного пузырь со льдом; уходя, холодно сказал:

— Нервная горячка. Не вынесет. Одним меньше.

Больной четверо суток метался в жару без памяти. На него со всех сторон ползли змеи, жабы, плескалось море; по морю, как корабль, кит плыл, на ките — Майский Цветок сидит: в одной руке у нее арбуз, в другой — письмо от Дизинтёра.

— Амелька! Филька! Дизинтёр! — вскакивает он и, не открывая сонных глаз, со всех сил колотит в стену кулаками.

Марколавна с Емельяном Кузьмичом просиживали возле него дни и ночи. Емельян Кузьмич с горя, что мальчонка умирает, попивать стал.

Как-то Инженер Вошкин открыл провалившиеся глаза, спросил учителя:

— Ты — Амелька?

— Да, Амелька, — хмельным голосом ответил тот. — Хотя, вернее, я Емельян Кузьмич. Ну, как?

Легче, что ли? Эх ты, беспризорничек бывший... А я теперешний... Плохо мне, братишка, плохо. Кругом бегом... Дело мое — бамбук.

— Ничего, уедем, Рыба-кит... — шепчет болящий, и глаза его смежаются.

А Марколавна, когда сидела возле него одна, не могла оторвать от его лица взгляда, жарко шептала ему, сонному:

— Милый, хороший мой... Сынишка мой... Володечка.

Воспоминания юности наседают на нее и при мерцании луны представляются ей выпукло и ясно. Ушедшие сроки приблизились вплотную: она смотрела в прошлое, как в настоящий день. Вот жениха ее забирают на японскую войну; она бросает родительский богатый дом, едет с милым, становится его женой. Он убит. Она, едва добравшись до сибирского села, родит сына, остается в селе учительствовать. И вот на десятом году жизни ее сын Владимир умирает.

Марколавна всхлипывает. Инженер Вошкин открывает безумные глаза, хрипит: «Пить», — и вновь теряет сознание.

На шестые сутки, перед утром, когда прощальная луна одевала голубым сияньем морозные узоры на окне, болящий сбросил с головы ледяной мешок, приподнялся на кровати, сказал Емельяну Кузьмичу:

— Кажись, помираю... Изобрел... — лег и тихо вытянулся.

XII

ЗАБАВА. ВПРАВО-ВЛЕВО

Этап ушел. Амельку с Ванькой Графом и прочими старожилами опять перевели в прежнюю камеру, уплотнив ее новичками. Было тесновато. Пятеро спали на столе.

Сегодня день отдыха. Назначены перевыборы культкомиссии на шестимесячный срок. Общее собрание прошло вяло. Из всей массы заключенных явились восемьдесят два. Интеллигенция отсутствовала.

Вывешено постановление об организации курсов профессионального обучения, скорейшем переизбрании кружка камерных корреспондентов, выписке для камер газет, пополнении библиотеки современной беллетристикой, об организации товарищеского суда и спортивного кружка с занятиями на открытом воздухе.

Амелькина камера переизбрала в культурники Дениса. В благодарность за доверие он обещал сегодня же после ужина устроить вечер самодеятельности.

Действительно, не успели еще убрать посуду, в камеру вошел высокий, с монгольским желтым лицом, Денис:

— Товарищи, по местам! Спустите койки! Садитесь на койки! Вечер самодеятельного искусства объявляется открытым. Таланты, выходи!

Все переглядывались, с напускной застенчивостью пофыркивали в горсть. Никто не шел.

— Неужели у вас нет самобытных талантов? Странно! — ухмыльнулся Денис калмыцкими глазами.

— Как нет талантов? Таланты завсегда есть! Дай срок лапти обуть, — послышался из темного угла смешливый, располагающий к веселью голос. — Частушки можно ежели?

— Вали, вали!.. Просим!.. — закричала, захлопала в ладоши камера.

Вдруг на середину выскочил с балалайкой узкоплечий, с бульдожьей рожей, веселый лишенец Петька Маз. Он ударил по лаптям ладонями; крутнулся вприсядку и, затренькав на трех струнах, загнусил:

Трынцы-брынцы — балалайка, трынцы-брынцы — поиграй-ка,
Трынцы-брынцы — не хочу! Трынцы-брынцы — заплачу!

Говорят, что в исправдоме
Стены затрещали
Оттого, что заключенных
Множество нагнали!..

Камера дружно, злобно засмеялась. Польщенный певец вновь пустился в пляс, ударяя себя по лаптям:

В исправдоме женщины
Начинают драться!
Ежли их не поцелуешь,
Будут обижаться!

При слове женщины — у всех, даже у стариков, блеснул огонь в глазах. Амелька защурился, крикнул: «Ух ты, бабы!» — и потянулся, словно кот.

Следующие номера программы: мастерская игра на гармошке, старинные разбойничьи песни на три голоса, чтение своих стихов.

Потом сам Денис, перестав быть Денисом, вдруг превратился в заправского китайца и неподражаемо закричал на китайском жаргоне:

— А вот, тувариши, покус... Шибака шанкó... Вот, тувариши, тудой-сюдой сыматли... Денга, шангó денга есть?.. Сыматли!.. Тудой-сюдой, нету денга!..

Он проделал несколько ловких фокусов с деньгами, с шариками, с мышью. Он бросил три шарика в воздух, они исчезли: один оказался в кармане у толстяка, другой — за шиворотом у Ваньки Графа, третий — в руке удивленного Амельки. Затем шли опыты гипноза. Их проделывал медицинский фельдшер, спровадивший на тот свет двух женщин через грязно сделанный аборт. Затем, под громкий смех аудитории, толстяк-актер искусно прочел на память юмористический рассказ Зощенко «Аристократка». И вечер самодеятельности закрылся.

Под шумок, в уголке, при свете сального огарка, бородатый старик в холщовых казенных штанах и рубахе, сгорбившись на ящике, клеил из газет игральные карты «стирки». Звали его: Сережа Стирошник. Он склеил их, настриг и высушил еще вчера, а вот теперь через трафаретку изображает черной краской цифры. Туз — 1, король — 2, дама — 3, валет — 4 и т. д. Стирки имеют огромный сбыт. Сережа Стирошник зарабатывает прилично: он сыт и пьян.

Вскоре прошла по камерам проверка. А через четверть часа пудовый колокол тремя резкими ударами возвестил всему исправдому, что проверка сошлась, побегов нет, время ложиться на покой.

Денис улегся и, кажется, успел уснуть. Завалились на койки и остальные.

Но таланты не желают спать:

— Братва! Садись... заводи игру... Ванька Граф! Чечетка, Маз!

Человек семь усаживаются в укромное местечко, на выступ уборной, чтоб не видала стража, зажигают огарок и начинают метать карты вправо-влево, в стосс, в «буру». Среди картежников — Панька Чечетка. Шея у него длинная, хрящеватая, с бегающим вверх-вниз кадыком. Голова от ушей сплюснута, словно ее прихлопнули в воротах; белесые глаза расставлены широко, загнаны, как у зайца, под виски. Он без устали все время, даже и во сне, выбивает ногами чечетку. Всем страшно надоел. Вот и теперь, сдает карты, выбрякивает каблуками и носками дробь. И кажется со стороны, что вся его воля, мысли, думы, вся духовная жизнь не в голове, а в пятках.

— Рой, братва!..

— Сыпь!.. Восемь!..

— Эх, портки заложил, рубаху в гору!..

Возле играющих трутся с несчастными лицами два тюремных нищих — Левка Шкет и Ястребок. Они до сих пор еще не могут выбиться из карточного долга Ваньке Графу. Надоедая, унизительно вяньканют скучными, как скрип телеги, голосами:

— Примите, братцы... Ваня Граф, прими!

— Сначала гони долг на бочку, — рычит октавой Граф.

В большой игре — успевший обжиться новичок Андрей Андреич Мохов. Он взят в домзак месяц тому назад. Мужчина лет сорока пяти, с брюшком. Весь бритый, только черная борода стамесочкой. Вообще такая англизированная физиономия. Он

бывший коммерсант, валютчик. В его живых глазах то грустная покорность року, то наглая уверенность: дескать — «ерунда, не пропадем». Передачи ему всегда богатые. Но он заядлый картежник, он все спускает: проиграл енотовую шубу, костюм, две пары штиблет, часы, четыре перстня. Теперь одет в казенный бушлат и продувает в карты приносимые с воли передачи.

Кроме этого валютчика, преет за картами магазинный вор Сенька Зуек, шулер.

Дунька-Петр, плешивый низенький брюханчик, поджав по-турецки ноги, сидит на полу, раскачивается взад-вперед. Он — банкир. Огарок, оплывая, мотает хвостатым огоньком; на темных лицах игроков трепещут тени.

Ванька Граф сегодня играет по-честному — и без того карта валом валит. Он вспотел, слоновьи ноги некуда девать: то сядет, плотно вопьется толстым задом в пол, то утвердится на коленях. Говорят все шепотом:

— Мечи карту.

— Дана.

— Очком выше.

— Бита!

— На все... Наши дома...

— Ваших нет. Бита!

— Дана карта!

— Вправо-влево...

— Что ставишь-то? Деньги на кон. Ну!

— Тасуй... Мечи... Деньги будут, — ершится проигравшийся Чечетка.

— Да ты ставь сейчас, — шипит банкир Дунька-Петр. — Становь на бобочку.

Чечетка, подрыгивая пятками, срывает с себя бумазейную грязную рубаху, с азартом швыряет на кон.

— Э, грубая бобочка, — пощупал кто-то. — Даешь кон?

Рубаху забрал Ванька Граф. Руки по пояс голого Паньки Чечетки задрожали, глаза слезами налились.

— Долой с кону! — шипят ему. — Вылазь...

— Дозволь, братва, отыграться.

— На что?

— На гавканье, на кукареку, — растерянно молит Чечетка.

Ванька Граф нагнулся к его уху и прошептал так, чтоб все слышали:

— Ливеруй в угол: там фрайер спит, тащи с вешалки одежонку, авось там деньги...

Панька Чечетка, не раздумывая, прыгнул в угол к спящему новичку-чужому, мельком взглянул на висевшее старое пальто, запустил руку в карман спящего и ловко выудил бумажник.

Партнеры поощрительно зашумели:

— Играй. Ставь на всю кожу[1]...

— Идет. Две карты!

— Биты!

Бумажник с сорока семью рублями уплыл.

Чечетка проиграл паек за неделю, «гавканье», «кукареку», правый карман спящего старика, левый карман Дениса и тихо, по-мальчишески, заплакал.

Фартовая карта пошла Андрею Андреичу, валютчику. У него сегодня шесть серебряных полтинников и четыре золотых червонца (каким-то темным случаем получил в последней передаче, в колбасе и пирожках).

Он строго следит за шулерами, обобрал их всех. Они бесятся, отходят как ошпаренные прочь, вытаскивают из потайных мест деньги, золотые вещи, со скрежетом зубов вновь проигрывают. Обезьяньи глаза Ваньки Графа мечут искры.

Магазинный вор Сенька Зуек незаметно стянул у Андрея Андреича два золотых и тоже проиграл.

— Ставлю пальто, новое, на вате, воротник — каракуль! — в запальчивости, с отчаянным жестом, говорит Зуек.

— Чье?

— Вон того фрея, новичка.

---

[1] Кожа — бумажник.

Пальто быстро проиграно. Двое игроков, вместе с Сенькой Зуйком, подходят к спящему скромному человеку в очках, фельдшеру, будят его.

— Гражданин, снимай!

— Как снимать? — подымается тот, ничего не понимает, хлопает глазами.

— Снимай: проиграно.

Фельдшер начинает фордыбачить. Ему дают раза три по затылку, и — пальто в их руках. Грозят:

— Ты не вздумай нам «накапать», по начальству донести. Ежели накапаешь, такую вздрючку сотворим, — век на карачках будешь ползать.

Вскоре от Андрея Андреича фортуна отвернулась. В какие-нибудь полчаса он снова гол. Вытаращенные глаза его горят, как у безумного. Пухлые кисти рук скачут, дергаются. Золото и вещи уплывают к шулерам.

— Играю под собственный золотой зуб, — мрачно говорит он, разевает рот и показывает игрокам шесть золотых зубов.

Все зубы, один за другим, быстро проиграны. У несчастного валютчика текут по сдобным щекам слезы, морщины отчаяния покрывают вспотевший лоб. Черная борода стамесочкой жалобно трясется.

— Будьте добры, Андрей Андреич, ненадолго прилечь. Будьте столь великодушны открыть свой рот. Ширше... Еще ширше! Открывай на полный ход.

Спец живо выковыривает гвоздем золотые зубы. Камера смеется. Андрей Андреич со стоном бросается на койку, лицом вниз. Его спина подрыгивает. Игра продолжается с прежним пылом.

Вдруг Граф уследил, как банкир Дунька-Петр, не глядя на карты, быстро срезал верхнюю и подложил под низ колоды.

— Шалишь!.. — крикнул Граф и сгреб Дуньку-Петра за глотку. Банкир замотал руками, захрипел. На Графа сразу навалилось пятеро. Чечетка в суматохе быстро напяливал свою проигранную рубаху. Граф развернулся, все пятеро слетели с него, как с медведя собачонки. Он схватил Дуньку-Петра одной горстью за шиворот, другой — за портки и с та-

кой силой хватил его о переборку в уборную, что доски треснули, как стекло, и голова банкира завязла в пробитой дыре.

— Караул! Грабят!! — заорал Дунька-Петр. Орали и те пятеро, яростно грозя кулаками Графу. Громче всех мстительно кричали нищие: Левка Шкет и Ястребок:

— Бей Ваньку! Убивай обидчика!.. Режь горло!..

Спящие, до одного, вскочили с коек:

— В чем дело?! Что? Кого?!

Ванька Граф засунул в рот золотые монеты, кинулся на свою койку и притворно захрапел. В камеру ворвались два стража внутренней охраны и дежурный надзиратель:

— Смирно!! Ложись все!

Тишина — муха пролетит. Раненого Дуньку-Петра увели к фельдшеру. Он стонал. На вопрос: «Кто тебя?» — он ответил:

— Не знаю.

На полу валялись разорванная колода карт, кем-то проигранные казенные сапоги с подштанниками и еще пустой бумажник. Все же деньги достались в свалке Ваньке Графу.

XIII

ВЕСНА ИДЕТ

Время подходило к весне. С юга, с запада дул насыщенный солнцем и влагой ветер. Он приносил с собой зачатки новой жизни; скованная морозом земля воскресала. Ветер мел небо, угонял снежные тучи в пустыню вечных льдов; ветер расчищал путь плодоносному солнцу. Еще немного — вспенятся ручьи, забурлят овраги, и в потоках ветра гонимые им примчатся с юга крикливые полчища грачей.

И, как бы предчувствуя этот весенний праздник, организм погибающего малыша не захотел сдаваться смерти: Инженер Вошкин, увидав сквозь двойные рамы голубое небо, солнце и предвесеннюю капель, круто отвернулся от могилы.

— На фиг, — сказал он и стал быстро поправляться.

Так брошенная в подвал картошка, лишь только нюхнет весеннего тепла и света, неудержимо начинает давать ростки.

В исправительном доме, где бедовал Амелька, были неважные подвалы, и с приближением весны картошка тоже стала прорастать. Приказ: картошки не жалеть, расходовать вовсю, жарить, запекать, варить. В общественной кухне картошку чистили исключительно молодые и средних лет женщины (лишенок-старух почти что не бывает). В обычное время, в холода, ну, чистили и чистили, а шелуху относили свиньям и коровам. Но теперь приближалась полная греховных снов весна.

Женолюб Амелька обеими ноздрями нюхал этот весенний мутящий сердце дух. Он, как и многие в их камере, по ночам метался и стонал. Опытные, прожженные товарищи поучали истомленного Амельку:

— Норови пробиться в дежурные по кухне. А там — хватай.

Сметливый Амелька все сразу понял. Амельке пофартило, — вскоре же попал на кухню. Обычно в продолжение круглого года туда ежедневно направлялись десять мужчин, по одному от камеры. Однако, занятый в столярной мастерской, Амелька этим интересовался мало.

А теперь — весна. Кухня не особенно просторная, но народу в ней с избытком.

— Здорово, бабья соль! — поприветствовал он кухню.

— А ты солил? — заиграли глазами женщины.

— Я до баб, как овца до соли... Страсть охоч!

— Погоди, не роди, а по бабушку сходи, — притворно злились женщины, оскабливая картошку.

Мужчины принялись за дело: таскали ушаты с помоями, носили дрова, шуровали печи, помогали поварам и поварятам мыть крупу, картофель, резать хлеб. Амелька все еще раскачивался, переминался с ноги на ногу, скалил зубы:

— Эх, господи помилуй, чтобы девушки любили!

— Здесь девушков нет, все женщины, — крикнула сквозь шум красивая, черноглазая, лет тридцати, бабенка. Потряхивая круглыми плечами, она крутила картошку в огромной мясорубке. — Девки замуж вышли!..

— Девкой меньше, бабой больше, — облизнулся на нее Амелька, и курносое лицо его расплылось в широкую, как решето, улыбку. — Вас близко видать, да далеко добывать!

— Ишь ты, говорок! — крикнула от окна белобрысая, в кудерышках, и перемигнулась с черной. — А ты женатый?

— Была жена, да корова сожрала.

— Кабы не стог сена, и тебя бы съела... — повела улыбчивой бровью веселая черноглазая бабенка.

Сердце Амельки вскачь пошло.

— Ах ты, птаха-канарейка, малина-ягода, — тоненьким голосочком прогнусил он и, захохотав, схватил бабенку за бока.

— Стой, холостой! — бросив связку дров, дернул его за шиворот «стирошник» из девятой камеры, Ромка Кворум. — Не лезь: моя маруха!..

— А я и не лезу.

— Эй, вы! Смирно!.. — оборвал их вбежавший седоусый хромой надзиратель. — Схимников! За дело, марш!..

— Шуруй печку! — крикнул старший брюхатый повар, похожий на дикого кабана.

Амелька поспешно бросился к печи, стал подбрасывать дрова, мешать кочергой, выгребать в корчагу угли. Когда надзиратель и Ромка Кворум ушли, чернобровая бабенка, скаля крепкие зубы, сказала Амельке:

— На чужемужнюю жену не зарься. Вот.

Амелька, стоя на коленях возле хайла печки, повернул к ней раскрасневшееся от полымя лицо, бросил дразнящим говорком:

— Жена мужа любила, в тюрьме место купила... Так, что ли, сватья-куропаточка?

Чернобровая маруха Ромки Кворума, повиливая крутыми бедрами, подплыла к Амельке, сунула

в печку лучинку, чтоб добыть для закурки огонька, и милостиво протянула парню папироску:

— Хочешь гарочку?

— С нашим полным удовольствием,— сладко затянулся Амелька и наскоро шлепнул чернобровую.

— Шуруй, шуруй! — крикнул брюхатый повар.

— Шурую! — огрызнулся Амелька.— Ты ослеп, папаша, что ли?

Среди женщин были гоголевские городничиха и ее дочка. Возле них увивался с закрученными в колечко усиками краснорожий Митька-хлеборез. Время подходило к обеду; в кухне стоял угарный чад, пахло луком, подгорелым салом, свежеиспеченным хлебом. Верезжали вентиляторы, брякала посуда, булькала, плескалась через край вода в котлах, кухня постепенно наполнялась паром. Три электрических лампочки на густо облепленных дохлыми мухами шнурах едва мерцали. Проголодавшиеся руки заключенных хватали под шумок что попало и тащили в рот. Говор, перебранка, крики. Повара и поварята плавали в пару, как в облаках.

— Время спускать! — гаркнул старший повар и постучал клюкой по плите.

— Есть спускать!..— яростно откликнулись обрадованные заключенцы.

Крышки пяти огромных котлов проворно подняты. Густой пар шибанул под потолок. Заключенцы прыгнули в стороны, отворотили лица.

— Чего боишься?.. Подноси!..— опять гаркнул старший повар. Он стоял на широкой табуретке, как живой монумент Тарасу Бульбе, выставив брюхо в облака и упираясь белым колпаком в потолочную твердь неба.

Мужчины и женщины нервно подняли железные ушаты с вымытой сырой картошкой и поднесли к котлам.

— Спускай! — громом неслось с небес.

— Есть спускай!.. — отвечала преисподняя.

И холодная картошка полетела в крутой бурлящий кипяток. Вся кухня разом наполнилась густым,

непроницаемым туманом. Бросив ушаты, люди нырнули кто куда; надзиратель сиганул на улицу. Минуты три ничего не было видно: пропало небо, погасли три звезды на нем, защурились пылающие пасти адовых печей, исчез поглощенный облаками повар и всяк живой. Но звуки крепли: с грохотом кувыркались табуреты, летели со столов тарелки, плошки, неудержимой струей била в раковину вода, всюду шепот, шорох, писк мышей, лесной медвежий кряк.

— Стой, холостой!.. — на весь погруженный в хаос мир взревел Ромка Кворум. — Вылазь, варнак!.. Ага!.. Ты мою маруху обнимать?!

. Вытащенный из-под стола за ногу Амелька вскочил и сжал кулаки:

— Не лезь! Мне морду паром обварило...

— Врешь!.. Обнимал...

— Честное жиганское слово — нет! — ударяя себя в грудь, клялся Амелька. — Легавый буду — нет. Не обнимал! Не веришь — обыщи...

И в ответ на это «не веришь — обыщи» вся кухня треснула многоротым, как ржанье стада жеребцов, громким хохотом, от которого сразу рассеялся туман. Все снова на своих местах: в небе загорелись три звезды; печи дышали сине-желтым жаром; женщины сидели на скамьях, скромно занимаясь своим делом; мужчины, осматривая друг друга воровскими глазами, терлись возле печек, набивали махоркой трубки. Монументальный старший повар спустился с небес на землю и выхватил из-за пояса разбойничий свой нож.

Только Ромка Кворум и Амелька стояли бок о бок, вполоборота друг к другу, как на дыбах два огромных — хвосты вверх — пса, готовые вцепиться один другому в глотку.

— Попомни!! — хрипло пролаял, выставив оскал клыков, жилистый, черномазый, как цыган, с наглыми глазами Ромка и покачал перед самым Амелькиным носом измазанным в саже кулаком.

— Не стращай! Видали, — толкнул его Амелька.

Ромка Кворум, пхнув Амельку в грудь, рысью подскочил к чернобровой, томно вздыхавшей своей марухе, схватил ее за руку и грохнул об пол:

— Умри!!

— Ша! ша! — встал между ними огромного роста выводной из старых каторжан. — Заткнись!.. Не разоряйся!.. А то дам блямбу, зачихаешь.

За дверью была весна, блистало солнце, стайками порхали воробьи.

Весна дружно шла и по степям. Сугробы начали сдавать, дороги побурели. Сегодня Филька в валенках последний раз — мокро. Завтра придется попросить у Тимофея старые сапожонки, — наверно, даст. Впрочем, у хозяина имелась немудрящая лавчонка, можно бы новые сапоги приобрести, да только дорого, выжига, сдерет. Нет, уж Филька походит и в обносках. А вот придет настоящая весна — гулянки, фиглимигли с девками, песни, плясы, ну, тогда уж... Эх, черт!.. Кажись, усишки начинают вылезать.

Филька просит у тихой приветливой Наташи зеркальце, смотрится в него свежим, обветренным, чуть грустным лицом, хвастливо говорит:

— Лезут.

— Что лезут?

— Не видишь? Вот-вот, гляди. — Он пригнулся к самым глазам сидевшей под окном Наташи и, зажмурившись, чмокнул ее в губы.

— Откачнись! — игриво замахнулась на него Наташа, а за переборкой крякнула басом ее мать.

— Ах, тетенька-то дома? — скромным голосом спросил Филька и растерянно заглянул в окно: там, за березовыми рощами, утихала с прозеленью алая вечерняя заря.

Вошел в хату долгобородый Тимофей с кнутом, сказал:

— Наташка, лампу! Видишь — сумерки... Филя, стащи-ка, родимый, сапоги с меня. В канаву провалился, вымок. Снег обманул... Весна... А Катька где?

— Коровам сено задает, — ответили обе враз, дочь с матерью.

— А Григорий где?

— По воду ушел.

Меж тем Григорий, он же Дизинтёр, сидел с Катериной в сеновале: он прямо на земле, девушка на связке веников. Ворота в сеновал настежь: ежели нагрянут старшие, ну что ж, сидят — и больше ничего. Возле, у ног парня и девицы, набитая сеном огуменная корзина и два ведра с водой. В воде дрожит серебряный осколок показавшейся в небесах луны.

— Так-то, Катюша, так-то.

— Да, так-то, Гришенька, ничего не поделаешь.

Григорий мечтательно, со вздохами, сопит, щекочет в широкой своей ноздре сухим цветочком:

— Я — парень неплохой. Я — парень работящий.

— Знаю, чую, — шепчет девушка. — Люб ты мне вот как... А ничего не поделаешь... Матушка-то, пожалуй, туда-сюда. А батьке намекала, отпор дает. Хочет, чтоб ты свою веру бросил, беспоповцем стал. — В глазах и голосе Катерины дрожат слезы. — Помешался старик на вере.

Григорий вздыхает пуще. Катерина долго смотрит на него, прижимается к нему плечом и шепчет:

— Родименький!

Григорий притворяется, что не слышит ее шепота. Он говорит:

— Что ж, вера? Я не цыган, чтобы менять. Была бы любовь да согласие. — Он выдернул из сена засохшую метелочку-травинку и смущенно провел ею по улыбнувшимся губам Катерины. — Ну, а ежели, как говорится, взять да убежать?

Девушка смотрела на луну, молчала. Крутые, тонкие брови ее хмурились.

— Например, вот недалеко совхоз. Меня в батраки зовут. По контракту... Вот бы...

— Нет, — резко оборвала его Катерина. — В батрачки ежели, на то моего согласья нет.

Григорий хмуро улыбнулся, перекусил травинку и сказал:

— Лучше батрачкой, чем дочкой кулака. Долго ли, коротко ли, твоему батьке так и так крышка. Потому — кулак, торгаш.

Катерина поднялась, взяла корзину и пошла. Поплелся ей вслед и Григорий с ведрами. Вечер был

тихий, благостный; бледные звезды разгорались. Сердце парня просило ответа, ласки. Они пересекли огород, подходили к своей хате.

— Катюша, слышь-ка...

Она поставила корзины; он поставил ведра. Он смотрел в ее голубые глаза, старался понять в них правду. Она в растерянности молчала, думала. Трудный какой-то этот парень, не скоро его раскусишь. Она не знала, о чем с ним говорить. Вот провела взором по небу и, указав рукой на созвездие Большой Медведицы, сказала:

— Мы эти семь звезд зовем Ковшом, а вот эти три возле Ковша — Девичьи Зори.

Григорий не пожелал глядеть на небо, он крикнул:

— Вот ты и есть заря! — и бросился перед нею на колени. — Голубушка, Катеринушка... Ангел поднебесный, согласись.

К ним неслышно подходил Тимофей в подшитых кожей валенках, с пешней в руке. Григорий его не заметил. Катерина же рванулась с места и — в хату.

— Чего ползаешь, Григорий? — спросил старик.

— Я-то? — по-дурацки раскорячившись, стал подыматься парень. — Да понимаешь, дядя Тимофей... Гривенник обронил... Вот искал.

— Не трудись. Гривенник твой летом в рубль вырастет. Только, парень, где не сеял, там не жни.

— Это так, — глуповато замигав, ответил Григорий и попятился к амбару, чтоб дать хозяину дорогу.

— Весна идет, — сказал хозяин, направляясь в глубь двора. — Лажу во дворе канавки проложить. Боюсь, вода не одолела бы. Может, пособишь?

— А что же? Пособлю.

— Берегись! — прыгнул в сторону хозяин.

— Пошто?

Вдруг с гуком, с шумом, как бы выговаривая: «Прочь, весна идет!..» — оборвался с крутой крыши пласт подтаявшего снега и сразу накрыл парня. Парень кувырнулся. Тимофей, схватившись за живот,

изошел весь в хохоте, по-мальчишески повизгивал. Григорий выползал из-под прикрывшего его сугроба, как большая черепаха. Он по-собачьи отряхнулся, выбил из шапки снег и в пояс поклонился оголенной крыше:

— Благодарю: умыла. И впрямь — весна.

XIV
ЗВЕРЬ

Амелька узнал, что ту черноглазую бабенку зовут Зоя Червякова. В одном из южных городов Зоя содержала притон преступной шатии. Полгода тому назад она и ее сожитель Ромка Кворум, известный вор-налетчик, влипли в уголовщину. Так вот кто такая эта Зоя Червякова, красивая «хипесница».

После дежурства в кухне Амелька носил в своем сердце ее образ и вздыхал. Вот если б правдой и неправдой вновь в кухню угодить. Но это дело безнадежное. Чтоб излить свои чувства к очаровавшей его Зое, Амелька написал ей большое «сердцещипательное» письмо и стал ловчиться передать его своей «алюрке» через дежурного по коридору. Пока ловчился, сам получил записку:

«Я тебя, лох, знаю. Ты, дьявол косопузый, в третьей камере. Попомни, кривоносая анафема, как я выволок тебя из-под стола в кухне за ногу быдто дохлую собаку. Морда твоя будет бита вскорости. А нет — перышко меж лопатками всажу».

Амелька испугался, свое письмо к Зое Червяковой бросил в печку, а записку показал Ваньке Графу:

— Вот прочти. Хоть без подписи, а знаю: пишет Ромка Кворум.

— Не бойся, — сказал Граф. — Пока я здесь, не бойся... А этого варнака Ромку, бывало, на воле всякий бил. У него только харя страшная, а силы нет. Бывало, как шухер, кого бить? Ромку...

Амелька вздохнул и замигал.

— А на Зойку не зарься, — успокоил его Граф, — она шкура. Она как горох при большой дороге: кто ни пройдет, всяк щипнет.

— Сердце гложет... Тоска по ней, понимаешь?

— Бро-о-сь! — рассмеялся Ванька Граф. — Вот я тоскую, так тоскую. Королева! Не твоей чета... Хочешь, расскажу?

Они прижались спинами к теплой печке и повели разговор по душам. Был вечер. Заключенные слонялись взад-вперед, играли в чехарду, в паровоз, хоронили бабушку. Мимо Графа и Амельки несколько раз вызывающе прошагал в своем балахоне Дунька-Петр. В больнице сделали ему перевязку, забинтовали рассеченную голову. Он напоминал теперь старую широкозадую няньку в чепчике. Проходя возле Графа, он задерживал шаг, злобно крякал и сверкал на своего врага глазами.

— Хряй, хряй, — бросал ему трескучей октавой Ванька Граф. — Не пяль шары: не страшен...

— Я ничего, я так, — загадочным голосом бормотал Дунька-Петр и, скрежетнув зубами, уходил.

На полу, возле умывальника, сидел лишенец Чумовой. Он нервный, жалкий, полупомешанный. Ходили слухи, что он подвержен онанизму. Волосы его взъерошены, взгляд ввалившихся блуждающих глаз потухший, сам — как доска, угловатый, плоский, испитой. От него несло тухлятиной. Стоило чуть задеть его, как глаза его воспламенялись, он с воем шакала бросался на обидчика и в диком припадке готов был перегрызть горло всякому, выцарапать глаза, сожрать человека живьем. Его все чуждались, презирали. За что лишен свободы этот Чумовой, — никто не знал.

Сейчас, сидя на полу и втянув в плечи клинообразную свою голову, он хищно щурился на котенка, общего любимца камеры. Беленький, с гноящимися глазенками, котенок бегал под столом, выискивая крошки. Ванька Граф отрезал кусок колбасы и бросил ему. Чумовой идиотски закричал:

— Дай лучше мне! Дай мне! А то котенка сожру...

Граф опять встал возле Амельки. Против них, облокотившись на грязный подоконник и глядя в окно, стоял молодой человек, одетый в серую суконную рубаху, подпоясанную по тонкой талии кавказским поясом. Он приятным тенором напевал:

Ты сидишь за решеткой
И смотришь с тоской
На свободу, где люди гуляют.
И грустишь ты о том,
Как свободно вдвоем
Под сиренью весну мы встречали...

Вкладывая в этот пошленький романс большую выразительность, он пел душевно, страстно, как пойманный в клетку соловей. Вот он выпрямился весь, откинул голову, трагически выбросил вперед тонкие руки и, подняв голос на звенящую мрачным отчаянием струну, закончил:

На кладбище сыром
Ты лежишь под крестом,
Я ж, родимая, здесь изнываю.
Мои руки в крови,
Но меня не кляни:
Я покоя с той ночи не знаю.

Певец порывисто закрыл ладонями лицо, припал плечом к косяку, замотал головой. Шатия притихла.

Амелька запыхтел, насупился: слова песни напомнили ему о матери. Ванька Граф глубоко засунул волосатый подбородок в ворот вязаной фуфайки, горестно скривив губастый рот.

— Ну, слушай, — быстро справившись с проняввшим его волнением, сказал он. — Дело было так. Слушай... Эх, черт... Ну, ладно. Значит, перевалило за полночь, когда мы, трое уркаганов, подошли к особняку. Оставили Хлыща у ворот на стреме, а я да Лешка Семизвон перелезли через решетку. Как змеи, подползли к окну, вырезали стекло. Я очутился на ковре. Вдруг — щелк — зажглось электричество. Смотрю, с кровати соскочила девушка. Я чуть не ослеп, и в моем сердце словно нож повернулся: до того она была прекрасна, до того нежна; должно

быть, росла она, как цветок в оранжерее. Я влип в пол и перестал дышать. А ее большие темные глаза воззрились на меня, остеклели. Голая рука, словно выточенная, понимаешь, как легла на грудь, так и застыла. Рубашечка сползла с плеча. Кто ж ты? Привиденье, девушка иль ангел? Чую, тужится она закричать, а язык мертвый. Вот она стала тихонько пятиться, пятиться, переступать голыми сахарными ногами. Вижу — хочет броситься бежать. Я сразу на нее, как лев, схватил ее. Она чуть взвизгнула и повалилась на ковер. Тут в коридоре шаги послышались. Я, понимаешь, испугался шухеру, решил красотку придушить. Стисну зубы, брошусь к ней на ковер, а не могу... Понимаешь, Амелька?.. Я пропал возле нее, пропал... В момент полюбил до самой смерти... Да как полюбил!.. Ну, не могу задушить, не могу задушить, а надо... Шейка нежная, на шейке крестик золотой, сама без чувств... Вдруг, в коридоре, понимаешь...

Ванька Граф внезапно смолк. Ушедший в далекое, в мрачное, взгляд его враз сверкнул холодом; как лед под лунным светом. В камере порохом вспыхнули крики, гвалт. Осатаневший Чумовой, вскочив на окно, бешено отлягивался от напиравшей на него толпы. В его стиснутой горсти, дрыгая лапками, извивался беленький котенок.

— Что делаешь?!

— Оставь!

— Не трог!! — орала шатия.

Но Чумовой с диким воем распахнул фортку и швырнул котенка с пятиэтажной высоты на каменную мостовую. Тогда его вмиг сдернули с окна.

— А-а-а... — И Ванька Граф, оторвавшись от печки, кинулся к толпе. — Несчастного котенка... А-а-а... Беззащитного!!

Его исступленный рев, от которого звенели стекла, привел толпу в трепет. Толпа сразу оглохла, бросила Чумового и...

— Молись богу!! — И потерявший себя Граф готов был прыгнуть к Чумовому, чтоб одним ударом покончить с ним.

Чумовой, весь скорчившись на проплеванном полу, впился в угол, как лягушка, и вытаращенными глазами безумно смотрел на приближавшуюся к нему смерть.

И сквозь заполошный гвалт, сквозь лязг отпираемой надзирателем железной двери слышно было, как толпа, ухнув, опрокинулась на Ваньку Графа, свалила его на пол, в страшном напряжении пыхтела, удерживая великана:

— Успокойся, пожалей себя...

— Из-за дохлой стервы, из-за Чумового, себя губить! Опомнись!

— Ваня, друг!..

В приступе яростного гнева матерый Ванька Граф потерял голос: взлаивал, хрипел, плевал, колотился затылком в пол.

По строгой команде все легли на койки. Хмурый надзиратель переписал буянов. Снова все в порядке. Только избитый Чумовой все так же, по-лягушечьи, торчал в углу, поплевывал, сморкался, тихо всхлипывал. Ванька Граф дрожал, зубы дробно чавкали. Горло сжимали спазмы. Томимый жаждой, он выпил две кружки ледяной воды и снова лег.

Время шло. Камера уснула. Бред, стоны. Кто-нибудь вскочит, побубнит невнятно, вновь упадет на изголовье. Во дворе, где валялся жалкий труп котенка, пробили полночь.

Амелька хлопал глазами, глядел на полукруглую луну в окне, думал о той прекрасной девушке, о которой рассказывал ему друг и покровитель. А что ж дальше? Призрак сказочной девушки тихо отделялся от освещенного луной окна; слегка покачиваясь в воздухе, подплывал к Амельке, назойливо проникал в его зрачки, в мозг, в сердце. И больно становилось взволнованному сердцу. А что же дальше? Ванька Граф лежит рядом на спине, глаза закрыты. Спит.

— Эй, Ваня... — вздохнув, шепчет Амелька.

— Ну?

— А что же с девушкой-то?

Ванька Граф, как кит, поворачивается на бок, — ножки койки гнутся, лезут в пол, — он открывает

свои мутные, уставшие глаза. Ему вовсе не до девушки, не до ответа на праздное любопытство друга. Душа его объята внутренним шумом своей личной жизни, горькой, как полынь.

— Что же с девушкой-то? Ты пожалел ее, не тронул?

— Что с девушкой? — сердито переспрашивает Граф, и койка вновь скрипит под ним. — Очнулась... Выть начала, гадина ползучая... Чуть весь дом не подняла... — И Граф по-злому сказал низкой октавой: — Потом замолкла.

— Почему, почему замолкла? — жадно спросил Амелька.

— Задушил, — равнодушно ответил Граф.

Амелька вздрогнул. Ванька Граф вдруг представился ему большим, притворно ласковым псом, который ни с того ни с сего, обнаружив свою подлую натуру, предательски куснул доверчивую руку друга. С внезапно подкравшейся обидой, с брезгливостью Амелька резко отвернулся от Ваньки Графа и в напряжении затих..

— Ну, что ж молчишь? — спросил Граф.

Амелька не ответил. Ему стало несказанно жаль погибшей девушки. Он лежал и с болезненной тоской думал о ее последнем вздохе; он до ужаса ясно слышал, как хрустят хрящи ее горла под железной хваткой палача. Амельке жарко, душно, тьма шуршала пред его глазами. Нет, нет, Амелька никогда этого не позволил бы себе, он лучше бы сам погиб... А вот Граф... Эх, зверь, подлец.

— Ежели бы не прикончил, — слышит Амелька противный, гукающий, как из бочки, голос, — если б не прикончил гадину, сам попал бы. Я двоих пришил — девчонку да барина. А Лешка Семизвон — кухарку да старуху. Лешка из города смылся. Меня взяли по подозрению. Вот сижу теперь. А я знать не знаю, ведать не ведаю. Ха-ха! Свидетелей нет. Концы в воду. Подержат да выпустят. Опять крути.

И голос его вдруг набух слезливой жалостью, как сухая каша маслом.

— А я ее люблю. Колдунья какая-то, волшебница. Подыхать буду, а любовь к ней в моем дурацком сердце не умрет. Ты думаешь — я зверь, а я человек есть... Может, в сто раз понесчастнее тебя. Вот на свободу выйду, обязательно ее могилку святую разыщу. Ты не смейся — разыщу. Упаду на могилку, плакать буду, как баран, свою грудь ногтями стану рвать, чтоб кровь добыть, чтоб моя кровь на могилу канула. Земли с могилы съем...

Где-то в подсознании Амельки, заглушая бредовой, быть может, выдуманный бандитом рассказ, звучал мотив только что слышанной им песни: «Мои руки в крови, но меня не кляни: я покоя с той ночи не знаю».

Амелька заткнул уши. В каком-то мучительном, придавившем его мраке он опрокинулся на живот и нырнул головой под подушку. Кровь неуемно стучала в виски: «Зверь, зверь, зверь».

XV

ПРО ИНЖЕНЕРА ВОШКИНА, ЛЕНЬКУ ПУЗИКА И ПРОПАВШЕГО АРАБЧИКА

— Спасибо, голубушка. — Инженер Вошкин вытер губы салфеткой. — Шибко вкусные лепешки, и молочко вкусно. Очень ты меня наела. Я теперь поправился, я здоров.

Марколавна с особой заботой угощала выздоравливающего малыша отдельно от других в своей комнате.

— Ну вот, будь паинька. Веди себя прилично.

— Да я ведь и не хулиган. А просто так... Вола за хвост крутил... От скуки. А хочешь, я тебе, голубушка, усовершенствование устрою: как кто чужой войдет в твою комнату, так звонки зазвонят. Даже могу — у тебя в кармане зазвонит звонок.

Не дождавшись ответа, он побежал в свой класс, к старшей группе. По пути отворил дверь в младшую группу; там рассказывала сказки пожилая учитель-

ница Рябинина; девочки, слушая ее, делали из лоскутков куклы, мальчики клеили коробочки.

— Привет! — сказал Инженер Вошкин, входя. — Я только загадочку задам. Вот пошли два отца и два сына на охоту, убили трех зайцев и домой вернулись. А у каждого в сумке по зайцу оказалось. Как это так? Ответ в следующем номере. — Он захохотал и выбежал, хлопнув дверью.

Малыши, мальчики и девочки, тоже захохотали, бросили слушать сказку, стали думать над загадкой. Учительница Рябинина сказала:

— Это он врет. Они убили четырех, а не трех зайцев, если у каждого в сумке по зайцу.

— Ясно, ясно! — закричали малыши. — Раз два отца да два сына, ясно — четырех...

В старшей группе кончался час политграмоты. А за окнами солнце, весенний день. Хочется порезвиться, побегать, поиграть в снежки. Ребята подымают «бузу», не слушают учителя, стучат в пол ногами, перебрасываются жеваной бумагой. Инженер Вошкин нарисовал себе чернилами усы.

— Теперь, товарищи, вы наглядно убедились, что значит классовая борьба, — говорит теряющий терпение учитель и хватается за ухо: в висок смачно ударил ком жеваной бумаги.

Час окончен. В дверь лезет большая борода Емельяна Кузьмича. Начинается урок арифметики.

— Вот, ребята, — говорит он. — Сообщаю вам по строжайшему секрету. Весной наш детский дом получает участок земли с огородами и с пашней.

— Ур-р-а!! — заорали ребята. — Ра-ра-ра-ур-р-а!

— Тише, тише, — зашипел Емельян Кузьмич, замахал на них руками. (Он побаивался нового, довольно строгого заведующего домом, любившего дисциплину, порядок, планомерность.) — Теперь, ребята, нам надо вычислить, сколько потребуется семян для засевки полей, сколько навозу для удобрения.

— Давай площадь! — с азартом кричат ребята.— Какая площадь?

— Пишите, — проговорил учитель, радуясь, что так ловко поддел на удочку тугих к решению за-

дач детишек. — Запашка под пшеницу — двадцать семь тысяч десятин... Под овес восемнадцать тысяч... Вот сколько нам дадут...

— Врешь! — заголосил с задней парты Ленька Пузик, сын крестьянина. — Врешь, слепых на столбы наводишь... Столько десятин во всем мире нет.

Емельян Кузьмич конфузливо, как пойманный с поличным, улыбнулся, забрал в горсть бороду, сказал:

— Да, да, перепутал... Сейчас, сейчас! — Он достал из кармана записную книжечку, открыл ее и, уткнувшись длинным носом в ту страницу, где было записано отданное в стирку белье, стал диктовать: — Пишите... Теперь точно: пахоты триста семьдесят пять десятин, под пшеницу. Записали?

— Еще вчера! — крикнул Инженер Вошкин.

— Под овес сто двадцать девять десятин. Теперь десятины переведите в гектары. Теперь кто знает, сколько пудов семян надо на засев одного гектара?

— Семь!

— Девять!..

— Хорошо. Возьмем для ровного счета семь и пять восьмых пуда. Переведите пуды в килограммы. Не в центнеры, а в килограммы. Поняли?

— Когда?

— Зачем?

— Еще вчера, — скрепил мальчишеские озорные выкрики Инженер Вошкин.

— Ша! Братишки, не балди... Тут дело требуют, — слышались в разных местах протестующие голоса.

Ребята быстро со всей серьезностью принялись за дело. Глаза их горели. Головы работали в полном напряжении. А как же? Свое, родное, настоящее...

— Ну вот, решайте. А я пока пойду на заседание.

Учитель ушел. Тишина стояла, прерываемая усиленным пыхтеньем.

Меж тем младшее отделение, кончив слушать сказки учительницы Рябининой, отправилось на про-

гулку. В освободившемся классе заседал педагогический совет.

— Вот, товарищи, — докладывал новый заведующий домом Иван Петрович Петров. (Он небольшого роста, бритый, с одутловатым лицом, с энергичными черными глазами.) — Мне с большим трудом, с большим боем удалось-таки выхлопотать для детдома хутор на лето. Речка, сосновый лесок, в полуверсте деревня. Довольно хороший, только небольшой дом — для девочек. Мальчикам придется жить в палатках, в шалашах по-походному. Мы будет располагать фруктовым садом, огородом в полгектара и пахотной землей в полтора гектара...

При этих словах Емельян Кузьмич широко улыбнулся, прикрываясь бородой.

— Вам что смешно?

— По некоторому поводу.

— Итак, нам предстоит с вами обсудить следующие практические вопросы. Первый вопрос...

В это время в класс вихрем ворвался Инженер Вошкин с наведенными усами и крикнул:

— Ответ: дедушка, сын и внук... Трое!..

Инженер Вошкин, видя перед собой не шумную гурьбу малышей, которым он только что задал загадку, а хмурых взрослых, вдруг страшно смутился. На него быстрой, подпрыгивающей походкой шел заведующий домом. Инженер Вошкин попятился к двери.

— Какой такой дедушка, сын и внук? — глядя сверху вниз, строго спросил его заведующий.

— А на охоту которые... Загадка... Не четверо, а трое...

— Пошел вон!

Инженер Вошкин юркнул в дверь, как карасик в омут.

С приближением весны из детского дома сразу сбежало семь мальчишек и девочка. В их числе скрылся и Клоп-Циклоп. Администрация дома встревожилась. Предпринят был ряд мер к пресечению дальнейших побегов и к розыскам скрывшихся. На

место беглецов были присланы из приемника новые восемь мальчиков.

Крестьянский сын Ленька Пузик, живший в доме второй год и отличавшийся честным устойчивым характером, отнесся к новичкам с хозяйственной мужичьей подозрительностью. Он сказал Ивану Петровичу:

— Ты, товарищ заведующий, повремени новеньким давать казенную одежду. Через два дня я тебе резолюцию сделаю. Тогда уж...

Вскоре Ленька Пузик сдружился с новыми восемью, сразу влез к ним в доверие.

— Я тоже недавно здесь, — врал он, сидя с ними в укромном уголке, у печки. — Думаю в четверг бежать... Чего тут? То ли дело на воле... Хорошо... А вы как?

Пятеро новичков надули губы, заругались:

— Иди к чертям!.. Мы едва попали сюда. А ты — воля. А чего там, на воле-то? Холод, вша ест, озорство. Беги: воля дураков любит. Баран кривобрюхий...

— Ша! Захлопнись! — осердился Ленька Пузик и в обиде так шумно задышал, что из левой ноздри его выскочил пузырь и лопнул.

Все засмеялись. Ленька сконфузился, поглядел кругом — никого из администрации не видно, — сморкнулся на пол и сказал:

— С вами вежливо разъясняются, а не то чтобы... Сволочи этакие, обормоты. Вам хорошее советуют... А вы лаетесь, как кобели поповские. Не хотите — и торчите здесь. А я вот убегу! Теперича весна.

Тогда трое остальных поманили Леньку в коридор и шепотом таинственно сообщили ему:

— Ежели в четверг, то и мы увинтим. Только б шкурку получить казенную. Сапоги дают?

— Дают.

— Мы уже из четвертого дома сигаем. Мы — вольные. С «красивыми» нам не жить. Только ты не сказывай.

— Будьте благонадежны, — весело поддернул штаны Ленька Пузик и тихонечко пошел от них, а

как завернул за угол коридора, понесся вскачь и постучал в комнату Ивана Петровича Петрова.

— Товарищ заведующий! Резолюцию принес. Пяти гражданам можешь выдать спецодежду, это верные, наши. А трем — Кольке Жучку, который хромой, еще Ваньке Морошкину, самый низенький который, еще Спирьке Зайцеву — этим гражданам ша давать. В четверг тягаля хотят задать. Винтить. Фють, наматывай! Я хитрый: я все выведал. Имей в виду. Я Ленька Пузиков, то есть Алексей из старшей группы. Поведения хорошего. А то ты новый, — поди не знаешь меня...

Закончив торопливый свой доклад, мальчонка топтался на месте, не знал, уходить иль нет.

Иван Петрович выслушал его со смущением, прошелся по комнате, подумал и сказал:

— За такое твое усердие надо бы тебе, оболтусу, оттянуть уши до плеч. Но я на первый раз прощаю. Ты — слушай, Алексей. Выпытывать людей таким образом, как ты это сделал, называется провокация. Это очень нехорошо. Это постыдно. Это позорно. Понимаешь?

— Понимаю. Я от усердия. Мне казенное жаль.

— Ступай. Ничего им больше не говори. А если придешь ко мне еще раз с подобной «резолюцией», я переведу тебя в разряд штрафных.

Ленька Пузик вышел в коридор, встал возле окна и целый час торчал так, огорченный и недоумевающий, барабаня в стекло пальцами, обдумывая свой разговор с заведующим и тягостно вздыхая.

В тот же вечер все восемь новичков все-таки получили казенную одежду и по паре крепких сапожишек.

Перед тем как укладываться спать, один из малышей закричал:

— Ай, ай!! Арабчика моего украли!..

Арабчик — кукла из черного сукна с белыми глазами и красными волосами. Были опрошены все дети. Никто не брал.

Тогда к Марколавне подбежал хорошенький Жоржик.

— Я очень, очень хочу кушать, — сказал он ей. — Если вы дадите мне пирожка кусочек, я скажу, кто украл арабчика. Я знаю, кто украл.

— Пирога нет. Но если ты умненький мальчик и любишь меня, то и так скажешь.

Жоржик подумал, сказал: «Пойдемте», — и побежал в спальню. Там он сел на пол и заявил при всех:

— Это я украл арабчика.

— Куда же ты его дел? — спросила Марколавна.

— А я его за печку бросил. — Он подбежал к печке. — Вон туда.

Но арабчика за печкой не оказалось.

— Зачем же ты врешь?

— Нет, не вру. Я забыл. Я его в шкаф... Вот в этот. Поиграл и положил.

В шкафу тоже не оказалось арабчика.

— Опять врешь.

— Забыл, забыл! — вскричал Жоржик. — Я его... я его за зеркало сунул.

Посмотрели за зеркало: нет.

— Жоржик!.. Говори правду... Или я тебя накажу, — едва сдерживая гнев, проговорила вся раскрасневшаяся Марколавна.

Жоржик заплакал и сказал:

— Вот вы не верите... А еще зоветесь моей мамой... Я забыл. Я его под шкаф подсунул. К самой стене.

Все заглянули под шкаф. Темно. Толстобокая нянька легла на живот и, дрыгая обутыми в красные чулки ногами, возила под шкафом клюкой. Оттуда летели сгустки пыли, сор. Не было и здесь арабчика.

Жоржик, смахнув слезы, рассмеялся, опять сел посреди пола и сказал:

— Я не украдывал арабчика. Я даже не видал, какой он есть. Я наврал.

Тогда малыш, у которого пропал арабчик, поднял нестерпимый вой: у него рухнула всякая надежда, что арабчик найдется. На его отчаянный рев и плач слетелись, как мошкара, ребятишки со всех спален. Марколавна растерялась.

В это время пришла нянька из флигеля, где жили девочки, и подала Марколавне куклу.

— Не ваша ли?

Тогда владелец куклы сразу прекратил плач, вырвал арабчика из рук воспитательницы и побежал с ним спать. А Жоржик кричал:

— Вот вы не верите, а я правду говорил, что не я украл! А вы все говорите, что я... Обижайте, обижайте маленьких! — с нервностью завизжал он и залился слезами.

Дети кругом смеялись, хлопали в ладоши, издевались над Жоржиком:

— Врун, врун, врун!.. Марколавна, накажите его. Вот мы сейчас за Инженером сходим, за Вошкиным... Он тебе...

Жоржик закрутился на полу волчком, заверезжал пуще. От его рева звенело в ушах. Нянька в дверях скрипела зубами: ну и задала бы она этому пащенку! Марколавна подняла его, поцеловала:

— Вот, дети, глядите. Сейчас я сделаю фокус: накрою Жоржика платком, сосчитаю — раз, два, три, и он замолчит.

Она сняла с себя теплый платок и покрыла им голову плачущего мальчика. Нянька неодобрительно плюнула и, тряся толстыми боками, сердито ушла.

Когда все дети засыпают, Марколавна обходит спальни, останавливается у Жоржика.

— Вы велели мне подумать о моем поступке, — лепечет он. — Вот я все думаю, думаю. Не сплю. А завтра, как проснусь, сяду на лестницу и все буду думать, думать. Я ночью сегодня обделаюсь.

— Надо, Жоржик, выходить в уборную.

— Я боюсь. Я лучше обделаюсь, а завтра матрасик высушу у печки... Я есть хочу.

— Спи.

— Я совсем, совсем буду умненький.

Марколавна идет к себе, садится за дневник. Дневники ведутся воспитателями обо всех детях с неустойчивым характером.

Одиннадцать часов вечера. За окном крупные, на темном небе, звезды. Марколавна мельком взглядывает на них, вздыхает. Болит голова, в ушах звон от дневного гвалта, шума. Она ведет три дневника — о Жоржике, Оле Буяльцевой и Пете Чижикове. Особенно подробно и с любовью она пишет о Жоржике, его поведении за истекший день, о плюсах и минусах.

Постучал в дверь и вошел Иван Петрович, заведующий. На его не по возрасту обрюзгшем лице усталость.

— Посоветоваться с вами, — сказал он, сел к печке и засунул руки в рукава. — Новые восемь мальчиков, присланные из приемника, — сплошное хулиганье. Трое собираются бежать. Все они очень скверно влияют на наших ребят, уже достаточно дисциплинированных. Что делать? Изолировать хулиганов некуда, и нецелесообразно, по-моему, было бы это. И вот я придумал некий выход.

— Нуте, нуте, — заинтересовалась Марколавна.

— Я хочу в виде опыта попробовать направлять волю малышей путем гипноза. Что вы на это скажете?

— Не опасно ли?

— Вряд ли опасно. Врач-психиатр говорит, что нет. Я тоже так думаю. Мы, педагоги, обычно воздействуем на психику ребят извне. Так отчего ж не попытаться воздействовать изнутри, ослабить одни мозговые центры, укрепить другие?..

— Не знаю, не знаю, — с некоторым колебанием произнесла Марколавна, но глаза ее блеснули любопытством. Она закурила и протянула коробку с папиросами Ивану Петровичу.

— Спасибо. Бросил, — проговорил он, втягивая ноздрями приятный дымок и глотая слюни. — Гипнотизер отучил. Да вот послушайте.

Он с жаром стал рассказывать Марколавне про свое знакомство с врачом-гипнотизером, про те чудеса, которые наблюдал на его сеансах, и в заключение вновь выразил желание проделать опыты над неисправимыми.

— Попытка — не пытка, — добавил он.

Марколавна, пуская из носа дым, сказала:

— Ну что ж, попробуем.

XVI
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Как и всегда, утро началось проверкой. Во время переклички Панька Чечетка во всеуслышание отдавал проигранный свой долг: выстукивал ногами дробь, лаял по-собачьи: «Гаф-гаф-гаф, гаф-гаф, гаф!» Потом вскочил на подоконник и через форточку закричал во двор: «Ку-ка-реку-у-у!» Ему тотчас же откликнулись петушиными голосами все десять форток. К этому бытовому явлению надзиратели относились равнодушно. Они знали, что среди заключенных есть неисправимые картежники, проигрывающие все, вплоть до кукареканья и лая в момент проверки.

Культурник Денис умылся с мылом, выбрился и пошел с утра в редколлегию. Там уже сидел редактор Ровный.

— Денис, гляди-ко! Вот издают так издают. Не нам чета. Впрочем, что ж... Мы провинция.

На его столе — только что полученные журналы: «За железной решеткой», журнал (5-й год издания) заключенных Вятского исправдома, еженедельная иллюстрированная газета «Наше слово» Ленинградского 2-го исправдома, газета «Мысль заключенного» Витебского исправдома, очень живой журнал Ростовского исправдома «К новой жизни» и много других органов печати даже из самых захолустных мест заключения. Все они печатаются в типографиях, некоторые иллюстрированы.

Денис с обычной жадностью накинулся на них.

— Брось, брось, — сказал Ровный. — Валяй плакаты. Надо ребят мобилизовать.

Действительно, дела много: завтра торжественный спектакль. Нужны афиши, плакаты, программы на-

чальствующим лицам и гостям. Денис сбросил куртку, засучил рукава давно не мытой рубахи, принялся за работу. Вскоре выводной привел еще шесть человек, искусных в каллиграфии.

После обеда всех артистов погнали вне очереди в баню. Пристроился и Амелька Схимник. В бане, помещавшейся во внутреннем дворе, мылось человек с полсотни. У многих была татуировка, или, по-местному, «наколка».

Амелька знал, что вся «уголовщина» — рецидивисты, завсегдатаи исправительных домов — разрисовывает себя, как дикари.

Возле него мылся крепкотелый старик, отбывавший при царизме так называемые исправительные роты. Его зад, когда старик шел к крану за водой, возбуждал общий смех: на левой ягодице изображена мышь, на правой — кошка; на ходу, при движении мускулов, кошка как бы играла с мышью. У некоторых на груди, на руках, на спине сделаны изображения змей, крестов, голых женщин, якорей, пронзенных стрелою сердец. Были клейма с отвратительными порнографическими сценами. Иногда религиозные темы сочетались с порнографией. У одного широкоплечего вора изображены на груди в овале из кандальных цепей — головка женщины, три карты, бутылка, нож, внизу надпись: «Вот что нас губит».

Амельке припомнился нелепый случай в их камере. Лишенный свободы новичок, бывший матрос торгового флота, старался уничтожить позорную наколку на своей груди: двуглавый орел с короной и фразу: «Боже царя храни». Он с ожесточением до крови скреб ножом, тер лимоном — клеймо не поддавалось. Какой-то глупец посоветовал ему приложить на ночь к наколке мяса. Он так и сделал, получил заражение крови и умер в лазарете.

На груди Амельки тоже свежая, еще не поджившая наколка. На другой день после печального разговора с Ванькой Графом Амелька подрядил за три рубля спеца по татуировке, гравера Паньку Гуся:

— Нарисуй мне самое хорошенькое женское личико. Только на бумаге сначала.

Панька Гусь изобразил. Амелька всмотрелся и сказал:

— Нет, не такая. У той ямки на щеках и глаза большие. А губки маленькие.

Панька Гусь сделал на бумаге пять набросков. Амелька браковал и удивлялся, почему Панька Гусь не может угадать, что видит в своем воображении Амелька: «А еще спец!» Амельке же все время мерещилась та нежная, похожая на цветок в оранжерее девушка, из-за которой он навсегда порвал с злодеем Ванькой Графом. Ее образ неотступно преследовал Амельку; парень вздыхал, не находил себе покоя.

— Вот, вот такая... Сыпь! — взволнованно сказал он, когда Паньке Гусю удалось наконец поймать и запечатлеть его представление о девушке.

Панька перевел рисунок на грудь заказчика, связал пять иголок острием вместе и, обмакивая их в жидкую китайскую тушь, стал резкими глубокими тычками в кожу воспроизводить рисунок. Боль страшная. Амелька скрипел зубами, приглушенно охал, грыз руки. Он весь обливался потом, по груди текла кровь, смешанная с тушью, по щекам — слезы. Обступившая их шатия гоготала, изрекала сальности, несла всякую похабщину. Впадавший в обморок Амелька мужественно приказал сделать под портретом надпись: «Любимая».

В день спектакля актеры и многие из заключенных начисто выбрились и причесались. Четверо цирюльников из лишенных свободы стригли, брили, подкручивали усики местным донжуанам.

Новичок, брюханчик Петр Иваныч Ухов, игравший Осипа, и другие отбывавшие наказание буржуйчики брились в особой комнате у приходящего с воли парикмахера. Брюханчик, побрившись, пожелал выпить рюмочку одеколона. Выпив, он минут пять сидел неподвижно с открытым ртом. Из вытаращенных глаз ка-

тились слезы. Это случайно подсмотрел камкор Ананьев — и заметка в стенгазету была готова.

Амелька пришел из мастерской раньше обыкновенного. От него пахло сосновыми стружками и столярным клеем. Заложив руки назад, он взад-вперед в каком-то возбуждении вышагивал по камере. К нему подплыл большим кораблем Ванька Граф и заскрипел голосом, как в бурю мачта. Амелька не ответил, даже отказался съесть волшебное яичко. Ванька Граф увесисто сказал:

— В изолятор хотят меня перевести. Должно быть, улики большие нашлись по моему делу. Побаиваюсь, но не трушу. Думаю, что свидетелей не должно быть, значит — концы в воду, крышка. Понимаешь, шестую ночь не сплю. Все та девчонка грезится.

— Молчи, — буркнул Амелька, глядя на пол. — Уйди от меня. Не ходи со мной рядом. Дай мне, дай мне одному...

— Да ты что, лох?! — Ванька Граф, будто налетев своим кораблем на мель, враз остановился и схватил его за грудь.

Амелька рванулся, пуговки посыпались, и отошел прочь. Граф прикрыл ладонью глаза, опустил голову и стоял среди камеры в оцепенении, как столб. Мимо него — халат внакидку — прошел, поводя плечами, Дунька-Петр и как бы невзначай толкнул его.

— Легче! — ладонь Графа упала с глаз, как парус с мачты, он сдвинул брови, на скулах заходили желваки. — Ты что? Хряй дальше... Не отсвечивай.

— Я так, я ничего, — с задирчивым ехидством ответил Дунька-Петр, ошпарив Графа взглядом. Из рукава его балахона выглядывала гирька на веревке.

Обед прошел в крикливых разговорах о спектакле. После обеда началась чистка сапог и платья — пыль столбом. Отрепыши выклянчивали у зажиточных своих товарищей то пиджачишко, то штаны. Амелька выпросил у Петра Ивановича Ухова визитку с брюками: толстяку все равно играть на сцене Осипа, куда ему? Преобразившийся Амелька красовался перед сумеречным окном, как перед зеркалом. Ах, какой уютный пиджачок! Только широковат изрядно. Вот

фасон! Да неужели это он, Амелька, бывший вожак бездомной рвани?

И в его мечтах уже ведут единоборство два близких сердцу образа: той самой девушки, от обаяния которой он не мог освободиться, и полненькой мадамочки Зои Червяковой. Кто кого? Амелька припал лбом к холодному окну и выжидательно задумался. Призрак хрупкой девушки, как дым, проплыл в ничто; дебелая же бабища, колыхаясь телесами, уставила в него черные, как угли, грешные глаза. И дразнит, дразнит, чертова кукла, дразнит. А вот и морда Ромки Кворума. Хахаль Ромка поднес кулак к самому Амелькиному носу, по-цыгански кашлянул: «Кахы!» Амелька открыл глаза и... все исчезло.

— Собирайтесь на спектакль! Стройся!

Заключенные вскочили, высыпали в коридор и шустро выстроились в две шеренги вместе с заключенцами других камер. Вид у всех бравый, франтовской. Глаза горят жадным до зрелищ блеском. Блестят и сапоги. К позаимствованным Амелькой выутюженным брюкам не идут его трепанные курносые бахилы. Но это ничего, — он смачно начистил их для форса ваксой.

— Предупреждаю, ребята, — напутствовал заключенных выводной надзиратель, трогая по-военному — концами пальцев — свои усы вразлет, — предупреждаю, чтоб был строгий порядок: в театре не курить, не выражаться, мебель ножами не резать и женщин в потемках не трогать, вообще чтоб была видна ваша цивилизация.

Заключенные направились чинно, по два в ряд. Войдя в сверкающий огнями зал, они стадом бросились на места взахват. Впереди уже сидело десятка полтора мальчиков пятнадцати — семнадцати лет, однако имеющих «взрослые» сроки: год, два, три. За ними — четыре ряда женщин со своими надзирательницами. А дальше, вплоть до задней стены, сплошная масса заключенных, одетых кто во что горазд.

Амельке удалось забраться в первый за женщинами ряд. Почувствовав себя свободным франтом, он с особым удовольствием отдался созерцанию. Очень

забавным показалось ему, что все стены небольшого театра покрыты изображениями святых угодников, ангелов, серафимов, херувимов, что портреты Маркса, Сталина и Ленина разместились вперемежку с грозными библейскими пророками, портрет Луначарского — на стенной картине «Сошествие во ад». Над кумачовым плакатом: «Уничтожение классовых врагов есть залог будущего счастья человечества» — золотилась церковно-славянская вязь: «Благословляйте ненавидящих вас». Сопоставление новой и старой морали ввергло Амельку в недоумение, но он все же улыбался.

Вдоль стен — библиотечные, набитые книгами шкафы. Батюшки, батюшки! Да какая же масса на свете книг! По телу Амельки разлилось тепло, в голове взметнулась жажда любопытства.

— Вот где премудрость-то во щах, — сказал он самому себе и положил в сердце новую замету, что без книг человек — животное.

Зал гудит, покашливает, чихает. Шкеты пересмеиваются, затевают украдкой возню. Женщины сидят степенно, иногда оглядываются назад ради любопытства или чтоб высмотреть знакомых.

Амелька воззрился. Впереди него, шестая от края, — Зоя Червякова. Амелька едва узнал ее. Она в голубой шелковой кофте. Шея и наполовину открытая спина напудрены. Черные косы скручены на голове в тугие кольца, как куча змей. Да она ли это? Она, она. «Ах, Зоечка!» Амелька облизнулся и, как с верхним чутьем собака, потянул ноздрями воздух: «Она!»

Легкодумный парень, мысли которого скачут, как блохи, сразу забыл весь мир: книгу, волю, мать. Даже мечта о прелестной девушке провалилась в тартар. «Задушили? Так ей, буржуйке, и надо». В Амельке бушевала теперь весенняя страсть: она завладела им всем, вплоть до начищенных вонючих бахил. Глаза неотрывно острились на Зою; рассудок стал узким, сердце широким. Вот-вот бросится он на пол и меж скамеек проползет змеей... Ну, обнять бы украдкой, ужалить толстогубым ртом шею, пониже змеиных кос. Ах, Зоя...

Сзади Амельки сплошной стоял шум. Будто тысяча псов, подняв хвосты, ворчали один на другого. Вопросы, ответы, разговоры по душам, тихая ругань, просьбы одолжить на закур махорки. И многие, скорчившись ныряя под скамьи, курят запретный табак. Надзиратели ходят взад-вперед, пресекают бесчинства.

А там, в камерах, остались старики да больные. Им не к чему идти на люди, в зал, где шатия «ломает комедь», гогочет. Им и здесь ладно: шатия ушла, по крайности часика три-четыре спокойно будет. Два заключенца-крестьянина — один по церковным делам, другой — кулак (хлеб в землю закопал) — ведут разговоры про мужичью жизнь: весна идет, маслянка, пасха, а там и сев. Охо-хо... А тут сиди. Колокола снимают, церкви закрывать хотят. Да, да, дела-а-а...

На нарах, у стены, лежит равнодушный ко всему старый каторжанин, горбун Леший. Со злобой в глазах он прислушивается к говору крестьян и от нечего делать плюет в противоположную стену. Плевок за плевком, описывая пятисаженную траекторию, пролетает над головами мужиков. Двое у лампочки, сдернув рубахи, ищут паразитов. Длинноволосый, похожий на странника субъект пишет письмо, вздыхает. Он известный бродяга.

— Надо бежать... — прерывая письмо, мечтает он вслух. — Я люблю шляться. На одном месте завоняешь...

Веснушчатый чахоточный парень читает томик Глеба Успенского. Чумовой лежит на животе, сопит... Тихо, мертвенно в камере, скучно.

Бьет шесть часов. Сверкнули отраженными огнями стекла боковых дверей: в зал входит начальство, гости. Их встречают сотни внимательных, злобных, завистливых, осуждающих, ласковых глаз.

На просцениум бодро вбегает седобородый заведующий домом заключения.

— Товарищи! — кричит он в зал, но осекается. — Граждане заключенные! Исходя из аксиомы, что «бытие определяет сознание», советская власть не смотрит на вас как на людей обреченных. Вы не падшие, не вконец погибшие для государства люди, как смотрел на вас старый, будь он проклят, режим. Нет! Вы просто временно утратившие инстинкт здоровой жизни, вы — люди с ослабленной волей, развращенной классовыми противоречиями жизни. В вас говорит наследие старого, но вы в местах заключения получаете закалку воли, физическую и умственную работу, разумный отдых. Где это, в какой стране видано, чтоб арестант, вор, насильник, растратчик, убийца сидел без кандалов в театре и смотрел первоклассную пьесу Гоголя в первоклассном испол... виноват... в исполнении своими же силами? Нигде! По секрету вам скажу — нигде в мире!..

Кто-то продекламировал с места:

Попали мы рецидивистами, а выйдем артистами.

Музыка заиграла «Интернационал». Все встали.

Затем потушили огонь. Первое действие прошло хорошо. Дали свет. Амельки на месте не оказалось. Он сидел среди женщин рядом с Зоей. На его голове красный платок, повязанный по-женски. И широкое лицо его стало румяным, курносым, большеротым, как у тамбовской толстопятой девки. Он под руку, плечо в плечо, с Зоей, а свои ноги с ловкостью акробата он закорючил так, что испачкал ваксой белые Зоины чулки сверху донизу. У правого чулка подвязка лопнула, чулок спустился к башмаку хомутиком. Зоя сияла, раздувая ноздри: финифтяная брошь — подарок Ромки — на высокой груди возносилась и, как челнок, ныряла.

Второй и третий акты пьесы тоже прошли весьма благополучно. В четвертом случился казус. Хлестаков (вор-налетчик Ганька Гвоздь) крадучись наугощался за кулисами большой дозой самогона. Роль пьяного Хлестакова он провел в третьем действии до удивленья натурально, заслужив громкие аплодисменты

восхищенных зрителей. Далее полагалось Хлестакову по пьесе после сна выйти трезвым, но Ганька Гвоздь не проспался и в четвертом действии вылез на сцену совершенно пьяный. Марью Антоновну, дочь городничего, он едва не зацеловал сначала в крашеные губы, потом куда попало. От такого нахального насилия она забыла роль и стояла перед вбежавшей матерью вся в слезах, растерянная; напудренное лицо ее сплошь покрыто следами слюнявых поцелуев. На пышную же Анну Андреевну Хлестаков накинулся с таким безудержным пылом, что у той слетел парик, в двух местах лопнула кофта; в зале же послышался угрожающий вопль Митьки Хлебореза: «Зарежу, сволочь!» — а самого Хлестакова выскочившие актеры уволокли со сцены под руки.

Помощник заведующего домом, хорошо справлявшийся с ролью Тяпкина-Ляпкина, встряхнул за кулисами Хлестакова и крикнул ему в рот:

— Я тебе покажу, наглец!

Хлестаков хватил нашатырю и, немного отрезвев, кое-как докончил действие.

Пятый же акт, когда весь зал потонул во тьме, омрачился непредвиденным событием.

Городничий в беседе с супругой едва успел произнести: «Постой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?» — как в темном зале раздались в двух местах сначала резкий крик, потом выразительный стон, и что-то тяжелое упало на пол.

— Что это? Свет! Свет! — зашумели зрители.

Вспыхнули люстры. Опустили занавес. Забегали надзиратели. Все повскакали с мест. В среднем проходе, возле третьей от края скамьи, валялся на полу ниц Ванька Граф. Из его поврежденного затылка текла кровь.

А рядом с побледневшей Зоей сидел, свесив на грудь голову, Амелька. Глаза его закрыты. Он отфыркивался и хрипел. Дежурная сестра одной рукой поддерживала его голову, другой совала в нос флакон с нашатырным спиртом. Амелька пришел в себя и

поднял голову. Державшая Амелькин затылок рука сестры была в крови.

Раненых увезли в больницу.

Снова погасли огни, поднялся занавес. Пьесу почти никто не слушал. Весь зал шептался, обсуждая событие. Дунька-Петр сидел истуканом, незряче смотрел на сцену, ничего не видел и не понимал. Свою гирьку на бечевочке он в суматохе пустил по полу к самой сцене.

А там, на сцене, орал городничий на купцов. Ирония судьбы устроила так, что городничего играл майданщик из третьей камеры, Сашка Богатый, а его неоплатные должники, которых он жестоко эксплуатировал, исполняли роль купцов.

— «А! Здорово, соколики!» — свирепо загремел на них Сашка Богатый. Он роль знал «назубок».

— «Здравия желаем, батюшка», — смиренно поклонились несчастные купцы.

— «Что, голубчики, как поживаете? Как товар идет ваш? Что, самоварники, аршинники проклятые, жаловаться?!» — во всю мочь заорал Сашка по Гоголю и тихонько обругал купцов по-непечатному. — Жаловаться, протоканальи?! Жаловаться, архибестии?! Жаловаться, козлиные бороды?!

Купцы не на шутку испугались: они действительно дважды жаловались на майданщика Сашку Богатого начальству дома заключения.

— Что, много взяли, сволочи паршивые, арестантские ваши морды?! А?! — сбившись с гоголевского текста и не слушая старательного шипения суфлера, валил от себя Сашка Богатый и топал так, что шпора от его ботфорта улетела за кулисы. Купцы трепетали. — «Вы думали, вот так в тюрьму меня и засадят?.. Да знаете ли вы, — семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...» Да ежели вы не заплатите мне долга, да я вас, ироды... убью?! — И Сашка Богатый стал лупить купцов кого по загривку, кого в рыло.

— «Ах, боже мой, какие ты, Антошка, слова отпускаешь...» — всерьез испугавшись, кричала Анна Андреевна.

— «А не до слов теперь!» — расшвыривая купцов по углам, орал городничий. Избитые купцы кувыркались за кулисы — кто в дверь, а кто торчком сквозь декорацию.

Энергичная игра городничего овладела вниманием всего зала. Зрители раскрыли рты и таращили удивленные глаза. Но тем не менее, когда спектакль закончился, к начальству полетели передаваемые из рук в руки записки. Их общий смысл:

«Просим приглашать артистов с воли. Наши не могут».

Начальник опять взобрался на просцениум и заявил:

— Товарищи... то есть граждане! Ваше желание будет исполнено. В скором будущем в этом зале состоится концерт известной артистки Марии Заволжской.

— Ура!.. — ответил зал.

XVII

В БОЛЬНИЦЕ

Ванька Граф пробыл в больнице десять дней в отдельной камере и как тяжкий преступник — под строгим надзором. Амелька же — около недели в общей палате. Старая трехэтажная больница, обнесенная полуразрушенной оградой со сторожевыми вышками, помещалась на берегу реки, столь знакомой нашему Амельке.

Общий надзор здесь, конечно, значительно слабее, чем в доме заключения: днем больные ходили друг к другу в палаты посмеяться, поиграть в картишки; они собирались также на лестнице и в полутемных коридорах. Здесь отсутствовал режим, так тяготивший обитателей дома заключения. Да к тому же отсюда много легче бежать. Поэтому заключенцы считали особым счастьем попасть сюда. Так, некоторые лов-

качи умело прикидывались сумасшедшими, эпилептиками, — их брали на испытание, потом с позором выгоняли. Таких неудачливых «филонщиков» товарищи встречали злорадным смехом.

— Тю-тю-тю!.. Сорвалось... Плохо филонили. Что, Мишка, опять в ум вошел? Кусаться будешь? Псих паршивый!

Иные впрыскивали себе в ногу, в руку керосин, молоко; получалась местная флегмона, ногу или руку раздувало, появлялись гноящиеся раны. Этих симулянтов брали в больницу, но заживление язв протекало медленно: чтоб дольше пробыть в больнице, симулянты всячески растравляли свои гнойники.

При Амельке был такой случай: в их палате ночью поднялся длиннолицый парень лет двадцати пяти, Сенька Рукосуй. Сел на койке, мрачно осмотрелся, — все спят, — надел туфли и быстро прошлепал в уборную. Амелька знал, что Сенька совершенно здоров, что завтра его выписывают из больницы. Вдруг в уборной кто-то застонал. Туда бросились надзиратель и сиделка. Они вывели Сеньку под руки, вся его рубаха залита кровью, на шее — рана. Он разбил в уборной стекло и осколком нанес себе опасное ранение. Его увели в операционную. Через час он лежал рядом с Амелькой, шептал ему:

— Остаться здесь очинно хотелось. Ведь я не до смерти. А больно, больно, брат.

Больница считалась образцовой. Возглавлял больницу искуснейший хирург, общий любимец заключенных. Он многим спасал жизнь, но случалось, что нет-нет кто-нибудь да и «загнется».

Однажды по коридору шумно шагала партия больных, заглядывала в палаты, оповещала:

— Дядя Матвей загнулся ночью, дядя Матвей загнулся!.. В ящик сыграл!

На третий день после ранения пришлось «загнуться» и незадачливому Сеньке Рукосую. От грязного стеклянного осколка получилось общее заражение крови; умер в муках, у Амельки на виду.

Амелька задумался над человеческой смертью: раньше она была ему только непонятна, теперь — и

непонятна, и страшна. А что ж дальше? Чувствует ли что-нибудь этот успокоившийся парень? Что ж он: говядина, гниль, жратва червям? И все Амелькино существо обливалось холодным ужасом. Но какой-то лживый голос шептал в жадные его уши: «Умирают другие, а ты никогда не умрешь, никогда не умрешь». Амелька, обманывая свое сознание, старался притвориться, что этому голосу верит, но сосед-мертвец с открытыми пустыми глазами опять наводил на его сердце оторопь. Тогда Амелька сразу повертывал спасительный рычаг воображения на другое: ясно представлял себе Зою Червякову, как сидел с ней плечо в плечо, как целовал ее горячие губы. Еще представлял он себе цветистое поле, лес, тихую, в ленивой дреме, реку, шумный блеск города, гудки фабрик, грохочущий поезд, Крым. Его сердце вновь начинало биться сильными ударами; темное размышление о смерти тонуло в бездне. Мертвец отворачивался и, закрыв глаза, исчезал. Амельке снова с нетерпимой жадностью хотелось вечно жить, жить во что бы то ни стало... Да, он бессмертен!

Амелька — почти самый тихий, обходительный и ласковый из всех обитателей больницы. Он сразу же по-дружески сошелся с больничными сестрами, с сиделками. Он заинтересовал их рассказами о своей прошлой жизни, они — своим житьем-бытьем.

— За что же тебя ранили-то, сердягу?

— По собственной глупости, Ольга Петровна, по кой-каким сердечным делишкам, сам виноват.

Ольга Петровна, пожилая, с приятным лицом сестра милосердия, удивленно прищуривает на курносого парня серые глаза и деликатно замолкает.

В одной из палат Амелька услыхал чей-то ругательский крикливый голос. Он заглянул туда. На крайней койке сидел парнишка лет шестнадцати с испитым лицом. Вытянутая вдоль койки правая нога его положена в лубок и залита гипсом. Возле него Ольга Петровна и сиделка. Он беспризорник. Недели две тому назад его доставили сюда с железной дороги.

— Снимай гипс, снимай, мокрохвостая! Все равно уйду. Черти, дьяволы, легавые!! — кричал мальчишка, расшвыривая по палате подушки, одеяло.

— Как ты можешь уйти, если у тебя еще не вполне срослась нога...

— Уйду, уйду... Давай доктора сюда, я набью ему морду. Я ему по кумполу блямбу дам. — Продолжая кричать и ругаться самыми непотребными словами, он запустил кружкой с чаем в окно и, заскрежетав зубами, заплакал. — Мучители вы! Жулики! Гады!

— Ша! Заткнись! — раздраженно шагнул к нему Амелька.

— А ты кто таков, гад?..

— Я Амелька Схимник.

Парнишка вопросительно затих, мускулы капризно исковерканного лица его стали спокойны, он сказал:

— О?! Который под баржей вожак был?

— Ну да. А ты кто?

— Наша камунья в чихаузе жила, у бана.

— Как ногу повредил?

— В Крым винтил. С поезда оборвался, с максима.

— Лежи смирно, не бузи. Для тебя ж, дурака, стараются. Раз мосол в ноге хряпнул, лежи, срастется...

Мальчишка лег, затих. Обиженные губы его несмело шептали:

— На волю охота, к своим, к боржомщикам... В Крым охота, на Капкас.

Ночью, когда палата заснула, он приподнялся на койке и до самого утра мучительно старался освободить от лубка свою больную ногу. В ход были пущены зубы, когтистые руки, металлическая ложка и адское упорство. Вдвое перегнувшись и обливаясь потом, он, как волк, грыз зубами гипс; сплевывая, вновь грыз. Раненные окаменевшим гипсом десны его сочились кровью; от сильного напряжения немели мускулы спины; из-под сорванных ногтей тоже струилась кровь. Наконец свобода. Едва разогнув спину, он встал на обе ноги и пошел к двери. Плохо сросшаяся нога, хрустнув, подломилась; мальчишка с звериным криком упал без чувств.

Как-то метельной, после ростепели, ночью один за другим раздались за стенами, во дворе, четыре выстрела и следом — тревожные звонки по всем коридорам враз. Видимо, случилось нечто необычное. Так оно и есть. Вскоре верхним коридором протащили на носилках в операционную чернобородого человека. Амелька отвернулся от его убийственного взгляда. Стиснув зубы, больной молчал, всем грозил глазами. Из его безумных, расширенных зрачков бурей неслась голая ненависть ко всем и к самому себе. У него сломана нога, расколота коленная чашечка, повреждено плечо. Раздробленная ключица, прободав ткань, произвела разрыв верхушки легкого. Больной хрипел, но не стонал. Ранение опасно. Требовалось вмешательство опытной руки хирурга. Молодой врач, ассистент, жалея тревожить глубокой ночью главного врача, все-таки вынужден был позвонить ему. Было два часа тридцать минут ночи. Без четверти три профессор подкатил на автомобиле. Сон, усталость, издерганность частыми ночными вызовами — он все это стряхнул за пределами больницы и вошел в операционную бодрый, изнутри светящийся, уверенный в себе.

Лежавший на операционном столе чернобородый жутко, озлобленно кричал на всю больницу:

— Режьте ее, дьявола, режьте прочь! И меня режьте! Не хочу жить!

Их бежало двое. Они залезли на чердак, где сушилось белье: из разодранных простынь свили длинный жгут. Первый беглец спустился благополучно, накрылся простыней и через белую снеговую бурю, белый сам, незаметно прополз мимо сторожевых вышек, выбрался на реку, бежал. Под вторым, чернобородым, жгут сразу лопнул. С высоты трех этажей, прорезав грузным телом вьюжный вой бури, он пал на землю и расшибся.

Под впечатлением больничных встреч и наблюдений душевное равновесие в Амельке вновь заколебалось. Амелька чует, что мальчишка-шкет с переломленной ногой и этот разбившийся до полусмерти бородач — оба они сгорают в тоске по свободной жизни. Амелька вполне сочувствует их упорному стремлению

завоевать волю и робко ставит пред собой соблазнительный вопрос: не увинтить ли и ему? Перед Амелькой вновь — и в последний раз — развернулся свиток прошлых дней уходящей его юности. Свобода, ширь! А что же дальше? И встал перед ним грозный бандит Иван Не-спи. Пусть он убит, пусть расстрелян, но разве на его место не найдутся сотни таких же злодеев! Нет, плохо, несподручно, гадко. Уж лучше как-никак освободиться по-хорошему. А Крым? А воля? А сладкое летичко идет? «Мамка, родненькая, не дай загинуть...» Так до утра ворочался он на мягкой койке, борясь с самим собой. В полузабытьи видел мать. Медленно проплыла мимо него в улыбке, но ни слова, ни ответного движения...

Солнечным днем, выпив чашку ячменного кофе, Амелька мечтательно стоял возле окна, выходившего на широкую улицу. С неба лил сплошным потоком голубоватый апрельский свет; остатки вчерашней бури быстро исчезли; в канавах, играя, клубились ручейки. Прохожие распахивали шубы, щурились на солнце, снимали шапки, вытирали рукавами вспотевшие лысины.

Вдруг дробь барабана, и мимо Амелькиного взора потянулась длинная цепь школьников. Впереди, надувая щеки, потряхивая головой и азартно ударяя колотушками в брюхо барабана, важно вышагивал Инженер Вошкин. Амелька — как взбесился: вскочил на окно, со всех сил призывно застучал в раму, спрыгнул, бросился, сшибая с ног встречных, вдоль по коридору, опять вскочил на крайнее окно, где фортка, хотел крикнуть в улицу, вдогонку малышам, но те успели свернуть за угол.

Лицо Амельки сияло печальной радостью, как осеннее солнце чрез туман.

— В брючках, в пальтеце... честь честью... Вот парнишка. Эх, рад я!.. Значит, все благополучно, жив.

Ольга Петровна охотно отозвалась на любознательность Амельки и выхлопотала ему возможность присутствовать на одной из сложных операций. Он

предварительно осмотрел операционную палату с огромными зеркальными окнами, светлую, теплую, сверкающую несравненной чистотой и хирургическими, в настенных шкафах, инструментами. При виде множества блестевших холодом ножей, ланцетов, пил, щипцов сердце Амельки обмерло таинственным, разлившимся по всему телу страхом. Вот на резиновых колесцах три белых операционных стола. С потолка свисали сильные лампы-прожекторы. Такие же лампы на особых стойках приспособлены для бокового света. Там — печь и особый металлический паровой шкаф для обеззараживания хирургических инструментов сильным паром.

Ольга Петровна ввела Амельку в кабинет главного врача. Амелька низко поклонился угрюмому хирургу и с робостью сказал:

— Гражданин профессор, усердие есть вашу работу посмотреть. Разрешите, пожалуйста.

— Посмотри, брат, посмотри, — взглянув на него, басом ответил главный врач. — А ты не боишься?

— Что вы, нет-с...

Профессор коренаст, кривоплеч, сутуловат, с седеющими усами и небольшой бородкой. Утомленное лицо оживлено выразительными, из-под хмурых бровей, серыми глазами. В них одновременно и какая-то большая тоска, и чуть насмешливая улыбка, и вера в свой гений. Амелька, не шелохнувшись, стоял у дверей.

— Сядь. В ногах правды нет, — просто сказал профессор. — Я сегодня четыре операции сделал, устал. Садись!

— Мы привычны, постоим, — сказал Амелька, но тотчас же подумал, что, может, невежливо стоять, когда приглашают сесть, и опасливо опустился на край табуретки. «До чего обходительны!» — опять подумал расчувствованный парень.

Профессор глотал крепкий чай и без передыху курил. Вновь вошла Ольга Петровна.

— Ну-с? — встретил ее профессор.

— Ваш больной в маске. Засыпает.

— Так-с! — И профессор быстро, тщательно стал мыть руки горячей водой, сулемовым мылом, щеткой. Насухо вытерев кисти рук стерилизованным полотенцем, он предоставил их в распоряжение сестры. Та смочила их спиртом, а кожу на пальцах при основании ногтей смазала йодом. Чтоб ни к чему не прикасаться, кроме хирургических инструментов и дезинфицированного бензином тела больного, профессор вытянул руки вперед, как архиерей при облачении. Сестра накинула на хирурга белейший халат и проворно застегнула его.

— Больной уснул, — доложила, входя, другая сестра.

— Идем!

Перед профессором широко, одна за другой распахивались двери; он твердо шел на бой со смертью.

Амелька больше не слышал ни своего порывистого дыхания, ни взволнованных ударов сердца; он плыл за профессором, как в облачном тумане. Он тоже оделся в белый халат, и стал, как ему было указано, на невысокую длинную скамью с перильцами впереди. На этой скамье, помещенной на сажень от операционного стола, шестеро молодых людей, студентов-медиков.

Был вечер. Огни горели ярко. Весь в потоках света, лежал на столе заснувший, с наркотической маской на носу, безобразный своим телом, оголенный больной. Ноги, руки, шея, грудь — это кости, обтянутые кожей. Зато чрезмерно вздувшийся живот пухлой горой возвышался над столом. Донельзя напряженная сизо-серая кожа на животе лоснится, вот-вот лопнет. На двух других столах работали ассистенты со штатом сестер и фельдшеров. Вытаращенными глазами Амелька видел, как на дальнем столе кому-то отпиливали пораженную гангреной потемневшую ногу. Кровь со стола убиралась тампонами из марли, тампоны бросались в окровавленный таз. Что делалось на третьем столе, взволнованный Амелька не приметил: кровавым туманом подергивалась палата; шумело в ушах; гулял мороз по коже. Раскаиваясь, что пришел сюда, он

перевел испуганные лихорадочные глаза на профессора.

— Ну-с, — низким, с хрипотой, голосом обратился профессор к студентам. — У этого больного печень поражена так называемыми эхинококками, попросту говоря — собачьими глистами. Они размножаются очень быстро... Впрочем, все это должно быть известно из лекций... Ну-с... — И профессор кивнул Ольге Петровне.

Та ловко посадила на большой профессорский нос пенсне. Ассистент наблюдал пульс больного, сестра от времени до времени покапывала на маску уснувшего из коричневого флакона хлороформ.

— Ну-с... — И профессор, как бы играя, ловко полоснул по вздувшемуся животу ланцетом. Живот охнул, фукнул и опал. Палата стала наполняться смрадом. Амелька обомлел: края бескровного, от паха до ребер, взреза ассистент и сестра ужали щипцами, распялили, и лаз в утробу широко разверзся. Больной сонно замычал. Во рту Амельки сразу стало холодно: отхлынула кровь от головы. Профессор запустил обе руки в рану и пригоршнями вытянул наружу кольчатый ком скользких, змеями блеснувших кишок. Амелька вцепился неживыми руками в перильца, ноги его осели, он простонал «сестрица» и, слабо сопротивляясь самому себе, повалился в бездну.

На четвертый день он зашел в палату выздоравливающего. Ему лет под пятьдесят. С желтого, иссохшего лица глядели два больших светящихся новой жизнью глаза и заострившийся птичий нос. Вот раскрылись, почмокали волосатые губы; больной тихо сказал:

— Спас, спас... Ах, он, желанный, дай ему бог здоровья, — и перекрестился.

— А я, понимаешь, не вынес... — замигал Амелька. — Как баба, на пол — хлоп. То есть совестно профессору на глаза теперь...

— Два часа пластал меня... Все в порядок приобрел... «Ну, живи, старик», — говорит. Вчерась подходил ко мне. Ах, душа, ах, душа...

Неделя жизни в больнице не прошла для Амельки даром. За этот короткий срок он многому научился, подвел кой-какие итоги своим думам, сам страдал и видел страдания других. Люди ему стали ближе, родней, понятней. Нож хирурга на его глазах делал чудеса: больные исцелялись, умирающие воскресали. Амелька теперь крепко верил во врачебную науку, в неустанный труд ученых, идущих навстречу человеческому горю и страданию.

XVIII
«ПРАВИЛКА». ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Меж тем камкоры, воодушевленные культурником Денисом, вскоре точно установили личности хулиганов, поранивших товарищей: Дунька-Петр и Ромка Кворум после ряда уверток, запирательств все-таки сознались. Дело о них поступило на товарищеский суд. Решением суда хулиганам объявлялся строгий выговор и полный бойкот в продолжение десятидневного срока. Общее собрание заключенных, прошедшее с большим шумом, вплоть до истерик с женщинами, одобрило постановление суда. Начальство же, утвердив приговор, засадило хулиганов на неделю в карцер и в их кондуитах сделало суровые отметки. Дунька-Петр в раскаянии хныкал, Ромка Кворум ухом не повел.

В этом провинциальном доме заключения существовал еще свой тайный особый суд, «правилка». Постановления «правилки» безапелляционны, иногда чрезмерно жестоки, вплоть до смертной казни. В домзаке кровавый приговор приводится в исполнение очень редко. Зато, когда приговоренный получает волю, его ждет расплата даже и в том случае, если б он совершенно изменил свою внешность и профессию — все равно, где бы он ни был, он всегда под угрозой смерти.

«Правилка» состояла из четырех человек и помещалась в грязнейшей камере № 9, набитой, как погреб льдом, самой преступной шатией.

Совесть этих так называемых злодеев сильно возмутилась выходкой двух хулиганов, изувечивших собратьев по высидке. Приговор товарищеского суда они считали слишком мягким и требовали правого суда «правилки».

— Как! Избивать своих?! — орали они. — Припаять их, варнаков... Да покрепче!

Председатель, или главарь «правилки», — старорежимный каторжанин, коптивший на своем веку многие тюрьмы и этапы Сибири и бог весть каким чудом уцелевший от смерти. Этого кряжистого горбуна с медвежьей косолапой походкой зовут Лешим. Он бородат, лохмат и неимоверно грязен — никогда не ходит в баню, не меняет белья, поэтому носит в себе букет неистребимой тошнотворной вони. Подобно Ваньке Графу, он свою камеру держит в страхе, у малосильных отбирает вкусные куски из передач. Его ненавидят и боятся. На стене над нарами, где он спит, кто-то сделал оскорбительную надпись «ша-кам», что означает «шакал камеры», обироха. Как и у многих бандитов, у этого злодея угрызения совести отсутствуют. И раньше и теперь Леший смотрит на разбой как на профессию. Не ради убийства он лишает человека жизни, а потому, что обреченный человек подвернулся под руку, помешал работе: пришлось убрать как лишнюю вещь. Не убивать он шел, а грабить. Да и самый грабеж — не преступление, а профессиональное дело.

Четверо судей при участии главаря «правилки» уселись ночью в темном углу камеры, возле зловонной «параши», и вели переговоры тайным шепотом, обиняками, чтоб не было лишнего шума — «шухера». Впрочем, говорили только трое, Леший же не проронил ни слова, только гукал, словно лесовик, и сипло покашливал. Запустив за лохмотья корявую лапищу, выуживал оттуда паразитов. Вшей давил на ногте, блох сажал в заросший серой шерстью рот, сладострастно растирал зубами лишь блошиные лапки и искалеченных выплевывал живьем: «Поди-ка поскачи».

Тайный этот суд, длившийся не более пятнадцати минут, постановил: «Первый раз публично надавать обидчикам по морде, а ежели второй раз такая пакость приключится — бить в темном месте тяжким боем, а в третий — вышка, смерть». Рано утром приговор «правилки» был известен всему дому.

Когда лишенные свободы шли на работу по цехам, два временных палача из камеры № 9, злостные рецидивисты-воры, остановили Дуньку-Петра и Ромку Кворума:

— Стой, не шевелись! «Правилка»!

И с маху, со щеки на щеку, пять публично нанесенных резких оплеух, от которых затрещали скулы провинившихся. Со всего двора раздались сдобренные злобой поощрительные выкрики, улюлюканье, смех, свист.

— Так их! Так! Спасибо «правилке»: выправляет!..

Вместе с Дунькой-Петром и Кворумом в карцер отвели и палачей этих жертв тюремной общественности, змеей прокравшейся из старого быта в новый.

Окрепнув, Амелька с Графом выписались из больницы и снова водворились в своей камере. Ваньку Графа вскоре увели в город, к следователю. Вернулся он мрачный, постаревший, дрогнувший духом.

— Ни черта, — сказал он сидевшему за книгой Амельке. — Сойдет. А ловко сбивает, дьявол... Только шиш с меня возьмешь... Поди-ка докажи! А ты языком треплешь: «Пошто девку задушил!..» Дурак!

Амелька сощурился и ничего не ответил Графу.

Тот положил ему руку на плечо:

— Слышишь... Ты чего это?

Амелька рывком плеча сбросил чужую тяжелую ладонь: прикосновение Ваньки Графа, этого убийцы, палача, все еще вызывало в нем гадливость. Граф понял настроение бывшего приятеля, круто повернулся и, лениво переставляя слоновьи ноги, пошел в свой угол.

Амелька углубился в прерванное чтение. Спектакль послужил ему на большую пользу. Он добыл книгу «Ревизор» и всякую свободную минуту читал комедию для себя вслух. Его лицо то улыбчиво, то строго. Иногда Амелька вдруг захохочет — тогда все с непонятным недоуменьем посмотрят на него. Но Амелька посторонних совсем не замечает; его странный смех и особая жизнь в глазах — теперь вне этой камеры. Амелька отделен от сегодняшнего дня отрезком времени в сто лет: он весь во власти гоголевских дней, он потешается над отшумевшим прошлым и нимало не грустит о нем.

Время идет, весна на крыльях. Кто-то видел ранних грачей.

Культурник Денис доставляет Амельке все новые и новые книжки, брошюрки и подолгу с ним беседует. Да и сам Амелька частенько ведет разговоры насчет жизни то с преподавателем политграмоты, а то и с самим заведующим учебной частью. Амелькины знания шли вширь и вглубь. Его стали интересовать социальные вопросы, о чем учит Ленин, откуда он взялся, куда зовет. Ему многое еще было непонятно, он не всему слышанному верил, многое брал под подозрение; он двигался по учебе спотыкаясь, с оглядкой, неуверенно, но все же шел вперед. Поднявшись на доступные ему высоты и серьезно размышляя над прочитанным, Амелька ощутил ту пропасть, в которой он столько времени барахтался, как слепой щенок. Ему стало страшно за прошлое, больно и обидно. Вот если б теперь ему, кой-как прозревшему, выбраться на волю, он разыскал бы во всех надземных и подземных преисподнях бывших своих дружков и подначальных, скликал бы на пуп земли всю шатию, бросил бы оземь шапку и сказал бы: «Братцы! Уходите скорей из этой гибели в работу, в свет, становитесь немедля в ряды трудящихся. Поверьте мне, братцы, не обманываю вас. Я теперь, братцы, все вижу, все знаю, все чувствую!»

В такие подъемы духа Амелька с жалостью вспоминал своих приятелей: Фильку, Дизинтёра, Инженера Вошкина и многих, многих. Об их житье-бытье он не имел теперь ни малейшего понятия, он не знал, что...

...К Фильке, когда он вместе с Дизинтёром притулился на бревне, чтоб в перерыве меж работами позавтракать, подсели два парнишки из станицы — Фролка Петров да Васька Ягодкин, комсомольцы. Они тоже работали на стройке и тоже примостились завтракать.

Рыжий, веснушчатый Васька Ягодкин, прожевывая соленый помидор, сказал Фильке:

— Слышь-ка, как тебя, Филипп!.. А пошто ж ты, парень не дурак, а в комсомол не записываешься?

— По тому по самому и не записывается, — недружелюбно засопев, ответил за него Дизинтёр и пренебрежительно отплюнулся. — Где у вас, у паршивцев, бог?

— Бога у нас, конешно, нет. Зато другое прочее есть...

— Что же есть-то? — сощурил глаза Дизинтёр и перестал жевать.

— Ленинизм, например. Новый быт, например. Программа.

— Да мужику-то все это надо или нет?

— А как же! — крикнули оба комсомольца. — Вот мы, например, мужики.

— Еще у вас в ухе не кругло... Еще у вас молоко на губах...

— Ладно, ладно... Мы губы вытрем. Усы полезут да борода, вот что... Старичье передохнет, вся наша воля будет. Равненье по справедливости, труд всеобщий. Читал, что Ленин говорит? Да ты, наверно, и читать-то не смыслишь. По роже видать...

— Дураки, зазнайки, пузыри с горохом: трын-брын, а толку нет. — Дизинтёр рыгнул, снял шапку, демонстративно помолился на восток, взял котомку и вразкачку пошел прочь.

Комсомольцы усмехнулись. Васька Ягодкин сказал:

— Большой, а несознательный. Башка не вырабатывает. Трухомет.

Филька вопросительно во все глаза глядел на них, ждал обиды, помаленьку выпускал, как кошка, когти.

— Ты знаешь, у вашего хозяина, у кулака... — начал Фролка Петров, но Филька оборвал его:

— У нас нет хозяина. Мы сами себе хозяева. Мы только кормимся у него за деньги.

— Это наплевать... Вот ихняя Наташка, например, хоть девчонка, а с понятием.

— А что? — И сердце Фильки дрогнуло.

— А вот то́. Она в кандидатках у нас ходит. Ежели крест с себя снимет, в комсомол примем. Она желает, только матки с батькой боится. Ну, мы ее распропагандуем: не уйдет.

— Навряд ли, — горестно подумав, ответил Филька. — У ней своя вера, беспоповская...

— Ха, чудак!.. Да и у нас беспоповская вера. Мы нашему попу завсегда неприятности устраиваем: то в стенгазете продернем, то частушки сочиним.

Закричали на работу. Ребята поднялись.

— Ты, товарищ Филипп, подумай.

— Я подумаю.

— Ты в красный уголок к нам приходи.

— Приду. Ежели пользу усмотрю, что ж, можно и записаться. А верно, что Наташа к вам уклоняется?

— Факт, факт.

«Неужели правда?» — до самого конца работы думал смятенный Филька. А вечером, после ужина улучил минуту перемолвиться с Наташей:

— Слушай, верно или нет, ты комсомолка будто?

— Кто тебе наврал?

— Не наврал, а правду. Ты не бойся: я ни батьке, ни матке не скажу. Верно? Говори.

Наташа, отвернувшись, смущенно мигала, взмахивая пушистыми ресницами.

— Я вот для чего... Меня и самого сбивают. Посовещаться с тобой хотел.

Такое признание польстило Наташе. Она улыбнулась и сказала:

— Потому что я в город хочу, в учебу. Без комсомольства при нашем положении нельзя.

Филька сразу все понял: дядя Тимофей торгаш, и сразу же оправдал ее.

Она сказала:

— Только что в ихнем красном уголке ничего плохого нет. Книжки читают, доклады. Стенгазета у них. Радио проводят. И парни и девушки уважительные там, без хулиганства. У них строго. Да вот сходи, самолично посмотришь, послушаешь.

— А что ж, схожу.

Вечером, после ужина, после игр в жмурки, в чехарду, ребята пошли спать. Неожиданно обнаружилось, что из той спальни, где помещались новички, пропали три одеяла, заколдованный от воров ящичек Инженера Вошкина, перочинный ножик Пети Мозгового, а в двух уборных и классной комнате старшей группы вывинчены лампочки. Все всполошились. Инженер Вошкин выскочил в коридор и, размахивая простыней, исступленно кричал:

— Требую! Требую! Кара-у-л!! Обчистили!..

На гвалт явился заведующий. Разузнав, в чем дело, он скомандовал:

— Старосты! Выходи сюда. Сейчас же собирайте коллектив. Решайте сами, как нам изжить такое безобразие. А мне за вас думать не приходится. Дом *не наш, а ваш*. И все в нем вещи — *ваши*. Сами хозяйничайте и разбирайтесь. Приучайтесь, ребята, верить в себя, в свои силы. А остальные — марш по местам, спать!

— На заседанье, на заседанье! — деловито взывали обрадованные старосты и председатель коллектива.

Заведующий, хмурясь, кусал губы. К нему подпорхнул хозяйственный Ленька Пузик:

— Товарищ заведующий! Я знаю, кто украл.

— А тебя спрашивают? Тебя спрашивают?! — притопнул тот.

— А ты спроси. Сейчас найдем всю пропажу. — И, заглядывая в спальню, он закричал: — Эй, воры которые бывшие, выходи! Ивочкин, Белка, Скриба!..

— Откуда знаешь, что они украли?

— Да не они!.. Вот бестолковый ты какой! Они раньше воровали здесь, в прошлом году.

Ивочкин, Белка, Скриба, парнишки лет по пятнадцати, выросли возле заведующего:

— Давайте нам фонарь, на чердак полеземте... Мы уж знаем, куда прячут краденое: сами прятали...

Все, вместе с заведующим, пошли на чердак. В хвосте плелся незваный Инженер Вошкин. Когда поднимались по лестнице, он, глядя в мелькавшие над его головой дырявые подметки заведующего, говорил:

— Нет, без лектрификации, я вижу, не обойтись... Ужо, ужо весь инвентарь в самый сильный ток включу, десять тысяч вольт. Тронешь, например, одеяло пальцем, а в морду молния.

Меж тем к проходившей по коридору Марколавне подкатился козликом босоногий, в одной рубашке, Жоржик:

— Вы моя мама, здравствуйте!..

— Ты что ж не спишь? Не здравствуйте, а до свиданья.

— Я забыл вам одно дельце сказать. У меня в ухе таракан. Я был сегодня на осмотре у доктора...

— Знаю. Все были.

— Я доктору сказал, что мне в ухо таракан залез и там сидит. А доктор сказал: вели Марколавне, пусть она даст тебе большую долю пирога. Самую большущую, с вареньем. И ты ляг ухом на пирог... Тогда таракан выползет. Он выползет потому, что любит пирог. Ой, ой!.. Как он шевелится там... Ой, ой, мама!..

— До свиданья... Покойной ночи. Нянька, уведи его!

— Мама, мама... Я кушать хочу...

Но, увидав идущего с гурьбой ребят заведующего, он — опрометью в спальню.

Впереди всех шел радостный Инженер Вошкин. Он тащил свой сундучок и говорил:

— Я теперь в колдовство не верю. Я в науку верю, в матерлогию. А впрочем... У меня был, например, рыбий зуб морской собаки...

На чердаке отыскалась вся пропажа, кроме перочинного ножа. Новички, виновники переполоха, притворно похрапывая, прикидывались крепко спящими. Только один из них смотрел приоткрытыми глазами на то, как нянька стелет найденные одеяла.

Заведующий вошел в класс, где заседал коллектив. Семеро ребят с деловыми, озабоченными лицами сидели за столом преподавателя. Перед каждым бумага, карандаш. Васька Ухов притащил графин с водой и медную небольшую кастрюльку, заменявшую звонок. Заведующий встал у печки. Сережа Булка начал речь. Ему четырнадцать лет; он самый деловой, он председатель старостата, готовится на рабфак. Лицо у него открытое, мужественное; сам чрезмерно высок и тощ, одет прилично.

— Вот, товарищи, резюмирую так: покуда среди нас имеются воры, мы должны сознавать себя тоже ворами, потому что они кладут пятно на всех нас. Теперь, как изжить это искривление? Мы должны зорко следить за малосознательным элементом, который подозрительный. Мы чаще должны собирать детей на митинг и внушать им, куда они себя готовят: в жулики или в честные рабочие. А пока, танкретно...

— Конкретно, — поправил заведующий.

— Извиняюсь!.. конкретно вот что, такие вношу предложения: спальни на день запирать, чтоб там не валялись лежебоки и чтоб нельзя было красть, а ключи передавать старостам. — Он отхлебнул воды и строго наморщил лоб. — Второе предложение и последнее: если случится пропажа, мы отвечаем за это все, без исключения, даже педагоги. И терпим наказание, какое выберем сами. Например, танкретно: пять дней не обедать...

— С голоду подохнешь, — под легкие улыбки заметил староста младшей группы Саша Костычев, парнишка с веселыми глазами.

— Ну, три дня без обеда, — поправился председатель.

— На рынок колбасу воровать пойдешь.

Все засмеялись; председатель тоже улыбнулся, потом нахмурился, позвонил в кастрюльку, крикнул:

— Ну день! День без обеда...

— Полдня!

— Четверть дня!

— День, день!.. Долой смешки! Долой бузу!

— Кто против первого и второго предложения? Никто. Принято единогласно. Секретарь, пиши!

Вошла Марколавна и нервно затараторила:

— Товарищи! Пользуясь тем, что вы заседаете, я прошу разрешить мне сделать сообщение на ваше обсуждение, чтоб вы вынесли решение.

— Марья Николаевна, — сказал от печки Иван Петрович, заведующий, — будьте добры говорить прозой, а то вы в стихи ударились.

— Дело вот в чем, — покраснев, облизнула Марколавна сухие губы, отбросила со лба кудерышки и села на парту. — Третьего дня у преподавателя Емельяна Кузьмича, человека неимущего, украли из пальто кошелек с тремя рублями. А вчера произошел лично со мной такой случай. Я зашла в класс третьей группы, одетая в шубу. В руках у меня три книги. Я книги эти должна была занести в наш интернат, к девочкам. Вдруг слышу такую фразу: «Ага! Глянь, ребята, она идет на рынок книги загонять... Воруют, дьяволы, а потом на нас». — «А что ж такое, — подхватил другой, — у ней ключи от библиотеки, бери, загоняй книги...»

Саша Костычев засверкал веселыми глазами, спросил:

— Кто такие?

— Один, кто первый крикнул, — это Степанов, из новичков. А второго называть не буду, — сказала Марколавна. — Вообще, дети, вам надо поработать над характером своих товарищей, в особенности новичков. Они в каждом педагоге видят своего врага, угнетателя, который будто бы только к тому и стре-

мится, чтоб наказать воспитанника, прижать его, урвать принадлежащий им кусок.

Она замолчала. Ребята напрягали мысль, покашливали, ерошили волосы, переглядывались, пыхтели. Один по одному озирались на безмолвно стоявшего у печки Ивана Петровича, как бы ожидая от него подсказа, мудрого совета. Но тот упорно молчал.

— Предложение!! — вскочив, выпалил как из револьвера Сережа Булка. Высокий, узкоплечий, он надвое переломился над столом и, рассекая пространство ладонью, отчетливо заговорил: — Степанова, который Марколавну назвал наискосок воровкой, завтра же назначить в библиотечную комиссию. Пусть выдает книги и пусть самолично убедится, что книги из библиотеки не воруются, а выдаются под расписку. Факт.

От печки послышались поощрительные аплодисменты заведующего. Малыши быстро оглянулись — и сразу дружные, азартные хлопки.

В этот вечер Ванька Граф был грустен. Завтра свиданье с матерью. А что он может ей сказать, чем утешить? Он лежит на койке, руки за голову, вздыхает. Койка соседа пуста: Амелька читает за столом. Странно, что Амелька так быстро откачнулся от Ваньки Графа. Странно, странно. Что за причина за такая? Тьфу, черт... Не с кем словом перемолвиться. И вот уже больше месяца до Ваньки Графа не доходит из внешнего мира ни передач, ни известий. Очень странно, непонятно...

Грустное, невыносимое настроение его увеличивал своей игрой на метле замечательный парень-виртуоз. Остролицый, горбоносый, с задумчивыми черными, навыкате, глазами, он за свое искусство был общим любимцем дома заключения. В его руках метла с туго натянутой струной, под которую подложен пустой спичечный коробок, — вот и все. На этом простейшем инструменте щипками тонких пальцев он извлекал заунывные трогательные звуки. Прекрасно исполнял «Чайку», «Лебединую песню» и другие пьесы,

настраивающие на минор даже беспечального человека. Заключенным нравилась игра: бросали в его шапку деньги, куски сахару, баранки. Он недавно переведен сюда из соседней камеры.

— Эй, как тебя? — позвал его Ванька Граф. — Вот садись возле меня, черт с тобой, играй. Ну, только чтоб... Понял?

Исак почтительно повиновался, заиграл «Лучинушку». Всю камеру охватила настороженная тишина. Лишь слышались пыхтенья, вздохи. Нет-нет да чья-нибудь рука и смахнет слезу. На цыпочках подходили ближе, слушали, затаив дыханье.

— Веселую можешь? — через силу спросил Ванька Граф.

— Нет, извините, не могу. Вот если б скрипка...

— Тогда молчи. Уходи... Стой, стой! Играй...

Исак заиграл «Вырыта заступом яма глубокая» и стал подпевать вибрирующим тенорком. Ванька Граф все так же лежал на спине, заложив за голову тяжелые жилистые руки, глядел в потолок. Вот каменное лицо его стало дрябнуть, углы рта задергались, веки с рыжими ресницами захлопнулись, закрыв выпуклые, как бы остеклевшие, глухие ко всему глаза. Он пожевал губами, что-то промычал, вздохнул всей грудью и облегченно захрапел. Исак замолк, улыбнулся, отошел.

Утром у Ваньки Графа было свидание с матерью. Большая комната разделена в средине коридором в два метра шириной. Стены коридора — из железных прутьев. По одну сторону — посетители, по другую — заключенные. В коридоре прохаживаются надзиратели, по концам — внутренняя стража. Гудящий шум, крикливый говор, слезы, стоны, истерика. Видавшие виды надзиратели покручивают усы, исподлобья посматривают в сторону посетителей, командуют:

— Петров! Твое время кончилось... Иди. Захаров! Кончилось... Иди...

Ванька Граф, уткнувшись широким лицом орангутанга в холодный металл прутьев, выискивает мать. Возле него — зорко наблюдающий за ним надзиратель.

— Мамка! Мамка! Старушечка моя! — взволнованно кричит преступник.

К противоположной решетке припадает желтое личико низенькой морщинистой старушки. Ее всю приплюснули к железным прутьям, невмочь дышать. Через ее голову кричат, маячат руками, приподымаются на цыпочки, опираясь на ее слабые плечи. Увидав сына, она силится позвать его: «Ваня, ангел, ягодка», — но голоса ее не слышно. Сын лишь видит беспомощно открывающийся беззубый ее рот и прыгающие, в слезах, щеки.

— Мамка, родимая, не плачь!..

Она тужится вытащить притиснутую к прутьям руку, чтоб взмахнуть платочком сыну, чтоб благословить сына в последний раз.

— Кончено! Иди... — ударяет в сердце голос надзирателя, и Ванька Граф, то и дело оглядываясь на мать, продирается обратно, к себе в камеру, через сплошной ряд заключенных. Какая-то горесть и ноющая тоска наполняет его сердце. Он пытается взбодрить себя, но не может: дух ослаб. «Прощай, мать! Прощай, старушечка, прощай...»

В этот же вечер его взяли в изолятор. Уходя, он сказал Амельке:

— До свиданья, друг. Сегодня меня... тово... в одиночку. Почему — не знаю. Улик нет. Судить не за что. Когда будешь на воле, не забудь. Авось... И что ты дуешься на меня? Ах, Амелька, Амелька... Милый. Ну, до свиданьица. Дай пять! — И они пожали друг другу руки.

Через неделю Ваньку Графа судили. Суд закончился в один день. Бандит получил высшую меру социальной защиты и был расстрелян.

Это событие узналось из газет. Культурник Денис, стоя на скамейке, по требованию камеры трижды прочел вслух судебный отчет:

СУД НАД ГРОМИЛОЙ ВАНЬКОЙ ГРАФОМ

Год тому назад в дачном поселке «Ягодка» был ограблен особняк с убийством известного советского инженера Куликова, его кухарки и бывшей няньки-

старухи. Громилы влезли в квартиру через окно. Шум был услышан молодой девушкой, дочерью инженера, в спальню которой вошли громилы. Она вскочила с кровати и зажгла электричество. Один из громил бросился на нее и задушил. Убедившись (по внешним признакам), что жертва прикончена, громилы приступили к делу. Убив троих людей и ограбив квартиру начисто, громилы удалились. Но девица Н. Куликова, будучи не вполне задушена, очнулась. По ее описанию удалось установить личность бандита, душившего ее. Как этот бандит, так и его сподвижники успели скрыться, и лишь спустя восемь месяцев душителя девушки удалось задержать. Он — известный бандит-громила по кличке «Ванька Граф», он же Чернявский, он же Щукин, он же Матыко, имевший 17 приводов и 7 судимостей. По одной из них, за вооруженное ограбление сберкассы в городе К. с убийством сторожа и кассира, он был приговорен к высшей мере наказания, но тоже успел скрыться. На предварительном следствии по делу об ограблении особняка с убийством, а также и при последующих допросах он злостно запирался. На суде держал себя крайне дерзко, вызывающе и отрицал свою вину. Он повышенным голосом заявлял, что задержан неправильно, что на подобный произвол местных властей он будет жаловаться прямо в Кремль. Но когда, по приказу председателя суда, из соседней комнаты вышла девица Куликова и сразу же уличила его, бандит дрогнул, попятился и захрипел, отмахиваясь руками: «Нет, не она, нет, нет». Черты лица его совершенно исказились; он схватился за голову и хлопнулся на пол. Целый час ушел на приведение его в чувство...

Кончив чтение, Денис сказал:

— Товарищи! Суд свершился. Бойтесь справедливого суда. А что касаемо Ваньки Графа, то поделом вору и мука. Может быть, многим из вас он казался рыцарем, заступником слабых, и вам по-человечески жаль его... Напрасно. Он злодей закоренелый, неисправимый...

— Врешь! Здесь исправляют...

— Он, товарищи, рецидивист. Не раз сидел и не исправился. Он убийца многих жертв.

Лишенные свободы — всюду: на прогулках, в мастерских, по камерам — на все лады, не считаясь с мнением Дениса, по-своему обсуждали судьбу налетчика. Указывали на его оплошность в последнем деле, на миндальничанье с девчонкой. «Раз взялся за работу, кончай. Ах, дурак, ах, дурак, как мог засыпаться. Плохо удавил... Бежал бы...» Интересовались поведением прокурора и защиты; одни считали Ваньку Графа героем, «своим в доску», другие — дураком, нюней, простофилей. Газету с судебным отчетом перечитывали по сто раз, зачитали до дыр, до тлена.

Неожиданная смерть бандита взволновала Амельку, как гром зимой.

Он видел странный сон. Вот будто сидит он на ступеньках лесной часовни. Возле — грязная дорога, по ней — круглые окатные камни. Из глубокого ущелья веет холодом и слышен чей-то тяжкий стон, прерываемый окриками. И видит Амелька: идет по дороге, скрестив руки на груди, тихая женщина, вся в белом; на ее мраморной шее черные отпечатки пальцев. За ней — козлоподобные черти и похожие на привиденья великаны, посвистывая, покрикивая, волокут за ноги истерзанного человека. Голова человека бьется о камни, окунается в грязь; он сплевывает кровавую пену, стонет: «Амелька, друг! Вот моя дорога».

Амелька всхлипывает и весь в поту пробуждается.

XIX

ОПЫТЫ ГИПНОЗА

Солнце взъярилось. Дороги сразу рухнули; снег в три дня растаял, потоки вешних вод неслись в низины. Деловитые грачи с неумолчным граем вили гнезда; появились стайки веселых скворцов.

В детский дом пришел похожий на грача, в старой визитке с фалдочками, врач-психиатр. Он небольшого

роста, лысый, большелобый, сухой, в дымчатых очках. Суровый бритый рот, золотые зубы.

Иван Петрович встретил психиатра любезно, однако с озабоченным видом: он с начальством не советовался, вводил новый метод воздействия на ребят самочинно, да к тому же и не особенно верил в успех задуманного им опыта.

Сеанс происходил в комнате педагогического совещания. Толпившихся ребят погнали прочь, ввели десять человек дефективных и двери заперли. Кроме дефективных, с психиатром здесь были Иван Петрович и Инженер Вошкин. Этот смекалистый парнишка сумел своевременно пронюхать о сеансе и, никем не замеченный, спозаранку залез в камин.

— Ну вот, ребята, сейчас начнем. Сядьте! — сказал психиатр. — А вы, двое, идите: один — к этому концу стола, другой — к другому. Тебя как звать?

— Костя.

— А тебя?

— Миша.

— Ну вот, отлично. — Психиатр провел рукой по лбу Миши от переносицы к волосам и крикнул: — Спать!!

Миша вздрогнул и, как кукла, закрыл глаза. То же самое психиатр проделал и с Костей.

— Откройте глаза и не просыпайтесь. — Они открыли помутневшие глаза. — Костя слышит Мишин голос, а Миши не видит! Миша слышит Костин голос, а Кости не видит. Ну, ищите друг друга, аукайтесь, откликайтесь. Можете бегать, ловить друг дружку. Ну!

— Костя, ты где? — по-серьезному спросил Миша.

— Я здесь. А ты где? Ты под столом?

— Нет. А ты у печки?

Так они, бегая на голос, искали друг друга и не могли найти. Блуждающий их взор прощупывал кругом все пространство, но оба они были как бы выключены из поля собственного зрения и не видели один другого. Наблюдавшие эту игру ребята смеялись; прыскал, таясь в камине, Инженер Вошкин; скептически улыбался Иван Петрович. Он думал:

«А ловко, шельмецы, притворяются. Эх, какого я дурака свалял».

— Довольно! Проснитесь!

Психиатр выбрал третьего мальчика, усыпил его, приказал открыть глаза и не просыпаться.

— Видишь Ивана Петровича?

— Вижу, — сказал ершеобразный чумазый Луковкин.

— Вот он спокойно сидит на кресле. Вот он подымается вместе с креслом. Гляди! Гляди! Вот он поднялся к потолку. Видишь?

— Вижу, — ответил Луковкин, упираясь удивленным взором в потолок.

— Вот голова Ивана Петровича ушла в потолок, вот он весь ушел, видны только подметки, вот он пропал, он во втором этаже. Видишь? Да?

— Да! — крикнул Луковкин и побежал к двери. — Я наверх, по лестнице, к нему...

— Закрой глаза! Проснись...

Ребята закричали:

— Врет он!.. Ты чего это, Луковкин, врешь?

— Вот подохнуть, — не вру! Видел. Сам видел!.. Легавым буду — не вру!..

Психиатр усадил всех на стулья.

— Ну вот, ребятки, теперь вы сами убедились, какая во мне сила... Ну! Спать!!

Дети закрыли глаза. Их лица корчились от едва сдерживаемой улыбки.

— Спать! Спать! Спать! — звонко, как удар металла о металл, приказывал психиатр. Выбросив вперед обе руки, он стоял пред ребятами, повелительно поводя глазами от лица к лицу.

— Кажется, уснули, — тихо проговорил Иван Петрович.

— Уснули, — хором ответили парнишки.

Иван Петрович быстро закрылся книгой. Психиатр топнул, крикнул:

— Спать, спать! Спать! Вот я подыму руку — и вы заснете.

Послышалось легкое храпенье. Лица мальчиков стали спокойны. У двух — головы свесились на грудь.

Третий закусил губы и больно щипал себе ногу, чтоб не рассмеяться.

И среди тишины стрелами летели стальные фразы, вонзаясь в мозг:

— Вы больше не будете озоровать. Нет, нет! Вы — хорошие мальчики. Вы будете подчиняться дисциплине, вы не будете воровать; воровство — порок, оно омерзительно, противно, оно позорит человека. Нет, вы не будете воровать, не будете воровать! Нет, нет! Вы будете внимательно относиться к учебе. Вы будете любить приютивший вас дом. Вы никогда не станете думать о побеге. Вы никогда не убежите, вы не смеете убегать! Нет, нет, не смеете!

Сеанс окончился. Время ужинать. Все десять ребятишек, бывших на сеансе, вели себя за ужином прекрасно. Инженера Вошкина не было. Администрация всполошилась. Обыскали весь дом, чердаки, сад, ближайшие улицы. Емельян Кузьмич помрачнел, как туча. И только в одиннадцать часов, когда дом спал, вдруг раздался звонок с парадной. Инженер Вошкин чистосердечно повинился, как он во время сеанса залез в камин и там накрепко уснул, как его заперли в классе, как затем он выпрыгнул через фортку на улицу. Он просит извинения, что так глупо все вышло. Его охотно простили.

Когда он вошел в спальню, малыши подняли головы.

— Спать, спать! — крикнул Инженер Вошкин. — Закройте глаза и не просыпайтесь!

— Зачем?

— Когда?

— Еще вчера, — скрепил Инженер Вошкин и стал разуваться.

Так вот оно что! Ну, теперь ясно. Оказалось, что вся усадьба вместе с помещичьим домом, службами и теми постройками, на которых работал Филька с Дизинтёром, — все это предназначается для трудовой колонии беспризорных.

Старому торгашу Тимофею такое соседство шибко не по нраву. У него две дочки: долго ли этим хулиганам девок с толку сбить? Да ведь от них, от мазуриков, никому житья не будет; воровство разведется, пьянство, поножовщина; они, окаянные, все жительство спалят. Ведь их из домов заключения будут набирать. Да разве они — люди? Они черти какие-то, арестанты, живорезы, аспиды. Нет, к черту, к черту их!

Не только домовитый Тимофей, но и середняки с беднотой под влиянием местных богатеев готовы были встретить трудовую артель в колья.

Вскоре сход крестьян постановил хлопотать в центре о переводе будущей колонии беспризорников куда-нибудь в другое место, ну хоть верст за двадцать, что ли, в степь. Крестьяне в этом деле охотно помогут: дадут лошадей для перевозки строений, дадут даровые руки, все дадут, лишь бы подальше упрятать это хулиганское гнездо. Однако комсомольская ячейка такому обороту дела воспротивилась: она прохватила кой-кого из упористых крестьян в стенной газете и в свою очередь послала бумагу в центр: ячейка приветствует открытие трудовой колонии беспризорных.

Давнишние нелады между комсомолом и отцами еще более обострились. В хатах крик, шум; у матерей сердце ноет; отцы скрежещут зубами, рады изувечить сыновей, а боязно: в тяжелом ответе будешь.

Торгаш Тимофей все-таки надавал Наташе оплеух, мать подвернулась — и той леща влепил.

— Заступница! Хочешь дочерь свою спортить...

Наташа ревела воем; отец рванул ее за косу и бросил на пол.

— Нишкни! Я те покажу комсомол...

А Фильку он выгнал вон: выбросил в хлев, коровам в ноги, его сундучишко.

— Чтоб духу твоего не было! Иди в свой красный уголок. Путаник, безнадзорник чертов... Тебя, может быть, в камунью ихнюю примут, в арестантскую. Одного поля ягода!

Дизинтёр, наблюдавший всю эту сцену, безмолвствовал, переглядываясь с Катериной. Филька подобрал свой запачканный коровьим пометом сундучок, вытер его соломой и пошел с ним к бобылке, старухе Пелагее.

Сеансы психиатра с хулиганствующими мальчишками повторялись через каждые три дня. Хулиганы заметно присмирели, стали с интересом заниматься учебой, не дерзили старшим.

Но вот после четвертого сеанса хулиганы как с цепи сорвались: стали непослушны, нахальны, били мальчиков и девочек. На уроке хромоногий Колька Жучок с ухарским циничным видом спросил воспитательницу:

— Марколавна, отчего у кошки котята родятся?

— Как тебе не стыдно, Коля!

— А что вам, жалко?

— Марколавна! — бросив карандаш, кричит Спирька Зайцев. — А больно бывает, когда родятся дети?

Вместо ответа возмущенная Марколавна говорит:

— Иди, вымой руки.

— А что, они поганые, что ли?

— Иди, иди.

— Не пойду... Мой свои!

В это время Колька Жучок писал мелом на классной доске:

«Никаких занятьев мы не жилаим.
Да здравствует РСФСР».

Все десять хулиганов с криком «ура» выбежали из класса. Они до самого обеда табунились по коридорам, окруженные прочей детворой. Рассказывали о своих приключениях, воровстве, пьянстве. Черноволосый Колька Жучок говорил:

— Я много детских домов прошел. Эх, один детский дом — вот дом! Не чета вашему. Вот там порядок. А у вас что? Тьфу! Заведующий ваш что захочет, то и делает. Докторей зовет, которые дурака валяют: «Спать, спать!» А подь ты к ляду, сам спи, очка-

стый черт... Псих... А у нас вот как было: заведующий не по нраву нам — сейчас долой! Нового давай. Присылают нового. Мало жратвы, кричим: «Давай больше шамовки!» Дают добавки... А нет, так «на шарап»...

Слушавший эти речи хозяйственный Ленька Пузик побежал наушничать заведующему.

За обедом, когда Емельян Кузьмич стал разливать по тарелкам суп, Колька Жучок и Ванька Морошкин заорали:

— Ребята, «на шарап»!

— Налетай, подешевело! — подхватил и Вошкин.

Весь стол, как по уговору, с шумом вскочил, опрокинул на пол огромную миску с супом. Ленька Пузик, запыхтев, с негодованием выплеснул свою тарелку в лицо Кольки Жучка:

— На, хулиган.

Началась свалка. Инженер Вошкин залез на стол, взмахнул руками, крикнул:

— Спать! Спать! Вы больше не будете драться! Нет, не будете.

Вбежал заведующий. Свалка прекратилась. Десять человек спевшихся хулиганов отошли в угол, угрюмыми волчатами, набычившись, смотрели на побагровевшего Ивана Петровича. Бородатый Емельян Кузьмич, подойдя к окну, стряхивал с облитой куртки вермишель.

Заведующий приблизился вплотную к хулиганам.

— Вы, ребята, должно быть, не понимаете, куда попали. Вы занимаетесь воровством, устраиваете всяческие безобразия. Так, ребята, жить нельзя. Надо жить дружной семьей. Советская власть тратит огромные деньги на ваше воспитание. А вы что? Вы не умеете с должным уважением относиться к труду педагогов, которые стараются сделать из вас хороших граждан. Ну, отвечайте...

Ребята, все так же набычившись и сопя, упорно молчали.

— Ну, что ж вы молчите?

— Не желаем с вами разговаривать. Чего пристали?

Щеки Ивана Петровича пошли пятнами; он заложил в карман руку и сказал:

— Очень трудно, ребята, с вами работать.

— Ты деньги за это получаешь... Ну и захлопнись!

Вечером, после ужина, было сразу два заседания: педагогического совета и старостата детей.

Педагоги — их пять человек — с жаром доказывали, что хулиганствующие ребята являются в полном смысле морально дефективными, то есть с больной, неисправимой волей, вконец испорченными детьми. Им место не здесь: им место за решеткой изолятора.

— Таких звероподобных ребят нельзя держать в детском доме, — покашливая и чихая, говорил учитель Добродумов. Он левой рукой растирал простуженный бок, правой рисовал на бумажке кнуты, ослиные головы, тюремные решетки. — Таких ребят надо отослать туда, откуда они пришли, — в приемник, чтобы там знали, что подобных беспризорников надо направлять не в детские дома, а за решетку.

— Я вполне к вам присоединяюсь, — затянулась папиросой Марколавна. — Они, эти восемь джентльменов, пристают к девочкам, во время прогулок делают пакости. Они размозжили кошке голову кирпичом, а голубя разорвали за лапки пополам. Когда я накричала на них: «Так хорошие мальчики не поступают!» — они ответили: «Морду бы набить хорошим мальчикам. Буржуи, в «красивые» записались».

Молча выслушав град слов, стал говорить Иван Петрович. Он, начитанный, но малоопытный в педагогии человек, имел свою точку зрения на дефективных.

— Товарищи, — начал он глухим, с нервными нотками голосом. — Нам надо помнить слова известного в педагогическом мире доктора Трошина, который отметил в своем труде «Детская ненормальность за сто лет», что моральная дефективность есть

редчайшая болезнь. А мы склонны в каждом хулиганствующем парнишке видеть сумасшедшего, неизлечимого субъекта. Недаром профессор Штромайер сказал про нас, вот про таких, как мы, скороспелых на выводы педагогов, что «помещение ребенка в тюремную обстановку, где обучение является мучительной самоцелью, а не средством пробудить в ребенке интерес, доказывает, что мы имеем дело не с моральным слабоумием ребенка, а с моральным слабоумием воспитателя». И правильно. Нельзя ребенка рассматривать как животное и сажать его в железную клетку. Человек — всегда человек. Он ждет нашей любви, внимания, опыта, опирающегося на научные методы.

После его речи сказал несколько слов психиатр.

— Я верю в благодетельность гипноза. Я утверждаю, что эти аморальные мальчики на пути к полному выздоровлению. Проявленная ими вспышка хулиганства есть не более как протест их природы, порабощенной моей волей. Это вполне нормально. Это конвульсии издыхающего в них порока. При следующих повторных сеансах все сгладится, все исчезнет без следа.

Заключительные слова психиатра заставили заведующего безнадежно улыбнуться.

Слово взяла Марколавна. Она облизнула губы, откинула клок волос со лба и, опасаясь показаться сентиментальной, заговорила приподнятым, взволнованным голосом:

— Я согласна с выводами товарища заведующего Ивана Петровича. Да, действительно: главное в нашем трудном деле воспитания — это любовь к детям. Любовь — это все. Вспомните слова великого хирурга Пирогова: «Любовь совершает чудеса — она изменяет нашу природу, делает возможным то, что казалось несбыточным».

— Да, да, — снова встрепенулся Иван Петрович, — конечно же, любовь, ласковость к детям — это не плохо, но прежде всего тактичность, уменье к ним подойти. Нам следует дорожить уважением детей друг

к другу, надо раздувать в них чувство собственного достоинства. Всего опаснее, когда подросток начинает наблюдать со стороны педагогов безнадежно плохое мнение о нем, тогда подростку уже рисковать нечем, ему «все равно», ему — «наплевать»! Тогда в нем пробуждается какая-то забубенность, желание ухарствовать, пакостничать. Вы понимаете, друзья? И мы всеми силами должны предупредить наступление такого момента...

— Конечно, конечно!! — вскричала Марколавна и ткнула окурок, вместо пепельницы, в распростертую на столе ладонь педагога Добродумова. — Иван Петрович прав! Нельзя доводить ребят до состояния психической безнадежности...

— Виноват, я не кончил... О чем же?.. Да... Впрочем... — Иван Петрович сжал левой рукой виски, а правой постучал укоризненно о край стола. — Вы вечно, Марья Николаевна, перебиваете... И еще надо нам крепко запомнить: педагог должен советовать, а не навязывать свой опыт... Нет, не это... Да! Я хотел... я хотел... — Он широко открыл прищуренные глаза и вместе со всеми стал прислушиваться к нараставшему где-то там, за коридором, шуму. — Я хотел сказать, что среда могущественна, ее влияние отличается необычайной силой и постоянством, человек же — только продукт среды, ее детище... Поэтому...

Но тут все педагоги сорвались с места и выбежали вон.

На заседании детского старостата шел жаркий бой. Ребята скакали по партам, кубарем катались по полу, тузя друг друга. Из носа Саши Костычева, отбивавшегося сапогом, как шпагой, текла кровь. Сережу Булку, председателя, утюжили озлобленные малыши. В драке принимали участие ворвавшиеся на заседание Ленька Пузик, Инженер Вошкин и двое новеньких, дефективных: хромой Колька Жучок и карапузик Ванька Морошкин.

Вдруг ввалился весь педагогический совет.

— Ша! Сеанс окончен! — скомандовал Инженер Вошкин.

Встрепанные ребята вскочили с пола, оправлялись, наперебой орали, утирая рукавами катившиеся слезы обиды: да как же, попрана правда, убеждения, дисциплина:

— Мы голосовали за!.. Мы против! Не подначивай!.. Слабо, слабо... Надо хулиганов вон!.. На улицу... Зачем?.. Врете вы! Дураки вы!.. Надо убеждать... А эти налетели со стороны!.. Ленька Пузик... Как они смели?! А что ж такое?.. Долой воров! Вон!.. Убежденьем, убежденьем! К черту хулиганов!..

— На фиг, на фиг, на фиг!! — сипло кричал Инженер Вошкин, сморкаясь в подол выпачканной красками рубахи. Его усы и борода в свалке облиняли, очки же перед дракой он предусмотрительно спрятал в парту.

Трудовой день в детдоме начинался с девяти часов. Дети оправляли постели, проветривали комнаты, бежали умываться. Затем двадцать минут гимнастики. После чая все расходились по классам. Обед, отдых, игры. Пообедав, старшая и средняя группы отправлялись в мастерские: переплетные, сапожные, портновские, столярные. Девочки усердно занимались рукодельем. Полагалось работать три часа. Но некоторые из ребят неотрывно сидели в мастерских до вечера: приходилось прекращать работу силой. Выработка продавалась на базаре — так завел новый заведующий домом; вся выручка обращалась на улучшение питания и платья. Некоторым старателям выдавались на руки сверхурочные заработанные ими деньги: пятак, гривенник, двугривенный.

Эти трудовые навыки, разумно прививаемые детям, заставили ребят любить свой дом, уважать труд, ценить вырабатываемые ими вещи.

— Нет, ты погляди, Васька, какие я пять книг переплел. Пушкин! И буковки золотые сбоку, по корешку.

— А ты видал, какую раму мастерим мы с Павли-

ком? Нам дюжина рам заказана. Двадцать пять рублей штука!

— А кто эти сапоги шил? Я шил!

Летучая комсомольская ревизия с представителями местных газет нашла дом в полном порядке, выразила доверие учительскому персоналу и постановила хулиганствующую братию перевести в другой детдом, «для трудных».

Теперь весь дом готовился к выезду на дачу. Ребята вычерчивали всяческие графики огородных и посевных площадей, распределения рабочей силы, дней дежурств. Столяры старшей группы выделывали плетеные стулья, лопаты, грабли; девчонки мастерили сачки для ловли букашек; трое малышей под руководством Леньки Пузика заплетали невод. Инженер Вошкин совместно с Емельяном Кузьмичом составляли проект электрификации будущей дачи. Инженер Вошкин весь в неусыпной заботе — лучше не подходи: будешь приставать, циркулем пырнет. Он в беспоясой, измазанной красками рубахе, на носу очки без стекол, на гладком лбу наведенные тушью морщины зрелой мудрости, под носом — усы, под губой — бородка клинышком. Заведующий на его безвредные затеи давно махнул рукой: борода так борода, лишь бы дело делал.

Пятый сеанс с ребятами, как и предсказывал доктор-психиатр, оказался очень благотворным: хулиганы стали послушны, присмирели. После шестого сеанса семь человек, подвергавшихся воздействию гипноза, в ночь бежали. Украдены были три одеяла, дюжина ножей с вилками, серебряные часы повара, калоши и шапка заведующего домом. Перед побегом хулиганы успели напакостить по углам во всех классах, как дурные кошки, а на двери в квартиру заведующего написали мелом: «Будьте уверены».

Заведующий рассорился с психиатром, назло ему и самому себе зверски стал курить. Однако атмосфера в детском доме после побега хулиганов заметно очистилась. Это радовало и малышей и педагогов.

XX

«МАЛИНКА». ВРАЖДЕБНЫЕ ТЕНИ

В доме заключения весна распахнула окна. Опьяняющий свежий воздух хлынул в камеры, выметая солнечной метлой промозглый запах, вздохи, мрак, уныние. Народ повеселел, голоса окрепли. Шаги по асфальтовым полам звучали уверенней и четче.

Заключенные сгрудились у окна, восторженно глядели в голубое небо.

Их глаза блистали грустью о былом, надеждой на скорую свободу. Да и было с чего. В доме ширились, крепли настойчивые слухи об амнистии: вот-вот наступит первомайский праздник. Весь дом потонул в потоке всеобщего возбуждения. Поголовно все — даже с десятилетними сроками, даже смертники — были упоены призрачной мечтою о свободе. Эта мечта, взбодренная лучами солнца, упорно опрокидывала все преграды логики, прогоняла всякую иную мысль, надолго лишала сна, палила мозг огнем. Мираж свободы, ослепляя, разжигал страшную жажду ожидания и в конце концов трагически обманывал. Так в знойной пустыне ошибается путник, которому погрезилось на горизонте озеро, до краев налитое студеною водой.

Воля, воля! Зачем ты ушла от них и когда придешь? Нет ничего на свете краше тебя, милей...

Вечером вселились в камеру Амельки новички: два отрепыша и третий — барин.

Федька Оплетай, рябой и кривоглазый, с надвое рассеченной, заячьей, губой, быстро примазался к барину. Петька Маз, узкоплечий, с большой бульдожьей рожей, и плешастый брюханчик Дунька-Петр тоже втерлись к нему в компанию.

— Откуда изволили прибыть-с? За что влипли-с?

— Я даже вовсе не влипал... Я коммерсант, с налогами заминка вышла... Отойдите, отойдите, — брюзжал краснощекий, крепкотелый, с рыжими усами, купчик.

— Да что вы нас презрительно гоните, мы против вас ни хирим-пирим, — юлила возле него шпана,

посматривая на большущий кожаный чемодан, служивший купчику стулом.

— Нате вам по папироске и уходите прочь... Иначе надзирателю скажу...

— Ах, ваш честь, благодетель!.. Да вы будьте без опаски. У нас спокойно, как в санях... Ни хирим-пирим, как говорится.

Оставив купчика, тройка стала в обнимку расхаживать по камере. Федька Оплетай, сверкая здоровым глазом, шептал:

— Эх, черт... Надо бы «малинки» раздобыть. Уснет — умрет. Стой, стой!.. У Леньки Шкета есть.

— А вверху знают? — спросил Дунька-Петр, виляя на ходу, как селезень, толстым задом.

— Знают. «На стреме» Ромка Кворум.

Когда все завалились спать, купчик долго еще недвижимо сидел, опустив на грудь голову. Вот раза два клюнул носом, встряхнулся, с горестью посмотрел по сторонам и, вздохнув, стал укладываться на чуждой ему грязной койке. Сунул под подушку чемодан, пиджак, перекрестился и, не разуваясь, лег.

Выбрав ночной час, когда купчик стал похрапывать и бредить, узкоплечий Петька Маз пополз змеей меж койками и вскоре высунул свою бульдожью рожу из-под койки купчика. Тот безмятежно спал. Петька Маз осторожно насыпал ему на усы «малинки». Тот потянул ноздрями и чихнул. Петька Маз нырнул под койку. У купчика лицо спокойно, глаза закрыты. Из тьмы выросла рука Петьки Маза и вновь посыпала на его усы «малинки».

Прошло полчаса. Страж в коридоре безуспешно борется с предутренней дремой: весенние сны густы, от них шалеет кровь.

Петька Маз выхватил из-под мертвецки спящей головы желтый чемодан, опрокинул на простыню все содержимое и стал быстро вязать в узел. Он работал на карачках, припав к полу, не дышал. Сунув пустой чемодан под голову ограбленного, вор пополз с узлом к себе. За стеклом окна, возле которого стояла его койка, нетерпеливо подпрыгивал конец веревки с петлей. Петька Маз тихонько приоткрыл окно, привязал

узел к веревке, сплющив, просунул его через решетку, и поклажа, елозя по внешней стене, поползла вверх, в третий этаж, к Ромке Кворуму. А окно закрылось. С двух коек — легкий, торжествующий смешок. Петька Маз спрятался с головой под одеяло.

Утром едва разбудили купчика. Его голова будто налилась свинцом, в ушах гудело. Он поднялся, посидел, все так же свесив на грудь голову, но стало скверно, опять прилег.

— Курослепов, болен, что ли? — спросил его пришедший с проверкой надзиратель.

— Так точно... Занемог, — сказал тот. — Глаза ломит... Голова... Мне бы капель... в чемодане...

Но чемодан был пуст. В камере начался повальный обыск. Однако дело сделано чисто. Хапаное сегодня же уплывет на рынок, а завтра ночью воры будут делиться барышами.

Амелька вплотную сдружился с Денисом. Культурник Денис начитан, развит, он даже писал для местных журналов неплохие рассказы. Он решил перевестись в один из столичных домов заключения и подал соответствующую просьбу прокурору. Срок его отсидки должен скоро кончиться. Денис подумывал попасть в высшую школу.

Амелька Схимник продолжал глотать книги, делал из них выписки в свой дневник. Наряду с чужими афоризмами и мыслями в дневнике попадались печальные воспоминания о бессмысленно погибшей матери — покаянный вопль Амельки. На этих страницах чернила растеклись от слез.

Он непоколебимо верил в свои силы, в то, что пройдут сроки и он станет упорным трудом зарабатывать деньги. Но для кого ж ему жить, трудиться? Ведь матери нет и некого обрадовать, что испытание для него кончится, что снова станет человеком.

— Жить и трудиться будешь для людей, — подсказал ему Денис.

Амелька упорно думал над этими словами. Что есть люди? Обида ему была от людей и горе. Он

помнит мужиков, однодеревенцев: Луку, Петра, Игнатия, Прова, — они вышвырнули Амельку вон, как мусор, они разлучили его с матерью, и вот через них — через них! — матери не стало. Или взять его отца, рабочего. Кто убил его? Белогвардейцы, предатели, тоже люди. А каких людей он видел, толкаясь по трущобам? Получал ли он от них бескорыстную помощь, умный совет, хоть маленькую ласку и внимание? Нет. Зато на воле он нередко наблюдал расфуфыренных барынь; у них на руках одетые в шелковые чепчики, в бантики, голозадые, кругломордые собачонки; барыни пичкали их шоколадом, печеньем и с брезгливой ненавистью фыркали на таких, как он, Филек и Амелек. Для них пес дороже человека. И это люди? Или сытые торгаши, или приезжавшие на базар крестьяне: в руках кнут, за пазухой камень; попробуй украсть голодный человек две-три картошки, — убьют, не крякнут. Правда, он видел и трудящихся, но не задумывался над их жизнью; он тогда не знал цены труду, не понимал назначения человека; он считал в то время, что трудятся лишь одни глупцы в пользу сытых и довольных, что цель жизни есть бездельная свобода. Или взять окружавший его двуногий зверинец: убийца Ванька Граф, безлобый Чечетка, Петька Маз, Чумовой, Дунька-Петр и многие другие. Вот люди, вот зверье. Так для кого ж Амелька, войдя снова в жизнь, будет трудиться? Для этих людей? Будь они все прокляты...

Так, взлетая и падая в бездну, качалось мрачное настроение Амельки, он стоял на распутье, он не знал, что ответить самому себе, какой укрепой сцепить себя с людьми. Такое неустойчивое состояние духа за последнее время гнело Амельку день и ночь. Он неослабно ждал воли, разумного труда, но этот естественный порыв всякий раз неотвратно упирался в стену противоречий, разлада с самим собой. Вопрос — для кого жить и стоит ли вообще жить — оставался без ответа.

Разумный Денис, включивший себя в круг Амелькиных недоумений, пытался помочь ему в этом разобраться. Опираясь на усвоенную им политграмоту и

вытекавшую из нее современную мораль, Денис говорил Амельке:

— Ты, товарищ Схимников, рассуждаешь вполне по-мещански. Ты будешь трудиться не для Петра, Сидора, Карпа в отдельности, ты будешь трудиться на потомство, на все человечество в общем и целом. На че-ло-ве-чество! Запомни это.

Амелька, сжав ладонями виски, нервно крутил пальцами вихрастые свои волосы; культурник Денис колупал бородавку на своем калмыцком желто-сером лице.

— Ты утверждаешь, товарищ Схимников, что люди тебе враги. Это неправильно. Ведь пролетариат не враг тебе, а друг. У тебя есть и должны быть, как и у всякого сознательного, классовые враги. Понимаешь? Клас-с-со-вые! Это — да.

— Мне хотелось на мать работать, на Настасью Куприяновну, если бы жива была. Вот я о чем толкую, — робея и удивляясь, почему он робеет, сказал Амелька.

— На мать, значит, в том числе и на себя. А где ж целеустремление в мировом масштабе? Это узко, товарищ. Это по-мещански. Перед тобой не мать, не брат с сестрой: перед тобой человечество. Че-ло-ве-чество! — Денис, захлебнувшись распиравшим его внутренним восторгом, вскинул руку с вытянутым пальцем так порывисто, что сопревший под мышкой френч треснул.

Амелька утвердительно кивнул головой. Но в его серых глазах мелькало недоумение, хляби внутренних противоречий. Понятия «мать» и «человечество» заслоняли друг друга, вели ревнивый спор, взаимно уничтожаясь и вновь вспыхивая в каких-то бесформенных, враждующих между собой тенях.

— В уме одно, а вот тут — другое, — ударив себя в сердце, глухо сказал Амелька.

— Вполне понятно, — не раздумывая, ответил Денис. — Ты еще не изжил в себе предрассудки. Изживешь, все будет ясно.

— Да как изжить-то? — с раздражением на самого себя и на Дениса спросил Амелька.

— Очень просто, — сказал Денис и взглянул на свои часы при запястье. — Сейчас мне некогда:

в редколлегию надо. А я тебе дам учебник и словесную инструкцию. Тогда все поймешь. Но прежде всего, когда выйдешь на волю, свою упадочную фамилию — Схимников — бросай к чертям. А бери, например, Емельян Пугачев. Это будет диалектически приемлемо. Или — Емельян Бодрый, или еще как. Вообще можно выдумать нечто подходящее, логически вытекающее. Вообще, если рассматривать твою теперешнюю фамилию как тезис, то новая неизбежно должна быть антитезис.

Амелька растерянно хлопал глазами и пыхтел.

— Уж я выдумаю, — вздохнув, сказал он.

— Вот-вот. От фамилии многое зависит. Другой раз она — как чертов ярлык. Например, — рассказывал один заключенец, — была у него фамилия — Смерть. Ну и что же? Ни в одно учреждение поступить не мог. Многие начальники из подмазавшихся, с большим предрассудком, с суеверием, и боялись его брать. Тогда он переменил фамилию на Радостный и сразу же получил место. — Денис схватил охапку журналов и вышел из камеры.

Вскоре были проводы любимого культурника в столицу. Камера отпускала его с нескрываемым сожалением. Заключенцы собрали ему в дорогу сорок рублей. Растроганный Денис сказал:

— Мне не дороги деньги, а приятно ваше отношение к человеку, к товарищу. Желаю вам скорей освободиться и стать людьми, полезными нашей стране.

Амелька отпросился в отпуск — провожал Дениса на вокзал.

— Пиши, не забывай.

— Буду. Только вот что... Ах, черт... Второй звонок. Ну, прощай. Иди в жизни прямо, не сбивайся, — закончил Денис мудрым стариковским тоном и вскочил в вагон.

Уязвленный своим бывшим хозяином, Филька тоже не дремал. «А что ж такое? Вот только Наташу жаль». И это не беда: Филька молод, его жизнь долга, а таких девчонок, как Наташа, еще много встретится.

Филька сошелся с местным комсомолом. На всю станицу в полтораста дворов было всего лишь двадцать комсомольцев, среди них — три девушки. Филька сдружился с рыжим, веснушчатым Васькой Ягодкиным и с приземистым сбитнем Фролкой Петровым. С ними он продолжал работать на постройке. Во время завтрака сгруживались все вместе: они и Дизинтёр. Как ни старались парнишки сбить Дизинтёра в свою веру, — нет: все их слова как от стены горох.

— Что ж, ты порядками нынешними не доволен, что ли?

— Я об этом не говорю. Порядки ничего, для нашего брата, бедняка, пользительные. А только что я в бога верую. Ну, и отступитесь от меня, не лезьте. У меня своя башка на плечах.

Красный уголок помещался в избе-читальне. Филька часто посещал его, брал книги, слушал споры, доклады. Ничего не понимал. Крадучись от родителей, изредка приходила Наташа. Филька подсаживался к ней. Шептались. Девушка по секрету сообщила, что вот наступит лето, и она сбежит от родителей в город, на рабфак. Фильке город был противен, но он ничего не ответил девушке, только вздохнул.

— А Дизинтёр твой все с Катькой, да все с Катькой шушукаются. Не знаю, к добру ли, к худу ли.

— К добру, — ответил Филька. — Он хороший. На своих ногах стоит.

— Батька торговлю расширять желает, дурак какой.

— Дурак и есть.

В конце апреля по просохшим дорогам привезли со станции в колонию сто двадцать пять железных кроватей с тюфяками, механические станки, верстаки, инструменты. Приехали механик, три монтера и пятеро рабочих для оборудования мастерских.

Филька спросил механика:

— А можно ли мне поступить на работу, когда откроется колония?

— Нет. Это для бывших беспризорных.

— Так я бывший беспризорный.

— А ты в тюрьме сидел?
— Никак нет. Что вы!
— Тогда сначала посиди.

XXI

КАМЕРНЫЙ СУД

Трое сидевших в Амелькиной камере новичков — подследственных: чернорабочий Петр Лыков, убивший в запальчивости свою жену, вор Мишка Обмылок и еще Дормидонт Мукосеев, мельник, которому вменялось в вину подстрекательство к убийству избача, — они все упрашивали заключенцев произвести над ними камерный примерный суд.

— Нам желательно обвинительное заключение вашего суда получить. По крайности будем знать, к чему приговорит нас настоящий суд.

В четверг культурник объявил, что суд состоится в воскресенье. Самочувствие троих подследственных, в особенности мельника Дормидонта Мукосеева, резко понизилось. Волнующий испуг сразу пронизал их сознание. Было интересно каждому подытожить на камерном суде все свои деяния и в то же время страшно услышать правдивый приговор. Они, как и все заключенные, знали, что приговоры камерных судов в редких случаях расходятся с действительными приговорами судов советских.

Были выбраны всей камерой председатель, члены суда, прокурор и защитник. Общая масса заключенцев отнеслась к выборам вполне серьезно. Малейшие попытки вольности, хулиганства сразу отметались. В председатели единогласно избран новый, заменивший Дениса культурник, подслеповатый толстощекий Арсений Павлов, в члены суда — четверо зарекомендовавших себя вдумчивым умом и беспристрастной справедливостью. Наоборот, в прокуроры попал с высшим образованием юрист, человек колючий, острый, с шипами на языке и в сердце. Выбор защитника задержался. Защитник должен пользоваться особыми

симпатиями камеры, должен обладать способностью отстаивать и защищать известные положения. Да чтоб и «язык был подвешен подходяще». Где такого сыщешь? В конце концов выбор пал на сектантского начетчика — чернобородого, с белым лицом, дядю Костю.

В воскресенье после торопливого обеда стол накрыли одеялами, разложили на столе бумагу, карандаши, уголовные и процессуальные кодексы (их в каждой камере было в изобилии), и процесс торжественно начался.

Вся камера охотно приняла участие в процессе. Среди зрителей был и главарь «правилки», горбун Леший. Он уселся в первый ряд, но соседи, зажав носы, попросили его удалиться. Каторжанин не обиделся, только нехорошо прикрякнул и ушел в дальний угол, где и расположился на полу, рядом со смердящим Чумовым.

Заключенцы вели себя с изумительной серьезностью: ни шуток, ни разговоров.

Первым судили кряжистого Дормидонта Мукосеева. Покатый лысый лоб, глубокие недружелюбные глаза, крупный, в оспинах, нос, кольчатая полуседая борода. Он встал перед столом, перекрестился, нервно передернул плечами, низкий отвесил поклон суду. И драма жизни началась.

После обычного опроса мельник стал давать показания. Голос его дрожал: старик захлебывался, глотал слова. Председатель сказал:

— Вы, гражданин обвиняемый, не волнуйтесь. Говорите не торопясь, со всеми подробностями, обдуманно. Каждое ваше слово записывается. Чистосердечное раскаяние будет принято судом во внимание и послужит как смягчающее вину обстоятельство.

— Благодарим. Извините. Мне говорить больше нечего, — вспотевшим голосом проговорил обвиняемый и вытер взмокший нос подолом пестрядинной рубахи. — Вот только сожалительно нам, свидетелей настоящих нету. Аверьяна Чибисова нет, соседа моего.

— Свидетелей мы найдем, — сказал председатель. — Кто желает быть свидетелем?

— Я. — И Амелька сутуло вырос перед столом.

Инстинктом чувствуя в Мукосееве своего врага, похожего на тех, которые когда-то вышвырнули Амельку из его родной деревни, он с азартом начал топить обвиняемого. Мельник Мукосеев попятился, замахал на него руками:

— Врешь, врешь! Это когда же я подходил к читальной избе?

— Ночью, с фонариком, — вполоборота, враждебно глядя на подсудимого, с упорством настаивал Амелька, — а оттуда пошел к пьянице Ваське в избу...

— К какому Ваське?!

Тогда вступился защитник, начетчик дядя Костя.

— Извините, гражданин свидетель, — вкрадчиво, с издевочкой заговорил он сладким голоском. — А не находите ли вы, что с фонариком, чтоб все видели, на убийство ни одна сука не ходит? И, кроме сего, какой же вы свидетель стороны, раз вы с первого почину топите сторону? Я заявляю перед судом этому свидетелю отвод.

Суд тотчас просьбу удовлетворил. Воспламенившийся Амелька с колючим блеском в глазах сел на место и стал помаленьку остывать.

Обычно в камерных судах участие подставных свидетелей допускалось очень редко. Они лишь усложняли процесс суда. Да и какую роль могли играть их выдуманные показания, когда сам подсудимый в своих же собственных интересах открывал перед судом товарищей всю свою душу без утайки?

Речи прокурора, защиты, перекрестный обстрел подсудимого, прения сторон — и суд удалился на совещание в угол, к уборной. Подсудимого трепала лихорадка. Он был бледен, пришибленно сидел, вдвое перегнувшись, в томительном ожидании приговора. Ни разу не взглянул на товарищей, голова низко опущена. Звонок.

— Встать! Суд идет! — И все дружно встали.

Объявленный приговор — высшая мера социальной защиты, расстрел, — потряс осужденного.

— Богом, богом клянусь, не убивал!.. Облыжно, — всплеснул старик руками и навзрыд заплакал.

По всей камере прошел общий вздох. Послышались протестующие голоса. Амелька, как в бреду, закричал:

— Отказываюсь, отказываюсь от своих показаний! Я дурак. Я врал...

— Пересмотреть дело! Пересмотреть дело! — требовала камера.

Бледный, растерявшийся председатель отхлебнул воды, сказал:

— По тем данным, которые были в распоряжении суда, приговор правилен. Настоящий суд, поскольку выявлены будут на нем иные данные, более положительные, может быть, вынесет более мягкий приговор. Объявляю заседание суда закрытым.

И сразу гулкий, многолюдный говор. Все сочувственно окружили старика, критиковали речи прокурора, защитника, поведение председателя, весь суд в целом. Прокурор, в галстуке бабочкой, чуть не в драку лез к свирепевшему защитнику. Чернобородый защитник в свою очередь наседал на председателя. Зрители по матушке пушили похожего на большую сороку прокурора:

— Ишь ты... Барин... Бела кость... Юрист, дьявол! Рад нашего брата утопить... Уче-о-ный... Чтоб те соленым огурцом да в пузо!

Осужденному наперебой старались втолковать:

— Не ной, дедка Дормидонт! Наши суды завсегда больше дают настоящих. Больше пяти лет не дадут тебе. Уж поверь!

Однако старик всю ночь проворочался в каком-то липком, гнетущем душу полусне. С тяжким чувством, от которого шевелились на затылке седые волосы, старик подводил свое сознание к последнему концу, к расчету с жизнью. Что есть смерть? Что ж: пли — и кувырнулся? Не смерть страшна, страшно ожидание ее. А еще страшней предсмертное прощание с товарищами, с койкой, с заплеванным полом, с этой любезной сердцу промозглой камерой, казавшейся теперь милей родной избы, с последним глотком навсегда

оставляемой жизни. «Братцы! Не виноват, не виноват!» Но ружья с грохотом уперлись ему в грудь... Старик вздрогнул, визгливо застонал и открыл в тот замогильный свет безумные глаза: «Убили, умер».

— Чего, дед, спать не даешь?

Перед ним, на соседней койке, сидел — ноги калачиком — всклокоченный, с помятым изнутри лицом Амелька.

Старик растерянно молчал. С испуганным, религиозно-суеверным любопытством он пытливо озирался. Так вот каков этот самый ад, куда попала после лютой смерти его грешная душа!

Амелька сощурился на старика, качнулся взад-вперед, как ванька-встанька, и, задыхаясь, с раздражением, заговорил взахлеб:

— Что ты, старая карга, падаль, маленький, что ли, всю ночь хнычешь? По сиське стосковался, что ли? Ежели ты есть убивец, за милую душу расстреляют, как пить дадут. А ежели... Не хнычь, пожалуйста, не хнычь...

Рот старика открывался все шире, шире. Амелька враз исчез в дыму, а вместо него — рогастый, с зеленой мордой, козлоногий черт. Старик в страхе прошептал: «Сгинь, нечистая сила, сгинь», — с яростью сплюнул на пол, круто отвернулся прочь от сатаны и снова застонал.

— Малосознательный дурак, дефективный! — сквозь зубы прошипел Амелька.

На следующий день судили остальных подследственных — Мишку Обмылка с Петром Лыковым. После мягкого приговора оба они с бодростью стали ожидать советского суда.

А Мукосеев Дормидонт не спал, не ел; в охватившем его животном страхе он ждал неминучей смерти, готовил себя к ней.

Судить больше некого. Но заключенцы разожглись судом как зрелищем и стали умолять находящегося под следствием Андрея Кирпича, человека пожилого, нелюдимого, скрытного, непонятного для них:

— Дядя Андрюша... Вальни! Пусть посудят. Чего тебе...

После упорного отказа тот согласился.

Некоторые из старых заключенцев хорошо знали Андрея Кирпича. Это закоренелый сибирский бродяга, таежный волк. Но теперь, вновь попав под суд, он казался пришибленным, жалким. Он всех чуждался, проводил время в молчании. Сидя где-нибудь в углу, всегда был мрачно задумчив, замкнут. Странная отчужденность от жизни сквозила во всем поведении его. Товарищи догадывались, что некий грех, которого нет сил забыть, тяготит его душу, и до времени не трогали преступника. Да, впрочем, у бродяги и не было товарищей. Одинокий, он, видимо, искал теперь вечного покоя и забвения.

К судейскому столу Андрей Кирпич подошел смиренно, чинно, как монах-затворник. Казенный, не по росту, бушлат нескладно топорщился на сутулой спине его, голова кудластая, нос перешиблен посредине, борода пегая, окладистая. Глубоко посаженные глаза угрюмы. Иной раз они вдруг вспыхивают зеленоватым, пугающим огнем, — тогда лик его становится страшным.

— Ну что ж, судить будете? Ничего, валяйте! — искусственно взбодрившись, сказал он.

Вся камера насторожилась. Этот загадочный человек, от которого нельзя было выдавить ни одного слова, сейчас сам добровольно поведет о себе рассказ. Формальный опрос закончен.

Неровным голосом, временами переходящим в слезливый, бередящий нервы вой, бродяга вкратце пересказал всю жизнь свою, грязную, голую, захватанную кровью. Перед замершими слушателями, как чадный дым, угарно проплывали злодейства человека.

Двадцатилетним парнем он в драке убил китайца, попал на каторгу, бежал, был пойман и нещадно бит. Снова бежал, скитался по тайге, издыхал от голода, много раз был в зубах у смерти: его опять поймали, повредили руку, сломали два ребра, приговорили к бесконечной каторге, приковали к тачке. Так шли

каторжные годы. Революция освободила его. Некоторое время он пытался жить честным трудом: в Томске года полтора заведывал мельницами и транспортом. Но встречи с бывшими товарищами по каторге снова вернули его на преступный путь. С шайкой бандитов он ограбил мельницу в Тюмени, Губтекстиль в Екатеринбурге, убил бывшую купчиху с мужем, убил двух мужиков и десятилетнюю девочку в селе и трех милиционеров в Вятке.

В кровь израненный своим рассказом, Андрей Кирпич лишился сил и как пьяный закачался. Его усадили. Он закрыл лицо мертвыми руками. Камера молчала — и суд молчал. Холодный, гнетущий душу сквознячок прошел.

— Обвиняемый! Признаете ли вы себя во всем этом виновным? — разодрав тишину, наконец спросил председатель.

— Во всех делах, где кровь пролил, я, конечно, мог бы запереться. Меня в них не поймали, улик нет. Значит, я не я и лошадь не моя. А теперь я буду судиться вот за что: за грабеж на большой дороге. Ямщика связал, служащего связал, денег взял три тыщи казенных. Лошадь, конечно, подстрелил, а человечьей крови не пролил, нет...

— Значит, вы отрицаете свои прежние преступления? Говорите, обвиняемый, в открытую: отрицаете или признаете?

— Да, признаю. Прошу меня расстрелять. И казенному суду открою душу без утайки.

Подсудимый поднялся. Губы его покривились; глаза, выжимая слезы, часто замигали... Он тихо добавил:

— Не хочу жить... Оченно чижало жить мне! — Потом тряхнул головой, лицо его стало каменным, лесные глаза метнули искры: — Требую расстрела.

— Почему ж такое? — прервал его защитник и нервными белыми пальцами затеребил пряди черной бороды. — Суд разберет, вникнет.

— Оставь, оставь! Ни к чему это, — отмахнулся Андрей Кирпич; его голос зазвучал мягко, убеждающе. — Ну, стань-ка на мое место, милячок! Вот

сижу я за решеткой: ни родных, ни знакомых. Не только что передачи, взгляда ласкового не вижу. А как без душевного сугрева жить? Подумай-ка, дружок! И льду трудно без солнышка растаять. Ну, ежели не обнаружу на суде, что я есть великий убивец, дадут мне за грабеж три года строгой изоляции, ну отсижу два, либо полтора. Выпустят. Куда идти? Кто меня, такого варнака, возьмет? От работы отшился. Значит, опять должен либо убивать, либо грабить. Значит, опять суд, тюрьма, одиночка без ласк, без привета... Один... Нет, хватит с меня. Вот мне сорок восемь лет, а я двадцать просидел. Нет, уж ты не старайся, дружок! Ежели не расстреляют, все равно сам себя прикончу. Надоело жить... Поверь!

Суд пришел в замешательство. Дело небывалое: сам преступник открывается во всех неизвестных правосудию деяниях своих и просит смертной казни. Но камера вдруг закричала в один голос:

— Судить, судить!.. Он, дурак, смерти захотел. Належишься еще вверх пупком-то... Требуем мягкого приговора! Старое насмарку. Не пойман — не вор. Требуем оправданья!..

— Расстрела, расстрела прошу! Смерти! — ожесточенно бил себя в грудь преступник.

Крики крепли, переходили в истерический рев; все вскочили с мест, взмахивали руками, лезли к суду; у иных, что помоложе, градом катились слезы. Неизъяснимым чудом вся камера — от потолка до пола, от стены к стене и дальше — во всю ширь была охвачена потоками высокой, внезапно родившейся любви человека к человеку. Надсадней всех голосил Амелька:

— Да я сам в суд!.. В Верховный!.. Да мы петицию... Во ВЦИК Калинину!.. Надо принять во внимание... Он страдал!.. Страдал!..

— Ша! Ша! — тренькал онемевшим в гвалте звонком, надрывался председатель, стараясь приглушить сплошное безумие толпы.

А бродяга Андрей Кирпич с каким-то детским изумлением, вконец потрясенный, глядел на всех.

Речь прокурора кратка и безнадежна. Он доказывал, что подсудимый — человек бесповоротно

конченный, погибший, что он общественно опасен при всяких условиях и что единственной мерой социальной защиты может быть расстрел!

Камера заскрипела зубами. У многих зудились руки полоснуть оратора ножом. Подсудимый же, дружески улыбаясь прокурору, согласно кивал ему лохматой головой.

— Так, так, дружочек, так...

Но вот выступил защитник. Он предварительно сбегал к крану, выпил ковш воды, перекрестился по своей старой вере двоеперстием и занял место.

— Граждане судьи! — лихорадочно раздался его звонкий голос; черная борода взлохматилась; на сухощеком лице взыграл румянец. — Вот перед нами злосчастный человек; он испытал в жизни самое страшное: царскую каторгу, кандалы, порку. Опять же взять скитанья по тайге, жизнь со зверьем лесным без крова, в голоде, в страхе, что вот-вот сожрут. Пред вами, граждане судьи, человек затравленный, отчаявшийся. И вот теперь он сам оскалил зубы на весь божий мир и на самого себя. А что он просит о расстреле, — это, граждане судьи, двадцать пять тысяч раз абсурд, абсурд и абсурд! Он, братцы родимые мои, устал, устал и еще раз устал от одиночества. Он за свою жизнь не видал ни ласки, ни сочувствия. А мы все воочию видим, как он, сидя с нами, и по сей день тоскует. Да вы взгляните на него и поразмыслите: се человек. Милые граждане судьи! — крикнул он и порывисто выбросил вперед руки. — Земно вам поклонюсь, голову свою прошибу об пол, пусть мозги мои вытекут, пусть их слизнет собака, только всем нутром прошу: будьте к сему несчастному по-человечески милостивы! — Он прикрыл глаза ладонью, мотнул головой, вцепился в край стола и угловато сел.

В продолжение всей речи Андрей Кирпич недоброжелательно глядел на своего горячего защитника, отрицательно потряхивая головой. Вот он поднялся и твердым голосом сказал:

— Я очень прошу вас... приговорить к расстрелу. Смерти хочу.

Вся камера с шумом передохнула, задвигала скамьями. Зашелестел негромкий ропот. Суд ушел на совещание. Был вынесен приговор: расстрел.

Андрей Кирпич радостно, низко поклонился суду:

— Покорнейше благодарим!

С этого судного часа до той мрачной минуты, когда бродягу увели на настоящий суд, товарищи окружили его необычайным вниманием. Всяк считал за счастье поделиться с ним, чем мог, услужить ему, сказать бодрое, утешающее слово.

Недели через две культурник Андрей Павлов встретился с членом коллегии защитников, который иногда заходил в культкомиссию дома заключения. Защитник охотно рассказал ему об участи своих, знакомых Павлову, подзащитных. Судьба их такова: старик Дормидонт Мукосеев, так боявшийся смерти, за неосновательностью улик против него, судом оправдан. Искавший же смерти Андрей Кирпич, во всем сознавшийся, приговорен к высшей мере наказания. Выслушав приговор, он весь просиял и так же, как и в камере, поклонился суду:

— Покорнейше благодарим!

Когда конвойные уводили осужденного, защитник вдогонку сказал ему, что подаст кассационную жалобу в Верховный суд. Через четверть часа в консультацию сообщили из комендатуры, что осужденный просит к себе защитника.

— У стола стоял Андрей Кирпич, окруженный конвоем, — продолжал защитник рассказывать культурнику. — «Ну-ка, садись, — сказал он мне. — Какой еще Верховный суд? Не надо. Пиши, что тебе буду говорить, мою, значит, последнюю волю». Я сел и под диктовку написал, может быть, единственный во всем мире документ: «Я, нижеподписавшийся, заявляю, что приговором... Губсуда от такого-то числа и года, присудившего меня к расстрелу, вполне доволен и от подачи кассационной жалобы отказываюсь». С веселой ухмылочкой он кой-как нацарапал свою подпись и обратился к коменданту: «Ну-ка, дяденька, поставь-ка тут печать, чтобы, значит, обмана не было».

Приговор приведен в исполнение.

XXII

ПИСЬМО ДЕНИСА

Вскоре по частному адресу Амелька получил от Дениса письмо.

«Уважаемый товарищ Емельян!

Ну, вот я сдержал слово, пишу тебе. Пишу подробно, но, как видишь, в необработанном виде.

Начну с того, что домзак, в котором ты живешь, и в подметки не годится нашему, столичному. Правда, здесь подбор лишенных свободы своеобразный: здесь закоренелых, как в вашем домзаке, преступников нет, здесь почти все по первой судимости. Много из интеллигентных профессий — от инженера до простого кассира в кооперативной лавке.

В нашем доме все образцово, все на деловую ногу. В сущности, это не дом заключения в обычном понимании, а трудовая исправительная фабрично-заводская колония. Она официально так и зовется. Но и такая экспериментально-показательная постановка дела все же не является окончательным нашим достижением в этой области. Хотя тут мы далеко шагнули, значительно опередив Европу и Америку, однако точки на этом деле еще не поставили. Последнее слово мы еще скажем, и это слово будет: долой дорогостоящие государству домзаки, и да будут вместо них земледельческие и промышленные, самоокупающиеся колонии.

С вещевым мешком за плечами я подходил к домзаку без всякого конвоя — один. Ты понимаешь? Полное доверие! Домзак занимает огромную площадь. Это, в сущности, целая фабрика с несколькими цехами. Дымится заводская труба, углем пахнет.

А вот и ворота трудовой исправительной колонии, вкратце — домзака, бывшей царской тюрьмы, где человек переставал быть человеком.

Над входом девиз: *«Мы не караем, а исправляем»*. Этим все сказано!

После канцелярских формальностей вхожу в кабинет заведующего учебно-воспитательной частью. Стены увешаны диаграммами, планами, расписаниями

занятий. Большие столы. За одним из них — старик величественного вида. Пред ним разложено несколько дел лишенных свободы, возле него — трое заключенных, пришли за советом к нему. Он — юрисконсульт домзака, шестой год отбывает заключение. Машинистка, воспитательница женского отделения, помощник заведующего и сам заведующий в черной шинели, в фуражке, с красным околышем, молодой, с черными усиками. Я представился ему, вручил препроводительную бумагу.

— Ага... Сядьте, подождите! — сказал он, мельком взглянув на меня.

Заметь, товарищ Емельян, здесь со всеми лишенными свободы начальство обращается на «вы».

Заведующий ведет деловые переговоры с вызванными заключенными: одни ходатайствуют о переводе в высший разряд, другие просятся в отпуск, третьи — на принудительные работы.

— Я вам, Серов, не советовал бы идти на принудительные работы. Здесь все-таки вы сыты, одеты, а там может повернуться дело так, что на работы не попадете, будете голодать...

— Нет, гражданин заведующий, меня возьмут на завод: я имею письмо.

— Ну, как хотите! А то были случаи, что выпишутся на принудительные, а потом опять к нам просятся... А вы, — обращается заведующий к пожилому румяному бородачу, — вы не имеете права на принудработы проситься. Вы по второй судимости?

— Так точно.

— Прокурору подавали?

— Так точно. Отказал.

Входит развязный, в потертом пиджаке, кудрявый молодой человек, закуривает папироску. Глаза у него плутоватые, с игрой.

— Здравствуйте, Митрофанов, — встречает его заведующий. — У вас в драмкружке беспорядки. Вы плохой режиссер.

— Знаете, гражданин заведующий, — непринужденно пускает тот дым колечками, — дело мутит Варя Смолина. Она ж, сами знаете, красавица. От

нее все мои артисты дураками делаются, балдеют. Прошу изъять ее. Я согласен с любым уродом работать из женщин, только не с красавицей.

— У вас слаба и организационная и разъяснительная работа. И, кроме того, у вас, видимо, нет авторитета. Не умеете себя соответственно вести.

— Я стараюсь, гражданин заведующий, — режиссер потупился, окурок летит в угол.

— Однако одного старанья мало. И медведь старается дуги гнуть. Идите. Я подумаю. Ну-с, товарищ Денис, — и заведующий достал из стола дело о моей судимости, — я с вашим делом знаком и вас знаю по вашим очень неплохим очеркам в наших газетах. Ну-с, что вы скажете?

Я вытянулся в струнку, радуясь в душе, что меня первый раз за все время заключения начальствующее лицо назвало товарищем.

— Не хотите ли быть руководителем драмкружка? Призванье есть?

— Нет, товарищ заведующий. Я к этому не способен. Мне бы...

— Тогда в редколлегию. Наш редактор скоро на выписку, тогда можно и...

— Благодарю вас. Я согласен. Но так как я готовлю себя в писатели, мне бы хотелось...

— Пожить в разных камерах? Поближе ознакомиться с бытом? Ну что ж. Ладно.

Итак, любезный Емельян, передо мной открывается широкая возможность наблюдений. Я здесь сразу почувствовал себя достаточно созревшим, чтоб осмысленно воспринимать ход нашей жизни. А там, у вас, я только хлопал ушами.

Но прежде чем перейти к описанию наблюдений, я приведу тебе некоторые данные официального порядка. Немножко поскучай.

Начну с учебно-воспитательного дела. Оно поставлено довольно хорошо. Существуют кружки: пенитенциарный (изучение личности преступников), автотракторный (подготовляет шоферов, трактористов),

рукодельный, драматический, хоровой, струнный, духовой; группы: неграмотных, малограмотных, повышенного типа. Занятия ведутся ежедневно в свободные часы. Руководители кружков — из лишенных свободы, под общим наблюдением заведующего учебно-воспитательной частью.

Здесь имеется даже нечто вроде педагогического техникума — так называемый кабинет учебно-методической комиссии, подготовляет педагогов для заключенцев. В расписании занятий встречаются такие лекции: «Дальтонский лабораторный план», «Биология по дальтон-плану», «Общая гигиена». Слушателей всего двенадцать человек. Я с ними свел знакомство. Они с достаточной общей подготовкой, двое даже нюхнули университетского курса. Им преподают сам заведующий, два педагога с воли и врач. С трактористами и шоферами занимаются отбывающие высидку инженеры.

Чтобы покончить со скучным материалом, опишу тебе вкратце постановку трудового дела. Я живу здесь уже полторы недели. Успел познакомиться со всеми цехами. Электромонтажный со слесарным отделением и кузницей главным образом работают для самообслуживания (подача электричества на производство и ремонт). Когда я обратился с вопросом к стоявшему у кузнечного горна человеку: «Ну, каково работается?» — он весело ответил: «Отлично, как на всамделишной фабрике...» — и продекламировал:

Только труба пониже, щи пожиже,
Завод поуже, народ похуже.

Ему лет сорок, худой; он стукнул топором свою жену по голове, но, несмотря на это, здесь он председатель товарищеского суда. Кодекс знает «на ять».

Далее шнуровочный цех — небольшой, человек на пятьдесят, выделывают шнурки для ботинок.

Еще сеточный цех — вырабатывают сетки для сушки столярного клея. Много мальчишек работает, бывших беспризорных. Мастера жалуются, что

озорники работают скверно, «а по затылку огреть нельзя».

Шерстяной цех очень интересный. По деревням области собирается овчинная рвань, лоскутья старых шуб, рукавиц, шапок — то, что раньше отправлялось за границу и поступало обратно в Россию уже в готовых шерстяных изделиях. А теперь в тюках свозится сюда, к нам. Вся эта грязная дрянь сортируется, наскоро промывается и поступает в котлы с кислотным химическим раствором. Через пять-шесть дней вся кожа (мездра) уничтожается раствором, остается лишь шерсть. Ее тщательно промывают, сушат в особой сушилке, прессуют и везут в Нижний-Новгород на фабрику.

Далее портняжный цех, хорошо оборудованный. Работает четыреста человек. Закройщики, инструктора — с воли.

На производстве заняты почти все трудоспособные, исключая освобожденных доктором.

В рабочие дни все камеры пусты: народ на работе. Камеры проветриваются, моются. В камерах чистота. Паразитов — ни вшей, ни клопов — не водится. Изредка встречается легкая кавалерия — блохи. В баню каждый ходит три раза в месяц. Таких типов, как ваш горбун Леший, от которого смердит, здесь нет. Белье — казенное, ежели нет своего.

Мы, брат, сами мыло делаем! Попался в лапы правосудия один головастый инженер-химик. Он старательный до чертиков и лекции читает в автотракторном кружке. Просто жалко, что такой субъект сидит среди лишенцев. Он организовал здесь целую лабораторию, и, если б ты знал литературу, я бы сравнил его с доктором Фаустом (Гете), но для тебя это пустой звук в межпланетном пространстве, которое для тебя тоже звук пустой. Стыжу тебя не для собственного восхваления, а чтоб подстегнуть твою волю в смысле саморазвития. Этот химик варит разных сортов мыла, главным образом для бани и прачечной.

В прошлом году выпущено всеми цехами продукции на шестьсот тысяч рублей. Благодаря этому наша исправительная колония существует на полной самоокупаемости, даже приносит государству небольшой доход.

Заработок лишенных свободы распределяется примерно так же, как и в твоем домзаке. На руки выдается не более рубля в месяц, чтобы пресечь возможность картежной игры. Деньги кладутся в сберкассу и вручаются владельцу при выходе на волю. По окончании отсидки каждый получает на руки бумажку о своей квалификации — о хорошем усердии, умении, поведении. С этой бумажкой ему открыт доступ на все фабрики Союза. Прошлая судимость в счет не идет, предается забвению. Вот в чем главная суть! Какой-нибудь убийца, вор выходит человеком, перед ним широкая дорога труда и деньжата в кармане... Вот...

Ну, довольно официальщины. Она скучна, как казенный бушлат. Слушай: расскажу веселенькое, бытовое.

Народ у нас в большинстве столичный, с гонором. Смерть не любят, когда спросишь: «За что припаяли?» Надо спрашивать: «По какой статье?» Вопрос в такой форме считается корректным. Но, оказывается, виновных вовсе нет: все осуждены несправедливо, все — жертвы судебной ошибки, происков врагов, лицеприязни судей или просто «под несчастной планидой родился», нахально пришили к делу.

— Вот полюбуйтесь на наше правосудие, — жалуется гололобый убийца; у него уши торчат, как у осла. — Я убил одного — мне дали целых восемь лет, а Петька Ноздря двоих ухлопал — ему всего дали три года. Где справедливость, я вас спрошу?!

Но его арифметику тотчас же сшибают:

— Ты, браток, хоть и одного укокошил, да с корыстной целью, а Петька Ноздря хоть и двоих кончил, свою жену с любовником, но в состоянии аффекта. Понимаешь, что означает аффект? Ну и засохни.

В нашей камере старый цыган Яшка, лохматый, черный, белозубый, с большой, в кулак, неугасимой трубкой. Мастер «поточить лясы». Говорит, упирая на каждый слог, и буква «о» звучит у него кругло, как яблоко.

— Совсем по-напрасному осуждал меня судья. Какой я конокрад?.. Взял уздечку, потянул — лошадь сама пошла. Эх, за что страдаю! — Раскосыми глазами он смотрит на горбатую свою переносицу, вздыхает, сплевывает. — За что, туваришши-разбойнички, страдаю, неизвестно. Диви бы за своего коня, не так обидно, а то за чужого. За чужого коня пропадаю, туваришши.

Камера смеется. Говорят веселому цыгану:

— Вот скоро коней всех изведут, съедят. Одни автомобили останутся. Что ж, вместо коней автомобили будешь воровать?

— Я, братцы-разбойнички, не вор.

— Врешь, будешь... Раз привык, потянет.

Да, верно. Воровство — ужасная вещь. Вор, как курильщик, не может бросить свое ремесло. Вот, например, у нас в камере имеется налицо вор-карманщик Сашка Скворец. Щуплый такой, чахоточный, нос птичий. Однажды ночью проснулся я и наблюдаю: Сашка бросил к столу свою шапку и крадется к ней меж койками спящих товарищей, пал на брюхо, ползет к шапке, подкрался — хоп! —схватил— и за пазуху. Опять бросил, осмотрелся, — все спят, опять стал красться, как к мыши кот. Опять — хоп! — за пазуху. Но вот будто бы за ним погоня: он мчится прочь, перемахивает, как акробат, через койки уркаганов. Я фыркнул и окликнул его. Он пришел в себя, хмуро прошил меня глазами, как двумя кинжалами, потом улыбнулся, подморгнул мне воровским глазом и лег на свою койку.

Ничего не поделаешь — привычка, болезнь. Этот вор, так сказать, психический наркотик.

Кстати о наркотиках. У нас есть некий тип — Петр Петрович Мушкин, техник. На вид лет сорока пяти, а всего ему и тридцати нет. Лысый, усатый, весь трясется. Говорит заикаясь. Глаза воспаленные,

то вспыхнут, то потухнут. Голова большая, угловатая и, должно быть, умная: когда он не на высидке, ему служба открыта, им дорожат. Он имеет двадцать восемь приводов и шесть судимостей. Он знаменит тем, что в три секунды открывает любой сложнейший запор. Делал нам опыты. Когда на службе — получает хорошее жалованье, мог бы кокаин или морфий покупать, но он этого не любит, он взламывает аптеки. Раза три его брали на месте преступления: взломает, вспрыснется и тут же уснет; так сонного и забирают. Замечательно то, что он ни разу в жизни ничего, кроме наркотических снадобий, не воровал. Мы спрашиваем его: «Почему вы, Петр Петрович, так безрассудно поступаете?» Он отвечает: «Игра воображенья».

По моей просьбе меня поместили сначала в камеру растратчиков. Они всюду — на прогулках, в цехах, в театре — держатся обособленно: они не «блатная масса», они «по должности», а не «уголовщина». К «блатным» относятся с нескрываемым презрением. Есть три инженера, два техника, бухгалтеры, кассиры, юристы, всякие спецы. С ними скучно; пробыл среди них два дня, в книжку почти ничего не записал.

Следующая моя камера — валютчики, воры, фармазонщики (те, что продают дуракам стекляшки вместо брильянтов) и прочее мазурье. Валютчиков помещают вместе с воровской шатией, и хотя их бьют, но они держат себя, как герцоги. Эта камера, в общем, самая веселая. Здесь иногда устраиваются тайные выпивки, здесь процветает картеж. Из двадцати пяти камер эта самая беспокойная, да еще та, где бандиты. Несмотря на бдительный надзор, блатная шатия ухитряется устраивать пакости. Их не пугает ни суд товарищей, ни карцер, ни прочие меры пресечения. Но это мне на руку — много наблюдений.

Делаю выписки из своей пямятной книжки.

Вот тебе тип квартирного вора: фигурка, в общем, плевая, невзрачная, одет плоховато, без форсу. Скользящие, бегающие глазки, походка и манера

держаться вкрадчивые, подхалимные. То он стелется ниже травы, то сразу обратится в наглеца. С начальством, с надзором почтителен, но вдруг вскозырится, скажет дерзость, тотчас же испугается и снова ниже травы, весь распластался в унизительной почтительности. Вообще — слякоть, мразь.

А вот вор магазинный, обчищающий карманы покупателей в богатых магазинах, ресторанах и прочее. Это, я тебе скажу, фигура! Их двое у нас. Я думал, это доктора или какие-нибудь иностранные буржуи. И в голову не придет заподозрить в них воров. Они знают чуть-чуть и по-французски и по-немецки. Одеты с иголочки, франтовски. Костюмы, помятые в изоляторе, ежедневно чистят, брюки кладут под матрац, чтоб держались складки. Вообще — аристократия, фу-ты ну-ты, высокий класс.

Вот тебе три безделушки, записанные мною с натуры, сценки, что ли, или заметки.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ

В моей камере сидит бывший крупный подрядчик Родион Родионов, строитель этого самого здания — старорежимной царской тюрьмы. И ему поручен капитальный ремонт его же собственного детища. Ха-ха! Чудно́ или не чудно́? Живая ирония судьбы. Ему лет под шестьдесят, но он крепкий, высокий, с пушистыми усами. Наши бабенки заглядываются на него. Он здесь на полнейшей свободе, ездит за покупками, нанимает рабочих, заготовляет материалы. В камере лишь ночует. Сын мужика, он в молодости был кучером у инженера-путейца, тоже подрядчика. «Родька, а тебя надо в люди выводить», — однажды сказал ему инженер. «Ах, сделайте милость, ваше высокородие». Инженер дал ему небольшой подрядик, потом дал подряд побольше. Через три года Родька своего благодетеля выпустил в трубу, а к революции имел миллионный капитал, три огромных дома в Питере, по две дачи в Крыму и на Кавказе.

— Ничего не жалею, — говорит он, — одного жаль — молодости. Люблю пожить.

Замечательный старик у нас есть. Всем старикам старик. Ему не мало не много: сто один год.

— Сто лет прожил на воле, — кряхтит он, — на сто первом сумел за решетку сесть.

— Да, столетний юбилей не плохо отпраздновал, дедушка Макар, — смеемся мы.

— Не плохо, не плохо, жулички-мошеннички, дай бог всякому, — взмотнет он красным носом-луковкой, и седая бородища по груди ползет. — Тюрьма что могила: всякому место есть.

— А ты за что, дедушка?

— За простоту, за дурость. Зерно в землю заховал. Донесли, нашли, год отсидки дали. Так оно и есть, правильно. И в святцах сказано: кто ворует, тот горюет. Сам у себя своровал. Вот какие права-то пошли нынче.

— Не у себя — у государства, дедушка Макар.

Он сам с Дона, а пригнали его сюда на торфяные разработки, потом вернули в домзак. Крепкий, старательный. Исполняет всякую работу: пилит, колет дрова, разносит их по камерам, убирает двор. Ему в помощь назначили стариков по шестьдесят — шестьдесят пять лет; он их прогнал:

— Ты мне, надзирательный начальник, старичья не давай. Хоша они и внуки мне, а от них толку нет, вонь одна. Ты мне парней давай, мазуриков.

Ему дали молодых. Он покрикивает на них:

— А ну, воровские люди, сударики, нажмем!

Этого деда все любят — колдунище какой-то, на него и смерти нет. Он жаловался мне:

— Вот беда: срок отсидки приходит. Куда я? Семьи у меня не имеется. А здесь хорошо мне, кругом народ головастый, жулички-мазуречки. Весело! И харч подходящий, и тепло, и спать мягко. Хочу проситься у прокуратора, чтоб до смерти в остроге держал меня. Что ж, я заработаю жратву-то с питьем. Я еще женюсь на какой-нибудь стриженой воровочке.

ФОМКА ШАЛЫЙ

Жил у нас два месяца такой хлюст, оборвыш Фомка Шалый, рыночник. Ему лет четырнадцать. Сорвиголова — страсть! И озорник, каких мало, но в общем, парнишка невредный. Недавно за полтинник съел рюмку. Глотает пуговицы по двугривенному со штуки. Когда я ему заметил, что это очень опасно: может попасть в отросток слепой кишки, и тогда — брюхо резать, он расхохотался. «Я, — говорит, — на своем веку десять дюжин проглотил и ни разу не ослеп в кишках».

Сидит он за скандал в пивной. Стал акробатический номер показывать на трех стульях, поставленных один на другой, да упал и прямо шлепнулся каким-то приличным посетителям в сковородку с яичницей-глазуньей. Буфетчик схватил его за шиворот; он буфетчику укусил до крови руку, вырвал часть бороды и разбил зеркало.

Третьего дня его освободили, — пять месяцев сидел. Мы провожали парнишку с сожалением: шутейный забавник был. А сегодня... Можешь себе представить? Отворяется дверь, и...

— Фомка, ты?!

— Я.

— Чего забыл?

— Влип, братцы. Вторично засыпался.

Мы засмеялись.

— Что ж ты, только сутки и был на воле?

— Нет, полтора часа. Я прямо отсюда похрял в пивнушку ту самую. Сердце горело буфетчику накласть, сукину сыну. Отворил дверь — он самый. Бутылкой пустил ему в рожу, да промахнулся, вот дурак.

— Ах ты, Шалый, Шалый...

— Ничего, братцы. Зато я в винегрет все-таки харкнул... Целая миска винегрета на стойке была.

Я ему всерьез:

— Ну, брат, знаешь... Ты, брат, действительно хулиган.

Теперь о налетчиках, кратко. Я сидел среди них три дня. Народ ничего, серьезный. Во-первых, какой бы костюм на нем ни был, налетчик всегда выглядит франтом. Все мощные, жилистые, глаза горят. В глазах большая сила, иногда наглость: губы поджаты, говорить много не любят, жесты повелительны. Это львы среди волков. Душистое мыло, зубные щетки, помада. Всегда чисто выбриты. Курят хорошие папиросы. Любят читать уголовные романы. К начальству относятся с нескрываемым презрением. Быстро воспламеняются. Ежели начнут скандалить, перебьют все стекла, перековеркают всю мебель

Одного я спросил:

— Почему вы такой задумчивый?

— А тебе, фрей, какое дело? — бросил он через плечо сквозь зубы. Потом повернул ко мне свою голову типа римского патриция и сказал: — Обдумываю способ бегства.

— Удавалось?

— Дважды.

— А смерти не боитесь?

— Мы, налетчики, кокетничаем со смертью, как ты, фрей, с барышней. Всегда с ней под ручку ходим. — Сказав так, он подал мне портсигар с папиросами. — Прошу.

Биографии налетчиков удивительные. Но об этом как-нибудь в другом письме.

Среди них сидит известный преступник Иван Сорокин. Он мало похож на налетчика. Кряжистый, сутулый, чернобородый. В высоких сапогах. По профессии — скорняк. Он неоднократно бегал из тюрем. Полагают, что и на этот раз сбежит. Человек необычайной словесной выдумки. Начитанный. Девятый год собирается писать роман, говорит:

— Сильно подгадил мне Федор Михайлович Достоевский: раньше меня написал «Записки из Мертвого дома». Однако отрадно, что он плохо написал. Вот я напишу так напишу!

Подойдет, бывало, к койке, сядет на корточки и начнет рассказывать, да как: слушаем — не дышим!

Я забыл написать об интересном новшестве. У нас имеется своя радийная станция, а по всем камерам — громкоговорители. Утренняя зарядка (гимнастика) производится по радио.

И еще: я поступил в группу немецкого языка. Желающих набралось шестнадцать человек. Преподает жена бандита (он расстрелян), Софья Степановна Хлыстова. Молодая, культурная и в то же время очень хорошенькая. При общении с ней во мне возникает некоторое волнение, но я сурово сам с собой борюсь. К сожалению, она очень отмечает меня, восхваляя мои способности. Редкой души человек, с большим образованием. Знает три языка и чудесно играет на рояле. Но к черту слюнтяйство! Передо мной путь широкого труда. Креплюсь и помню свой долг перед пролетарским государством.

А все-таки хочу написать рассказ, где героиней будет Софья Степановна. Она сидит по пятьдесят девятой статье (бандитизм), пункту третьему, через статью семнадцатую (соучастие, пособничество в бандитизме). Я говорил с ней по душам. Она вышла замуж, не зная, что ее муж бандит. Она очень любила его и поэтому, узнав, кто он, не могла порвать с ним. И предать его не могла: во-первых, сила любви, во-вторых, страх мести от товарищей бандита. Представь огромные, свыше сил человеческих, ее терзания. Недаром иным часом она необычайно растерянна, мрачно задумчива. Она работает в культкомиссии. Иногда встречаю ее с заплаканными, в тоске, глазами.

Засим прощай. Жду ответа. С товарищеским приветом

Денис.

P. S. Прошел слух, что в верхах решено образовать из бывших беспризорных, находящихся ныне в домзаках, особые трудовые колонии. Поздравляю. Можешь туда попасть.

XXIII

КОНЦЕРТ. ДВЕРЬ КЛЕТКИ ЗАСКРИПЕЛА

Письмо товарища Амелька Схимник жадно читал и перечитывал. С этого дня стены своего зверинца стали еще противнее, а населяющее зверинец стадо — отвратительно до жалости. Но, может быть, намек Дениса оправдается, и Амельку направят в трудовую колонию! Брошенная товарищем надежда пленила сердце парня; Амелька спал и видел: скорей бы уже...

Сегодня с утра запестрели по камерам афиши — концерт знаменитой дивы Марии Заволжской. Ура! ура! Значит, начальство не забыло обещания, значит, начальство держит свое слово.

Вечером заключенные снова прифрантились и по два в ряд пошли в театральный зал. Амельке не во что приодеться — разбитной брюханчик, игравший в «Ревизоре» Осипа, сам пожелал блистать перед Марией Заволжской во всем своем параде и в просьбе Амельки отказал. Впрочем, Амельке и незачем в чужой шкурке щеголять, сойдет и в старом балахоне: мысли Амельки теперь иные, и на Зою Червякову ему да-кось наплевать.

После преступной выходки на спектакле «Ревизор» начальство решило помещать женщин во время зрелищ отдельно от мужчин. Теперь все женщины сидели на спешно устроенных вдоль задней стены хорах.

Ввалившиеся в зал заключенцы, среди которых много новичков, сразу отыскали женщин, задрали к хорам головы и зорко, по-ястребиному, принялись высматривать своих подруг-марух.

— Ванька! Никак, ты? — турманом кувыркаясь, летит сверху. — Когда зацепился?

— Здравствуй, Надька. Ну, как?

— Ой, Обмылок! Степка! И ты влип?

— Замели... Под следствием... А ты, Лизка, в которой камере?

— Пятой, в пятой!.. Подкинь рублевки две...

Женщины цветистой гирляндой прихлынули

к барьеру хор. С их оживленных лиц падают вниз, очи в очи, радостно-грустные улыбки. Вибрирующие нити голосов, смешинок, вздохов, взоров, пересекаясь, делая летучие узлы, плетут густую сеть. И эта сеть — от сердца к сердцу, из уст в уста — путано колышется меж унизанными женской стаей хорами и толпою заключенцев с запрокинутыми лицами. Женщины приветливо взмахивают платочками, шарфами, а сзади них — живописно плещут крыльями нарисованные на стенах ангелы.

Раздражающе тренькает звонок.

— Занять места!

И сразу все, кроме вдруг затихших ангелов, шумно садятся. Мужчины растирают уставшие шеи, улыбаются, пыхтят.

Амелька сел в пятом ряду и с интересом наблюдал проходивших мимо него заключенцев. Дунька-Петр вперевалку плыл, как селезень, повиливая жирным задом. Ромка Кворум ковылял как-то неуверенно, словно на искусственных ногах. Амельке показалось, что Ромка пьян или волнуется. Впрочем, все волновались в этот вечер, больше же всех Амелька. А ну-ка, что за птичка эта знаменитая артистка?..

Поднялся занавес, вышел румяный старичок в кургузом пиджаке, остановился возле рояля и сказал:

— Я сейчас сыграю вам одну из пьес Шопена. Вслушайтесь. Звуками можно передавать разные душевные эмоции; звуками, как и красками, можно рисовать целые картины, образы, ландшафты. Сейчас вы услышите в звуках раннее утро на реке, вы услышите журчанье струй, лепет камыша, порханье и щебет птиц, вообще — благостное пробуждение природы. Во второй части — конский топот: всадники мчатся степью, и где-то плачет осиротевшая мать.

Он сел, простер над роялем вспружиненные кисти рук и нежно опустил их на клавиши. Зал погрузился в напряженную внимающую тишину. Мягкий поток звуков, наполнив все пространство, уносил в иной,

напевный, волнующий сердце мир. Овеществленные звуковые образы ясно чертились на общем фоне пьесы, но их воспринимали два-три человека. Для остальных — это цветистый дождь, непонятный хаос звуковых вибраций. Ритмичные звуки ласково захлестывали мозг, утомляли темное сознание. У многих закрывались глаза, никли на грудь головы; иные впадали в сладкий сон; один даже громко захрапел и получил от соседа здорового пинка.

Но вот всадники промчались, камыши отшумели, рояль замолк. Пианист поднялся. Наступившее молчание сразу пробудило зал. Пианист сухо поклонился на ленивые хлопки, ушел.

С хор, от женской половины, полетели вниз свернутые в трубочку любовные записки, так называемые «ксивы». Мужчины подымали, прочитывали адрес и, крадучись, честно передавали по назначению.

Снова поднялся занавес, снова вышел старичок и сел возле рояля. Вслед за ним легкой поступью выплыла на просцениум лучезарная певица. Раздались неприветливые жидкие хлопки. Певица прищурилась сквозь лорнет на публику и, чуть обиженная, слегка кивнула головой. Она высока, стройна, в темном длинном платье, у плеча — желтая роза. Овал бледного лица красив, спокоен. Голова — в темных локонах, перехваченных обручем с блестящими камнями.

Зал повозился, откашлялся, затих. Румяный старичок вдохновенно откинул голову, ударил в клавиши рояля. Артистка запела «Калинушку». Голос ее густ, одухотворен: он лился плавным, широким потоком, он забирал над толпой власть: большое сердце толпы прислушалось, дрогнуло, заныло. Глаза вдруг загорелись восхищением. Тихое очарование окутывало воздух, как звучащий золотой туман. Амелька скован был холодным онемением; он весь трепетал; зубы его стучали.

Певица кончила. Поднялся бурный рев восторга. Ладони заключенных вспухли от яростных рукоплесканий, глотки охрипли от криков. Мария Заволж-

ская, милостиво улыбаясь, теперь стала отвешивать глубокие поклоны, обнажая блеск зубов и мрамор плеч.

Вторым номером артистка исполнила «Ночь тиха, ночь тепла», третьим — «Соловей».

Когда легкий голос певицы взлетел в соловьиных трелях в облака, Амелька, да и многие из слушавших дрогнули от неуверенности и страха за певицу: как бы не сорвалась, не осрамилась. Нет, вынесла... И кровь отхлынула от сердца: раздался общий облегченный вздох.

Артистка с сильным подъемом стала исполнять «Спите, орлы боевые». Голос ее теперь звучал стальными нотами, улыбка скрылась, лицо похолодело, брови сдвинулись в трагические линии.

Атмосфера зала все больше и больше накалялась. Аплодисменты гремели неуемными взрывами. Вызовам не было конца.

В антракте очарованные заключенные мнениями не обменивались: тут уж не до слов, только заглядывали один другому в глаза и гоготали. Весь зал был влюблен в артистку насмерть. Обаяние ошеломляющего искусства петь и внешняя красота Марии Заволжской царили над толпой.

Казалось, психика, злая воля заключенных, сразу перестроилась: все обмякли, почувствовали себя настоящими людьми, готовыми на труд, на подвиг. Бывшие враги пожимали друг другу руки, делились последней махоркой.

Артистке поднесли букеты от администрации и заключенных.

— Речи, речи! Приветствия!.. Просим!

С разрешения начальства начались речи. Первым говорил крупный, похожий на Ваньку Графа, заключенец.

— Дорогая, многоценная, великая артистка! — забубнил он, как в трубу, от волненья заикаясь, глотая звуки. — Ты звездой явилась в нашу ночную тьму, ты осветила, как молнией, мрак души нашей, ты заставила тосковать и плакать наше обездоленное сердце. Привет тебе, привет тебе, младая

дева, или, может быть, мадам, ароматный цветок полей!..

Он послал ей воздушный поцелуй, эффектно высморкался в шелковый платок и, весь потный, красный, как из бани, сел. Толпа, целиком присоединяясь к нему, неистово ревела.

Вторым говорил сухощавый, с звенящим тенористым голосом налетчик Сережа Прыгун, мужчина лет тридцати пяти, с воровскими быстрыми глазами. Он поправил галстук-бабочку, мотнул полуплешивой головой с выдавшимся, как нарост на дереве, затылком, пучеглазо напыжился и, двигая вверх-вниз рыжими хохлатыми бровями, разразился горячей речью:

— Ты вот какая женщина! Ты волшебница! Ты не подумай, что мы, жулики, воры, налетчики, не можем понять тебя. Мы тебя поняли и благодарим покорно. Я, например, плакал, можно сказать, ревел, как белуга на удочке, по случаю твоих песен. И поверь, товарищ Мария, мы не хулиганы, мы за добро платим добром! Теперь ты можешь жить на белом свете без опаски.—Он с размаху ударил себя в грудь и, потрясая руками, закричал: — Клянусь рыжим дьяволом, клянусь желтой черепахой, клянусь лапой старой ведьмы!.. Да все мы клянемся!

— Все, все! — повскакав, заорали с мест. — Все клянемся!!

— Клянемся тенью зеленого дракона, клянемся чертовой бабушкой и всем святым!!

— Клянемся! Все клянемся!!!

— С сего текущего момента тебя никто пальцем не пошевелит! Ежели вру, плюнь моему дедушке на лысину! Мы завтра же оповестим все дома заключения по всей России. Мы сейчас выдадим тебе мандат на право безопасного хожденья в ночь-полночь... Ур-р-ра-а!!

— Ура! Ура!! Да здравствует Мария Заволжская!.. Спасибо! Благодарим!

— Мандат! Где мандат?

И трое заключенных, под водительством горящего светлым порывом налетчика Сережи Прыгуна,

торжественно поднесли на алюминиевой тарелке лист бумаги с многими подписями и самодельною печатью. Сережа дрожащим голосом прочел:

— «Сие удостоверение выдано знаменитой артистке Марии Заволжской для беспрепятственного хождения по улицам, а также путешествия в вагонах, трамваях, автомобилях, пароходах и извозчиках по всему СССР сроком на пять лет. Кто ее обидит, тот последний подлец и хулиган; товарищеским судом смерть тому, где бы он ни был!»

Растроганная Мария Заволжская пожала всем депутатам руки, аккуратно сложила удостоверение и сунула его в серебряный чешуйчатый ридикюль.

— Благодарю вас, благодарю вас, друзья мои!..

Весь зал тоже был искренне растроган. Заключенные плотной толпой теснились возле сцены, наступая на пятки своего начальства.

У многих лица красны, глаза влажны, сердце горячо, ладони холодны.

— Просим, умоляем вновь посетить нас!..

Простившись с начальством и со всем залом, артистка оделась в богатую мантилью и, сопровождаемая кричавшей приветствия толпой, направилась к выходу. Тут ее ловко подхватили на руки и, как хрупкий драгоценнейший сосуд, бережно пронесли по коридору.

— Ура! Ура!.. До скорого свидания...

Мило улыбаясь и держась за шеи необычных поклонников своих — Сережи Прыгуна и Пашки Валета, — она сказала:

— Благодарю вас, граждане, за столь теплый прием. Памятную встречу с вами я вечно буду носить в своем сердце и в радости вспоминать вас...

— Ур-ра! ра-ра-ра!! Ур-ра-а-а!!!

И, лишь возвратясь домой, Мария Заволжская обнаружила пропажу своего ридикюля с пятью червонцами только что полученного гонорара, золотой пудреницей и носовым платком. Мария Заволжская больно, разочарованно скривила вдруг дрогнувшие губы. Она сделала движение, чтоб швырнуть охран-

ную грамоту в топившийся камин, но тут же вспомнила, что мандат тоже был похищен. Тогда Мария Заволжская упала на диван и разразилась истерическим хохотом.

На другой день Амельку вызвали в канцелярию дома заключения.

— Емельян Схимников! Не желаешь ли в трудовую колонию попасть? Там будет пока человек полтораста таких, как ты... Мы тобой очень довольны. А местность там хорошая, и условия хорошие. Ну, как? — строго насупившись, спросил Амельку добряк — начальник дома.

Амелька от неожиданной радости едва передохнул:

— Согласен... Спасибо, гражданин начальник!.. Вполне согласен. Целиком и полностью.

Ну, вот. Все вышло так, как писал ему Денис. Ах, светлый парень! Нужно сегодня же ему ответить.

Вместе с Амелькой отправлялось в колонию человек двадцать молодежи. У Амельки на сберегательной книжке двести два рубля, заработанных в мастерской дома заключения. Эти деньги, добытые Амелькой большим трудом, были для него священны. Он купит пиджачную пару, штиблеты, белье, пальтишко. Все будет новое, с иголочки! И сам Амелька станет новым... Ну, вот. Еще немного — и дверь железной клетки со скрипом распахнется для него в свободу, в жизнь.

К пароходной пристани с песнями шли малыши детского дома. Впереди, вслед за оркестром пожарников, — Емельян Кузьмич. Большая борода его полоскалась майским ветром, лицо сияло. По обе стороны его — оживленные, охваченные мечтой о дачной жизни, ребята с плакатами: *«Миллионами детских рук поможем перестроить нашу страну». «Все для детей».*

Марколавна шла с девочками. Сзади, на пяти подводах, имущество. На первом возу сидел Инже-

нер Вошкин. Он шуточный начальник транспорта. С левого бока подвязан деревянный меч-кладенец, с правого — револьвер-пугач, подарок Марколавны; на животе, через шею, барабан; на зимней лихо заломленной шапке наискосок пришита красная лента — партизанский знак. Инженер Вошкин, сознавая всю ответственность своего служебного поста, видом важен, строг.

— Эй, товарищ!.. Голова — два уха... Чего слюни на клубок мотаешь?!! Погоняй, погоняй! — покрикивает он на возницу. — Стой, стой! Приехали... — И под звуки оркестра палит из пугача в шумный вешний воздух.

Часть третья

ТРУД

Владыкой мира будет труд.

I

СНОВА ВМЕСТЕ

Амелька открыл глаза, осмотрелся. Двадцать пять коек со спящими товарищами плотно стояли от стены к стене. Три широких окна с полукруглым верхом глядели в старинный барский парк. Потоки майского солнца освещали большую комнату с лепным потолком, люстрой елизаветинских времен и когда-то богатыми, сиреневого цвета, измызганными обоями. Хрусталь люстры играл под солнцем радугой.

«Паутина в углу, надо снять», — хозяйственно подумал Амелька, встал, распахнул все три окна и снова лег.

В комнату хлынули волны освежающего воздуха, птичий гам, лай собак, легкий шелест молодой листвы.

Было девять часов утра, но сегодня праздник: можно полежать, подумать. Амелька стал вспоминать недавнее.

Вот он в канцелярии дома заключения. С ним двадцать два человека молодежи, сплошь из бывших беспризорных. Они, как и Амелька, по первому же зову согласились отбывать оставшийся срок высидки не здесь, а в трудовой колонии. Начальник дома

заключения растроганно говорит им напутственную речь о будущем труде на воле, о том, что они должны заработать квалификацию знающего честного рабочего.

Молодежь слушает внимательно, но не верит ушам своим. «А нет ли тут какого подвоха? Как бы не законопатили на Сахалин? И с чего это вдруг такая милость?» Но вот им выдали заработанные ими в тюремных мастерских деньги, выдали документы, стоимость железнодорожного билета до коммуны и сказали: «До свиданья».

В странном полусне ребята без конвоя выходили из врат тюрьмы. «Ну, тут-то обязательно задержат», — мелькнуло у Амельки. Однако вооруженные привратники по-веселому, молодецки подмигнули им: «Счастливый путь!» Бывшие заключенцы отошли несколько шагов, оглянулись на серую громаду холодных стен и, как впервые выпущенные из хлева телята по весне, принялись скакать, прыгать, швырять вверх шапки. Потом, в сущности малознакомые, чужие, они бросились друг другу на шеи:

— Ребята, воля! Заправдышняя!.. Хряй, не стой!

Все это Амелька вспоминал с умилением.

Во втором детском доме, куда Амелька направился на поиски Инженера Вошкина, ему сообщили: «Ищи ветра в поле — уехали». Амелька записал адрес мальчонки. Столь знакомый Амельке город показался ему новым, неузнаваемым, приятным. Все в его глазах получило теперь иное, глубокое содержание. Механизм шумного города работал осмысленно, целесообразно. Грохотали трамваи, мчались автомобили, надсадно везли поклажу лошади, спешил работящий люд, бежали с газетами крикливые мальчишки, на углах девочки продавали букеты полевых цветов, в парке жадно пищали из гнезд еще не оперившиеся грачата... Так вот он, деловой каменный город, до жизни которого Амельке не было раньше никакого дела!.. Вольный, умудренный тяжелыми переживаниями, парень теперь весь светился изнутри: ликующее чувство свободы мешало ему дышать.

В каком-то водовороте нового мироощущения, похожего на волшебный сон, парень купил за пятак букет цветов, стал с первобытной, опьяняющей жадностью вдыхать их аромат, целовать лепестки желтых лилий, жасминов и фиалок. Но вдруг он вспомнил мать. Ноги его ослабели, букет поник: фиалки, лилии, жасмин. А что на могиле его матери? Поганые грибы, крапива?.. Меж тем солнце катило в небе, как на тройке. Надо поспеть к вечернему поезду, надо хоть немножко приодеться. Ну, ладно, когда-нибудь... Когда-нибудь после он разыщет могилу незабвенной Настасьи Куприяновны, он украсит ее цветами, вздохами, мольбой... Прощай, прощай, матка!

Припоминая это, Амелька порывисто, взахлеб вздохнул, окинул взором все еще спящих своих товарищей, разбросанные по паркету вонючие портянки, сапоги, окурки и подумал: «Прошлого не вернешь... Надо глядеть в будущее».

«В будущее?» — поймал себя Амелька и придирчиво улыбнулся. Он вспомнил свой давнишний спор возле мельницы с комсомольцем. Тот через настоящее звал к будущему. Амелька же издевательски доказывал, что будущего нет, что будущее нужно дуракам.

У Амельки вдруг вспыхнули уши: он вслух сказал себе: «Башка телячья, осел», — и со злобой, по привычке, сплюнул на паркет.

Нить мыслей Амельки оборвалась. В дверях стоял освещенный солнцем парень в розовой рубахе, брюках, картузе. Парень потоптался, кашлянул. Амелька воззрился на него. Парень кашлянул погромче. Тогда Амелька вихрем к парню:

— Филька! Филька!.. Ты?..

Спящие подняли головы. На дворе ударили в железную доску к чаю.

— Долго дрыхнете, — по-господски, — окрепшим голосом сказал Филька, утираясь рубахой после Амелькиных губастых поцелуев.

Чай пили в большом новом бараке-столовой. Простые, на козлинах, без скатертей, столы. Голые, струганые стены убраны еловыми гирляндами, портретами

вождей. Прислуживали три дежурных девушки и парень. Филька шепнул Амельке:

— Сегодня у нас в станице праздник. Приходи. Только своих не приглашай. Мужики против вас зубы точат.

После чая Амелька показывал приятелю все заведения коммуны, водил из мастерской в мастерскую, с жадностью слушал рассказы Фильки, сам рассказывал. Амелька льнул к другу всей душой, открыто и любовно. Филька же держал себя с выжидательным холодком, в сторонке.

— Что ж, думаешь по-честному зажить?

— Безусловно.

— А все-таки любопытно было под баржей, весело...— уголками мужицких думающих глаз посматривал Филька на бывшего приятеля.— Один Вошкин чего стоит.

— Веселость та самая гнилая,— почувствовав Филькину настороженность, ответил Амелька,— веселость вот она, здесь, в труде. Вот в этом цехе я работаю. Я — столяр.

— Я — плотник,— сказал Филька.— Эти мастерские мы рубили, с Дизинтёром.

— Вот видишь, пока десять верстаков, еще двадцать пришлют. Тут вот есть и мои табуретки. Моей выработки. Я и маляр.

Он отворил дверь в другое отделение мастерской, до потолка набитое новой, окрашенной в белый цвет, мебелью.

— Взяли подряд оборудовать больницу в совхозе. Это — операционные столы. Это — тумбочки к кроватям. Людям — польза. В сердце — хорошо. А ты как?

— Ничего, живу.

День праздничный. Мастерские пустовали. Филька спросил:

— Очень хорошие у вас девушки есть. Кто такие?

— Да такие ж, как и мы с тобой были. Бывшие воровки больше. Гулящие. Есть и по-мокрому. Только не по своей воле, а хахали, ворье под обух подводили их.

— Ты наших станичных девок посмотри: вот девки!

— Знаю. Которая перестрадала, та лучше в жизни. Душевные страданья — как огонь. Либо всего человека спалит — тогда аминь, либо скверноту одну: тогда думы другие зарождаются. Человек в большую совесть вступает. А ваши девки что?.. Видимость одна.

— Ну, не скажи. Ежели тебе Наташу показать...

— Кто такая?

— Так, девушка одна. В учебу собирается. А я уговариваю ее на земле сидеть.

— На земле крот сидит. Поэтому ему глаз не дадено, темный. А ей, может, желательно соколицей над землей летать.

— В городу спакостится, крылья сломит.

— Пусть, пусть. Новые вырастут. Ты гляди на наших девушек, потолкуй-ка с ними. Ого!.. А кто они?

Филька теперь посматривал на приятеля с робостью и любопытством.

— Пошто ты такой умный? Откудова это? — завистливо спросил Филька.

— Поживи с мое... — И Амелька самодовольно плюнул, внутренно ликуя и любуясь самим собой.

В станице густо загудел колокол.

— К «Достойне». — Филька снял картуз с лакированным козырьком и стал креститься.

— Веришь?

— Верю.

Амелька молча улыбнулся.

II

ПРАЗДНИЧЕК

После обеда, не сказавшись товарищам, Амелька пошел в станицу проведать приятеля. Кругом зеленели всходы; солнце стояло высоко; весенними цветами были охлестнуты луга; большое стадо паслось в приволье: пастух-подросток в длинном рваном балахоне дудел в рожок. Амелька шел и улыбался, всему радовался, все благословлял: вот он, легкий ветерок; вот жаворонок вьется; стая бабочек порхает над цве-

тами, а у него, между прочим, в кармане тикают часы; начищенные сапоги чуть-чуть скрипят; пиджачок, галстук, все такое. А всего удивительней, всего радостней для Амельки — воля. Встал, пошел. Ни тебе часовых с ружьем, ни тебе ненавистных стен тюрьмы. Но ведь Амелька — правонарушитель, ведь он далеко еще не отбыл положенного срока? Хотя он прожил в трудовой коммуне две недели, а все еще не может освоиться с новым режимом полного доверия. Выйдет за бывшие барские ворота, и вот как тянет оглянуться. И мерещится враждебный строгий окрик: «Стой! Стрелять буду!» — Но все молчит. По земле он ступает хозяйской ногой, уверенно и бодро. Что ж! Значит, Амелька в самом деле человеком стал?

— Всенепременно, между прочим...

На лугу, возле церковной ограды, гуляла молодежь. На штабеле старых бревен — девушки в коротких платьях, многие стрижены по-модному. Возле каждой — парень в пиджаке и при калошах. Щелкали семечки, шутили, обнимались. Немножко, для приличия, девушки повизгивали. А на лугу шел русский пляс. Подвыпивший курносый гармонист обливался потом. Плясуны рыли каблуками землю. Чуть поодаль стояла группа негостеприимно встреченных Амелькиных товарищей. Они одеты чисто, и вид у них скромный, но крестьяне — молодежь и мужики — относились к ним задирчиво. Танцующие парни, делая возле них круг, норовили как бы невзначай плюнуть в их сторону, расхохотаться или охально прокричать: «Берегите, братцы, кошельки: шпана пришла!»

А с бревен летело озорное:

— Где, где, где?

— Да вот, нешто не видите? Манька, не хошь ли станцевать вон с ним! Он те сережки-то золотые, чихнуть не успеешь, срежет.

— Они чистяки... Городские... Пролетарь... А драться, товарищи, можете?

— А попробуй, плюнь им в рот...

— Ни черта!.. Только оботрутся.

И все это покрывалось грубым хохотом. Земля горела под ногами оскорбленных коммунаров, но они, с трудом сдерживая себя, молчали.

Только Амелька, тяжело дыша, сказал:

— Товарищи! При чем тут такое ненавистничество? И вы и мы — трудящиеся. В чем дело?

— Не пялься! — крикнул гармонист. — Жаль гармонь ломать, а то я те по маковке-то хлобыснул бы!

— Глупо, — сказал Амелька, и подбородок его дрогнул. — Гармонь дана, чтобы играть, а голова — чтоб думать.

— Ха-ха. Думать?.. Да у тебя, наверно, в башке-то вшей с три короба. Эх ты, камуна-матушка!.. Губошлеп!

— Вот что, ребята, господа камунщики, — подошел беспоясый пьяный мужик с разбитым носом. — Вы утекайте, пока мы не напились. А то ноги из спины повыдернем... Жулики, лешегоны...

Амелька разыскал Фильку в избе-читальне.

— Пойдем в гости к бывшему хозяину моему. Я с ним помирился, — сказал Филька.

Изба дяди Тимофея — дым коромыслом, как трактир в базар. Долгобородый хозяин был под большим «турахом», но все же сразу увидел вошедших:

— А, Филиппушка, Филипп!.. И с барином... Залазь, залазь... Эй, девки, пива!.. Потому, чье мы пьем? Свое или советское? Врешь, свое. Ничего не отдадим... Шалишь... Так ли, гостеньки?

— Так... Справедливо, так... — поддакивали захмелевшие мужики.

— Заруби на носу, заруби на носу... Эй, Филька! — заорал хозяин и погрозил крепким кулаком. — Ты хоть и умный, а по самое это место дурак. Наташка! Батьку с маткой чтишь?

— Отстань, батюшка.

— Чти отца твоего и матерь твою, и благо ти будет... Поняла? А книжицы твои тьфу, тьфу, тьфу! У меня вот где книга! — хлопнул он себя в лоб ладонью. — Тут тебе весь закон... Да у меня встарь восемь троек ямщину гоняли. Да у меня товаров на пять тыщ было... Да я кредит у купцов на десять тыщ

имел!.. А теперь я что? Где купцы? Где тройки?.. — Он скосоротился, взмотнул бородой и заплакал, роняя слезы в стакан с вином. — Убивать надо этих самых ученых!.. В землю на сажень втоптать... Что они, сволочи, наделали... Россию взбаламутили... Знаю я их, сволочей!.. Еще в девятьсот пятом годе... — Достукались, достукались, дьяволы, довели Россию до ручки... И бог-то батюшка на землю нашу очи закрыл: «Ах, без меня желаете? Живите». Вот и живем, вот и маемся. В безумии, в злобе, в лихоимстве. Суета сует это, гибель всему, скончание. Внемлите, языцы, что сказал господь!.. — Он опять погрозил кулаком и, подавившись слюной и слезами, закашлялся.

— Это верно, это верно, — откликнулся Дизинтёр, говоривший с Амелькой. — В злобе нет спасенья, добром надо. Против злобы — ласку, огонь водой туши.

— Мила-а-й!.. — расчувствовался хозяин и полез целоваться с Дизинтёром. Молодая бородка и полуседая бородища сплелись в одно, губы влипли в губы. — Катюха! Добер парень. Хороводь... Лапай парня в мужики себе. Свадьбу справим. Пока не разорили. Отбирай, отбирай, дьяволы!! Ха-ха... Иди, говорят, к ним в артель, в бедняцкую... Да что мне в ихней артели делать? Тьфу! А вот варганизуй артель из богатеев...

— Из богатеев?.. — неожиданно взъершился Филька.

— Молчок, старичок! — стукнул в стол хозяин. Тарелки подпрыгнули; соленый груздь, как лягушонок, скакнул на стол. — Нет, шалишь! С беднотой нам не по пути. Бедняк — завистливый, жадный. Да будь он трижды через нитку проклят... ежели я с ним... А вот! Я много имею и много трачу. Мне не жаль. А бедняку жаль. Он мне будет в рот глядеть, а чуть что — и за бороду сгребет. А я, православные, вот как: ежели праздник — гуляй! Ежели дочек выдавать — ух ты... Неделю пировать... Хозяйка!.. Где гусь? Тащи из печки гуся.

— Съели...

— Имай другого!.. Имай сразу трех... Филька, Григорий!.. Имай!.. Жарь!.. Становь на стол!.. — Он зашатался по избе и, задыхаясь, упал на кровать.

Гости, человек двадцать, шумно орали, плакали, чокались, пили, орошая скатерть пивом, вином, слезами. Зáнятые гульбой и обалделые, вряд ли они слышали, что говорил хозяин. Но Амелька слышал. Он сидел возле печки вместе с Филькой, Дизинтёром и Наташей. Катерина охорашивалась перед зеркалом, собиралась уходить.

— Мне очень даже не нравится все это ихнее пьянство. Необразованность, — жеманясь перед Амелькой, сказала Наташа. — Выкушайте стопочку винца.

— Будемте напредки знакомы. — И Амелька, тоже не без жеманства, выпил. — К нам приходите гулять. У нас думают кино установить, сеанцы будут. Кроме сего, — духовой оркестр. А также невзадолго театр. Можете записаться в наш драмкружок.

— Нет, записаться нам нельзя. Тятенька будет против. Да знаете что? Ведь я к осени в город, в учебу...

— Советую вполне, — сказал Амелька, чувствуя, как от стакашка водки потекла истома от плеч к локтям.

Катерина положила на лоб храпевшего отца мокрую тряпку. Старик вскочил, сбросил тряпку, сорвал с гвоздя ключ:

— Думаешь, пьян? Ни в одном глазе, — и, хватаясь за стены, загремел вниз по лестнице.

На нос Амельки упал с потолка таракан. Амелька аккуратно снял его и притоптал ногой.

— Тятенька не дозволяет выводить тараканов, — оправляя на груди брошку, сказала Наташа. — Он душевную чистоту блюдет, а пакость в избе терпит. Говорит, что убивать таракана — грех.

— Полный предрассудок, — подбоченился Амелька и покрутил рыжеватенькие свои усики. — А ваш тятенька — довольно черносотенная личность. Паразит изрядный, извиняюсь...

В это время ввалился хозяин. В каждой руке, меж пальцев, по четыре бутылки городского вина, в зубах ключ от лавки.

— Гуляй! — крикнул он. — Проствейн, рябиновка, мадера. Барин! Камунщик! Пьешь? Нет? — Он с силой подтащил Амельку за рукав к столу, налил стакан. — Пей, чертово семя, гостем будешь. Ну, что вы там, подлецы, делаете в своем монастыре! Воровству, что ли, обучаетесь да разбою? Ха-ха-ха!

— Это ты, старичок, напрасно.

— А что же? Деньги, что ли, вырабатываете фальшивые? Ох, жулик... По роже вижу, что жулик... — Старик по-сильному обнял его и поцеловал в маковку. — Не сердись, пей, редко ходишь. Раз я гуляю, все должны гулять... Потому, знаешь, я кто?

— Знаю. Только не скажу. Впоследствии времени скажу. А вот приходи к нам, посмотри, что мы делаем. Машины, жнейки есть у тебя? Ремонту требуют? Привози. Дешево возьмем.

— О-о? — изумился хозяин и, нажав на плечи Амельки, усадил за стол. — А там не зарежут меня?

— Пошто тебя резать? Ежели на говядину — стар. В колбасу да в сосиски ежели пустить, жиру в тебе мало, кость одна.

Гостям остроумие понравилось. Гости рассмеялись.

Хозяин схватил бутылку, налил:

— Пей! Редко ходишь...

Амелька отодвинул стаканчик:

— Больше ша! Ни в рот ногой...

— Пей, чего ты! Начальства своего, что ли, опасаешься?

— У нас нет начальства. Мы — сами себе начальство, — с гордостью сказал Амелька и оглянулся на Наташу с Филькой.

— То есть как это «нет начальства»? — разинул хозяин рот и насмешливо уставился в лицо Амельке. — То есть как это — вы сами себе начальство? Так вы кто же, мерзавцы, не говоря худого слова, в таком разе будете?..

— Мы — люди.

— Ах, люди? — враз вскричала вся застолица. —

Они, братцы, люди, а мы скоты?! Слыхали! Почему же это у нас есть начальство, а у вас нет?

— По тому по самому, что вы врозь живете, всяк в свое, а мы коммуной.

— Ах, коммуной? — ощерился хозяин. — Так, так, так... Мирсите. Наташка! Катька! Ежели в камуну хоть шаг шагнете, башки отвинчу и в бельма брошу...

— У нас, товарищи, кооператив хороший со временем будет. Просим милости.

— Каперати-ив?! — И хозяин затеребил свою бороду. — Проворуетесь, дьяволы, проворуетесь.

Амелька с язвинкой прищурился на него, по-холодному сказал:

— Воровать у самих себя вряд ли будем, а вот что касаемо тебя с твоей лавкой, то в трубу пустим... Фють! Тилим-бом! — и выразительно взвинтил рукою вверх.

Хозяин опять открыл рот и, дыша перегаром Амельке в нос, сидел так несколько секунд. Глаза его круглились, как два мыльных пузыря, готовых лопнуть.

— Так, так, та-а-к, — сказал он. — В таком разе вот бог, вот порог, а вот окошко, можешь выпрыгнуть, пока я те бутылкой темя не прошиб... Вон! — Он с такой яростью схватился за бутылку темного стекла, что Амелька, не на шутку испугавшись, встал и поспешно вышел. Хозяин орал вслед:

— Наташка!.. Катька! Досмотри... Как бы хомут в сенях не спер... али курицу.

За Амелькой выскочил и Филька.

Поздно ночью гурьба пьяных парней с двумя гармошками вплотную подошла к зданиям коммуны, уселась на пригорке и подняла невообразимый гвалт со свистом, выстрелами, всероссийской матерщиной.

— Выходи, сукины дети, выходи: мы вам потроха выпустим.

— Эй, шпана! Острожники!.. Прочь с нашей земли! Все ваше жительство в дым пустим.

Пашка Мыслин зарядил ружье и дунул дробью прямо в дом.

— Пали еще!.. Стреляй! Стреляй!

Пашка дунул еще три раза. В доме зажглись огни. Сторож засвистал в свисток. Парни ржали лошадиным хохотом; гармошки осатанело скулили. Гуляки, сломав запертые ворота, с разбойным гиком ворвались во двор:

— Бей! Жги гнездо!.. — И стекла посыпались из окон столярной мастерской.

Из флигелей и дома, один за другим, выскакивали полуодетые коммунары. В них летели камни, брань. Сторож выпустил широкогрудого доберман-пинчера. Пес с яростью бросился на хулиганов. Парни, враз отрезвев, помчались вон. Многие вернулись в станицу без порток, с искусанными задами. Пашка Мыслин потерял ружье.

А на другой день вечером был проведен в станице митинг. Заведующий трудовой коммуной товарищ Краев пояснил крестьянам задачи коммуны и ту пользу, которую она может принести деревне. Крестьяне, в особенности женщины и зажиточный торгаш Тимофей Востротин, кричали:

— Мы хулиганства ихнего боимся, вот чего!.. Сожгут. Девок спакостят... Парнишек на худые дела будут наводить...

Товарищ Краев отвечал, что хулиганами оказались не коммунары, а крестьянские парни, что трудовая коммуна — учреждение государственное, она находится под защитой карающих законов, и что самое лучшее — надо крестьянам заключить с коммунарами прочный союз мира и взаимного доверия.

— А собачку вашу отравить придется! — прозвенел чей-то наглый, в задних рядах, голос.

Сбивчиво, но горячо говорили комсомольцы. Они объяснили происшедшее народной темнотой, несознательностью.

— Мы, как один, все-таки не дозволим искривлять, в общем и целом, линию поведения. А в случае чего, ежели, скажем какой-нибудь гнойник предрассудка, мы, как один, наплюем нашим батькам в морды! А кроме того, у нас недолго и в тюрьму...

Не утерпел и Дизинтёр.

— Братцы, милые, — сказал он, приложив руку к сердцу и поводя голубыми, плавающими в слезах, глазами. — Конечно, наплевать в морду родителям — дело небольшое. Только ежели будете плевать встреч ветра, плевок обратно в харю прилетит. А один только есть способ: ласковость человека к человеку. Я, братцы, лучше вас знаю, кто там в ихней камуньи сидит. Там народы простые, сердечные, только судьба к ним задом обернулась. Их пожалеть надо, а что они хотят трудом своим кормиться, из жуликов человеками стать, — надо плакать от радости. Вот что... Они — дети наши, братья наши. Ежели человек умыслил идти к добру, только черт от него отвернуться может, самый последний из пекла леший.

— Много ли взял с них?! — опять прозвенел таящийся голос. — Эй ты, приблудыш, аблакат!

— Молчи, сатана!.. — сердито обернулся Дизинтёр и уступил место товарищу Краеву.

III

КАК ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ ИНЖЕНЕР ВОШКИН

Весна кончилась. Травы наливались соками, цвела рожь, закуковала кукушка.

Вчера была первая гроза, а сегодня небо чисто, солнечно, и в семь часов утра ударил барабан. Ребята, как встрепанные, вскочили, впопыхах натянули трусики и с птичьим гамом высыпали со всех ног на воздух.

— Стройся! — скомандовал Инженер Вошкин и еще раз пустил дробь барабана. Ему в деревне не спалось, вставал раньше всех; за особое рвение и успешную учебу он получил несуществующее звание «начальника физкультурных сил». — Дунька маленькая, не сюда залезла, осади! Дунька большая, назад, к Ермоловой!.. Слепцов, не оттопыривай ухи. Слушай команду... Бегом, марш! — И детвора, прижав кулачонки к бокам, припустилась к берегу реки, покрикивая хором:

— Будь готов!
— Всегда готов!
— Левой! Левой!
— Раз, два!

Девочки убежали на песчаную косу влево, мальчики — к большому, с избу, мшистому камню вправо. Вскоре к девочкам пришла с кусками мыла, зубным порошком и щеточками Марколавна. К мальчикам — с одним полотенцем Емельян Кузьмич. Он наголо сбрил бороду, усы, волосы на голове и сразу помолодел на сотню лет.

Мальчишки стадом бросились в реку. Вода заходила перламутровыми кольцами; закачались желтые цветущие кувшинки. Река окрасилась щебетом, смехом, криками. Тоненькие, грациозные девочки метнулись в воду, как рыбки. Возле противоположного берега купались деревенские ребята. А над ними, на высоком взлобке, солнце зажгло белым полымем окна деревеньки.

— Эй, девчата! — взывали с того берега. — Плывите к нам... Канфетков дадим...

— Дураки, — отвечал Инженер Вошкин, — лучше сами сюда плывите, мы из ноздрей вам квас пустим.

— Че-во-о-о? Реви громчей!.. Я без очков не слышу-у-у!.. — неслось по воде.

Тогда Инженер Вошкин, выскочив на берег, запустил в деревенских парней камень.

— Брось! — сказал Емельян Кузьмич.

— Сейчас! — И Вошкин запустил второй камень.

— Брось, тебе говорят.

— Сейчас брошу, — ответил Инженер Вошкин и швырнул третий камень.

Емельян Кузьмич, стоя по грудь в воде, погрозил ему пальцем.

— Я сказал: брось кидать. Дурака валяешь.

Инженер Вошкин, чтоб не обидеть любимого человека, отвернулся и незаметно, тихонечко похохотал.

Видно было, как девчонки, припав на корточки, чистили себе зубы каждая своей щеткой. Маленький Жоржик — в компании девочек. Вертясь юлой по желтому песку, он картаво, с ужимкой говорил:

— Мама! Мне ночью страшный волк приснился. Я боюсь волков. Я очень их боюсь. Когда мне еще приснится волк, вы, пожалуйста, отгоните его прочь... Чтоб не снился...

Обнаженная Марколавна старательно мылила ему голову. Он тоненько покрикивал:

— Глазки!.. Мама... Ой, глазки щипет...

Инженер Вошкин молодецки нырял, доставал ртом со дна камешки, показывал, как плавают по-собачьи, по-бабьи, по-арабски, топором.

Вымывшиеся девочки кричали Инженеру Вошкину:

— Павлик! Павлик! Мы — чистые.

— Наплевать! — отвечал мальчонка. — Я тоже «мычистый».

Вскоре с горы, из детского дома, окруженного густым парком, затрубил медный рожок.

— Молоко вскипело! Молоко вскипело! — закричали дети, выстроились в пары и пошли под барабанный бой.

Освежившаяся, помолодевшая Марколавна шла сзади, взяв Емельяна Кузьмича под руку. Затягиваясь папироской и зябко вздрагивая от утренней прохлады, она заговорила:

— Представьте, до чего громадная разница между старым и новым. Прямо бездонная пропасть. Например, за неделю перед отъездом на дачу приходит в канцелярию мать Дуни маленькой, прачка, созывает почти всех педагогов и устраивает сцену. — Марколавна, встряхнув мокрыми кудерышками, звонко, игриво расхохоталась. — Нет, это смешно! Ну, прямо водевиль. Представьте, она чуть не с кулаками набросилась на бедненького Ивана Петровича и заорала: «Это кого вы, черти, дьяволы, большевичишки, из наших дочек вырабатываете?!» Мы все сделали огромные глаза, недоумеваем. А она: «Приходит, говорит, домой в отпуск моя пигалица Дунька, на башке красный бантик, и бормочет: «Требую отдельную кровать, а то вместе спать с тобой вредно, не лигилично». — Ах ты дрянь, говорю, а где же я-то лягу? — А она: «Можешь на сундуке или я на сундуке, чтоб

только простынька чистая. И щеточка чтоб была, и зубной порошок, и полотенце отдельное. А то не лигилично». Тьфу!.. Загнула я ей платьишко да таких подшлепников надавала: она ревела, ревела да у корыта с грязным бельем и уснула. А я — прачка, мне лигилены делать не из чего. Тьфу ваши красные бантики, тьфу ваши лигилены, вы только ребятишек портите, безбожники окаянные! Куда вы их готовите? В барыни, что ли, в княгини? Ах вы чистоплюи...» — да и пошла и пошла, едва-едва успокоили. Вот вам.

— Н-да-а, историйка, — загадочно ответил Емельян Кузьмич и крепко прижал нагревшуюся руку Марколавны к своему боку.

Марколавна вопросительно-благодарным взглядом уставилась в загоревшиеся глаза мужчины.

— Я ужасно люблю... — с ужимкой начала она.

— Кого?..

— Шампанское...

И оба по-детски расхохотались. В парке стояла ароматная прохлада. В густых ветвях липы мелодично высвистывала иволга.

— Скорей, ребята, скорей! — кричали с террасы дежурные девочки. — Молочко готово, хлебец, кипяточек!

После первого завтрака рассыпались на игры, кто куда. Играли в крокет, в лапту, горелки, в палочку-украдочку. Девочки поливали цветы, кусты клубники, огурцы, пололи гряды. Иван Петрович в сандалиях на босу ногу, в рубахе «апаш» запрягал купленную за тридцать пять рублей кобылку, чтоб ехать на лесопильный завод, где он выклянчил бесплатно тесу. Мебели на даче очень мало — ребята обедали кто на полу, кто на окнах. Надо сделать хоть какие-нибудь немудрящие столы, табуретки, скамьи и починить крыши на доме и на сарае, где кое-как ютились мальчики. С Иваном Петровичем поехали два крепких паренька — хозяйственный Ленька Пузик и бывший, теперь исправившийся, воришка Ивочкин Степан.

Инженер Вошкин был в самое сердце уязвлен Емельяном Кузьмичом, сказавшим ему, что электри-

фикацию дачи без больших капиталов осуществить нельзя.

— А как же у нас на бумаге выходило ай-люли?

— На бумаге одно, а на деле, брат, другое.

Чтоб сгладить боль разочарования и удовлетворить изобретательский пыл мальчонки, Емельян Кузьмич, совместно с Инженером Вошкиным и прочими старателями, установил на пруду ручной насос, подающий по желобам воду в огород.

Инженер Вошкин прибил к насосу ярлык: *«Изобретение инженера знаменитого П. С. Вошкина»*. Но Иван Петрович этот ярлык сорвал, а с лжеизобретателем имел один на один беседу:

— Ты слюнтяй, скверный зазнайка. Насос изобретен пять тысяч лет тому назад. Ты пыжишься и ходишь, как индюк. Чем же ты знаменит? Может быть, тем, что усы дегтем наводишь? Ты такой же, как и все, не лучше, не хуже.

Пораженный Инженер Вошкин вдруг заплакал и с воем убежал. Иван Петрович растерялся. Он почувствовал, что сделал промах; ему стало жаль мальчонки, он разыскал его лежащим в соломе старого омшаника и горько плачущим. Иван Петрович, сгорбившись, влез в маленький омшаник, зимнее убежище для пчел, и, погладив по спине лежавшего ничком парнишку, растроганно сказал:

— Ну, изобретатель, не плачь. Ежели я обидел тебя, прости, брат.

Мальчонка враз затих, сердито повернулся, хотел куснуть руку оскорбителя, но, взглянув в добрые глаза Ивана Петровича, с новым, облегчающим плачем стал его руку целовать.

— Вы, пожалуйста, пожалуйста, не говорите никому, что я такой же, как и все, что я индюк...

Иван Петрович, успокаивая Павлика, принялся объяснять ему, что он считает его превосходным, с исключительными способностями мальчиком. Он надеется, что Павлик выйдет на широкую дорогу труда. Но все-таки он требует от него скромности. Зазнайство, форс, хвастовство, мнение о себе самом, что я, мол, всех переплюну, все — дрянь, а я — молодец, —

это может озлобить окружающих, принизить их в своих же собственных глазах. Итак, прежде всего — труд, труд и скромность.

Инженер Вошкин сидел, кивал в знак согласия головой; в его груди по-детски еще хлюпали не совсем подавленные рыдания. Он, заикаясь, сказал:

— Я думал изобресть шапку-невидимку, но из скромности на эту затею плюнул.

— Вот и молодец. Шапки-невидимки выдуманы в сказках.

— Ковер-самолет — тоже сказка, а вот теперь летают.

Иван Петрович не знал, что ответить. Он вынул записную книжку и сказал:

— А хочешь, я покажу тебе арифметический фокус-покус? Ахнешь.

— Ой! А ну, покажите, миленький.

Иван Петрович вырвал из блокнота страничку, подал мальчонке, спросил:

— Карандаш есть? Пиши любое число.

Мальчонка написал. Иван Петрович мельком взглянул на это число, написал на отдельном клочке бумаги свое какое-то число, сунул бумажку в солому и прикрыл шляпой.

— Пиши под ним другое. Написал? Теперь я сам напишу третье. Теперь все три числа складывай. Только тщательней, не ври.

Через две минуты был готов проверенный ответ. Инженер Вошкин подал свои выкладки:

$$\begin{array}{r} 46\,853 \\ 21\,398 \\ 78\,601 \\ \hline 146\,852 \end{array}$$

— Сто сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят два, Иван Петрович.

— Долго считаешь. А у меня — вот он ответ. Я уж знал его, когда ты еще первое число написал. Вот. Тяни из-под шляпы.

Мальчонка выхватил бумажку. Там значилось: 146 852. Удивленное лицо Инженера Вошкина вытянулось, и волосы на затылке встопорщились. С боязнью, с удивлением он таращил глаза на Ивана Петровича и шепотом бормотал:

— Ну... вот... как же?.. А?..

Иван Петрович, улыбаясь и двигая бровями, дважды объяснил, сделал еще пример. Павлик едва передохнул от гордой радости, провел по волосам рукой, как бы приводя себя в чувство, вскрикнул:

— Дай! Дай мне, пожалуйста, бумажки!

Он бомбой выскочил из омшаника и стремглав куда-то скрылся. Удовлетворенно посмеиваясь, вылез и Иван Петрович.

Мальчонка разыскал брившегося у себя в каморке Емельяна Кузьмича и с азартом огорошил его задачей. А Марколавна, которой Инженер Вошкин тоже «загнул» этот самый фокус, два дня ходила как помешанная. Она исписала целый карандаш, мудрила так и сяк, советовалась с Емельяном Кузьмичом. Тот в замешательстве разводил руками. Инженер же Вошкин держал себя торжествующей свиньей и на многократные приставанья Марколавны говорил ей:

— Я — человек скромный. Я не задаюсь. Я — не индюк какой-нибудь. Тут дело очень простое. К осени, наверно, сами додумаетесь. Тут все дело в цифре «9» и еще кой в чем. Вот в этой самой скромной голове! — Он ударял себя ладошкой по лбу и, с выражением превосходства, всякий раз отходил прочь, высоко подняв плечи.

Марколавна с глазу на глаз сказала Ивану Петровичу:

— А знаете что? Я пришла к заключению, что Павлик гениален. Вы можете себе представить? Вы что-нибудь понимаете вот в этом? — Облизнув сухие губы, она подсунула заведующему таинственную задачу Инженера Вошкина.

Иван Петрович товарищески потрепал ее по плечу и громко рассмеялся.

IV

КОРАБЛЬ ПОДНИМАЕТ ПАРУСА

Внутренняя организация трудовой коммуны длилась довольно долго. Многие насущные вопросы, которых нельзя было предусмотреть заранее, возникали в процессе работы и тут же решались. Но поспешные решения иногда приводили к плачевным результатам; тогда все перерешалось сызнова. Ребята кипели в котле общественной выучки, в чередующемся потоке побед и неудач; они собственными боками учились организовывать жизнь на новых, необычных для них, началах, верили в то, что в конце концов они сумеют крепко наладить дело, полюбить его, отдать ему все свои силы.

Так думали, конечно, наилучшие. Большинство же смутно понимало целеустремление администрации; большинство было, по-первости, совершенно пассивно, с полнейшим равнодушием подчинялось тому, что выдумывали товарищи, не верило в успех коммуны, оглядывалось назад, не желало крепко пускать здесь корни, жило беспечно, как перелетные птицы: «Сегодня я здесь, а завтра снялся и — фють! — наматывай».

Некоторые безрассудно забывали, что за ними все-таки числится срок наказания, что до вольной воли, до полных гражданских прав им еще далеко. Они забывали, что им предоставлены гуманные условия труда без стражи, без тюремного режима, что вместо железных решеток дома заключения, они спаяны здесь лишь внутренней дисциплиной и нравственным обязательством перед своей совестью и друг перед другом. Наиболее испорченные, пользуясь полной физической свободой, таили в сердце злостное намерение бежать отсюда, чтоб снова хоть на неделю, на две опуститься на дно, в омут преступной жизни. К счастью, таких было незначительное меньшинство.

Делателям новых форм существования приходилось воевать как бы на два фронта: внутреннее устроение и борьба против надвигающихся, как туча, темных сил деревни. Но если удастся направить свою

собственную жизнь, второй фронт лопнет сам собой.

Итак, утлый корабль коммуны, сооружаемый из выброшенного на берег жизни бурелома, постепенно оснащался, вздымал паруса, конопатил щели, просмаливал борта и днище — вот-вот снимется с якоря и с попутным ветром выйдет в поиски надежного пристанища.

С постройкой и с оснасткой корабля вкратце было так. В основу строительства кормчим, то есть товарищем Краевым, положено три начала.

— У нас, ребята, политика открытых дверей, — сказал кормчий. — Хочешь — живи, хочешь — уходи, откуда пришел. Вы здесь собрались по своему желанию. Никто за уши вас сюда не тянул. Забудьте о своем прошлом, об уголовном прошлом, о том, что вы «социально опасны»: прошлого нет, оно за бортом жизни. Но вы должны понять, что в преступный мир, откуда вы пришли, вам возврата тоже нет. Этого мнения мы не навязываем вам. Но вы раскиньте умом сами, кем лучше быть: презренной тварью, вором, мазуриком, убийцей или трудовым человеком, созидающим новую жизнь.

Второе начало:

— Ребята! Чтобы жить трудовой жизнью, надо уметь что-нибудь делать. Здесь в вашем распоряжении механическая, столярная, трикотажная и сапожная мастерские. Каждый из вас должен получить квалификацию. Дальнейший ваш путь — город, фабрика, крупное производство, хорошая оплата труда, самостоятельность.

Третье и последнее основное начало:

— И еще, товарищи, вот что... Для того чтобы быть рабочим высокой марки, вам надо нравственно возродиться, окрепнуть, вкорень перевоспитать себя. Понятно? Так. Но вы, товарищи, не рассчитывайте, что в данном случае судьей между вами будет администрация. Старые замашки в ваших отсталых товарищах будут пресекаться вами же самими. Вы будете подчиняться правилу: «Все отвечают за каждого». Значит, каждый из вас должен твердо помнить, что

он отвечает за свои поступки не перед администрацией, а перед коллективом, перед общим собранием трудовой коммуны... Понятно?.. Так.

Вот три основы, которыми был оснащен корабль. Впрочем, третий принцип — принцип круговой поруки — был введен не сразу, а на пятый месяц рейса, когда в борты корабля ударил шквал.

Давно вставший на путь исправления, старательный Амелька слово в слово записал, что говорил собранию товарищ Краев, пожилой, в новеньком френче, сухолицый, с черной бородкой человек.

На борту корабля насчитывалось полторы сотни молодежи, из них — восемнадцать женщин.

Общим собранием был избран актив из пяти человек наиболее общественно развитых членов коммуны. Туда вошел Амелька и одна девушка, Маруся Комарова.

На первом же заседании активу пришлось изрядно поработать. Были приглашены Иван Кудрявцев и Степан Беззубов, замеченные в пьянстве; вслед за ними разбирался поступок Петьки Горихвостова, неисправимого, с распухшим красным носом, «марафетчика», захватившего с собой из дома заключения запасы кокаина. И, наконец, перед активом предстали восемь заядлых картежников, нарушавших правила общежития азартной игрой на деньги. Поддавшись уговорам актива, все они дали обещание исправиться.

Только пьяница Степан Беззубов, рыжий, плюгавый парень, затеял склоку. Кончик длинного его носа, кривой разрез рта и острый подбородок сходились в одной точке; он напоминал собою хитрую лису. На уговоры Маруси Комаровой он сквозь зубы сплюнул и, крутя лисьим рыльцем, крикнул:

— А ты кто, чтобы вразумлять меня?! Давно ли ты сама последней потаскухой была в Ростове!

У Маруси враз вытянулось красивое смуглое лицо; она закрылась руками и заплакала.

— Товарищ Беззубов! — стукнул в стол кулаком Амелька. — Оскорбляя товарища Комарову, ты оскор-

бил и весь актив, и всю коммуну. Стыдно, товарищ! Сейчас же проси у Маруси прощенья... Иначе...

— Не стращай! — подбоченился подвыпивший Беззубов. — А что ты мне, тварь, сделаешь? На голом месте плешь... — хлопнул дверью и ушел.

Вечером он напился «в дым» и всю ночь скандалил.

Петька же Горихвостов на требование актива немедленно принести кокаин, хотя с кряхтеньем, пожиманьем плечами, все-таки принес маленькую баночку с белым одуряющим порошком и поставил на стол, где заседал актив. Амелька закрыл глаза и побледнел. Где-то в мозгу вспыхнул фиолетовый огонь и обжег вкусовые нервы. Сразу стала одолевать слюна. Засвербило в носу. Дрогнувшей рукой он безвольно схватил эту баночку и встряхнул ее. Голова стала пустой; в груди захолонуло. Все враз исчезло, только этот белый порошок и жадная, невиданных размеров, ноздря, закрывшая всю комнату, весь мир. И нет Амельки, нет мира — одна ноздря. Но вот острая, сверкающая боль ударила его в мозг, в сердце.

— На, Маруся, на!—Вспружиненный, мгновенно вспотевший Амелька сунул баночку Марусе Комаровой. — Сейчас же иди, иди брось ее в нужник, в печку, куда хочешь... Брось.

Вопросительно взглянув в изменившееся лицо Амельки, она все сразу поняла и быстро вышла с пузырьком. Заседание актива продолжалось. Перед глазами Амельки волнами плыл желтый, в белых крапинках, туман и все качалось. Амелька ничего не слышал и не видел. Он изнемогал, как будто взбежал без передыху на крутую гору. Он — весь в холодной расслабляющей испарине.

Амелька после этого ходил три дня, как шалый. Проснувшийся в нем дух заядлого кокаиниста терзал его. За эти три дня он истребил целый фунт крепчайшей махорки, нещадно куря до одури, до рвоты.

На стенах столовой появились выработанные активом плакаты. *Если хочешь жить в коммуне, не пей, не нюхай, не играй в карты.*

Нравы помаленьку как будто стали исправляться. Однако влияние вкорень испорченных правонарушителей все-таки разъедало ржавчиной еще не установившуюся жизнь молодежи. Нет-нет да какой-нибудь Панька Раздави и поймает слабого товарища и шепнет ему:

— Вот что... Не век же мы будем мотаться здесь. Когда-нибудь сбежим... Ну, уж тогда в тюрьму не попадайся. Сам знаешь, как там поступают с «легавыми». Изувечат, зачахнешь, сдохнешь.

Запугивая ребят, эти Паньки Раздави вербовали себе сторонников, покрывавших из страха их подленькие делишки и впадавших мало-помалу в зависимое от них положение. Так стали тайно появляться «есаулы», «вожаки» и эксплуатируемое ими стадо, правда немногочисленное, но все же противопоставлявшее себя и активу и остальной, примерной, части молодежи.

Вскоре случились три побега. Один из бежавших был пойман в городе и водворен в дом заключения; двое исчезли.

Минуло три месяца. Из лагеря недовольных начали раздаваться голоса:

— Мы не знаем, куда расходуются заработанные нами деньги.

Это нашло отклик во многих. Администрация пока что боялась доверять ведение сложных денежных дел и артельные средства самим ребятам. Но вот настало время, когда администрация, присмотревшись к молодежи, решила передать им все дела. Под умелым руководством Краева была выработана конституция трудкоммуны. Расширенный, переизбранный актив, или рабочий совет, выделил казначея и бухгалтера.

Казначеем избрали приземистого черноглазого парня Андрея Тетерина, бывшего рабочего на лесопилке. Ему двадцать четыре года. Его многие считали человеком неподкупной честности. Неразговорчивый, дельный, угрюмый тиходум. Он принял должность не без колебания. Сказал:

— Ежели не оправдаю вашего доверия, убейте меня.

При выработке инструкции для выборных лиц были бурные споры. Высказывались, что весь рабочий совет (актив) следовало бы освободить от обязательных работ в цехах. Против этого первым выступил Амелька:

— Мы сюда пришли, чтоб стать рабочими, а не бюрократами. Освобождать глупо. Мы дела не должны бояться. Будем меньше спать, меньше баклуши бить...

— Правильно, правильно, — поддерживали его со всех сторон. — Ежели освободить, они нос задерут, они «закомиссарятся».

Итак, самодеятельность трудовой коммуны началась. Стал развиваться период свободного строительства новой жизни под бдительным, но совершенно незаметным для молодежи надзором администрации.

У ребят создавалась иллюзия, что всю организационную работу, все сложные дела коммуны они ведут сами с полной во всем самостоятельностью. Это возвышало их в своих собственных глазах, твердо ставило их на ноги, приучало к порядку. Ребята только теперь почувствовали себя настоящими хозяевами. Однако все эти нити управления новым и потому трудным делом были сосредоточены в твердых руках товарища Краева и администрации. Опытный руководитель коммуны, как режиссер на генеральной репетиции, помещался где-то за кулисами, зорко наблюдая игру актеров. Актерам же казалось, что, к их собственному удовольствию, они играют пьесу самостоятельно и что никакого режиссера нет.

Вскоре по предложению казначея Андрея Тетерина была выработана некая форма присяги.

— Это лучше нас спаяет всех... Надежнее както... — кратко мотивировал он свою мысль.

«Мы, нижеподписавшиеся, бывшие лишенные свободы из бывших беспризорных даем торжественное обещание перед СССР изгладить наши прошлые ошибки, как-то: нечаянное пролитие крови (им не хотелось вводить слово «убийство»), *налеты, грабежи, воровство и всякий прочий разгул — и испытывать свои силы на пользу СССР и сливаемся по своей доброй*

воле и по зову представителей советской власти в одну организацию — трудовую коммуну, и своими способностями желаем строить общее дело на пользу коммунизма».

До краев насыщенный сознанием гражданского долга, бывший беспризорник, вор, налетчик и убийца, Амелька Схимников подписывал это клятвенное обещание с каки́м-то особым чувством, похожим на чувство сладострастия. Никого не замечая, он долго ходил потом взад-вперед по парку, размахивал руками, вслух разговаривал сам с собой и улыбался.

Девушки подписывались с кокетливым жеманством, мужчины — с кудрявым росчерком. Четырехугольный, как куб, силач Мишка Воля засучил рукава и, подписывая, пыхтел-кряхтел, взмок от пота, наставил невиданных хвостиков и закорючек, в конце концов сказал:

— Ну, трудно до чего писать! Я, братцы, неграмотный, темный.

За всех неграмотных — их двенадцать человек — расписалась Надя Курочкина.

— Ребята, а ведь стыдно в наше время не уметь писать... — говорили товарищи.

— Известно, стыдно, — соглашались темные.

Так возник первый кружок ликвидации неграмотности.

Зная уличные и тюремные навыки бывших беспризорников, начальство считало нецелесообразным насильно навязывать молодежи систематическую учебу, пичкать их книжной мудростью. Начальство подходило к этому вопросу также с осторожной предусмотрительностью и терпеливо ожидало того времени, когда молодежь сама потянется к учебе.

Было много хлопот и с организацией производства. Ребята смекалисты, выносливы, трудолюбивы, но рабочие навыки у них отсутствовали. Решено начать работу не с азбучных элементов того или иного дела, а сразу на вещах. Только такой метод и мог заинтересовать ребят. Во всех цехах из-под рук начинающих выходили вещи порченые, бросовые, никудышные.

Инструкторы впадали в отчаяние. Ребята выбивались из сил, стараясь усвоить технику, и горько над собой подсмеивались:

— Вот обутки шьем! Да в таких сапогах, как наши, кобыле в великом посту ходить...

Ребята из одной мастерской перебегали в другую: там не клеится, здесь не клеится — перебегали в третью, судорожно хватались за работу, отыскивая мастерство по вкусу, по наклонностям. Им говорили: «Торопитесь выбирать профессию: чем скорей выберете, тем скорей можете уйти на завод, на фабрику».

Но вот после упорных трудов начали, как по волшебству, созидаться взаправдашние вещи: туфли, сапоги, чулки, перчатки, табуреты, столы, скобы, всякие поковки. Глаза ребят заблестели верой в себя, сознанием собственной полезной роли в жизни. Краски мира теперь казались им ярче, милее сердцу: все пути становились видней, заманчивей. Нарождалась естественная потребность товарищеской спайки, работы плечо в плечо, взаимного уважения и дружеской помощи в трудную минуту. Словом, ребята, бывшие налетчики, взломщики и воры, почувствовали себя людьми.

Это, может быть случайное, поверхностное, нестойкое, самосознание необходимо было тотчас же закрепить, чтобы оно стало осмысленным, чтобы впиталось в плоть и кровь. Вот тут-то наиболее зрелая молодежь и повела между своими пропаганду:

— Товарищи, нас законопатили в мастерские, а между тем для ума нам ничего не дают, нас держат в темноте... Что это за безобразие такое, товарищи! Надо требовать... За что боролись?..

Осажденное требованиями, начальство только того и ожидало. Организовалось сразу несколько кружков: самообразования, бухгалтерский, политграмоты, драматический, хоровой, музыкальный. Работа закипела, как среди пчел на пасеке. Свободные часы поглощались без остатка. Жизнь приобрела желанный вкус. Хорошо оснащенный корабль, скрипя мачтами, выплыл в море.

V

В ЛАПАХ У ЖИВОРЕЗА

Летнее время для ребят — время отдыха. Впрочем, дети собирали камешки, цветы, травы, насекомых, систематизировали их, пришпиливали на картоны.

Как-то заведующий спросил Инженера Вошкина, возвращавшегося с поля:

— Ну, каковы результаты, Павлик?

— Да не вовся, Иван Петрович. Впрочем, один результат попался: в мешке сидит. — И мальчонка вытащил из мешочка зеленого кузнечика.

Однако Инженеру Вошкину все это наскучило. Он частенько под вечерок уединялся на обрыв реки, откуда были видны покосы, леса и деревеньки. Солнечные закаты вселяли в его душу тихую грусть, влекли его куда-то. Тогда в его голове и сердце подымалась мечта о Крыме, о вольной, полной приключений жизни. Инженер Вошкин начал подумывать о побеге: «А что, если увинтить?»

Такие мысли донимали его все чаще и чаще. Он ни с кем не делился ими, переживал сам. Стал замкнут, похудел.

Однажды утром Емельян Кузьмич подал ему письмо. На конверте, после адреса, значилось: *«Передать воспитаннику, который звал себя на воле Инженером Вошкиным»*.

Мальчонка, схватив письмо, задышал всей грудью, сказал:

— Ого, изобретение письма! Это от Фильки и Амельки, ответ... — и убежал к реке. На берегу думал, что Амелька, наверно, зовет его в. Крым, а может, давно в Крыму сидит, виноград жрет и выписывает Инженера Вошкина к себе. Может, в конверте проездной билет лежит со скидкой. И вскрыл конверт.

«Здравствуй, Павлик. А пишет тебе по доброй памяти Амелька Схимник. Я видел тебя, миленький, хороший мой, как ты весной проходил мимо больницы тюремной с барабаном, в пальтеце и брючках. Я тебе кричал, только не докричался. Пишу коротенько, не

чаю, что письмо попадет к тебе. А когда ответишь, напишу в подробности, что и как. А может, постараюсь увидать лично. Я пострадал, но теперь на хорошем пути. Я очень мучался и теперь мучаюсь душой. Расскажу при свидании. Ну, теперь я другой. Выкинул всю дурь из башки о Крыме. И ты сиди на месте, не думай винтить, сиди, поверь мне...»

Тут губы мальчонки задрожали, строки письма взвильнули хвостиками, смылись, и немило стало все кругом. Мальчонка сгорбился, потом вскочил и швырнул камнем в голого мужика, купавшего на том берегу лошадь. И тут блеснуло в голове: «Да, может, это письмо вовсе не от Амельки, может, это Емельян Кузьмич выкинул штучку, узнал как-нито, через какую-нибудь магию, что увинтить хочу, вот и...»

Вновь сел, перечел письмо, понюхал его и убежденно сказал:

— Нет, пожалуй, от Амельки. Ах, черт... А как же Крым? Ужасно хочется пошляться. А тут сиди да сиди. Хоть бы коротенького винта дать, ну, закатиться бы денька на три, ухрять куда-нибудь в трущобу, в лес, а там опять вернуться. Нет, пожалуй, Иван Петрович уши до колен оттянет. Ну что ж, пусть оттягивает: уши свои, им ничего не сделается — они из кожи.

Инженеру Вошкину все это хоть бы хны. Зато всласть нагуляется, в трущобах побывает, может, Змея-Горыныча какого в лесу встретит, может, Бабу-Ягу. А с Бабой-то Ягой он завсегда справится: у него рыбий зуб морской собаки есть... Хряй, Павлик, хряй!

В таких мечтах мальчонка сам не свой слонялся целый день, с гордостью всем совал письмо:

— Личное заказное, воздухоплавательной почтой, мне.

А вечером сказал Марколавне:

— Я, может быть, в экскурсию ненадолго пропаду, вы не бойтесь: я вернусь.

Потом, после ужина, удрал на берег реки, что против деревни, и предался созерцанию. Пришло в деревню стадо, слышалось мычание коров, блеяние овец, крики баб, девчонок. Наконец все стихло. Звезды

показались в небесах. В болоте скрипуче перекрякивались коростели; при реке, под обрывом, вихрастый костер горел. Поздняя лодка скользко бороздила воду. От деревни с ветерком понесло запахом парного молока.

Инженер Вошкин сплюнул и с озорной неудовлетворенностью в голосе запел:

Сидит заяц на березе,
Никто замуж не берет!..

Вскоре закричали воспитанники:

— Вошкин! Эй, Павлик! Спать!

— На фиг, — сказал Инженер Вошкин, и, когда стали приближаться к нему спускавшиеся с горы голоса, он быстро, как белка, взмахнул на сосну. Мимо него прошли старшие мальчики вместе с Емельяном Кузьмичом и Марколавной.

— Лодка здесь, значит, он где-нибудь на этом берегу, — мудрствовала Марколавна.

А там, за рекой, тоже всполошились путаные голоса. Инженер Вошкин вслушался и понял, что в деревне потерялась девочка: она ушла за коровой, да и заблудилась.

Наступала ночь. Деревня налаживала поиски пропавшей. Бабы пошли в одну сторону, к березовым рощам, мужики — в другую, в темный бор.

Инженер Вошкин сел в лодку и заработал веслами.

— Иришка-а! Эй, Иришка-а, иди домо-о-й!

Так кричали, надрываясь, мужики и бабы целый час.

Крики удалялись, замирали. Мужики, ругаясь черной бранью и попыхивая трубками, перли лесом напролом, орали, что есть мочи:

— Иришка-а!.. Эй!.. Иришка-а-а!

— Стой, вот она! — остановился похожий на колдуна мужик и, сверкая, как сыч, глазами махнул фонарем направо в темневший ельник. — Иришка, ты?

— Нет, — хриплым баском ответил Инженер Вошшин, — я такая же мужчина, как и ты.

Мужики захохотали:

— Откудова? Шпитонец, что ли?

— Инженер. Изобретатель.

Мужики опять захохотали. Мальчонка весь нажилился, натужился и, чтоб подольститься к мужикам, звонко закричал:

— Иришка-а-а!.. Шагай сюды-ы!..

Меж тем восьмилетняя Иришка давным-давно благополучно вернулась. Опасаясь, что ее там же в лесу вздуют, она тихомолком прокралась, как мышь, домой и затаилась вместе с тараканами на печке. Мать сволокла ее оттуда за косу и надавала по щекам затрещин. А вскоре за ушедшими на поиски побежали оставшиеся в деревне. И звенело через темную сонную ночь то здесь, то там:

— Эй, бабы-ы! Идитя-я домо-о-ой!..

— Мужики да бабы!.. Домо-о-й!..

Инженер Вошкин пожелал остаться в лесу один. Он развел теплинку и, набросав хвойных веток, неплохо устроился возле огонька. Прилег, собирался испугаться лесных страхов, да сразу с устатка и уснул. Спит и видит, будто бы сидят вокруг него семь серых волков и хохочут по-верблюжьи, в левую ноздрю. Инженер Вошкин сказал: «Не боюсь. Съесть меня не можете. Я — человек казенный. Я советской власти телеграмму дам». Тогда один волк сказал: «Я — Иван Петрович», другой волк сказал: «Я — Емельян Кузьмич», третий волк сказал: «Я — самая главная — Марколавна», — сказал так, облизнулся и стал пудрить хвостом нос. Тогда первый волк сказал: «Давайте этого мальчишку есть, раз он дисциплину потерял». — «А что ж, давайте... Хам-ам!» — подхватили остальные.

Инженер Вошкин в ужасе открыл глаза, проснулся. Было утро. Лес кругом. Против мальчонки стояла настоящая собака, пестренькая и, прижимая к шее в кровь изъеденные комарами уши, полаивала на него.

— Собачка, собачка, — ласково покликал Инженер Вошкин. — Пошла к черту, пока я тебя не застрелил из сапога!

Собака убежала. Инженер Вошкин потянулся и провел по лицу ладонью. Ладонь покрылась кровавой грязцой: лицо пылало, са́днило, будто натертое перцем, глаза затекли. Комары пискучим облаком вились возле него.

— Гады, всего изъели, — с раздражением пробурчал Инженер Вошкин. — Очень хочется жрать. Пожалуй, надо домой винтить.

Он оглянулся и не знал, куда идти: лес стиснул его со всех сторон, как комара.

— Сейчас компас направим, востраномию!.. — Он вынул круглую коробку из-под ваксы: там дрожала на иголке, деревянная, обтянутая свинцовой бумагой, стрелка. Мальчонка покрутил ее пальцем: она побежала-побежала, остановилась. — Ага, понимаю, северо-юг. — И он пошел, куда указывала стрелка, в противоположную сторону от дома, где он жил.

Шел быстро, отмахиваясь от комаров веничком, сорвал гриб, пожевал и с гадливостью выплюнул. Шел до усталости долго, лесом, напрямик, пил из ручья воду. Посмотрел на стрелку, покрутил ее, — она показала вправо. Еще покрутил, — показала влево, еще покрутил, — показала в третью сторону, назад. Инженер Вошкин выругался, коробку со стрелкой швырнул в болото, заплакал и сел на кочку. Очень хотелось есть; сидел-сидел, опять пошел.

Бойкий под баржей, в большом городе, на рынке, среди толстобоких, неповоротливых торговок, а вот здесь, в лесу, парнишка растерялся. Сердце заныло страхом, и весь он стал жалок, несчастен, как брошенный на базарной площади щенок. Но моментами робкие вспышки удальства взбадривали его. Мальчонка тогда пыжился, пыхтел, пробовал крутить усы, прикидывался великим исследователем диких дебрей, охотником за черепами, искусным следопытом. Он падал наземь, долго ползал по мшистым полянкам, по духмяным хвоям, искал следы, искал хоть какую-нибудь пуговку, или спичку, иль окурок. Уж по окурку-то он все размотает, как клубок, недаром же он знает наизусть Шерлока Холмса. Только бы найти!

Подкрадывался вечер. Пришибленный своей уча-

стью, он забрался на высокий пень и закричал с мучительной тоской:

— Иришка-а-а! Мужики, бабы-ы-ы!.. Эй!.. Идитя-а-а сюды-ы-ы!..

Лес встряхнул плечами, захохотал в ответ и понес крик во все стороны.

Где-то рубили дерево, кто-то замяукал. Прошумела стая птичек, за ними, свистя крыльями, молнией пронесся ястребок. Ложились сумерки, зной сменяла прохлада. Лес наполнялся таинственными звуками. Сумрак придавал деревьям, кустарникам странный, страшный вид. Всюду шмыгали волки, неслышно крались медведи, тигры. Мальчонка их не видел, но остро чувствовал: вот они тут, вот там, вот они замыкают волшебный круг возле него: разом выскочат и в клочья разорвут. Он встряхивал лобастой головой, бодрился, но его спину коробил неприятный холодок. Жуть мало-помалу охватывала его, погружала в лужу собственных бредовых измышлений. А что же будет ночью?

— Емельян Кузьмич, миленький... Иван Петрович... Марколавна, голубушка... Неужто я... неужто... — И парнишка скосоротился, захныкал.

Невдалеке вдруг раскатился выстрел. Лес дрогнул и загадочно сказал: «Ого».

«Вот... Разбойники...» — Инженер Вошкин обомлел, быстро сдернул порточки и, сегодня уже восьмой раз, вновь беспомощно присел. Страдая с перепугу животом, он все-таки прикидывал в мыслях, что лучше: быть замученным всякой чертовщиной или добровольно отдаться в руки живорезов?

«Объявлюсь товарищам разбойникам. Разбойники все-таки люди: борода, ноги, пупок. Все человечье — не то что у чертей. Авось в шайку примут. А там сбегу».

— Ого-го-го-го-й... Гоп-гоп... — послышалось вдали.

— Эй! Я здесь! — прозвенел Инженер Вошкин.

— Гоп-гоп! Гоп-гоп...

— Я зде-е-сь! — И мальчонка, спотыкаясь, падая, поддерживая порточки и всего пуще опасаясь, что

его не заметят, проедут мимо, бросят, прытко побежал на голос.

Вдруг зашуршав ветвями, выехал на полянку верховой живорез с ружьем, с плеткой, в комариной сетке. Бородища — во, в аршин, глазищи — во! Он увидел парнишку, снял с плеча ружье и взвел курок. Инженер Вошкин с воем на колени:

— Караул! Сдаюсь!.. Разбойничек хороший...

Конь всхрапнул, вымахнул с седоком к мальчонке, едва не растоптал его. У коня из ноздрей огонь, из-под хвоста искры. Разбойник нагнулся с седла, сгреб Инженера Вошкина за шиворот, приподняв, как дохлого куренка в воздухе, крикнул: «Жаба полосатая!» — и посадил сзади себя на лошадь. Инженер Вошкин тут же обмочился. Разбойник выстрелил и раз, и два, и три. В двух местах слабо прозвучали ответные выстрелы.

«Так и есть: шайка», — холодея, подумал мальчонка. Разбойник вытянул коня плетью, и вот ночные путники потряслись сквозь грозный лес. Инженер Вошкин ни жив, ни мертв, он держался за кушак разбойника и чуть слышно, расслабленно повизгивал. Он сразу поглупел. «Ну, теперь яснее ясного. Прощайся, Инженер Вошкин, с жизнью: сейчас тебя зарежут и прямо в котел, во щи. Живорез, может статься, Бабы-Яги племянник, а та всегда человечиной питается. Только как же так? Как же разбойник будет жрать мальчонку, раз мальчонке самому до смерти шамать хочется? Хоть бы корочку, хоть бы картошечку маленькую, хоть бы баранью жареную ногу».

В его взбудораженной голове гулял-пошаливал палящий жар, все, как во сне, путалось там, мешало думать. Отрывочно мелькавшие мысли и мыслишки вскочат — лопнут, вскочат — лопнут, скатываясь в черную какую-то прорву, как дождевые пузыри на быстротечных речных струях. И всплывал из страха, как из омута, единый, весь в страхе, последний выход: «А вот сейчас застращаю его, дьявола». И стал запугивать:

— У меня один знакомый живорез Крым-Гирей... Атаман. Охранную бумагу выдал мне, мандат. До

совершеннолетия никто не имеет права меня резать, — пыхтел Инженер Вошкин в спину живореза, пуская носом пузыри.

Но в ответ только конь всхрапнул, и послышался сердитый позевок разбойника. Зевнул и закурил трубку: закурил, а сам молчит, должно быть, забоялся.

— Меня советская власть ищет. Я — казенный. Я геометрию учу. Еще примус изобрел... По всему лесу ищейки бегают, сорок пять собак, мои следы вынюхивают. Как кого схватят, приволокут — и к стенке... Я, бывало...

— Молчи, жаба, пока я тебя в болото не швырнул! — выхватил разбойник трубку.

Парнишка прикусил язык, замолк. Утомленная голова его на каждом шагу лошади поклевывала носом в спину живореза. Спина очень широкая — глазом не возьмешь, — и, когда разбойничек понукает лошадь или кашляет, спина гудит, как барабан. Весь разбойничек хорошо попахивает пóтом и еще чем-то вкусным, какой-то приятной человечинкой. Только вот в чем суть: почему же разбойничек не в камзоле с позументами, а в заплатанной рубахе, и вместо сафьяновых желтых сапожищ со шпорами, как у трех мушкетеров, надеты простые лапти? А где же меч-кладенец и два кинжала, и шляпа с брильянтовым пером? А ну-ка, может, под рубахой латы, или — кольчуга называется...

Инженер Вошкин, державшийся двумя руками за кушак разбойника, освободил одну руку и легонько ткнул пальцем в спину седока, но ничего не понял. Тогда ткнул покрепче. Опять не понял: как будто кольчуга есть и как будто нету. А ну, еще покрепче в ребра, с маху.

— Брось! Не чикочи, — передернул плечами разбойник. — Я чикотки боюсь, знаешь как? С коня ляпнусь.

Мальчонка страшно перетрусил, пропищал:

— Это я носом... нечаянно... Задремал.

— Черти кожаные, — загудел разбойник. — Вчерась девчонку, соплю зеленую, искали до полуночи, сегодня тебя, гниду... Тьфу!

— Это кого, Иришку, что ли? — вдруг повеселел мальчонка и заерзал. — Дяденька, а ты кто такой, будьте столь добры?

И вдруг, как молния, из темного провала памяти ясно встал перед Инженером Вошкиным весь вчерашний вечер: лес, мужики, шагавшие через трущобу на поиски Иришки, а с мужиками — он, мальчонка, а среди мужиков — вот этот самый дяденька, только пеший и с фонариком.

— Дяденька, дяденька! — в диком восторге взвизгнул на весь лес парнишка, всплеснув руками, и кувырнулся в мох; лошадь, подобрав зад, круто скакнула через колоду.

Разбойничек поймал парнишку, как лягушонка, за ногу и снова посадил сзади себя.

Ночь становилась все темней и место глуше. Вот уже, наверно, тут Баба-Яга живет в избушке, вернее верного. А наплевать. Инженер Павел Степаныч Вошкин с добрым дяденькой не больно-то боится этой старой дуры. Да Инженер Вошкин прямо ей в морду кулаком!..

— Дяденька, нет ли у тебя чего-нибудь пошамать? Ведь я пять дней блужу, пробовал гриб есть, да сблевал...

— Ври... Пять дней... Головастик бесхвостый... На! — И полная горсть ржаных сухарей переместилась из мужичьего кармана к мальчонке в шапку.

— Ой, дяденька, ой, миленький!.. Я тебе, вот ужо с лошади слезем, семь разов в ножки поклонюсь.

— Больно нужны мне твои поклоны.

— Я тебе... Я тебе... Компас со стрелкой... Вострономию, — давясь сухарями, плел обрадованный мальчонка.

На просеке, возле изгороди в яровое поле, их встретил на сером коне милиционер.

— Нашел?

— Нашел. Хотел зарезать, да уж черт с ним, пускай живет.

Инженер Вошкин, сидя на коне героем, во всю рожицу улыбался.

VI

ВРАГ ПОПУТАЛ

Со стороны могло казаться, что внутренняя и внешняя жизнь коммуны работает четко, правильно, как механизм часов. Да оно, пожалуй, так и было. Вставали вовремя, работали усердно, питались прилично, в меру учились, в меру развлекались. Чего же лучше? Однако многие из молодежи, таясь друг от друга, носили в душе занозу, которая нет-нет да и кольнет в самую болючую жилку и поставит в сознании тот или иной вопрос. Одних пугала неопределенность будущего. Другие томились необходимостью жить на виду у всех, как в казарме. У третьих пробуждалась тяга к какой-то туманной, непонятной им, высокой жизни. Иные же, неисправимые бродяги и романтики, отравленные прошлым бытом, изнывали в тоске о потерянной ими воле.

Больше всех страдал нервный, неустойчивый в своих порывах Амелька. Чем круче он старался уверить себя, что эта его настоящая жизнь есть тот идеал, к которому должен стремиться всякий, тем упорней и упорней поднимался в нем дух противоречия. Оставаясь сам-друг с собой, он подолгу пытал себя: что же ему, в сущности, нужно? И вместо четкого ответа ощущал в себе какую-то гугню, смутные стремления, беспредметные упреки совести. Амелька ясно чувствовал тяготившую его вину, от которой во что бы то ни стало он должен освободиться. Но в чем эта вина и как ее сбросить со своих плеч?

— Ты, что ли, мамка, в моем сердце бузу заводишь? — Чем дальше шло время, чем значительней вырастало его личное благополучие, тем тяжелей становилось ему. Он пробовал поближе сойтись с Марусей Комаровой, но она сама влеклась к Андрею Тетерину, казначею коммуны. Почуяв это, Амелька со злобою посторонился. Остальные девушки ему не по душе. Так как-то...

Стиснув зубы, он весь уходил в работу, изнуряя себя трудом в мастерских, на учебе, в общественных занятиях. Но и это не помогало. Стали взбредать на ум пьянство, кокаин, морфий. Стал соблазнять побег, подлая жизнь на том самом дне, от которого он случайно избавился путем потрясших его переживаний. Но Амелька все-таки сумел вовремя опомниться. Да к тому же подвернулся счастливый случай.

Однажды, на общем собрании, выяснилось, что производство коммуны необходимо расширить, что нужно навербовать новых товарищей. Были командированы в губернский и уездные города четыре уполномоченных. Их задача — войти в связь с домами заключения, чтоб привлечь желающих из бывших беспризорных вступить в члены трудовой коммуны.

Амелька поехал с легким сердцем, с радостью.

После соблюдения формальностей он вошел в столь знакомый ему исправительный дом, как в свою домашнюю квартиру. Прежде всего он явился в кабинет начальника дома и подал ему бумагу.

— Ты Емельян Схимников? Ишь чистяк какой. Не сразу тебя узнаешь. Ну, как там у вас?

— Хорошо, гражданин начальник. Работаем, исправляемся.

— Отлично, отлично.

Амелька стоял навытяжку. Начальнику это понравилось. Кряхтя, он внимательно прочел через золотые очки бумагу и сказал:

— Иди к заведующему учебно-воспитательной частью. Я ему позвоню.

Тот встретил Амельку радушно:

— А, живая душа! Садись. Что ж, мобилизация падших? На новые рельсы?

— Так точно.

Долго его расспрашивал, что и как. Немало дивился, обещал приехать, посмотреть. Сказал:

— Приходи завтра об это место. Мы сегодня соберем наблюдательную комиссию, выберем по списку наиболее достойных. Ну, а сагитировать их — твое дело. Ну, ступай.

Амелька, имея в руках пропуск, поднялся во второй этаж женского корпуса и задержался против двери в камеру № 8. Там были гвалт, крики, вой. Он отворил дверь и широко вытаращил глаза. Человек двадцать заключенных с азартом трепали, били в загорбок, выталкивали вон черненькую миловидную бабенку. Она не защищалась; она закрыла голову руками и, сгорбившись от сыпавшихся на нее ударов, молча, вся избитая, пятилась к двери.

— Стой, черти! Как вы смеете! По местам! — ворвался надзиратель.

Женщины, красные, встрепанные, зло пыхтя, набросились на него с кулаками:

— Вон! Убирай ее вон! Нам не надо такую тварь! Убьем змею! Все равно не жить ей с нами!.. Не желаем с ней одним воздухом дышать!

Надзиратель выхватил из камеры за руку избитую бабенку, а камеру, захлопнув, запер.

— Ну, куда ж мне тебя? В пяти камерах была ведь... отовсюду тебя гонят, дуру.

Та задергала плечами, с великим горем в глазах взглянула в лицо надзирателя и зарыдала, размазывая по щекам кровь и слезы.

— В чем дело, гражданин надзиратель? — спросил недоумевающий Амелька, у которого защемило сердце.

— Возьми ты ее, Схимников, к себе, в свою колонию. Наверняка отпустили бы ее, — сказал надзиратель. Его лоб в поту, губы под рыжими усами прыгали. — Просто вчуже жалко. Ах, какие эти бабы, ах, какие. А кто они? Проститутки, хипесницы, грязные абортницы, последние потаскухи, убийцы. От матерщины стыдно в камеру войти. Самые скверные ругательницы. Да... А вот ее грех не принимают... Ох, баба, баба... Велик твой грех. Двадцать лет служу, ничего такого не знавал... — Надзиратель пофыркал носом, сказал Амельке: — Вот иди с ней, ну, хоть вот сюда, в ликбез, да потолкуй. Может, и тово... А я в наблюдательной комиссии словечко замолвлю. Вечером заседание. Сколько тебе баб нужно?

— Человек пять-шесть. Только ведь мне из бывших беспризорников.

— Ну, ладно... Возьми, брат, ее, возьми. Эх ты, баба, баба, горькая твоя душа.

Амельку заинтересовало такое отношение заключенок к этой женщине. Он вошел с ней в небольшую классную комнату с черной доской для письма, с географическими картами по стенам и сказал:

— Ну, садись. В чем суть? Сказывай. Я — свой. Я тоже здесь сидел. Говори начистоту. Авось выручим. Как зовут?

— Это меня-то? Парасковья Воробьева. Так точно, милый, да. Парасковья Воробьева из-под Курска-города. Вот, погляди, — она потянула прядь черных волос, легко отделила их от головы и показала Амельке, — вот, с мясом. Всее головушку расколотили, в синяках вся. Третью неделю лупят... На правое ухо глухая стала, — она вытерла рукавом разорванной кофты кровь с лица, и голова ее затряслась. — Правда, правда, тот сказывал... Великий грех на мне. Горой рухнул, вздыху нет. Лучше бы задавиться на осине. Ой, моя головушка... Я с ума сойду...

Амельке не на шутку стало жаль бабу. К человеческим страданиям он вообще относился с сердечной болью, и ему всегда казалось, что отчасти он и сам виноват в этих страданиях.

— Говори, не хнычь. Я, может, и сам страдал не меньше.

Баба с испытующим недоверием взглянула на него, но вдруг поверила ему и, оправившись, заговорила певучим жалостливым голосом:

— Детей я уничтожила своих, детенышей, парнишку да девчонку. Враг попутал. Уничтожила. А они стоят передо мной, как живые. Вот, отвернусь, вздохну, вздохну, а они уж там, опять стоят. Без народа боюсь, в одиночке, а народ не принимает меня, убить грозит.

У Амельки вспыхнули щеки. Не докончив папиросы, закурил другую, во всю грудь втягивая дым и выпуская его с хриплыми вздохами.

— Мы тебя в колонию возьмем: у нас такая коммуна вот из таких же, как ты, из осужденных. На огороде будешь работать.

— Ой?! — На лице женщины показалась гримаса болезненной улыбки. — Сказывать, что ли?

— Сказывай.

— Мне двадцать три годка исполнилось недавно. А росла я с маткой да с сестрой Анной, она на фабрике работала. Матка била меня, сестра поедом ела. А я сошлась с рабочим фабричным. Через это двое детей образовались у меня: мальчик да девочка. А тут рабочий бросил меня, алименты стала получать, так и жила. Детей я очинно любила — вот как любила. А тут, весной, наши порешили избу новую рубить, наняли дальнего плотника из Скопской губернии, он в нашей деревне работал. Васильем звать, бородатый такой, черный, как цыган. До баб он шибко падок был. И подкатись Васька ко мне, к дуре такой паршивой. «Женюсь, — говорит, — Паша, на тебе, очень ты мне люба». Я, по сиротству, поверила. И научает он меня выделиться из хозяйства, продать часть, что на меня и на ребят. Ладно, продали. Васька деньги взял себе. А матушка с сестрой выгнали нас вон. Мы переехали с Васькой да с ребятами в поселок Ясный. Василий сразу переменился ко мне, ругать стал и в город на работу уехал. И стала я голодать, потому Василий высылал нам по восемь рублей на месяц. А тут и сам объявился. Я и говорю ему: «Вася, надо бы нам с тобой пожениться». — «На кой ты мне такая сдалась? Ежели б не ты, я б молодую, бездетную нашел». Я — в слезы. Говорю: «Зачем же ты, Вася, сбивал меня, из родного дома с детьми увел, деньги промотал, куда же я?» — «А куда хочешь». — Сел на чугунку, опять уехал в город. Я за квартиру задолжала, хозяин гонит, есть нечего, детишки — голодранцы, плачут. Написала ему, чтоб взял нас к себе, в город. Он отписывает: «Одну тебя возьму. А детей чтоб больше я не видел». А я, дура деревенская, ну, прямо жить без него, без бородача окаянного, не могу. Ну, прямо присушил меня. День-денской плачу горько, все о нем думка лежит. Эх, Вась, Вась,

злодей. Что мне делать? Забрала ребят, повезла к своей матери, в другой уезд. Еду да думаю: «А ведь мать не пустит меня, — все теперь там чужое, моей доли нет. Выгонит, пожалуй, не пустит». И прикатила нас машина на станцию в ночное время. Вылезли мы. До деревни, где мать моя, девять верст пешком идти. А мороз — страсть, вот-вот рождество Христово. Пошли. Алешка у меня на спине сидел, ручонками шею охватил, — пятый год ему, а Оленку на руках несла, — ей третий годок пошел. Идем, дрожим: дюже холодно. А дорога ухаб на ухабе, в кочках: сколько разов спотыкалась, падала. Встану, поплачу да опять пойду. Ребятенки тоже плачут: «Мамка, ой, холодно, ой, ноженьки зашлись!.. Мамка». Господи, хоть бы волки выскочили да задрали нас. Один конец. И чую: нет во мне силушки. Ой, упаду, ой, упаду, загину. Переступлю, переступлю да стану. Отдышусь да опять пойду... От ребят спинушка затекла, ручевьки онемели. А вдруг матка не примет? Что с ребятами делать мне? И откуда ни возьмись, молодчик ты мой хороший, — прорубь на реке. И стало у меня от усталости да от голода в голове мутиться. И стал мне в уши черт шептать: «Сначала их, а тут и сама мырнешь, и вся скука твоя кончится». Я сделалась как не живая. И вся совесть, весь бог замерз у меня в груди, я чуркой стала, камнем. Взяла веревку, что узелок с вещами завязан был, поставила Алешеньку поодаль, ножки ему перевязала этой самой веревкой. Так же и с Оленкой поступила. Потом мальчишечку отнесла подальше, чтоб он не видел, а девочку взяла на руки. Она ничего уж не говорила, только охала. Спустила ее в прорубь под лед, головенкой вниз. Потом мальчика на руки взяла: «Иди, говорю, Алешенька, я тебе покажу, как рыбки в водичке плавают». А он одно только словечко: «Спать». Его тоже головушкой вниз, под лед. А сама пала на край проруби и пролежала так без чувств до утра.

В коридоре слышались звяк ключей, шаги и громкий голос надзирателя. А здесь было тихо, тревожно,

призрачно. Свет волнисто струился из тусклого окна, колыхались стены, парты, таблички на стенах, густо плавал табачный дым. Амелька вздохнул, закурил последнюю, десятую, сказал:

— Да, дела...

Парасковья вдруг круто обернулась и щелкнула рукой по воздуху.

— Ты что?

— Хватают.

— Брось! Кто хватает?

— Они, — сказала Парасковья. — Детеныши. А я чем виновата? Меня до этого люди довели, бог попустил, черт попутал... Боюсь, боюсь!.. — Она быстро вскочила и, безумно озираясь, села вплотную к Амельке. — Сударик, миленький, — певуче запросила она, и слезы градом, — уведи меня отсель, куда хочешь, уведи: пойдешь со мной по речке, в прорубь спустишь. Захлебнусь водой, спасибо тебе молвлю.

— Какая прорубь? Лето ведь!.. — Амелька с опаской отодвинулся от нее, спросил: — На сколько тебя припаяли?

— Это присудили-то? На шесть годиков. А Ваську, злодея, на десять...

— Его мало... К стенке бы его... А тебя... Впрочем... Да вот увидим... А ты, Парасковья, тово. Ты шибко не убивайся. Пройдет. Со мной хуже было. Мы с тобой вроде как родня. Я родную свою мать убил...

— О-о?! — И Парасковья тоже в страхе отодвинулась от него. — Так полагаю, врешь ты, парень...

— Нет, правда истинная. Нечаянно грех вышел. Я чуть не сдох. В мозгах помутнение было...

Парасковья вздрогнула, с трепетом в лице взглянула в угол и схватила Амельку за плечи:

— Вон, вон они!.. Стоят... Видишь?

Вошел надзиратель.

— Иди, Воробьева, в отдельную камеру. Я для веселости старуху тебе дам, она веретенцем аборты делала, глупых баб губила. А так — тихая, молитвы распевает.

Вечером наблюдательная комиссия, состоящая из начальника дома, заведующего воспитательной частью, главного врача и двух представителей общественного наблюдения (рабочие с фабрики), произвела отбор: пятнадцать мужчин и семь женщин, которых можно перевести в трудовую коммуну. Надзиратель доложил о болезненном состоянии Парасковьи Воробьевой, об отношении к ней заключенок и о возможности, по его мнению, включить Воробьеву в списки кандидаток в трудовую коммуну. Постановлено: подвергнуть ее лечению в госпитале и, по выздоровлении, условно командировать в трудкоммуну, на испытание. Протокол заседания наблюдательной комиссии пошел на утверждение прокурора.

Амелька тем временем успел переговорить с кандидатами. Их собрали в одну камеру. Амелька в сопровождении надзирателя зашел к ним. Шпана и хулиганы, бывшие в той же камере, встретили его свистом, криками:

— Легавый! Сучка! Начальству продался! Иуда!

Надзиратель и стражники внутренней охраны принялись наводить порядок. Под градом ругани Амелька стоял непоколебимо, прямо, сложив руки на груди. К нему подошла молодежь, дружески беседовала с ним.

Из пятнадцати мужчин согласились семеро, из семи женщин — три. В их числе совершенно неожиданно для Амельки оказалась Катька Бомба, бывшая маруха его. Это для Амельки крайне неприятно: он от нее отвык, она теперь ему физически противна, ее пребывание вместе с ним в коммуне было бы упреком его прошлому. Он улучил минутку перемолвиться с ней.

— В чем засыпалась?

— А тебе какое дело?

— Рожа у тебя стала еще толще и сама, как дылда. Дура ты. Слушай, Катька, ты не ходи к нам, откажись.

— Пошто? Другую маруху завел? Дудки!

Надзиратель выразительно кашлянул. Амелька оборвал разговор.

VII

ЖЕЛТОЕ ГОРЛО ЛЯГУШКИ РАЗДУВАЛОСЬ

В ожидании утверждения списка кандидатов Амелька пробыл в городе три дня. Дал в коммуну телеграмму, чтоб не беспокоились, и пошел слоняться по городу. Он заходил во все учреждения, где, по его догадкам, могли бы указать могилу его матери. Наконец кой-какие следы отыскал и направился на загородное дальнее кладбище.

Сторож за полтинник повел его в северный угол огромного погоста. При стороже — две больших собаки.

— Зачем песиков-то взял?

— У нас их, братец мой, шесть животов содержится. Без них нельзя: хулиганы одолели. Кресты воруют, венки, лампадки. Недавно ангела бронзового пуда на два сперли.

Амелька присмотрелся к бежавшей собаке, крикнул:

— Шарик!

Пес остановился и повернул на голос лохматую голову.

— Он не Шарик, — сказал рыжебородый сторож, — он зовется Сокол.

— Шарик, Шарик!.. — опять позвал Амелька и ласково заулыбался.

Пес неспешно подошел к нему, всего его обнюхал, вспоминающе посмотрел в его глаза и вдруг с радостным воем стал дружески кидаться на него, крутя хвостом, взвизгивая и норовя лизнуть Амельку в губы.

— Откуда знаешь?

— Да как же! Шарик! Шаринька... Ах ты, собачья лапа... Ведь он с нами, понимаешь, жил... Я — бывший беспризорник... — И Амелька длинной дорогой успел многое рассказать сторожу о своем былом.

— Так, так... — поддакивал словоохотливый сторож. — У нас тоже чудес много живет. Вот недавно хоронили богача одного бывшего. После революции он на рынке мясом от себя торговал, полон рот зубов

золотых. Вот шпана, должно, зубы-то эти и заприметила. А как стащили купца на погост, в первую же ночь, по весне, мазурики откопали. И сказывают так, что, когда разинули ему рот да стали молотком богатые зубы выбивать, он одному, братец ты мой, плюху возьми да и дай по роже. Тот с перепугу сразу ослеп. Утром нашли его, бродит по кладбищу, плачет, кричит. Обсказал нам все, врет ли, нет ли. Вот, братец ты мой, какие дела бывают. Фальшивые дела. А вот в этом самом месте, в углу, надо быть, и матерь твоя лежит, Страшного суда господня ждет... Ну, прощай!

Сторож с собаками ушел. Шарик раза два подбегал к Амельке с прощальным визитом, наконец и он скрылся. Перед Амелькой ряд бескрестных холмиков. Одни поросли бурьяном, другие — свежие. Когда стало тихо, Амелька опустился на колени. Он прислушался к себе: внутри все было спокойно — ни вздоха, ни раскаянья. Все чувства, как нарочно, окаменели в нем. Амельке стало больно, стыдно за себя. Он машинально перекрестился и сделал земной поклон:

— Мамка, мамка, родная моя... Здесь ли ты, или не здесь, все равно — прости. Прости, мамка, прости... Я всегда любил тебя и буду любить во всю жизнь. Прости.

Но голос был чуждый, ледяной, и все в Амельке по-прежнему упорно молчало. Он попытался представить себе зарытый труп матери. Наверное, давно сгнила, наверное, кости одни лежат в земле, на голом черепе сидит пухлая черная жаба, возле сердца змея шипит...

Амелька передернул плечами, и брезгливое чувство скорчило мускулы его лица. Он сплюнул. Нет, мать не здесь, тут только прах ее: она жива, она всегда живет в его воспоминаниях. Горестно размышляя так, он продолжал стоять на коленях. К нему будто из могилы прыгнула большая скользкая лягушка. Она глядела на него какими-то наводящими страх глазами, желтое горло ее раздувалось. Амелька содрогнулся — мороз пошел по коже — и вскочил.

Был вечер. В вершинах кладбищенского парка сгущались сумерки, грачи давно уселись на покой. Сегодня суббота. Со стороны города наплывали октавистые звуки церковных перезвонов, видимо — кончалась всенощная.

Амелька с опущенной обнаженной головой, нога за ногу, двинулся через кладбище обратно. И вдруг его сердце внезапно отворилось, потекли слезы. Рядом с ним, дыша ему в плечо, плыла милая, сморщенная старица Настасья Куприяновна. Она нашептывала сыну утешающие мысли, она все прощала сыну и благословляла его на дальнейший трудный путь. Амелька, сморкаясь и пыхтя, скулил, как собачонка:

— Мамашенька... Старушка... Ведь я ненароком тогда. Неужели бы я... Эх, матка, матка...

Незримая, она все еще плыла рядом с ним; смиренный воздух колыхался от ее дыхания. Вот она твердо спустилась на землю, шурша травой, и с силой ударила его мертвой рукой по плечу.

— Матка!! — ахнул Амелька и, опрокинутый ужасом, тронулся между могил.

— Ага... Покойников бояться? Мы — живые... Ну-ка, легаш, вставай...

На Амельку пугающе смотрели сверху двое оборванцев. Один — большой, жилистый, чернобородый и черный, как трубочист, другой — на коротких ножках, толстенький, весь какой-то просаленный, в рыжих усишках, жулик. Он был выпивши: руки в боки, похохатывал, икал, качался.

Амелька сообразил, что они вынырнули из соседней часовенки, из склепа. В кармане его нового пиджака двадцать пять рублей, в жилетке — черные часы, в брюках — нож. Он вскочил, сунул руку в карман и отступил на два шага.

— Руки вон! — крикнул чернобородый и поднял камень.

— Вы, черный, кто? — спросил Амелька, и глаза его стали страшны.

— Мы?.. Горло режем, кишки на березы наматываем, кто добровольно, без «шухеру», портки с сапогами не снимает. А ты кто?

— Амелька Схимник...

— Эге-ге... Вот ты кто! — И оба громилы враз присвистнули... Ваньку Не-спи знавал?

— Знавал. Он вместе с твоей бабушкой на том свете щи варит.

— Так, верно. А я Ваньки правой рукой был, — прищурился чернобородый и, не спуская с Амельки глаз, стал перебрасывать увесистый камень с руки на руку. — Ты ему долг сквитал?

— Сквитал, — дрогнул голосом Амелька.

— Врешь, кудрявый! Я-то знаю, мне Сережа Беспалый сказывал, — подмигнул Амельке бородатый. — Гони сармак, пока жив... Деньги есть?

— Нету.

Амелька сразу понял, что его ждет кровавая расправа.

— Ах нету?..

И громилы злобно захохотали. Толстенький пошарил в штанах, вынул трубку, повернулся спиной к Амельке, стал раскуривать. В Амельке блеснул порыв выхватить из кармана нож и вспороть брюхо бородатому. Но малодушная боязнь разлилась по телу.

— Вот что, — сказал чернобородый. — Мы про вашу коммуну знаем. Что ж вы, легавые, делаете? Вы от нас людей отбиваете. В кичеван попал, из кичевана вышел — наш. А ежели к вам попадет, ведь вы, черти, от нашего рукомесла их отучаете, только людей портите... Врешь, не удастся! Мы меры примем. Так и своим скажи... Снимай, трах-тах-тах-тах! — неожиданно гаркнул, грязно ругаясь, чернобородый и поднял над головой Амельки камень. — Портки, сапоги, всю сбрую. Раз ты не наш теперь, снимай!..

— Уйди, уркаган, — отпрыгнул Амелька и быстро поймал в кармане нож.

Брюханчик спрятал трубку, оглушительно свистнул в два пальца и стал заходить Амельке в тыл. На свист вылез из склепа третий, мордастый, парень лет под двадцать, в картузе, и, прожевывая, крикнул:

— В чем дело?

Амелька не успел мигнуть, как все разом бросились на него и сшибли с ног. Обезоруженный, избитый, раздетый, схватив увесистую железину от сломанной ограды, Амелька скакал по могилам за удиравшими грабителями и что есть силы кричал:

— Караул, караул, караул!..

Мимо него вихрем, весь ощетинившись, промчался с лаем Шарик, за ним — две больших остроухих собаки. Одна из них атаковала Амельку и с остервенением стала хватать его за икры. Амелька проворно перепрыгнул через могильную решетку. Тогда собака, оставив его, бросилась вперед, на лай, на крик. Грабители спасаясь в бегстве, молча прыгали с могилы на могилу, как страусы.

У Амельки разрывалось сердце; из прокушенной ноги, из носа текла кровь. Прибежал сторож с сыном, мальчиком.

Амелька, весь в грязи, растрепанный, подобрал свои вещи, оделся. Деньги целы. Не было ножа и часов. Он купил за три рубля своего спасителя, Шарика, привязал его на веревку и взял с собой. То-то радость будет Фильке!

VIII

В ПОЛЕ ЗАЦВЕТАЛА РОЖЬ

Филька действительно обрадовался Шарику, старому своему земляку и другу. Пес, в свою очередь, проявил неимоверную, непонятную человеческому сердцу, любовь, привязанность и радость. Он визжал, катался, обсосал, обцеловал Фильку с ног до головы, не отходил от парня, с ласковой ухмылкой заглядывал ему в глаза.

— Шарик, а помнишь — на могиле-то, в нашей деревне-то? А помнишь дедушку Нефеда-то, баржу-то?

Пес конечно же все это помнил, только по-своему, по-собачьи; он помнил запах раздрябшей глины на могиле, дух от вкусной котомки старого слепца, гвалт и вонючий воздух там, под баржей. Весь этот

клубок пережитых впечатлений давным-давно застрял где-то в глубоких провалах сознания, под густым напластованьем былых собачьих дней, но вот песий нюх и милый голос Фильки разом опрокинули все минувшее вверх дном, и клубок любезных сердцу впечатлений вмиг взорвался, ударил в кровь, в мозг, в нервы: вот оно, вот оно все, как было! Ах, если б уметь хоть маленько говорить, Шарик явственно сказал бы Фильке, что он Фильку вот как любит, — наплевать, что парень теперь не в вонючем отрепье, а при калошах, при часах... да он теперь никогда не бросит Фильки, — голод не голод — наплевать... да он... Эх, чего тут... Гаф-гаф-гаф...

— Я за него, за окаянного, трешку заплатил. Его уж Соколом звали, а не Шариком, — говорил Амелька,— Я тебе его дарю... Только, чур, условие: иди к нам работать в поле.

— Что ж, я с радостью.

— А Дизинтёр?

— Не знаю. Он плотничает.

Вот и снова помаленьку сгруживаться стали: Амелька, Шарик, Филька, Катька Бомба. А может быть, вскорости к ним примкнет и Дизинтёр. Вот бы!

Амелька с навербованными им новыми членами коммуны вернулся из города поздно вечером, когда стемнело. Их всех ввели в жилое помещение. Они в первую голову бросились к окнам, чтоб удостовериться — есть решетки или нет, не ограждена ли от них свобода. Странное дело — ха-ха — решеток не оказалось. Побежали искать, где часовые, имеются ли надзиратели. Но вместо стражи их окружают лишь бывшие друзья по дому заключения. Значит, Амелька не слегавил: значит, он говорил им истинную правду.

На другой день прибыла еще новая партия из двух уездных городов. Так постепенно пополнялась рабочая сила трудовой коммуны.

Ребятам показали мастерские и пригласили на общее собрание: оно должно было принять их в свою семью или отвергнуть. Новички заметно волновались; они видели, что жизнь их каким-то чудом напра-

вляется туда, куда им и в голову не прилетало: ведь самый скромный из них имел три судимости и пять приводов. При опросах общим собранием их голоса дрожали, запинались, спазмы сжимали горло. Такой странной, удивившей их самих, робости они не испытывали даже при разбойных отчаянных налетах. Ударяя себя в грудь, они искренне клялись быть настоящими людьми. Повинуйся, трудись, не воруй, не пей, не нюхай, не играй в карты — вот основное требование общего собрания. Скрепя сердце и борясь с собой, они согласились. Их приняли в коммуну. И, может быть, первую ночь во всей своей жизни они спали спокойно.

Фильке положили в месяц двадцать пять рублей на харчах коммуны, а жить он должен в станице. Ну что ж, это не беда.

Беда лишь в том, что Катька Бомба, освоившись с новой обстановкой, стала приставать к Амельке. И повстречайся она с ним месяцем раньше, пожалуй, дело было бы. А вот теперь как на грех Маруся Комарова, поссорившись с угрюмым казначеем, принялась со всем женским обаяньем очаровывать трудолюбивого, надежного Амельку. Но парню пока что вовсе не до баб, у него — свое.

Однако в поле зацветала рожь, соловьи еще не умолкли в приречных тальниках, и веселые живительные грозы гремели в небе. Не так-то легко в такую пору и молодому сердцу устоять.

Поздно вечером вышли вдвоем погулять на речку. В сущности, она сама увязалась за ним, против его воли. Развели костер. Прохладный воздух щеголял запахом цветов и подсыхающего сена. Зарница полыхала где-то вдалеке, в Крыму.

— Я очень даже люблю вечером один прохлаждаться, — неласково сказал Амелька. — Сидишь, мечтаешь.

— Я тоже люблю одна, — ответила Маруся Комарова. — Только скучно одной.

— Один женский факт выдвинут против другого: то люблю, то скучно. Ха-ха! А ежели скучно, то по-

чему ж ты Андрюху Тетерина, вздыхателя своего, не прихватила?

— А ты будто не знаешь? Он вольности желает допускать нехорошие. Нет, врешь, молодчик, отчаливай! А не хочешь ли сначала в загс? Я из глупеньких-то выросла. Жизнь наступила разок на хвост, и будет.

— Ну что ж. Это хорошо... Такое развитие в девушке приятно. Вроде диалектического, как говорится в политграмоте. Да он найдет себе. Не ты, так другая. Ему наплевать.

— Как это — наплевать?! — И ноздри Маруси стали раздуваться. — Что ж, я, по-твоему, не стоящая ни фига, что ж, я такая же, как все?

— Не шуми. Мне наплевать, какая ты.

— Не плюй. Заумничался. Стариком стал. Дурак ты, вот ты кто...

— Ну что ж, — с коварным притворством вздохнул Амелька. — Ежели ты всю жизнь среди дураков жила, тебе и я кажусь дураком. Понятно. Бытие равняет сознание.

— Заткнись! Не задавайся... — чувствуя превосходство парня над собой, раздраженно вскрикнула Маруся.

Посидели молча. Внизу, в кустах, о чем-то спорили говорливые струи степной речки. Освещенная костром, Маруся, стройная, черноволосая, в красной повязке, задумчиво поглядывала вдаль, где серела на горе станица. Амелька украдкой испытующе смотрел на девушку. Она заметила это и сказала, чуть улыбнувшись:

— Не пялься.

Тогда Амелька, уловив в строгом голосе Маруси милостивые нотки, подполз к ней вплотную, проговорил: «А я и не пялюсь...» — и прилег возле нее. Она не отодвинулась, она провела по его гладко причесанным волосам рукой. Сердце Амельки сладко заныло. Но он испугался самого себя и, чтоб не наделать глупостей, сказал:

— Я, бывало, баб вот как шерстил. Не подвертывайся под пролетарскую руку. И глупо, потому что

нехорошо это. Теперь по-другому. Теперь, раз любишь, объяснился благородно, как в книжке, и — пожалуйте бриться. Муж-жена. И чтоб на всю жизнь. Чтобы крепко. Чтобы не по-собачьи. Вот.

Маруся, едва сдерживая радость от этих слов, глубоко вздохнула.

— Это очень даже по нраву мне, — сказала она. — Чего уж лучше? Зарегистрировались и до самой смерточки. Только так не бывает никогда. Ну, где ты это видел, ну, где? Мужичишки — кобели, бабенки — сучки. И правильно говорится: сукин сын.

— А ежели не бывает, то надо, чтобы было, — вдумчиво сказал Амелька. Он лежал с закрытыми глазами. — Кобельковщинку-то надо по боку теперь. Все орут: новый быт, новый быт. Только орут, а сами в сучью карусель играют. И выходит не новый быт, а кобельковщинка.

— Я зарабатываю ничего себе, — неожиданно сказала Маруся (голос у нее надорванный, с легкой хрипотцой от прошлой крикливой, в угаре, жизни), — у меня в сберегалке девяносто семь рублей с полтиной. А год пройдет — будет три сотни.

— У меня тоже, — насмешливо протянул Амелька, — а пройдет сто лет, у меня образуется тридцать тысяч, ежели не пропью.

— Ты смеешься. А между прочим, у меня наряды есть. У меня шелковые чулки даже есть, парочка, розовые. У меня пальто, три платья, ботинки, туфли праздничные. Трое панталон, даже есть в кружевах...

— У меня скуфья есть, — ухмыльчиво проговорил Амелька и слегка обнял Марусю за талию.

Девушка вдруг гибко наклонилась и поцеловала Амельку в губы. И тут внезапно выросла, как из земли, Катька Бомба.

— Не верь ему, Маруська, не верь, не верь! — закричала она. — Он все врет! Я все слышала, я все слышала! Он-то вот кобель и есть. Не верь, не верь ему!

Катька Бомба была выпивши. Круглая, присадистая, утвердившись толстыми, как тумбы,

ногами на колыхавшейся хмельной земле, она кричала взахлеб, скандально. Амелька вскочил и пошел на нее.

— Бей! Бей меня! — кинулась она к Амельке и ударила его наотмашь кулаком.

Амелька схватил ее, стиснул до боли кисти рук.

— Ша, не разоряйся!

— Бей, проклятый, бей! — плевала ему она в лицо, норовя куснуть державшие ее руки. — Маруська! Я его марухой была. Он жил со мной! Бросил... И тебя бросит... Не верь, не верь, не верь!

Маруся бежала домой не оглядываясь. Ее сердце в злобе и на себя и на Амельку. Хотелось кричать и плакать.

— Успокойся, брось, — сказал Амелька кротко и усадил Катьку Бомбу на землю возле угасавшего костра.

Она вдруг горько заревела, сморкаясь и скуля.

— Ну, чего ты, дуреха?.. Ну?

Она рвала на себе волосы, в судорогах катаясь по земле. Круглое, налитое здоровьем, чернобровое лицо ее было все в слезах.

— Из-за тебя, из-за тебя пью, кобель... Из-за тебя...

Неожиданно взметнулся со степи ветер, из костра полетели головни, качнулся, зашумел кустарник.

IX

ЖИВОРЕЗ В ЛАПАХ У ИНЖЕНЕРА ВОШКИНА

Детям стала приедаться праздная жизнь на даче. Прошли крепкие дожди, поливка огорода сама собой отпала; гряды пололи одни девочки. Мальчикам прискучило шататься на реку, надоели прогулки в парке, собирание растений, камешков, игры и забавы. К книгам их тоже не тянуло.

Тогда Емельяну Кузьмичу влетела в голову прекрасная идея:

— Ребята! Давайте в землемера играть. Только всерьез.

Детвора приняла это предложение с энтузиазмом: на Емельяна Кузьмича всегда можно положиться: уж он-то удумает не плохую штуку.

— Тут мы и геометрию с вами пройдем. Гео — земля, метр — мера. Отсюда — геометрия. Понял, товарищ Вошкин?

— Больше половины.

— Теперь, ребята, надо заняться изобретением геодезических инструментов. Ты, Вошкин, как спец по тридцать первому разряду назначаешься главным мастером института точнейшей механики.

— Какой оклад? Ударный паек будет? Спецодежду выдадут? Льготы по воспитанию собственных детей пойдут? — непринужденно, не напрягая детского ума, бросал он смешившие всех фразы.

Устроили примитивную мензульную доску, вместо треноги — кол. Сделали деревянную алидаду, в диоптры натянули конские волоски. Из веревки соорудили мерную цепь, выстругали вешки.

Через три дня после чая вышли на работу. Почти весь дом: даже девчонки, даже Марколавна со своим Жоржиком. Спустились к берегу реки. День был безветренный и теплый. За рекой крестьяне копнили сено. У того берега купались белоголовые ребятишки.

— Эй, крупоеды! — кричали они. — Много ли крупы съели? А пошто у нас на деревне курица пропала?

— Молчи! — отвечал им Инженер Вошкин. — Вот сейчас снимать начнем. И вас снимем на мензул... С портками! Обоюдно.

— Во-оры-ы-ы!

— Врешь! Сами воры! Подкулачники!

— Ну! — оборвал сидевший на берегу Иван Петрович. — Без самокритики...

— К делу, — сказал Емельян Кузьмич. — Прежде всего мы проведем вдоль реки базу, магистральную линию. Что есть прямая линия? Кто знает?

— Я! — поднял Инженер Вошкин руку. — Это когда натянуть верезку. Еще лучше, когда со всех сил натянуть медный проволок...

— Во-первых, не проволок, а проволока. Во-вторых, это будет вещественная, видимая линия. А я, слушайте, объясню вам про линию воображаемую, математическую.

Он было начал лекцию; Иван Петрович, оторвавшись от газеты, с шумливой досадой крикнул ему:

— Ну, к чему эти отвлеченности! Ум за разум... Проще... Жоржик сейчас уснет.

— Я не хочу спать, — засюсюкал Жоржик, протирая кулачками сонные и темные, как смородина, глаза. — Я есть хочу. Я *выспанный, только ненаетый*. Очень, очень хочу кушать.

Марколавна, встряхнув кудерышками и вкусно облизнувшись, тотчас же записала два оригинальных выражения ребенка, чтоб вечером внести их в свой педагогический дневник.

Часа два ушло на осмотр местности, на разноску вешек с бумажными флажками. Потом Емельян Кузьмич стал чертить на бумаге эскиз будущего плана, разъясняя ребятам суть дела и дальнейший ход съемки. Ребята слушали рассеянно. Зато Инженер Вошкин, разинув рот, пыхтел, лицо серьезно, на лбу морщины, глаза горят, — весь в жадном, вдумчивом, необычном для мальчика, внимании.

Обедали ребята в поле, у реки.

Пекли картошку, ели кашу, пили чай с молоком и хлебом. У Жоржика голодны лишь глаза, ел мало.

Емельян Кузьмич сказал:

— Настоящая мензульная съемка ведется сложными инструментами. Там главная вещь — кипрегель с зрительной трубой, а в трубе, на стекле, насечки — дальномер. Рейку отнес, куда надо, поставил, в трубу глянул — и расстояние определено.

Тут Инженер Вошкин вспомнил свою собственную «подозрительную трубу» — там, под баржей, вспомнил украденную им у старьевщика лупу. И сразу перед ним ясно встала палатка Майского Цветка в ту памятную, ослепившую Инженера Вошкина минуту: «Прощай, Майский Цветок, прощай». Его лицо на мгновение покрылось грустным, пронизывающим до сердца, трепетом. Но хныкать некогда... Прочь,

прочь, прочь — надо слушать, что говорит Емельян Кузьмич.

— Вот жаль, — сказал педагог, — что у нас нет ориентир-буссоли, компаса, чтоб направлять план по странам света.

— У меня был компас, да я его потерял, дрался с живорезом, — по-серьезному произнес Инженер Вошкин, глотая горячий чай. Он ждал, что его вновь попросят рассказать про ночные приключения в лесу.

Так оно и есть. Ребята сразу пристали к нему: «Расскажи, Павлик, расскажи!» — Девчонки даже запрыгали, прихлопывая от нетерпения в ладоши. Иван Петрович, Емельян Кузьмич и Марколавна благодушно улыбались.

— Дело было так, — в десятый раз начал Инженер Вошкин свое повествование. Он всегда прибавлял к словесной околесице что-нибудь новенькое и смешное. Мелюзга целиком верила ему: те, что постарше, брали под молчаливое сомнение скользкие места рассказа; руководители же не хотели оспаривать, разрушать его измышленных иллюзий: они делали вид, что верят ему вполне, отлично понимая, что его душа должна цвести фантазией, как и душа всякого ребенка. Но Инженер-то Вошкин великолепно чувствовал, кто ему верит, кто не верит: он высокомерно посматривал на мелюзгу, дружески — на сверстников и с признательной благодарностью — на педагогов. — Значит, иду это я, ребята, страшенным лесом, в руках рентир-компас. А ночь, темно! У другого бы от страху брюхо схватило, а я ничего не боюсь, я — человек бывалый, как огурец во щах. Иду, понюхиваю ноздрями аромат, как из склянки с декалоном. Пахнет подходяще, только нюхать долго некогда, иду темным лесом вразрез с предрассудками толпы. Вдруг прет на меня на коне белом живорез, двухаршинным ножом машет, кричит: «Кто здесь есть живой, подставляй голову, — ссеку!» А я ему: «Стой! Ни с места! Руки вверх!» — Он видит, что дело дрянь, — остановился. «Слезай с коня в порядке личного инициативу». Он слез. И видит, что не на того напал, не на маленького, а...

— Так ты же и верно маленький?

— Нет. Потому что я стоял на высоком пне и был чрез это в полторы сажени ростом и в руке держал, братцы мои, волшебный зуб морской собаки. Живорез чует, что каюк ему, затрясся да в кусты: приспичило от ужаса. «Ага, голубчик, думаю, сиди, все равно мой будешь». Я залез на евонного коня, говорю разбойнику: «Ваш документ!» Отобрал от него документ: «Садись, живорезная твоя морда, сзади меня, держись крепче мне за шею, покуда я тебя, как лягушонка в болото, за хвост не сбросил. Я — человек злобный... Характеристика у меня самая сердитая... Убью!» Живорез испугался, опять обделался, как Жоржик наш. Да не обделался, а хуже... Марколавна, защурьтесь ненадолго, пожалуйста, я для мужчинов скажу. Целиком и полностью.

— Нет, нет. Не надо. Продолжай, — сказали мужчины и смеющаяся Марколавна.

— Ну, ладно. Поехали мы, значит, с живорезом дальше. Вот едем и едем. Помолчим, помолчим, опять поедем... Да... Едем и едем... А что дальше, сейчас вспомню... Тьфу! — Инженер Вошкин засопел, поскреб со всех сил грязными руками голову и сразу ожил. — Вот! Едем мы, едем... Живорез сзади меня сидит, за мой кушак держится. И чую, братцы, текут у него из двух глазов слезы, да мне на спину, на плечи — кап, кап, кап. Тут жаль мне стало его, все-таки он трудящийся класс, однолошадник. Хоть жаль, а постращать, думаю, надо. Я говорю ему: «Не хнычь. Пролетарская Москва слезам не верит. А вот лучше я свезу тебя, бандита, в избушку к Бабе-Яге, как в сказке, и сварю из тебя борщ». А он и говорит: «Баба-Яга мне доводится двоюродной теткой». Я, признаться, струхнул, но программу выполняю минимум. «Теперь тетки, — говорю, — отменены декретом и племянники отменены. Ты, брат, дядя, врешь!» А он и говорит: «Да, проврался. Извиняюсь вторично». И вот едем мы с ним дальше, куда глаза глядят и не глядят. И откуда ни возьмись, избушка на курьих ножках. А возле избушки Баба-Яга сидит, на лунном месяце спину греет. «Здравствуй, — кричу, —

Баба-Яга, костяная нога! А признаешь ли ты, стерва, советскую власть?!» — «Нет, — говорит, —не признаю я советской власти, потому как она против меня душевредный декрет выпустила». — «Тогда молись богу,— кричу, — я разделаюсь с тобой раз-нараз!» А живорез шепчет мне в затылок: «Пущай самый крепкий пропаганд, а то она сожрет нас вместях с сапогами». И верно: закричала Баба-Яга дурноматом, костяной ногой затопала и пасть разинула ширше, как у бегемота: «Езжайте мне в рот, съем вместях с конем и сапогами!» — «Врешь, бабка, — отвечаю, — не имеешь права меня есть, я — человек сомнительный!» Да как ошарашу коня нагайкой: «Н-н-но, Сивка-Бурка!» Конь как прыгнет Бабе-Яге в пасть, как помчится прямо по языку, да меж зубов, да в брюхо, и вымахнул он, братцы мои, на вольную волю, во чисто поле. А во чистом поле мильтон и мужик с черной бородой. Мильтон из револьвера — хлоп! Живорез с коня кувырком, невесть куда сразу смылся, и конь из-под меня выскочил, тоже смылся, а я сижу на кочке, и замест рентир-компаса в руках поганый гриб. Тут мильтон козырнул мне по-военному и сказал: «Ну, брат, ты — герой».

Детвора с надрывом, с упоением передохнула. Некоторые, что посмелей, улыбаясь и подмигивая, плутовато грозили Инженеру Вошкину пальцем. Иван Петрович сказал:

— Как же ты в тот раз про Бабу-Ягу не рассказывал, а говорил о том, как попал в становище разбойников?

— Тогда я сочинял по памяти, а память у меня отшибло, как я с лошади брякнулся. А теперь говорю по записной книжке. У меня там все записано целиком и полностью.

— А ну, покажи книжку...

— Ах, какие вы, — замигал Инженер Вошкин и, цыркнув сквозь зубы, сплюнул. — Я ж говорю вам, что компас потерял и записную книжку я потерял в лесу. Замест книжки — гриб. И тот поганый. Ежели хотите, я гриб вам, пожалуй, покажу.

Емельян Кузьмич залился откровенным смехом и

похлопал мальчонку ладонью по спине. Марколавна со всей материнской нежностью ласкала Инженера Вошкина восторженным взглядом добрых своих глаз; Иван Петрович ухмыльнулся и сказал:

— Вот что, Павел: врать надо умеючи. А всего лучше — совсем не врать.

— Почему?

— Кто часто врет, тому веры не бывает.

— Почему веры не бывает? А вот сказка о Царе Салтане. Значит, и Пушкину веры не бывает? Я читал... — задирчиво проговорил мальчонка.

Марколавна быстро закинула руки за спину и, вся сияя, крадучись, зааплодировала.

— Пушкин — дело другое, — слегка смутился Иван Петрович. — Ты пока не Пушкин, а Вошкин. У того народный эпос, народные сказки переложены, а у тебя гольное вранье. А хочешь, я расскажу, как с тобой дело происходило там, в лесу? Хотя я и не был возле тебя, а знаю. Хочешь?

Сидевший возле костра Инженер Вошкин быстро повернулся к Ивану Петровичу, поглядел на него темными испуганными глазами, потряс широколобой головой и, сглотнув слюни, тихо сказал:

— Нет, не хочу. Не надо.

Когда опять пошли на работу, Емельян Кузьмич говорил Марколавне:

— Заведующий не прав. Надо было выяснить мальчонке, что есть вранье, что ложь и что фантазия, то есть игра воображения. С Пушкиным мальчонка прав.

Тут ввязался шедший сзади с охапкой вешек Инженер Вошкин.

— Ведь я, Емельян Кузьмич, не врал, — забежав вперед, начал он. — Я только... Ну это... как его... Ну, в общем, я не знаю, какое теперь слово сказать... Не знаю, как высказаться вам. Я не врал, я маленько подвирал, чтоб складно. Например, в лесу был я? Был. Мужика с конем встретил? Встретил. Это все было. И мильтон был. В остальном маленько подвирал. Для красы. Кой-что из книжек, кой-что выдумал, еще — во сне приснилось. Что ж, разве это вредно?

— Ничуть, ничуть, — оба педагога проговорили

враз, и Марколавна крепко пожала своей потной рукой жилистую руку Емельяна Кузьмича.

— Наоборот, — сказал Емельян Кузьмич, — выдумка, в особенности для изобретателя, как ты, очень полезна. Даже необходима. Выдумка, то есть воображение, всегда идет впереди факта. Ты знаешь, что такое факт?

— Знаю, — с готовностью ответил Инженер Вошкин и переложил вешки на другое плечо, — когда хулиган украдет у бабы курицу, тогда будет факт..

Педагоги засмеялись. Вот и начальный пункт, откуда должна пойти съемка. Ребята быстро освоились с вешением линии, и к вечеру магистраль на протяжении двух верст была готова. На другой день освещалась река, то есть ставились вешки в каждом малейшем ее изгибе, по обоим берегам. На третий день приступили к съемке. При мензуле с наколотым на доску листом александрийской бумаги и с алидадой работал Инженер Вошкин. В сущности, план чертил Емельян Кузьмич, а мальчонка, окруженный малышами, только помогал.

— Ну, гляди. Делаем на планшете точку. Она соответствует точке земли, на которой мы стоим, то есть началу магистрали. Теперь прикладываем к точке на планшете край алидады, смотрим в эту щель диоптра и поворачиваем алидаду до тех пор, пока волосок не покроет вешки следующего угла магистрали. На, смотри. Покрывает?

— Покрывает. Чик-в-чик.

— Теперь проводим карандашом по краю алидады черту. Теперь откладываем на черте длину магистрали от начальной точки до первого угла. Ребята, справьтесь в пикетажной книжке, какая длина первой линии.

— Тридцать девять метров! Тридцать девять метров! — ребята стали совать Емельяну Кузьмичу записную книжку..

К вечеру часть плана была готова.

Полученный чертеж куска реки привел Инженера Вошкина в искреннее восхищение. Детвора же разбиралась в этом деле туго: тоже хвалили, тоже востор-

гались, но уже так, с недоверчивой хитринкой, за компанию с другими.

— А где же лодочка на плане? А где же деревцо? А где же рыбка в речке? — наперебой сыпали они.

К детям примкнули и крестьянские ребята. Чрез такое содружество была большая поддержка питанию казенной детворы: бабы приносили на обед хлеб, картошку, молоко.

— Нате, желанные, ешьте. И наши-то, озорники, возле вас чем-нибудь хорошим призаймутся.

Через три недели весь план был вчерне закончен. Иван Петрович решил произвести с детьми подворную перепись населения, скота, инвентаря. Дело было не трудное, — в деревне всего дюжина дворов, — но зато полезное.

— Дома, ребята, осенью, будем обрабатывать статистические данные, будем графики чертить и напишем дельную работу.

Емельян же Кузьмич сказал:

— А мы зимой раздраконим свой план в красках. Потом все подпишемся и пошлем в Москву на выставку. Может быть, получим похвальный отзыв.

Вдруг Инженер Вошкин громко закричал, будто в лесу перед живорезом:

— Емельян Кузьмич! А давайте на будущее лето всю Ессесерию снимать.

— А в Крым не увинтишь?

— Кто? Я?! — возмутился Инженер Вошкин и с жаром в сердце, с огнем обиды в сверкающих глазах стал уверять: — Да ни в рот ногой, ни в ноздрю пальцем!.. Чтобы я, в Крым, самовольно! Забудь и думать. Верно, нет? Заметано!

Все поняли, что мальчонка слово свое сдержит.

X

КОРАБЛЬ ПОЛУЧАЕТ НАГРУЗКУ

Лето стояло на ущербе. Кончали жнитво. Степные ветерки вкусно пахли подсыхающим зерном пшеницы и зреющим урожаем яблоневых садов. Ровно в

восемь прилетали с полей сытые грачи и с гортанным разговором шумно усаживались на ночевку в парке. В вечернем тишайшем небе табунились скворцы. То собираясь в густое облако, то вдруг, со стремительным свистом сизых крыл, они мгновенно перестраивались в широкую, плавно колыхавшуюся в просторе ленту и бесследно уносились.

Наблюдая их игривые полеты, Амелька вспоминал невозвратно уплывший в прошлое тот берег с баржей, свое былое детство, мать. И вновь, и вновь он поддавался грусти. Он чувствовал, что эта грусть в нем неистребима. Она, как смертельная болезнь, овладев его душой, будет томить, терзать его до издыхания.

Теперь Амелька знал, откуда эта жестокая налетчица-печаль. Она не более как отблеск того бессмысленного преступления, которым ударила его по голове судьба. Но где ж расплата? Как сквитать?

И звучит в его ушах грохот, лязг вагонов. С крыши на крышу перескакивает на всем ходу поезда Амелька-зверь. Ага! Вот он, в кожаной куртке, барыга-спекулянт. И пудовый сапог с железными гвоздями в каблуке резко бьет в жалкую, неузнанную спину. «Я не убил его... Я только его столкнул... Снег, сугробы... он не ушибся, мягко... Не надо убивать, зачем убивать...» — Такие отрывки мыслей теряет на бегу к своей жертве ослепший Амелька-зверь. И лишь в тюрьме, когда его душевное равновесие восстановилось, Амелька ясно осознал всю сокрушающую силу удара сапогом. Конечно же, тогда хрястнул, как пересохшая глина, позвоночник матери, и сердце ее враз оборвалось.

Переживая это в сотый раз, впечатлительный Амелька стоит в оцепенении. Сизое реющее облако скворцов вновь появилось в небе, и вкусные запахи несутся на их крыльях из степи. Но Амелька ничего не замечает. Перед его обострившимся, шагнувшим назад взором лишь белый снег и темным пятном на нем — труп жертвы. Забыть бы все, уснуть, подохнуть... Эх, кокаину бы! Но где возьмешь?

— Здравствуй! Пойдем костры жечь.

Амелька оглянулся. Дыша винным перегаром, Катька Бомба весело смотрела в его омраченные глаза.

— Глянь, глянь, каким облаком скворцы-то носятся.

— Уйди, не отсвечивай! — И взволнованный Амелька зашагал домой.

Катька Бомба сквозь громкий оскорбительный смех что-то кричала ему вдогонку.

Не останавливаясь, через плечо, крикнул и Амелька:

— Как бы тебе, ублюдок, вместе со скворцами от нас «на юр» не улететь.

Дома на подушке письмо.

«Глубокоуважаемый Емельян Кондратьич, или Степаныч, а может Иваныч, почем я знаю, ну, да это наплевать. Здравствуй, здравствуй. А только что писать сейчас некогда: скоро чай позовут пить. Напишу через месяц. А сейчас мы снимаем план через мензул. Рентир-компаса нет, а вышло хорошо, на ять. Твое письмо, Амеличка миленький, я получил с маркой и со штемпелем. Я твое письмо храню в штанах в кармане, оно стало желтое. А Иван Петрович выучил меня фокусу из математики. Я, как вырасту, переменю фамилию. Как ты думаешь? Я думаю вместо Вошкина — Пушкин, или Мензулов, в крайнем случае — Дюдюкин. Во вторых строках сего письма я хотел винтить в Крым. А ты пишешь, что не надо. Верно. И тебе отписываю, и ты не винти в Крым. Так паршиво... Да ну вас на фиг, иду!.. Зовут чай пить. Там, говорят, весь виноград померз, согласуемо с газетами, которых у нас нет, кроме Ивана Петровича. Значит, сиди смирно, не скучай, не скучай. А нас зовут пить чай. Я теперь воспитанник. Одет чисто, пока не запачкаюсь. На вторичный ответ шли марку, здесь марок нет, все вышли, а новых не работают. Дай пять! Пока!! Я бы поставил восемь восклицательных знаков в конце, да тянут за рукав опять чай пить».

Дело в коммуне росло. Число молодежи увеличивалось. Поступали значительные заказы, станков и верстаков не хватало. На расширение оборудования центр ассигновки давал скупо, — приходилось изворачиваться самим. Ребята по собственному почину срезали себе плату, сократили расходы на питание. Важно, чтоб окрепло дело. Тогда все будет хорошо. Но вскоре «кривая вывезла». Заведующий коммуной, товарищ Краев, сумел в центре взять выгодный, на несколько тысяч рублей, заказ и получить в его счет три тысячи авансу. Целый вагон давно ожидаемых на станционном складе верстаков, станков и инструментов был тотчас выкуплен. Началось расширение мастерских; для этого рабочий совет коммуны выделил часть ребят и пригласил плотников со стороны.

На общем собрании товарищ Краев сказал:

— Вот что, ребята. Я взял большой заказ без вашего ведома. Каюсь, я дал маху. Хозяева здесь — вы. Но положение было исключительное, сами знаете: надо было решать сразу, на месте, в центре. Этот заказ, если мы сумеем его выполнить, поставит нас на ноги. И все-таки, хоть задним числом, мы обсудим с вами, выгоден он или убыточен. Впредь все заказы будут приниматься лишь с вашего предварительного одобрения. Потому что, раз вы сами заказ примете, сами и будете выполнять его, пенять будет не на кого, и вам волей-неволей придется выполнять его добросовестно.

Эти слова пришлись молодежи по душе. Взрыв криков и аплодисментов. Было внесено предложение выбрать цеховые комиссии. Выборы состоялись быстро. Цеховым комиссиям вменялось наблюдать за работающими ребятами, разбирать мелкие конфликты в цеху, экономить материалы, принимать работу, выдавать инструменты.

Общее собрание закрыли. Началось заседание расширенного совета совместно с цеховыми комиссиями. Были приглашены из цехов мастера — руководители Иван Глебович Хлыстов, механик, руководитель слесарного цеха; Афанасий Дымченко (ребята

прозвали его Афонский) — опытный кузнец, руководитель кузнечного цеха, и дядя Осип Пук, латыш, душа-человек, трезвенник, он заведовал столярным цехом.

Заседание разбилось по цехам. Начались скучные подсчеты, выкладки, застучали костяшки конторских счетов. Ломались карандаши под нажимом неумелых рук. Амелька впопыхах забыл, сколько девятью семь, и написал: пятьдесят восемь. Ребята подняли горячие споры. Всяк хотел казаться спецом, знатоком. Громче всех кричали люди, ничего не понимающие:

— Правильно! Большая будет польза! Чего там считать! Я сразу вижу, что выгодно.

Но вот повели речь мастера. Они говорили путано, коряво, зато дельно. Ребята замолкли, стали внимательно прислушиваться, стали поддакивать, соглашаться с ними. Общий смысл их речей такой:

— Вам, ребята, надо еще учиться и учиться. Вы научились инструмент в руках держать, теперь учитесь коммерции. В каждом деле есть свои «секреты». Дать муки, масла, яиц и поварихе и деревенской неумое — печево будет разное: одно в рот не возьмешь, от другого язык проглотишь. Повариха кардамонцу, да изюмцу пустит, да цукатов. Понимает, когда посадить в печку, когда вынуть, чтоб ни минуты больше. Так и каждый мастер. Он все секреты знает, вы не знаете. Учитесь узнавать секреты. Вы говорите: выгодно. И мы говорим: выгодно. Но не рубль на рубль, как думаете вы. Вы не вникли в технические условия, в предъявляемые заказчиком требования. А вы учли качество материала, а вы учли брак в производстве? Да в слесарном цеху будет не меньше пятнадцати процентов брака, а вы его считаете нулем. А вы учли амортизацию?

— А что такое амортизация? — опешили ребята.

— Погашение стоимости оборудования.

— Да, да — подтвердил и товарищ Краев, дымивший неугасимой трубкой. Он почти не принимал участия в споре, только слушал.

Было два часа ночи.

Прошло и второе заседание. Заказ был одобрен и общим собранием утвержден. Но актив упустил из виду весьма важный вопрос: о пересмотре заработной платы. Пришлось поднять его товарищу Краеву. Решили выработать пять разрядов — от полутора рублей до четырех с полтиной в неделю. Это на руки, сверх стоимости пищевого довольствия. Завязалось щекотливое дело. Актив приступил к заведующему коммуной и его помощникам.

— Вы, товарищ Краев, уже сами распределите нас по разрядам. А то ребята дуться будут. Еще, пожалуй, от другого перышко в бок получишь.

— Э-э... Нет, ребята, — сразу же осадил их заведующий. — Мое дело — направлять. А уж вы сами. Нет, слуга покорный, — повернулся и, как показалось ребятам, немного рассерженный, ушел.

Распределять на разряды волей-неволей пришлось общему собранию. Всем коллективом оценивали работоспособность каждого: были попытки сведения личных счетов, дело чуть не дошло до свалки. Многие считали себя обиженными, уходили как с публичного позорища, затая в сердце злобу. Но мстить, в сущности, было некому: это не каприз Степки с Петькой иль Амельки, или Паньки Раздави — это воля всех товарищей. И единственный путь из низшего разряда к повышению — упорный, умный труд.

Остыв, ребята говорили:

— Теперь никого со стороны виноватить не придется — ни заведующего, ни руководителей. Теперь сами мы. Подхалимам и любимчикам — крышка. А кто недоволен, складывай монатки, уходи на юр.

Ребята впряглись в исполнение спешных заказов с каким-то яростным энтузиазмом. Они понимали, что экономическое положение коммуны укрепляется, что в связи с этим увеличивается заработок, улучшается питание.

Одновременно с текущей работой устанавливались новые станки и верстаки, в цехах стало тесно. Из конюшен были выведены лошади, из хлевов

коровы — их поместили пока что на воле, а конюшни и хлева переделывались на добавочные мастерские. Эта работа велась день и ночь, в три смены. Ребята в мастерских теперь не курили, работали не разгибая спины; перерывы сократились; прогулы пошли насмарку.

Цеховые комиссии, работая на производстве наравне со всеми, почти не выходили из цехов. В перерывы, соткнувшись носами в закоулке возле печки, они совместно с мастерами рассматривали чертежи, горячо обсуждали назревшие технические вопросы, с карандашом и бумагой в руках высчитывали разного рода «простои», угар, утечку, брак.

Первую неделю все жили почти внемую, усталые, сосредоточенные на молчаливых думах о производственных статьях: по телу разливалась жажда отдыха, только бы добраться до кровати.

Со второй и третьей недели пошли разговоры вовсю; можно было подводить итоги: напряженное состояние битвы, — где еще неизвестно, чья возьмет, — сменилось бодрой уверенностью в победе. Настроение крепло. И уже радостный смех звучал и в мастерских, и за столом, и в спальнях.

Были среди молодежи и такие, которых удача ребят не радовала. Без роду, без племени, насквозь прожженные нравами воровских трущоб, они поплевывали на все эти затеи и, считая себя вольными птицами, открыто называли дураками тех, кто не с ними. Они, работая спустя рукава, продолжали бузить, хулиганить, пьянствовать. На замечания цеховых комиссий грозили «перышком», на общие собрания не являлись вовсе, а когда все-таки призывали их к ответу и стращали выгнать из коммуны, они с глазу на глаз то Амельке, то Марусе Комаровой, а то и председателю совета говорили:

— А вот попробуйте выгоньте... Мы собьемся в банду, всю вашу хвабрику сожжем. А вас половину перережем, половину в пламя пошвыряем. Да ежели хотите знать, вся станица за нас, все мужики. Ну так и заткнись!

Ребята пока терпели, наивно полагая, что благо-

творное влияние среды в конце концов заставит хулиганов опомниться, свернуть с наклонного пути, чтоб с камня на камень взбираться по тропинке в гору. Когда пробовал с ними говорить по душам Амелька, они отвечали ему:

— Для тебя гора, для нас дыра. Легавым стал, сволочь. У нас хоть и по десятку судимостей, а мы своих матерей не убивали. А ты кто, гад?!

Амелька чернел и, весь дрожа, уходил от них.

Но вот горячка схлынула, большая часть готовой продукции направлена в центр, по назначению. Ребята решили устроить праздник. Хотя драмкружок разучил немудрую пьесу, но играть — негде. Ежели в станице, в школе — опасно, чего доброго — крестьяне скандал устроят. Пьеса была отложена до зимы, а что-нибудь попроще сварганить можно: ну, скажем, вечер самодеятельности, а под конец — танцульку на лугу, во дворе коммуны.

Праздник вышел неплохой. Филька привел из станицы трех комсомольцев, четырех тихих парней и двух девушек. Еще пришла чернобровая молодая вдова, Феклуша. Она отличалась свежестью, ростом, уменьем поплясать. Кой-кто из коммуны пользовался ее благосклонной любовью. Мастер Афанасий Дымченко, кузнец, прочил ее в жены. Богобоязненный коммунарский парень Куприян Нефедов тоже, грешным делом, облизывался на нее, но так, не от сердца, а по вольности.

XI

ПАРАСКОВЬЯ ВОРОБЬЕВА ВДРУГ ПОХОРОШЕЛА

Однажды, в вечернюю пору, проверяя хозяйство коммуны, Амелька встретил тихую Парасковью Воробьеву. Она только что отдоила коров, в руке полный молока подойник. Парасковья уже третью неделю как приехала сюда. Она совершенно выздоровела. Общее собрание приняло ее в коммуну единогласно. Этому помог Амелька.

— Ну, как? — спросил он ее. — Голова-то болит?

— Нет, родимый, — она рада поговорить с ласковым парнем и поставила подойник, — голова ничего себе, прошла. И мыслечки будто просветилися. А вот тут болит... Щемит сердечушко — да и на. Чернобородый Васька, анафема он, анафема... Убивец мой... — Парасковья собралась было заплакать, даже конец фартука подхватила, чтоб посморкаться, но Амелька осторожно перенял ее руку:

— Брось. Нашла о чем. Эка ты... А еще черноглазая.

Парасковья пытливо посмотрела в лицо Амельки, угадала своим женским сердцем, что парню тоже нелегко. Вздохнула баба и потупилась.

— Хочешь, я обхлопочу тебе работу в трикотажном цеху? Ведь я — член нашего совета. Пальчики у тебя тонкие, наверно, и голова варит...

— А как же, — встрепенулась Парасковья и мельком скользнула глазами по своим красным, с потрескавшейся кожей, пальцам.—Ведь я поди грамотная...

— Грамотная? — переспросил Амелька. — Вот и хорошо, ежели грамотная. Это очень хорошо. Дай-ка молочка хлебнуть.

Он оглянулся, присел на корточки, быстро попил молока, утерся рукавом, сказал «спасибо» и ушел.

Парасковья проводила взглядом удалявшегося парня и вздохнула: «Кабы не он, пожалуй, довелось бы в тюрьме на себя руки положить... Страдальцы вы мои болезные, ребятушки, простите вы меня...»

Она пока ютилась в кухне, спала на своей шубенке. Частенько видела во сне ребят. То они стоят оба, беленькие, голые, обнявшись. То они играют, возятся, уснуть не дают, а тот, чернобородый, кричит — грозится: «Бей их, бей, бей, бей». Парасковья просыпается и плачет. Да, да. Пожалуй, что она не в тюрьме теперь, а вроде как на воле. Да за такое злодейство ее надо бы живой в землю закопать. А вдруг господь прогневается да страховитую смерть по ее душеньку пошлет. «Смертному греху приклонна?» — спросят на том свете. — «Приклонна, господи, как есть приклонна». — «Страданьем

очистила в тюрьме душу? Были в тюрьме великие мытарства телесные?» — «Нет, господи, — ответит Парасковья богу, — в тюрьме со мною обращались хорошо, прилично, а тут Амелька-парень и навовся вызволил, в легкую камунью приделил». — «В таком разе, ежели не было тебе страданий, иди от меня, несчастная, в огонь вечный: там будет плач и скрежет зубов». Так иногда думает в ночной тьме Парасковья Воробьева, и по сухой спине ее пробегает могильный холод. Она оторопело ищет в переднем углу своим темным оком хоть какую-нибудь немудрящую иконку, болючий вздох направить к ней. Но нет иконки — ни иконки, ни патретика, — голо. Слышит сбоку кашель, потом чей-то хриплый голос:

— Черти-то тебя крутят. Спи!

Это — Катька Бомба, вторая коровница, пьянчужка. Парасковья огрызается:

— Не тебя ли черти-то крутят? Дух от тебя идет, винищем смердит.

— Заткнись, убивица!

Парасковья смолкает, но вскоре тьму режут уже ничем не сдерживаемые ее рыдания и вопль.

Так проходят ночи, дни.

Парасковья Воробьева была принята в трикотажный цех.

— Ну, вот, — сказал ей Амелька. — С завтрашнего дня иди. Определили.

Она взглянула на него радостно и благодарно. Лицо ее сразу похорошело. Но глаза по-прежнему грустны.

Мастерица Марфа Макаровна Зайчикова, пожилая, с проседью в черных волосах, хилая на вид, но энергичная, хорошо знала печальную судьбу Парасковьи Воробьевой и отнеслась к новой своей ученице внимательно. Впрочем, любвеобильное ее сердце для каждого человека всегда настежь. Она пользовалась всеобщим уважением; ее все звали: «тетя Марфа».

В перерыв она повела Парасковью в мастерскую,

помещавшуюся в большом одноэтажном флигеле, бывшей помещичьей конторе.

— Ты, кажется, грамотная? Записывай для памяти, что буду говорить. Книжка есть?

— И книжка и карандаш есть. Выдали. — И застенчивая Парасковья приготовилась писать. — Только напрасно вы беспокоитесь... Что ж для меня одной? Стоит ли?..

— Это для твоей пользы, а значит, и для пользы дела.

Она показала перемоточные и шпульные, в тридцать веретен, машины, объяснив ей, что доброкачественность изделий зависит от тщательности намотки пряжи.

— Вот я тебя, пожалуй, для первого раза на эту работу и поставлю.

— Премного благодарна вам, — облегченно передохнула Парасковья, и впалые щеки ее загорелись.

В первой комнате стояли четыре трикотажно-вязальные машины: одна — английская, с вертикальными иголками, две — немецкие, с иголками, расположенными горизонтально, и одна — французская.

— Пластинка, на которой держатся иголки, называется фантурой... Записала?

Поворачивая рычаги, крутя шестеренки, мастерица терпеливо и, не торопясь, объясняла Парасковье устройство деталей «француженки». Парасковья притворялась понимающей, а сама ничего не разумела: непривычные к писанию пальцы ее деревенели, карандаш кренделял по бумаге вслепую, неразборчиво.

Но вот шумно вошли девушки:

— Ага! Паша! Новенькая. Здравствуй, Паша! Приучайся, приучайся... Ну, девчонки, становись! Тетя Марфа, вы потом подойдите ко мне: собачка заедает, нитка рвется.

И несколько машин, потрескивая, пощелкивая, впряглись в работу. Ниточки с разноцветных шпулей куда-то лезли вниз, потом вновь выскакивали, извиваясь зигзагообразной змейкой, и быстро сплетались одна с другой. На глазах у пораженной

Парасковьи чудодейственно рождалась затейливых узоров ткань. И только теперь ошеломленный невежественный разум Парасковьи стал постепенно кой в чем разбираться. Открыв рот, деревенская баба жадно следила за процессом изумившей ее работы. Тетя Марфа ходила от станка к станку, делала указания работницам. Парасковья за нею ползла, как тень.

— Идем теперь в чулочное отделение.

Здесь стояли двенадцать круглых и плоских ручных машин. Окна открыты, но было душно. Кусучие крутились мухи. Девушки мурлыкали вполголоса песню. Маруся Комарова, в ярко-красной повязке, петь не умела. Неотрывно работая, она сосала леденцы. Когда Парасковья поклонилась ей, Маруся, не ответив, вздернула брови и резко отвернулась. Парасковью кольнуло это. На вчерашнем заседании Маруся, в пику Амельке, упорствовала переводу Парасковьи в трикотажный цех. Она, в сущности, против этой «деревенщины» ничего не имеет, но ей просто-напросто хотелось досадить Амельке. Ей казалось обидным, что этот зазнайка парень, с которым она думала по-хорошему сойтись, притащил из дома заключения свою прежнюю любовь, скверную, грязную девчонку Катьку Бомбу. Впрочем, она еще посчитается с Амелькой и с Андрюхой Тетериным... Обормоты... В честненьких играют, а рыльце у самих в пушку.

— Потише, потише,— остановила ее тетя Марфа.— У тебя, Маруся, нитка рвется. И две петли спустились.

Маруся и на мастерицу повела сердитой бровью. В боковушке, выходящей окнами в огород, устанавливались две новые вязальные машины «Стандарт». Из окна видно было, как шесть девушек поливали в огороде вызревающие овощи.

— Вот это самые замечательные машины,— сказала тетя Марфа Парасковье и поздоровалась за руку с работающим механиком Хлыстовым. Тот отер грязной рукой изрытое оспинами потное лицо и, поблескивая синими стеклами очков, сказал:

— Да. Эта машина понимающая. Как человек. Послушная. Только не говорит, а дело делает. И куда человечество с этими изобретениями в конце концов упрется? Как вы полагаете, тетя Марфа?

— Тебе лучше знать: ты ученый, — сухо улыбнулась тонкими губами мастерица и не без гордости добавила: — А я по своей пролетарской выучке думаю — в социализм.

— Либо в социализм, либо все машины к черту расшибем...

— Как так? — И тетя Марфа рассмеялась.

— А безработица? Представьте — вся земля в необычайных чудо-машинах. И вместо, допустим, трехсот миллионов рабочих потребуется какая-нибудь тысяча человек. Значит, что? Значит, все свободны? А вы не боитесь, что человечество от безделья начнет глупостями заниматься, вола за хвост крутить, с ума спятит?

Тогда тетя Марфа расхохоталась откровенно, как бы подчеркивая верхоглядство механика Хлыстова. Подделываясь ей в тон, бессмысленно засмеялась и Парасковья Воробьева, все-таки с опаской поглядывая на сердито поджавшего бритые губы механика.

— А землю садами украшать, а новые города строить, дворцы хрустальные?! — почти прокричала тетя Марфа. — Небось дела найдутся!..

Механик вскинул очки на лоб.

— Да, это все, конечно, так, — туго соглашаясь в душе с доводами мастерицы, протянул Иван Глебович и посморкался в просаленную тряпочку. — Нет, а я полагаю, что тогда человечество возьмет шефство над планетами. У Толстого Алексея «Аэлита» есть. Читали?

— Мудришь, Глебыч! Ну, ладно, работай. А ты, Воробьева, списывай. Вот, видишь, машина. Она в минуту двести строчек делает, выбрасывает почти готовые чулки или носки. В восьмичасовой рабочий день получается пять дюжин пар носков.

— А сколько же народу нужно на ней, чтоб работать? — несмело спросила Парасковья.

— Народу? — И все лицо тети Марфы испещрилось улыбчивыми морщинками: — Народу никакого. На двух машинах один человек будет работать. Поняла?

Парасковья удивилась.

XII

ПРОЩАЙ, ДАЧА

Наступила крепкая осень. Поля давно обриты наголо; хлеб сложен в скирды. Бабье лето кончилось; грачи улетели в теплый край. Зори стояли холодные, а по утрам обрюзгшее лицо земли покрывалось небесной пудрой — инеем. Земля, как увядающая дева, с потугой молодилась, а солнце старилось; блистающий блеск его все меньше давал тепла.

Филька целое лето проработал в трудовой коммуне на полевых работах; теперь перешел на плотничные. Он был при деньгах: купил калоши, полушубок, подержанные солдатские часы с надписью «За хорошую стрельбу», а тридцать два рубля сложил в сберегательную кассу.

В минуты перерыва Амелька вел беседы со своим другом. Вспоминали прошлое, грустно смеялись.

— Ну-ка, заводи утробный стих, — сказал Амелька Фильке. — Шарик! На картуз! На, на!.. Обходи за подаяньем двум человекам и зверю несмышленому.

Шарик заюлил, заулыбался по-собачьи, а Филька вздохнул:

— Вот бы деда Нефеда, вот бы... А вдруг найду!

— Слеподыр ничего был, роскошный, — проговорил Амелька.

Он пробовал привлечь на работы и Дизинтёра, но ничего не вышло.

— Вы хоть и дельные ребяты, а без бога живете, — сказал он, щуря в белых ресницах глаза. — Да наложи ты мне в шапку золота, а в карманы жемчугу, и то не пойду. Нет, братцы, дороги наши вразнотык.

— У нас Филька и Шарик, — пытался соблазнить его обескураженный Амелька.

— У Фильки зелен еще умок. А Шарику в церковь не ходить: ему кто ни поп, то батька.

Так и расстались. Между тем трудолюбивых ребят коммуны он в душе уважал и в спорах с мужиками всегда горой стоял за них. Да и вообще в жизни Дизинтёра наступила полоса противоречий. В скорости, как это ни странно, он все-таки изменил своей православной вере, окрутился с Катериной по-сектантски, отпустил рыжевато-белую, как вареная картошка, бороду и мечтает отделиться от тестя с тещей, зажить своим домком. Старикам это не нравится; в семействе пошла свара. Скромный Дизинтёр мало-помалу озлоблялся, увязал в немилом ему грехе. Он кричал на стариков:

— Семейство ваше кулацкое, надо прямо говорить. А вот выделюсь — стану бедняком. На богатство я плюю! Быть бы сыту да душу сберегчи.

Катерина плачет, ее мысль качается. Катерина «ни в тех, ни в сех», и от этого ей тяжело. Наташи не было. Она крадучись сбежала в город. В секретном письме к Фильке она извещала его, что устроиться в учебу было очень трудно, но экзамены прошли хорошо; месяца через два, через три, если все будет благополучно, она надеется получить стипендию... «Вот учусь на рабфаке, надо бы радоваться, а душа дрожит. В анкете я наврала, что бедняцкая дочь, что тятя — безлошадник, что он участвовал в гражданской войне против белых. Все это я наврала скрепя сердце. Но иначе нельзя. Станичным нашим комсомольцам я тоже написала письмо. Отцу не говори».

На вопрос комсомольцев, поступила ли Наташа на рабфак, Филька ответил им: «Нет, провалилась; она теперь в услужении, в булочной, булки стряпает».

Комсомольцы опечалились: «Жаль, — сказали они, — надо было Наталью поддержать: она — настоящая». Филька никак не ожидал от них такого дружелюбного к ней отношения и был в досаде на себя, что утаил от них правду.

— Да ведь она кулацкая дочерь...

— Была. А теперь отреклась от батьки. Она заявление в ячейку прислала: не вернется к отцу.

Приютская дача, отстав от улетевших птиц, спешно свертывалась. Ребятам давно бы надо заниматься в городе учебой, но Иван Петрович решил снять урожай трудом воспитанников. А урожай хорош: картошки, капусты, огурцов уродилось в изобилии. Инженер Вошкин солил себе огурцы в отдельной банке собственным способом: он очистил их от кожуры, положил в банку вместе с огурцами капусты, яблок, брусники, малины, перцу и грибов. Марколавна заметила ему, что это месиво, пожалуй, скоро загниет; он кратко ответил:

— Успех обеспечен. Продукция съедобная.

Емельян Кузьмич начал к зиме запускать бороду, сделался колюч, как еж. Марколавне это не нравилось. Глаза ее понемногу теряли любовный блеск; она перестала перед зеркалом выдирать из висков появлявшиеся сединки и как-то опустилась вся.

Емельян Кузьмич поднес Инженеру Вошкину поразивший его подарок: четвертная бутыль, — в ней — большой арбуз. Инженер Вошкин разинул рот и таращил остановившиеся глаза. Потом стал тщательно осматривать бутылку, искать на стекле трещину:

— Я знаю, знаю! — хлопнул он себя по крутому лбу. — Вы распилили бутылку пополам, запихали арбуз, потом опять спаяли.

— Да, в этом роде, — сказал Емельян Кузьмич и ушел, оставив мальчонку в полном недоумении.

— Вот это так фа-а-а-кт... — протянул он — это... это... это называется кандибóбер.

Он наклеил на четверти ярлык с надписью: *«Последний мировой рекорд, или арбуз в бутылке»*. Он всем ребятам говорил, что волшебная бутыль — его собственное изобретение, и что делается оно очень просто: надо накрошить арбуз помельче, кусочки смазать клеем, запихать в четверть и трясти четыре ночи, когда в деревне петухи поют; при этом

надо выкрикивать тайное слово, а какое — он никому не скажет. А если скажет, то со всего света слетятся петухи и заклюют его. Ребята, слушая, балдели. А сам он, не получив от Емельяна Кузьмича объяснения неслыханного чуда, лез ко всем старшим, в особенности к Марколавне. Чтоб не потерять среди ребят авторитет, он докучал начальству один на один, без свидетелей:

— Ну, объясните, Марколавна!... Ну, чего вам стоит... В ножки поклонюсь. Вы — красивенькая.

— Нет, не скажу. Ты мне арифметический фокус не хотел объяснить. Ну, вот.

Мальчонка, держа бутыль за горлышко, отошел в слезах. Он мучился целую неделю. Наконец Емельян Кузьмич взял его в лодку, переплыл на противоположный берег и повел на бахчу знакомого крестьянина. Собаки бросились. Из шалаша вылез древний, как прах, старик. Емельян Кузьмич купил за двугривенный пяток лучших арбузов, поклал в мешок и направился с Инженером Вошкиным в дальний угол бахчи. Там лежала на земле четверть, а в ней живой, еще не срезанный со стебля, арбуз.

— А-а-а, понял! — И мальчонка, запыхтев, бросил оземь свой картуз. — А как же все-таки он залез туда?

— Очень просто. Когда растение отцвело, я взял да и засунул цветочную завязь в бутылку, а вот за три месяца... видишь?

Глаза Инженера Вошкина вдруг померкли. Он надулся и разочарованно сказал:

— Этак всякий дурак сделает. Этак-то и жеребенка можно в бутылке вырастить.

Дома купленные арбузы были ребятами с наслаждением съедены. Досталось по небольшой доле. Инженер Вошкин под вечерок пошел с волшебной четвертью на берег покрытой туманом реки.

— Кара-дыра-курум! — крикнул он и хватил четверть о камень; арбуз же, вкусно, по-свинячьи чавкая, съел один. Огрузший встал, утерся, похлопал по тугому животу и, рыгнув, сказал: — Все в порядке. Только дураки верят в чудеса.

А за рекой взывали:

— Эй, Иришка-а-а... Где ты-ы-ы?

— Здеся-я-а! — отозвался Инженер Вошкин и опять рыгнул.

— Иди в баню-у-у!..

— Не пойду-у-у!

Вскоре несколько подвод с овощами, детворой и их имуществом направилось к пароходной пристани, за пятнадцать верст. Подводы предоставлены крестьянами бесплатно и с большой охотой. Крестьяне очень довольны поведением ребят: в деревне за все лето украдено всего восемь куриц, три утки, валеные сапоги председателя сельсовета да с сотню арбузов. Впрочем, у богатого крестьянина была обобрана кладовушка: исчезли восемь фунтов масла, кринка меду и свинячья нога. Кто украл, неизвестно. Может быть, какой-нибудь прохожий забулдыга. А в общем, ребятишки очень хорошие и начальство тоже. Облыжно худого не скажешь, все честь честью. Даже ребята во время покоса большую пользу принесли им. А этот самый... как его?.. ну, еще который в лесу заблудился, тот в красном уголке им радио исправил. Ах, до чего занятный мальчишка, просто такого бы мальчишку не грех всей деревне в «шпитонцы» взять.

XIII

ЖЕСТОКИЙ ШКВАЛ

Мало-помалу стал приближаться конец принятой коммуной работы. Но на самом деле это было лишь начало: поступали, принимались новые заказы.

Молодежь вплотную стала чувствовать потребность образования. Человек с десяток из них были кой-чему хорошему научены еще в доме заключения. К таким принадлежали: Амелька, казначей Андрей Тетерин и Маруся Комарова. Председатель же совета Сидор Тючков, самый развитой из всех, имел запас небольших знаний почти с детства, со школьной скамьи. Но все же и этим ребятам хотелось

двигаться вперед. Какие ж на самом деле у них знания? Например, члены цеховых комиссий глядели в рабочие чертежи, как козел в бутылку: они с трудом в них разбирались, а нужно было не только уметь чертежи читать, как книгу, но и самому чертить. Возник кружок технического черчения. Началось с прямых линий, окружностей, пунктира, вычерчивания кривых по лекалу. Наиболее способные быстро ушли вперед и с увлечением исполняли сложные эпюры. Возникли и другие кружки, связанные с технологией материалов.

— Мы не понимаем, что есть сталь, что — железо, чугун, медь, никель. Мы хотим знать это.

Кружки работали в дни отдыха и ежедневно в вечерние часы. Преподавали механик Хлыстов, отчасти товарищ Краев и два его помощника. Некоторые из молодежи пожелали учиться политграмоте. Сначала молодежь шла в этот кружок туго, опасаясь, как бы здесь их не «переучили». По натуре своей они ненавидели всякую власть, всякое начальство, всякий труд и дисциплину. Будь все это проклято! Они были поневоле «самостийниками», анархистами в опошленном понимании этого слова. Таковыми воспитали их среда и общие условия их беспризорной жизни. Поэтому, упираясь идти в просветительный кружок, они говорили:

— Пожалуй, чего доброго, еще в коммунисты выведут. Тоже ловкачи!

Но вскоре кружок стал постепенно расширяться; ребятам успешно прививались новые понятия и навыки. Вкорень сломленное былое их миросозерцание заменялось другим, обогащалось. Проснулась жажда к чтению; выписывались вскладчину книги, журналы, газеты, брошюры по техническим вопросам. Совет отчислял от прибылей на культурные надобности более крупные суммы. Образовалось ядро библиотеки, приютившейся в ленинском красном уголке.

У товарища Краева даже мелькнула мысль — через полгода, через год — завести свою комсомольскую ячейку.

Так, с осторожной постепенностью, без всякого нажима, исподволь насаждались ростки культурности.

Но зеленые всходы были все же с большими проплешинами, как в засушливую весну нагорные луга. Дело в том, что порядочное количество ребят с самого начала отщепилось от массы и не хотело с ней ни в чем сливаться. Им — все наплевать, все — трын-трава. Они работали, чтоб есть, ели, чтоб «не околеть». Они, по озорству натуры, пожелали оставаться на грани бессмысленных животных, и казалось, что никакой кнут, никакая ласка не могли загнать их в определенный жизненный уклад. Они, так же как и раньше, как всегда, все деньги пропивали, проигрывали в карты, в меру хулиганили, понюхивали запрещенный марафет. Однако ни начальство, ни товарищи пока что не решались ставить над ними крест. А может, прольет дождь, и засохшие проплешины позеленеют.

Да. Время не ждет. Вот и октябрь пришел. Скоро, пожалуй, и белые мухи полетят. Вечера стали короткие, а быстро наступающие ночи темные, в мерцающем сиянье звезд.

Все густо спит. Сторож в трудовой коммуне отбрякал в чугунную доску двенадцать ночи. Через полчаса тринадцать раз пробил на колокольне и сбившийся со счету задремавший пономарь. Кругом ни огонька. Сон притушил огни, лег темным молчанием на землю.

Лишь та — дальняя — хата не хочет черной тишины: в ней огонек, дребезжащий звук гитары, посвисты и песни. Эта хата — таинственная хата. Она стояла на отшибе в версте от станицы. Двенадцать лет тому назад здесь был царев кабак. Потом кабак с войной закрылся, и никто не хотел жить в той хате; в первые годы революции, когда шла гражданская война, белая банда удавила здесь трех молодых коммунистов из крестьян. И кто-то пустил слух, что с тех пор стало в хате чудиться: ночью из трубы валили искры, невидимкой взлаивала чертова собачка, и саженный боров с зелеными горящими глазами взад-вперед,

похрюкивая, у ворот ходил. Так и катился этот глупенький слушок. Чертова хата стояла пустая — ее заколотили; она помаленьку стала врастать в землю, и дорога мимо нее заглохла.

А вот недавно, с сентября, арендовало эту хату какое-то приезжее семейство: сам хозяин-усач, замкнутый с чужими и весельчак с близкими людьми, его жена, две молоденьких племянницы жены и парень лет семнадцати, с перешибленным носом, двоюродный брат хозяина. Парень стал заниматься фотографией; народ начал похаживать к нему; даже Филька снялся при калошах, при часах — рубль сорок дюжина. А сам хозяин вроде слесаря: примусы, швейные машины исправлял, самовары лудил, носы к чайникам припаивал. Девушки же, Варя с Паней, занимались шитьем. Так и жили. Знакомства не сводили ни с кем, жили скромно.

Однако частенько по ночам в хате огонек мерцал. Ну что ж, работать никому запретить нельзя; в хате не фабрика какая, а одиночка-кустарь неусыпный труд несет. Это хорошо, ударно, политично. Так и комсомольская ячейка рассудила. Хорошо.

Недели две тому назад, темной ночью, на дворе коммуны стукнул выстрел. Стрелял очередной дежурный сторож Петр Киселев, парень-коммунар. На другой день он докладывал товарищам, что через забор перепрыгнули два деревенских парня, в руках узлы — и скрылись по направлению к станице. Один, в серых полосатеньких штанах, как будто бы знакомый, как будто бы живет он возле церкви в покривившейся избе. А может, и не он, как знать? Хорошо бы завести собаку.

И в тот же день утром обнаружилось: взломана материальная кладовая, украдено пуда три белил, ящик гвоздей, три гросса шурупов. Кражи случались и раньше, но мелкие. Не кражи, баловство: то пара ножей, то пара ложек в кухне пропадет, то у кого-нибудь перочинный ножик, ремень, пудреница с зеркальцем. На это пока что и внимания не обращалось: плохо не клади. А вот теперь — из ряда вон, надо созывать общее собрание.

На собрании было много шума. Постановили: заявить милиции и волисполкому, завести двух цепных собак, дежурному Петру Киселеву на первый раз сделать строгий выговор.

А вскоре было замечено, что четверо коммунаров не ночевали дома. Они явились на работы утром, работали лениво, часто выходили во двор, должно быть, для опохмелки. Стали замечаться пропажи из цехов: исчезали рубанки, рашпили, стамески. Отлучки по ночам становились чаще. Товарищи покрывали гуляк, не доносили. Участились и кражи. Администрация, да и молодежь встревожились. Ребята чувствовали себя ворами, соучастниками преступлений и не знали, что делать. Наступило общее уныние. Ребята, в сущности, знали зачинщиков, неисправимых жуликов и коноводов, но не трогали их, боялись кровавой мести. А жулики и коноводы — их человек двадцать — держались отдельно, в станицу ходили кучкой, с гамом, с песнями, ни в каких культурных ячейках не участвовали, посмеивались над скромными, трудолюбивыми парнями. И вновь покража, покрупней, поозорней. Крестьяне тоже стали жаловаться, что в их станице пошаливают воры. А кто такие? Наверно, бродяги из коммуны. Кому другому быть!

Самочувствие Амельки тоже было не из важных: «Нас призвали сюда, чтоб научить ремеслу, чтоб не карать, а отнестись к нам по-хорошему. А мы что? Воры. И начальство вправе думать, что и я, Амелька, такой же вор, как и остальные. Тьфу, черт!» Так думал Амелька, скорбя душой. Но он предпринимал какие-то меры, однако никому не говорил о них. Однажды, глухой ночью, он ушел. Товарищу по койке, уходя, шепнул:

— Молчи. Приду через два часа. Нужно.

— К марухе, что ли?

— К ней.

Когда пропало тридцать пар сшитых в мастерской ботинок, медные части со сверлильного станка и пять мясорубок из кухни, начальству стало очевидно, что оснащенный корабль коммуны, временно потеряв правеж, попал в полосу жестокого шквала.

Вот тут-то кормчему и пришлось огласить третий и последний основной принцип общественной жизни — принцип круговой поруки: «Все отвечают за каждого».

Товарищ Краев немедленно же пригласил к себе на совещание весь актив вместе с председателем рабочего совета Сидором Тючковым. Совещание было закрытое, в кабинете заведующего. Оно носило характер дружеской беседы за чашкой чая.

— Товарищи, — начал взволнованный Краев, и сухощекое лицо его с черной бородкой нервно задергалось. — В нашей молодой семье большое несчастье. Давайте, товарищи, думать и действовать. — Он говорил не долго, но просто, горячо и убедительно. А закончил так: — Партия дала вам полную возможность стать людьми, — партия дала вам все. И ваша обязанность, ребята, во всем оправдать доверие партии.

После этого совещания актив поспешил созвать экстренное общее собрание: оно было многолюдно. Настроение собравшихся нервное, подавленное. Даже девушки не перешептывались, не перемигивались с мужчинами, не посылали им записок. Все сидели тихо, ожидали ударов скопившейся в воздухе грозы. Все предполагали, что гроза разразится из уст, из глаз товарища Краева, начальства. Но он молчал: лицо его, как камень, загадочно и неподвижно.

Первым заговорил председатель рабочего совета Сидор Тючков. Он — сын бывшего крупного, расстрелянного за контрреволюцию, чиновника, хорошо грамотный и дельный. После смерти отца он мальчишкой попал на дно, бродяжил из города в город, имел девять судимостей и двенадцать приводов. Он высокий, жилистый блондин, глаза — серые, стальные, с волевым блеском. Он быстро поднялся, заложил руки в карманы брюк и, покашливая, начал:

— Товарищи! Вчера, на вечернем заседании актива, совместно со старостами от цехов и руководителями трудкоммуны, мы вынесли такое постановление: все предметы нашего обихода, все оборудование цехов даны нам в кредит, во временное пользование. Инвентарь пополняться не будет. А за доверенное

нам имущество мы должны как честные люди заплатить сами. Пропажа вещей, а также и выработанной нами продукции будет оплачиваться из нашего заработка... Мы, ваши представители, находим, что эта мера справедлива, что она заставит одуматься несознательных товарищей, позорящих все наше общественное дело. Итак, за каждую малейшую пропажу мы — все до одного — ответчики. Потому что здесь все — наше, потому что полные хозяева здесь — это мы, то есть наш коллектив. Я кончил.

Вот он не из тучи гром-гроза. Блеснула и ударила. Никого не убила, но обожгла всех. С минуту стояла подавленная тишина. Потом вдруг разразился дождь одобрительных криков, горячих, искренних клятв и злобных протестов.

— Долой! — прячась за других или в открытую кричала бывшая шпана.

— Это подлость, чтобы драть с нас!

— Где свобода? Где справедливость? Заманили дьяволы, наобещали!..

— Легаши вы все! Не хотим платить! Ищите воров, с них требуйте.

— А мы не воры!

Так в общем потоке клятв и одобрений надрывалась многочисленная шайка недовольных бузотеров. Впрочем, головка ухорезов не так уж велика, но иные, даже честные, однако малодушные ребята, страха ради, поддерживали Паньку Раздави и ему подобных. Вожак Панька своей фигурой напоминал облезлого орангутанга. Плешивый, неопрятный, потный, с отвратительным каким-то запахом, он с шатией пришел сюда из дома заключения не дело делать, а удить в мутной воде рыбку. Но рыбка здесь клевала плохо.

— Эй, наши! Требуй! Не хотим платить, не хотим! — сидя в темном углу и ныряя то за печку, то за спины своих, командовал вожак Панька хриплым, устрашающим голосом.

— Врешь! Правильно постановили! — перебивали его благоразумные. — Круговая порука!.. Должны платить!

— Все, все! Без исключения...

— Только так и можно воровство изжить...

— Клянемся уплатить! Клянемся, что воровство угробим!.. Не будет воровства... Позор!

— Становь на балтировку!

Так тремя четвертями собрания было решено: погашать стоимость украденного постепенными вычетами из жалованья; передать все ключи от цехов и материального склада коллективу молодежи; учредить посменные ночные дежурства в мастерских.

Амелька внимательно наблюдал шумную гурьбу выходивших недовольных.

После собрания товарищ Краев опять пригласил к себе председателя совета Сидора Тючкова со старостами цехов. О чем говорил с ними в закрытом кабинете — неизвестно.

Когда они ушли, был позван Амелька. Он одернул синюю рубаху, махнул гребенкой по волосам и не без волнения вошел:

— Садись, Схимников! — И товарищ Краев указал на плетеное кресло.

Горели на широком, черного дерева, письменном столе две свечи: электричество не работало — ремонтировали мотор. Все плавало в колыхающемся зеленоватом мерцании, и большой портрет Ленина на стене то, мутнея, исчезал, то появлялся.

Товарищ Краев запер дверь на ключ.

— Ну-с, так вот, — глухим голосом начал он, закуривая трубку. — Сколько же раз ты в этой хате был?

— Три раза, товарищ начальник...

— Всех знаешь, кто туда ходит?

— Всех...

Около двенадцати ночи Амелька возвращался в общежитие. Растерянный, взволнованный разговором с Краевым, он пересек спящий двор, попутно заглянул через окна в свою столярную мастерскую, все ли в порядке, и повернул к себе. У входа, на приступках крыльца, сидел Панька Раздави, курил.

Из-под хохлатых бровей сверкнули два злых, сверлящих Амельку глаза.

— Ну, как легаш, дела?

— Я не легаш, — ответил Амелька, норовя пройти мимо него.

— Ха-ха! Не легаш? — И Панька Раздави, не подымаясь, схватил Амельку за штанину выше сапога. — Шалишь, мамонишь, на грех наводишь... У начальника был? На ушко шептал?..

— Да, шептал.

— А что шептал?

— Тебя не спросил.

— Вот что, — и Панька Раздави разжал ладонь, державшую Амельку, — надо винтить отсюда. Ты был вожаком. Я тебя знаю. Плюнь на коммуну на свою. В Ташкент бросимся, не сыщут. Пришивайся к нам.

— Что ж... Подумаю, — двусмысленно сказал Амелька. — Может быть, и так. Прощай.

— Прощай.

Встревоженный, павший духом, Амелька кинулся в постель, но сон не шел к нему. В горящей голове зрел план. Эх, разве и в самом деле поставить жизнь на карту!..

XIV

ЧЕРТОВА ХАТА

Утренники заковали в зеркальный ледок пруды, болота. Ветродуй вздымал по степным дорогам холодную пыль. Аисты и вся крылатая живность давно улетели к морям. В оголенном парке раздавался под ногой хруст хвороста и хваченных морозом листьев.

И в один день случились в коммуне два события. Отворилась в контору дверь, и возле порога, сдернув картузишко с головы, встал лохматый, грязнолицый, лет двадцати двух, парень. На этого отрепыша никто не обратил внимания. Дрожа от холода, он робко кашлянул в горсть, сказав:

— Здравствуйте.

Трое из молодежи, стоявших с расчетными книжками возле конторщика, обернулись.

— Что тебе? — спросил оборванца Миша Воля, силач.

— Это я. Здравствуй, Мишка. — И оборванец, печально улыбаясь, уставился исподлобья в лицо товарища. — Нешто не узнал?

— Васька — ты?! — вскричали все трое.

Это был Василий Дубинин, еще по весне сбежавший из коммуны с кой-какими казенными вещами.

— Нагулялся?

— Как видите... — И, как бы подтрунивая над самим собой, он тронул полуистлевшую, едва державшуюся на плечах, рубаху и вываляннные в грязи штаны. — Примите, братцы... — Он закрылся рукой; из-под лохмотьев рукава видно, как скривился его рот, запрыгал острый подбородок.

А вечером к работавшей во дворе бригаде по заготовке дров подошел скуластый татарчонок.

— Комунам бирешь, бирешь? — и подал коловшему дрова Амельке трепаную, насквозь просаленную бумажонку.

«Падчеринский волостной совет Татреспублики удостоверяет, что мальчик из деревни Падчера Юсуп Рахматулин, 10 лет от роду, действительно безземельный, бесхозяйственный сирота».

— Тут сказано: «бесхозяйственный сирота», — полушутя проговорил Амелька, — а нам надо хозяйственный народ... Нет, не нужен...

— Пошто, пошто бесхозяйка?.. Я рабоча... хорош рабоча!.. — Татарчонок вдруг надсадно задышал ртом, ноздрями, грудью, рукавами балахона, а четверо коммунаров засмеялись.

— Мал, работать не будешь, — сказал Амелька, — тебя лягушка залягает.

— Пошто, — работать ни будишь? А исть будишь, хлеб ашать будишь? — И татарчонок опечаленно забормотал: — Матка нет, батка нет, адна. Туды ходил, сюды ходил... Мала-мала. Кудой, шибко кудой жизня... Бирешь, пажалста, камунам...

Общее собрание приняло их обоих. Коротконогий

татарчонок, поелозив задом, спустился с высокой табуретки и поклонился в ноги сидевшим за столом. Его на первое время определили на торговлю в зарождавшийся кооператив. Сначала его звали: Ю-суп, потом в шутку — Ю-щи, затем просто — Юшка.

Василий же Дубинин принадлежал к группе бузотеров. К нему отнеслись весьма строго, наложили ряд взысканий и приняли в коммуну условно, до полного его исправления.

Он был определен пока на чистку хлевов. Но он и этому рад.

Юшка оказался незаменимым. В лавке быстро, аккуратно развешивал товары, птицей летал в станицу по делам и на железнодорожную станцию за почтой, темными осенними вечерами дудил в самодельный берестяной рожок и звонким голосом пел степные татарские песни.

Кооператив в виде мелочной лавчонки и сначала ютился чуть ли не в собачьей конуре. Теперь он заметно вырос и сел в более просторное помещение. Была в дело пущена ловкая политика. Кооператив быстро запасал то, чего нет в лавках, и продавал на копеечку дешевле против кулаков. Кулаки сбавляли цену сразу на пятак. Кооператив опять спускал на копеечку дешевле. Так своими копеечками кооператив бил торгашеские пятаки.

Двое мелких торгашей закрыли свои лавчонки. Тимофей же Востротин, тесть Дизинтёра, правдой и неправдой пытался еще бороться. Он своим покупателям шептал:

— Да в их каперативишке паршивом гнилье одно. А колбаса из тухлой кобылятины, тьфу! Прямо — самоблев. У них все товары краденые. Кто покупает, грех на душу берет.

Стремясь удержать в своих лапах остаток покупателей, он всячески ловчился, но ясно видел, как многолетнее дело идет насмарку.

А тут неприятности в семье: Наташка от батьки отреклась, сбежала в город; зять рубит себе избу, хочет в отдел идти... Тьфу! Да пропади она пропадом, жизнь!.. Ах, беда, беда.

Что же это, — ночь или вечер? Еще нету десяти, а тьма, как в полночь.

В чертовой хате пиликает гармошка, но веселые окна ее черны, будто замазанные сажей: они плотно изнутри закрыты ставнями. Вот пришел в хату один молодчик, вот другой, вот грудастая девчонка прошмыгнула серой мышью, крадучись, и условно стукнула в окно: раз, два!.. раз-два-три! Скрипучая дверь впустила и ее. А потом с полночи снег повалил: ложилась хлопьями первая на землю пороша. Воздух стал сразу пахнуть свежей чистотой. Крыша хаты побелела.

Снова стук в окно: раз-два! раз-два-три — и в чертову хату под рукоплесканья, крики пьяниц, вошел хмельной Амелька. Он приходит сюда по тайности уже четвертый раз и всегда хвативши. Шатия стала вновь считать его своим.

Он стряхнул с кепки снег, сверкнувший в этом дьявольском вертепе, как в навозной куче брильянт, посовался носом, с форсом крикнул:

— Здорово, воры! Наше вам!

— Хо-хо, ловко поприветствовал, — густым басом сказал лежавший на кровати усач-хозяин. Его бритая, яйцевидная, как дыня, голова повязана мокрым полотенцем.

Вертеп мрачен, затхл, как брошенный на погосте склеп. Огни двух свечей едва мерцали. Амелька, прищурившись, окинул сборище и пьяным и непьяным своим взором. Племянница хозяйки, толстощекая Варя, вся потная, в растрепанной рыжей прическе, целовалась взасос с вислоухим карапузиком Фомкой Ручкой из слесарного цеха коммуны. Другая племянница, курносая, щупленькая Паня, сидела на полу в обнимку с Петькой Горихвостовым, кокаинистом, визгливо похохатывала:

— Дай рубль, дай рубль! Иначе плюну тебе в очи.

За столом гуляки чокались стакашками, жрали свиную голову, селедку, огурцы. Шутки, сальности, любезная сердцу матерщина не переставая прыгали от стен к столу, с полатей на пол. Сталкиваясь друг

с другом, как слепцы, тусклыми тенями совались по хате на подгибавшихся хмельных ногах ошалевшие пьянчуги.

Амелька и горестно и весело подвел итог: все свои, парни из коммуны. Он густо, через губу сплюнул, всхохотал, притопнул:

— Эй, гуляй, блатные! Крути! Гармонист, наяривай!

Безногий, похожий на ваньку-встаньку, головастый обрубыш гармонист прохрипел с сундука у печки:

— Вот только выпью чарочку.

Переставляя обшитые бычьей кожей культяпки и покручивая молодецкий левый ус, ванька-встанька браво подкултыхал к запьянцовскому столу, зажал двумя пальцами ноздри, выпил стаканчик, тряхнул кудрями и — аршин ростом — поплыл, как в челне, обратно.

Усач-хозяин тронул Амельку за плечо:

— Принес?

— В сенцах, — икнув, ответил Амелька шепотом. — А через неделю — весь склад наш. Я в карауле. Ребят запру. Собаку запру. По окончании дела винтим на волю. Ша!

Хозяин вышел в сенцы, развязал Амелькин узел: двенадцать английских гаечных ключей, две банки сурику, полпуда латуни, еще кой-что. Хозяин спрятал хабару в чулан. Завтра, чуть свет, переправит в город.

Меж тем ванька-встанька, благополучно переплыв пространство, оперся не по росту длинными руками о край сундука, подпрыгнул, и его расплывшийся зад с культяпками ловко взлетел на сундук. Усевшись в угол, к печке, он надвинул на голову каску с бубенцами и стал потешно величав и важен. Его гармонь вдруг разинула свое горластое хайло, бубенцы встряхнулись, взбрякали и залились.

Амелька ухарски сбросил с плеча старый пиджачок:

— Эй, бабушка, любишь ли ты дедушку! — ударил ладонь в ладонь и пустился в пляс.

Пьяная, растерзанная Катька Бомба, сидевшая на коленях у Паньки Раздави, спрыгнула на пол, застегнула наспех кофточку и залихватски подбоченилась. В ее выпуклых, хмельных глазах с задором скакали бесенята. Неуклюжая, грузнотелая, она с визгливым гиканьем поплыла тряпичным, пухлым шаром бок о бок с крутившимся Амелькой. В дикий пляс, разбойно засвистав, еще ввязались трое. Гармошка гайкала, ревела, взмыкивала. Все вихрем завертелось в трескучей, быстрой, как ветер, карусели. Хозяин, хлопая в ладони, козлом подскакивал под потолок. Каблуки танцоров, как в наковальню двенадцать молотов, крушили пол. Искры, пыль летели из-под ног, и хата лезла в землю.

— Ай! ай! ай! ай!

— Кони новы, чьи подковы! Кони новы, чьи подковы!..

— Ах, чох-чох-чох!.. Ах, чох-чох-чох!

Амелька вдруг упал:

— Воры, стой! Башка закружилась... Спать! — и пополз крокодилом прочь.

Пляска лопнула, бубенцы жалостно всплакнули; ванька-встанька уронил гармонь. Тяжко пыхтя, пошатываясь, все разбредались по своим местам. Оплывшие свечи заменились новыми. Желто-серый свет елозил по землистым лицам шатии. Повизгиванье девок, гвалт и звяк стакашков снова нарастали. Пахло душным, одуряющим каким-то смрадом.

Крепкие руки трех друзей подхватили ползущего по полу Амельку, положили на кровать. Амелька лягался, задирчиво выкрикивал:

— Воры! Все вы воры, мазурики! И я вор.

— Братва! — грозно топнул хозяин и выстрелил в потолок из револьвера. Сборище вздрогнуло и враз примолкло: — Братва! Товарищи артисты — воры, гопники, уркаганы, скокари, мокрушники, слушай! — и снова грянул в потолок.

— Чего стреляешь! Тут не война тебе...

— Артисты, слушай! — заорал усач, тараща воровские, наглые глаза. — Нам, вашим старым товарищам, нужны помощники, ученики. Ежели вы все из

тюрем пойдете на фабрики, что тогда делать нам? Нет, я вас спрашиваю по воровской совести... Ведь гибнет наше блатное дело! А кто губит? Вы! А почему? Потому что в вас нет настоящей сознательности. — Он стиснул железные челюсти, за его крепкими щеками заходили желваки. — Вас дурачат, как щенков, сулят хорошую жизнь. Враки! Враки! Жить хорошо тому, у кого денег много. А нам, артистам, тыщу на ветер пустить — раз плюнуть! Жить — так жить, о смерти не думать! Пусть бык думает о смерти.

— Ур-р-а! Ура! — горласто закричали пьяницы, опрокидывая стакашки. — За наше блатное искусство. Будь здоров, хозяин!.. Уу-ра!

Хозяин тоже выпил и отер усы.

— И вот, артисты, воришки милые мои, блатные, — расчувствовался он и посморкался в горсть, — вам говорю: бегите. И своим толкуйте в камунии, пусть бегут. А мы все равно ихнее гнездо доконаем, сотрем с земли. Хоть сто таких камуний заводи — скличу своих, хлопну ладонь в ладонь — мокренько!.. Я погибну — другие найдутся; нас, сорвиголов, по кичеванам много... А кто против нас, тому смерть! — Бандит дал выстрел в третий раз и швырнул револьвер в угол. Запахло тухлятиной порохового дыма.

— Мерзавец! И вы все мерзавцы! Твари! — вскочив с кровати, неистово заорал Амелька и весь затрясся. — Не боюсь вас! Жизнь на карту ставлю!

— Застынь! Захлопнись! — взмахнул кулаком усач. — Стукну в темя, башка в брюхо влезет.

— Я сам тебе, гнида, нос балахоном сделаю! — И Амелька что есть силы бесстрашно толкнул бандита в грудь. — Прочь, мерзавцы!..

Тогда вся шатия, человек пятнадцать, лавой бросилась к нему:

— Даешь бою! Предатель! Бей легавого по маске!

Амелька вдруг захохотал по-сумасшедшему.

— Братва! — с напряженным, загадочным весельем крикнул он. — Что вы, белены объелись, чтоб своего бить?.. Я же нарочно вола кручу... Ну! Кто

хочет марафеты? Вот! — И в его дрожащей руке появился заткнутый пробкой пузырек.

В стены, в потолок шарахнул радостный дружный хохот.

— Не подначивай! Врешь! Неужто марафета? — И шатия нетерпеливо потянулась к пузырьку. — Мне, мне, мне!

Амелька покачнулся, крикнул:

— Лови!

И через взлохмаченные, ошалевшие от пивных паров головы он швырнул к столу заветный пузырек кокаина, смешанного с сильным снотворным порошком.

Сшибая один другого, сталкиваясь костяками лбов, все враз, как стая псов за зайцем, кинулись к лакомому зелью. У Петьки вырвал Панька Раздави, у Паньки — остромордый, как лисенок, Степан Беззубов, у Степана — сам усач-хозяин. Он щедро набил обе ноздри, и зелье пошло вкруговую. Каждый нюхал с ожесточенной жадностью: одни — судорожно, наспех, по-воробьиному, чтоб скорее обалдеть; другие — закрыв глаза, священнодействуя; третьи — с звериным хрипом, яро.

Амелька стоял среди хаты и, наблюдая эту шатию, подобно сатане, злобно похохатывал.

Все досыта нанюхались, даже хозяйка, даже племянницы ее. И вонючий Панька Раздави грохнул пустой пузырек о печку. Стекло сразу превратилось в соль, осыпав храпевшего ваньку-встаньку в медной каске.

В хате стоял невнятный шум, как в сосновом бору при слабом ветре. Свечи догорали. Тусклый, через густую завесу табачного дыма, их свет едва мерцал. Вот тронула струны гитары полногрудая хозяйка. Большие глаза ее на бледном сухом лице пламенели. Сбросив с плеч шаль цветистого шелка, она, вскидывая голову, не громко и по-цыгански гнусаво запела:

Ах, умри на груди,
На груди у меня...
Нет, уйди, нет, уйди:
Не люблю я тебя...

И вместе с подошедшим мужем, страстным шепотом, переходящим в исступленный стон, перебивая друг друга, они быстро, отрывисто бросали:

— Ах, хочешь,
— Любишь,
— Хочешь,
— Любишь,
— Хочешь, хочешь, хочешь, хочешь...

Все постепенно тускнело, никло, уплывало. В темном углу пьяница Иван Кудрявцев, такой же забулдыга, как и Беззубов Степка, нес околесицу, что-то рассказывая самому себе:

— Да, да, да... Это правда. — Глаза у него вытаращенные, остановившиеся, дикие. — «Дай, говорю, мне взаймы: ты богатая». Ну, она, конешно, видит, как я хорошо обут-одет и говорит: «Дакыси мне топор». А я говорю: «А и где топор?» — «Поди принеси с кухни». Я, конешно, пошел, принес топор да как бахну ей по башке. Баба так и повалилась. Я стал очень богатый... Эй! — закричал он вдруг. — Амелька! Панька! Я — богач! Я — мильонщик. Все куплю, всех девок куплю!

Панька Раздави, Степка Беззубов и хозяйский племянник с перебитым носом, схлестнувшись руками за шеи, голосили вразнобой:

Хочу в золоте ходить
По коленки...
И хочу счастливым быть
Вплоть до стенки!

Им казалось, что поют сильно, складно, на самом же деле — омерзительно и гнусно, распространяя гнилыми ртами вонь.

Все глуше плескались — умирали струны, все тише, страстнее шепот:

— Ах, хочешь, хочешь,
— Любишь, любишь...
— Хочешь,
— Любишь,
— Хочешь,
— Нет.
— Ах, што ты, што ты, што ты, што ты...

Стакан за стаканом пьяницы хлопали водку, как водичку, сплевывали, трясли огрузшими башками. Их мутные, блуждающие в безумии глаза ничего не видели, мозг и все чувства утратили грани реальной жизни.

— Кто, кто ты, кто? — с испугом вопрошали они Амельку, глотая вино, как безжизненные заводные куклы. Для них не существовало ни Амельки, ни вина, ни хаты: каждый огражден завесой собственной мечты, каждый жил среди всплывших из бездны декораций, как актер на сцене.

Ванька Кудрявцев, икнув, упал со скамейки рылом в захарканный грязнейший пол и замычал, пуская разбитым носом кровь и сопли. Вот он приподнялся на одно колено и, отмахиваясь руками от окружающих его призраков, в страхе полз по полу, хрипел:

— Ой!! Тятя, мамка! Жуть! Поезд на меня летит... Стены валятся... Валятся, валятся! Собаки ноги гложут... Ай! Ай!

Свечи угасали. Спертый, мерзкий воздух, ища выхода в снежные просторы, толкался, как покинутый слепец, в стены, в окна, в дверь. Но все выходы крепко запаяны судьбой, закрыты. Гитара, загудев, упала.

— Мать моя проститутка была, гулящая была, — по-детски пискливо жаловалась гитаре повалившаяся на пол Катька Бомба. — Ее очень шибко били «коты». Так до смерти и убили. Осталась я одна, сирота. С сестренкой ухряла на вокзал. Сестру тоже взяли «коты». Я кричала, я молила, она меня бросила... А теперь Амелька — мой... Мы с ним — богатые... Я — барыня, я — княгиня. У меня пудель будет собственный, с бантом. Амелька, увинтим?

— Конечно, увинтим.

Бредовая темная дрема охватывала весь вертеп. Сидевший на скамье Панька открыл глаза и вытянул ноги, пятками в пол, как две оглобли. Его глаза мертвенны, холодны, как льдины. Он сжал ладонями облезлые виски и, моргая большими рыжими

бровями, заунывно, как над сгнившей падалью голодный волк, завыл:

Вдруг пуля пролетела
И товарищ мой утих,
Я вырыл ему яму,
Он в яму не ползет.

Гундосый певец посмотрел направо и налево, посмотрел на всех. Все были нарядные, красивые. Кто-то взад-вперед похаживал, какой-то великан. Башка великана упиралась в облака; лицо играло желтым, синим, белым цветом. Паньке стало страшно. Качалась земля, тихо позванивали колокольчики и сизые облака молча, с ужимочкой, рассаживались по скамьям, как пышные барыни в воздушных кисеях. Сумасшедшие собаки бегали, скаля черные, в пене, пасти.

Но вот все сгинуло в красноватом мраке, и только голос безумца Паньки Раздави выл-выскуливал плаксиво:

Я вырыл ему яму,
Он в яму не ползет,
Я двинул ему в ухо,
Он сдачи не дает...

Я плюнул ему в морду,
Он обратно не плюет,
Я глянул ему в очи,
А приятель мой помер.

Вдруг Панька Раздави вскочил, уцапал в лапы грязную скамью и с дьявольской силой ударил в стол с бутылками. Под лязг и треск вопил:

— Шпана! Братцы! Приятель мой помер. Амелька помер!

В полном исступлении он рвал на себе рубаху, яростно топтал бутылочные стекла, хрипел.

— Выпей, — сказал Амелька и влил в покрытую пеной пасть вора большой стакан сразу оглушившего его вина.

Потом, отобрав у шайки ножи, фомки, револьверы, твердо вышел на воздух, запер на замок входную дверь и громко свистнул.

Из густой пелены падающего снега сразу выдвинулись пятеро вооруженных.

XV

УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ

Снег лег плотно. Все просторы побелели. Земля казалась чистой, прибранной, как заново выкрашенное известкой здание. Воздух стал прозрачен, благоухал бодрящей свежестью.

Посвежел воздух и в самой коммуне. Кроме арестованных в чертовой хате бандитов и воров, было уволено из коммуны еще восемь человек. Всех их направили в дом заключения отбывать положенные сроки. Остались лишь те, кто раз и навсегда решили порвать с преступной жизнью. И только с этих пор прочно укрепились среди молодежи относительный покой и настоящая трудовая дисциплина.

Корабль, выбросив навоз и гниль, пошел в дальнее плавание освобожденный.

Амелька не сразу согласился принять повышение в разряде. Хотя собратья стали считать его героем, помогшим, с риском для своей жизни, стереть с лица коммуны смертельную проказу, однако наблюдательный Амелька чувствовал, что кой-кто из товарищей склонны расценивать его поступок как прямое предательство и подлость.

Внешне такой же бодрый, работящий, Амелька сразу сник и приуныл духом. Когда товарищ Краев на общем торжественном собрании благодарил Амельку за его самоотверженность на пользу общего дела, а все собрание до хрипоты кричало в его честь «ура», тогда Амелька действительно осознал себя взаправдашним героем.

Ведь на самом деле: не устрой он такой ловкой штуки, не так-то легко было бы взять вертеп вооруженных бандитов и воров. Неизбежно завязались бы перестрелка, резня в ножи, и, может быть, десяток мертвецов, и тех и этих, лежали бы у порога хаты. Амелька пал бы, конечно, первым. Ну да, герой, и дело его право.

Амелька вставал, кланялся, прижимал руку к сердцу.

— Ур-ра-а, ур-ра-а!.. Ура!

Потом потянулись тягостные, в черных думах, ночи: «Да, надо уяснить, надо оправдать себя», — ворочался Амелька с боку на бок. Так неужели он предатель и подлец, как, может быть, думают иные из товарищей? Нет, нет. Не для своей же он выгоды старался: он спасал других. «Жизнь свою поставил на карту». Но если он не подлец и не предатель, то почему же так тяжело ему? Странно, очень все это странно, а главное — запутанно, раздражающе загадочно и поэтому страшно. В сущности, зачем ему нужно было выдвигать себя в герои? Грабят коммуну, ну и пусть грабят, угрожает коммуне гибель, ну и пусть себе гибнет на здоровье. А вот он не стерпел, ввязался. Кто об этом просил его? Никто: сам, черт возьми, сам! «Значит, я, безоговорочно, герой. А раз я герой, так почему ж я, черт возьми, которую ночь не могу уснуть? Ни блох, ни клопов, ни тараканов, а не сплю. Значит, я последний подлец, предатель».

Так блуждал по тропинкам домыслов его напористый, но тугой на размышленья ум.

Мысли Амельки как бы раздвоились, самочувствие распалось надвое, и сознание двойного преступленья грызло его душу. Да, теперь ему совершенно ясно. Амелька не только не загладил прежнего своего злодейства, напротив — Амелька взвалил на свою совесть новое преступление; он вовсе не герой, он — матереубийца и предатель. Вдвойне злодей.

Парень осунулся, побледнел, стал на работе вялым и рассеянным.

— В чем дело, говори откровенно, — однажды спросил его товарищ Краев. Он подметил в парне что-то неладное и пригласил его к себе.

Амелька молчал, мялся. Глаза его то бегали с предмета на предмет, то упорно глядели в пол. Он сжался, сгорбился.

— Все, что скажешь, будет между нами. Понятно? Так. Может, дурную болезнь схватил?

— Что вы, нет.

Краев прошелся по кабинету, расстегнул френч, что-то замурлыкал себе под нос. Амелька, напрягая

все усилие воли, старался настроить себя на откровенность. Выпрямился, кашлянул, втянул под ребра живот и заговорил:

— Вот в чем дело, товарищ Краев...

Вслушиваясь в свои слова, он удивлялся своей прошлой жизни, которая в пересказе теперь развертывалась перед ним по-новому, не так, как представлялась она в то время его мальчишеским глазам, а в строгой критической оценке во многом созревшего ума его.

Под гнетом печальных, порой трагических воспоминаний Амелька снова сгорбился и с опаской стал поглядывать на Краева.

— Вали, вали...

Когда было сказано все до дна, Краев, легонько насвистывая какой-то мотивчик, поскреб длинным ногтем давно не бритую щетину щек и, не торопясь, стал набивать трубку. Черные брови его то сдвигались к переносице, то расходились.

— Знаешь что? — И Краев поднял утомленные глаза на прямого, вновь окаменевшего, как истукан, Амельку. — Никаких загробных зовов матери, никаких преступлений и наказаний. Достоевского читал, про Раскольникова? Ну, так. Все это ерунда в квадрате. Тем более что мать ты убил случайно, неумышленно. Все в нашем мире просто, все естественно. Понятно? Так. А попросту знаешь что? Ты неврастеник... Да-да! Это уж поверь, хотя я и не доктор. Кокаину много перенюхал?

— Было дело...

— Ну, вот.

Краев сорвался с места, и быстро-быстро стал бегать взад и вперед, размахивая руками и что-то бормоча.

— Да! — вдруг среди комнаты остановился он спиной к Амельке, хлопнул себя по лбу и повернулся на каблуках к нему лицом. — Дело вот в чем. Дело в том, что вряд ли ты поймешь, а мне бы хотелось. Ну, ладно. Как умею... Хотя я и не врач. Понимаешь, есть в Ленинграде такой замечательный, известный всему миру старик, академик Павлов. Ну, так вот... Он над

собаками опыты делает, рефлексы ищет, условные и безусловные... Нет, парень, не понять тебе, нет, не понять.

— Может, и пойму. Я книг много читал.

Краев сдвинул на него брови, бросил: «что?» — и снова зашагал по комнате. Впопыхах он торопливо затягивался трубкой, фукал, совал трубку в карман, опять выхватывал и фукал вновь. После происшедшей передряги он тоже нервничал.

— Да, вот что! Рефлексы — ерунда. Все равно ты не много бы понял... Совсем не так надо... А вот. Слушай, Схимников. Ты знаешь, сколько крови пролито в германскую войну?

— Знаю. У нас в деревне, бывало, пели:

Головами мосты мощены.
Из кровей реки пропущены.

— Ну вот, ну вот!.. Прекрасно сказано... «Головами мосты мощены». А чьими головами? Подумай, брат. Теперь возьми гражданскую войну. Из чьих кровей реки пропущены? Из наших, из пролетарских. И сколько страданий... Нет, ты только подумай, Схимников. Сколько матерей, сколько сестер осиротело. Опять же возьми голод, холод, нищету, повальные болезни. И все эти неописуемые бедствия претерпела наша страна в борьбе за лучшую жизнь. И вот рядом с этими массовыми страданиями поставь свой личный эпизод с матерью. Он тебе покажется жалким, ничтожным. И если в тебе есть хоть капелька искренности и ума, тебе стыдно будет возиться с своим чувствишком, как с писаной торбой. Стыдись, Схимников!

Амелька сидел в угрюмом молчании, с низко опущенной головой, пыхтел.

— Ну, прощай, Схимников. Иди. Будь здоров. Да! Стой! Пойдем-ка с тобой послезавтра за зайчишками по пороше... Для нервов — это благодать... Ружье дам.

— Что ж, с полным нашим удовольствием, товарищ начальник.

Было не так еще поздно. Амелька решил зайти к Марусе Комаровой. Дорогой с внутренней усмешечкой думал: «Чудак этот Краев. А насчет матери... Ему хорошо говорить, раз он никогда не убивал... Попробовал бы... А может, он и верно толкует. Уж и не знаю как...»

Маруся с четырьмя подругами жила в небольшой комнатке. Чистые, опрятные кровати. На столе рукоделья и кой-какие книжки, аккуратно сложенные стопочкой. Белые занавески. Открытки по стенам. Букет ковыля в стеклянной банке.

Пили чай. Красный эмалированный чайник, леденцы, дешевенькое печенье. Подруги переглянулись.

— А не хотится ли вам пройтиться, девочки? — сказала быстроглазая, с ямками на щеках, Прося.

Встали и ушли. Маруся налила Амельке кружку чаю.

— Знаешь что? — сказал Амелька. — Скучно жить, понимаешь, одному. А кобельковщинкой заниматься то с одной, то с другой скверно, не по-пролетарски. Жениться, что ли?

— Зачем задержка? — поджала Маруся губы и пристально посмотрела в глаза Амельке. — А ты, видать, марафеты нюхнул? Глаза горят.

— Что ты, ошалела! — вскричал Амелька. — Я давным-давно бросил. И пить бросил.

После «дела» в хате Маруся не на шутку заинтересовалась Амелькой: «молодец, с ним не пропадешь», — и стала к нему относиться очень благосклонно.

— Есть у меня невеста на примете.

— Кто же?

— Угадай... — Амелька засунул руки в карманы брюк и заулыбался, забросив ногу за ногу. — Ты думаешь, что ты?.. Нет, ошиблась. У меня невеста в станице — крестьяночка.

Маруся тоже улыбнулась, но неестественно, с морщинкой на высоком лбу, и порывисто закурила папиросу.

— Мне совсем даже мало интересно, кто твоя невеста: Фекла ли, Ненила ли, или еще какая-нибудь деревенщина. Плевать! — сказала она, вздохнув.

— Вот женюсь.

— Женись.

— Ну, прощай! — И Амелька с чувством победителя поднялся. — Дай пять! На заседанье будешь?

Она провожать его не вышла. Амелька слышал, как стул опрокинулся в ее комнате и сердито звякнул о поднос чайник. Амелька вернулся, открыл дверь, сказал:

— Слушай-ка, Маруся! Давай мириться. Помнишь, там, у костра? Теперь Катьки Бомбы нет. Да я и не интересовался ею. Сама лезла. А я вот о чем. Может быть, ты... это, как его... Ежели бы нас с тобой, понимаешь...

— Убирайся к дьяволу! — И девушка резким движением сорвала с гвоздя полотенце, чтоб вытирать посуду.

Амелька медленно закрыл дверь, стал спускаться по лестнице.

— Амельян! Схимников! — выбежала за ним Маруся. — Слушай! Ты на заседанье обязательно придешь?

— Приду. Я же сказал.

— Ну, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Амелька вернулся домой в хорошем настроении: Маруся его любит, Маруся будет его женой.

Ночью, когда уже слипались глаза, его вдруг точно осенило. Нет, он не преступник, не предатель. А все его волнения последних дней не что иное, как боязнь мести бандитов: выследят, убьют.

Эти опасения его действительно вскоре подтвердились.

XVI

ЗИМНИЕ ТРОПЫ-ПЕРЕПУТЬЯ

После зеленых солнечных каникул потянулись для детишек трудовые будни. Из окон классных комнат ребята с тоской поглядывали на запорошенный

снегом пустынный двор. Целый месяц они жили воспоминанием о даче. Рисовали деревню, цветистое поле, сенокос. Маленький Жоржик пробовал изобразить нагую Марколавну, но ничего не выходило. Тогда он шел с карандашом и бумагой к ней:

— Нет, вы мне не мама. Вы разденьтесь. Я забыл, как... Я срисую сейчас.

Инженер Вошкин тоже принялся рисовать девочку Иришку, мужичью дочь. Не доверяя впечатлительности глаза, он стал строить рисунок как технический чертеж. Измерил себе аршином длину ног, отложил по масштабу, измерил длину рук, тоже отложил. Пропыхтел так часа два и удивился: получилось черт знает что, — какой-то карась на ножках. В огорчении он приделал Иришке длинные усы, потом смял рисунок в комок, сказав:

— Факт... Не по характеру.

Характер Инженера Вошкина действительно менялся: мальчонка сделался вдумчив, шалости оставил, как-то незаметно вырос духовно и физически. Никто не знал, сколько ему лет: может быть, девять, а может, и одиннадцать. Читает, правда, плохо разумея, журнал «Наука и техника», купил за пятачок брошюрку: «Я сам себе химик». В мастерской, вооружившись циркулем, вычерчивает и клеит для малышей картонные конусы, пирамиды, призмы; со всем тщанием, под руководством Емельяна Кузьмича, иллюминует красками снятые в деревне планы. Ах, планы! Вот хорошие планы получились... Но иногда впадает в странное, малопонятное для взрослых, настроение.

— Иван Петрович, — однажды обратился он к заведующему, — вот я все думаю: лежу — думаю, хожу — думаю. Даже вчера в бане мылся, — и то думал. Мне глаза мыло страсть как щиплет, а я хоть бы хны, даже не заметил, все думаю и думаю фактически.

Иван Петрович слушал его, водил бровями вверх и вниз.

— Ты повторил слово «думаю» двадцать раз.

У тебя мысль заикается. Должен говорить кратко, отчетливо, толково. Вынь из кармана руки!

— Извините, Иван Петрович! Я еще не развитый вполне, не совсем чтобы сознательный. А вот я про что думаю. Знает ли собака, что она собака, что ее собакой зовут? Вот я знаю, что я человек, и вы знаете, что вы человек, и всякий дурак знает. А вот — собака? Ну, допустим, какой-нибудь мопс знает, что он есть собака, а вот, скажем, пудель стриженый, в прическе, он, может быть, и не знает, что он — собака. Он, может быть, думает, что он, ну, скажем, — петух, или кастрюлька, или боров. Как это? Как они друг дружку-то? Вот, например, собака видит другую собаку: как она для себя думает, кто это бежит?

Брови Ивана Петровича застряли на лбу, под волосами.

— Собака должна подумать, что бежит «себе подобное». Не болтай. Ты слово «собака» повторил сорок раз.

— Вот и проврались вы, Иван Петрович: не повторил, а «посорокаразил».

Брови Ивана Петровича упали к переносице:

— Иди спать! Некогда...

Инженер Вошкин карасиком смылся. А заведующий буркнул в пустоту.

— Хм... Замысловатый бестия. Остромысл. Толк будет.

На другой день мальчонка пристал к воспитательнице:

— Растолкуйте, Марколавна, голубушка! Вот когда маленькая птичка улетает от ястреба, она его боится или ненавидит? Или она его потому боится, что ненавидит, или потому ненавидит, что боится? Только вы не подумайте, пожалуйста, что я ненавижу Ивана Петровича. Нет, я его люблю. Он славный.

Вскоре от Фильки и Амельки пришла посылка: коньки работы трудовой коммуны, выпиленная, вся в узорах, рамка для фотографических карточек,

пенал для перьев, коробочка «ландрина». Филька слал три рубля денег, Дизинтёр — в чистом мешочке вкусных сдобных лепешек — пекла Катерина, жена его. Все было упаковано в общий ящик.

Амелька, между прочим, писал: «Рамку и пенал сделал сам из ясеня. — Коньки — наша продукция. Есть ли у тебя сапожишки? Ежели нет, пришли мерку с запасом, чтоб не жали. Я тогда вышлю, — нашей продукции».

Филька описывал свою новую жизнь, что он всем доволен пока, с ним живет и Шарик, только вот жаль, — нету дедушки Нефеда и милого, незабвенного Инженера Вошкина. Ну, да Филька надеется, что с Павликом им еще придется повстречаться. Была писулька и от Дизинтёра. Писал корявыми, нескладными буквами: «Мальчишечка, родненький, ну, как живешь, хороший мой ангел? Лепешки кушай всласть. Вот ужо приеду в город, привезу тебе медку, пчела нынче была медиста, да маслица привезу, да ватрушечек. Прощай, ангельска душа. Ты из мыслей моих не вылазишь. Живи в повиновении. Вникай к хорошему. Начальство слушай».

Инженер Вошкин это письмо поцеловал. Целый день, любуясь, играл вещами. В мешочке тридцать две лепешки: он три съел, девять роздал, остальные передал на хранение Марколавне.

— Боюсь, все сразу сшамаю, опучит и не буду есть казенного.

Все мысли его перебивались теперь давно заглохшими воспоминаниями о Фильке, Амельке, Дизинтёре. Он не знал, как отплатить им за добро добром. Он принялся за ответное письмо, но у него не было таких хороших, теплых слов, как у Дизинтёра, да ему, признаться, и не хотелось писать, — он и так, без слов, их любит. Он лучше пойдет устраивать во дворе каток, по «Науке и технике» определит площадь и сколько потребуется ведер воды на поливку. Да. Таких замечательных коньков, какие, на зависть всем, прислал ему Амелька, он и во сне не видел.

Вообще Инженер Вошкин чувствовал себя счастливцем. Марколавна за последнее время стала к нему чрезмерно ласкова; ласков и Емельян Кузьмич. Наблюдательный мальчонка подметил также, что они и друг к другу начали относиться по-особому, этак как-то, понимаете, «наоборот». Он значение слов: жениться, свадьба, муж, жена — знал смутно; поэтому внешние отношения Марколавны и Емельяна Кузьмича он сам для себя определил: «Наш Амельян маруху себе готовит. Только старовата. Эх, не дело! Дурачье!»

Действительно, Марколавна постепенно на глазах у всех чудесно молодела. Преображался и Емельян Кузьмич. Все юбки Марколавны становились на четверть аршина короче, запущенная же борода Емельяна Кузьмича удлинялась. Марколавна остригла себе, как мальчишка, волосы; они потемнели, стали казаться пышнее и гуще. Наоборот, хотя Емельян Кузьмич и старался выращивать шевелюру, смазывая голову смесью из медвежьего сала, керосина и касторки, однако голова его, к сожалению, лысела.

Наконец Марколавна, как говорится, зарвалась. Она однажды пришла на вечернее заседание раскрашенная под куклу. Щеки ее от излишка пудры матово белы, с легким румянцем, а на широких губах трепетали наведенные густейшей краской изящные крылышки херувима. Она высовывала кончик языка, чтоб по привычке облизнуться, но, тотчас спохватившись, быстро прятала его, зато мундштуки ее окурков покрывались следами краски, будто курила папиросы не женщина, а после зубодробительной драки хулиган.

Ивану Петровичу это не понравилось. Поздоровался, отвел ее в сторонку:

— Знаете что? Пойдите умойтесь. Нельзя же от любви так терять голову. И вообще-то раскраска лица — мерзость даже для глупых девчонок. А мы все привыкли вас уважать...

В общем же ничего плохого не произошло, все вскоре кончилось весьма благополучно.

После обеда в квартиру Краевых вошла Маруся Комарова. Сам Краев еще не возвратился с охоты. Он, Амелька, татарчонок и двое из молодежи, благо праздничный день, с утра направились попугать зайчишек.

Жена Краева, фельдшерица, дружески расцеловалась с девушкой:

— Ну с чем? Голова, что ли, болит? Или зубы?

— Нет, Надежда Ивановна, сердце... — Маруся уткнулась в платок и, сконфузившись, рассмеялась.

Сидели в маленькой амбулатории, где Надежда Ивановна работала за врача, аптекаря и сестру милосердия.

— Надежда Ивановна, мне не с кем посоветоваться... Будьте матерью, — трогательно, с волнующей дрожью в голосе начала Маруся Комарова.

Она уважала Надежду Ивановну, поэтому откровенно рассказала ей про свое сиротство, про свою прошлую жизнь, полную срама и постыдностей. За последние дни у нее была сильная потребность излить свою душу до конца. И вот сейчас, бичуя себя без всякого милосердия, она чувствовала, как все существо ее становится светлей и чище, как сердце освобождается от накопившихся вольных и невольных томящих ее зол. Рассказывая, она горько плакала, нервно вскрикивала, всплескивала в отчаянье руками, в конце же концов замолкла, блаженно успокоилась, как после горячей мыльной бани и освежающего душа.

Пожилая, видавшая виды Надежда Ивановна не препятствовала этой очистительной исповеди. Внимательно выслушав, она дала девушке тридцать капель валерьянки, обласкала ее. Глаза Маруси Комаровой сияли теперь полным умиротворением, как глаза человека, чудесно освободившегося от смертельной болезни.

— Так в чем же, родная Маруся, дело? Влюблена, что ли? — Надежда Ивановна сбросила очки и подслеповато уставилась в лицо девушке.

— Не влюблена... А, понимаете, думаю выйти замуж.

— За кого?

— Емельян Схимников. За него.

Надежда Ивановна дыхнула в очки и стала протирать их кончиком белой косынки. Ответом медлила.

— Он хотя прямо и не говорил мне — напротив, он говорил, что хочет жениться на какой-то деревенской, а я-то вижу, что он мной заинтересован.

— Не знаю. Мне кажется, он очень неустойчив. Он милый, — прямо скажу, редкий парень, но... Не знаю, не знаю.

Надежда Ивановна деловито принялась растирать в фарфоровой ступочке какое-то лекарство. Маруся робко сказала:

— Ну, что ж. Ежели несчастно женимся, можно разойтись.

Надежда Ивановна бросила фарфоровый пестик и в раздражении одернула косынку:

— Разойтись? А потом с другим сойтись? Ежели неудача — опять разойтись, да опять мужика завести нового? Так, что ли? Нет, миленькая. Об этом забудь и думать. Удивляюсь, как это у вас, у молодежи. Да, обидно. Я всю молодежь огулом не хочу хулить. Нет, нет. Было, да прошло. Теперь молодежь стала умней, сознательней и чище. Факт. Но все-таки разные типчики существуют и теперь. Какой-нибудь сопляк, еще у него усишек нет, а уж он переменил трех, четырех жен. Да ведь он, паршивец, к зрелым годам потеряет всякий вкус к жизни, ведь из него выйдет в конце концов последний развратник и пошляк! Ведь он, негодяй, себе спинную сухотку наживет, в двадцать пять лет лысым будет! Он утратит уважение к женщине как к человеку. Это буржуазные замашки, эксплуататорские, это — гнусное преступление против своей жизни, против жизни других, а следовательно, и против государства. Нет, миленькая моя, так пролетарию делать стыдно, стыдно!..

Надежда Ивановна, вся раскрасневшаяся, вновь с ожесточением принялась тереть лекарство, потряхивая полным телом. Марусю Комарову прошиб пот.

— Вот я сама. Мы с мужем партийные и живем вместе пятнадцать лет, да, думаю, так и умрем.

А почему? У нас взаимное уважение, общие интересы, снисходительность друг к другу. Ну, словом, настоящая чистопробная любовь. Не любвишка, не паршивые амурчики, а любовь. Любовь *в свете* ходит, она создает кругом крепчайшую живительную атмосферу взаимной спайки. И в этой атмосфере нет места ни подлости, ни лицемерию. Она есть свет, но мы этого света, привыкнув к нему, не замечаем или слепнем в нем и зачастую коротким своим чувствишком принимаем его за тьму. Вот в чем трагедия. Но я не хочу забивать тебе голову так называемыми проблемами любви. Проблем много, а любовь одна. Впрочем, я когда-нибудь соберу вас, всех женщин, и поговорю на эту тему.

— Пожалуйста, Надежда Ивановна. У нас еще две девушки собираются замуж выходить. Одна за крестьянина из станицы.

— Ну, что ж. Отлично. А тебе вот что... Ты к Емельяну присмотрись, чем он дышит. И что у него в сердце: любовь или просто слюнявая страстишка.

— Нет, он против кобельковщинки. У него крепко.

— Как? Как? Кобельковщинки? Очень хорошее словцо, меткое. Этот ярлык сразу снизит человека до собаки. Да. Значит, решай не с маху. И ты ему скажи, чем дышишь. Что все, как на ладошке, в прятки играть нечего. Да вы, впрочем, сразу же почувствуете, создается ли вокруг вас свет, токи такие, вроде электрических, от сердца к сердцу. Впрочем, в кобельковщинке тоже бывают токи. Не смешай. Ты — пролетарка, вышла из народа, у тебя ум должен быть трезвый, честный. А будет запинка — опять ко мне. Не торопись.

Охотники вышли в поле рано. Юшка тащил на себе провизию. Он потешно болтал, перевирая русские слова:

— Зайца по-татарску называйса куян, ружье — мултык. Карашо — якши, кудой — яман. Жрать називайса ашать.

Погода была тихая, тусклая. Вдали, налево, рыжел кустарник, переходивший в лес. Охотники направились туда. Встретился по дороге Дизинтёр. Лошаденка везла из соснового бора четыре закомелистых лесины.

— Что, зайчишек? — поклонился он. — Ой, Амелька! Здорово, дружок!

— Кончаешь стройку-то?

— Кончаю. Пуп надорвал! С Катерининым папанькой неприятности у меня. Злобный, черт, стал — как барсук. Не хотится из кулачков-то вылезать...

Пошли дальше. Дизинтёр остановил лошадь, крикнул:

— Амелька! — и подбежал вразвалку к охотникам. Нагольный полушубок у него рваный, лапти трепаные. На крепком лице белая бородка и летний, прочно державшийся загар. — Вот что, ребята, упреждаю. И тебя, товарищ Краев. В народе болтают, шижгаль какая-то шляется по окрестным деревням. Я так мекаю — опять городское ворье шалит. Слух прошел: недавно мужика вон в том лесу пьяного убили... Поопаситесь, ребята. Как бы не тово. Дома караул держите покрепче. Ну, вот.

— А у тебя-то оружие есть? Из лесу едешь.

— У меня? А вот, — вскинул Дизинтёр оба кулака и во всю грудь засмеялся.

Пороша была безветренная, плотная, заячьи следы многочисленны и четки. Часа за три взяли двенадцать зайцев. Татарчонок торжествовал. Обедать расположились на опушке леса: отсюда до коммуны больше десяти верст. В ногах чувствовалась усталость, но взбодренная кислородом кровь освежала тело. Хмурый, бессолнечный день быстро угасал, дали постепенно заволакивались туманной хмарью, стал легковейный порошить снежок.

С разговорами пошагали, не торопясь, в обратный путь. Дорога лежала лесом.

Амелька задумался над предостерегающими словами Дизинтёра: «Поопаситесь, ребята: громилы

городские шалят здесь», — в его сердце вновь появилась тень тоскливого замешательства и какое-то предчувствие беды. Шел и озирался, наготове держал ружье.

Снег падал щедро, крупными хлопьями. Путники были белы. Татарчонок играл в снежки. Парк. Полаиванье собаки. В зданиях коммуны взмигивали огоньки.

В ту же ночь в лесу и ближайших деревнях милицией была организована облава, не давшая никаких результатов.

Коммуна получила новые заказы. Их поступало много. От некоторых, после обсуждения в цеховых комиссиях, пришлось, за невыгодностью, отказаться. Отказались также и от заказов сложных, требующих высокого навыка рабочих. Мастера на заседании сказали: «Эти вещи, дай бог, через год научиться выполнять. А то возьмешь, в такую лужу сядешь, что и в ноздри вода пойдет».

С расширением производства увеличился и заработок коммунаров. Некоторые получали на руки до пяти — десяти рублей в месяц чистых, за вычетом стоимости содержания, которое тоже было значительно улучшено и обходилось по двадцати девяти рублей на круг.

Обороты кооператива также укрупнялись. Лавку перевели в бывшую чертову хату. Перед лавкой ежедневно большая очередь крестьян. Закупать товар ездили в город два доверенных из коммунаров, имея в карманах по нескольку тысяч денег. Один — бывший налетчик, другой — с шестью судимостями вор.

Раза два за покупками ездил в город и Амелька. Чужие, общественные деньги для него — святыня, как и всякая, не принадлежащая ему вещь. От бывших инстинктов хулигана и преступника в нем не осталось и следа.

Амелька не мало удивлялся своему преображению, он теперь высоко держал голову, стал лицом

вдумчив и приятен, обхожденьем — уважителен, но временами заносчив. А на работу — лют.

Дядю Тимофея, торгаша, преуспеяние кооператива бесило. Однажды он явился на собрание кооперативного кружка и, поутюжив седую бороду, заговорил слезливым, покорным голосом:

— Вот что, граждане товарищи. Мы свое мнение о вас изменили. Вы очень даже сполитичные, хорошие люди и торговлю ведете складно. Милости просим, когда чайку ко мне, с медком. А главный постанов вот в чем: примите меня, ребята, в пайщики. Я и денег дам, и работать будем за милую душу воедино. Я — человек, ребята, хороший, справедливый. Попов не люблю, в церковь не хожу.

Молодежь в ответ злобно засмеялась.

— Как хотите, как хотите. Я не неволю, — покорно сказал торгаш, потом грохнул шапку об ладонь, крикнул: — Эх вы, подлецы, подлецы! Разорители! — плюнул и ушел.

А на другой день он лавку закрыл, гнилую картошку с капустой, червивые селедки и трехгодичные баранки с остервенением расшвырял по улице, ящики, банки растоптал, вывеску сжег и сам вдребезги напился. Он бегал в одной рубахе через вьюгу по улице, до хрипоты орал:

— Отцы, деды, матери! Держите девок за косы, не пускайте в коммунию. Там одно жулье!.. Валенки у меня с живой ноги подменили на опорки. Кара-у-у-л!

Он бесился до тех пор, пока Григорий Дизинтёр не изловил его и не надавал по шее. Связанный, дядя Тимофей безутешно плакал:

— Гришенька, Гриша!.. Царство мое кончается.

Ребята не уставали работать и в кружках. Учеба шла строго заведенным порядком. Выделилась группа в тридцать человек, стремившихся к серьезному самообразованию. Амелька, конечно, был в их числе. Краев с женой, механик и предложивший свои услуги учитель из станичной школы стали заниматься с молодежью вплотную. Ребятам сообщались элементарные сведения из области истории, геогра-

фии и естественных наук. В конце лекций всегда «вопросы» и «ответы». Ребята в записочках спрашивали: «Почему планеты носятся в пространстве и никуда не падают?», «Имеет ли вес огонь?», «Какая разница между совестью и нравственностью?», «Где конец мира, а если нет конца, то почему?», «Откуда вызнано, что человек от обезьяны? Дарвин в старых книжках вычитал или дошел своим умом?», «Ежели Дарвин не заврался, то может ли человек через много тысяч лет превратиться в ангела?», «Какой максимум женитьбы согласно биологии?»

В спальнях после докладов и лекций велись горячие споры, иной раз чуть не до утра. Жажда к знанию заметно возрастала. Редколлегия тоже работала исправно: выпускался девятый номер стенной газеты «Сдвиги».

Однажды, когда Амелька дежурил в столярной мастерской и, по заведенному правилу, должен был ночевать там, часов в восемь вечера к нему пришла с письмом тихая Парасковья Воробьева:

— Нет ли, родимый, у тебя конвертика? Вот коекак нацарапала домой матке да сестре. А конверта-то и нету.

— Посиди, я сейчас. — И Амелька сбегал за конвертом и чернилами.

На верстаке, возле печки, сладко похрапывал татарчонок Юшка. Он очень привязался к Амельке и редко расставался с ним.

— Ну, как живешь? — вернувшись, спросил Амелька и уселся на верстак.

— Да ничего, родимый. Привыкаю. — Парасковья тоже села на лежавший штабель сухих заготовок из теса и оправила шаль на голове. — В мастерской-то ничего, а вот дома думается. Думается и думается! Я как-то внутрях вся покачнулась.

— Надо выпрямляться. — И Амелька слегка постучал киянкой по верстаку.

— Так полагаю, — распевно проговорила Парасковья, — что я уж не человек теперь.

— А кто же?

— Кто? — Женщина уставилась опечаленным взглядом куда-то вдаль и сгорбилась. — Злодейка. Вот кто я.

— Пора бы это позабыть.

— Головой забуду, крови не дозволяют. В кровях это.

— Эх, ты, — с бодрым смешком протянул Амелька, — сказал бы я тебе про условный собачий рефлекс, да тебе сроду не понять. Ну, куда письмо-то?

— Письмо-то? Известно куда, в деревню. Да боюсь — не примут там, назад вертанут. Ну, пиши, желанный: «Почтовое отделение Хомяки».

— Хомяки, говоришь? Это какие Хомяки? — во все глаза воззрился на нее Амелька.

— Дальского уезда, Нашинской волости, пиши: «Деревня Глобочкина...»

Амелька вдруг бросил перо:

— Слушай, Парасковья! Так ты же землячка мне...

— О?! Неужто?

— Да я ж в четырех верстах от вас! — Я — из Лукерьина. И фамилия моя по отцу Егоров.

— О-о? Его-о-ров? А матерь-то твоя не Настасья ли?

— Настасья Куприяновна... — Амелька быстро отошел к печке, взял щетку и стал, пофыркивая носом, заметать в угол стружки.

Парасковья сразу поняла волнение парня, и ей теперь стыдно пошевелиться, стыдно взглянуть в тот темный угол, где с таким ожесточением и торопливостью шебаршит-постукивает щетка. В горле Парасковьи засвербило; она стала вздыхать и сморкаться в черный, с белой каемкой, траурный платок. Теперь судьба этого доброго, обходительного парня во всей ясности стояла перед ее глазами.

— Знавала твою матерь, кормилец, знавала... и про тебя слыхивала. — И вот лопнуло что-то в сердце. Парасковья неожиданно схватилась за голову и жалобно, как над мертвецом, заныла: — Ой ты, желанный мой, ой ты, ягодка боровая... Великое ты горюшко в кровях своих носишь... Ой!

— Ладно. Будет, — по-деревянному сказал из угла Амелька. — Бери, Парасковья, письмо. Адрес готов. И — ступай, Парасковья. После когда-нибудь... после... поговорим. Прощай, Парасковья.

Она поклонилась и ушла.

Наутро татарчонок смахал на станцию, принес пачку газет, писем, одно — Амельке от Инженера Вошкина:

«Многоуважаемые товарищи Амельян, Филипп и ты, Дизинтёр, как ваше имя? — писал Инженер Вошкин четким, исправившимся почерком. — Теперь в моей жизни большое превращение, как в химии. Теперь у меня завелись мамаша и папаша. Они называемые педагоги: Марья Николаевна и Емельян Кузьмич, которые недавно поженились при свидетелях. Я живу в двух комнатах и третья кухня. То есть я-то живу в одной комнате. Провожу родителям радио с двумя лампочками. Моя мама стала опять седеть и будет все больше и больше седеть, она очень образованная. Теперь идет у нас немецкий. А я персонально вырос. Меня поставили к печке спиной и провели черту. Я ростом без шести вершков два аршина минимум босиком и без шапки. Науки проходим очень даже трудные, а вы как? Например, вращение земли, чего я не предвидел. У земли есть тоже ось, как и в зрительной трубе, концы торчат на полюсах, можно увидеть только на глобусе и то медные, а в натуре никто не знает — какие: далеко туда ехать на собаках. У нас тоже маленькая собачка есть, Беби, и кошка. Я кошку не мучаю, а наоборот. Я теперь не шалю, даже родителей останавливаю, когда шибко разбалуются. Немецкий очень легкий: вместо «да» надо говорить «я». Например, мама спрашивает меня разные немецкие фразы, а я мотаю головой и говорю: «я, я, я». Она ставит удовлетворительно. Через года два меня примут на рабфак, а теперь учусь в детском доме, и квартира наша там же, удобно, как в санях. Очки не ношу, глупость была под баржей. Пробовал курить, только меня затошнило; не по характеру. Приезжайте все ко мне в

гости, в особенности дядя Дизинтёр пусть приезжает. Мед я очень люблю. Благодарю вас за коньки и за все подарки. Они впору. Сапоги тоже есть с одной заплаткой. Я пишу деревенский рассказ про наше лето. Очень занятный. Мама хохочет, папа ухмыляется, говорит: ежели башки не хватит на инженера, будешь сочинителем. А вы как посоветуете? По-моему для сочинителя ума не надо, а лишь бы на воду тень наводить умел».

Вскоре на новую квартиру Инженера Вошкина приехал на своей сытой лошаденке Дизинтёр с Катериной. Он подарил мальчонке банку меду, а Марье Николаевне с Емельяном Кузьмичом полбарана.

— Вот это я самолично, а это — моя супружница. Сейчас из церкви мы, из собора. Повенчал батюшка по-православному. От ейных родителей тайком сделали, потому — они беспоповцы. Ну, Катерина, спасибо ей, тоже на мою сторону сдалась.

Приняли их хорошо, напоили чаем. Инженер Вошкин сначала важничал, ходил индюком, а когда Дизинтёр схватил его в охапку, поднял к потолку и стал целовать, мальчонку прорвало: весь вспыхнул какой-то необъяснимой глубокой радостью, похожей на радость Шарика при встрече с Филькой; он задыхался от бури жестов и душевных слов, которыми старался заласкать Дизинтёра: он показал ему все свое имущество, работы, книги, а когда приступили к чаепитию, держал мужика за шею, целовал в щеки, в потный лоб, говорил:

— Ну, ты, брат, Дизинтёрушка, хорош, а жена твоя персонально краше. Ну, красивая, ах, красивая! Она, как артистка в немецком фильме, нет — в два раза лучше: она румяная и аленькие губки.

Все смеялись. Смеялась и красивая Катерина, обнажая жемчужный ряд зубов.

— Ах, по-душевному сделали, ах, по-душевному, что Павлика усыновили, — растроганно говорил Дизинтёр хозяевам. — Большое счастье вам за него пошлется. Вот помяните меня. Кто много другому дал, тот в десять крат получит.

Все было переговорено: про Фильку, про Амельку, про Шарика. И еще сказал Дизинтёр, что он отделился от отца, живут вдвоем с Катериной, а вот сейчас заедет за Наташей и повезет ее к себе домой на праздник. Наташа к отцу не поедет, отреклась от него, будет жить у них.

Когда прощались, Инженер Вошкин незаметно сунул в карман Катерине пряник, завернутый в бумажку с ленточкой. Дома Катерина, развернув пряник, нашла записку: «Ешь, не зевай, люби, не забывай. Горячо влюбленный Павлик».

XVII

КУЗНЕЦЫ КУЮТ СВОЕ СЧАСТЬЕ

Койки Амельки и Миши Воли стояли рядом. Невысокий, кряжистый, с широкой и крепкой, как наковальня, грудью, Воля сначала бродяжил по Ташкентам, Крымам; когда же физическая сила, владея им, стала одолевать его, он перешел в грузчики. Пьяный, подрался с другим грузчиком, татарином, ловким ударом в висок убил его, был схвачен двумя милиционерами: в сопротивлении одному своротил скулу, другому выставил из плеча руку, за это был приговорен к трем годам лишения свободы. Высидки ему оставалось теперь полтора года.

Скромный, непьющий, услужливый, он в коммуне на хорошем счету; Амелька водил с ним дружбу.

Однажды, когда все соседние койки погрузились в пыхтящий сон, Амелька шепнул соседу:

— Миша... Понимаешь, после этой чертовой хаты меня страх берет. Боюсь, понимаешь, один ходить. Хотя мне выдали револьвер, а боюсь. Понимаешь, уркаганы появились в окрестностях. Как бы не «пришили», у них недолго.

— Понимаю, — глухой октавой ответил Миша Воля. — Бери меня с собой ежели. Хоша пистолета у меня нет, зато свинчатка есть, гирька.

— Спасибо. Будь мне братишкой.

— Идет! — И силач по-железному стиснул Амельке протянутую кисть руки — едва не брызнула кровь из-под ногтей. Амелька вскрикнул.

С тех пор Амельку почти всегда сопровождал новый его «побратим». Амелька ожил: ему часто случалось ходить на лесопилку, версты за четыре, для заготовки материалов.

Миша Воля работал в кузнечном цехе. Мастер Афонский очень доволен его работой. В кузницу иногда заглядывал и Григорий Дизинтёр. Как-то он пришел заказать скобы для стропильных ног; вместе с ним привела перековать рыженькую кобыленку развеселая вдова Феклуша. Афонский суетливо нахлобучил на свою лысую голову картуз, раскудрявил височки, причесал бороду и, сверкая белками глаз на черном от копоти лице, весело заулыбался вдовушке:

— А-а, Фекла Ильинишна? Мое почтенье, одно совсем.

Миша Воля тоже без ума от Феклы. Он — бритый, причесывать и закручивать ему нечего; он решил щегольнуть силой. Схватил Феклушину лошадь за передние ноги, поставил на дыбы; кобыленка заходила на задних ногах, как пудель в цирке.

Все засмеялись. Феклуша, прямая и высокая, милостиво улыбнулась, зато Афонский нахмурился и бросил клещи.

Кузница помещалась в бывших каменных конюшнях. В ней четыре постоянных горна с горновыми гнездами, фурмой, два переносных горна и шесть наковален. Здесь работали семнадцать парней: иногда качал мехи татарчонок Юшка.

Стояли железный бряк и грохот, булькающее шипенье от погружаемых в воду накалившихся клещей; говорить трудно: Афонский брал криком.

— Эй, Зайцев, — орал он, — подвинь железину ближе к соплу. Засыпь углем, сбрызни!

Кричал другому:

— Петька, выхватывай! Пережег, черт! Искры

сыпят. Юшка, шабашь мехи качать! Ты что, одно совсем, ртом мух ловишь!

— Мух помрил, — зима, — огрызнулся татарчонок.

Но вот и мастеру закричал от своего горна Миша Воля:

— Афонский, сварка!

Мастер бросился к горну: там пылали в гнезде раскаленные добела концы двух толстых железных стержней.

— Окалина! — прозвенел он тенорком. — Подсыпь!

Миша Воля, придерживая и поворачивая клещами тяжелые стержни, стал сыпать на раскаленные концы металла белый порошок — смесь нашатыря с бурою. Твердая пленка окалины на сверкающих концах превращалась в жидкий шлак.

— Давай! — скомандовал Афонский и быстро надел защитные очки.

Курносый Корнев и сутулый Цветков — сподручные — выхватили из тлеющего угля обе железины и пылавшие концы их положили на наковальне один на другой «внакладку». Миша Воля и Петр Сурнин, молотобойцы, замахнулись полупудовыми кувалдами и ждали сигнала. Афонский взял молоток-ручник. Вот мастер ударил молотком по концам железа — «чик!». «Бух!» — грохнула кувалда Миши Воли. Брызнул ослепительный фонтан искр, раскаленное железо сплющилось. И пошло искрометное, ритмичное, как пляс: «чик-бух, чик-бух, чик-бух!».

— Пожалуйста, лошадку-то, — напомнила о себе вдова.

— Сейчас, сейчас! — И спец по лошадиной части Миша Воля, освежившись наскоро водой, вышел на воздух, где хмуро стояла кобыленка.

Силач, пощекотав для порядка кокетливо завизжавшую вдову, при помощи обсечки с молотком снял старые подковы и тщательно исследовал, не осталось ли в копыте гвоздей. Затем, приподняв ногу лошади, взял в левую руку копыто, опустился на правое

колено, оперся локтем в левое и расчистным ножом стал осторожно срезать под плоскость роговую подошвенную часть копыта.

— Велики подковы. Кто ковал?

— Наш кузнец, станичник.

Миша Воля унес подковы в кузницу, раскалил их, осадил, выверил, плотно прикладывая к зашипевшему от жара копыту, сравнял подошву рашпилем и, когда подковы охладились, стал подковывать.

— Подковы — все одно что туфельки на твои ножки, — подмигивал он вдове. — Хочешь, куплю тебе золотые туфельки, как кузнец Вакула Оксане, — книжицу такую читал я. Только посерьезней поцелуй.

— Да ты очень здоровый, ты задушишь, — утерла Феклуша свой вздернутый носик и захохотала. — А вот подешевле возьми за ковку. — И Феклуша взялась за кошелек.

— Ладно, ажно, уплачу за тебя, — сказал силач и шлепнул счастливую Феклушу по крутой спине. — Сочтемся.

Вдовица весело вскарабкалась на застоявшуюся лошадь и, присвистнув, ускакала.

Миша Воля как-то шепнул Амельке:

— Слышь, брательник, у Машки Комаровой Андрюха Тетерин чаи гоняет.

— А мне наплевать! Машек на свете много, — с притворным хладнокровием сказал Амелька, однако губы его скривились и заюлившие глаза сверкнули по-ревнивому.

Действительно, Андрей с Марусей пили вдвоем чай. Горела лампочка под потолком. На подушках чистые, с прошивками, накидки. Мороз залепил стекла шершавым инеем, как ватой.

Девушка недоумевала, зачем повадился ходить к ней этот увалень-парень. Она слышала стороной, что у парня были с Амелькой крупные разговоры. Будто бы Амелька сказал ему, что женится на Марусе, а тот ответил: «Еще неизвестно, чья возьмет».

Ну что ж, пусть дерутся из-за нее парни, Маруся себе цену знает; вот она распалит в Андрюхе страсть, а потом посмотрит, чьей стать женой: его или Амельки.

Маруся рассеянно тренькала на мандолине, с холодком взглядывала на парня, ждала от него если не теплых слов, то хоть какого-нибудь звука, жеста. «Черт, хоть бы кулаком ударил в стол...» Но «черт» молчал. После размолвки — это третий его визит, окаменелый, неприятный.

Маруся, кусая губы, злилась. Да что он, издевается над нею, что ли? Или чары Марусины на нет сошли? «Нет, врешь, молодчик, врешь... Я ж тебя заставлю рот открыть, я тебе покажу, чем бабы сильны».

И вот подпускается женская, отравленная затаенной мыслью, шпилька:

— Я слыхала, Андрюша, что ты жениться собираешься. — Маруся прищурила свои черные глаза и перестала тренькать.

Парень вздохнул, удрученно отвернулся и, покачивая ногой, забарабанил толстыми грязными ногтями о стол. Он силился что-то сказать, но слова застревали в горле.

— Не отпирайся... Есть такой слушок. — И вдруг, потеряв себя, Маруся подбежала к нему и обняла его за шею.

Парень, раздувая ноздри, сильно запыхтел, на висках вспухли жилы. Он закрыл глаза и задрожал.

— Ну! Хочешь, поцелую?

— Можно...

— А вот не буду, не буду! — словно пьяная прокричала Маруся и, как змея на хвосте, выпрямилась враз. — Где это видано, дурак паршивый, чтоб женщина первая с поцелуем лезла? Зазнайка, черт!

— Ну, так и не лезь.

Лицо девушки дрогнуло и вновь застыло, глаза округлились, как у кошки, она с размаху ударила парня по щеке, заплакала и упала на кровать. Парень всхрапнул, схватился за щеку и, заикаясь, проговорил:

— Пожалуй... Я женился бы... на тебе... Только у тебя канитель с Амелькой... Не пойдешь.

Маруся капризно, как ребенок, заплакала громче и зарылась головой под подушку. Парень опрокинул стул и, не замечая этого, неуклюже шагнул к кровати, опустился на колени.

— Маруся! Ты не обижайся, что я, дурак, в тот раз понахальничал. Помнишь? Ты тогда выгнала меня, в шею надавала. Извини уж... Я — парень простой. Я — тихий. А на Амельку плюнь. Какой он, к черту, муж...

Кто-то вошел, запорошенный снегом. Андрей поспешно сел на место. Маруся высвободила голову, взглянула на вошедшего, вскочила.

— Кажется, не вовремя? — стоял возле двери похолодевший от внутреннего ледяного огня Амелька.

— Нет, отчего же? Садись... У меня очень голова болела...

— А Тетерин вроде лекаря? Микстуру давал или порошки? — сдерживая дрожь голоса, глухо сказал Амелька.

— Тебе нет дела, кто я, — нахмурясь, пробурчал Андрей и стал глотать остывший чай.

Маруся, овладев собой, проговорила:

— Схимников, садись!

— Схимников, стой! — И Андрей резко, вызывающе стукнул стаканом в блюдце.

— А вот сяду, вот не спрошу тебя. — Амелька быстро подошел, почти подбежал к столу и, весь ожесточенный, сел.

Все трое молчаливо, но грозно, как перед взрывом, дышали. Комната съежилась, насторожилась; окна в занавесках шире выпучили снеговые бельма глаз. Взвыл ветер в трубе; дверь кто-то распахнул и захлопнул снова.

— Скандалов чтобы не было, я этого не люблю, — пригрозила Маруся сквозь зубы, не двигаясь, голос ее весь в испуге.

Андрей взмотнул широколобой головой, стукнул кулаком в стол; посуда подпрыгнула. Амелька закусил губы и тоже ударил в стол. Опрокинулись два

стакана. Маруся с криком подбежала к двери звать на помощь. Амелька, поймав, бросил ее на пол, Андрей Тетерин вскочил, закричал:

— Не смей!.. Убивец!.. — и со всей силы швырнул в Амельку стул.

— Кого я убивал? — увернувшись от удара, с болью вскричал Амелька, и лицо его искривилось.

— Мать убил? Убивец! Вор! — Словно раскаленные гвозди, вонзились в мозг Амельки эти жестокие слова. Он схватился за сердце, пошатнулся.

И все враз закачалось внутри и вне, кругом. Ослепший Амелька выхватил револьвер и выстрелил. Комната вдруг рухнула, и все пропало. Степь, тьма, злобный визг ветра и чей-то горький плач. И через плывущую волнами тьму нагло лезут на Амельку два пламенных огромных глаза: «Убивец, вор».

— В чем дело? — гремит трубой спасительный голос, и сильные руки кладут Амельку на кровать.

Вот снова просочился свет, тьма отхлынула, комната воздвигла свои стены, только — страшный в сердце стыд, безумный стыд и боль. Милые девичьи лица, тихие жесты, голоса. Андрея нет, исчез, растаял. Возле лежащего Амельки сидит горой Миша Воля, побратим.

Утихший, поруганный Амелька вдруг вскинул к лицу ладони и, весь дрожа и едва сдерживая рыдающие хрипы, выкрикнул надрывно и болезненно:

— Миша, Миша!.. Что же это такое? Оскорбляют!

XVIII

ГОРЧИЧНИКИ ВЫТЯГИВАЮТ ЖАР

Все это, конечно, осталось шито-крыто. Подобные скандальчики случались в коммуне не так уж редко. Молодежи более чем кому другому понятны такие срывы человеческих страстей, молодежь отлично умела хранить тайны любовных увлечений. Да и Миша Воля всем строго наказал: молчок. Андрей же Тетерин со всей присущей ему скромностью при-

знался: «Ежели кто виноват во всем, то это я». Маруся Комарова теперь ясно видела, что ее любят два человека, и, гордясь этим, выжидала удобного момента для решительного выбора.

Вскоре тлетворные туманы сгинули, все пути стали отчетливы и ясны, — и сердце девушки вот-вот прилепится к другому сердцу. Но этому еще должны предшествовать нежданные события. Они слагались так.

Однажды татарчонок принес из станицы весть, что Григорий Дизинтёр свалился, болен.

Поздно вечером Амелька и Миша Воля пошли навестить болящего. Над молочно-голубым простором горел серп месяца. Две шагающие длинные тени гасили алмазный поток снежных блесток. Станица надвигалась на путников в картинном голубом сиянии. Похрустывал под ногами крепкий, как репа снег.

Новая хата Дизинтёра не мала, не велика. Шарик повилял хвостом, не лаял. Их встретил перебравшийся сюда на жительство Филька. Катерина, засучив рукава, месила квашню. Дизинтёр, скорчившись, лежал под шубой. Он приободрился, радостно кивнул вошедшим и присел.

— Ложись, ложись! Мы — холодные.

Дизинтёр послушно лег. В переднем углу горела перед образом лампадка. Керосинная лампа была у Катерины, за переборкой, а здесь колыхался золотистый, пахнувший деревянным маслом, полумрак.

— Вот, ребята, занемог, — плачевно пожаловался Дизинтёр болезненным голосом и, передохнув, через силу, бодро сказал: — Плевать, отлежусь. А нет — так... — он махнул рукой и воззрился на огонек лампады.

— С чего ты это? — сочувственно спросил Амелька.

— Да понимаешь, в лесу взопрел да часок другой в одной рубахе работал. А дюжий мороз был.

— Бить тебя, дурачка моего, надо, да некому, — подала свой ласковый голос Катерина, вышла, приятная и крепкая, поклонилась гостям. — Здравствуйте-ка.

— Кипяти чай, — сказал Дизинтёр. — Из котла попьем: самовара у нас нет, — батька не дал. Три самовара у него. А вот — жаль.

Гости отказались. Они торопятся домой, спасибо.

— Плохо тебе? — спросил болящего Амелька.

— В грудях колет, настоящего вздыху нет: огневица жжет. Малины сухой пил. В баню надо бы.

— Вот ужо я Надежду Ивановну нашу попрошу. Она по этой части собаку съела.

— Ни к чему это. Ежели положено пожить на этом свете, встану. А ежели указан конец, так тут ни один кудесник не поможет — не то что баба.

— Это ты напрасно. В тебе жар. Хины надо. Бредишь, нет?

— Бредит, бредит, — откликнулась вновь ушедшая за переборку Катерина.

— Страшное другой раз вижу, — и Дизинтёр перекрестился. — А что вижу, не смыслю рассказать. Во сне, помню, кричу, бегу, спасаюсь, а проснусь — как корова слизнула языком, забыл. А вчерась, — Дизинтёр приподнялся на локте и тихо зашептал: — вчерась смерть приходила: стоит в ногах и смотрит мне в глаза...

Амелька широко улыбнулся и покрутил головой.

— Да ты, Амеля батюшка, не смейся. Верно. Я испугался, говорю ей: «Мне, старушка, еще желательно пожить, во мне еще весу мало, добрых дел за моей душой не боле фунтов двух... Повремени». Она ничего не сказала, ушла.

Катерина перестала возиться за переборкой, прислушивалась к шепоту, но болящий замолчал. Катерина вздохнула.

— Ну, Гриша, поправляйся, — сказали оба гостя. — Мы пойдем: пора.

Дизинтёр выставил из-под шубы руку, поманил Амельку. Тот подошел, нагнулся. Болящий зашептал на ухо:

— Ежели меня зароют, Катерину за себя бери... Слышь?.. Бери. Баба — клад.

— Да что ты, ошалел... Чудак какой... — возмутился Амелька, отпрянул от охваченного жаром Григория.

Катерина услыхала сердцем смысл их разговора, всхлипнула и, вся в слезах, подошла к болящему:

— Постыдись, Гришенька, господь с тобой. Пошто ты каркаешь, злую долю накликаешь? Грех.

— Я ничего, — виновато и тихо сказал Григорий и натянул старую, в прорехах, шубу на себя. — Я только к слову... Так.

Когда возвращались домой, месяц забрался высоко, огни в станице погасли. Но вот навстречу, вдоль улицы, гурьба деревенских хулиганов. Пошатываясь, они месили пьяными ногами снег, нескладно пели под гармонь похабные частушки.

Амелька заметил, что среди гуляк шагает, чуть прихрамывая, посторонний верзила.

— Свернем в переулок, — оробев, сказал Амелька.

— Зачем? — ответил Миша Воля. — Всех на березу зашвырну, пусть только привяжутся.

Один из хулиганов крикнул:

— Ребята! Глянь, шпана идет, рестанты. Ванька, наяривай!..

И под гармошку всем стадом заорали:

Шире, улица, раздайся:
Шайка умников идет;
Кто на умников нарвется,
Тот кинжала не минет!..

А гармошка подкурныкивала:

Дыгор-дыгор-дыгорцы, дыгорцы-мадыгорцы,

По станице мы идем,
Средь станицы зухаем,
Кто навстречу попадет,
Гирюшкой отбухаем!

Парни, человек двенадцать, вместе с верзилой и еще каким-то нездешним карапузиком в кепке, в синем шарфе, обняв друг друга за шеи, перли на путников широкой шеренгой и, по-видимому, не желали уступать дороги.

— А ну, друзья, пропусти, — помахал рукой Миша Воля, и кровь в нем забурлила. Амельку сразу прошиб озноб.

— Пожалуйста, — неожиданно разорвалась шеренга. — Проходите.

Подвинувшись через смрадное облако ненавистного пыхтенья, коммунары пошли дальше, оглядываясь и надбавляя шагу. Вдогонку — хохот, град лошадиного мерзлого помета, и снова — запьянцовская частушка:

Тятька вострый ножик точит,
Мамка гирю подает,
Сестра пули заряжает:
На беседу брат идет!..

И резко, как свист стрелы, прямо в сгорбленную спину Амельки:

— Эй, легаш!.. Попомни хату...

— Слышишь? — прошептал приятелю Амелька и втянул голову в плечи.

Наутро прибыла Надежда Ивановна, смерила температуру — 38,2, выслушала в трубочку, дала лекарство. Григорий сказал:

— Сегодня полегчало с утра. Взопрел ночью страсть как. Огневица быдто сдавать стала.

— Да, сегодня, очевидно, перелом. Дня через три поправишься. Только помни: выходить нельзя целую неделю. А то плохо будет. В легких мокрые хрипы у тебя. Куришь, нет?

Она обложила его горчичниками — восемь штук. Через пять минут Григорий стал кричать, как маленький:

— Жгут, проклятые!.. Ой, ой...

— Что ты? Такой сильный дядя. Вот оказия, — удивлялась Надежда Ивановна.

— Ой, как огнем палит... Как в аду кромешном... Карау-у-л! — Он сучил ногами, хныкал; Надежда Ивановна смеялась; Катерина сквозь слезы пробовала из уваженья к фельдшерице тоже улыбнуться.

Но все обошлось, как не надо лучше: горчичники высохли; на белом, как мрамор, теле Дизинтёра краснели восемь прямоугольных, как пряники, пятен. Григорий облегченно охал, утирал градом катившиеся слезы, ловил руку Надежды Ивановны, чтоб благодарно поцеловать.

— Что ты, милый, что ты!.. Ах ты, ребеночек большой.

— Я боюсь, — сморкаясь, говорил Григорий. — Страданий боюсь, не люблю страданий. Поэтому и на войне не воевал, утек. Страховитисто. Еще стрелишь да, оборони бог, кого-нибудь убьешь. Не гоже.

Перед обедом в слесарную мастерскую заглянул Краев. Он собирался в город по коммерческим делам коммуны и чтоб пригласить сюда агентов уголовного розыска: хотя кругом спокойно, но опытный Краев имел другое на этот счет мнение.

— Здравствуйте, товарищ начальник! — бодро закричала молодежь.

Иван Глебович Хлыстов, механик, поздоровавшись с Краевым, обвел проверяющим взглядом верстаки:

— Эй, как тебя! Зябликов!.. Стой, стой, стой! — и быстро через всю мастерскую пошел к нему.

Рыжеволосый толстогубый Зябликов — новичок, недавно прибывший из дома заключения. Он вскинул на механика неприятные бараньи глаза и слепо спросил:

— В чем дело?

— Ведь я ж говорил тебе, что левой рукой нельзя работать.

— А я вам говорил, что я левша.

— Возьми зубило в левую руку, молоток в правую.

— Несподручно. Я по руке ударю. Чего придираетесь...

— Привыкай. Иначе из тебя не будет мастера.

— Новости какие. Придирки...

Тогда цеховой староста, его сосед по верстаку, Шура Лосев, зыкнул на него:

— Товарищ, не бузи! Тут тебе не ширму на базаре ставить. Слушай, что велят.

Зябликов обиженно набычился и, ни слова не сказав, неохотно переложил молоток в правую руку.

— Вентиляция работает? — спросил Краев, шагавший с Хлыстовым от станка к станку. — Холодновато что-то. Надо подтопить.

— Не надо, товарищ Краев, — сквозь железный лязг закричали ближайшие. — Мы нарочно экономим топливо.

Всего сорок два верстака со стуловыми и параллельными тисками. Штанген-циркуль с нониусом, готовальня, штихмассы и другие тонкие инструменты хранились у механика отдельно. На одном из верстаков лежала стальная «нормальная плоскость». Она покрыта тонким слоем свежего, на льняном масле, сурика. Молодой парень с пробивавшимися усиками делал «пригонку на окраску»: он прикладывал к закрашенной поверхности грань своего изделия и, отняв, смотрел, равномерно ли прилип сурик.

В мастерской стоял ударный лязг металла о металл, гложущий визг стальных напильников, вкрадчивый, но твердый шорох шаберов, раздражающий скрип и дребезг опиливаемых тонких железных планок.

— Зажми тиски крепче! Слышишь, — дребезжит, — приказывает механик слесарю.

— Есть зажми! — ответил тот.

— Эх, ты, тюля! Спусти планку ниже, к самой поверхности губок.

— Есть спусти! — И слесарь тотчас же исполнил приказание.

— У вас, как военморы: «есть зажми, есть спусти», — мягко улыбаясь, сказал Краев. — Что ж, это просто дисциплина или имеет какое-нибудь практическое значение?

— А как же! — И корявое, в оспинах, лицо механика тоже расплылось в улыбку. — Да вот сейчас... Слушай, Павлов, поди сюда!

— Есть, товарищ механик! — Широкогрудый парень, бросив опиловку, подошел к начальству и, узнав в чем дело, сказал: — У нас такое правило, чтоб отвечать: «есть». Оно означает, что я приказ слышал и понял его. Если не понял, я обязан не умствовать, не догадываться, а сразу же переспросить.

Вот грохнула сброшенная с плеч рабочих четырехпудовая полоса фасонного железа.

— Легче! Не швыряй, а клади. Двадцать раз говорено! — раздается окрик механика, он сердито сдергивает синие очки и бежит туда.

— Товарищ мастер! — останавливают его двое. — Нам чертеж шпонки Вудруфа. Неполадки у нас.

— Сейчас.

— Ребята, у кого винтовальная доска?

— Здесь, на! А метчики у тебя, что ли?

В углу, у горна, горячая клепка двух листов. Бой молотов по обжимам стал заглушать все звуки.

— Товарищ механик, — подбежал к Хлыстову суетливый Костя Крошкин, — проверь, пожалуйста, разметку. С обеда начну пилить.

— Сейчас, сейчас. Не разорваться.

Все работали быстро, неотрывно. Браку теперь меньше. Мускулы ребят окрепли, движения стали экономны и уверенны, глазомер точен.

Впрочем, было несколько человек отстающих: они все еще пыхтели на простой опиловке брусков и не надеялись скоро стать заправскими слесарями. А трое явно не способны. Они безуспешно перепробовали все цеха. У них отсутствовало внимание, любовь к труду. Они вкорень развращены улицей или недоразвиты физически; тем не менее у них непреклонное желание жить в коммуне. С грехом пополам их держат: у них литературные способности, пишут стихи, сотрудничают в стенгазете «Сдвиги».

Надежда Ивановна прислала болящему Дизинтёру еще дюжину горчичников. Принесла их хорошенькая, румяная чулочница из коммуны Шура. У нее пухлое кукольное личико, завитые кудряшки,

веселый характер и за плечами всего лишь семнадцать лет.

Дизинтёр сказал:

— За горчичники спасибо Надежде Ивановне. Только что я мучить себя не буду. Такие муки не всякий конь вытерпит.

Шурой давным-давно увлекался тихомолком Филька, и ее неожиданный приход обрадовал его и огорошил. Дизинтёр знал про его страстишку, но Шуру видел в первый раз. Улучив минутку, Филька шепнул Григорию:

— Вот это она и есть.

Дизинтёру девчонка с виду не понравилась. Да он и раньше говорил Фильке: «Брось! Тебе ли, сопляку, о бабах думать? Учиться надо, вот что». Но Филька в раздражении всегда отвечал ему, что он и не собирается жениться вот сейчас, что и года́ ему еще не вышли, а просто любит девчонку и любит, ну, просто по-хорошему, а как войдет в возраст — женится. Он с ней раза три гулял в лесочке, много раз плясал; она очень веселая, смешливая, даже как-то зазвала его чайку попить и подарила две пары синих носков в полоску. Нет, она девушка приятная на редкость.

Дизинтёр не хотел до времени разубеждать его, а вот теперь, пожалуй, девчонка сама пойдет на откровенность, пожалуй, наскажет про себя такого, что Филька и нос опустит. А может оказаться даже совсем наоборот, может оказаться... Да вот послушаем, что станет толковать эта забавная девчонка.

— Если хотите, расскажу, — прощебетала она малиновкой и рассмеялась через сомкнутые губы в нос.

Филька, не отрывая от ее лица восторженных глаз, едва передохнул.

— Ведь я мужичка. А ежели я такая хорошенькая, уж я в этом не виновата. Ха-ха-ха! Как родители померли, жила я в приюте, с четырех лет, крошкой. Жила я там до тринадцати лет, а тут знакомые мальчишки уговорили меня бежать. И так вышло нехорошо, понимаете, что мальчик Коля привел меня к своей матери, а у той притон: бандоршей она была.

— Это какое слово? — простодушно спросил Филька.

Шура хихикнула в нос и тряхнула кудреватой головой:

— Слово? Это слово не так, чтобы уж очень... Ну, бандорша и бандорша. Ха-ха-ха! Неужели не понимаете вы, Филипп?

Сидевший на кровати рядом с Дизинтёром Филька, вспыхнув, толкнул больного локтем в бок, дескать — чувствуй, какое обхождение девушка имеет: «вы, Филипп».

— Бандорша — которая гулящих девок держит, — по-грубому разъяснил Дизинтёр.

Филька сразу померк и растерянно замигал.

— Верно, верно, — с наивностью всплеснув ладонями, обрадованно подхватила Шура. — У нее пятнадцать девушек жили, старше меня. В притоне меня берегли, ну, только что я видела, что там творится. Ха-ха-ха... Ах, как интересно другой раз! На пианино бренчал весь рыжий такой старикан. А когда праздник — две скрипки еще. Одна скрипка заигрывала со мной, но «мамаша» запретила и скрипку прогнала, а меня — ха-ха — по щекам.

Всех девушек кавалеры угощали вином, меня конфетками. Помню, как украдкой я поцеловала в губы военного: очень красивый он. «Мамаша» за это отдула меня, кричала: «Кто тебя, стерву, напоил вином?!» Я говорю: «Военный». Она сняла с меня платьишко, и я неделю просидела в одной рубашке, к гостям не выходила. А когда мне стало пятнадцать лет, я обокрала мамашу и убежала. Ха-ха-ха! После этого жила воровством. Восемь месяцев сидела в тюрьме.

Рассказывала она возбужденным, крикливым голосом, неизвестно чему улыбалась, похохатывала. Легкомыслие, ребячество сквозили во всех ее словах и позе. То отхлебнет из кружки молока, то затянется папироской.

Филька мрачнел: лицо его вытягивалось; углы губ отвисли, как у мопса, которому сунули в нос кусок намазанного горчицей хлеба. Зато воспаленные

глаза Дизинтёра самодовольно поблескивали: он пыхтел, прикрякивал.

— А мне — ха-ха — что скрывать? — вновь ухмыльнулась Шура. — Я теперь девушка хорошая, чистая. И жениха себе ищу тоже чистого, молоденького, — игриво подмигнула она Фильке.

Филька опять весь вспыхнул и вновь толкнул Дизинтёра в бок.

— Я не пью, не нюхаю, курю очень мало, а любовных глупостей не признаю: мне их не надо. Правда, что после тюрьмы я сошлась с одним вором, жила с ним четыре месяца: его сослали в Соловки... А теперь я от плохого сторонюсь.

«Врет, дрянь», — подумал Дизинтёр и спросил:

— Ну, а как же ты, девушка, народ-то облапошивала, денежки-то воровала?

Шура рассмеялась звонко, пожала плечами и с женским кокетством погрозила Дизинтёру мизинчиком с колечком. Потом вдруг стала серьезной, насупила густые брови, но тотчас же вновь расхохоталась:

— Да очень просто! Была на свободе, одевалась хорошо, на коньках бегала, физкультурой увлекалась. Каждый вечер театр, кинематограф. Денежки не жалела, деньги для меня — ха-ха, — как сор. За мной ухаживали очень приличные молодые люди; они не воры, у матерей живут. Состоятельные очень. Например, в театре подсела к одному лысому дедусе, прижалась к нему; он запыхтел, тоже ко мне прижался плечиком. Огни загасли; Евгений Онегин запел, — ну, и бумажник мой, в нем триста пятьдесят рубликов.

— А на чем в последний раз засыпалась? — посердитому, с унылой дрожью в голосе, спросил Филька и пересел с кровати в темный угол к печке.

— Шла нас компания. Я — с мальчишками. А навстречу какая-то накрашенная морда под ручку с Ванькой Соколком, с вором. Он помогал мне сбывать краденое и фигли-мигли строил. Конечно же, я — ха-ха — увлекалась им. Бабища толкнула меня в грудь. Я крикнула: «осторожней!» — и плеснула ей

в накрашенное мурло серной кислотой. Она начала кататься по земле. Ванька убежал, все убежали: меня замели. Когда сидела в домзаке, все время — ха-ха — плакала: вот дура какая! Сижу да плачу: «Такая уж моя судьба — в тюрьме умереть». А замест того встала на правильный путь, сюда попала. Ну — хи-хи — прощайте. Я пойду. До свидания, гражданин Филипп. Может, вы меня проводите?

— Нет, — сказал Филька. — Я ногу стер.

После ее ухода ни Дизинтёр, ни Филька друг другу ни слова. Только Катерина, ударяя себя по бедрам, громко, оскорбительно для Фильки, хохотала.

— Горчичничек хороший тебе, Филиппушка, — говорила она.

Губы Фильки дрогнули.

— Нет, я не верю ей, этой самой шилохвостке. Никудышная она. С гнильцой, — вздохнул Дизинтёр.

Ночью, крадучись, он напился всласть ледяного квасу и наелся соленых огурцов. Пришедшая наутро Надежда Ивановна только головой покачала: температура у больного резко поднялась.

В избе стало мрачно; навалились на избу тоска и ожидание чего-то нехорошего.

XIX

ОГНЕННАЯ НОЧЬ

Вечером была интересная беседа, по Дарвину, о происхождении человека: вел ее учитель из станицы.

Ребята долго не могли успокоиться. Обсуждения продолжались и в спальне до глубокой ночи. Лежа на койках, молодежь перебрасывалась фразами, разделилась на три лагеря: сразу уверовавших в обезьяну, сомневавшихся и совершенно отрицавших.

Не верил «в облизьяньи выдумки» и старик-караульный Федотыч, «ундер-цер» времен Александра II, служивший здесь по вольному найму. Он весь в седой щетине, в тулупе, в валенках.

Был крепкий ветреный мороз; старик зашел на полчасика погреться, да в разговорах и задержался у ребят. Другие два сторожа из вольных, благо Краев в городе застрял, тоже залезли в баню греться. Ну, да ничего: во дворе остался злобный пес. Поставив в угол собственную стародавнюю берданку, караульный уселся возле теплой печки.

Несколько коек были пусты: Амелька с Юшкой ночевали в столярной мастерской; Мишу Волю и еще троих надежных мальцов прихватил с собой товарищ Краев.

Спор стал переходить в горячий словесный бой: вот вскочат и вцепятся друг в друга. Накаленную атмосферу разрядил Федотыч. Он выколотил трубку, набил снова, сплюнул и глухо, как в бочку, кашляя, сказал:

— Ерунда с маслом.

— Ты тоже, старый мерин, не веришь? А ну, Федотыч, опровергай.

— А чего снивергать-то? Глупости — говорю. Где это видано, где это слыхано...

— Ты от кого произошел?

— От своих родителев. И родители мои — от своих родителев. И все люди так. Блоха от блохи рождается, муха — от мухи, собака — от собаки. Сроду не бывает, чтоб от петуха, скажем, родилась телка. Глупости. Враки, ребята, не верьте. Это вам внушается с озорства. Человек был создан, ребята, сотворен. Уж я врать не буду.

— А ты был, что ли, при творенье?

— Хоть не был, — где мне быть? Еще меня тогда и на свете-то не было. А в святых книгах сказано.

— Так и это в книгах! Вот Дарвин, видишь?

— Ваши книги, ребята, от ума, а те от духа. Например, я тридцать лет при Зоологическом саду в Питере служил. Облезьян там боле сотни. Да за все тридцать лет-то и не слыхивал, чтоб облезьяна человечье дите принесла. А ежели какая и ощенится — ну, облизьяненок и облизьяненок. Иным часом, правда, бывает — женщина какую-нибудь

нечисть, вроде чертенка, принесет... Это бывает... Ну, а чтобы... это... как его...

Вдруг ребята вихрем сорвались с коек:

— Пожар!.. Пожар!

Поднялась суматоха. Горела охваченная со всех сторон пламенем столярная мастерская. Морозный ветер раздувал огонь. В станичных церквах ударили в набат. Было около двух ночи.

Дизинтёр рывком руки опрокинул на пол гору лежавших на нем одежин, вскочил и бросился к окну:

— Пожар! Батюшки, камуния пластает! — Он быстро всунул ноги в валенки и в судорожной спешке набросил полушубок. Катерина завыла, сгребла мужа в охапку. Отшвырнув ее, он побежал к двери. Она повисла у него на шее. Он ударил ее по голове, снова отшвырнул и, выкатившись в хлев, вскочил на безуздую незаседланную лошадь.

Сквозь чехарду ярого заполошного набата Дизинтёр грохал в рамы встречных изб:

— Хозявы! Живо на коней! Камунию спасать! — и, держась за гриву, гнал лошаденку дальше. Пугливый конь приплясывал, норовил повернуть назад. Навстречу с уздой бежал Филька.

— Стой, стой! — голосил он и, накинув на коня узду, уселся сзади Дизинтёра. Дизинтёр не узнал Фильки.

Лошадь пошла под гору полным ходом. Мороз сломился. Мело, бросало в лица всадников жестким снегом. Дизинтёр без шапки. Глаза его вытаращены.

— Застегнись! — крикнул ему в спину Филька. Сзади долетали звонки пожарников и шумливый гул проснувшейся станицы.

— Но, халява!.. — бил в бока скакавшей лошаденки Дизинтёр.

Филька на скаку свалился, бежит сзади и кричит:

— Стой, стой!

Но Дизинтёр теперь ничего не слышит, ничего не видит, кроме пылавших огнем, плавно качавшихся небес.

— Но, халява, но!.. — В ушах — звоны, стуки, щебет ласточек, в груди — готовое разорваться сердце, в глазах — безумие.

Задыхаясь, он кувырнулся с лошади и бросился к горящим стенам. Ребята бревном вышибали запертую дверь.

— Амелька там, Амелька! — в бреду поймал он.

Затрещав, дверь провалилась внутрь.

— Амелька! — орали голоса. — Выходи!.. Эй!

Из провала густо шарахнул дым, вместе с ним вылетел бомбой одичавший татарчонок. И сразу все нутро загнялось огнем.

— Кто? Ребята!.. Спасай! — взвизгивали женские и мужские голоса, но всяк, безоглядно нырнув в провал, тотчас же выскакивал, как ошалевший, вон. — Братцы, нет сил... Огонь...

Дизинтёр бросился к колодцу:

— Качай!

Весь с ног до головы смоченный водой, он почерпнул железной бадейкой снегу, наскоро умял его, нахлобучил бадейку, как шапку, на голову — края бадьи лежали на плечах, и, охваченный безумием, отчаянно ринулся в горящую мастерскую.

Все вмиг онемело, все стало тихо, страшно и торжественно. Тянулись мучительные мгновения. Все позабыли дышать, раскрыли рты. Время остановилось, все пропало.

Вдруг весь воздух, от земли до неба, звякнув, разбился вдребезги, на тысячи восторженно орущих голосов. Объятый дымным паром, из провалища выбежал Дизинтёр. Он пер на себе, как волк барана, полуживого, мычавшего Амельку. Он тут же за порогом свалил его и со страшным криком: «Не вижу! не вижу!» — лишился чувств. Бадейки на его голове не было, волосы, борода обгорели, лицо неузнаваемо, темное, глаза закрыты.

Миллионы искр сыпались с пожарища. С диким воплем, свалившись на грудь мужа, Катерина рвала на себе волосы. Надежда Ивановна охрипла от командующих криков. Парасковья Воробьева воем

выла над Амелькой и как помешанная моталась во все стороны.

Связанного по рукам и ногам Амельку освободили. Изо рта вытащили забитые, как пыж, тряпки.

— Товарищи, за мной!

И ребята бережным галопом потащили на себе Амельку с Дизинтёром за бегущей Надеждой Ивановной. Впереди всех, увязая в пламеневших от зарева сугробах, поспевала Маруся Комарова; она вся в мелкой дрожи, зубы нервно ляскают.

Весь этот поток событий произошел не более как в две минуты.

Приехали станичные пожарники, вмах прискакали на степных лошадях бородатые мужики, деды, парни. Весь двор наполнился народом.

Не жалея сил, презирая опасность, галдящий люд враз принялся за работу. Вода сшибала пламя, ветер раздувал. Вот с грохочущим треском рухнула в бездну золотая крыша, горящие головни порхнули вверх и в стороны, как стая ослепительных жар-птиц. Вода одолевала, — огонь чах, издыхал, прятал свою голову, но вдруг разъяренно всплывал на дыбы и пламенным тлетворным пыхом опалял людей, изрыгая тучи дыма и бегучие молнии воспламенявшегося воздуха.

Ребята то и дело бросались в пасть утихавшего пожарища и, не щадя себя, спасали свое добро: тлеющие верстаки, инструменты, изделия.

Бородачи-крестьяне, воодушевленные поступком Дизинтёра, грудью отстаивали слесарный цех, куда ожесточенный ветер заметал снопы искр и головешек.

— Воды, воды! Войлоку... Качай! — Занявшаяся пламенем драночная крыша быстро погасла, быстро оделась мокрым войлоком. — Качай веселей, качай!..

— Федотыч! Эй, Федотыч! Ребята, где он? — сквозь дым и треск взывали голоса.

Прибежавшая из станицы старуха, задыхаясь от непосильной усталости, искала мужа, не могла найти.

— Федотыч! Федотыч! Эй!

И только тут ребята вспомнили, что Федотыч первый бросился в разбитую дверь сгоревшей мастерской.

Но что с ним сталось — никто не знал.

XX

РЕАЛЬНОСТЬ БРЕДА И ПРИЗРАЧНАЯ ЯВЬ

Прежнего Амельки больше не существовало. Был другой Амелька, и мир, охвативший его, другой был. Все кругом и внутри его кипело, все вспыхивало, мелькало, меркло. Волны подхватывали Амельку, встряхивали и мягко качали, навевая сон, но сна не было: были мгновенные, светящиеся, в отрывистых звуках, взлеты и провалы в мертвенную тьму.

— Держись!

Баржа их перевернулась вниз брюхом и плывет: Майский Цветок усаживается с ребенком, огненные голуби кружатся возле нее; Инженер Вошкин готовит взрыв, хочет зажечь всю реку. Дизинтёр сидит филином на вершине мачты, лаптем машет. Сам Амелька вздымает паруса, курит трубку. Дым густым облаком валит из трубки, ест глаза.

«Куда же вы, ребята, плывете?» — Парасковья Воробьева спрашивает с берега, и шаль на ней горит.

«А плывем мы в Крым».

«Кто сказал, кто сказал?!»

И — хохот.

«Это я сказал: «в Крым», — отвечает Шарик.

Но вот Иван Не-спи, бандит, выныривает из омута, утверждается двумя ногами на водной глади, злодейски подмигивает Амельке и точит нож.

Амелька в страхе открывает глаза и спрашивает тьму:

— Это рефлекс?

— Рефлекс, — отвечает товарищ Краев и мокрой губкой спешно стирает с черной доски времен всю беспризорную жизнь Амельки.

И сразу же, через черные молнии, через светлые зарницы и зыбь волны: «Мерзавец!.. Покажи крест! Где крест? Нет креста...» Две березы, очень печальные, зеленые, белые. Листья плачут, дождем осыпаются на землю... «Коммунист, дьявол. Вздернуть!»

Отец висит. Солнце раскололось надвое, березы закружились в пляске, белый вихрь подхватил Амельку с матерью: «Умер, батька?» — «Задавили... Вот наследство». — Настасья Куприяновна надевает тужурку мужа. Через снеговой буран и вой собак бельмастый глаз паровоза с грохотом промчался в тьму, Амелька занес ногу, каблук гвоздаст и крепок — хрясь. Мать застонала. Амелька вскочил, осмотрелся, кричит:

— Это рефлекс, товарищ Краев?

— Рефлекс, рефлекс, — спокойно отвечает Краев и снова стирает с доски времен всю жизнь Амельки.

Хорошо, приятно. Только золотая жужжит пчела. Она жужжит однообразно, мстительно, выискивает жертву. Кого ужалит, тому смерть. Вьется, кружится, огненные выписывает завитушки. Но вдруг разом вспыхивает мрак, и миллионы сверкающих пчел, воспламеняя всю вселенную, огненосной тучей мчатся на Амельку: «Смерть, смерть!» Амельке нечем крикнуть: черный козел заткнул его рот рогами; Амельке нечем защититься: руки, ноги вырваны, как крылья стрекозы. На Амельку рушится желтый пламенеющий кошмар: «Воздуху! Братцы!..» И вот железная бадья, холодная, добрая, ласково скрипит: «Держись-ржись-ржись...» А Дизинтёр, взмахивая крыльями, заливает пламя.

Но Иван Не-спи мигом встал среди огня на черном своем коне, плевком убил Дизинтёра, сморчком убил Фильку и бросил в Амельку сноп огня.

— Пожар, пожар! Мастерские горят, — вскакивает Амелька, озирается. — Товарищ Краев, это рефлекс?

— Нет, — говорит товарищ Краев и в третий раз мокрой губкой стирает с плоскости умчавшихся времен страшную жизнь Амельки. — Спокойно, не волнуйся: ты в больнице. Вот доктор.

Амелька по-настоящему открывает глаза в мир. Но мира нет: все ново, незнакомо, сказочно. Реальность бреда кончилась, на смену ей — призрачная явь.

Он весь увяз в скорби, в мучительных воспоминаниях, он не хочет ни о чем думать, не́ о чем думать, нечем думать: мозг где-то там, в туманах бреда, и немолчная боль гложет все существо его. Амелька тихо стонет и вновь лишается сознания.

Превращенный в головешку, труп караульного Федотыча был извлечен из груды пепла лишь наутро.

Следствие, в присутствии возвратившегося Краева, установило, что сторожевая собака отравлена, наружные стены мастерской со всех сторон были облиты керосином и обложены целым ворохом соломы, выходная дверь и ставни заколочены гвоздями.

Татарчонок Юшка, лишившийся после пожарища разговорной речи, наконец пришел в себя. Но пережитый страх отбил у него почти всю память. Он помнил лишь, как от Амелькиного крика проснулся, заорал сам, живчиком юркнул в дальний угол, под верстак. Он слышал чужие злобные голоса: каких-то два дяденьки ругали Амельку, а тот молчал. А за стенами кто-то переговаривался, кто-то стал стучать во все окна враз. Потом хлопнула дверь, и сразу занялся в мастерской огонь, вспыхнули стружки.

Исковые собаки, пущенные на второй день после пожарища по вдрызг растоптанным тысяченогой толпой следам, тоже никакого результата не дали.

Пока шел суд да дело, озлобленные крестьяне поймали поджигателей у себя в станице, их было двое. Они целый месяц скрывались в бане бобылки Дуни Длинной, пьянствовали с парнями, подбивали их к воровству, к злодействам, сами воровали. А вчера во время ночной попойки варнак-верзила пырнул парня ножом в бок. Поднялась свалка. Сбе-

жался народ. Парни кричали: «Вот они, поджигатели, бей их!» — Один бежал, другой, черномазый верзила, был яростной толпой растерзан. Мужики мстили и за Дизинтёра, и за старого Федотыча.

Следствие направилось в станицу. Были арестованы три парня, соучастники поджога. У них найдено по двести рублей фальшивых денег — взятка за пособничество.

В это самое время Дизинтёр разлучался с жизнью. Ослепший, полуобгоревший, он умер в муках, не приходя в сознание.

В слесарной мастерской был траурный, перед гробом, митинг, говорились речи, прерываемые воплем Катерины и прочих женщин. Товарищ Краев отметил в своем искреннем слове все величие подвига погибшего героя, закончив так: «Хотя он был темный, но он по духу наш». Потом явилось духовенство. Гроб до могилы коммунары провожали с музыкой. Плакала Катерина, плакала, можно сказать, вся станица. Филька рыдал.

На погосте выросла новая могила, которую долго будут помнить люди.

Трудовая коммуна, взбаламученная событиями, как море штормом, вскоре успокоилась и с удвоенными силами принялась за дело.

Из окрестных поселений одна за другой являлись депутации от комсомольцев с клятвенным уверением, что их организации будут зорко следить за своими односельчанами, в особенности — за приблудными бродягами, и что такого неслыханного преступления против трудовой коммуны больше не повторится.

Коммунары собрали двести пятьдесят рублей и вручили их беременной осиротевшей Катерине. Она прослезилась, сказала:

— Спасибо. Вы — хорошие.

Болящего Амельку часто навещал его друг Филька с Шариком. Катерина тоже собиралась, но сила любви к погибшему мужу, причиной смерти которого был безвинный в этом деле Амелька, всякий раз удерживала ее. Наконец поборола себя, пришла.

Амелька помещался в небольшой комнатке квартиры Краевых. При нем врач, выписанный для него из города. Лицо, часть груди и спина болящего были резко опалены. Его лечили по новому методу. Вот уже две недели он лежал совершенно голый на койке под особым, устроенным над койкой в виде крытой кибитки, брезентовым колпаком. Обожженную кожу не натирали никакими мазями, ничем не присыпали — лишь в этом футляре, служившем больному убежищем, поддерживали синими электрическими лампами температуру человеческого тела. Организм боролся с болезнью сам: гноящиеся струпья подсыхали, шелушились; под ними образовывалась нежная розовая кожа. Меньше всего пострадало лицо, больше всего спина, где затлелись рубаха с пиджаком и сожгли до мяса кожу.

Поверхность ожогов велика; с первых же дней она тревожила врача, — больной изнемогал в борьбе со смертью; но в конце концов живые силы организма победили.

Лицо Амельки, лишенное волос, бровей, покрытое то сморщенной, то нежной кожей, было теперь довольно неприглядно. Общее его выражение смягчали лишь глаза, какие-то новые, вдумчивые, просветленные.

Когда становилось трудно дышать, болящий, при помощи врача или дежурившей возле него Надежды Ивановны, высовывал из убежища голову на волю. Так обменивался он ласковым взглядом и немногими словами с Филькой; женщинам же, даже Марусе Комаровой, вовсе не показывал лица. Не показал его и пришедшей с Филькой Катерине. Впрочем, с большим усилием и волнением сказал ей:

— Катеринушка, я не виноват. Только поверь мне: о твоем Григорье, а о моем Дизинтёре, я, может, всю жизнь буду слезы лить... Поверь.

Часто видела лицо болящего Парасковья Воробьева, бессменная дежурная при нем. Амельку очень трогало такое самоотверженное отношение к нему красивой Парасковьи. Его сердце все больше и больше привязывалось к ней.

Марусю Комарову однажды остановил Андрей Тетерин.

— Ну что, как? — многозначительно спросил он девушку.

— Согласна, — ответила та.

Так проходило время.

Через семь недель Амелька окончательно поправился: выросли брови, стали пробиваться усы и борода, голова покрылась молодыми волосами. Лицо выровнялось, однако местами проступали крупные розовые пятна, вечные отметы пережитого, да дрожали руки.

Ему дали двухнедельный отпуск. Он навестил Инженера Вошкина, побывал на родине, привез поклоны от родных и знакомых Парасковье Воробьевой.

Инженер Вошкин встретил Амельку радостно, впрочем, не сразу узнал его. В смерть же Дизинтёра не поверил:

— Врешь! Шутишь! Нешто такие человеки умирают!

Он написал по письму Фильке, Дизинтёру и Катерине, просил передать каждому в собственные руки. В особенности — Дизинтёру. На прощанье важно сказал:

— Я совсем даже по-худому вспоминаю и баржу, и мельницу, и все на свете такое-этакое. Дураки, черти! И тебе советую. До свидания, бывший вожачок.

Наступила весна. Амелька получил сочувственное, хотя короткое, письмо от Дениса. К письму приложена фотографическая карточка. С нее глядел на Амельку длинноволосый человек в пенсне, с прижатой к сердцу книгой; локоть человека покоился на куче рукописей; сложенная ладонь по-умному подпирала щеку. Эта величавая поза бывшего культурника не понравилась Амельке. Улыбнулся и ядовито сказал:

— Ого... Не то павлин, не то дьякон.

Весной было четыре свадьбы: Маруси и Андрея, Амельки и Парасковьи Воробьевой, и еще двое коммунаров женились на крестьянских девушках. Впрочем, свадеб не было — был загс.

Катерина родила мальчишку, назвали Гришей — в честь отца. За нее сватались теперь сразу пять женихов: мастер Афонский, два парня, вдовец-сапожник и Миша Воля. Четверым женихам Катерина отказала без всякого раздумья, над предложением Миши Воли ее разум было споткнулся, но сердце отказало и ему.

Весной же двадцать девять коммунаров праздновали свою полную свободу: сроки высидки окончились. Трое из них остались в коммуне в качестве инструкторов, прочие уехали в город, на заводы, фабрики.

У каждого туго набитые чемоданы и корзины; у каждого глаза блестят внутренней силой, победой над самим собой.

До станции провожали их всей коммуной. Играл тот же самый духовой оркестр, который проводил и прах Дизинтёра до могилы. Но тогда были снег и скорбь, теперь же медные трубы оглашали зазеленевшие поля радостными, торжественными маршами: теперь — весна, час испытания кончен; впереди — вольная воля, свободный труд.

На смену ушедшим вскоре явилось сюда больше сотни новичков. Коммуна ширилась и крепла.

В хлопотах, в усиленных занятиях быстро прошло лето с осенью, помаленьку влачилась пуховая зима.

Емельян Схимников был освобожден перед Новым годом. С ним кончили сроки еще пятеро из столярного цеха. Парасковья Воробьева, по особому вниманию администрации к ее работе, тоже получила досрочное освобождение.

Выдавая официальные бумаги, товарищ Краев сказал им:

— Вот что, ребятки. Вы не обижайтесь. Я показал в документах вашу квалификацию ниже той, которую вы по праву заслужили. Вы уж сами там приналягте, постарайтесь. Вас там живо оценят. Это я сделал из

соображений осторожности. А то мы покажем наивысшую, а там вдруг вы... понимаете, в чем дело?

У товарища Краева был прощальный чай. Снялись на карточке общей группой. Расстались дружески.

Вскоре все были приняты на мебельную фабрику. Здесь же дали место и Парасковье Воробьевой.

Емельян Схимников вошел в рабочую семью, как в родную. Он слился с нею всей душой своей. И все горести, все невзгоды, какие были в прошлом, потонули, как в пучине, в море дружеского единения с рабочим классом.

Первые месяцы работы он находился в каком-то опьяненном состоянии. Он не видел неполадок на фабрике, обычных, зачастую неизбежных, неурядиц, — все это текло над его сознанием, ему некогда было осмотреться, направить зоркие глаза не только в сторону хорошего, но и в темные углы плохого.

Огромные размеры предприятия, трехтысячная масса трудящихся, стройный, безостановочный ход дела поразили его воображение, приподняли его над землей, навек прикрепили его к себе. То, чего он жадно искал с момента смерти своей матери, то, чем наполнены были его мысли в стенах холодного домзака, в содружеской коммуне и всюду, всюду, — он, наконец, нашел, и сердце его было радо. Так пусть же эта живая коллективная машина будет его колыбелью, где он родился вновь, и пусть она же будет гробом, где он, в труде со всеми, готов сложить свои кости!

Примерно так думал теперь обретший свое место в жизни бывший беспризорник Амелька, когда-то стоявший на краю погибели.

Он постепенно завязывал знакомство с молодежью и старыми рабочими. Парасковья Воробьева с крестьянской домовитостью сумела создать своему мужу уют и внести в жизнь облагораживающую ласковость. Он чувствовал себя прекрасно. Через два месяца его заслуженно перевели в высший разряд оплаты. Передовая молодежь внимательно присматривалась к нему. На заседании ячейки комсомола поднимался вопрос о привлечении его в свою организацию.

Словом, все шло, как по маслу.

Но вот беда! Земля пронеслась вокруг солнца еще два месяца пути, подходил светлый, зеленый май: Емельян Схимников ждал этой радостной весны всю жизнь и, наконец, дождался. «Крым, Крым»,— неуемно застучало его сердце. Парень — как с ума сошел.

С большим смущением, мямля и сбиваясь, он поведал об этом кой-кому из товарищей.

— Отпуск навряд ли дадут тебе: недавно служишь.

— Недавно, верно. Только ведь я не совсем здоров еще,— опуская глаза в землю, ответил он.

— Попробуй, потолкуй с директором. Он — парень добрый, он только прикидывается злым.

И вот он у директора. Час поздний, кабинет пуст, до потолка набит табачным дымом. Директор собирался уходить.

— Что надо? — с напускной грубостью встретил вошедшего директор, латыш, рабочий; при этом он смахнул на затылок кожаный картуз и устрашающе задвигал старыми морщинами на лбу.

— Да вот... я... товарищ директор...— сел на кончик стула и вновь вскочил растерявшийся Схимников.

— Не тяни волынку. Ну? Четко!

Схимников, заикаясь, выразил робкое желание хоть на неделю, на две побывать в Крыму.

— Я ведь, товарищ директор, отработаю. Если б вы знали мою судьбу...

— Фамилия?

— Схимников, из коммуны.

— Схимников? А, знаю. Точка. Горел и сгореть не мог? Знаю, Краев говорил. Точка.

Путаясь в дыму собственной сигары, директор нервно стал шагать по мягкому ковру.

— Отпуск нельзя! — круто обернулся он и, засунув руки в карманы, а сигару в рот, остановился.— Что?

— Я ведь ненадолго... Ну, ежели нельзя...

— Стоп, стоп! Точка.— Он закорючил ногу, зага-

сил о подметку нескладного сапога окурок и швырнул его под стол. — А вот... С завкомом говорил? Нет? Поговори. Отпуск нельзя, а командировку. Вроде командировки... Ну, и отдохнешь. Стоп, стоп! Точка! — крикнул он на обрадованного Емельяна, разинувшего было рот, чтоб поблагодарить директора. — Бук — знаешь что такое? Ну, бук, бук, дерево, в Крыму растет. Целые леса.

— Знаю, знаю!.. Ведь я технологию немножечко учил. — Не в силах сдержать улыбки, Емельян распустил по всему лицу свои толстые губы.

— Улыбку спрячь. С тобой серьезно, — насупился директор, схватился за пустой графин, взболтнул его. — Ах, сукины дети, — и позвонил: — Воды!

Емельян вытянул по швам руки, глядел в бритый сухой рот директора.

— Ну, вот, там присмотришься. Там, там, там, в Крыму! Кой с кем переговоришь. Бук нам дозарезу — для мебели. Вернешься, доложишь. Инструкция завтра вечером. Ступай.

В спину ему неслось по коридору:

— Воды! Чтоб вас черт побрал. Никогда нет воды...

Этим автор заканчивает свою затянувшуюся повесть. Впрочем, для любопытствующего читателя автор согласен несколько раздвинуть рамки своего повествования и написать последнюю главу.

XXI

СВИДАНИЕ ДРУЗЕЙ

Поезд мчится все дальше, дальше, к югу, в Крым. В вагоне: возмужавший Филька — он рабочий крупного совхоза, с ним — комсомолка Наташа: у нее сейчас каникулы, рабфак закрыт; еще Емельян Схимников и бывший культурник Денис, давно получивший по праву заслуженное им досрочное освобождение.

Все они говорливы, задорно веселы; в особенности — жизнерадостная, восторженная Наташа. За эти два года город совершенно переделал ее: начитана, остра, зубаста.

Филька немножко дичится ее, говорит подумавши, с оглядкой, а ежели ляпнет корявое, невпопад, словцо, Наташа живо подымает парня на смех, но тут же успокоит:

— Ничего, Филя. Раньше и я такая же дурочка была. А, впрочем, ты чрезвычайно милый.

Емельян Схимников ведет себя солидно, сдержанно. Он все-таки человек семейный; его жена, Паша Воробьева, осталась на фабрике.

Денис выскакивает на каждой станции, вслушивается, всматривается, пишет в памятную книжку. Между делом и веселостью выдумывает себе псевдоним для будущей литературной работы. Кажется, он решил остановиться на псевдониме «Иосиф Культурный» — звучно и связано корнями с прошлым.

Наташа хохочет, издевается над ним:

— При чем тут — Иосиф, раз вы Денис? — дразнит его своим взглядом. — Лучше: Петр Неженатый.

— Ха-ха! А когда женюсь?

— Тогда будете подписываться: Денис Наташин.

И под лязг колес оба гремят смехом. Филька начинает дуться: ему хочется лягнуть Дениса ногой, а Наташу как можно больнее ущипнуть.

— Я непрочь бы так подписываться, — говорит Денис, охорашивая свои длинные волосы, — но я быть «Наташиным» не собираюсь.

Тогда лицо девушки вытягивается, а помрачневший было Филька молча торжествует.

Миновав несколько туннелей, поезд, наконец, подкатывает к Севастополю. Четверо спутников выходят на шумливый многолюдный перрон.

— Не разевайте рты! Держитесь вместе! — хлопотливо командует Денис.

Из-под колес их вагона выскакивает беспризорник и, встряхивая клочьями длинных рукавов, бежит за Емельяном.

— Дядя, дай копейку! Дядя, дай копейку! Дядя, дай копейку! — непрерывно надоедает он, как шмель.

Емельян, бросив чемодан, хватает его за плечо и в изумлении кричит:

— Ты? Клоп-Циклоп?!

— А ты кто?

— Не узнал?

— Амелька, ты? Ба! Филька... В Крым винтите?

— В Крым, в Крым... — захлебывается Филька.

Одноглазый Клоп-Циклоп растерян, поражен опрятным видом бывших оборванцев. Он такой же, маленький, щуплый, как и два года тому назад. Худое бесщекое лицо неимоверно грязно, темно, как сама земля, волосы дыбом — как щетина. На острых плечах лохмотья грязной кофты.

— Дурак! Невежа! — отечески кричит на него Емельян. — Зачем ты, чертов хвост, из детского-то дома упорол?

— А ты зачем? — нелепо вопрошает Клоп-Циклоп. — Слышь, дай гарочку.

Емельян сует ему в зубы папироску, говорит:

— Ну, последний раз... Хочешь человеком быть, как мы?

— Хочу.

Емельян посоветовался с Денисом, с Филькой и сказал Циклопу:

— Шагай за мной. Довольно гопничать.

На толкучем рынке он купил для отрепыша сапоги, штаны, картуз, рубаху, куртку.

— Вот тебе кусок мыла. Иди сейчас же в баню или к морю, вымойся, как не надо лучше, и приходи через два часа, где автомобили Крым-курсо. Там получишь одежу. Месяц будешь жить с нами, кататься, осматривать. Через месяц — в город, пристрою тебя на завод. Согласен?

Клоп-Циклоп закружился от радости волчком и благодарно упал Емельяну в ноги.

Опять все четверо вместе: наскоро попили чайку в кофейной, наскоро осмотрели город и в назначенное расписанием время были в Крым-курсо. Чисто

вымывшийся Клоп-Циклоп вприпрыжку подбежал к Емельяну и сказал:

— Вот видишь, какие ноги стали, три раза мыл, башку четыре. Ну, давай...

Емельян передал ему сверток вещей. Клоп-Циклоп зашел за уголок, живо переоделся. Преобразившийся, он был неузнаваем. Все четверо, глядя на него, любовно улыбались.

Когда все уселись в автобусе, Емельян сказал Циклопу:

— Ну, артист, залазь. Садись рядом с товарищем шофером. Ну! Шофер задудил в рожок:

— Готово?

— Нет, нет!..

В этот миг Клоп-Циклоп вихрем бросился бежать в проулок.

Первые пять верст уныло молчали. Емельян, злясь, кусал ногти. Домовитый Филька в уме прикидывал зряшный Амелькин расход на оборванца: «Эх, жаль...»

Да и местность была неинтересная: скучные, серо-зеленые холмы, унылые степи, пропыленные поселочки. Но быстрая езда вскоре вывела друзей из мрачных размышлений. Мчались кипарисы, стада овец, минуты, версты.

Кто-то сказал:

— Сейчас Байдарские ворота.

И вдруг из надоевшей волнистой мути автомобиль взлетел на гору и внезапно вырвался в бескрайный голубой простор. И все двадцать человек в один голос ахнули:

— Ур-ра-а! Крым, море!

— Какая красота!

Автобус остановился. Пассажиры высыпали поразмяться. Четверо друзей совершенно растерялись. Они чувствовали себя слепорожденными, которые вдруг прозрели и впервые увидали жизнь. Они стояли, взяв друг друга под руки, и, казалось, перестали от волнения дышать.

Дул легковейный ветерок; блистало спускавшееся к горизонту солнце; шелковая гладь голубого неба

уходила в неведомую даль. Все небо, весь необозримый мир были густо насыщены ярким светом. Свет, высь, простор неотразимо манили подпрыгнуть, взмахнуть крыльями, лететь. А под ногами — вправо и влево — белела змеистая дорога, извивно виляя меж кудрявыми купами садов, огибая щеголявшие белизной дворцы. Внизу, в полугоре, на игрушечной площадке, вознесясь над кручами серых скал, пестрела игрушечная церковь.

— Филька, вот Крым... — едва выдохнул Емельян.

— Да, Амелька, Крым...

У Фильки и Амельки кривились губы. Амелька вынул платок и посморкался.

— Плачешь? — спросил простодушно Филька.

— Ничего подобного. — И Амелька круто отвернулся.

Призывный раздался гудок. Помчались дальше... Кружилась голова. Восторги сменялись восторгами. Глаза, ум, сердце, распаляясь, млели, уставали.

Четверо устроились в Судаке, в немецкой колонии. Первую неделю блаженно переживали все виденное: Алупка, Ай-Петри, Ялта. Емельян отправил вот уже третье письмо на имя Парасковьи Схимниковой, бывшей Воробьевой. Филька целый день пыхтел, сверяя записи расхода с оставшейся наличностью... «Фу, черт. Двугривенного не хватает, просчитался». Наташа окорачивала юбку, пришивала к купальному костюму бантик.

Для любознательного Дениса Судак был неистощимой книгой древности: Византия, половцы, генуэзцы, турки, татары. Он со всех сторон зарисовал башни и стены Генуэзской крепости и, когда подробно изучил ее, повел туда своих товарищей. Филька с разинутым ртом слушал рассказ Дениса о прекрасной греческой царевне, полюбившей простого пастуха и не пожелавшей выйти замуж за полководца при царе Митридате — Диофанта.

— Отец запер ее в эту самую башную. Крестовый замок, и влюбленная в пастуха царевна

бросилась со скалы в море. С тех пор башня называется Кыз-Куле, то есть — Девичья.

— Глупенькая, — рассудительно сказал Филька. — Хоть и жалко ее, а дура. Я б на ее месте вышел за полководца.

— Да она ж пастуха любила! — воскликнули в один голос Наташа с Денисом и переглянулись.

— А что ей мог дать пастух?! — задетый за живое, вскричал Филька. — Ни ударного пайка у него, ничего. Да, наверно, и в профсоюз не вписан. Хуже кустаря-одиночки.

Тогда дружно захохотали все трое. Денис сказал:

— Перепутал эпохи, товарищ.

Потом погладил ослика, пасшегося на откосе внутри крепостных стен, и кивнул в сторону развалин:

— А вот полюбуйтесь... Это работа доброго старого времени. Потемкин... ну, тот, который при Катерине был, корсеты ей затягивал, сиятельный дурак... он умудрился разобрать часть драгоценнейших башен и выстроить из исторических камней казарму. Вот их развалины. Варварство это или нет, спрошу вас всех в упор? — рисуясь перед Наташей, он сбросил и опять надел пенсне.

— А что ж, вот и молодец, — запыхтев, сказал Филька и собрал лоб в морщины. — Да будь эта крепость возле нашего совхоза, я б ее всю раскатал коровам на хлевы. Только зря торчит. Ни жить в ней, ничего...

Денис демонстративно отвернулся и притоптал ногой окурок. Емельян дружески нахлобучил Фильке кепку по самый нос.

— Эх, ты, голова два уха. Еще у тебя башка не с того боку затесана... Ведь это история, а ты — совхоз! Кирпичи для совхоза можно сделать...

Наташа же, наморщив хорошенький носик, сказала нараспев:

— А все-таки ты, Филя, необычайно милый.

Освобождая из-под кепки глаза, Филька, вздохнув, упрекнул Наташу:

— «Милый», «милый»... А сама ни туда, ни сюда... Только дразнишь.

Очень много купались — юноши вместе, Наташа в сторонке. В купанье Филька побил рекорд: в один из жарких дней бултыхался в море восемнадцать раз. Весь посинел, и стало сбиваться сердце.

Хозяйственный Филька бродил по бахчам, виноградникам, садам, собирал семена цветов, растений, решил взять с собой «в Русь» несколько виноградных лоз, чтоб все это взрастить потом в своем совхозе. Разговаривал с садовниками, все вынюхивал, записывал. А вот этот маленький кипарисик он обязательно выроет, свезет в родную деревню и посадит на могиле своих родителей.

Емельян Схимников побывал в Никитском саду, в лесничестве. Там получит нужные ему сведения о возможности эксплуатации буковых лесов. Деловую поездку в административный центр Крыма, в Симферополь, он отложил на конец командировки.

Часто гуляли по окрестностям. Свели знакомство с рыбаками. Возле рыбацкой избушки, притулившейся к серым скалам, жил молодой орленок-кондор. Рыбаки вынули его из гнезда с неприступных скал и дали ему кличку: «Алешка».

— Вот видите скалу, она называется Сокол, — говорил молодой рыбак. — Обрыв стеной прямо в море. В ней полверсты вышины. Снизу к гнезду никак не влезть. Наш товарищ спускался на веревке сверху, двадцать сажен спускался, бывший матрос. А двое стояли над обрывом с ружьями, отстреливались от орлов. Эти орлы могут крыльями сшибить человека в пропасть. Вот они какие птички!

— Ведь он вырастет, улетит.

— Куда он может улететь? Полетает да опять к нам. Он не умеет добычу добывать, а мы его мясом кормим.

Путешествовали в Голубую бухту, всех очаровавшую. Дорога шла то над морем, в скалах, то по высокой равнине, поросшей горным сорняком. Четверо разделились на две пары. Денис шел впереди с Наташей. Они теперь частенько уединялись. В Наташе, незаметно для нее самой, нарастала потребность жить и чувствовать по-новому, — в ней зрела женщина. По

ночам она испытывала особое, пугавшее девушку, томление: кружилась голова и беспричинно ныло сердце. То она считала себя несчастной, оторвавшейся от родной почвы, то ее всю охватывала горячечная дрожь; она стыдливо смежала глаза, и одно было желание: увидеть во сне Дениса.

Но сам Денис, хотя и сдавался понемногу, однако все еще продолжал «витать в заоблачных высотах». Вспоминая плененного орленка, прошлую свою жизнь и знакомые ему приключения Фильки и Амельки, когда все четверо уселись у теплых морских вод, Денис многодумно прищурил свои калмыцкие глаза, сказал:

— Знаете, ребята? У меня назрела великолепная идея. Кончено! Пишу роман из жизни вот таких типов, как мы. А что! Пороху не хватит? Ого! Лоб расшибу, а напишу. Вот возьму двадцать пять Филек и Амелек, а то и сто. Возьму преступный мир, — он у меня вот где! — стукнул загоревшийся Денис по высокому лбу. — Да... Ведь кто мы такие? Погибшие, окончательно потерянные для жизни... Факт? — Факт! Мы для общества были как чирей на сиденье, извини, Наташа. А между тем — что ж, мы — не люди теперь? Что ж, мы — хлам, отбросы, утиль-сырье? Нет, мы — настоящие. Жизнь втоптала нас в грязь, а мы взяли да, как трава, и вылезли... На-ка тебе фигу, жизнь!

— Люди помогли, внушили, воспитали, — прервал Емельян, пересыпая из горсти в горсть горячий песок.

— Верно, люди... Партия. Ну, а мы сами-то разве ничего не стоим? Разве огонь в нас не горел? А бессонные ночи, а раздумья, от которых трещала голова?... Мы валялись в земле сырой рудой, а стали чугун и сталь... Снова родились... Рождение человека... Ого! Нет, нет, напишу... Кровь из зубов, а напишу!

Денис пыхтел и отдувался, как после добросовестной горячей драки.

— Вали, вали, — поддержал его Емельян Схимников, нехотя снимая рубаху. — Материальчик есть. Эх, черт, жаль — ожоги мои нельзя солнцу показывать, — палит.

Наташа молча собирала разноцветные ракушки.

— Сидите, я уйду купаться, — сказала она вставая.

В это время вышли из зарослей кустарника трое: бритый гололобый мужчина в сетчатом нательнике, дама в кудерышках; с ними черноголовый мальчик в матроске, в руках — корзина, за плечами удочка. Они тоже расположились у воды, саженях в полутораста от наших приятелей.

Мальчик быстро разделся, остался в черных трусиках и с разбегу кинулся в море.

— Это ж Павлик! — проговорил зоркий Емельян и торопливо стал надевать рубаху. — Честное слово, он... Вошкин.

Филька вскочил на ноги.

— А вот глядите, как дельфины плавают, — долетел издали звонкий голос мальчишки, и, показывая зад, маленький пловец стал колесом кувыркаться в море. — Изобретение приема, во!..

— Он, он... Идем!..

Подбежав, Филька и Амелька поздоровались с Марколавной и Емельяном Кузьмичом, кричали:

— Павлик! Здравствуй, Павлик! Это мы.

Инженер Вошкин отфыркнулся, как морж, и, не обращая внимания на подошедших, лег на спину:

— Глядите! Опыт с удельным весом. А почему бабы тонут? Потому что весят больше вытесняемой воды... Факт... Возражения не принимаются.

Счастливая Марколавна, то и дело облизывая сухие губы, радостно и торопливо рассказывала Амельке, что Павлик совершенно исправился и в городе старается вести себя как взрослый, но проказник, каких мало. А они приехали сюда пять дней тому назад, живут у караульного винных складов, перешедших в казну от князя Голицына. Павлик заставляет караульного делать «утреннюю зарядку». А тому семьдесят два года. Однако кряхтит и в угоду Павлику приседает, выбрасывает руки-ноги... Вообще потеха. Павлик говорил старику: «Через недельку я тебя, дедушка, омоложу; я читал — зубы вырастут, волосы почернеют, борода отсохнет; будешь молоденький и — вроде меня — весь бритый». Старик помирает

со смеху... Вообще очень, очень забавный мальчишонка...

— Павлик! — закричала она, приставив ладони ко рту. — Плыви: тебя ждут. Это неделикатно.

— Почему — меня ждут! Может быть, я их жду. Алле, алле!..

Однако он выскочил, весь, как арабчонок, черный, ноги в кровь исцарапаны, — схватил рубаху, оделся и только тогда подошел к широко улыбавшимся приятелям.

— Гутэнтах... Бонжур! Здесь босиком, а в городе у меня новые штиблеты и пальто коричневое. Сзади — хлястик.

— Ого, да ты вырос! — похлопал Амелька его по плечу. — Совсем большой. — Ах, ты, забавник, ах, ты, Вошкин Инженер. Ну, а помнишь про волшебный зуб морской собаки? А помнишь, как про Крым рассказывал, как в пещере у Крым-Гирея был?

— Теперь врать строго воспрещается. Врать — время терять. Во всем утилизация. А вы утреннюю зарядку делаете? — Мальчик держался неестественно напыщенно, старался казаться умным, взрослым, но в черных живых глазах дрожали восторг встречи и неостывшие воспоминания о прошлых днях. — Ну, как поживаете? — задал он вопрос официальным тоном и чихнул. — Как ваша установка на будущее?

Амелька хихикнул и спросил:

— Ну, а Крым-то нравится ли тебе?

— Не вполне оправдал мое доверие, — проговорил Инженер Вошкин. Он заложил руки назад и задумчиво посматривал вдаль на голубую пелену ласкового моря.

— Почему ж так? — вновь спросил Амелька, едва сдерживая в себе рвавшийся наружу смех.

— Да уж так... Я думал: Крым — что-нибудь особенное, а это — полуостров.

Тогда взорвался общий хохот.

РАССКАЗЫ

ОЧЕРКИ

ПРОКОРМИМ!

1

По всей Барабинской степи, по всему омскому простору бушевал буран. Два старика, Нил да Павел, подхватив друг друга под руки, чтоб не раздернул ветер, шагали улицей села. Оба бородатые, оба горбоносые, они тащили под мышками прялки: будут прясть шерсть на чулки красноармейцам. Мужиковское ли это дело? А ничего не попишешь, времечко такое: война. У Павла два сына на войне, у Нила сын да внук.

Изба председательницы колхоза Нины Григорьевны Никитченко самая просторная. В избе тепло, а на улице такая кутерьма, что вздыху нет: буран крутит, швыряет снегом и высвистывает, и заливается жутким воем, как баба над покойником.

— Стой! Держись за землю! — И оба старика под ударом ветра свалились с ног.

Оправившись, они вошли в летнюю половину избы, там три пожилых крестьянина и два подростка мастерили возле верстака небольшие аккуратные ящики.

— Это на фронт, чего ли, отсылать? — указывая на ящики, спросили вошедшие.

— На фронт, на фронт! Завтра бабы пельмени будут стряпать да шаньги печь. Да сальца еще свиного подбросим, шпику. Двести продуктовых посылок от

нашего колхоза должно пойтить. От одного нашего! А там и другие встрянут.

— Добро, добро, — подхватили Павел с Нилом и, выдрав из бород ледяные сосульки, пошагали в теплую половину.

Здесь было оживленно. Под потолком горела электрическая лампочка. Вдоль стен по лавкам, на сундуках, на печке и где только можно — сидели колхозники: старики, старухи, молодые женщины. Улыбчивая, с приятным лицом, председательница вела между делом разговоры.

— Вот, товарищи, — говорила она, проворно работая иглой, — доведется нам с весны впрячься в работу как следует. В прошлом году, сами знаете, урожай был не надо лучше. И в фонд обороны полной мерой сдали и с государством рассчитались своевременно...

— На оборону доведется, колхозники, еще добавочный клин вспахать, — подал голос сапожник дядя Митя.

— А то как! Обязательно добавочный вспашем. Очень просто... — послышались дружные выкрики.

Дядя Митя, поблескивая очками в самодельной оправе, обшивал кожей восьмую пару валеных пимов.

Колхозниками было сработано для фронта сорок пар пимов — три пимоката всю зиму выделывали их. За топорно сколоченными столами сидели и другие трудники: кто шил овчинные жилетки, кто теплые рубахи, старухи и солдатки вязали шерстяные носки, перчатки, шили теплые, на гусином пуху, рукавицы.

Малолетки мотали на клубки шерсть, пряжу, бегали на посылках. Раздавались выкрики:

— Эй, у кого ножницы? Дунька!

— Дунька, подай-ка мел сюда!..

— Дратва! Кто дратву у меня стащил? Дунька, поищи!

Маленькая, тщедушная, по восьмому году, Дунька, сверкая голыми пятками, шустро бегала взад-вперед, как мышонок в мышеловке. И снова прозвучало:

— Эй, Дунька!

Девчонка приостановилась, губы ее задрожали.

— Гоняйте кого другого, а то все Дунька да Дунька... Тьфу ты!.. — озлобилась она.

Плешивый дедка Павел, положив прялку с веретеном, слегка прищелкнул девчонку по спине:

— Ах ты, щенячья твоя лапа... Еще она в щеть идет... Я те! Мы для кого всей деревней-то трудимся? А? Для себя, чего ли? А?

— Дунька! — закричала старая Максимиха. — Беги-ка, девонька, спицу поищи.

Смирившаяся Дунька послушно сорвалась с места.

Рыжий кот, ласково помурлыкивая, ходил по столам, ластился к гостям, по-озорному шевелил шерстяные клубки лапой, вот он вскочил на загорбок дедке Нилу, впустил ему в спину когти.

— Брысь, фашистская твоя морда!.. — И дед сшиб кота на пол.

Ребятишки засмеялись.

Распахнулась дверь. Вместе с клубами морозного воздуха размашисто вошел в теплую избу огромный, широкоплечий дед Андрон и гулким басом поздоровался. Он весь был запорошен снегом. Дунька схватила веник, услужливо стала обметать старика.

— Ой, да и высок ты, дедушка, — суетилась она, вприскочку очищая его плечи.

Андрон присмотрелся к работе, сказал:

— Чего же вы над всякой ерундой-то ковыряетесь? Надо полушубки готовить. Григорьевна! — обратился он к председательнице. — А не худо бы тебе распорядиться, чтобы с каждого двора по овчине сюда тащили для фронта-то, либо по две. Оповести село-то. Согласны, жители? Я от себя три овчины подброшу. Надо постараться, жители. Не обеднеем. Согласны, нет?

— Согласны, согласны, дедушка Андрон! Дадим по состоянью, — отозвались люди. — Только кто шить-то будет? Шить-то надо с понятием, чтобы умеючи.

— Я буду шить, вот кто, — сказал Андрон. — Старуху засажу да двух снох. Ну да и вы пособлять будете.

Он сел к двери, закурил трубку, стал докладывать председательнице колхоза, сколько он выковал за неделю подков для лошадей, сколько поправил плугов и борон, сколько обтянул шинным железом колес.

Андрона, этого работящего старика, слушали внимательно. Колхозники относились к нему с большим уважением.

Затем он собрал вокруг себя ребят, стал сказывать им сказки.

2

В Барабинской степи буран валом валит, а на Ленинградском фронте морозная безветренная ночь и небо в ярких звездах.

Внук деда Нила, краснофлотец Иван Петров, служивший в морской пехоте, все ближе и ближе надвигается на передовой окоп фашистов. В дело пошли двенадцать человек, Иван Петров за старшего. И случилось так, что крупный осколок мины ударил Петрова в левую руку. Раненый сразу же ощутил режущую боль. Затем, истекая кровью, он стал терять сознание.

Старый Нил вряд ли чуял, что в тот самый час, когда он сбросил на пол рыжего кота-фашиста, его любимый внук Иван Петров умирает среди снежного поля, под холодным светом звезд.

Но Иван Петров не умер. Очнувшись, он увидел себя в кругу своей братвы. Братва не выдаст!! Братва на смерть, на любую опасность пойдет, а своего выручит.

В городском госпитале, куда Петров был доставлен, обнаружилось, что, помимо ранения руки, у него перебито два ребра.

3

В Барабинскую степь пришло письмо. Оно было оглашено на очередном трудовом вечере у председательницы колхоза. Читала внучка дедки Нила — двенадцатилетняя Параня. Девчонка крепкая, кровь

с молоком, вся в брата, и голос у нее звонкий, доходчивый.

Выздоравливающий Иван Петров, посылая поклоны родным и всему колхозу, описывал, как и при каких обстоятельствах был ранен. Теперь-то он поправляется.

Все приостановили работу и слушали Параньку внимательно, широко распахнув глаза. Даже рыжий кот навострил уши, сидя на краю стола и свесив к полу обгрызенный котами хвост. Дед Нил кривил рот, утирал кулаком слезы.

— «Драгоценные родные мои, матушка, дедушка, сестренка! И вы все, родные наши колхозники-хлеборобы! — звенел голосок Парани. — Так что я получил от советского правительства и от своего высшего командования медаль за храбрость. Порадуйтесь со мной вместе. Я со всей Красной Армией поклялся бить подлого врага всюду, пока не втопчем его каблуками на сажень в землю. Ну только и вы, родные мои, дорогие мои колхозники, не зевайте! Так что хлеба, хлеба и еще раз хлеба как можно больше для фронта вырабатывайте и всякой продуктовой всячины. Ежели в тылу разруха, то и армии туго будет, а тыл крепок, то и армия мощна, несокрушима. Так что вся наша палата в госпитале просит вас, дорогие колхозники, как можно усерднее трудиться, чему следует тридцать пять подписей, смотри в конце письма, а тридцать шестая подпись главного врача, он самый умный старик, представительный из себя, с большущей бородой и страсть какой до нашего брата добрый».

4

В труде и в заботах дни мелькали за днями, солнце все выше да выше забиралось в небе, проходили месяцы. И вот наступила дружная весна. Как-то враз согнало снег. Барабинская степь побурела и задымилась, подсыхая. Потом колхозники пустили палы, и вскорости степь залилась пламенным потоком.

Сгорали дотла бурьян и сорные травы, зола удобряла плодоносный слой земли. Ночью кругом, покуда глаз хватал, степь пылала. Над пожарищем подымалась тяга воздуха, и среди тихой ночи сам собой рождался крепкий ветер. Под ударами его степь превращалась в огненное море. Ночной мрак, колыхаясь и подплясывая, трепетал над пожарищем и плыл куда-то вверх, вслед за подрумяненными округлыми клубами дыма. Вал за валом катились пламенные волны, вот взмыл вверх осыпанный искрами золотой фонтан — вспыхнул ворох прошлогодней соломы, а там опять всполошный взрыв огня.

Иван Петров, лежа в госпитале, вызывал в своей памяти и эту такую далекую, такую знакомую ему картину. Степь в огне. Он вздохнул и подумал: «Что-то там на родине моей?»

А на его родине... Весна была военная, и все полевые работы были налажены на военную ногу. Все предусмотрено планом, точно намечено, где расставить тягловую и рабочую силу. Каждый, от велика до мала, знал, когда и что будет делать.

Первого мая, в праздничный день, началась пахота. Главную работу несли на себе женщины, молодые солдатки. Старики тоже не отставали, старики приободрились — помогали женским бригадам советом и делом. В первый же день колхозники перекрыли в полтора раза норму плана. Так началась военная весна.

Военная весна! Кто выдумал это хорошее слово? Оно должно веселить сердце воина, вливать в его мускулы силу, давать уверенность в том, что тыл армии крепок, что о воине есть большая забота, что на его родине все в полном порядке. Вот и отлично!

Действительно, в колхозе краснофлотца Ивана Петрова был полный во всем порядок. Хорошо работают детская площадка, ясли, где нашли себе приют сосунки, ползунки, ходунки. Бригада школьников под руководством учителя трудится на колхозном огороде:

будет капуста, будут огурцы, морковка, всякая овощь, будут и арбузы.

За пахотой начался сев, засеяно было две тысячи гектаров. Из города приехали две агитаторши, они читали колхозникам свежие газеты, вели беседы, выпускали боевые листки. Комсомольцы, отрывая от короткого сна часок-другой, делали стенную газету, веселую, с солью, с перцем. А название газеты: «Все для фронта».

Вот колокольчик зазвенел, почтарь приехал.

— Где председательша? — спросил он у поварихи.

— А Нина Григорьевна к машинам уехала. — И она указала в сторону, где гудели тракторы.

В обед, когда все сошлись в одно место, председательша, поблескивая черными глазами, сказала:

— Письма, бабоньки, получены с фронта. Всем кланяются! И еще они желают нам вырастить хороший военный урожай.

— Да ты читай всем в гул, — раздались голоса.

Краснощекая Параня стала в первую голову читать письмо брата своего. Между прочим, Иван Петров писал:

«Спасибо, родные мои колхозники. Так что я получил от вас третье письмо, так что знаю, как у вас все хорошо и благополучно проистекает касаемо работ. Доктор сказал, что мне придется еще полежать в госпитале месяца два, а после мы, говорит, пошлем тебя, товарищ Иван Петров, домой на поправку, в дальний рейс. Вот какой приятный старичок, он прямо-таки меня от смерти спас. Так что, дорогие мои, милые мои колхознички и все родные, нам с вами предвидится вскорости торжественная встреча».

Два вечера писались ответы на фронт. Надо было откликнуться на восемь писем. Все собрались в стане первой бригады. Гривастые костры горели. Вставала широколобая луна, в побледневшем небе мерцал зеленоватый бисер звезд. Справа, среди густых зарослей тальника, над спокойной речкой растекался во все стороны седой туман. В кустах крушины и боярки

бессонные соловьи зачинали плавные посвисты, в болотце покрякивал дергач, под каждой кочкой, в густых межах, поросших васильками и мятой, выбормaтывали перепелки свое: «Пить пойдем». Над степью веял аромат хлебородных нив, отцветающей смородины и медоносных трав.

Кучками приникли к высохшей земле холщовые палатки. Но никто еще не ложился спать. Обступили стол, на котором секретарь комсомольцев, юноша с быстрыми глазами, пишет письма. Со всех сторон сыпались подсказы, что писать.

— Пиши: «Несравнимо с прошлым годом, когда все колхозники были дома, — диктует председательша, — и живого тягла больше было, и тракторов больше, а нынче все-таки план сева увеличен на триста гектаров...» Пиши еще: «Мы дали клятву нашим мужчинам, когда провожали их в Красную Армию, трудиться со всех сил, то и вышли мы, женщины, да старики, по всему району на первое место».

И вдруг пропищал голосок непоседы Дуньки:

— Пиши!

Народ заулыбался, а проворная Дунька таки изловчилась бочком-бочком пролезть возле ног женщин к самому столу. Смущенно теребя худыми ручонками край фартука и посматривая по-серьезному в лицо писаря, она взахлеб заговорила:

— Пиши: «А пестренькая курочка с хохолком тети Офросиньи в тую пятницу петухом закукарекала, ей потому что оттяпали голову тогда, другой раз петухом не пой!»

— Ха-ха-ха! — всхохотали колхозники.

А Дунька обиделась.

— Вот тебе и ха-ха-ха, — передразнила она старших.

Еще сообщали в письмах, что хлеба развиваются дружно, а густая рожь колосится и цветет.

Когда все укладывались под звездным небом спать, председательница сказала взволнованным голосом:

— А помните, бабоньки, что пишет нам артиллерии гвардеец Пронин? Мы, говорит, ваши письма с родины перечитываем и в одиночку и всей частью по многу раз. У других, говорит, аж слезы на глазах. Будем же, бабочки, трудиться еще усердней, чтобы снова написать бойцам хороший отчет о наших делах.

5

Ивану Петрову, как говорят в Сибири, «пофартило». На самолете, направлявшемся на Алтай за бухтарминским медом и партией живых баранов, краснофлотец прилетел в Сибирь.

И тут опять «фарт»: встретил он в городском саду, за кружкой пива, какого-то очкастого. Познакомились. Очкастый сказал ему:

— Я корреспондент местной газеты, завтра еду на реку Бухтарму, к самым верховьям. Отправляйтесь со мной, ежели интересуетесь. Алтай увидите.

Наутро Иван Петров чисто выбрился и прифрантился: опрятная фланелевая форменка, хорошо выутюженные брюки, новый, с иголочки, бушлат, бескозырка с лентами, на левой стороне груди висит медаль, на правом рукаве — красная ленточка с золотом — знак тяжелого ранения. Высок, широкоплеч, в талии тонок, прическа чубастая, волосы — как лен, глаза серые, с хитрым прищуром. Крепок Иван Петров, а щеки все еще впалые, бледные, будто обсыпанные толокном.

И вот на легковой машине они двинулись с очкастым в путь. С каким упоением Иван вдыхал полной грудью воздух широких полей с цветущими травами, хлебородных нив, хвойных лесов! И где бы он ни появлялся, он всюду был свой человек, родной и близкий. Пожилые принимали его за сына, девушки за брата, старики за внука. Обильно угощали его пахучим медом, вкусной рыбой из горных речек, густой сметаной. Живи, сколько хочешь, поправляйся. Как сказочный богатырь, он с каждым часом наливался соками жизни, мускулы его крепли, щеки розовели.

Он бродил в большом селе по базару. Богатый торг. Из Тарбогатайского района колхозники навезли много мяса, муки, меду, масла. Ну, это ли не радость!

— Да, у нас в Сибири живут пока исправно,— не без гордости сказал газетчик.— Недаром наша Сибирь считается житницей фронта, да, пожалуй, и всей страны.

«Будем сыты, будем сыты»,— мысленно твердил краснофлотец, и его душу охватывало бодрое предчувствие неминуемой победы над врагом.

Берег. Немудрый мост. Речка Середчиха — бурный приток бурной Бухтармы. Они вышли с очкастым из машины, стали любоваться на сердитую речонку. Вода бьет в каменные щеки, в валуны, на порогах и шиверах вода кипит, как в котле под огнем.

К ним подошел сутулый старик.

— Вот, сынки, любуйтесь,— сказал он.— По этой речке нынешней весной мы на плотах много хлеба да всякого добра доставили в Усть-Каменогорск. А раньше-то она непроходимая была, речонка-то: на порогах валуны огромные. Веки вечные так было. А вот подошла война, народишко зашевелился, все дно от камней очистил без пороха, без динамита. И теперичь по весне смело на плотах кати. Сколько грузу сплавили по весне — страсть подумать! На лошадях возить полгода нужно было бы. А лесу на плотах гнали видимо-невидимо.

Саженях в ста направо, где берег был пониже, артель вытягивала наверх канатом бревна. А на самом яру шла стройка. Старик сказал:

— Это семье красноармейца Фетисова партийные да комсомольцы избу рубят. На прошлой неделе беда стряслась: накатилась из-за гор тучка, кэ-эк молонья осветит да гром грянет-грянет, изба-то в момент пыхом занялась. Вот и рубят новую. Потому: красноармейская семья — уваженье, значит. Наш колхоз — «Красное поле» зовется — отписал на фронт-то, Фетисову-то: так, мол, и так. У тебя избушка была, как у Бабы-Яги, на курьих ножках, а теперича пятистенок срубим. Форменно. Только старайся, Миша, немцев

колотить. А как выгоним извергов из родной земли, пожалуйте, Миша, любезный наш лейтенант, домой, в домик новенький, и просим милости жениться. А срубили вам избу, дорогой наш известный нам Миша, в один день.

— Как в один день? — воскликнул Иван Петров и широко распахнул глаза.

— Ну да, в один день. Нам чикаться некогда. Сегодня с зарей фундамент заложили, а к темну — милости просим новоселье править.

Иван Петров, не дослушав старика, поспешил на стройку.

Был четвертый час дня, а стены уже подведены под крышу. Работало человек с полсотни. Два печника с подмастерьями заканчивали печные работы. Стекольщики остекляли рамы, плотники тесали стропильные «ноги».

Краснофлотец поздоровался с артелью.

— Здравствуйте, очень приятно, — проговорил он и вкратце рассказал, кто он, откуда путь держит. — А разрешите-ка мне, Ивану Петрову, совместно с вами плечи поразмять.

— К нам, к нам, Ваня, — стали зазывать девушки бравого молодчика. — Ведь ты раненый, уж мы тебе что полегче...

Четыре девушки грунтовали олифой оконные ставни и наличники.

Ивану Петрову работать с ними было весело: хохотуньи, рослые, ядреные. Особливо Таня Четвергова. Фу ты, черт...

Объявили короткий паужин. Жевали всухомятку шаньги, калачи. Краснофлотец сидел в кругу молодежи, как именинник. Ах, какой милый, какой ласковый народ! Иван Петров прожил на свете двадцать два года и всего этого как-то не примечал. Шла и шла жизнь. А вот теперь...

Промелькнуло в упорном труде еще несколько часов. На землю улеглась сутемень. Лысая луна выставила из-за гор свою глазастую голову и видит: изба готова. Да не изба, а целый дом. По фасаду четыре окна, крыльцо с навесом, бревна чисто

выстроганы, ну прямо загляденье. Вот отошли, полюбовались: хорошо.

Семья лейтенанта Фетисова — дед, отец, мать с двумя девчонками, растроганные все, счастливые, в пояс кланялись артели:

— Желанные наши! Братцы да сестрицы, да доченьки... — и голоса их взволнованно дрожали.

— Что вы, товарищи! — отирая пот с лица, сказал председатель колхоза. — Мы для фронтовиков, в частном порядке для вашего Михаила, всё рады сделать. Поскольку он защищает родную землю, он всецело наш. До самой глубины наш!

— Вот что, товарищи, — сказал секретарь комсомола. — В следующий воскресник мы должны сделать столы, табуретки и все малярные работы закончить... Понятно?

Все направились по домам. Иван Петров провожал Таню Четвергову. От всего здесь пережитого он был внутренне взвинчен. Шутка ли сказать — в однодневье избу срубить! И такая чистая работа.

— А это все из-за войны, — сказала Таня. — Народ дружный стал и на работу лют.

— Очень приятно, — проговорил краснофлотец, прижимая к сердцу руку девушки. — Очень даже приятно. Я, Танюша, вскорости уезжаю к себе домой. И поимей в виду: как только войну закончим победоносно, я на тебе женюсь... Да оторвись моя башка с плеч — женюсь! Пойдешь?

— Да уж... чего тут... Знамо дело! — Таня оглянулась, — тишина была, золотые звезды, — быстро обняла она боевика-балтийца, чмокнула в распаленные губы и, как горная козуля, убежала... Вот чертова деваха!

6

На другой день очкастый поехал дальше. Тот же сутулый старик взялся сплавлять краснофлотца на лодке до пароходной пристани. Ну что ж, водичкой плыть дело привычное: не пыльно, не тряско, лучше и требовать нельзя.

Иван Петров усердно машет лопашными веслами. Ура, ура, раненая рука работает на славу, хоть завтра в бой. Вот только бок болит.

— Есть у нас во флоте шлюпки-двухвеселки, «тузик» называются, — говорит матрос, — вот в тех можно скорые узлы наматывать. Бывало — стрелой летишь!

В корме примостился на козьей шкуре дед. Через вздох и сипоту он рассказывал шершавым голосом разные были-небылицы. Солнце бьет в глаза. Быстрая вода на взмырах вся в бело-огненном панцире, нет сил смотреть. Обнаженные скалы обступили реку справа, слева.

— Айда, дедушка, к берегу! — командует балтиец. — Желательно на ту вон скалу забраться да глянуть во все концы, что и как.

— Валяй, валяй, — сказал дед. — Только высоко лезть, паря. Ну, да ничего, ты дюжий. А я покамест рыбы половлю да щербу сварганю.

Подъем был труден. Петров уже стал раскаиваться, что пустился в это путешествие, но пятиться краснофлотцу не к лицу.

Ровно четыре часа он карабкался на верх скалы.

А как глянул во все стороны, замер от восторга.

Пред ним лежал сам хан Алтай. Так вот он каков, этот сказочный Алтай... Горы, горы, хребты, бесконечные гряды, черные провалища, острые пики скал, зеленые сопки и снова огромные хребты. Чудилось, что весь хан Алтай всколыбался, что горные хребты сдвинулись с подножия и бегут, бегут куда-то. У человека обмерло сердце и закружилась голова. Но прошло мгновение, еще, еще и — весь Алтай застыл. Человек покачнулся и протер удивленные глаза. Да, Алтай застыл, недвижим. Бескрайная даль подернута сизой дымкой. Вблизи, верст на пятьдесят, воздух чист, прозрачен. И все как на ладони.

Огненное солнце сияет жарким пламенем. Весь мир, все бесконечные просторы, от зеленой, взбуровленной земли до неба, охвачены вечерним светом.

Сколько всюду ярких красок, сколько разноцветных ковров разбросано в долинах между гор. И как буйно поросли горные увалы лесом. А какие цвети-

стые склоны обнаженных скал: то изжелта-белые, то серые с голубизной, то розоватые, то темно-красные, как сгустки теплой крови.

Внизу сизой ленточкой змеится Бухтарма. И тут, почти рядом с человеком, — зверушка малая: бурундучок. Привстал на задние лапы, присвистывает, радуясь угревному теплу, и черным бисерным глазком кротко глядит на человека. С дерева на дерево перепархивают сойки, да чивикают, летают табунками какие-то пичуги.

Человек посмотрел направо. Там плавными линиями чертились на синем небе белоснежные, с вечными снегами, Уймонские «белки». Вечные снега! Петров много слышал о них от отца, от стариков. И вот теперь он весь в тихом очаровании. Он благословлял горный легкий ветер, что ласково обнимал его со всех сторон и шевелил льняные его кудри, он благословлял вечернее солнце, что освещало серебряные шапки далеких гор, где даже в летнюю пору бушуют снеговые бури и куда редко залетают горные орлы. Он весь обмяк душой, повернулся лицом к своей родине. «Матушка, батюшка, родимая земелька...» — шептал он, хотел еще что-то сказать, что-то важное, значительное, но слов не было. Да, да, не было у него слов... Вот ноги его подогнулись, он опустился на колени и припал лицом к земле и целовал теплый гранит скалы с благоговейным трепетом, как целовал родную мать свою при последней разлуке с нею. Глаза его стали мокрыми.

Не давая остыть сердцу, он обратил взор свой на заходящее солнце, в сторону России, в сторону фронта, в сторону Москвы, и на полный голос закричал:

— Товарищи! Эй, товарищи, братва! Эй!

И обступившие его горы прогудели: «Эй!»

— Я здесь, товарищи, на горе!.. Я, Иван Петров, воин русский, балтфлотец, сибиряк... клянусь вам, клянусь!..

И горы, словно живые, отозвались: «Клянусь».

Он короткую, но сверкающую, как молния, произнес клятву: вернуться на фронт и, ежели нужно

будет, отдать жизнь свою на защиту своего отечества.

Пронизанный чувством внутреннего света, он будто на чудодейственных крыльях спустился с высокой вершины вниз. Он спустился вниз, в гущу повседневности, к дымному костру, к сутулому деду. Грустно взглянул на вершину скалы, где только что был, затем перевел взор на деда, на котелок со щербой из рыбы и тяжело вздохнул.

Он чувствовал, что в его душе накопилось много нового — мало ли он видел на поле брани: и всякую жизнь, и всякую смерть, и сам был в зубах у смерти!

Нет, ему не двадцать два года, ему, пожалуй, полсотни, ежели не больше, — война многому научила, — Иван Петров другим, зрячим стал.

7

В версте от берега, в широкой долине, большое село. Надо и там побывать. Идут со стариком полями. Навстречу пожилой крестьянин на деревянной ноге, лицо скуластое, бородатое, рубаха по-сибирски — беспоясая.

— Иду да радуюсь, — говорит он, здороваясь со встречными. — Вот пшеница, вот пшеница уродилась! Гляньте-ка, солома без малого два метра вышины. А колос-то! Ха! Да нынче по полтораста пудов с гектара соберем. Это уж как пить дать, вернее верного. — Он сорвал колос, растер между ладонями, сказал: — Доходит. Эх, мои сыны, красноармейцы, довольны будут, как отпишу на фронт про урожай...

— Сколько у тебя их? Двое? — спросил старик.

— Двое осталось, это верно... Двое, — ответил одноногий и, потупясь в землю, глубоко вздохнул: — Да, да, да... Двое осталось, а третий, молодший-то, без вести пропал. Ну, стало быть, убит... Убит, убит, сердяга, сложил за нас голову, за Расеюшку...

— Может статься, в плену...

— Чего это, в плену?! Наш род не из таковских. Так полагаю, Сергунька мой ни в жизнь не сдастся

в плен. Старуху-то я утешаю: в плену, мол, а сердцем-то отцовским чую: убит Сергунька. — Он опять вздохнул, отвернулся, причвыкнул носом.

Иван Петров, с интересом разглядывая мужественного калеку, спросил:

— А где ногу-то потерял? Не на войне ли?

— На войне, на войне, — оживился загрустивший человек. — На первой германской... У Брусилова-генерала в корпусе был... Вó генерал, вó вояка! Ну, да и сибиряки наши, один к одному, прямо тигры. Помню, два брата Омельяновы, богатыри. Немец густо шел, так они в рукопашном бою штыками широкую улицу проложили себе: штыком подденут немца да через себя, подденут да опять через себя. Вот какие силачи! А как бой кончился, они, оба брата, на сырой земле с час сидели вроде как вне ума. Дюже шибко тряслись. И водки не пожелали пить. Еле-еле оклемались. А вскорости и мне ногу оторвало, тогда в артиллерии я был.

Иван Петров усмотрел огороженное на взлобке место, дом, сараи и за изгородями несколько комбайнов, корпуса этих «степных кораблей» были выкрашены в яркий синий цвет.

— Пойдем-ка, дед, туда, — сказал он своему спутнику.

Они простились с одноногим крестьянином и пошагали дальше. И не успели отойти десяти шагов, как услыхали:

— Стойте-ка! — Калека, поскрипывая липовой ногой, подкултыхал к ним. — А чего же вы, братцы, не спросили, каковы сыновья-то мои? Старший мой сын Константин — гвардии артиллерийский полковник, ваше высокоблагородие по-старинному. Награжден боевым орденом, и в газетах про него писали, сколь он храбр да в военном деле сведущ. А другой сын — на войне курсы кончил, лейтенант теперь. Вот, родные мои, вот. А я царской службы унтер-офицер, георгиевский крест на мне... — И он с гордостью дотронулся изогнутым большим пальцем до высокого солдатского ордена, который он успел приколоть к сибирской с широким воротом рубахе.

8

Возле комбайна работала бригада из шести девушек. Здесь была крупная машинно-тракторная станция. Девушки вопросительно уставились на подошедших.

— Здравствуйте, товарищи девушки! Очень приятно... Я — Петров, моряк.

Девушки были одеты по-мужски, в штанах. Миловидные, стройные, две высоких, две средних, две маленьких. Эх, черт! Вот бы к высокой, такой гибкой и ловкой, да приставить красивую голову маленькой, да приделать густые, в руку толщиной, длинные косы среднего роста девушки, как ее, Маруся, что ли. Вот бы.

— А которая же из вас начальница над бригадой? — спросил Иван Петров.

— Ну, я бригадирша, зовусь Поля Зубенко, — назвала себя высокая складная девушка и такой улыбкой подарила краснофлотца, что сердце Ивана Петрова сладко замерло.

Над двумя другими комбайнами работали смешанные бригады: девушки, парни, старики.

Вечером из мастерской вышел механик, принял от Поли Зубенко работу, сказал:

— Ну, у тебя, как всегда, на «отлично». Хоть и не смотри. Можете сматываться по домам.

Поля Зубенко пригласила бравого моряка к себе. Но только в дому у них много тараканов, а пусть он ложится спать на сеновале, там и пастух колхозный почивает: теперь, мол, ночи теплые, на сене мягко и легкий дух. Ну что ж, Иван Петров согласен, черт возьми, в крайнем случае и на сеновале. Он в крайнем случае и с пастухом колхозным и со стариком своим на ночлег устроится. Эх, Поля, Поля...

За ужином мать Поли говорила:

— Вот и у меня, вдовы, сынок на фронте, ранение он получил... В плечо, в плечо рану принял, пулей. В госпитале в Пензе-городе нынче... Пишет: поправляюсь, мама, не скучай! А как не скучать? Мать ведь. — Она посморкалась и ушла за перегородку.

Иван Петров с горестью поглядел ей вслед, сказал:

— Да-а-а, слез много проливается, крови горячей того больше. А кто? Гитлер все. Будь он трижды проклят.

— Не давайте передыху немцам, бейте их, а уж мы вам поможем, — промолвила Поля. — Ежели вы, бойцы, стараетесь за храбрость да за уменье в гвардейцы выдвинуться, так и мы тоже. Вот взять мою бригаду, шесть девушек, — мы считаемся теперь за усердие свое гвардейцами тыла... И гордимся этим... Ого! Ходим козырем. Весь план выполнили досрочно, всем носы утерли.

Поля стала рассказывать о том, как с весны на машинно-тракторной станции соревновалось по ремонту несколько бригад. Девушки Полиной бригады вставали на работу до свету, подбирали детали, осматривали механизмы, приводили в порядок режущий аппарат, полотно, молотилку, мотор. Перерыв на обед сократили, питались всухомятку, на ходу. А вечером дотемна работали.

— И отремонтировали мы своей бригадой ни много, ни мало — пять комбайнов.

— Вот это да-а-а!.. — протянул с восхищением Иван Петров. — Вот об этом-то обязательно на фронте расскажу. И обо всем, что видел хорошего у вас. А повидал я много кой-чего... Не знаю, как в других местах, может, там всякие прорывы водятся, а тут пока что — баско! Отрадно, честное красноармейское слово, отрадно. Ты как, Поля, думаешь, подымет это боевой дух фронта?

— Обязательно! — воскликнула девушка.

На следующее утро Иван Петров собрался уезжать.

9

И снова в лодке. Бухтарма попутным течением несла лодку быстро. На перекатах взмыривали белячки. А вот... Что это такое? Возле берега крутятся силой течения два огромных наливных колеса. Они

насажены на вал, уходящий в проем бревенчатого прибрежного сруба.

— А это, батюшка ты мой, — положив весло, сказал старик, — водяная установка называется.

Путники вылезли на берег. К ним подошел рыжебородый крестьянин с дымящейся трубкой в зубах.

— Откудов, проезжающие? — спросил он басом. — О, да никак, матросик? Ишь ты, форсистый такой, и с медалью. В побывку, что ли?

— В побывку. Сильно ранен был. Отпустили отдохнуть.

— Добро. Ну, как там у вас?

— Да ничего, — сказал Иван Петров, — воюем. И крепко воюем!

— Дай-то бог, — сказал крестьянин, и суровое лицо его повеселело. — Ведь мы сводки-то с фронта каждое утро слушаем по радио. Без этого нельзя. И газеты читаем. Мы ведь тут тоже сложа руки не сидим. Вот видишь штуковину-то эту, механизм-то водяной? Теперь мы всецело с электричеством живем, прямо свет увидели. И молотилка от этого же привода работает.

— Этакие молодцы вы, колхозники, — не утерпел Иван Петров.

— Погоди хвалить... Вот через месяц приезжай, тогда хвали. Изгибень-то реки видишь? Ну, так вот за тем мысом будем всецело новые колесья ставить. Там митинг сейчас...

Поплыли к тому месту. Возле каменистого утеса — большое собрание. На берегу штабель бревен и досок. Высокий тощий учитель в очках с горячностью в голосе и жестах говорит собравшимся:

— Вы знаете, товарищи, что на реке Тургусуке — отсюда не так уж далеко — на водяной энергии работает лесопилка, мельница и молотилка. В колхозе «Свободный труд» на реке Осиновке даровая сила движет две молотилки, мельницу, лесопилку и зерноочистительные машины. Там же, товарищи, на берегу Осиновки построена фабрика зерна — это первый в нашем крае колхозный элеватор. Сейчас колхозные

мастера-специалисты сооружают там еще одну установку, невзирая на военное время. А может быть, именно потому, что сейчас военное время. Война идет, товарищи! Этим все сказано... — Он откашлялся, посверкал очками и продолжал: — А поэтому мы, колхозники, сегодня же приступим к работам по устройству нашей второй водной установки. Инженер, спасибо ему, из города приехал с чертежами, механик свой доморощенный имеется, материалы имеются, и силы в наших руках хватит... Лишь бы огонь в груди горел... Итак, товарищи...

— Верно!.. — перебил учителя сивый долгобородый дед в старинной шляпе гречневиком. — Дозволь! — И он вскинул вверх тяжелую руку.

— Вали, вали, дед!

— А валить мне нечего. Долго языком молоть не буду. Я, братцы, только насчет огня в сердце... Есть такая присказка старозаветная: «Сумеешь, так и снег загорится, не сумеешь, так и карасин не вспыхнет». Вот вам...

— Золотые твои слова, дедушка Пахом, — заулыбался учитель, и все вокруг заулыбались. — Все от нас зависит, от нашего усердия. Приналяжем, товарищи! Война идет! Пособим государству, пособим великой родине нашей.

Очкастый газетчик, слушая речь, что-то записывал в памятную книжку. И откуда он взялся? Вот черт... Да уж он ли это? Да, он самый: похожая на дыню голова, большущие очки, усы сбриты, на подбородке две рыжих кисточки вроде бороды.

— Здравствуйте, очень приятно, — подошел к нему Иван Петров. — Как это вы столь быстро обернулись?

На высоком шесте подняли красный флаг, рыжебородый дядя с суровым лицом в честь торжества грянул из берданки. И работа началась. К месту работ подводились по реке три сплотка с копрами: стали готовиться к забивке свай под перемычку. На берегу и на воде все с азартом принялись за работу.

Лишь один большеголовый и толстогубый парень лежал под березой вверх лицом, храпел.

— Разбудите Кешку! — раздались сердитые голоса. — Он опять лодыря гоняет.

— А какой прок в нем? Он завсегда был поперечником, нешто он станет работать.

Однако Кешку растолкали, он приподнялся, взглянул на людей сонными, припухшими глазами, прохрипел:

— А подите вы со своей работой... знаете куда? — и снова повалился в холодок.

Парни отступились. Подошел рыжебородый с суровым лицом дядя, схватил Кешку за шиворот и поставил дубом. Кешка рванулся и с силой лягнул рыжебородого ногой.

Тут на Кешку бурей налетели девушки, подхватили его под руки и под ноги и потащили, как барана, к яровому берегу.

— В воду его! В реку! Пусть поплавает, очухается! — взахлеб кричали озлившиеся девушки. — Раскачивай, девоньки, раскачивай сильней!..

— Стойте! — заорал благим матом Кешка, цепляясь за платья девушек. — Ну вас... Ладно уж, буду работать. Согласен. Ну вас!

Он засопел, оправил рубаху, чихнул и, нога за ногу, стал спускаться к сплоткам — сваи забивать.

— Почему это он, такой бык, не в армии? — спросил Иван Петров учителя. — Его бы к нам во флот да в водолазы, пускай бы под водичкой в скафандре погулял.

— Годы еще не вышли, — ответил тот. — А между прочим, прошлой зимой он трех медведей в тайге устукал. Вот он какой, чертушка! И знаете что? — вдруг загорелся учитель, снял очки и заморгал воспаленными глазами. — Сейчас работают здесь пятьдесят четыре комсомольца. Они все до единого охотники, великолепные стрелки. Мы добыли из города в наш район три винтовки с патронами, и наши парни учатся боевой стрельбе... Снайперы, настоящие снайперы! Это от природы так, их деды-прадеды охотниками были. Они, молодежь-то наша, из своих малопулек бьют белку прямо в глаз, чтоб шкурку не

попортить. И я думаю, что по всему Алтаю мы тысячи снайперов готовим. Да еще каких!

— Это приятно слышать, — широко заулыбался Иван Петров. — Ха! Тысяча снайперов пять фашистских дивизий скосить сможет.

Подошел лохматый агроном в длинных сапогах и грязной куртке с оборванными пуговицами.

— Может быть, вы вообще интересуетесь нашим хозяйством и что мы для фронта делаем? — обратился он к газетчику и к Ивану Петрову. — Я мог бы показать вам птицеферму, еще общественный ледник, где мы копим для армии сливочное масло. Оно будет лежать там до холодов. Ну, что же еще? В птицеферме нашего села двести семьдесят семь породистых кур, — хвалился работяга-агроном. — Мы уже имеем от них семнадцать тысяч яиц. В нашем районе таких птицеферм довольно много. План — к Октябрю доставить на фронт двести тысяч яиц.

— Ого-го, двести тысяч! — воскликнул моряк. — А масла? Записывайте, товарищ писатель.

— У нас в районе великолепное племенное хозяйство. Сто двадцать замечательных коров, — продолжал польщенный агроном. — Есть коровы без малого тонна. Дают некоторые до сорока литров жирного, густого молока. В нашем селе два сепаратора работают. У нас ледник для всего района. На сегодняшний день уже собрано около шести тонн масла. Все для фронта!

— Очень, очень приятно, — сказал Иван Петров. — Записывайте, товарищ писатель!..

10

— Тетя Дарья! Беги скорей! Сын твой приехал. Иван твой приехал. С медалью! — звенели в вечернем воздухе голоса ребят, пробегавших мимо избы родителей Ивана Петрова.

Дарья так и ахнула; она несла поросятам месиво, бросила корытце да бегом вдоль по улице, да в переулок, да вдоль дороги. За ней, суча локтями, с тру-

дом отдирая старые ноги от земли, спешил древний дедка Нил, — не ноги его несли, а он с великим кряхтеньем волочил их за собою.

По обочинам дороги мчались детишки, а впереди них взлягивал рыжий теленок, хвост кверху, штопором, за ним с громким лаем три вислоухих собачонки.

А шустрая Параня уже крутилась возле брата. Он поднял ее на руки. Вдруг видит: мать на бегу споткнулась, плашмя упала на дороге — пыль пошла. Иван быстро к ней:

— Матушка! Родная моя! Здравствуй...

Мать повисла у него на шее, всхлипнула и заплакала. Каждый мускул худощавого лица ее трепетал и подергивался, густые, льняного цвета, волосы растрепались, платок она обронила на дороге.

— Иванушка, Иванушка, — от самой душевной глубины выдыхала она, еще крепче обнимая, еще с большей жадностью целуя сына в щеку, в лоб, в глаза.

Вот и дедка Нил подшаркал.

— Обманули меня ноги-то, не слушают. Здорово, Ванька! — и тоже запричитал, заплакал, и древнее лицо его взрябилось глубокими морщинами.

— Что же ты, матушка, иссохла так? Хвораешь, что ли? — спросил Иван, ласково поглаживая ссутулившуюся спину матери.

— Да ведь как не высохнуть, — заглядывая в глаза сына, ответила мать. — Ведь вас двое у меня — ты да батя твой. Вот ты-то жив-здоров, слава тебе господи... И при медали... Ну, поздравляю тебя, Иванушка!

— Поздравляю, поздравляю, Ванька... При медали теперь, форменно, — прошамкал и дедка Нил.

— Ну, а батя-то? — торопливо спросил встревоженный Иван.

— Да, батя, слава тебе господи, тоже живой. По письму — живой. Только письмо-то дюже долго шло. Вот и думается все... Думается и думается. Ночами не сплю, горькими плачу.

— Брось, матушка. Живы будем. И во счастии, — сказал Иван.

Полна изба народу к тете Дарье набралась. Всякой сытой снеди, медового пива принесли — выпьешь два стакана, с ног слетишь.

Расспросы посыпались: как да что, да куда ранен был? Внимательно слушали, оглаживая бороды, прищелкивая языками.

— Плохо воюете, не славно как-то, — сказал дедка Павел, приятель Нила, и затряс головой.

— Учимся воевать. Да уж и научились, — с горячностью стал возражать Иван. — Мало ли тоже у нас побед было. Не один миллион побили мы фашистов-то. Долго ли, коротко ли, а немец кровью изойдет. Тогда хоть голыми руками бери его. Вот от Москвы отогнали, у Тихвина лупку гадам задали, да мало ли! Удары по всему фронту готовятся. А уж как грянем-грянем, лови-бери-подхватывай!

— Эта немецкая кобылка востропятая, — загудели голоса, — эта саранча, все одно что комарье, — налетели облаком да с большого ума в патоку и вбякались. Ха-ха!.. Вкусно? Сладко? Тут им и карачун. Захряснут!

— Отогнать-то отогнали, это верно, — не унимались иные захмелевшие дядьки. — А вот... этакий урожай на Украине да на Кубани отхватили они, язви их в маковку.

— Да, урожая, конечно, жаль, — тихо проговорил Иван, вздохнув. И все вздохнули. — Кубань многохлебная. Да я так думаю, что урожай там наши успели снять и вывезти, а ежели не сняли, то сожгли.

Тут вылез огромный, под потолок ростом, дед Андрон, положил Ивану руку на плечо и, выпучив глаза, на всю избу закричал:

— Не кручинься, Ваня! Ежели где наш хлеб пропал, это еще с полгоря. Мы Расею одни прокормим. Прокормим!.. Да не только ее, матушку, а весь свет Сибирь наша прокормить может. Так уж ты, Ваня, не горюй!

— Верно, верно, дедушка Андрон, — загалдела застолица. — Правильно молвишь... На-ка, выпей чапурышечку...

— Прокормим! — потрясая пудовыми кулаками, еще громче стал кричать Андрон. От его громового голоса шли по избе гулы, позвякивали стекла.

Этот русский богатырь, несмотря на свои годы, был первым в колхозе работником. Кузнец и слесарь, шорник и портной, словом — мастер на все руки, а где лошадь не возьмет, дед Андрон сам впрягался в воз.

Гуляли почти целую ночь, до третьих петухов. Курлыкала гармошка, развернулись плясы. Иван Петров, потряхивая чубом, притоптывал, крутился с подружкой своей, смуглой и грудастой Любой Старостиной.

По селу, сквозь густую сутемень, еще долго раздавались басистые выкрики неуемного Андрона: «Прокормим, ядрена каша, про-око-о-рмим!» Да еще текла, не так уж складно кувыркалась песня: «Эх ты, Ваня, разудала голова...» Козлиными голосами подпевали два старика, два друга — Нил да Павел. Обнявшись, они вспотык мотались то вдоль, то поперек улицы, падали на карачки и снова подымались. Утром их нашли крепко спящими в зарослях чертополоха.

Первые два дня Иван Петров провел в полном отдыхе. Написал подробные письма: отцу на фронт, еще — госпитальному доктору.

На третий день он встал на колхозную работу: подоспело время со жнитвом и пахотой зяби. Правда, трудным делом ему заниматься было несподручно: поврежденный бок все еще давал о себе знать.

Так, в труде, прошла неделя. Клятва на горе алтайской не выходила из памяти Ивана Петрова. И стал он, несмотря на недомоганье, собираться в путь: надо на фронт поспешать, за автомат свой браться, чтобы немец не засиживался на чужих землях.

И поехал сын земли сибирской туда, где огонь, где борьба, где победа.

ГОСТЬ ИЗ СИБИРИ

Конец октября. Приближается день великого советского праздника. У костра сидят человек двадцать красноармейцев. Большинство — сибиряки, но были и вологжане, и тамбовцы, и костромичи. После упорных боев их часть отведена на отдых. Они нетерпеливо поджидают делегата из Сибири, дедушку Никиту. Он приехал с эшелоном из-под Иркутска, подарки от колхозников привез.

И вдруг раздалось с вершины «караулистого» дерева: «Идут, идут!»

Все поднялись с земли, оправили гимнастерки и шинели. На притаившуюся в лесу полянку размашисто вышел высокий дюжий старичина. За ним четверо нагруженных мешками красноармейцев. Лицо у старика веселое. Белая, будто серебряная, окладистая борода, над высоким лбом вихры густых волос, на широкой груди медаль и два георгия. «Ишь ты, — подумали красноармейцы, — да дедушка-то, видать, вояка».

— Здорово, дружки! Здорово, ребятушки, сынки да внуки! Защитники вы наши, надежда наша, любовь наша первейшая, — и старик отвесил всем низкий поклон, коснувшись вытянутой рукой до самой до земли.

Бойцы дружно прокричали:

— Здравствуй, дедушка Никита! С приездом! Благополучно ли?

— Ха! Эвона... Да у меня, сынки, завсегда благополучно. Живи, не плошай, бей врага в хвост и в гриву, вот и во счастии будешь... Ну да еще об этом потолкуем на особицу. А вот, кажись, сам товарищ командир...

Дед Никита крепко обнял подошедшего к нему старшего лейтенанта Деборина.

— Здорово, товарищ командир, — и принялся по очереди целовать всех красноармейцев. — А отчего у меня слезы текут? — утирая глаза, говорил старик. — А от радости, сынки! Вижу, с каким усердием землю родную обороняете вы, как врага бьете. Да и в пути своем — я вить не одну тысячу верст проехал — высмотрел я, как матушка Сибирь фронту помогает. Целые горы хлеба готовит, масла самолучшего, рыбы, мяса, пимов, полушубков, всякой сряды, даже орешков кедровых вам наши девки шлют. Ведь я двенадцать вагонов пригнал на фронт. Ни-и-чего! Живы, братцы, будем и во счастии. Эй, молодцы! — крикнул он провожатым. — Развязывай-ка мешки с добром. Шевелись-копайся, в руки не давайся! Где у вас, ребята, котелок-то? Нет, этот дюже мал... Давай вон тот! — командовал дедушка Никита. — Подчерпни водички, пельмени сейчас варить учнем. Эх, добры пельмешки, со свининкой, с почечным сальцем, с перчиком. Ну, готово? Давай на костер, пущай кипят.

Расторопный дед достал из мешка пакеты с махоркой.

— Налетай, братцы, налетай! Не все сразу, по одному, да почаще, по одному, да почаще. Лови-бери-подхватывай! Сибирская махорочка... Ох, и забориста, ох, и духовита! Один курит, четверо чихают! — И, загоготав, как леший: «Го-го-го-го!» — он напевным шуточным голосом запричитал: — А ну, подходи к деду Масолóву понюхать табачку носового! Для чего же табак курить да нюхать? На гору одышка не берет, под гору спотычка не живет. Ну-ка-а-а, раз!

Разыграв эту веселую штучку и раздав бойцам табак, дед достал из другого мешка четверть водки и стакашек:

— Товарищ командир, разреши... Можно, нет?

— Можно, можно, дедушка.

И дед, приударив ладонью по четвертной бутыли, опять разыграл штучку:

— Эвот, братцы, зеленó, не прокисло бы оно! Ну-ка, р-раз! А кто крякнет, тому два...

Выпили. Дед сказал, что раздача доставленных подарков будет перед праздником, после митинга. Уселись пельмени есть. Потекли разговоры.

— Да, товарищи, — молвил командир. — Я сам инженер, костромич, но мне доводилось с сибиряками и на производстве в Сибири работать, и на войне воевать. Сибиряки — прямо скажу, народ отменный! А как воины — первый сорт. Я всячески испытывал их и присмотрелся к ним. Да, дедушка Никита, сибиряки твои дорого стоят.

— Благодарствую, — ответил дед и поклонился.

— А какие таварищи чудесные, — ввязался другой красноармеец. — Он лучше сам погибнет, а товарища спасет. На моих глазах из самого лютого огня сибиряки раненых бойцов выволакивали на себе... А опять же взять, какие стрелки. Вот стрелки! Без промаху бьют. Сибиряк и ночью видит, словно кошка... От природы, что ли, это?

— Известно, от природы, — сказал красноармеец-сибиряк. — Я из сотни патронов разве что пяток промажу.

— А почему? — проговорил дедушка Никита. — Ведь мы природные звероловы, таежные охотники. Сызмальствá!

— Да и сила у них, ого-го! — восторженно сказал черноглазый красноармеец. — Прямо медведи какие-то... И чего они там едят, в Сибири-то своей, на чем силу копят, этакие рослые да матерые?

— У нас, в Сибири, сынок, воздухá сильно питательные, — подмигнул старик красноармейцу. — Питательные воздухá у нас, таежные. Ну, да сверх воздухов и пища добрая: своей убоинки сколь хошь —

в хлевах овцы да свиньи с коровками, в реках — рыба, в тайге — сохатый да птица. Ешь — не хочу!

— Когда мы проводили Чуйский тракт через Алтай, от Бийска к Кош-Агачу, — сказал командир Деборин, обжигаясь горячими пельменями, — встретил я настоящего богатыря, этакого Микулу Селяниновича, и, как сейчас помню, фамилия его Волжин. Старик. Огромный, как медведь. Так он за бутылку водки пронес на себе крепкого коня. Сажен сорок пёр...

— Да неужели? — заинтересовались красноармейцы.

— Если б сам не видел, не поверил бы, — сказал командир, разжевывая пельмень. Вдруг он сморщился и выплюнул жвачку на ладонь.

— А-а-а, — заулыбался дед. — Счастливый пельмень тебе попал. Это бабы наши на каждые три сотни один такой пельмень делают, замест мяса — уголек. Значит, во всем тебе удача будет, товарищ командир.

— Спасибо, — ответил Деборин. — Обычай недурен. Ну так вот я и говорю. Подошел при мне старик Волжин к рослому белому мерину, грудь в грудь. Схватил его за передние ноги, натужился, подбросил на дыбы, а сам мырк спиной ему под брюхо, взвалил коня себе на спину, попёр. Да так через двор к воротам. Конь только кряхтит да удивляется. Мы все ахнули!

Красноармейцы головами закрутили:

— Вот так это человечище!

А дед Никита, закуривая трубочку, сказал, ласково улыбнувшись:

— Да, силачи в нашей стороне еще не вывелись. Да вот я вам без хвастовства. Я медвежатник, много медведушек-батюшек посвежевал в тайге. И вот был случай. Себя испытать хотел. Встретился с медведем один на один. Всплыл он на дыбы, матерущий, страшный, ну чисто конь, да на меня. Я рогатину насторожил, жду милого дружка. Он подшагал ко мне да как рявкнет! А я на него еще громче рявкнул. Он остановился, нюх-нюх носом да опять как рявкнет

пуще прежнего. А я воззрился на него да как гаркну само́ громко! Вот этак стоим да рявкаем друг на друга, пытаемся один другого устрашить. И что бы вы думали? Когда я рявкнул на медведя со всех сил, он уши поджал, опустился на четыре лапы, да ходу, ходу от меня. И понос его прошиб, кишка сдала. Вот, ребята, и человека и зверя не только силой, а и страхом можно в бегство обратить. Так в аккурат и на войне. Точь-в-точь...

Старик замолк. Красноармейцы недоверчиво перемигнулись, посмеялись.

— А ну-ка, дедушка, еще чего-нибудь. Ты человек бывалый.

— Бывалый-то бывалый, — согласился дед. — И вот, ребята, имейте в виду: на войне допрежь всего на врага озлиться надо, лютость в сердце чтоб жила. Да вот вам слушайте! Как-то у нас, это еще в далекое время было, в селе съезжий праздник начался, чужих парней много понаехало. Напились, драться стали. Возле церкви на горе войнишка идет у них, пластаются стенка на стенку, человек по полсотни с каждой стороны. А мы, мужики, на завалине под рябинами сидим, разговоры разговариваем, балакаем. Глядь-поглядь: выскочил из соседней избы да шасть к нашей беседе парень пьяненький, Кешка. Силач, верзила, а в обыкновенной жизни — что твой теленок, кроткий, незлобивый. Кричит мне: «Дядя Никита, дай мне по морде со всех сил!» — «Нет, не дам, — отвечаю, — ты мне худа никакого не сделал».

А он: «Дай, тебе говорят! А то я шибко смирный, а мне беспременно озлиться надо: нешто не понимаешь — наших бьют...»

Видит, что я не в согласье, он к другому, он к третьему, — нет, никто не желает обижать его, уж очень хорош парень-то. Он к Силантию, даром, что его не любил. «Дядя Силантий, ну хоть ты дай мне в морду самосильно, в ножки поклонюсь тебе. Ну дай, ну дай, ради Христа!»

А Силантий рад, встал, развернулся, хрясь парня в ухо.

Кешка едва устоял, крикнул: «Ну, спасибо тебе, дядя Силантий, хорошего леща дал мне, спасибо!.. Теперича я в ярь вошел, теперича воевать могу!.. Всем башки сверну да на березы закину!»

Тут Кешка наш плюнул в горсть, выпучил глаза да к войнишке ходу. Всех погнал там, всех побил. Вот вам... Раскусите-ка, ребята, сказ-то мой.

— Больше чем наполовину раскусили, дедушка, — весело посмеивались красноармейцы, посматривая на белобородого Никиту.

Воины смотрели на старика, старик на них, а солнце глядело на весь мир. Солнце было осеннее, неласковое... Кого ему ласкать, чему радоваться? Не напевные звуки сладостной музыки долетали к нему с земли, а смертоносный грохот орудий, кровь текла по земле. Солнце было угрюмое, хмурое. Но поляна, но охвативший ее со всех сторон лес были близки и милы душе. Блеклые травы кругом всё еще пыжились, вон там, возле взрытой снарядами воронки, кучка запоздавших цветов; там, у опушки, красуется выводок рыжиков, там кружится в воздухе толчея комаров — это к вёдру. Деревья стоят призадумавшись, словно в дреме. Зеленые косы белоствольных берез облысели, листья наполовину осыпались, пошли в желтизну. Кусты боярышника и крушиныягоды оделись в пурпур. Янтарные гроздья рябины клонятся книзу. Темные ели в своих темно-зеленых шубах не боятся зимы — им мороз не в мороз! Плывут паутинки, порхают пичуги. От костра несет свежим дымком, но лесные трущобы пахнут осенью, тленом. Вот взмахнул ветерок, и желтый лист, шурша, полетел к двум пулеметам, покрытым дерюгой. Патронные ящики, клочья газет, землянки, палатка командира...

Дед Никита обвел глазами весь этот кусок русского мира, и что-то всколыхнулось в его душе. Лицо его сразу стало значительным и даже торжественным.

Старик поднялся во весь рост — высокий, прямой, широкоплечий.

— Вот, сынки, теперь подумайте-ка, ребятушки мои желанные, кого вы да что ныне защищаете?

Дома свои защищаете, родных, знакомых и весь народ советский! Тут уж один за всех, все за одного. Нам, ребята, остервениться надо на врага, все время внушать себе надо: ты, немец, лют, а я вдвое лютей тебя, ты силен, а я вдесятеро тебя сильнее; ты в мою землю залез, ты в моей сторонушке родимой господином надо мною хочешь стать... Так не бывать тому! Повалю я тебя, окаянная твоя сила, сомну я тебя. Ты для нас не великая диковинка. Не стоять бровям выше лба!

Дед Никита ударил себя в грудь, георгиевские кресты на его груди встряхнулись, звякнули.

— Да, братцы... Кончилось время жалеть себя. Родину жалей, а не себя. Умри, а родную землю защити. Только плох тот вояка, который умирать собрался. Грош цена тому в базарный день. Взгляните на меня: в страшительных боях был, а жив-невредим остался...

Старик вскинул руки вверх, и густые брови его грозно сдвинулись.

— Вот мне шестьдесят три года, а я с тридцатилетним потягаюсь. И порешил я, твердо порешил: пока война не кончится, пока врага не изничтожим, в Сибирь мне не возвращаться. Запрет себе в сердце положил. В партизаны вступлю, буду стараться по край ума своего... Далеко моя родная Сибирь, да не в ней одной суть. Хоть и темен, малограмотен я от рождения, а как раскину умом-разумом да спрошу себя: а где моя родина? И отвечу без запинки: вот и полянка эта родина моя, и по родине ехал я восьмеро суток, и к западу родина, и к югу, и к северу. Вся русская земля родина мне из времен вековечных. На том стоять буду, на том и умру! Эх, была не была! Либо в стремя ногой, либо о пень головой! А ну, ребятушки, выпьем! С предбудущим праздничком вас!

ГОРДАЯ ФАМИЛИЯ

1

Полевая баня была устроена в пещере, вырытой в нагорном берегу быстрой речки. Кругом хвойный лес, на прогалинках — большетравье, а в траве спелая земляника-ягода.

Жарко, солнечно. Возле входа в землянку сидят на длинной скамье пятеро голых бойцов, с наслаждением скребут ногтями разомлевшие на солнце бока и грудь, нетерпеливо ждут очереди в благословенную баньку, где как следует можно похвостаться веником и смыть накопившуюся за много боевых недель грязищу.

Рядом, на веселом костре, греется в двух котлах вода, два голых моряка — татарин и украинец — подают в порядке очереди воду ведрами в баню. Из бани долетает смех, говор, гоготанье, блаженные выкрики.

Сидевший на скамейке красноармеец Александр Суворов, сухой и широкоплечий, с загорелыми бронзовыми лицом и шеей, закорючив ногу, колупает мозоли и ведет разговор с товарищами.

— Фамилия наша гордая, — говорит он. — Мы — Суворовы. Я мальчонкой слышал от моего дедушки, ему за сто лет было, как генералиссимус Суворов Александр Васильевич через нашу деревню проезжал. А мой дедушка слышал от своего прадедушки, так

это до нашего времени и дошло. Прадедушка моего дедушки в то время парнишкой был, так лет семи-восьми. Играли они в городки, в рюхи. Вдруг катит на простой таратайке какой-то, вроде военного, проезжающий, рядом с ним солдат сидит, и на облучке солдат. Военный остановил лошадей, кричит: «Ребята! А примете меня в городки поиграть? Кости поразмять хочу, засиделся».

Тут парнишка (это прадедушка дедушки-то моего) подошел к нему и говорит: «Да ты не умеешь, тебе и в городок-то не попасть».

А он: «Молодец! Бойкой!» — да подхватил мальчишку и стал его шувыкать вверх-вниз, потом поставил на землю, спрашивает: «Как тебя звать?» — «Александром звать, Сашкой...» — «Ого, мой тезка, значит. А по изотчеству?» — «Васильич. А прозвище Суворов. Александр Васильевич Суворов я...»

Тогда военный избоченился, перевернулся на одной ноге и крикнул: «Помилуй бог! Врешь ты, молодец... Помилуй бог! Это я Суворов-то, а не ты!»

Тут все мальчишки загалдели: «Он не врет, он верно — Сашка Суворов. Его вчерась батька драл...»

Военный захохотал и молвил: «Ну, стало быть, Суворов на Суворова наехал. Айда, ребята, в городки!»

Поставили городок, он выбрал из кучи палку самую толстую, поп любил этой палкой играть, да как ахнет! Рюхи, будто галки, в разные стороны полетели, аж завыли, вот как он саданул, несмотря, что небольшого роста да сухонький. Тут подошел к нему старый солдат с тюрючком и говорит: «Ваше превосходительство, не отведаете ли курочки?»

Ребята и рты разинули. А Сашка и говорит: «Нет, ты не генерал. Эвот наш природный барин «ваше превосходительство» зовется, генерал он, — так у него лента со звездой, а медалей да крестов полна грудь, курице некуда клюнуть». — «А кто же я?..» — «А ты, видать, шибко добрый да хороший... Нешто генералы играют с ребятами?»

Суворов опять захохотал и молвил: «Когда играют, а когда и турку бьют. Бей, не робей!» — да

как ахнет. С трех палок выщелкнул с городка все рюхи и сказал: «С праздничком, ребята. А ну, кто скорей до кибитки добежит? А ну, стройся! А ну, равняйсь! Бего-о-м... Марш!»

Да как почесал, да как почесал вприпрыжку. А до кибитки сажен с двести. Он всех опередил, вскочил в кибитку, тут и ребятишки подбежали. Он крикнул: «Наша взяла! И рыло в крови. Прощай, Александр Суворов! Прощайте, пузаны! Ямщик, а ну припусти лошадок!»

Из бани то и дело вместе с клубами пара вырывалось шипенье — это парильщики поддавали на раскаленную каменку водой. Ожидающие нетерпеливо зашумели:

— Эй, в бане! Скоро, нет? В дзоты, чего ли, закопались? Аль запарились?

— Они там что — мины заграждения ставят, то ли в дрейф легли?.. Эй, братва! — закричал моряк с густой татуировкой на волосатой груди и захохотал.

Двое краснокожих — долговязый и коротконогий крепыш — вырвались из темного жерла бани, как из миномета мины, и, дымясь распаренными, пахнущими березовым веником телами, счастливые и легкие, давая друг другу на бегу шлепки, с гоготом пронеслись вприскочку к речке и с разбегу ухнули в освежающую воду.

— Вот каков был генералиссимус Суворов, — проговорил рассказчик. — И я его крепко полюбил. Как выучился в деревенской школе, в семилетке, стал книжки про Суворова покупать. Как поеду в город, так что-нибудь и отхвачу: то книжку, то портрет. Есть у меня про него и большие книжки, так что я всю жизнь его знаю до тонкости, все походы его на память рассказать могу. Занятный, ох, занятный старик был и большой руки чудак. Ну, а что вояка-то он замечательный, я о том уж не говорю, вы и сами знаете. Он всех бил и ни одного поражения не претерпел. Он никого не страшился, с самим Павлом Первым в ссоре был. А пришла пора-времечко, царь-то первый ему поклонился: «Ну, дедушка, выручай».

2

Красноармеец Суворов, попав на войну, первое время чувствовал себя неважно. В боевой обстановке на него накатывало какое-то томление, робость, страх. «Неужели я такой трусище?» — задавал он себе вопрос, смущенно вспоминая своего любимого генералиссимуса. Еще с товарищами ничего, хороший товарищ во всякой беде выручить может, от хорошего товарища сила на тебя идет, спокойствие, уверенность... А вот в разведке, когда в поле один, иным часом тяжеленько становилось. Но в такие неприятные минуты он всегда мысленно обращался с трогательным душевным движением к памяти великого полководца: «Дедушка, помоги мне». И после этого, как ни странно, его силы сразу возрастали, будто он глоток живой воды хлебнул, появлялась уверенность, что он останется цел и невредим, будет победителем. Он никогда не считал себя готовым на какой-либо подвиг, напротив, он, горячий поклонник великого Суворова, с горечью думал, что ему не выдержать испытаний здесь, в огне и крови.

И вот после трех тяжелых боев он стал тверд как камень и бесстрашен. Юношеское, почти мальчишеское лицо его получило черты мужества, взгляд зеленоватых ласковых глаз стал пристальным, внимательным и волевым. Безусый рот с пухлыми губами сжимался во время боя в упрямую линию. Он весь, незаметно для себя, в какие-нибудь полгода возмужал и стал походить на закаленного в сражениях солдата, на суворовского чудо-богатыря. И сам немало дивился происшедшей в нем перемене. В начале он только и жил воспоминаниями о доме, о родных, о Фросе, на которой обещал жениться. Затем эти воспоминания тускнели, покрывались, как туманом, налетом боевых забот, а потом и совсем почти исчезли. Но разве он разлюбил мать с отцом, разве перестал скучать о Фросе? Нет, эти чувства, разумеется, гнездились в нем, но они отошли на второй план: надо всем вла-

стно возвышалась задача сегодняшнего дня. А задача эта — и сегодня, и завтра, и вплоть до самого конца: уничтожить, разгромить неприятеля, прогнать его с родной земли и начать новую, мирную жизнь.

8

И вот идут они в бой, двенадцать автоматчиков, двенадцать братьев-витязей непобедимой русской армии. Красноармеец Суворов видел минувшей ночью странный сон: будто его мать подошла к нему, заглянула в глаза, проговорила: «Саша, помни...» — и исчезла. И что «помни», не сказала.

Он шел вперед в душевном смятении, и тут снова мысли сами собою начали льнуть к родимым местам, к отцу, к матери. Его сердце загрустило.

Преодолев два проволочных заграждения, автоматчики оказались у вражеских окопов. Немцы открыли губительный огонь.

— Вперед, братцы, за мной! — крикнул лейтенант Лапшин и побежал, увлекая за собою красноармейцев.

Воздух гремел и выл. Силы были неравны, ряды красных бойцов редели. Сраженный осколком мины, упал лейтенант. Еще минута — рядом с ним упал раненый Суворов. Над ними где-то, казалось, очень далеко слышалось русское «ура», тише, тише... Сознание вернулось к Суворову. Один, вокруг никого! Вражеские минометы молчали.

С трудом он стал приподыматься, от режущей боли лицо его исказилось, но рука крепко держала автомат. И вот видит: подбираются к нему четверо немцев. «Ага, в плен? — мелькнуло в его мыслях. — Врешь, дешево не продам свою жизнь». И он дал меткую очередь из автомата. Трое упали, четвертый, схватившись за бок, с воплем побежал назад, к окопу. На помощь из окопа, один за другим, выскакивали немецкие солдаты, на бегу стреляли.

Суворов чувствовал, как по левой щеке его течет теплый ручеек, кровь капает на кисть руки, но глаза

видят, мозг работает, — значит, череп в целости. До немцев метров сто. Немцы с гвалтом бегут к нему. Крики, треск выстрелов — в него и от него. Немцы валятся, валятся, и только последний набежал вплотную, замахнулся, чтобы пронзить его штыком, но винтовка из рук врага упала, и сам враг упал. Суворов едва превозмогал себя, грудь его раздиралась от шумного дыхания, глаза широко открыты. Перед ним и дальше, до самого окопа, куча вражьих трупов. Он вытер окровавленную, с подсохшей кровью, кисть руки и почувствовал мучительную боль в обеих ногах и в правом предплечье. Ему хотелось застонать, он повалился лицом в землю, принялся скрести землю ногтями, стиснул зубы, боль начала затихать, но дыхание становилось коротким: душно! Нет, лучше на спину, лицом в небо. Он перевернулся грудью вверх.

Капля за каплей вместе с кровью выходит из него жизнь. «Братцы, — стонет он еле слышным голосом, — я живой». Но все кругом молчит, лишь строчат пулеметы, и небо сереет, — должно быть, сумерки. И странное чувство: вдруг все в нем загудит, загудит и смолкнет, загудит и смолкнет. Клонит ко сну... Нет, он спать не будет, он станет глядеть в небо и — быть начеку.

Боль... Опять боль. Господи, что же это? То ли мошкара, то ли тараканы по лицу ползают, тысячи тараканов... И зайчик пробежал, лягнул ногой и дальше. Тысячи зайцев с рожками... Он глубоко, взахлеб, вздохнул, подумал: «Смерть», — и закрыл глаза. Нет, он еще жив. И где-то голос: «Саша...» Ах, это снова матушка. «Ладно, не надо, дайте, мамонька, капельку покоя, не мешайте».

И еще голос услыхал: «Суворов, крепись!» И голос тот был какой-то особый, он доходил до самого нутра, сердце бойца застонало, затем на сердце стало легко и тепло. «Ты ранен, русский воин?» — и чья-то ласковая рука погладила его по голове, сразу сделалось легко дышать, страдания кончились.

Сухощекое лицо, такое родное, такое милое, склонилось над ним, а большие глаза заглянули ему прямо в душу. Высокий лоб в морщинах, над лбом пушистый клок белых волос, как снежный вьюнок в метель.

И снова прозвучал тихий отеческий голос: «Помилуй бог!.. Крепись, чудо-богатырь. Крепись!» — «Креплюсь, товарищ генералиссимус», — ответил боец знаменитому Александру Васильевичу Суворову. И от неповторимой, высокой радости, что вот к нему, к простому, изнемогающему на поле боя красноармейцу, явился сам Суворов, боец всхлипнул.

И сквозь слезы видит: генералиссимус вскочил, замахал зажатой в руке светлой сабелькой: «Сюда, чудо-богатыри, сюда! Живой!»

Красноармеец, словно поднятый ветром, тоже вскочил, тоже закричал: «Жив я! Живой, братцы!»

Но вдруг он ощутил, как высокое небо поползло вправо, вправо, а земля рывком и очень быстро двинулась влево. Боец упал.

Очнулся в госпитале и не сразу поверил тому, что жив. Изумленными глазами он водил от лица к лицу: врач, две сестры, много раненых — и не находил того, кого искал.

— А где же?.. — Он запнулся, он не мог вспомнить, кого ищет его взор.

А где-то в глубине сознания слабым отблеском внезапно прозвучали слова матери: «Саша, помни...» Тогда обострившимся внутренним зрением он ясно увидел угол своей избы, полку с книгами, над ней портрет вихрастого старца с ухмыльчиво поджатыми губами. И все разом вспомнил!

После переливания крови, когда стал помаленьку, но прочно выбираться из смерти в жизнь, он собрался рассказать товарищам о своем видении.

— Великий Суворов посетил меня. Сам генералиссимус, — начал он, но вдруг весь обмяк и приостановился, его охватило чувство радостного умиления, у него затрепетали мускулы в лице, вздрогнул подбородок. Смущенный, он едва справился с собой, приподнялся на локте в постели, проговорил: — Если б у меня не семь, а семьдесят семь ранений было, я все равно, как только окрепну, в тот же день на фронт. Дедушка-то Суворов какой наказ нам оставил! Слышали? «Разите врага, детушки, спасайте матушку Россию!»

ДЕД АНДРЕЙ

У деда Андрея два сына, да внук, да пять внучек-девушек. Внук и младший сын на фронте, а старший в тайге на золотых приисках. Девушки-погодки, работящие, сильные — толкнет плечом, держись! Старшей двадцать три года.

Да и сам старик, этакий кряжистый сибирский кедр, еще в полной силе. Глаза, как у филина, круглые, большие, нос крючком, конопатая борода лопатой. Из ушей и ноздрей волос прет, все лицо в шерсти, щекам места нет, щеки как малые среди густой тайги полянки. Он семью держит в своевластных руках, он и до войны верховодил всем крепким своим хозяйством.

Их колхоз «Широкий путь» был один из богатых в районе. Земля не меряна, паши, сколько хочешь, почва — плодородная, хлеб, травы, овощ родятся в изобилии. Живи, не тужи!

Большая дружная семья Андрея денег трудоднями выгоняла много. Зимой тоже без дела не сидели: кто на лесозаготовках, кто в тайге с ружьем за лисицами, за белками. Дед был прижимист, скуп. Про него и по селу слава шла: сквалыга. Но он к насмешкам относился без обиды, как старый, видавший виды, лесной мудрец. У него была своя заветная дума, он в нее верил, ею жил, в ней видел оправданье своей скупости.

«Пускай зовут меня сквалыгой, пускай, — бубнил он, поплевывая направо и налево, — а вот умирать стану, возьму да и удивлю всех». Но о том, чем Андрей хотел всех удивить, никто не знал, даже и его домашние.

Денег у него невпроворот, лежали они в кованом железном сундуке несчитанные; он говорил:

— Времечко придет — подведу расчет.

Старик получил с оказией письмо от внука танкиста Павла. Он, между прочим, писал:

«Недавно, милые мои родные, был у нас на фронте великий праздник: колхозники Московской области подарили Красной Армии много танков, на свои денежки построили их. Вот бы и вам, дорогие семейные мои и все наши уважаемые колхозники, не ударить лицом в грязь и тоже постараться для отечества. Чем больше будет у нас вооружения, тем скорей прикончим немца, тогда и войне конец...»

Письмо было обстоятельное, длинное. Дед кряхтел, старуха плакала.

Не прошло и недели, как радио известило из Москвы, что от колхозов и лично от колхозников стали поступать пожертвования на постройку танков и самолетов.

В колхозе «Широкий путь» зашевелились. Председатель с двумя комсомольцами ходили из избы в избу, вели беседы с хозяевами, прощупывали почву. Хозяева, не раздумывая, отвечали:

— Да уж... чего тут толковать... Дело ясное. Назначай, председатель, собрание... А мы завсегда рады. Ежели всем миром навалимся на немца, он хрястнет, как орех под каблуком. Одно слово — коллектив.

Явилась делегация и к деду Андрею Мохову. Дед на пришедших руками замахал:

— Идите, идите, откуль пришли... Проваливайте. Нет у меня для вас ничего, ядрена каша. Это самое, как его... У меня свое намеренье... Рублей сто дам, от силы полтораста.

Вскоре состоялся в Народном доме митинг. Деда привели на митинг внучки.

Вечер был голубой, нарядный, тихий. В небе замигали звезды. Через промерзшие окна в избах светились огоньки электрических лампочек. Под ногами поскрипывал раскаленный морозом снег. Дед ни на что не обращал внимания, сердито смотрел в землю, отплевываясь и бубня. В обширном помещении Народного дома светло, угревно. Андрей, ни на кого не глядя, сел, хмурый и озлобленный, свесил на грудь волосатую голову и притворился, что дремлет.

Высокий пожилой учитель произносил складную речь. Голос учителя был задушевен, а слова были образны и просты, они доходили до самого сердца. Когда он стал говорить о знаменитом нижегородском патриоте, простом человеке Кузьме Минине, о том, как тот призывал нижегородцев к жертве на спасение отечества, Андрей широко открыл глаза, откинул нависшие на уши лохмы волос и, покряхтывая, стал слушать учителя с великим вниманием. Учитель столь красноречиво, столь убедительно говорил об ужасных страданиях тогдашней Руси, что дед Андрей, прошептав: «Ах, несчастная наша Расеюшка», даже прослезился. Затем, озлившись на себя и на учителя, густо сплюнул возле ног соседа и, вздохнув с горечью, подумал: «Чегой-то жалостлив я стал, должно быть, перед смертью».

— Дорогие друзья колхозники! — взывал учитель, покашливая и поблескивая очками. — Наше отечество тоже испытывает времена еще более тяжелые, более лютые, чем в то злопамятное лихолетье. Не дадим же вероломному врагу насмеяться над нами! Мы не примем позора на наши головы, мы отдадим на спасение матери родины все, что имеем.

Он перечислил имена колхозников-патриотов: один пожертвовал сто тысяч, другой перекрыл его, внес наличными сто пять тысяч рублей, а такой-то отдал полтораста тысяч.

— Не дам, все равно не дам, — упрямо шептал Андрей, с неприязнью косясь на соблазнителя. — Тебе, краснобаю, легко турусы-то на колесах подпускать. А у меня, может, свои заветные гусли-мысли. Я,

может, хочу благодетелем своему колхозу быть. И бу-уду! — продолжал злобиться старый Андрей, однако в его мужицкой душе уже закрутились какие-то добрые колесики.

Домой пришел он придирчивый, угрюмый, домашние страшились к нему и подступиться. Поужинав, обругал старуху, поддел ногой кота. Лег спать, но не спалось. Одолевали мысли. Они текли то плавно, то как бурная речонка по камням, то вспархивали и, словно птицы, улетали. Тогда в голове и на сердце деда становилось пусто, он лежал с открытыми глазами, ему было все противно, кряхтел, постанывал, начинала ныть поясница, как зубная боль. А в уши чей-то голос, может, голос совести, назойливо шептал: «Наипаче своего душевного покоя люби родину, жертвуй для родины всем состоянием своим и даже своей жизнью». Дед отмахивался, перевертывался на бок, крепко смежал истомленные глаза, но душевного успокоения не наступало.

«Да-а-а, вот оно... смерть подходит, восемьдесят пять годиков отмаялся, — рассуждал он сам с собой. — Не-ет, я не сквалыга, врешь... Я денежки не зря коплю. Не ради себя, не ради своего семейства, — они гладкие и без меня сыты будут, — а коплю деньги для общества. Чтоб вспоминали обо мне, о сквалыге. Вот придет час душе с телом расставаться, призову всех колхозников и скажу: жертвую вам все свои денежки на построение читальной избы, либо больницы, чего хотите, на ваше усмотренье. Нет, братцы, не сквалыга я... Другие ране-то, бывало, на монастыри жертвовали во спасение своей души. Свою-то душу всякий дурак от погибели спасет, а ты вот других спасай, рассукин ты сын, а не себя. Это богу-то поугодней будет».

Дед вспомнил, как он в семьдесят седьмом году с турками на Шипке воевал. Даже тогдашняя песенка на ум пришла:

Вспомним, братцы, как стояли
Мы на Шипке в облаках:
Турки нас атаковали,
Да остались в дураках.

Ох, и насмотрелся он там всяких ужасов. «А все же мы турок-то одолели: пушек у нас было больше, и пушки наши много лучше насупротив бусурманских. Вот и внук Пашка пишет: танками да самолетами можно сокрушить врага. Правильно, паршивец, пишет, даром что щенок. Ну, и я так полагаю. Чем скорее сломим хребтину немца, тем больше своих людей спасем. Нешто не жаль мне нашей русской, нашей родной кровушки-то? Ого!.. Полторы тысячи на танки пожертвую, ядрена каша, а то и все две».

Утром дед сказал старухе:

— Ну-ка, бабка, понесем сундук в баню, деньги сосчитать надо, сколько их у нас.

Заперлись со старухой в бане, открыли сундук: беспорядочная гора кредиток. Стали вдвоем считать; Андрей, двигая лохматыми бровями, прищелкивал на самодельных счетах. Подслеповатый старик считал плохо, да к тому же и память пооcлабла у него, а старуха и вовсе считать не умела: «Девяносто девять, девяносто десять, полтораста».

— Митинги идут по всем деревням, — сказал Андрей. — К жертве призывают. Доведется пожертвовать тыщонки три на танки.

— Брось, старик. Танек-то у нас своих — пять девок.

— Молчи, полудурок... — прохрипел Андрей. — То Таньки, а то танки, из пушек палят, немцев давят. Нешто не видала картинку-то — в канцелярии висит? Прямой ты полудурок.

Бабка обиделась, приготовилась заплакать. Но старик сказал:

— Пойдем обедать.

После обеда и разных хозяйственных делишек они вернулись в баню по-темну. Старик уронил на пол счеты и заорал на старуху:

— Ну вот, все сбил! Тьфу ты! Сколько насчитали-то?

Старуха ответила, что почем она знает, ведь он сам на счеты клал... То ли шесть тысяч, то ли девять.

— Не девять, а все тринадцать! — опять закричал Андрей. — Округовел я считавши-то... Ох, и зловредная ты, бабка. Давай снова!

При свете самодельного огарка опять принялись считать. Но их клонило ко сну, да и плоховато было видно. Сбивались, пересчитывали снова.

Старик всю ночь не спал: думал. И думы его были то светлые, то темные.

Митинг в Народном доме был многолюден и торжествен. Колхоз отчислил из запасных средств миллион двести сорок тысяч. Все встали, закричали «ура», запели «Интернационал». Затем начали выходить отдельные колхозники, клали на стол президиума деньги, золотые кольца, пушнину, один старик положил двух лисиц и соболя.

— Для родной Красной Армии жертвую с радостью сто пудов муки, — говорил один.

— Не отступимся! — кричал другой, потрясая кулаками. — Не отступимся! Не бывать немцу над нами... Я не умею много говорить... Бей их, окаянных! Дави нашими танками! Ур-ра-а-а!

Хозяева хлопали в ладоши, выкрикивали с мест:

— Это не последняя наша жертва! Мы завсегда рады. Сейчас только начинается...

Вот, опираясь на клюшку, направилась к столу маленькая согбенная старушка в белом платке. Она поклонилась народу, как в церкви, на три стороны и душевно заговорила:

— Милые мои трудники, дорогие мои. Как про войну вспомню, сердце мое стонет человечьим голосом. Внучек там у меня во флоте, по морям-киянам ходит третий год. Да не о нем одном печаль, а обо всех солдатушках наших сердечушко ноет. А я старуха бедная, одинокая, сами же вы меня миром кормите, спасибо. Денег у меня нет, достатку нетути, а вот чулки шерстяные да рукавицы связала я, это пошлите солдатушкам на войну при поклоне. Кланяется, мол, всему воинству старуха Дарья, родная бабка краснофлотца Демина.

Она положила жертву на стол, поклонилась народу и пошла на место.

Колхозники проводили Дарью ласковыми взорами и, озираясь по сторонам, стали отыскивать деда Андрея. Но его нигде не было.

— Андрей Иваныч Мохов? Где ты? — прокричала звеньевая Анна Репина.

— Нету его. Не видать. Смылся!

— Здеся, здеся Андрей Иваныч Мохов! В наличности, — неожиданно отозвался из самого темного угла старик с льняной бородой и густыми волосами.

Все повернули к нему головы. Румянолицый дед твердой поступью прошел через весь зал, поднялся на возвышение и, положив на стол президиума кумачную наволочку, набитую деньгами, взволнованно сказал:

— Вот говорят — сквалыга да сквалыга... А я вот... как его... Порешил я все деньги отдать на нашу дорогую Красну Армию. Пусть и моя копейка не щербата. Намеренье такое! А себе, так... поскребыши оставил. Тут денег, надо полагать, ядрена каша, тысяч с сорок, а то и все пятьдесят... Пес их ведает, считали-считали со старухой, аж ослепли.

Все поднялись, закричали:

— Ур-ра! Спасибо, Андрей Иваныч! Поддержал наш колхоз. Ура, ура!..

Старик вскинул лохматую голову, глянул разом в знакомые лица близких своих односельчан, родившихся, выросших и состарившихся на его глазах, и щеки его задрожали. Давясь слезами, он говорил:

— Я ведь, братцы, рад-радешенек... Я ведь, братцы мои... крепкое намеренье такое... это самое... как его... На танк! Я, братцы, ночи не спал, все думал да думал. Этово, как его... две мысли у меня было на уме, ну, одна мысличка другую повалила. Как помирать буду, скажу вам о ней, братцы. Я денег на нее еще скоплю. Это дальняя дорога. А танки дело неотложное, дело скороспешное. Я так и порешил... это, как его... И вы, братцы, не скупитесь, жертвуйте на Красну Армию. Я... как его, это самое... Поди и в нас русская-то кровь течет, не хуже, как у Минина, ядрена каша с маслом.

Деду зааплодировали. Митинг продолжался. Комсомольцы в пять рук пересчитывали стариковы

деньги, каждый записывал свой подсчет отдельно. К концу митинга проверили итоги, подали общую сводку председателю. Во все лицо заулыбался председатель. Позвонив в колокольчик, он встал и произнес:

— Товарищи! Андрей Иваныч Мохов пожертвовал на постройку танков не сорок и не пятьдесят тысяч, как заявлял, а все шестьдесят девять тысяч триста сорок семь рубликов.

Весь зал по-особому, по-праздничному, ликующе захохотал.

— Качать, качать Андрея Иваныча! Где он? — раздавались голоса.

Но деда Андрея в зале не оказалось. Он торопился домой. «Господь сподобил... доброе дело, самое добрецкое», — выборматывал он сам себе, и на обычно хмуром лице его светилась улыбка.

С этой улыбкой вошел он и в дом.

ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛУЧАЙ

В Ленинграде проживал видный изобретатель — инженер-механик Федор Павлович Кирюшин. Он возглавлял цех одного из заводов. Завод был небольшой, но по военному времени незаменимый. Его решили эвакуировать в Сибирь, а в последнее время была из Москвы подана команда — работать на месте.

В зиму 1941/42 года инженер Кирюшин, как и все ленинградцы, испытывал холод и голод. Впрочем, он не унывал; наоборот, весь охваченный чувством патриотизма, с удвоенной энергией продолжал нужную для родины работу. Его завод — это фронт, его рабочий кабинет — это неприступная твердыня, куда закрыт вход малодушию и колебаниям.

Однако и металл в неблагоприятных условиях теряет свои качества, и чугун, долго пролежавший под водой, перестает быть чугуном, его можно резать ножом, как сыр, и любая печь без достаточного количества топлива постепенно начинает остывать. Начал от недоедания хиреть инженер-механик Кирюшин: кровь перестала быть полноценной, она уже не так обильно омывала мозговые полушария, нервы стали сдавать, мысль — меркнуть. Директор завода решил направить Кирюшина в специальный стационар подлечиться.

Но вот телефонный звонок изменил все дело. Звонили в час ночи:

— Кирюшин, ты? Вот что, брат... Получилась из Москвы продуктовая посылка. Тебе и прочим. Персонально. Ведь у тебя ночное разрешение по городу есть? Ну вот и отлично. Бери санки и приходи. Тут близко.

Через час он уже вскрывал у себя дома спасительный из плотной парусины мешок. На мешке надпись: «№ 18. Лично Ф. П. Кирюшину».

Боже мой, боже мой! Вот так посылочка!.. Масса великолепных черных сухарей. Большущий кусок шпику. Два кило сливочного масла. Два кило сахару. Много крупы, несколько банок сгущенного молока и разных консервов. И тридцать плиток великолепного шоколаду. Даже шоколад... Ура!

«Куда же мне это одному? — думает растроганный Кирюшин. — Ну, да поделюсь кой с кем». И первая мысль — о матери. А где она? Старуха мать эвакуировалась к своей племяннице в Воронеж, он получил от нее только одно письмо, а ведь прошло целых семь месяцев. То ли письма пропадают, то ли она переехала из Воронежа куда-либо в другое место. Впрочем, мама должна жить там в сравнительно приличных условиях.

А вот сестра... Его сестра, учительница, вместе с институтом, где она преподавала английский язык, эвакуировалась в Казань. При ней четырехлетняя дочка Танечка, а муж ушел в Красную Армию. Ей как раз посылка будет кстати. Может быть, удастся переслать с попутным летчиком; подобные случаи хоть редко, а бывают.

Он сел за письмо:

«Дорогая Анна! Знаешь, как у дедушки Крылова: «Вороне бог послал кусочек сыру», ну вот так же и мне добрые люди прислали из Москвы, вспомнили. Так вот, кусочек от этого кусочка я посылаю тебе. Послал бы больше, да ведь ты знаешь, какой народ эти летчики: четверть кило — они и то морщатся, ведь им не один десяток таких поручений дают. Поэтому посылаю тебе полкило шпика и двадцать семь плиток шоколаду, тебе и Танечке. А я не живу, не существую, а прямо-таки парю над землей на крыльях.

Бомбежки, блокада, обстрелы — черт с ними! Я изобрел одну штучку, которая будет весьма не по вкусу немцам и, помимо всего прочего, даст экономии за год до двух миллионов рубликов. Я представлен к следующей правительственной награде. Порадуйся со мной. Ну, а теперь слушай, как я живу, как идет жизнь в Ленинграде...»

Письмо было обстоятельное. Это письмо вместе с посылкой он отнес в штаб армии, сдал приятелю. Приятель, подполковник Цветков, сказал ему:

— Ладно. Исполню в точности. Вылет в Казань у нас будет дня через два.

Вскоре в скромную комнатку, что в доме на берегу озера Кабана в Казани, постучали. Было раннее утро, Танечка еще спала. Анна Павловна тоже только что проснулась. Она накинула халат, наскоро причесала волосы, крикнула к двери:

— Одну минутку! — Приподняла штору — с улицы хлынул солнечный весенний свет, нежно заголубело небо меж двумя высокими березами с молодой листвой — и, наконец, открыла дверь.

В комнату вошел молодой, в форме летчика, черный, как цыган, человек. Он поклонился и сказал:

— Простите, не ошибся ли? Не вы ли будете Анна Павловна Рябинина? Ах, вы? Ну, значит, правильно. Документ с вас я спрашивать стесняюсь... Нет, нет, не беспокойтесь... Будьте добры, посылочка вам из Ленинграда. — И молодой человек, порывшись в сумке, вытащил небольшой сверток, заделанный в бумазею; на ней надпись: «Анне Павловне Рябининой». Надпись печатными буквами, химическим карандашом. От кого же это?

— Скажите, от кого эта посылка? — спросила Анна Павловна.

— Хоть зарежьте, не могу вам ответить.

— Да кто же вам ее передал? Может быть, мой брат, инженер Кирюшин?

— А посылка вручена мне подполковником Цветковым в штабе армии.

— Но, может быть, письмо при ней было?..

— Возможно, что и было. А скорей всего, нет ли письма в середке? Вы вскройте, чтоб без всяких-яких, чтоб начистоту.

— Присаживайтесь. Я вас кофейком угощу.

— Благодарю покорно. С удовольствием бы, но в нижеследующих видах, как я тороплюсь, доведется отказаться... Мне еще в двенадцать мест наматывать, посылки разносить, до вечера хватит...

Никакого письма в посылке обнаружено не было.

— Нету здесь, — печальным голосом проговорила Анна Павловна и стала взором быстро пересчитывать плитки шоколада... Двадцать семь штук. А тут что? Шпик. Как жаль, что нет письма.

— Будьте столь добры, вот здесь распишитесь в получении. — И летчик подал ей свою записную книжку, где на аккуратно разграфленных страницах были перечислены фамилии с адресами.

По его уходе Анна Павловна долго ломала голову — от кого посылка? Скорей всего нужно было бы ожидать от брата Феди. Но Анна Павловна знала, что брат и сам в Ленинграде голодает, да тем более, что видно из его последнего письма, их завод должен был переводиться в Сибирь, кажется, в Курган. Впрочем, письмо было два месяца тому назад. А-а-а-а, вот от кого! Шоколад ей прислала знакомая киноартистка Истомина, она брала у Анны Павловны уроки английского языка, они с ней хорошо подружились. У этой Лидочки Истоминой цветов, духов, разных косметических притираний и шоколада в изобилии. Она.

Анна Павловна посылке была рада. Она в сладком нуждалась. Впрочем, знакомый летчик, майор Руднев, которому она преподает английский язык, подарил ее дочке Танечке полкило великолепного американского шоколада. И все-таки Анна Павловна была чрезвычайно обрадована посылкой. Спасибо Лидочке Истоминой! Да, добрые люди еще на свете не перевелись. Как приятно сознавать, что в людях не угас еще святой огонь взаимной помощи и заботы о других.

Анна Павловна и сама принадлежала к числу таких отзывчивых людей.

Самым близким, самым любимым существом была для нее старуха мать. Она заботилась о ней больше, чем о Танечке. Вот матери-то она и отправит шоколад. Она деятельно стала разыскивать попутчика в Богучар, где жила у своей племянницы Настасья Прохоровна Кирюшина.

Прошло десять дней. Летчик Руднев пришел к ней радостный и говорит:

— Давайте посылочку. Завтра лечу... Командировка. В Богучаре посадка и дальше — на Ростов.

Анна Павловна оставила три плитки шоколаду — одну себе, две Танечке, остальные двадцать четыре запаковала и вместе с письмом отправила матери.

Летчик майор Руднев привел машину в Богучар еще до заката солнца. Он застал старушку на огороде, она сидела под вишневым, в густом цвету, деревом, вязала чулок. А возле нее спал в колясочке грудной ребенок. Кругом жужжали работящие пчелы, нарядные бабочки перепархивали с цветка на цветок, в борозде меж гряд играла с котятами пестрая кошка.

Настасья Прохоровна встретила летчика приветливо. Сняла очки, сказала:

— Этакий вы огромный, батюшка... И как это вас самолет-то держит?

Она поблагодарила его за доставку, усадила возле себя и стала расспрашивать. Заметив, что он торопится, она крепко взяла его за руку, чтоб не ушел. Он рассказал ей, что ее дочь, Анна Павловна, живет неплохо, как и все прочие.

— А вот о своем брате, о вашем сынке Федоре Павлыче, она очень озабочена... Главное, не знает, где он живет, давно не писал. Знает только, что их завод эвакуировался в Сибирь.

Старуха, выслушав его, улыбнулась и сказала:

— Ничего подобного. Федя как жил в Ленинграде, так и живет там. Я и сама-то думала, что он давно

в Сибири. Ан вот третьего дня везу колясочку — младенчик-то моей племянницы сынок — глядь-поглядь, култыхает с палочкой навстречу мне знакомый старичок наш, ленинградский, с Феденькина завода. «Нилушка, Нилушка! — кричу ему. — Ты как это очутился-то здесь?» А он мне: «Хворость выгнала, захирел. В побывку отпустили. А у меня здесь кой-какая хатенка своя, к дочери приехал». А борода-то у него длинная да серебряная. Он, бывало, в Питере-то и чайку попить захаживал к нам. Ну, обняла я его, и горько мы оба с ним заплакали... Господи, что сталось, что сталось! Родственники его — кто в Ленинграде умер, кто на войне убит. Из четверых его сыновей один убит, другой ранен. Ну, я тем же часом сынку телеграмму послала, адрес сообщила свой... Только дойдет ли, да и когда дойдет... Эх, война, война...

Летчик встал. Она тоже поднялась, сказала:

— Куда же ты теперь, батюшка?

— Под Ростов. Немцев колотить!

— Колоти их, батюшка! — воскликнула старушка. — Колоти хорошенько, чтоб ни вздохнуть им, ни охнуть. Жива ли матерь-то твоя?

— Нету, Настасья Прохоровна... В прошлом году умерла моя родительница.

— Ну, так нагнись, я тебя замест матери благословлю... Ну, сын мой, будь вовеки невредим. Прощай, храни тебя господь и ангелы его! — Она перекрестила его большим крестом, обняла за шею и поцеловала.

Обласканный, растроганный, с каким-то просветленным чувством летчик выходил из огорода приветливой старушки. Человеческая ласковость!.. Что может быть на земле драгоценнее тебя?..

Нилушка говорил ей, что Феденька живет в нужде. Вот ему-то она и отправит шоколад. Две плиточки оставит себе с племянницей, а двадцать две Феденьке перешлет. Как раз ему будет кстати. Да еще постарается хоть немного маслица ему скопить. Нилушка

живет здесь вот уже две недели. Подкормился. Через недельку и назад. Вот с ним-то Настасья Прохоровна и направит посылку сыну. Уж Нилушка не подведет: свой человек, заводской мастер, природный пролетарий.

Выбрав свободный денек, старушка засела за письмо.

«Дорогой Феденька, чадо мое ненаглядное, здравствуй! — писала она. — Когда ты был еще маленький и учился в школе, то, помнишь, все читал мне наизусть басни дедушки Крылова. Помнишь: «Вороне бог послал кусочек сыру». Вот так же и мне...»

Письмо было длинное, сердечное, слезы капали на письмо, драгоценные слезы родной матери.

«...А мне, старухе, шоколад не надобен, куда мне! Племяннице мешок картошки обещали, да и в огороде нам четыре грядки отвели, скоро своя овощь будет. А Нилушка говорит, что ты в нужде. Голубчик Феденька! Ведь ты мой самый любимый в мире человек. Ты и для родины нашей большой старатель, Нилушка много кой-чего нарассказывал про работы про твои. Старайся, Феденька, живи, а обо мне не думай, аж я как-нито свой век протяну. А перед тобой вся жизнь».

Минут за десять до начала утренних работ в служебный кабинет Федора Павловича Кирюшина вошел, подпираясь палочкой, возвратившийся в Ленинград Нилушка. Поздоровался, выложил на стол посылку и письмо, сказал:

— А это вам от маменьки вашей, из города Богучара, подарочек. Тут не знаю чего, а это вот криночка топленого масла. И письмо пожалте.

Инженер Кирюшин подробно обо всем расспросил Нилушку и вскрыл пакет.

— Шоколад... Черт возьми... Да это же мой шоколад! — Он распечатал письмо матери, поцеловал ее вихлястые каракульки, быстро прочел и с убеждением проговорил: — Да, определенно... Мой...

Когда он рассказал Нилушке, как его шоколад пропутешествовал от него к сестре, от сестры к матери и, замкнув круг, возвратился к нему, изумленный Нилушка, оглаживая свою серебряную бороду, молвил:

— Это примечательно... Нет, это прямо удивительно!

Он взбросил вверх палец и каким-то вещим голосом воскликнул:

— Перст судьбы, Федор Павлыч. Указующий перст судьбы...

— Ну, какой там перст судьбы, — улыбаясь, возразил инженер Кирюшин, — просто любопытный случай.

ЩЕДРАЯ ЖЕРТВА

Деревня Подволочная, где жил Кешка, стояла на реке Нижней Тунгуске. А эта река, длиной немногим меньше Волги, впадала в великую сибирскую реку Енисей. И на всем своем протяжении текла через тайгу.

Вот что значит тайга! Это безбрежное зеленое море, вековечный лес.

Кешка знал, что в тайге разбросаны деревни, что построили их деды-прадеды по берегам рек и речонок. Вокруг деревень вырублено и выкорчевано нужное для пашни пространство, люди сеют, собирают хлеб. Только вот беда — с тайгой бороться очень трудно, земли не хватало, да и земля не шибко плодородная, поэтому жителям своего хлеба маловато, приходилось подкупать. А нужные средства крестьяне зарабатывали промыслами: охотой на пушного зверя и рыбной ловлей.

Подоспела война. Молодежь, да и среднего возраста крестьяне были призваны в Красную Армию. В деревне Подволочной осталось самостоятельных людей не так уж много. В их числе остался и Кешка. Он тоже человек самостоятельный, ему в октябре стукнуло одиннадцать лет. А вот батька с этим считаться не хочет, белку промышлять не берет с собой в тайгу.

— Тебе, — говорит, — и малопульку-то не поднять.

— Как же не поднять малопульки, — возражает обиженный Кешка, — когда я из бердака, даже из медвежачьего, палить могу!

А батька знай свое:

— Порасти еще годок.

Ну ладно, Кешка на этот раз согласен, Кешка порастет.

Вот и еще год прошел, а война все длится. Река замерзла, снега легли. Стали звероловы собираться в тайгу. На сходке говорили:

— Теперь мы, товарищи, все равно как на фронте. Нашей Красной Армии будем помогать. Бойцов одеть-обуть надо во все теплое. Мы, что полагается, государству сдадим, а сверх того будем во все тяжкие стараться для Красной Армии.

Тут уж, как пришли домой, Кешка по-серьезному подступил к отцу:

— Ежели не возьмешь, один в тайгу уйду. На лыжах! Дай мне только двух собак да малопульку. Зайцев да белок буду колотить. Это нашим бойцам на душегреи да на шапки.

— Возьму, возьму... Чего ты орешь-то? — сказал отец.

Собирались дня три. Мамынька ржаные сухари сушила, пельмени впрок делала. Нужно едой запастись месяца на два.

В день выхода в тайгу встали до свету. К избе, где школа, собрались три промысловых артели, по восемь человек в каждой. Отец Кешки — бригадир. Он взял с собой два ружья — на белку и на зверя. А третье, малопульку, взял Кешка. Две артели ушли, осталась Кешкина. В ней охотники подобрались один к одному — первостатейные: отец Кешкин да три братана Омельяновы, да еще три бывалых крепких старика.

В нарту на высоких копыльях запрягли двенадцать ездовых собак. На нарту навалили на всю артель всяких припасов.

Небо на востоке стало розоветь. Сквозь лес проглядывала зорька. Утро было морозное и тихое. Вслед за собаками, которыми управлял долгобородый дед Наум, двинулась вся артель.

Через два дня, еще засветло, подошли к зимовью. Вот она, избушка на курьих ножках, почти до крыши заваленная снегом. Здесь охотникам долго доведется жить. А вот вправо лабаз. Он обоснован, как на столбах, на четырех нетолстых деревьях. Вершины их спилены на высоте аршин пяти под один рост. Поверх этих столбов сделан дощатый настил, а на нем построена небольшая амбарушка. Значит, она стоит на четырех ногах, как на ходулях. Лестницы нет. Вместо лестницы, когда надо, приставляется бревно с вырубленными в нем ступеньками.

Кешка вошел в зимовье. В низенькой избушке горел настенный фонарь с керосиновой лампочкой, пахло гарью, сажей, копотью. С потолка свисали тенета паутины. Потолок и стены в густой саже. В два ряда нары для спанья. Каменка или камелек из диких камней. Дед Наум разжигает на нем огонь из сухих смольевых дров. Дым заполнил всю избушку и с нагревающимся воздухом стал постепенно выходить в широкую продушину под потолком.

Промышленники наелись, напились вдосыт чая, завалились спать. Вот добро: теплехонько, как дома.

Кешка вышел наружу. Ему любопытно посмотреть на тайгу в ночное время. Авось огненного змея увидит, летящего по-над тайгою, или другое какое-нибудь лесное чудовище, как в сказке. Его голова набита сказками, а сердце страхом. Мало ли дедушка Наум сказывал ему страшных таежных небылиц и былей. Впрочем, Кешка стариковским россказням почти не верил, а все-таки ему немножко думалось, что в тайге всяко бывает: и Баба-Яга разъезжает в ступе, и разные волосатые лесовики, что по тайге людей водят, и подземные старички по бутылке ростом. Ну, верилось и верилось.

Он вышел, огляделся. Темно и тихо было. Он

глянул влево, к лабазу, и... обмер: на него смотрели из тьмы с вышины помоста два светящихся колдовских глаза. «Это лесовик, — подумал Кешка. — Доведется артель будить. Нет, не лесовик, пожалуй, это волшебный филин, вот кто». А два огненных глаза, пронзая тьму, все так же пристально смотрят на Кешку, стараются его околдовать.

— Ой ты... — прошептал Кешка и сразу все понял: он доглядел, что бревно со ступеньками тятя забыл убрать, оно приставлено в наклон к настилу.

Значит, по бревну залез в лабаз какой-нито вороватый зверь. Кешка, чтоб не напугать четвероногого разбойника, тихонько повернулся, тихонько вошел в зимовье. Там дружно раздавалось храпенье. Кто-то бредил во сне. При свете горевшего фонаря Кешка взял тятькину берданку, зарядил пулей, поднялся на широкий чурбан возле стены и через дымовое под потолком оконце глянул на лабаз. Огненные глаза пропали. Значит, хищник прокрался в амбарушку. А ведь там две ободранных бараньи туши. Сожрет, пес его дери...

— Ку-ку! — тоненьким голосом скуковал Кешка.

Через несколько секунд снова засверкали во тьме оба глаза: должно быть, зверь испугался человеческого голоса и выскочил из амбарушки. Кешка не спеша и с толком приметился из берданки в средину между глаз и спустил курок. Грохнул на все зимовье, на всю тайгу гулкий выстрел. Глаза враз погасли, загремели доски настила.

А в зимовье на нарах враз все как угорелые вскочили. Дед Наум, ударившись головой о потолок, спросонья заорал:

— Ур-ра! Стреляй немецкую харю! Бей!.. — и пробудился.

Ему снился сон, что они с внуком, красноармейцем, бегут по полю на штурм, а на них фашистский самолет сбросил бомбу.

— Бегите к лабазу! — захлебываясь восторгом, закричал Кешка. — Я зверя устукал. Ты, тятя, забыл лестницу убрать...

Кешка вдвоем с отцом выскочили из зимовья. Отец, сторожко держа в руке острую рогатину, залез на лабаз и тотчас сбросил к ногам изумленного Кешки какого-то крупного зверя.

— Получай, — сказал отец. — Пускай будет это твоим первым подарком для Красной Армии.

— Кто это, тятя?

— Рысь. Баранью ногу, дьявол, сожрала.

Кешкина душа взыграла. Он думал, что тятя похвалит его за отличный меткий выстрел. Однако отец смолчал. Зато охотники похвалили. Дед Наум сказал:

— Ты как этот самый... как его... ну, на войне-то которые...

— Снайпер?

— Во-во-во! Ишь чертенок... Знает!

— А чего ж не знать! Я радио слушаю.

На другой день охотники на промысел не пошли: надо было как следует подготовиться. Кто чистил ружья, кто точил ножи или чинил лыжи, кто набивал патроны.

Дед Наум отворил в зимовье дверь, сказал:

— Сенкича из тайги вышел. Покормить бы его. Эвот-эвот он стоит.

Возле опушки тайги стоял тунгус, одетый в старые меха, заплата на заплате. Кешка много слышал об этом глухонемом старике, замечательном охотнике. Вся артель окружила тунгуса. Сенкича был длинный, сухой, безбородое лицо испещрено мелкими морщинами. Узко прорезанные уставшие глаза смотрят на всех внимательно и ласково.

Охотники поклонились Сенкиче, Наум обнял его, как старого приятеля. Сенкича промычал:

— Ма-ма-ма, — и, сбросив оленьи рукавицы, стал маячить пальцами.

Наум хотя и плохо, а все же кое-как понимал вести по пальцам разговор с глухонемым.

— Я его сызмальства знаю, — сказал Наум, — мы с ним почасту белковали и на сохатых хаживали. Вот я и научился с ним немовать-то.

При Сенкиче были две собаки. Одна бегала по тайге. А другая, пестренькая, привязана к поясу тунгуса на недлинную, сажени полторы, веревку, сплетенную из узких ремешков оленьей кожи.

— Вот они втроем и промышляют белку: человек да две собаки, — пояснил Наум. — Охотятся, значит, они таким манером. Вон та собака, что на воле, она белок ищет, бежит да все по деревьям смотрит, а учует белку, остановится и давай ее облаивать. Только мы собаку-то слышим, а Сенкича от рождения глухой, ему хоть из пушки пали. Да и собаки не видать, она, может, за полверсты где. Вот тут-то старика и выручает вот эта пестренькая собачонка, что к старику привязана, — она вроде как Сенкичины уши. Как только она услышит, что та собака взлаяла, бежит прямо туда, ну, стало быть, и хозяина за собой тащит. И приведет она Сенкичу прямехонько к той собаке. Иным часом он, скажем, вот туда идет, а пестренькая лайка как помчится в обратную сторону, как дернет его, — старик вверх ногами... Ну, встанет, пошагает за собакой. Шибко хороший, шибко честный человек, из бедных бедный. Ему близко к восьмидесяти годкам подходит. И никого у него нету. Один, как перст... — И Наум глубоко вздохнул.

Сенкича сидел на валежине, жевал кусок какого-то вяленого мяса. Кешка считал заткнутых за пояс старика белок. Тридцать штук.

— Чего ж его, такого старого да несчастного, тунгусы не приютят? — спросил, оглаживая окладистую бороду, Кешкин отец.

— Звали! То одно, то другое тунгусское стойбище зовет к себе: «Живи, старик, мы тебе покой дадим, поить-кормить будем». Куда тебе, не хочет! «Меня, говорит, еще ноги носят, зачем я буду, говорит, другим в тягость». Ну, известно, не языком говорит, а руками маячит, а там понимают. И опять в тайгу уйдет со своими собаками. Вот он какой!

Вдруг Сенкича поднялся, отвел деда Наума в сторону и стал с ним по-своему объясняться.

— Пу! Пу-у! Пу! — выкрикивал он.— Бум! Бум! — а сам все махал рукой в западную сторону.

Наум не понимал его, пробовал говорить по пальцам — ничего не выходило. Сенкича отрицательно тряс головой, снова начинал выкрикивать, сопровождая свои выкрики резкими жестами.

— Пу! Пу! Пу! — пукал Сенкича, подражая выстрелам, и все махал, все махал рукой на запад.— Пу-у! — кричал он, падал и снова вскакивал.

Нет, Наум ничего не мог понять. Да и никто из артели не понимал тунгуса. Кешка напряг все свое соображение, усердно чесал затылок, — нет, темен ему был язык Сенкичи.

Тунгус сердился, лицо его покрылось испариной. Он взял сухую хворостину и стал на нетоптанном снегу, как на бумаге, чертить рисунок. Слева начертил несколько палочек, похожих на людей, затем изобразил коня и подобие пушки. Справа, в некотором отдалении, он этот рисунок повторил, повернув и коня и пушки навстречу первому рисунку.

— Пу! Пу! Бух! — крикнул он как одержимый.

— А-а-а, — радостно протянул Наум. — Это про войну он.

И все сразу поняли, о чем так мучительно силился сказать тунгус.

Сенкича удовлетворенно опять сел на завалинку, развязал сшитую из оленьих шкур торбу, порылся в ней, вытащил новую теплую рубаху, хорошую оленью куртку, чистые холщовые портянки, новые же меховые, выше колен, «обутки», дорогую лисью шапку да еще в придачу тридцать заткнутых за пояс белок. Он все это добро подал Науму, замычал и снова замахал в западную сторону.

— Просит на войну отправить, — пояснил Наум дрогнувшим от волнения голосом.

— Да ведь он сам человек неимущий... Что это он, чудак какой! — заговорили охотники взволнованными голосами. — Наум, ты помаячь ему, чтобы он это себе оставил, ведь ему не нажить больше. Для Красной Армии вот и мы постараемся, да и вся Россия. Чего ж это он... Объясни...

После длинных перемолвок с Сенкичей Наум сказал:

— Сенкича говорит, что он на белом свете один, так пошто же таскать ему на загорбке лишний груз. Лучше пусть его добро на пользу людям пойдет. Он неотступно просит принять от него жертву.

Теперь с какой-то особой любовью, с какой-то непередаваемой ласковостью все уставились взорами на старика. Кешка тоже воззрился на него. Взглянул и широко улыбнулся... Вот какие удивительные водятся в тайге лесовики-волшебники!

СУСАНИНЫ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ

Каждому советскому человеку дорог светлый образ Ивана Сусанина. Незабываемый облик мстителя за свой народ жив и поныне. Наша освободительная Отечественная война во множестве родит советских Сусаниных. То здесь, то там на колоссальном фронте войны гремит слава о их подвигах. Бестрепетно приносят они свою жизнь, спасая отечество. Имена их, героических мучеников за правое дело, за счастье родины, будут блистать вечно на страницах истории.

1. ВНУК

Петя ведет рассказ неторопливо, с толком. Волосы у мальчонки белесые, с соломенным отливом, щеки нажеваны толстые, глазенки шустрые. Ему всего одиннадцать лет, но после недавнего с ним происшествия он чувствует себя взрослым. Этой зимой он осиротел и теперь находится на попечении всей деревни. В каждом семействе, в порядке очередности, живет он по неделе. Собирается Петька идти в партизаны.

— Слушай, — говорит он человеку с записной книжкой, и его глаза загораются каким-то особым блеском, — я уж многим рассказывал, не ты первый, не ты последний. Ну, да ладно, пиши.

И вот, значит, такое дело... Сидим мы за этим самым столом, чай пьем, кислое молоко с творогом хлебаем. Дело зимнее, чуть зорька утренняя загоралась, бабушка печку топит, дедушка девятый стакан допивает, лучина в светце горит. А керосину не было у нас: был, да бабушка сослепу пролила его. Вот ладно. И только дедушка стал цедить из самовара десятый стакан, вламываются в избу немцы, офицер да пятеро солдат. Офицер башлык от усатой морды отвернул и прямо, брюхо вперед, на деда. И говорит ему по-русски, хотя и не больно складно, а понять из пятого в десятое можно все-таки. Говорит, а сам в немецкую географическую карту поглядывает. «Знайт, знайт, говорит, я все знайт... Твоя, говорит, восемьдесят годов, ты старая, только ты карашо знайт ваш лес. Ты веди наша карош сольдат на речка Черемха, там кудой ваш красная сольдат укрепился, я все знайт, понимайт... Только чтобы тихо-мирно, чтоб нам нагрянуть ату-ату... Понял, старая хрыча? К обед доведешь, живой станешь, а обманешь — пристрелю, как собачка, сверх земля валяться будешь. — Тут он вытащил этакой большущий пистолет и прямо деду в нос: — Убью!»

Я, конешное дело, с непривыку задрожал, бабушка уронила ухват, ахнула и шлепнулась на лавку, а дедушка ничего, дедушка хоть и побелел, а ничего себе, старик крепкий. Покрестился он по старой привычке на образа, со мной переглянулся и этак срыву бросил немчуре: «Ты, супостат, не стращай меня. Уж ежели убить грозишь, так ладно, поведу вас. Так и быть».

Офицер сказал: «Гут, гут».

Вот ладно. Дедушка обряжаться стал, натягивает зипун, а сам головой мне кивает: поди, мол, Петька, сюда.

Вот я подошел, а он и шепчет мне: «Беги скорей, Петя, прямо к командиру Горбунову. Упреди. А я немчуру кружить по лесу буду, в Медвежий лог, мол, выведу их, там встретьте».

Офицер заметил, что дед нашептывает мне, да как заорет: «Молчи!.. Пристрреляю!» — а сам револьвером потряхивает.

Я шапку в охапку, сунул за пазуху полкраюхи хлеба да дуй, не стой.

Еще темновато было, а уж над лесом заря полыхала, через часок, пожалуй, и солнце вздымется. Я прямо в лес. Ой, да и лес наш, без конца, без краю! Зверючьи тропинки мне все знакомые, я с дедушкой оселки на горностаев да на лисиц почасту ставлю. А военный начальник Горбунов, к которому дедушка послал меня, тоже знакомый наш: он родом из соседнего села и недавно в нашу школу со своей позиции подарки привозил: карандаши да бумагу. Ежели прямиком идти, то до товарища Горбунова километров двадцать пять. Для меня это два плевка, лишь бы на стаю волков не наткнуться. Я взял лыжи, да и пошел отмахивать. По полянам да в редком бору на лыжах, а в чащобе — пешедралом.

Иду по лесу, а сам горько-разгорько думаю: «Бедный ты мой дедушка, этакая тебе выпала доля на старости лет: отряд товарища Горбунова выдать с головой. Только я знаю, дедушка Матвей... ты предателем ни за что не согласишься стать, ты куда-нито заведешь вражью силу, в самую погибель заведешь. Ой, дедушка, дедушка! Ведь тогда немцы убьют тебя, ведь ты старый старик, тебе не убежать от немцев. Ну, до чего жаль мне тебя... Стой, стой, дедушка Матвей, не унывай, я выручу тебя, мы с товарищем Горбуновым за милую душу распатроним всю немчуру, а тебя спасем!»

Малость полегче мне стало. А башка у меня мокрая, по щекам пот струйками течет и сам весь мокрый. «Дай, — думаю, — на валежинку присяду, отдохну». И как только присел, вдруг быдто в лоб влетело, вдруг вспомнил: да ведь дедушка-то мой — вроде как Иван Сусанин, а я не Петька, а того Сусанина Ваня, и будто велено мне скакать на коне в Посад и всех там взбулгачить, грохать в ворота и что есть силы кричать: «Отоприте, отоприте! Моего отца злые вороги в лес увели. Вооружайтесь скорей, а то вороги перебьют вас всех!» Я все это представленье в ленинградском театре видел, называется «Иван Сусанин». Нас, лучших учеников, возили из нашего

села в экскурсию. В жизнь не забыть... Ох, и замечательное представление! А в конце как зазвонили во все колокола, да как начали греметь в тысячу труб, да как запели актеры хором, я аж вскочил от радости. А вот когда Сусанина убивали, у меня сердце зашлось и слезы потекли. Молодец Сусанин, вот молодчага! Не побоялся умереть за родину: «Смерти, говорит, — не боюсь, страха не страшусь, лягу за родную Русь!» Вот он какой... Ну, да и дедушка мой не хуже его поступит, даром что не Сусанин фамилия, а Кузьмин Матвей Матвеич, уж я-то знаю моего дедушку.

И вот, конешное дело, часовой с ружьем: «Стой!» — кричит на меня. А я ему с форсом: «Мне требуется по скорому делу до самого начальника Горбунова». И вот, братцы мои, я в землянке у начальника: «Ты откуда, паренек? По какому делу?» Тут я взял и все выложил ему. Тот обнял меня, поцеловал, приказал бойцам поскорей сбираться, готовиться к выступлению, велел пулеметы тащить. «А пареньку, говорит, дайте-ка щец горячих похлебать да каши да отрежьте-ка хороший кусок шпику, а то, говорит, притомился он». Я говорю: «Вы, товарищ Горбунов, Медвежий лог знаете? Ну, так вот туда бойцов ведите».

Вскоре все бойцы ушли. Я на скорую руку подкрепился, шпик и сухари — за пазуху, да дуй, не стой, наматывать за отрядом. Догнал! А как прошло часа два, а то и все три, товарищ Горбунов подходит ко мне, говорит: «Мы их скоро встретим. Мои разведчики уже разнюхали их. Лезь на дерево, а еще лучше зарывайся куда-нибудь, жарко будет». Я — хоп-хоп-хоп на высокую сосну, как белка.

Еще с час времени прошло. Надоело мне сидеть, да и о дедушке сердце ноет. Ослабел я, в сон бросать меня стало. Вот и солнце к закату клонится, а я все еще на дереве сижу, бойцы по скрытным местам

пулеметы расставляют. И вспомнил я тут про вкусный шпик, вынул его из-за пазухи, шпик такой ядреный, белый и круто посолен. И только я откусил и с усладой жевать стал, как слышу наши пулеметы: «чо-чо-чо-чо-чок...» Я головой верть-верть во все стороны. Батюшки мои, эвот они, немцы-то!

Глядь — и мой дедушка Матвей в сугробах пурхается. Родимый мой! Видишь ли меня?

И снова мне подумалось: «А ведь дедушка-то мой и верно — вроде как Иван Сусанин в представлении». Только в театре все нарочно, там все не настоящее: и музыка играет, и поляки поют: «Куда, мол, завел ты нас, старик?» И снег поддельный сыплет, бумага, должно быть, настрижена. Там не страшно. Хоть жалостно, да не страшно. А вот здесь — сугробы по пояс, мороз, лес настоящий, вековечный, а замест музыки — стрельбище со всех сторон, живые люди валятся, кровь течет, одним словом — страх.

А немцев набегает все больше да больше: пожалуй, сотни с три, а нет и с полтысячи. «Ну, думаю, беда, сомнут они наш отряд». Только не тут-то было. Как начали да как начали наши пулеметчики строчить, немцы, быдто зайцы, стали по поляне прыгать да брык на землю, брык! А наши пулеметчики и спереди, и сзади, и с боков. Немцы и свои пулеметы выставили. Вижу — два пулемета немецких за огромными пнями притаились. Я что есть силы ору с сосны: «Эй, бойцы!.. Эвот они, эвот за корягами!» Эх, жаль, не захватил я, дурак, своего ружьишка. Ну, да и без меня... Бегут, бегут наши на приступ, а пулеметы строчку выгоняют, а немцы один по одному кувырк-кувырк-кувырк... От их тел снег уж стал сереть, много накрошили их, потому — засада.

А дедушка Матвей из глаз моих куда-то скрылся. Я ну карабкаться на самую вершину. И весь обомлел. «Братцы!.. Товарищ Горбунов!» — надрываюсь, кричу. Да, может, и не кричу, может, мне только так кажется, пожалуй, и голосишко-то мой пропал, в глазах темнеть стало, ой, упаду, ой, упаду я с дерева!

И снова хочу крикнуть: «Товарищ Горбунов! Спаси дедушку! Убьют его». И ловлю глазом: бегут на помощь к деду наши храбрые бойцы, винтовки со штыками наперевес, бегут, «ура» кричат, и я само громко закричал «ура», да уж и не помню, то ли я сам с дерева свалился, то ли сила непонятная быдто ветром смахнула меня с вершины прямо на поляну.

И вот мчусь я по поляне прямо к деду и вижу: опоздал! Пузатый немецкий офицер пристрелил старика. Распластался мой бедный дедушка Матвей, только правой рукой шевелит, за белый снег в судороге хватается, кафтан возле сердца кровью набух. А около деда немецкий офицер с разбитым черепом лежит, наши бойцы таки пристукали бешеного пса. Три бойца с дедушки зипун срывают, бинты готовят, а старик и глаза стал закрывать, постанывает легонько, лицо белее снега. Я завопил тут: «Дедушка!.. Желанный дедушка!..» И пал пред ним на колени, в лоб его целую, в щеку, в бороду. А он еле шевелит губами, шепчет: «Петя, внук... Отходили мои ноженьки. Вот где довелось конец принять. Умираю... умираю, Петя. Вражеских злодеев погубил, сам погиб, а своих людей, слава богу, спас. Легко теперя мне... За родну... родну...ю землю умираю».

Тут дедушка захрипел, глаза закатились, вздохнул этак с надсадой да навеки умолк.

Вот каков был мой дедушка Матвей Кузьмин. Превечный покой его головушке!

И вот стали мы убитых немцев собирать, насчитали более двухсот пятидесяти человек. Остальные за ночь уж наверняка в непролазных трущобах поморозились, как тараканы. Потому — лютый мороз стоял.

Товарищ Горбунов велел переложить дедушку на грузовую машину, чтоб в нашу деревню везти. Кругом машины все бойцы выстроились, а Горбунов речь стал говорить. Что он говорил, я не слыхал: я о милом моем дедушке думал. Только и запомнил я последние слова начальника: «Вот, бойцы, берите пример с этого славного старика. Всю долгую жизнь

трудился, людям хлеб из земли выращивал, народ кормил, а умер — дай бог всякому... Героем умер, сложил свою седую голову за честь, за славу родины. И всем нам спасение принес».

А дедушка лежит, как живой, слушает и ничего в ответ не может молвить.

Я увидел сквозь слезы, как лицо товарища Горбунова задрожало, как он губы закусил, взмотнул головой и через силу добавил: «Спи спокойно, старик. Вечная тебе слава!»

2. ТРЯСИНА

Тульская область. Белогородские леса. Большое село Лишняки. Иван Петрович Иванов, старый крестьянин с окладистой бородой, сидел в кругу своей семьи и пришедших навестить его ближайших соседей. На столе квас с кислинкой, вареная картошка, льняное свежее масло, пахучая коврига хлеба.

— Вот пришел в наши края немец, — горько улыбаясь, сказал дед Иван. — А пошто пришел? Разорить пришел нас... Ну, да ничего, дай срок, мы ему пятки-то к затылку подведем. Нам бы только раскачаться да злости поболе в сердце понабрать.

Было часа три, угасал декабрьский серенький денек. За окошками раздались лязгающие звуки. Вот они ближе, ближе, вот задрожала от сотрясения почвы крепкая изба Ивана Петровича. Все бросились к окошку.

— Что за притча за такая... Немцы!.. — изумленно вскричал хозяин. — Ой, ты! Что же делать-то нам, ребята?

И не кончилось еще замешательство, как в избу вошел хмурый и подтянутый немецкий офицер.

— Который Иванофф есть? — спросил он.

Иван Петрович молчал, и все молчали. Офицер более настойчиво повторил вопрос. Ивану Петровичу не хотелось вступать с ним в разговор, но он все же вынужден был ответить:

— Ну, я Иванов. Что надо?

— Нужно маленько провожать наша колонна через ваш большуща лес.

— Нет, я не пойду. Я стар, да и хвораю, в поясах свербит.

— Ого! — угрожающе сказал офицер, и глаза его стали злыми. — Что стар, это не есть отговорка. Я заставляю тебя! — Он крикнул из сеней троих солдат и приказал им: — Взять его!

— Стой! — густым басом гаркнул дед Иван. — Не насильничай, тварь... Ежели по-хорошему желаешь, так проси по-хорошему и... подь к черту...

— Теперь согласен, Иванофф? Мне ваш крестьянско начальство кафариль, ти самая очшень карашо знаешь окружающий место. Согласен? Много немецких деньги будешь получить.

— Согласен... И подь к черту с деньгами со своими.

— Карош, карош. Гут!

Расставание с семьей было трогательное. Плакала старуха, утирали слезы три снохи. Иван Петрович, прощаясь, бубнил в бороду:

— У меня десять сыновей да внуков воюют в Красной Армии, а он, змей, немецкие деньги в глаза сует. Предателей среди нас сроду не бывало. Да я лучше свою седую голову сложу, смерть так смерть.

— Карош, карош! — нетерпеливо и повелительно покрикивал кривоногий офицер. — Идем!

И вот деда Ивана уже посадили на головную машину. Сзади было еще двадцать девять машин, доверху нагруженных оружием.

«Возьми свое сердце в зубы, Иван, будь тверд как камень», — подбадривает себя Иван Петрович, прощаясь со всем тем, что, может быть, в последний раз видят старые глаза его. Сердце старика тоскует, сердце надрывно бьется в груди. Легко ль в такие минуты человеческому сердцу?

Спускались сумерки. А вот и Белогородский лес. Лес, хмурый, непролазный, весь в глубоких сугробах, неприветливо встретил немецких оккупантов. Для

Ивана же Петровича он свой. Он пред ним весь — как на ладони. Вот они, с детства знакомые дубы в два обхвата, вот бородатые разлапистые елки, а на гривках — стройные, с розово-желтой корой, сосны. Эх, лес, лес... Неужто прости-прощай доведется сказать тебе?

— Где есть дорога тут? — строго спросил офицер.

— Да уж знаю, уж не сумневайся, — буркнул Иван Петрович. — По дороге правимся.

Через густые Белогородские леса пролегала единственная дорога, да и ту перемело глубокими снегами. А сверни с дороги — сразу в непролазную трясину угодишь. Частые болота еще не глубоко промерзли: сверху ледяная корка, под ней — гиблая трясина.

Валил густой и мокрый снег. Туманной завесой он преграждал пространство, слепил глаза. «Вот и хорошо, — думал Иван Петрович. — Снежок дивно болотца заметает. Втюхаю их, окаянных, в провалище, там и карачун им будет».

В лесу становилось темновато.

— Где твой карош дорога? — уж который раз надоедливо спрашивал офицер, в злобе стискивая зубы.

— Эвот, эвот... Вишь, как перекрыло ее снегом-то? Эвот она куда идет, гляди, — указал Иван Петрович в противоположную от дороги сторону, туда, где протекала самая болотистая речка Лобановка.

Колонна машин стала скрипеть и грохотать по бездорожью.

Прошло довольно много времени. Офицер курил сигару за сигарой. Передний грузовик, где сидели Иван Петрович с офицером, подминая кусты, с треском ломая молодую поросль, медленно двигался вперед.

— Пропал твой карош дорога? Где он?! — срывающимся голосом заорал офицер на старого Ивана и в гневе схватил его за опояску.

— А мы прямичок делаем, чтобы короче путь вышел, — успокаивал старик, ненавистно косясь уголками глаз на офицера. — Да уж ты не сумневайся, барин.

Офицер сильно волновался, часто отворял дверцу, с тревогой вглядывался в сгущавшуюся темень. Снег перестал. По небу текли рваные облака, кой-где виднелись бледные звезды. На землю наплывал от звезд мороз. Становилось очень холодно.

Холодела и мятущаяся душа старого Ивана. Земные интересы, семейная и колхозная жизнь крепко, как клещами, держала его в своих тисках. Старику хотелось хоть одним глазком заглянуть в будущее: как и когда будут выгнаны немцы, какую месть придумает им русский народ, как будет снова набирать живительных сил родимая страна? Нет, повременить бы умирать.

«А умирать доведется, немцы все едино убьют, — думал старик и снова внушал себе: — Эх, Иван, Иван! Возьми ты сердце в зубы. Становь превыше всего родную землю. Уж ты стар, не страшись смерти... Народ не забудет тебя, народ и семью твою в сиротах не оставит. Эх, Иван, Иван... Чую, кажется, душа твоя тоскует. Решайся, Иван... Пора».

Тут головная машина нырнула носом в болото, за ней весь караван машин. Чем дальше, тем глубже. И вот все тридцать машин захрясли.

Офицер схватил Ивана Петровича за белую бороду и замахнулся кулаком. Силач старик легко отвел его руку и нажимисто сказал:

— Стой, барин! Здесь завсегда болото живет. Иного пути нету. Прикажи солдатам, чтобы подсобляли машины выпрастывать. Эй, солдатня! — злорадно прокричал дед в тьму. — Скидавай портки, лезь в болото.

Офицер, сердито раздувая ноздри и пугающе косясь на старика, скомандовал солдатам перетаскивать машины на себе.

Увязая выше колен в ледяной грязище, солдаты стали исполнять приказ. Бились часа три, страшно передрогли, ругали седого старика. Мороз крепчал. Поднялся резкий ветер. Лес закачался, зашумел.

Наконец машины выбрались на сухое. И вскоре снова захрясли в еще более вязком, более непролазном болотище.

— Давай, давай! — угрюмо прокричал Иван Петрович, и душа его обмирала: неминучая, скорая смерть глядела ему в глаза.

Офицер выхватил револьвер и направил его прямо в лоб Ивану.

— Обман! Так это есть твой карош дорога? Смерть тебе!

— Смерти не боюсь, — бесстрашно пробасил старик, и ему показалось, что бровастые глаза офицера горят, как у волка. — Видишь, ночь. Машины бросим здесь до утра, а утром вызволим.

Насквозь промокшие солдаты погибали от холода и голода. Их одежда на сильном морозе с ветром затвердела, как железо. Продрог и офицер.

Иван Петрович окинул хмурым взглядом глубоко утонувшие машины и подумал: «Теперь их сам черт не вытащит».

— Барин, — сказал он. — Я тебя с солдатами проведу в сухое место. Там и обогреться можно, сараи с сеном есть.

— Шволочь!.. Изменник! Застреляю тебя! Веди!

И вот куда-то пошли сквозь тьму, утопая по пояс в сугробах. Измученные, промерзшие до костей солдаты окончательно выбились из сил. Проклиная жизнь, они падали на землю.

А мороз с пронизывающим ветром все крепче да крепче.

Но дед Иван больше не чувствовал ни мороза, ни усталости, он до дна покорил в себе страх.

«Ну как, Иван, не сдашь? — в последний раз вопрошал он себя. — Решил ли?»

И бесповоротно ответил он себе: «Да, решил».

Где-то гулко раскатились орудийные выстрелы. Немцы замерли на месте.

Офицер подскочил к старику и с яростью ударил его револьвером в висок.

— Шво-о-лочь! Куда завел? Плен завел!

— В могилу завел... вот куда... — проговорил старик глухо. — А это тебе... на прощанье! — И он плюнул в лицо офицера кровью.

Тут щелкнули ружейные затворы. Старый богатырь Иван был сражен сразу тремя пулями. И последняя мысль его: «Прощай, родимая земля. Будь во счастье!»

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!

1

Верочке было около семи лет, ее брату Павлику наступил двенадцатый. Он не без гордости говорил:

— Я теперь настоящий стал. Я человек.

— А я не человек, по-твоему? — сказала Верочка, взбрасывая розовощекое курносое личико.

— Нет, не человек. Во всяком случае, в данный текущий момент.

Верочка снова взбросила личико и с обидой в голосе спросила:

— А кто же я?

— Ты человечица. И чрез сто лет будешь не человек, а человечица. Посмотри в грамматике. Женский род. Умный — умница. Человек — человечица.

— Баран этакий, — сказала обиженная Верочка и надула губки.

— Ежели я баран, то ты овца. Не веришь, посмотри в грамматике. И тебя волк съест.

— Уж вот нет так нет, — возражала Верочка, всплескивая руками. — Волки все перестреляны, дядя Володя перестрелял.

— Ха-ха! — презрительно воскликнул Павлик. — А в зоологическом? Не видала, что ли? Целое семейство живет... Да и вообще...

— Там — в клетке. А в лесу нету...

— В лесу их масса! И в полях тоже.

— В клетке, в клетке! — капризно закричала Верочка.

— Да и сам дядя Володя говорил: их никогда и не перестрелять, говорит. Помнишь?

— В клетке, в клетке, в клетке! — не слушая его, выкрикивала Верочка. — Вот ужо я маме на тебя пожалуюсь, баран такой. — И она, притоптывая туфлями, убежала со слезами на глазах в спальню к матери.

2

Такие разговоры между сестрой и братом были возможны до войны. А вот теперь, год спустя...

Ну, теперь война идет, все стало по-другому, и разговоры стали совсем не те. Стали другими и дети.

Павлику минуло двенадцать лет. Он в войне и во всех событиях понимает теперь, пожалуй, немногим меньше отца и безусловно больше матери, а про сестру и говорить нечего. Верочка ровным счетом ничего не понимает. У ней только и занятий, что с утра до вечера она упаковывает в шкатулочку кукольное добро и на Павликовых игрушечных автомобилях и самолетах эвакуирует своих кукол из одной комнаты в другую. Тоже занятие, ха-ха...

А кукол у нее много: Катя большая, да Катя маленькая, фарфоровая Маруся, безносая Сонечка из мастики, три деревянных раскрашенных Марфутки, два негра Жан да Жак, еще Петр Иваныч и Федор Федорыч, еще плюшевый Мишка, слон со слоненком, козел, обезьяна, зайчик, да всего и не перечесть, коровы, лошади, гуси-лебеди, серый волк. Только одних неповрежденных кукол было девятнадцать да восемь пострадавших: безносых, одноруких, культяпых. Но ведь по человеческому милосердию и их надлежало эвакуировать в место безопасное.

Павлик же, освободившись от занятий серьезных, тоже иногда предавался игре, только игра у него была не детская, а строго военная: он бомбил и обстреливал комнаты.

Для бомбежки с воздуха он ухищрялся устраивать особые довольно сложные приспособления. С помощью переносной лестницы он натягивал под потолком бечевку, к ней привязывал своего изобретения проволочные крючки, а к крючкам подвешивал бомбы. К каждому крючку прикреплялся особый шнурок: дернешь за него — и бомба летит вниз. Небольшие бомбы — это гири от весов грузом в полкило и меньше. А самая большая бомба в тонну, то есть в тысячу килограммов, — это медная ступка. Чтоб не попортить паркетного пола, он по ходу падения бомб постилал ковровую дорожку. А звук разрыва изображал большим медным тазом в три четверти аршина диаметром. Этот таз в момент приземления бомбы он со всей силы швырял плашмя в голый пол.

Взрыв первой такой бомбы произвел столь ошеломляющее впечатление на спящего сеттера Азора, что собака вскочила, затем упала, затем снова вскочила и с каким-то испуганным визгливым тявканьем, поджав хвост и вся ощетинившись, помчалась как угорелая вон из комнаты. А кот Филька фыркнул, плюнул, подпрыгнул на аршин и, выгорбив спину и поджав уши, сигнул на печку. Оттуда долго смотрел хищными ненавидящими глазами на хохотавшего проказника, сердито урчал.

Верочка ж была догадлива: когда Павлик собирался грохнуть об пол тазом, она зажимала уши и кричала:

— А вот и не страшно, а вот и не страшно!

Однажды Павлик сбросил самую тяжеловесную бомбу, но взрыва не последовало. И вот уже игра Павлику надоела, он в бумажный рупор протрубил отбой. Верочка вывела из бомбоубежища, то есть из-под дивана, все свои куклы и поместила их в обычное место, а сама уселась под окошком за книгу. Когда она увлеклась чтением и про все на свете позабыла, сзади нее вдруг раздался страшный грохот таза. Верочка вздрогнула, выронила книгу, схватилась за сердце, едва передохнула, обругала брата:

— Дурак! Я сейчас маме скажу... Бомба не падала... Ты не имел права. Дурак!

— Ты ничего не смыслишь в бомбах, — заносчиво произнес Павлик. — Это бомба замедленного действия.

Верочка в ту ночь плохо спала, бредила. Павлик получил от родителей строжайшее запрещение не только метать бомбы замедленного действия, но и вообще упражняться в бомбежке.

Ну, да и хорошо! Павлику игра в бомбежку приелась, он обратился теперь к обычным своим занятиям, главным образом к чтению исторических книг про Наполеона, про Суворова, про Кутузова. Больше же всего Павлика увлекали книжки с путешествиями и журналы со статьями об изобретателях. Он любил также рассматривать географическую карту Европы, да не просто рассматривать, а и изучать движение врага в глубь России, его стремительные броски к Ленинграду. И маленькое сердце Павлика наполнялось негодованием к захватчикам-фашистам.

Он изредка прочитывал военные статьи в газетах, рисовал, как умел, схемы сражений, спорил с отцом, делал несбыточные предсказания о ходе войны. Иногда отправлялся с отцом слушать доклады на военные темы. Павлик по своим собственным рисункам, которые он гордо называл «техническими чертежами», мастерил самолеты, подводные лодки, танки. При этом он пользовался папиной готовальней, транспортиром, треугольниками — его папа инженер-механик. Модели получались довольно красивые, раскрашенные в защитный цвет или в яркие тона. Верочка с завистью глядела на эти затейливые игрушки и просила брата сделать ей кукольный домик, но Павлик, обозвав ее малосознательной девчонкой, наотрез отказался.

8

Впрочем, обстоятельства вскоре изменились к худшему, и Павлику пришлось сократить часы занятий. Враг становился назойливым, враг не давал спокойно жить.

Вот, например, вчера... С утра до ночи на Ленинград было семнадцать вражеских налетов. Не успеешь после отбоя подняться из убежища к себе в квартиру, как снова начинают выть сирены, — значит, опять беги по темным, обледеневшим лестницам спасаться в подвал. Тут уж не до занятий.

Наблюдать жизнь в убежище было интересно: все приходят с чемоданами, с наиболее ценными вещами, с едой. Музыканты захватывали с собой тромбоны, скрипки. Верочка приносила штук пять кукол и обязательно плюшевого Мишку. Электрические лампочки под потолком, а вдоль стен — кровати и скамейки, на кроватях старики и ослабевшие люди спали в шубах, в шапках, в валенках. Крестовые своды убежища кой-где подперты деревянными столбами. Сначала было довольно шумно, оживленно: взрослые вели разговоры о продуктовых карточках, о том, что в столовых вместо супа дают какую-то бурду, что на рынке нарасхват дуранда, что появился в продаже столярный клей, из него можно готовить хороший студень: не очень противный, но питательный. Дети тем временем, забыв всякие страхи, затевали возню: носились взад-вперед, устраивали чехарду, играли в прятки, в пятнашки, падали, плакали, сильно раздражали взрослых. Никакие окрики коменданта убежища не могли остановить их.

— Тише, граждане, тише! — взывал комендант, расхаживая вдоль сводчатого подвала. — Матери, уймите своих детей. Тихо, тихо!

Но вот слышится удар и взрыв упавшей бомбы. Земля резко вздрагивает, лампочки под потолком мигают, а иногда и гаснут, в убежище сразу наступает тишина.

Бомба ударила близко. У присутствующих сжимаются сердца. Сжалось сердце и у Павлика. Раздаются то здесь, то там тяжелые вздохи, шепот:

— Ой, как бы не в нас, как бы не в наш дом... Только бы не засыпало убежище.

Древняя старушка судорожно хватается за продуктовую сумку. Там у нее кусок хлеба, чашечка

с остатками пшенной каши, бутылка с чаем, все-таки, ежели засыплет убежище, можно подкрепить свои силы, пока не подоспеет помощь. Старушка крестится и шепчет морщинистыми губами:

— Отведи, господи, грозу. Не дай окаянному врагу удачи.

Павлик все это примечает. Вот вторая, третья, четвертая бомбы. Удары все дальше, все глуше. Появляются люди с улицы, говорят:

— Наши ястребки летают. Бомба разбила дом за каналом Грибоедова. Как ахнула, так донизу все четыре этажа.

Проходит четверть часа томительного ожидания. Вдруг открывается дверь, ведущая в убежище из квартиры дворника, выбегает четырехлетний Коля в белой рубахе с поясом, по-деловому объявляет:

— Глаздане! Отбой!

Из квартиры раздаются по радио радостные звуки ретурнели: «Та-та, тати-тата». И все с облегченными вздохами расходятся по домам. Надолго ли?

Маленькому Коле очень приятно возвещать отбой. Серыми глазами он всякий раз с детской пытливостью смотрит на выходившую из убежища толпу, и его бледное личико покрывается улыбкой: вот он крикнул — и все обрадовались, крикнул — и все пошли домой, старики и старухи, дяди и тети, девочки и мальчики, ха-ха-ха. Он и еще раз выйдет, и еще раз крикнет: «Глаздане! Отбой!» Да он готов каждый час кричать, лишь бы налеты были, он бомбов не боится, ему бомбы наплевать, а вот очень хочется кушать... Бывало, молочка давали, чаю с сахаром давали, конфеток, селедок, мяса да сыру, да еще плюшек самых вкусных мать покупала, всего хоть до отвалу ешь, и есть-то не особенно хотелось тогда, тятенька иной раз и подзатыльник даст: «Чего не жрешь, постреленок! Ешь вдосыт, а то расти не будешь!» А вот теперь и хлебца-то по выдаче, и кашки-то разок-другой лизнуть, а о сахаре и думать нечего, ему сахар во сне стал сниться. Чтоб провалился этот самый немец!

В те дни, когда не было налетов, Коля скучал.

Но вот завыли по городу сирены. Коля бежал, как на боевую службу, с улицы домой, садился возле радио и весь какой-то подобранный, настороженный нетерпеливо ждал отбоя и час и два. Иногда он заходил к Верочке, играл с нею в куклы. Верочкина мать — Марья Павловна — уж всегда чем-нибудь покормит Колю. Нос и губы у него в каше, он клал ложку, вздыхал и говорил: «Пасибо».

Павлик тоже любил позабавиться с Колей. Они одевали сеттера Азора в старый папин пиджак, передние собачьи лапы вставляли в рукава, полы застегивали на спине, а на задние лапы надевали Павликины трусики. Собака была как в брюках. Дети хохотали. На шум и смех приходила Марья Павловна, она тоже принималась смеяться. Собака, видя вокруг себя веселящихся хозяев и угадывая, что это потешаются над ней, начинала без устали крутить шерстистым, как страусово перо, хвостом, с игривостью подпрыгивать, визгливо подлаивать и по-собачьи улыбаться. Дети вели собаку напоказ к бабушке Павлика, она жила через коридор в комнатке напротив. Бабушка — очень приятная и добрая старуха, в очках. Глядя на большого пса в брюках, она тоже немало смеялась. Затем говорила:

— И зачем ты, Павлик, мучишь животное?

— Это, бабушка, не мученье, а ученье, — возражал ей Павлик. — Вы, бабушка, в цирке бывали? Дрессированных зверей видали? Инцидент исчерпан.

Дети выводили Азорку на улицу. И там, при виде потешной собаки, унылые, бледные, испитые лица прохожих сразу прояснялись, звучал редкий в ту пору смех. Только косоглазый дядя в фартуке сердито сплюнул и сказал:

— Да, порядочки... По-о-рядочки у нас... Вот ужо собак жрать будем. И этот пес-барбос попадется кому-нибудь в котел.

Дядя был порядочно выпивши либо шатался от голодной болезни. Павлик над всем этим задумывался и домой приходил печальный. Папа, узнав о со-

бачьем маскараде, сделал Павлику строгий выговор и пригрозил плеткой. Ох, уж этот папа...

Так проходило время. Смешное путалось со страшным, как белое и черное, как день и ночь. Должно быть, так всегда бывает в жизни.

4

Но вот кольцо блокады охватило осажденный Ленинград почти со всех сторон, и город стал подвергаться жестокому артиллерийскому обстрелу.

Обстрел! Слово для многих новое, слово страшное. Оно оказалось особенно страшным для маленького Коли: при первом же обстреле отец его, дворник, был на улице Желябова убит. Он пошел купить в киоск папирос, осколок снаряда попал ему в затылок. И еще было убито и ранено там семнадцать человек.

Колиного отца похоронили в гробу. В эту пору еще была возможность хоронить умерших в гробах, хотя и самодельных, по-топорному сколоченных, но все-таки в гробах.

Отец Павлика говорил:

— Обстрелы опасны тем, что никто не знает, когда и где они возникнут.

Артиллерийские снаряды, пускаемые врагом с далекого расстояния, со свистящим визгом, невидимкой, летели по небу. Слепые, начиненные смертью, они несли людям страх, увечье, гибель. Они ударяли в стены домов, в набитые людьми трамваи, в хлебные очереди, иногда чрез окно вонзались в квартиры и там, взорвавшись, производили опустошение, уничтожали жителей. Полоса обстрелов только началась, но настрадавшийся народ роптал: когда же, когда это кончится?

Осиротевший Коля не особенно горевал о смерти отца. Коле не до этого... Ему все время хотелось есть, соблазняющие мысли его были мыслями полуголодного существа. Но, несмотря на это, Коля при бомбежках продолжал быть на своем боевом посту.

Под звуки ретурнели он все так же из своей каморки выбегал в убежище и бодро возглашал:

— Глаздане! Отбой!

Увлекающийся военным делом Павлик стал играть в обстрел: в нем еще не погасли детские шаловливые наклонности. Он маленькими камушками обстреливал из рогатки комнаты, норовя главным образом попасть в сестренкины куклы. Верочка эвакуировала их в другую комнату. Павлик туда же переносил и свои обстрелы. Они возникали у него тоже внезапно, как и настоящие.

Однажды, обстреливая дремавшего на письменном столе кота Фильку, Павлик разбил папин абажур. Папа оттряс Павлика за вихрастые волосы, а рогатку бросил в печку.

— Стыдись, — сказал отец сыну. — С рогатками только хулиганы забавляются, стекла бьют. Уж ежели в тебе такой военный пыл, я присмотрел для тебя монтекристо, знаешь? И с патронами.

— Но... Папочка, ведь это же слишком дорого, — захлебнулся восторгом Павлик.

— Я не на деньги, — сказал отец. — Я договорился с Иваном Иванычем. Знаешь? Ты завтра отвезешь ему на салазках вот эти книги и получишь взамен монтекристо.

— И вам, папочка, не жалко книг? — почтительно спросил Павлик, с опасением заглядывая в глаза отца, как бы тот не передумал.

— Книги и вещи — дело наживное. Война окончится, снова можно приобрести, — сказал отец. — А вот Азорку жаль... Усыпить придется.

Павлик, очень любивший умного сеттера, даже руками всплеснул и закричал:

— Папочка! Что вы! Почему?

— Сам знаешь почему, — грустно сказал отец.

У Павлика навернулись слезы. Ему уже не в радость был и монтекристо. Павлик пошел в кухню. Исхудавший пес сидел возле стола, где мать крутила в мясорубке кусок конины. Он сладко и просительно заглядывал ей в глаза и пускал слюни.

— Мама, — начал было Павлик, и голос его оборвался. Ему как-то неловко сделалось начинать разговор о судьбе собаки в ее собственном присутствии, ему почему-то казалось, что умный пес может понять его.

И Павлик стал изъясняться с матерью полунамеками:

— Мама! Неужели... нельзя, чтоб... чтоб... Ведь жалко. — И мальчик показал глазами на собаку.

— Да, еще подержим... Посмотрим... Конечно, жаль, — сказала мать, откидывая запачканной рукой спустившиеся на лоб волосы. — Вот если б удалось сплавить его знакомому охотнику-леснику. А то он становится нам в тягость.

Пес умными человечьими глазами посмотрел на грустное лицо Павлика, затем на лицо хозяйки, вздохнул и, опустив хвост и размеренно постукивая когтями по паркету, пошел в кабинет. Там, в углу возле дивана, был его постельник. Павлик поглядел ему вслед, спросил:

— Неужели он догадывается?

— Он все слова понимает, — ответила мать.

Войдя в кабинет, Павлик опустился перед собакой на колени, стал гладить ее, говорить:

— Хороший, хороший мой Азорик.

Собака стучала в пол хвостом, признательно лизала мальчику руки, глаза ее были влажны. Павлик сбегал в кухню, отломил корочку от своего хлебного пайка и принес ее Азору.

5

Ах, какая удивительная штука монтекристо! И патронов можно купить в «Динамо» сколько хочешь.

Павлик обучался стрельбе в убежище — это длинный коридор, и цель можно было относить на большое расстояние. К Павлику учиться стрельбе приходили его сверстники со всего дома. На стрельбище всегда присутствовал в качестве зрителя и маленький Коля.

Первые уроки стрельбы давал отец Павлика — Дмитрий Петрович, хороший охотник. Он нарисовал

на фанере фигуру пучеглазого немца с трубкой в зубах, и мальчики с особым удовольствием всаживали в немецкое брюхо маленькие пули. Пристрелявшись к ружью, Дмитрий Петрович сказал:

— Ну, теперь смотрите, ребятки: первую пулю я кладу немцу в переносицу, вторую — в левый глаз, третью — в правый.

Как сказал Дмитрий Петрович, так и вышло. Дети пришли в восторг: продырявленный немец перестал пучить глаза и стоял с перебитым носом. Маленький Коля от радости закричал, захохотал и принялся бить в ладоши.

Отлично стал стрелять и Павлик. Он даже умудрился подстрелить в убежище оплошавшую крысу. Павлик говорил:

— Ну и полуплю я немцев! Пусть только сунутся к нам... Из настоящей винтовки... Мне папа купит.

— Никогда они не сунутся сюда, — возразили ему мальчики. — Мы ни в жизнь этого не допустим.

— Ха, не допустим, — передразнил Павлик товарищей. — А вы разве не слыхали, что вчерашней ночью возле Казанского собора ракеты пускали? А кто пускал? Диверсанты, немцы. Их надо уничтожать.

— Их, говорят, поймали. Да ведь их много... Они и на Выборгской стороне, говорят, сигналы давали, и возле Троицкого моста...

— Вот то-то и есть, — сказал Павлик. — А когда диверсантов истребят, тогда и Красной Армии легче будет.

Мальчики пробовали было играть в войну, но на это не хватало у них времени: надо стоять в очередях за хлебом, или бежать в столовую за полуголодным обедом, либо помочь маме наколоть и напилить дровишек, да мало ли. Павлику тоже было недосуг.

На игру у мальчиков времени не было, зато они, по совету Дмитрия Петровича, решили организовать пожарную дружину. В дружине двенадцать взрослых и крепких мальчиков, Павлик бригадир, а товарищ его, ученик ремесленного училища Ваня Ездаков, — правой его рукой. На дворе и по этажам теперь полный порядок: песок, вода, лопаты — все на своих местах.

Как-то глубоким вечером, во время бомбежки, в убежище быстро вошел управдом и сказал:

— Граждане... Только без волнения, спокойно. На наш дом сыплются зажигательные бомбы...

Что он еще говорил и какой шум и гвалт поднялся в убежище, мальчики не слыхали. По команде Павлика: «Дружина, за работу!» — они прытко сорвались с мест и в один момент побежали на улицу.

Павлик увидал необычную картину. За невысоким каменным забором пылали в соседнем дворе деревянные постройки: дровяные склады, уборные, разный сухой хлам. Густые клубы темно-красного дыма медленно плыли к звездному небу. Но Павлику и его дружине некогда разглядывать, надо приниматься за работу: в их собственном дворе тоже начинали пошаливать озорные огоньки.

— Давай, давай! — кричали люди с ломами, топорами, лопатами, растаскивая воспламенившиеся ящики. Этих ящиков был полон двор, они завезены сюда как топливо и для устройства ставней.

Сверху, из-под крыш, летели во двор жар-птицами горящие бомбы. С криком: «Лови, туши!» — их вышвыривали дежурные.

Мальчики-дружинники и взрослые особыми клещами или же просто руками в нагольных рукавицах хватали за хвост эти чертовы свечи, совали их в ушаты с водой или затаптывали в песке. Суматоха, гвалт. Горящие ящики растаскивались быстро, очаги огня глушились водой или вбивались каблуками в землю. Еще четверть часа — и все приведено в порядок.

У Павлика была разорвана куртка, из руки струилась кровь, у старшего дворника опалена борода и на руках волдыри от ожога. Приятелю Павлика отдавили ногу, он похромал к себе, но не заплакал.

Все отметили усердную работу дружинников-подростков. На другой день была объявлена благодарность участкового управления жилищами, а через два дня в газете появилась о них поощрительная заметка. Павлик выстриг ее и вклеил в свой альбом на память.

6

Стояли морозы. Ночами были удивительно яркие звезды. А днем, чрез легкий туман, зимнее солнце казалось огненно-красным. Оно походило на шар из расплавленной, начавшей охлаждаться меди. В такие тихие безветренные дни на всем лежала какая-то нежная розоватая голубизна. Эх, если б не эти проклятые обстрелы!.. Особенно хороши были покрытые густым инеем деревья. Александровский парк за Невой, Летний сад или небольшой сквер с бронзовым памятником Екатерине на фоне изумительного своими пропорциями бывшего Александринского театра с чугунными над порталом конями. Вся эта картина: легкий туман, сизоватые дали, красный шар в небе и сотканные из белого пуха деревья — была зрелищем поразительным.

Но в эту памятную зиму редкий из ленинградцев останавливал свое внимание на красотах природы и дивного города: у каждого была охапка житейских забот: где добыть хлеба, как добыть хлеба, куда побежать за водой — от стужи вода в нетопленных домах замерзала. Всюду очереди, транспорт хромал, бензину не хватало, трамваи остановились, хлеб поступал в продажу с перебоями.

Блокада Ленинграда усиливалась, наступало время несчастное: недоедание перерастало в голод, за голодом шли болезни, за болезнями шагала смерть.

Все чаще стали появляться кой-как сколоченные из старых досок гробы с мертвецами. Их везли на маленьких, иногда спаренных санках слабосильные люди, они хоронили своих отцов, матерей, детей, сестер, братьев. Павлик видел: на большие санки был вместо гроба положен шкаф, в нем два мертвеца: отец и сын. Их вез за полкило хлеба и десять картошек широкоплечий человек.

Начали попадаться покойники, запеленанные, за отсутствием гробов, вроде мумий — в простыни и в одеяла. Бывало и так: шел-брел изнемогший человек малолюдным переулком, упал, пошевелил белыми губами, чтобы позвать кого-либо на помощь,

закрыл глаза и умер. Посторонние не уберут его: нет сил, нет никаких возможностей. Родственники не скоро-то найдут покойника, да, может, их и на свете нет. Уберет его милиция или дворник соседнего дома. С озлобленным брюзжаньем он втащит труп в свою обледеневшую прачечную: лежи, мертвец, жди своей очереди.

Затем стали появляться подкидыши. Иные обреченные люди уже не в силах были отвозить своих усопших на кладбище. Поздним вечером или ранним утром, когда еще темно, они подкидывали трупы во дворы, в парадные крыльца, оставляли возле больниц или бросали где придется. Случалось, что мертвецы валялись беспризорно и день, и два. Разыгравшаяся вьюга иногда укутывала их белым снегом, навевала над ними негрузный могильный холмик.

Поначалу смотреть на все это было жутко, затем глаз привык.

И привыкло человеческое сердце.

Павлик за этот необычный год стал взрослым, вдумчивым, и ко всему, что видел, он относился по-серьезному. Он сумел рассмотреть в несчастной повседневности блокированного города не одно жалкое, печальное, трагическое, но и то, что составляет неотъемлемые черты здоровой жизни. Он видел не только хлебные очереди, худосочных, плохо одетых людей, не только вросшие в снег давно брошенные средь путей трамвайные вагоны или окаменевших на морозе мертвецов...

Нет, он встречал также группы бодрых рабочих — от стариков до подростков, — спешивших на фабрики и заводы, или большие отряды сильных девушек с краснощекими лицами: это группы санитарок, медицинских сестер или несущих боевую службу с винтовкой, с гранатой в руке, это отряды русских героинь. Вот прошел уверенным маршем батальон бравых красноармейцев, штыки их сверкают, снег под ногами скрипит. Вот крепко сколоченный отряд моряков в черных бушлатах, в брюках навыпуск, широкоплечие, с задорными лицами, на винтовках вместо штыков стальные ножи. От молодцов веет

отвагой и силой. Мчатся автомобили, их много — грузовики, легковые. Они окрашены в белый цвет, утыканы елочками, иные прострелены пулями или повреждены снарядами, — они мчатся с фронта на фронт. Движется обоз на сытых конях: везут мясо, мешки с мукой, целые поленницы дров. По всему городу многие тысячи жителей расчищают тротуары, дороги, вывозят снег из дворов. Возле Дома книги, что против Казанского собора, пожилой художник, тепло одетый в лопарские унты и малицы пишет на морозе масляными красками перспективный вид Невского с погоревшим Гостиным двором. Его мольберт окружен детворой. Шумной ватагой спешат в школу подростки-ремесленники в форменной одежде. Павлик с интересом посмотрел им вслед. Все учреждения открыты, занятия идут полным ходом. Вот афиша — завтра большой концерт в филармонии. Павлик недавно был в оперетке, иногда бывает в кино. На зрелищах всегда масса народу.

Значит, город живет, и дышит, и дает о себе знать, вопреки жесточайшей блокаде. Да здравствует жизнь!..

7

Мать Павлика хорошая хозяйка, у нее были кой-какие запасы. Но время не ждало, запасы подходили к концу. У Павлика все сильней и сильней становилось чувство голода.

Правильно сказано: «Голод — не тетка». Оголодавший человек способен черт знает на что. Павлик это испытал на себе.

Дело было так. Пошли они с сестренкой в папину столовую, чтоб принести домой обед. У папы выходной день, мама хворала. Время клонилось к вечеру. В столовой чадно, дымно, холодно и довольно темновато, кой-где коптят керосиновые лампочки. За отдельными столиками, накрытыми старыми газетами, сидят в шубах и шапках обедающие. У многих мертвенно-восковые лица со втянутыми щеками или, наоборот, одутловатые.

Очередь берущих обед на дом тянется в кухню чрез коридор, чрез всю столовую. Очередь нервничает, ведет себя слишком шумно, всяк выискивает случая придраться к другому, оскорбить его.

Павлик удивлен: люди это или животные? Но вот он и сам, очутившись в потоке враждебных настроений, тоже начинает злиться и на своих бранчливых соседей, и на свою судьбу. Какого-то подслеповатого старика, отдавившего ему ногу, он молча тычет боксом в бок. Старик оборачивается, орет:

— Ах ты хулиган! Вышвырните его к чертовой матери!

В защиту мальчика вдруг прозвучал сзади него примиряющий, какой-то по-особому бодрый голос:

— Всё в порядке! И хулиганов здесь, гражданин папаша, нет. А есть несчастные люди.

Это говорил краснобородый присадистый человек со здоровым, чисто вымытым лицом и в опрятном полушубке.

— Вот я, например, печник, и стою за обедом не для себя, а для одной несчастной образованной старушки. И браниться здесь нечего, друг друга оскорблять. Эх, нервенные какие все стали, на себя не похожи.

— Вам хорошо рассусоливать-то, — скрипит простуженным голосом дама в криво надетой шляпке, щеки и лоб у нее донельзя прокоптели, а нос хорошо отмыт. — Вы, печники, эвота как с нас дерете...

— Гражданка, я с вас, кажется, не драл. Ну так и не высказывайте своих предсказаний... И всё в порядке.

На него со всех сторон закричали.

— Всё в порядке, — щуря улыбавшиеся веселые глаза, повторил печник, — нервенность в вас кричит. Блокада! Вот, скажем, к примеру, завалился в дымоходе кирпич, и сразу весь дым в комнату вдарил. От него захлебнуться можно и на тот свет сыграть, ежели не открыть фортку. Вот что есть блокада. И всё в порядке!

Соседи бросили перебранку, стали прислушиваться к словам краснобородого.

— А я вот и в блокаде без всякого уныния живу. Да-кось, наплевать! Через это здоров. Как-то, летом еще было дело, иду по берегу Невы возле Троицкого моста. А в небесах стервятники летают, зенитки наши пускают. С лодки двое молодцов кричат мне. Я подошел. Парень говорит: «Ты, красная борода, когда-нито выигрывал по государственному займу?» — «Было дело», говорю. «Ну, так садись в лодку, авось еще выиграешь». Я сел. А бомба со стервятниками к-э-эк хлобыснет в Неву недалеко от нашей лодки! Сразу вода фонтаном. Мы на веслах туда, глядим: рыбин с сотню вверх брюхом плавают; парень говорит мне, зубы скалит: «Видал выигрыш?» Мы насобирали рыбы оглушенной пуда три. И на берег голодающим рыб с десяток выбросили. И все в порядке... Или, допустим, так...

Но Павлик уже не слушал, он ужасно проголодался. Взял у Верочки посуду и под злобные окрики пролез в кухню к знакомой заведующей Анне Ивановне. Она в проходной комнате рядом с кухней развешивала продукты.

— Ах, Павлик, — встретила она мальчика. — Побудь, дружок, тут, покарауль, чтоб не стащили чего-нибудь, всякие тут шляются... А я на одну минутку.

— Не беспокойтесь, Анна Ивановна, покараулю, — сказал Павлик, и у него, при виде большой миски с сахарным песком, сразу накатилась слюна, как у Азора. Он схватил столовую ложку, поддел стогом сахарного песку — и в рот. Еще поддел — и в рот... Вкусно!.. И этакая сладость. Еще поддел — и в рот. Проглотил из графина воды — и все в порядке!

Вошла хозяйка.

— Все в порядке, Анна Ивановна! — браво отрапортовал Павлик, но голос его сфальшивил, он подумал про себя: «Вот негодяй, прохвост». Руки его дрожали, лицо горело от стыда.

Второе преступление, еще более тяжелое, произошло с ним на обратной дороге. Путь лежал мимо Инженерного замка, затем Марсовым Полем вдоль

неширокой канавки. Он шагал по-мужски, Верочка за ним вприпрыжку. Анна Ивановна наложила им в кастрюлю густой пшенной каши, а сверху полила маслом. Каша горячая, от нее шел вкусный теплый парок. Павлику до смерти хотелось есть, он весь день был голоден. Да и ночью чувствовал неутолимый голод. Ночью ему не спалось. Он представлял себе накрытый стол, на нем всевозможные закуски: балыки, анчоусы, шпроты, крабы, сыр. Павлик все их, не торопясь и смакуя, поедает. И чем больше ест, тем сильней начинает страдать от голода. Потом слоеные горячие пирожки стал есть, они тают во рту, рассыпаются. Затем блины, хорошо прожаренные в масле, затем горячий-горячий кофе с большим-большим сахаром и густыми сливками. Ну конечно, трех сортов торты, особенно вкусен жестковатый прослоенный шоколадом торт «микадо» из кондитерской «Норд» с бывшего Невского.

Обо всех этих вкусностях Павлик рассказывает на ходу Верочке. Оба облизываются и глотают слюни.

— Я за все это продал бы сатане душу, как пан Твардовский в каком-то романе, — говорит Павлик. — Впрочем, к черту все эти кофеи с тортами, я бы лучше самых жирных щей съел со свининой, кислой капустой да чесночком... Восемь тарелок съел бы...

И вдруг... Вдруг по всему городу завыли неугомонные сирены, а из репродуктора закричали: «Воздушная тревога, воздушная тревога!» Проклятые сирены — кто их только выдумал! Они наполняют все существо человека необъяснимым унынием, они высасывают душу.

Дети побежали. Было темно. Визгливый вой сирен то усиливался, то ослабевал. И Павлику показалось, что весь Ленинград заплакал.

— Слышишь, как плачет город! — бросил он спешившей за ним сестренке.

— Да... Ему сейчас будет больно. Его будут разрушать.

Нет, город не плакал. Город-герой звал к защите, к мщению. И вот загремели наши зенитки. С неба

стали доноситься отдаленные звуки налетающих бомбовозов. Они жужжали, как гигантские шмели.

— Летят, — сказал Павлик. — Побежим, спрячемся в щель.

Они припустились по маленькому чрез канаву мосту в соседний сквер. По Марсовому Полю тоже бежал народ: зенитки гремели близко, осколки от их снарядов шлепались то здесь, то там. Вот за Невой, левей Петропавловской крепости, гулко грохнуло, еще и еще и — вскоре там показалось пламя.

Вдруг воющий ужасный звук: с неба, где-то близко, падала бомба, за ней другая, третья. Раз за разом раздались невдалеке три оглушительных удара в землю, три взрыва. Вся почва трижды сильно содрогнулась. И при вспышке зарева бегущим детям почудилось, что вблизи них все дома с грохотом и треском рушились, а деревья, подпрыгнув, легли набок. Дети вбежали в щель. Там никого не было.

— Это у нас, — сказал, дрожа, Павлик. — Наш дом разрушен.

У Верочки задрожали щеки, вот-вот расплачется. Еще раздались два сотрясающих удара в землю как раз в стороне квартиры Павлика.

— Вот это у нас, пожалуй, — едва передохнув, пропищала Верочка, по ее щекам струились слезы. — Мама, ма-а-мочка... — захлюпала она.

Павлик сопел. Согревал озябшие руки возле теплой еще посуды с кашей.

— Я ужасно есть хочу, — раздраженно сказал он, не обращая ни малейшего внимания на слезы Верочки. — Ежели я сейчас же не съем всю эту кашу, я умру.

— Что ты, Павлик... Зачем ты так страшно говоришь?

— Умру, умру... От голода умру. И ты умрешь, потому что мы дураки. Давай съедим!

— Что ты, Павлик! А как же мама с папой? — прошептала Верочка и посморкалась в платок. — Нет, я не буду.

Павлик хотел сказать: «Мама с папой, вероятно, убиты», — однако смолчал. А что, если действительно

родители погибли? Душа мальчика стала холодной и бесчувственной, как ледяная глыба: ощущение непереносимого голода подавляло в нем все человеческие порывы. Не отдавая себе отчета и не в силах совладеть со своим своевольным языком, Павлик выпалил:

— Их, может быть, не убило, а засыпало. А вот нас убьет!

— Врешь, нас не убьет. Мы в щели.

— Убьет, — сказал убежденно Павлик. — Обязательно убьет. И каша пропадет зря. Пока живы, давай есть. — Он открыл судок, запустил руку в теплую кашу и набил ею полон рот. Ему теперь ни капельки не было жаль ни отца, ни мать.

Верочка истерично завизжала:

— Не смей, не смей! — и со всех сил два раза ударила брата кулаком в ухо. Павлик чуть не подавился кашей. Он сразу отрезвел, пришел в себя. И чувство голода в нем исчезло. Его охватил жгучий стыд.

Бомбежка кончилась. Отбой. Перегоняя пешеходов, брат с сестрой бежали домой вприпрыжку. Пожары один за другим постепенно затихали.

Лишь были слышны не прекращавшиеся ни днем ни ночью глухие артиллерийские раскаты. Это наш фронт застращивал, громил врага.

И вдруг из-за угла отец с фонарем:

— Малыши! Целехоньки?

— Папочка! — И дети бросились к нему на шею. — А у нас как?

— Все благополучно. Правда, порядком-таки пострадал третий дом от нас, но в нашем доме даже стекла целы, воздушная волна скользом как-то прошла. А в том доме человек тридцать убито, говорят. А вы где спасались?

— Мы в щель залезли в саду, — сказала Верочка. — Нам с Павликом жутко хотелось есть. Только мы к каше и не прикасались. Совсем, совсем не трогали, ни я, ни Павлик.

Брат взглянул на сестру с великой благодарностью. К его горлу подступил комок, скулы

задрожали, но он пересилил себя, от слез сдержался. Он ласково сжал сестре руку и тихо прошептал:

— Спасибо.

Оба этих неприятных для него происшествия мальчик переживал мучительно и долго.

8

Однажды приятель Павлика, сын старшего дворника Ваня Ездаков, сказал ему:

— И чего ты дома зря околачиваешься? Поступай к нам в ремесленное.

— А что там делать?

— Как что? Ремеслу учиться будешь.

— Какому?

— Как какому? Да какому хочешь. Можешь по слесарной или токарной специальности, можешь на столяра учиться, на квалифицированного кузнеца, на сапожника, либо на портного. Или на строительного десятника... Да на кого пожелаешь. К чему у тебя склонность, туда и определишься. Тебе сколько лет?

— Чрез четыре месяца тринадцать.

— Возьмут. Ты здоровый, ты на вид старше, тебе все пятнадцать можно дать.

Павлик внимательным взором уставился на Ваню Ездакова: темная со светлыми пуговицами шинель, по талии широкий кожаный пояс, на голове форменная фуражка со значком.

— Училище было закрыто, а теперь опять новый набор. Есть дают там, обед хоть и паршивый, но все-таки. Хлеба полагается порядочно, — нахваливал Ваня. — Иные ребята деньги зарабатывают, — сверхурочные заказы на оборону. Я, например, в столярном цехе патронные ящики делаю, вчера выработал семнадцать рублей. А кроме того, нас, кажется, эвакуировать хотят, все училище. Ремесленники рады.

— Эвакуировать? — живо переспросил Павлик, и глаза его заблестели. — Куда же?

— Да еще не выяснено. То ли на Урал, то ли на Волгу.

— На Урал? На Волгу? И туда и туда хорошо.

Павлик очень любил путешествия, он бывал с отцом в Москве, ездил по Волге и Каме, прочел немало книг, где описывались разные путешествия. Он сказал с притворным раздумьем:

— Пожалуй, я не прочь в ремесленное поступить, вот не знаю, как родители. Папа на инженера меня хотел. А мне самому, по правде-то сказать, хотелось бы военным быть.

— Ха, военным... — присвистнул Ваня. — До военного у тебя еще нос не дорос. Какие мы с тобой военные?.. Мальчишки.

— А что ж, — обиделся Павлик. — Разведчиком разве я не мог бы быть? Мало ли мальчиков в разведчиках и в партизанах? Разве ты не читаешь газеты? Мальчики наших с тобой лет на фронте — сделай одолжение.

Ваня Ездаков посмотрел на товарища с некоторым пренебрежением и вразумительно, как взрослый, проговорил:

— У нас, рабочих, за верстаками да в цехах — тот же фронт. Не будь военных заводов, чего фронту делать? И мы с тобой, Пашка, на трудовом-то фронте пожалуй, полезнее, чем на войне... Мно-о-го полезнее, — добавил он убежденно. — Да и отец то же самое скажет тебе.

Павлик ответил:

— Ты, Ванька, прав. Ишь ты, черт, рассудительный какой. А после войны можно и на инженера двинуть. Ну, да об этом еще рано толковать. Может, и ты инженером будешь.

— А что ж инженеры, — с горячностью возразил Ваня Ездаков и, чтоб форснуть пред Павликом, закурил папиросу. — Кончишь ремесленное, с годик поработаешь на заводе — да, глядишь, и мастером заделаешься. Тысячу, а то и две будешь в месяц выколачивать. Да другому инженеру и во сне не приснится этакий заработок...

В тот же вечер Павлик имел разговор с родителями. Мать отнеслась к затее сына неодобрительно. Отец подумал и сказал:

— Ну, этот вопрос так, с бацу, решить трудно. А в общем, что ж... Ремесло за плечами — вещь чудесная, в особенности по нашим тяжелым временам, когда общеобразовательные школы почти бездействуют. Вот ужо я побываю в ремесленном, да посмотрю, как и что.

Поздно вечером Ваня Ездаков принес Павлику в подарок красивую шкатулку под красное дерево, на верхней крышке резной незатейливый орнамент.

— Неужели сам делал? — спросил Ваню отец Павлика.

— Безусловно, — с гордостью ответил тот. — Ведь я второй год работаю. Думаю быть хорошим краснодеревцем. Говорят, большая недостача в них.

Шкатулка переходила из рук в руки, все любовались тонкой работой мальчика. В глазах Павлика и в складке губ появилось выражение хорошей зависти и ему захотелось быть настоящим мастером, чтоб тоже выпускать нужные и приятные людям вещи.

Сели ужинать. Горела скудная керосиновая лампочка, топилась широкая, присадистая буржуйка, на ней варилась жидкая кашица, а в котелке кипело какое-то вонючее хлебово для Азора. С тех пор как Павлик выклянчил в соседней столовой разные для собаки отбросы, Азор стал глядеть на жизнь повеселей, реже вздыхал и на прогулках носился как угорелый.

Хитрый Павлик притворно грустным голосом сказал:

— Вот только беда: ремесленное училище будут эвакуировать...

— Вот видишь, вот видишь, отец! — воскликнула Марья Павловна. — Да я Павлика ни в жизнь не отпущу...

А Верочка, прислушавшись, всплеснула руками и заголосила:

— Павлик, Павлик!.. Неужели ты уедешь?

Отец сказал:

— Хм... Эвакуация... Вероятно, и наше учреждение будет эвакуироваться... Мне директор говорил.

— Куда, папочка, не на Урал? — И Павлик, задав вопрос, затаил дыхание.

— Не знаю, — ответил Дмитрий Петрович.

Подкрепивший свои силы пес по очереди подходил к своим, клал каждому на колени лапу. Отец погладил Азора, стал стыдить его:

— Скажи «спасибо»... Что ж ты, такой большой оболтус, а до сих пор не научился по-человечьи говорить?

Азор виновато поджал уши и застучал в пол хвостом.

Ваня Ездаков, погладив Азора, сказал:

— Я очень интересное объявление видел на заборе.

— Их тысячи, — перебил его Павлик. — Меняю меняю, меняю... «Английский рояль меняю на продукты». «Новый отрез шевиота меняю на масло и рис...»

— Да... А это объявление я списал. Оно насчет собак. Вот. — И Ваня, вынув записную книжку, стал читать:

— «Стой! Вниманию граждан, любителей бессловесных тварей. Граждане, в текущий момент невозможно в городе содержать собаку. А я живу за городом и во имя животнолюбия беру собак на прокорм. Приводите ко мне по нижеуказанному адресу собак не старых и крупных. Мелюзгу не принимаю».

Все засмеялись. Павлику показалось, что улыбнулся и Азор.

На следующий день отец за обедом сказал:

— Ну вот... Был я в двух ремесленных. Порядок не плохой. Ребята толковые, старательные. Правда, у многих кожа да кости. Вот поэтому-то и хотят их эвакуировать всем составом. Во второй половине марта, пока Ладожское озеро не раздрябло. И, кажется, на Урал. Наше учреждение тоже на Урал переводится, решено и подписано, как говорится. И тоже в конце марта... Так что... — И он неожиданно добавил: — Так что, Павлик, послезавтра заберешь

документы и але-але в ремесленное. Довольно тебе бить баклуши-то.

Чрез неделю Павлик был уже в форменной одежде. Он поступил в слесарный цех. Для практики он по первому делу учился опиливать рашпилем и напильником чугунные бруски и пришабривать их к «идеальной» поверхности, то есть к стальной выверенной плоскости, покрытой тонким слоем сурика, смешанного с жиром.

Так подрастающий Павлик в тяжелейших условиях блокады определил себя на путь прямой и верный, путь служения родине своей.

БУРЯ

Разведчик сержант Пантюхин к сумеркам был уже на месте. Он залег в оголенных кустах на берегу неширокой, метров в полтораста, реки. Одет он был на славу: добротный полушубок, длинные сибирские пимы, рукавицы из собачины, по-сибирски — «мохнатки». А сверх всего — белый маскировочный халат. Мохнатки да жилетка из беличьих лапок — подарок с родины, от милой сердцу далекой Сибири.

Глаз сибиряка зорок. Чрез падающий снег и вечернюю муть Пантюхин все, что ему было надобно, подметил. Противоположный берег довольно высок: пожалуй, метров двадцать с гаком. На берегу — сарайчик, бани, амбарушки. А дальше — большое село, опорный пункт неприятеля. Двое немецких часовых: один сидит на чурке, другой, вдалеке от него, ходит взад-вперед с винтовкой за плечами. Пантюхин рассматривает их в бинокль. В нем вдруг заговорило чувство охотника. Он тихонько подтянул к себе винтовку и сладостно взял на прицел того и другого. Но... стрелять нельзя!

Как раз против Пантюхина за рекой каменная церковь. Купол поврежден снарядом, стекла выбиты. Церковь на самом обрыве. Обрыв крут, почти отвесен и — что за чертовщина такая! — обледенел. Очевидно, немцы обильно поливали его водой и превратили весь обрыв высотой метров шестьдесят в трудноодо-

лимую преграду. Поэтому двойной ряд проволочных заграждений, идущий поверху, вдоль бровки берега, заканчивался возле ледяного обрыва, упираясь слева в колокольню, справа в каменную церковную ограду. Пространство с ледяным откосом немцами не окарауливалось, они считали это место неприступным.

«Вот тут-то ты, немец, и просчитался, — сказал себе Пантюхин. — Для тебя твердыня, а для нас дако-с наплевать... Здесь залезать! Ногти обломаем, зубы об лед расшибем, а взберемся. Займем церковь, натворим делов...»

Только за что бы зацепить петлю? Среди надмогильных крестов возле церкви чернеет большой каменный памятник. Нет, не выдержит, пожалуй, сковырнешь. А вот торчит невысокий ствол срезанной снарядом березы. И как раз против колокольни. Место заметное. На нее-то, на эту березу, Пантюхин и забросит среди ночи петлю.

Возвратившись в свою часть, Пантюхин сделал обстоятельный доклад о произведенных им розысках.

— Одобряю, — сказал начальник. — Только смотри, трудновато будет по ледяной стенке-то лезть.

— Слов нет, трудно, товарищ начальник, — ответил Пантюхин. — Ну, да ведь мы, сибиряки, как никто, справимся, мы привычны. Ежели дозволите доложить, я сам родом-то с Алтаю, и, почитай, все наше село зверя промышляет в белка́х. Ну нам зимой доводится и по ледяным скалам лазить.

— Ну, хорошо, — перебил его начальник, — а чтобы тебе было все ясно, слушай. Наш фронт на днях переходит в наступление. Чтобы обезопасить себе правый фланг, нам надо в первую голову взять это село. Но силы нашей части, сам знаешь, невелики. Маловато... Однако погода нам как будто прокровительствует, барометр стоит низко и идет на снижение. Надо ждать снежной бури... И, понимаешь ли, Пантюхин, этим обстоятельством необходимо воспользоваться. Ну, ладно... Займешь ты с отрядом церковь. А как же дальше будешь действовать? Давай-ка смекнем.

— Да уж положитесь на нас, товарищ начальник, — проговорил Пантюхин. Он был рослый парень с открытым добродушным лицом, обрамленным белокурыми волосами. — Заранее сказать трудно, товарищ начальник. Само дело покажет.

Сержант Пантюхин был человек испытанный, имел боевой орден и пользовался большим доверием. Получив ряд практических указаний от начальника, Пантюхин поспешил в кузню, собственноручно выковал два больших острых крюка на манер орлиных когтей.

И вот двадцать молодых сибиряков под началом сержанта Пантюхина двинулись в поход. Идти было до села верст пять, но это не расстояние, к полуночи придут. А вот беда — сильный ветер начинается и снег густо повалил, того гляди буран хватит, как в Сибири.

— А что буран — хорошо, — сказал, шагая рядом с Пантюхиным, самый молодой из отряда, скуластый черноглазый Смекалов Колька. — По крайности никто не приметит нас, подойдем как миленькие.

— Подойти-то подойдем, — возразил ему Пантюхин, — а вот как петлю-то забросим, вот ты что толкуй...

— За-а-бросим, — самонадеянно протянул Смекалов, — лиха беда подойти!

— Нет, брат Коля, у тебя еще мысль-понятие плохое. Нешто не видишь, как ветром-то снег метет?

Где-то далеко-далеко прогудел едва слышный пушечный выстрел. А вот и река с селом. Снег валил все гуще и гуще. Ветер крепчал. Вьюга усиливалась.

Над низкими тучами блуждала луна. Хотя ее и не было видно, однако она давала кой-какой свет. Поэтому чрез крутящуюся сеть снега можно было различить темное очертание колокольни, значит, можно в точности знать, где наверху торчит ствол сломанной березы.

Расставив дозоры, Пантюхин подвел красноармейцев к ледяному откосу, снял с себя халат, сложил аркан кольцами и швырнул петлю наверх, по направлению к березе. Но ветер подхватил петлю на лету,

как паутину, и сбросил на землю. Сержант подтянул аркан, опять сложил его кольцами и снова швырнул вверх, покруче. Однако и на этот раз ветер не дал петле взлететь на обрыв. Пантюхин, злясь, на непогодь, привязал к петле камень. Уж теперь-то долетит аркан... Не тут-то было. Ветер издевался над привязанным к петле камнем, над опечаленным сержантом, ветер как бы играл в руку немцам. Сержант еще несколько раз безрезультатно швырнул петлю и, упарившись, с неприязнью посмотрел в скуластое лицо стоявшего возле него низкорослого Смекалова.

— Дай-кось мне, — сказал Смекалов и трижды подряд тоже пробовал закинуть петлю.

Ветер проносился между берегами, как в трубе. Он крутился, завихоривал, вздымая буруны летучего снега. Ветер шел толчками: то на мгновенье стихнет, то ударит и ринется вперед, как сорвавшийся с цепи неукротимый зверь. Деревья наверху, у церкви, качались и гудели. Был шум, сумятица, белая липкая кутерьма, светопреставление. Началась снеговая буря, по-сибирски — буран. Горе тому, кого застигнет буран в чистом поле.

Сквозь шум, вой и треск слышались справа и слева крикливые придушенные голоса. Это немцы проверяли в ночное время свои караульные дозоры.

Раздумывать некогда. Надо действовать. Надо поиному брать в лоб эту неприступную ледяную стену. Пантюхин на высоте полутора метров от земли быстро прорубил во льду приступку, залез на нее и стал врубаться выше. При помощи острого крюка, этого орлиного когтя, он уцепился за ледяную крутизну выше головы и, прорубив третью ступеньку, залез на нее. И когда с огромным трудом он добрался до половины высоты, упругий взмах ветра сбросил его вниз, как таракана. Он поднялся. В груди его кипела злоба.

— Видали мы такие бураны... Врешь, не поддамся! — бубнил он, стискивая зубы.

Пантюхин сорвал с себя полушубок, сбросил пимы, остался в меховой жилетке, в толстых шерстяных носках и снова устремился на борьбу. Рядом

с ним, тоже вооруженный киркой и крюком, взбирался по ледяному откосу маленький и подвижной Смекалов.

Едва долез Пантюхин до третьей своей зарубки и стал долбить четвертую, как его с прежней силой смахнуло наземь. Вслед на ним закувыркался и Смекалов.

— Ну как, помогает буран? — с сердитой ухмылкой бросил Пантюхин своему товарищу.

— Язви его в печенку, в селезенку... — растерянно ругался Смекалов, растирая ушибленную коленку. — Смотри, парень, замерзнешь... чего ты разделся-то?

— Так сподручней, — ответил Пантюхин.

И вот они, разгоряченные борьбой, с новым рвением устремились на ледяную твердыню. Налетевший шквал ветра опять опрокинул Смекалова в глубокий сугроб. А Пантюхин, весь впившись в откос, кой-как удержался. Полуразутыми ногами он твердо стоял на зарубке, правой рукой крепко держался за крюк, вбитый над головой в глыбу льда, а левой — судорожно вцепился в торчавшую из откоса обледенелую чурку. Осторожно, чтобы не потерять равновесия, он поднял голову и, весь сотрясаясь под ударами бури, приметил, что до верха осталось всего метра четыре. Еще одно-другое усилие — и твердыня взята.

Тем временем бойцы внизу зашевелились, забегали, сгрудились. Смекалов, выпроставшись из сугроба, увидел, что кем-то брошенная наугад петля зацепилась вверху. Смекалов, позабыв все на свете, в дикой радости было заорал: «Ура!» — но ему тотчас заткнули рот рукавицей. Опамятовавшись, он сказал:

— Я самый легкий, давай я полезу.

И вот он с большим проворством и ловкостью стал быстро забираться по аркану вверх.

Пантюхин, видя это чрез белую мглу бурана, затаился, ждал, что будет дальше. Вдруг аркан Смекалова стал сдавать-сдавать, и, к ужасу всех, Смекалов с полдороги закувыркался. Следом за ним кувыркался впереверт большой деревянный крест, вывороченный с чьей-то могилы.

— Фу ты черт! — озлобленно, сквозь стиснутые зубы забурчали разведчики.

Пантюхин, смачно выругавшись и ловя момент между ударами бури, стал долбить киркой предпоследнюю ступеньку. Упорная надежда на скорый конец схватки и в то же время черный страх за неудачу боролись в нем. Ветер насквозь пронзал его тело, но он этого не замечал; он благополучно поднялся еще выше и теперь ясно почувствовал, что наконец-то он одолеет бурю. Оставалось последнее усилие. Ох, этот проклятый ветер! «Держись!» — мысленно сам себе скомандовал Пантюхин и весь влип в ледяной покров. Яростный порыв ветра, крутя буруны снега, с маху хлестнул его и с воем умчался дальше. Привычный глаз бойца приметил свисавший над головой жгут древесного корня. Вот оно, спасение! Он, боясь сделать неловкое движение, наспех прорубил еще последнюю ступеньку, кой-как укрепился на ней закоченевшими ногами, схватился за корень и, напрягая силы, потянулся железным крюком к небольшому пню над головой, чтобы зацепиться за него и выскочить на самый верх.

Но в этот миг налетел такой неимоверной силы шквал ветра, что все на земле и в небесах загудело, промерзший сучок в руке Пантюхина треснул, как лучина, ноги соскользнули с зарубины, и он сам, оберегая голову, стремительно заскользил по откосу вниз.

Пантюхин упал в сугроб, уткнулся лицом в пригоршни и чуть не заплакал от злобного отчаяния, охватившего его душу. Но это были лишь недолгие мгновения. К нему подбежали товарищи. Он поднялся, бодрый и негнущийся. Прилив несокрушимой воли снова сверкал в его глазах. Ему подали пимы и полушубок. Он оделся и начал взад-вперед бегать, чтобы согреться. И тут только заметил, до какой степени ему было холодно. У каждого бойца стоял в мыслях один и тот же вопрос: так неужели же им не суждено выполнить задание? Лишь у Пантюхина была непреложная уверенность, что весь его отряд

скоро будет в церкви. Он собрал бойцов в кучу и сказал им:

— Когда я лазал наверх, то заметил вправо от себя небольшую площадку на откосе, примерно в середине высоты. Мы ее сейчас возьмем.

Пантюхин подвел бойцов к намеченному месту и четверых, самых крупных и высоких, поставил вплотную спиной к откосу. Трое следующих встали им на плечи, двое — на плечи тем, потом залез на плечи этих двух один. И, наконец, с шуткой, прибауткой покарабкался вверх по живой стене щупленький Смекалов. Когда, с риском обрушиться, он забрался на плечи последнего бойца лицом к откосу, действительно обнаружил на уровне своей груди площадку. Это был небольшой выступ каменистой скалы, покрытый толстым слоем льда. Желанное слово «площадка» стало передаваться негромко сверху вниз.

Смекалов суетливо вырубил киркой лед, залез на площадку, укрепил конец аркана за камень и сбросил аркан вниз. Один по одному, цепляясь за аркан, поднялись к Смекалову четверо, среди них Пантюхин.

Буран стал стихать, но все еще пошаливал. Серая снежная муть, крутясь, пролетала мимо разогревшихся движением бойцов. До верха оставалось значительно меньше половины. И снова тот же способ, как внизу, но с большей осмотрительностью, чтобы не сорваться: трое, двое, один и на плечи ему еще один — Смекалов.

«Ура!» Сердце его часто забилось... Он протянул вперед крюк на длинном шесте, зацепил им за какую-то неровность и, проворно подтянувшись по шесту, выскочил на самый верх. Он выскочил наверх и стал в радости приплясывать, крутиться, как алтайский кам-шаман.

Все поднялись с двумя ручными пулеметами, автоматами, запасом гранат и патронов. Кладбище возле церкви было тщательно осмотрено. Пантюхин пересчитал бойцов:

— Восемнадцать... Я девятнадцатый! А где же Бородатых Иван?

Снова где-то очень далеко едва слышно зевнула

пушка. Ветер почти стих, но снег продолжал обильно падать. Из мутной сутемени вдруг выплыл Иван Бородатых. Широкоплечий, но небольшого роста, он тащил — спина на спине — долговязого немца, пятки которого волочились по земле. Иван Бородатых, сбросив немца на землю, разогнулся и сказал:

— Фу, упарился... Сволочь, возле самой церкви на карауле уснул.

Бойцы залезли в церковь через окно. Связисты протянули телефонный провод. Работали с ручным фонариком. Пантюхин стал опрашивать пленника, предупредив его: на рассвете село будет взято русскими; ежели окажется, что немец в своих показаниях врал, его стукнут. Вскоре Пантюхин кричал в аппарат:

— Алло! Незабудка! Незабудка! Говорит Незабудка...

Он дал начальнику части нужные сведения. В конце переговора начальник сообщил: «Через час выступаю».

Пантюхин собрал бойцов и сказал:

— Вот что, друзья... Через полтора часа наша часть будет здесь, на месте. А немцев тут пятьсот штыков, да три танка, да две малокалиберных пушчонки. Значит, сами понимаете, товарищи, каждому из нас, разведчиков, надобно работать за десятерых. Помните, враг силен... А теперь, ребята, шпарь пулеметы на колокольню. Снайперы, выбери себе места!..

Еще не совсем рассвело, как возле села загрохотали пушки и минометы русской воинской части, подошедшей под прикрытием густого снегопада. Первые снаряды удачно ударили в дом, где находился штаб. Дом загорелся. Еще вспыхнули соломенные крыши на трех избах. Среди немцев, не ожидавших наступленья, поднялась невиданная паника. С дикими лицами они выскакивали из жилищ, на бегу одевались и, ослепленные пожаром, как очумелые бросались во все стороны. Бой был недолог. Бежать удалось немногим. Среди большого количества пленных был начальник штаба барон Муфель. Отряд Пантюхина, заваливший немецкими трупами всю улицу, ведущую к церкви, потерь не имел.

ПРИМЕЧАНИЯ

В третий том Собрания сочинений В. Я. Шишкова в восьми томах входят повесть «Странники», а также рассказы и очерки, созданные писателем в годы Великой Отечественной войны. Как и в предшествующих томах, материал расположен в хронологическом порядке; тексты печатаются по последним прижизненным авторизованным изданиям произведений писателя.

СТРАННИКИ

Впервые отдельным изданием опубликовано в 1931 году — Л. Изд-во писателей в Ленинграде; второе издание повести вышло в том же издательстве в 1932 году. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, «Странники», изд-во «Художественная литература», Л. 1936.

Писать «Странников» Шишков начал в 1928 году. Первоначально автором был задуман и начат рассказ «Преисподняя», который уже в процессе работы над ним постепенно стал перерастать в большую повесть. Непосредственным поводом к созданию произведения о детях и подростках, связанных с уголовным миром, было письмо, полученное Шишковым от незнакомого ему беспризорника из Симферополя. Оно явилось откликом на появившийся в печати призыв писателя к читательской аудитории сообщать ему различные любопытные случаи из жизни. Беспризорник рассказал в письме несколько живых и увлекательных эпизодов своих скитаний. Заинтересовавшись ими, Шишков вплотную занялся изучением увлекшего его материала — читал специальную литературу, встречался с людьми, знавшими быт и нравы уголовной среды, посещал окраины Москвы и Ленинграда, выискивая места, где ютились беспризорники, бывал в тюрьмах, детских домах, исправительно-трудовых колониях.

Пристальный интерес Шишкова к новой и необычной для его творчества теме был не случаен. Беспризорничество, явив-

шееся прямым следствием тяжелых для страны лет войны и разрухи, представляло собой в 20-е годы широко распространенное социальное явление. Борьба с ним была задачей первостепенной важности. Советское государство, общественность проявляли самую горячую заботу о детях, лишенных семьи и крова, силою обстоятельств отданных во власть улицы; принимались все меры к тому, чтобы создать малолетним преступникам нормальные условия жизни и работы, вырастить из них полноценных граждан. Этот процесс перевоспитания и перековки человека, возможный лишь в условиях советского строя, привлекал внимание многих наших писателей. На протяжении 20-х — начала 30-х гг. появляются такие посвященные этой теме произведения как «Правонарушители» Л. Сейфуллиной, «Республика ШКИД» Пантелеева и Белых, «Утро» Микитенко, «Я люблю» Авдеенко, с 1925 года работает над «Педагогической поэмой» А. Макаренко, автор и других повестей о бывших правонарушителях — «Флаги на башнях», «Марш тридцатого года». К названному кругу книг можно отнести и «Странников» Шишкова. Взяв в качестве главных действующих лиц романа подростков Фильку и Амельку и совсем еще ребенка Павлика Моклыгина («Инженер Вошкин»), писатель прослеживает их долгий и трудный путь со «дна» жизни — наверх, постепенное превращение под оздоровляющим воздействием трудовой деятельности в честных и сознательных тружеников.

Первая часть повести — «Филька и Амелька», рисующая начальные этапы судеб героев, их жизнь «на воле», — была опубликована, как самостоятельное произведение, уже в 1930 году в журнале «Красная Новь» (№ 4, 5, 6). Первое отдельное издание повести, как отмечалось выше, появилось в 1931 году и было, в основном, положительно встречено читательской массой и литературной общественностью. Тираж книги быстро разошелся, в 1932 году последовало переиздание. «Вышла моя толстая книга «Странники» — 500 стр., — сообщал Шишков в письме к В. П. Петрову от 25 сентября 1931 г. — Ее все хвалят: и литературные круги, и читатель вообще» («В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 275). О «Странниках» упоминал Ромен Роллан, гостивший в Советском Союзе летом 1935 года и посетивший одно из исправительных учреждений для бывших беспризорников: «Это посещение, — писал Роллан, — показало мне работу по перестройке людей в СССР. Моя жена как раз в это время читала

мне книгу, которую я нахожу замечательной: «Странники» Шишкова о беспризорниках и о детских домах» (цитирую по книге Вл. Бахметьева «Вяч. Шишков», изд-во «Советский писатель», 1947, стр. 94).

Вскоре после выхода «Странников» в свет было организовано обсуждение книги студентами ленинградского Политико-просветительного института им. Крупской; по просьбе студенчества в обсуждении принял участие и сам автор. «На обсуждении присутствовало до двухсот человек. Вячеслав Яковлевич рассказал, какие задачи ставил себе, когда писал «Странников», как знакомился с жизнью беспризорников, как работал над книгой.

Затем стали высказываться студенты... Все горячо приветствовали «Странников», как правдивую и мастерски, увлекательно написанную повесть, исполненную большой любви к детям и веры в воспитательную силу советской системы» (Л. Р. Коган, «Из воспоминаний о В. Я. Шишкове» — в книге «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 195). В то же время многие из выступавших (а среди них оказались и бывшие инструкторы горкомов и райкомов ВЛКСМ по борьбе с беспризорничеством), хорошо знакомые с действительностью, изображенной в книге Шишкова, указывали на то, что, превосходно зная жизнь беспризорных, автор был, по-видимому, недостаточно осведомлен об условиях борьбы комсомола против беспризорничества. В связи с этим говорилось о бледности и неубедительности в книге фигуры инструктора-комсомольца. Писатель согласился со всеми замечаниями по этому поводу и несколько переработал этот образ при переиздании повести. Однако недостатки книги далеко не ограничивались этой частной неудачей. Действительно, прекрасно изучив и показав жизнь «дна» и его обитателей, Шишков менее глубоко осветил не только работу комсомольских организаций, активно вставших на борьбу с беспризорничеством, но и суть деятельности учреждений, призванных осуществлять очень сложное и ответственное дело перевоспитания бывших правонарушителей. Писатель правильно наметил общие тенденции и пути «возвращения» преступников в общество через их трудовую деятельность, под руководством опытных, преданных своему делу педагогов и воспитателей. Но ему не удалось изобразить столь же ярко и всесторонне, как жизнь и быт беспризорников «на воле», их пребывание в детских домах и колониях, дать ясное представление о сущности применяющихся там методов и приемов

воспитания. В связи с этим образы педагогов в романе (Мария Николаевна — Марколавна, заведующие детдомом Нил Нилыч и Иван Петрович Петров, начальник трудовой колонии Краев и др.) также в большинстве своем получились схематичными, малохудожественными. Естественно, что с этой, наиболее уязвимой, своей стороны книга (особенно при ее переизданиях) и подверглась упрекам критики. Среди откликов на «Странников» встречались и резко отрицательные, по существу вовсе отказывавшие повести в какой-либо социальной и эстетической значимости. К числу таких отзывов относится, например, статья Е. Усиевич, опубликованная в журнале «Литературное обозрение», 1936, № 11. Говоря о непонимании Шишковым «сущности социалистических методов воспитания», Усиевич в то же время упрекала его в погоне за «экзотикой и сенсацией» в изображении жизни беспризорных, не усматривая в «Странниках» ничего, кроме «надуманной романтики, слащавости и сентиментальности». Более сдержанно и более объективно оценивали повесть другие рецензенты. Так, статья, помещенная в журнале «Книга — строителям социализма» (1931, № 24, стр. 103—104), в числе недостатков произведения также указывала, что Шишков «не заостряет внимания на главном — показе тех сложных социально-психологических процессов, под влиянием которых бандиты, воры и хулиганы превращаются в членов трудового коллектива», но признавала вместе с тем, что эта «повесть о беспризорных» написана «с большим знанием жизни и быта... мастерски и увлекательно». «Центр тяжести» повести,— подчеркивал рецензент, — «в изображении тяжелой жизни беспризорных, ужасов, через которые им приходится перешагнуть, чтобы получить путевку в жизнь». Справедливость именно этого, последнего, суждения о «Странниках» хорошо видна нам сейчас, когда со времени выхода повести прошло свыше четверти века. Книга эта выдержала проверку временем и продолжает пользоваться популярностью читателей. Несмотря на указанные выше существенные недостатки, повесть значительна своим искренним и подлинным гуманизмом, тем мастерством и талантом, с которым писатель обнажал страшную сущность беспризорничества, призывая бороться с этим социальным злом, она ценна и ясным пониманием того, что труд на благо общества — единственно возможный и действенный способ перевоспитания человека в нашем, советском обществе.

Рассказы и очерки о Великой Отечественной войне — последние в литературном наследии Шишкова произведения, написанные им в годы постигших советскую страну тяжелых испытаний. Ни преклонный возраст (в момент начала войны Шишкову было 69 лет), ни плохое состояние здоровья не помешали писателю-патриоту, всегда тесно связанному со страной и народом, сохранить эти связи и теперь, постоянно чувствовать себя призванным служить своим творчеством родине. Не прерывая основной работы над историческим повествованием «Емельян Пугачев», Шишков публикует во фронтовой печати, в центральных газетах и журналах очерки, статьи, рассказы, являющиеся живым и непосредственным откликом на происходящие в стране события. В таких рассказах и очерках, как «Слава русского оружия», «Партизан Денис Давыдов», «Партизаны Отечественной войны 1812 года», «Сусанины советской земли», «Прокормим!», «Буря», «Гордая фамилия», «Дед Андрей» и многих других, писатель нередко обращается к героическому прошлому России. Связывая это прошлое с сегодняшним днем родины, он повествует о подвигах советских людей — бойцов фронта и тыла, которых перед лицом любой опасности не покидает смелость, отвага, жизнелюбие. Шишков глубоко осознает огромную ответственность и долг литератора перед современниками; он убежден в том, что писатели сумеют отразить в своих будущих произведениях весь глубокий смысл борьбы советской страны с темными силами фашизма. Проникнутые глубоким патриотизмом, любовью к народу, неиссякаемой верой в его силы, произведения Шишкова периода Великой Отечественной войны как бы дорисовывают и дополняют его облик — облик талантливого писателя, патриота и гражданина.

Прокормим! (*стр.* 483). — Впервые опубликовано в журнале «Октябрь», 1942, № 2. Печатается по тексту книги: Вячеслав Шишков, Гордая фамилия, изд-во «Советский писатель», М. 1943.

Гость из Сибири (*стр.* 508). — Впервые опубликовано в газете «Красная звезда», 1942, 1 ноября. Печатается по тексту той же книги, что и предыдущее произведение.

Гордая фамилия (*стр.* 522). — Впервые опубликовано в журнале «Красноармеец», 1942, № 24. Печатается по тексту той же книги, что и предыдущее произведение.

Дед Андрей (*стр.* 522). — Впервые опубликовано в журнале «Красноармеец», 1943, № 5—6. Печатается по тексту той же книги, что и предыдущее произведение.

Любопытный случай (*стр.* 530). — Впервые опубликовано в журнале «Красноармеец», 1943, № 17—18, затем — в газете «Московский большевик», 1944, 18 мая. Печатается по тексту газеты.

Щедрая жертва (*стр.* 538). — Опубликовано в книге: Вячеслав Шишков, Гордая фамилия, изд-во «Советский писатель», М. 1943. Печатается по тексту книги.

Сусанины советской земли (*стр.* 546). — Опубликовано в той же книге, что и предыдущее произведение, и печатается по ее тексту.

Да здравствует жизнь! (*стр.* 558). — При жизни автора не публиковалось. Предположительная дата написания — 1943 год. Печатается по тексту рукописи, хранящейся в архиве Шишкова.

Буря (*стр.* 583). — Опубликовано в журнале «Красноармеец», 1944, № 7. Печатается по тексту журнала.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ ВО II ТОМЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

стр.	*строка*	*напечатано*	*следует читать*
423	1 св.	хресты	хребты
618	16 св.	И. С. Соловьев-Микитов	И. С. Соколов-Микитов
620	13 сн.	524	544

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

Шишков
Вячеслав Яковлевич

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ 3

Редактор *З. Кондратьева*
Художественный редактор *А. Лепятский*
Технический редактор *С. Розова*
Корректоры *М. Муромцева* и *А. Стукова*

Сдано в набор 9/IX 1960 г. Подписано к печати 9/XII 1960 г. Бум. $84 \times 108^1/_{32}$ — 18,75 печ. л. = 30,75 усл. печ. л. 28,48 уч.-изд. л. Тираж 180 000 экз. Заказ № 1776. Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.